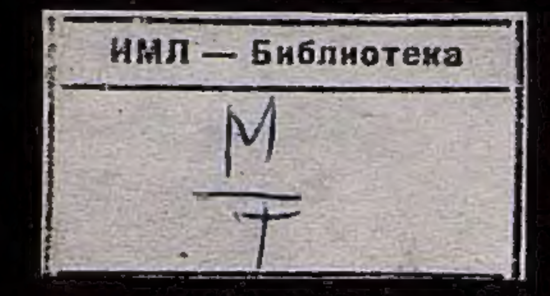
Тарасов А.-
-Родионов

Февраль



А. ТАРАСОВ-РОДИОНОВ



ФЕВРАЛЬ

РОМАН
ХРОНИКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО



А. ТАРАСОВ-РОДИОНОВ

*

ТЯЖЕЛЫЕ ШАГИ

ТРИЛОГИЯ

1928

А. ТАРАСОВ-РОДИОНОВ

*

ФЕВРАЛЬ

РОМАН—ХРОНИКА

МОСКВА * ЛЕНИНГРАД
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО





ОБЛОЖКА РАБОТЫ
Б. Б. ТИТОВА

★

ОТПЕЧАТАНО
в 1-й Образцовой типографии
Гиза. Москва, Пятницкая, 71.
Главлит № 95756. Гиз № 22542.
Заказ № 3966. Тираж 7000 экз.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прошло десять лет от великого 1917 года. И все-таки, может быть, еще рано писать об этом все? Не только героические подвиги Великой Революции, но и ее промашки и ошибки. Промашки и ошибки отдельных ее бойцов. И других товарищей, и свои собственные в первую очередь.

Но как же рано, если часовая стрелка, отщелкивающая миллиарды мгновений, ушедших с той поры, ткет и ткет густую сетку забвения, все глубже и глубже затопляющую яркие образы неповторяемых дней. И так уже многое безжалостно стерто в памяти, а многое уцелело в жалких обрывках, нуждающихся в посторонних дополнениях и поправках, в которых, надеюсь, не откажут любезные читатели. Я старался здесь записать документально, с сохранением всех дат и фамилий, — все, что упомнил, все, что видел, все, что знал и что делал. От этого, понятно, повествование вынуждено носить несколько узкую манеру личных воспоминаний.

Может быть, рано все это печатать? Не все трибуны отлиты из металла, а люди — самолюбивы. Сладкий же ореол революционного «вождизма» для многих бывает еще иногда — увы! — дороже горькой исторической действительности. К тому же, быть может, зачем тревожить штукатурку этих пьедестальчиков теперь, когда мы—в окружении?

Но жизненный опыт нам говорит: революция — это гигантский бивень, разбивающий в кровь человеческие века. Огнем и железом создается революционная будущность.

Правда, упрямая человеческая правда — одно из всесокрушающих оружий в мировой борьбе классовых титанов. Только одна она крепит победу. И она под силу только тому классу, что двигает человеческое развитие вперед, вопреки неимоверным потугам остановить его или повернуть назад. Стальная правда истории всегда побеждает, а известка сочиненности рано или поздно осыпается, как ее ни отбронзировывай. А затем, что значит эта мелкая штукатурка, быть может, и замазавшая коротенькие ошибочки отдельных лиц и даже героев, по сравнению с безошибочным общим ходом гигантского спирального размаха в новом этапе мировой истории, гигантского спирального размаха народов, пущенного бессмертным Ильичом!

Российский отряд рабочего класса твердо пошел в поход во главе широчайших масс крестьянства и лучших слоев интеллигенции. Он уже выиграл колоссальнейшие сражения и перенес тягчайшие испытания. Горькие потери и сладчайшие победы еще ждут его впереди. Великий пролетарский полководец, ленинская ВКП (б), ведет его вперед смело и верно. И в этом бессмертном походе каждый воин должен понимать свой маневр. Правдивая история этому пониманию только поможет.

Пусть поэтому не посетует читатель, если в скромном труде моем, стремящемся правдиво оживить небольшие памятные мне уголки далеких отгремевших дней первых наших классовых битв, он увидит, на-ряду с пылающими в века подвигами масс и личностей, и жалкий чад человеческих ошибок, имеющих свои классовые корни. Революция делается не по учебникам.

Ее шаги — тяжелые шаги.

Автор будет признателен читателям за каждое деловое замечание по поводу настоящей книги, присланное на его имя по адресу:

Москва 4. Ульяновская, 51.

ГЛАВА I

Как шумит жизнь?

Во всяком случае, она шумит очень по-разному. И я люблю теперь копаться во всех ее шумах, пытаясь найти в них разгадки тем гнетущим раздумьям, которые давно уже давят меня все сильней и сильней.

Вообще с некоторых пор на меня часто находит странное желание: на жизнь не смотреть. Обычно в этих случаях я закрываю глаза, склоняюсь лицом на ладони, и от этого сразу как-то полней ощущаю себя. Но окружающий мир не хочет со мной расставаться. Он немедленно же резко врывается в меня тысячами звуков. И тогда меня забавляет копаться в их различиях и определениях.

Вот шумным воем гудит электрический вентилятор. Он проветривает сейчас комнату нашего класса. Но под слоем этого шума я слышу широкий гул сотен шагов, стрекочущий хаос шарканий, стуков, щелканий, тресков и подметочных скрипов, плотно вплетенных в негромкое, говорливое щебетанье сотен разнобайных, разноладных и разнобойных голосов. Все это густо усыпано дребезжащими искрами разнозвучных звяканий металлических шпор. Я знаю: сейчас перемена, и это гуляет мимо дверей, коридором, густая толпа разномастных офицеров. Всех их пригнали сюда на учебу пулеметному делу в Офицерскую стрелковую школу. Каждый день их подвозят сюда с раз-

ных концов целыми гуртами, чтобы в четыре недели напичкать щелканьем замков, звоном пружин, треском ладыжек и тарахтящим квохтаньем этих коротконогих, приземистых стальных пауков с вытянутыми хоботами.

Но мало кого прельщает эта музыка. Она глохнет в закутанных снегом пустынных китайских дворцах и петровских парках Ораниенбаума. Вечерами здесь скучно и мрачно, и вот потому-то за какой-нибудь час поездишко кидает офицеров целыми пачками в светящийся веселый Петроград. Там сверкают кафе и шантаны, мигают кино и ползут рокотанья роялей, всхлипы скрипок и вой виолончелей. В табачном тумане задних кабацких комнатушек можно достать огненную влагу белой головки и замереть, потея рукой, на открытой червонной девятке. Все равно, все равно, все равно, через месяц, через неделю или через день, — каждый получит железнодорожную литеру и заспанным глазом будет скользить через пыльную верхушку вагонного окна за летящею, тающей ватой паровозного дыма и за подниманьем и приседаньем потолстевших от пушистого инея белых телеграфных проводов.

«Все там будем!» — это знает здесь каждый. «Все там будем!» — насмешливо шепчут разнозычные шаги офицерской толпы. Порою мне кажется даже, что я умею их хорошо отличать друг от друга, эти шаги, когда они проходят мимо дверей. Вот трещат каблучки лакированных бутылочек — столичный прапор. Чуть скользит шелестящей подошвой, мягко тренькая шпорой, — штабник. Тускло звякая, хлябает яловчиной — прапорщик из запасных полков захолустья. Легко стелет ровной козловой подметкой — эсаул из дикой дивизии. Косолапо и жестко гребет всей ступней — фронтовик. В его разбитой, давленной походке я слышу далекие грохоты орудийных проклятий, пулеметные наговоры и завистливый визг жалких пуль, — все те шумы теперешней жизни, которые обрываются

в бессмысленном хрипе простреленной шеи, пеньи гимна и морозящем спину прирезанном крике: ур-р-ра!..

Кашляет хохотом колокол. Гам говоров быстро спадает, унося за собою по классам перекатное журчанье растекающихся шагов. Наступающее затишье только изредка теперь нарушается торопливой и легкой позвякивающей припрыжкой опоздавших.

Потом и это замирает.

И вдруг откуда-то издали, не спеша, буцая о пол все ближе и ближе, размеренно-грузно ступают какие-то бивни, колебля скрипящий паркет. И вдруг, замедляясь, взрываются грохотом.

Я открываю глаза.

Это солдаты принесли на себе для господ офицеров громоздкие станины пулеметов.

* * *

Молоденький прапорщик сосредоточенно возится подле большой железной мясорубки, которая называется в уставе австрийским пулеметом «Шварц-Лозе».

Шварц по-русски означает: черный. Лозе — должно быть: лоза. «Черная лоза» — это поэтично! «Лоза черного душистого винограда»... А может быть, лоза — это прут, и тогда: черные шпицрутены, которые секут, сдирая кожу?.. Нет, «Шварц-Лозе» — гораздо суровей. Его свинцовые шпицрутены летят стрекочущим ливнем и продирают и кожу и кости. И кожу и кости согнувшихся в страхе солдат. Почему это только солдат? А куда спасутся прапорщики?

И мне вдруг становится жалко вот этого юношу, которого через месяц, самое большое, смелет прожорливый фронт. И придется ему с перекошенным ртом в конвульсиях смерти обламывать ногти, царапая мерзлую грязь.

Но теперь он об этом не думает. Счастливчик! Теперь он даже боится выпачкать о пыльный пол свои туго выутюженные широкие галифе, пошитые из прочной синей диагонали и отороченные красным кантом. Он карячится на корточках, и лакированный глянец его голенищ весело отражается на желтом лоске навощенного паркета. Но блеск сапог едва ли его сейчас занимает. Он поднимает с пола обрывок валявшейся рваной газеты и заботливо прикрывает затыльник пулеметной коробки. Он боится даже испачкать в грязном масле машины свои свежие розовые пальцы. Румяное лицо его с коричневой родинкой возле правого уха низко наклоняется к самому пулемету. Затененные ресницами глаза озабоченно перебегают с частей механизма на странички маленького уставчика в черной клеенке, небрежно брошенного на пол. Мне забавно слушать придушенный шепоток его губ, с еле пробивающимся сверху желтым цыплячьим пушком. Но еще забавнее та нерешительность, с которою прапорщик хочет сейчас повернуть круглую плашку железной пяты.

— Осторожнее, прапорщик! — говорю я. — Вылетит, щелкнет и — прямо вам в зубы...

Прапорщик испуганно откидывается от пулемета, опирается теперь холеными руками прямо на пыльный пол и растерянно смотрит на меня.

Подпоручик Воробьев сидит неподалеку от него прямо на полу. Он только что окончил уже второй раз полную сборку и разборку гочкиса и с усталой задумчивостью вытирает теперь волосатые, испачканные пальцы о вороненый короб своего пулемета. Забавная беспомощность юного прапора, должно быть, беспокоит и его. Подавив ухмылку, он размашисто встает, слегка поджимает, вероятно, онемевшую от неловкого сиденья ногу и ковыляет к прапору, отряхивая пыль со своих защитного цвета брюк. Потом уверенно берет шварц-лозе, крепко нажимает

затыльную плашку пяты и смело ее поворачивает. Толстая стальная спираль возвратно-боевой пружины, лоснясь от масла, медленно выползает из коробки, упруго раскачивая на конце тяжелый набалдашник ударника. С деланной беззаботностью прапорщик подхватывает вынутую пружину. Должно быть, ему становится стыдно своей изнеженной беспомощности и он хочет теперь напустить на себя армейскую бесшабашность. Честь мундира, конечно, обязывает!

— Нелепый пулемет, господин поручик, не правда ль?— И он снисходительно подбрасывает грязную пружину. — Нелепый, когда весь принцип основан только на простой инерции... Ну, а вдруг, если эта инерция изменит?..

— Изменит? — удивляется Воробьев, и его длинные, костлявые, волосатые руки невольно опускаются.

— Да, представьте себе, вдруг инерция выдохнется или как-нибудь там, ну, словом... застопорится...

— А на коего же чорта тогда коробка автоматической масленки на крышке, господин прапорщик? — нравоучительно цедит Воробьев, и, утопив на широком бритом лице презрительную усмешку, он начинает сосредоточенно вытирать пыльной тряпкой свои испачканные ладони.

— Ну, как ты там, скоро? — кидает он мне, помолчав.

Я сижу на стуле у самого окна над приземистым и кургузым пулеметом Максима. Тяну через него туго набитую патронами ленту и кропотливо стараюсь изучить все девятнадцать случаев непроизвольных задержек стрельбы. Рукоятка то-и-дело щелкает о ролик, а слева вылетают и, крутясь, брякают на пол медные патроны с поцарапанными деревянными пулями, ярко выкрашенными в лиловый цвет. Особенно наивна эта девятая задержка. Я протягиваю ленту на себя и, нажимая курок, любуюсь потушенным ударом и недошедшей рукояткой. Простой перекос патрона.

— Да, я скоро, — отвечаю я Воробьеву и смотрю на часы. Через семь минут будет звонок, и надо спешить.

Прапорщик обескуражен пренебреженьем Воробьева и что-то беззвучно репетирует сейчас про себя, шевеля одними губами, вытирая розоватые ногти белоснежным полотном носового платка.

— Во всяком случае, — обращается он вдруг к Воробьеву, — позвольте мне все же поблагодарить вас за ваши указания, господин поручик, и разрешите кстати представиться: прапорщик князь Головкин. — Он ласково чмокает сапогом о сапог и мелодично звякает шпорами.

«Ах, «князинька»? — насмешливо взглядываю я на него. — То-то ты боялся выпачкать ручки». — И почему-то сразу стирается к нему всякая жалость.

Воробьев называет себя, растерянно хлопает глазами, неуклюже жмет ему руку и, повидимому, не знает, куда девать себя дальше.

— Так, стало быть, значит, я внизу тебя подожду, — кивает он мне и выходит.

За окнами кружит метель. Там далеко по замерзшим просторам Финского залива неистово свистят ветра. Голые березы сада качаются и, пытаясь отбиться от вьюги, хлещут черными прутьями. Тусклое низкое небо летит в бесконечном вихре назойливых хлопьев, бешено мчащихся вперегонку наискось вниз.

— А вы какого мнения о шварц-лозе, господин поручик? — повертывается прапорщик ко мне, и серые глаза его чистенько сверкают, как новенькие серебряные звездочки на красном просвете его задорно вздернутых золоченых погон. А рядом с звездочками лучисто сияют серебряные пулеметики. «Не успел еще стать пулеметчиком, а уже понавесил», неприязненно думаю я.

— Если это не праздный вопрос, — отвечаю я грубо, — то шварц-лозе — добротная мясорубка. Его пули хорошо

промазаны и просверливают кости сиятельно. — Я нарочно подчеркиваю это «сиятельно» и, насмешливо покачиваясь, смотрю князиньке прямо в глаза. — Впрочем, недельки через три вы убедитесь в этом, прапорщик, на практике.

— К сожалению, мой милый, меня едва ли отправят на фронт, — говорит он вдруг удивительно этак спокойно и нарочито медленно и небрежно. — Лейб-гвардейские полки столицы нуждаются в офицерах-пулеметчиках и здесь, — он презрительно дергает цыплячьей губой и с торжествующей снисходительностью еле скользит по мне взглядом.

Да, он прав. Мы — обреченные. Мы, а не они. От этой жути я могу, сколько душеньке влезет, беспомощно бесноваться, как та вон береза за окном. Белого урагана войны ничем не остановишь, и никуда не спрячешься от этого кошмарного шварц-лозе. Да, он тысячу раз прав, этот прапорщик. Он прав, потому что он — сиятельство.

Гулкий колокол внезапно расщепляет все двери и глохнет в хлынувшем шуме топота и шарканья ног, лязге брошенных частей пулемета, щелканьи шашек и звяканьи шпор. Прапорщик быстро одергивает китель, выпячивает грудь и, гордо подняв подбородок, гарцующей походкой степенно выщелкивает по паркету в коридор. Мимо двери быстро проходит шумная вереница офицеров. Вот враскарячку качаются два корнета в желтых галифе и малиновых гусарках. Раскатываясь по полу, волочатся сабли. Проборы прочесаны как по команде, а на истасканных, жеванных лицах — забубенная скука. Должно быть, не выспались. Их догоняет в серой черкеске с набором серебряных козырей досиня выбритый кавказец. Жирные глаза его блестят, как виноградины черной лозы — «Шварц-Лозе»...

* * *

Высокий Воробьев в своей солдатской широкой шинели с защитными погонами, подняв воротник, тревожно ищет

меня глазами в катящейся ему навстречу лавине офицеров. Из настежь распахнутой двери зябко врываются ветер и снег. Толкаясь, беру у солдата свою шинель, пробираюсь к Воробьеву, и мы выходим. Снег пушит, задернув живою кружащейся марлей густые тяжелые ели. Они утонули в метели, как черный лоскут в молоке. Под ними шипит и вьется поземка, а тропкой, согнувшись, бегут офицеры. С нависших ветвей иногда срываются и бухают грузные хлопья, и после них струятся в воздухе белые крошки и белый дымок.

Мы оба по обычному молчаливому сговору сворачиваем к белому зданию почты. Мы оба ждем писем. Он — от невесты, я — от жены. Рыхлый снег завалил всю улицу, но офицеры уже протоптали дорожку. Целая груда их навалилась теперь у окошечка, где — «до востребования». Прилипли и мы, а сзади все подходят и подходят. Длинная, нудная очередь. Под ногами мокро и скользко, и пахнет прелым солдатским сукном.

— Тарасову-Родионову?.. Нет... Впрочем... да... есть, — неожиданно слышен ответ из окошечка, и желтая сухая женская рука протягивает мне помятый дешевенький серый конверт.

Я узнаю, чье письмо. Мое сердце радостно жмется и весело бьет.

— А Воробьеву?..

— Воробьеву... Нет Воробьеву...

Мне очень хочется разорвать конверт здесь же и проглотить долгожданные строки, но зачем обижать Воробьева? Прячу письмо и шутливо толкаю товарища к двери.

— Спешим, брат Ваньчо, а то опять попадем в пятую очередь на обед.

Двухэтажное здание почты остается висеть на самом краю горы. От него вниз — крутая и долгая деревянная лестница с тремя небольшими площадками. Ступеньки

намерзли, и кожа подошв то-и-дело скользит и срывается, лязгая о них шпорами. Того и гляди — упадешь. В мохнатых перчатках хватаемся мы за охолоделые перила. Внизу, как в тумане, не видно почти ничего. Буран все завесил свистящею пляской снегов и дерзко вздувает нам полы шинелей. Только еле мелькают вдали, словно тени, сугорбленные фигурки пешеходов. Воробьев хмур, и я просто не знаю, чем беднягу утешить.

Дальше за лестницей еще хуже. Крутая укатанная дорожка совсем не держит. Вцепившись друг в друга, мы на ногах съезжаем по ней прямо вниз, к деревянным лавчонкам, где торгуют всякой офицерской мишурой. Широкие окна лавчонки густо замерзли веерами белых пальм, посиневших от сумерек. Но зажженные лампы-молнии уже протаяли на стеклах круглые плачущие озерца. Сквозь их мокреть игриво улыбаются гирлянды блестящих пуговиц, погон и позументов. Мне кажется сначала, что это — рождественские игрушки и сейчас запахнет пряником и елкой.

— А ты заметил, — оборачивается вдруг Воробьев, — как шикарит этот князек? Пулеметы уже нацепил на погоны, а ведь сам только первый раз сегодня пришел. Ишь, форсят, сволочи!..

— Голубокровый... Что же ты хочешь?..

— Нет, ты только подумай, Сашка! Через десять дней нам — на фронт, в самое пекло, с пулеметом и под пулемет, а чем мы их хуже?! Как ты думаешь?.. Не купить ли? — спрашивает он и вдруг умоляюще смотрит на меня уже возле самой двери лавчонки.

Мы заходим. Торгаш сидит в шубе, и вместо елки здесь пахнет клеем, но мы покупаем по две пары стрелковых погон с малиновым просветом и серебряными звездочками и сияющие пулеметики к ним, такие же точь-в-точь, как у князиньки, и несколько аршин малиновой тесьмы, чтобы

обшить ею ворота наших гимнастерок. И выходим, как ребята, накупившие себе полные карманы сластей. Теперь Воробьев, должно быть, забыл уже про письмо и сияет. Чем бы дети ни тешились...

* * *

В деревянном корпусе офицерского собрания все еще тесно, хотя много офицеров успело уже пообедать и теперь выходит, икая, куря и балагуря. Все столы всех трех комнат заняты сплошь офицерами: кто обедает, кто пьет квас. На белых скатертях — крошки черного хлеба, крупинки гречневой каши, мокрые следы от суповых тарелок и рыжие пятна подливки. В комнате душно, табачный туман, лязг посуды и вилок и несмолкаемый говор.

Мы встаем в дверях третьей комнаты, неподалеку от стола. У стены, рядом с нами, полурасстегнув закапанный китель, сидит плохо выбритый худой капитан. Из-под грязного, чуть-чуть откинутого ворота его рубашки тускло светится серебряная цепочка нательного креста. Сопя и качаясь, он посоловело щурится из-под опухших век на плавающую в чаду электрическую лампочку над столом, сосет толстую папиросу и слушает изогнувшегося к нему разбитного прилизанного поручика в модном коричневом френче и с панцырной золотой цепочкой на кисти левой руки. По пьяному лицу капитана ходит дремучая улыбка, как потемневшие валы по широкому озеру в порывистый ветреный день.

— Чудак ты, право, Вольдемар! — говорит поручик придушенным голосом. — Неужель тебе хочется снова разводить окопных вшей? И это после того, как вчера ты всех нас намазал? Сорвать под ряд четыре банка! Это чертовски! Тебе адски везло, Вольдемар! Послушай, если бы ты захотел только бросить сейчас на это, понимаешь, каких-нибудь десять несчастных «петрух», уж я-то бы пору-

чился тебе наверняка, как другу. Уж я-то для тебя обделал бы все это дело. Ты знаешь, через князя Андроникова...

Но тут поручик тревожно на нас оглянулся и сразу сошел на глухой и настойчивый шопот.

Капитан равнодушно перебросил языком папиросу в другой угол губ и свирепо почесал под рубашкой, попрежнему не отрывая от лампочки своих мутных прищуренных глаз.

Поручик вздохнул, залпом глотнул стакан квасу и вновь зашептал, наклоняясь к капитану. Я мог разобрать только:

— ...штаб... на комиссию... командировка...

А капитан молчит, чешется и, качаясь, жует папиросу.

Мы поспешно занимаем рядом с ним только что освободившиеся места и бросаем солдату-слуге обеденные талоны.

Дальше ждать я уж не могу. Достаю и разрываю серый конверт. Каждый занят своим делом, своею едой и своей болтовней. Какое кому дело, что я буду читать письмо? Только Воробьев снова хмурится и, сопя, уходит взглянуть на бильярдную, откуда давно уже доносилось костяное щелканье шаров. Я бережно разглаживаю письмо на столе, сдувая крошки, и жадно читаю знакомый ласковый почерк:

«Мой миленький Шуренок!

Ты уехал, и жизнь опустела. Я просто не нахожу себе места, и мне даже кажется порою, что все это только тяжелый длинный сон. Что стоит лишь мне вот-вот проснуться, и ты снова, как и прежде, со мной... И сердце тоскливо забьется...»

В столовой, должно быть, действительно очень жарко. Я наливаю из запотевшего графина квасу в стакан и пододвигаю его к себе. Теперь можно опять продолжать.

«Федор очень старается. Он так рад, что ты не взял его с собой на позиции, а оставил при нас. Паек мы наш получили и ту часть жалованья, что ты мне оставил. На троих это очень скудно, но что же делать?.. На улицу я почти не выхожу. В город опять привезли много раненых. Когда смотришь на этих несчастных искалеченных людей и встречаешь их молчаливые измученные взгляды... сердце сжимается при мысли, что вот скоро и ты — на позициях, и вдруг больше не вернешься!.. Зачем и кому все это надобно?! Как жестока, если подумать, эта проклятая жизнь! Как коверкает она миллионы людей, а главное — нет никакого просвета... Но что же делать?.. Я купила толстой шерсти, еле достала. Вяжу тебе теплые носки. Ведь говорят, что там в окопах — вода. Долго ли простудиться. Как только свяжу, сейчас же пришлю. А пока, мой миленький, ты обязательно, смотри, купи себе хоть две пары шерстяных носков в Питере... Вот мне досадно также, что карточки от тебя не осталось. Есть, да уж очень давнишняя. Если бы ты снялся и прислал бы мне ее поскорее... Почем я знаю, увидимся ли мы вновь с тобой?..»

В горле закипает горечь. Но я быстро отпиваю глоток холодного квасу и теперь замечаю, что солдат принес и расставляет тарелки с борщом. Надо скорей дочитать.

«Ты прости, что я все хнычу, но что же делать? Миленький, если бы ты знал, какая это тупая и дикая боль. Ты прости... Я постараюсь больше не тревожить тебя, как ты пишешь «этой глупой хандрой». Зачем?! Ребята здоровы, немного шалят и сильно скучают по тебе. Пиши, мой Шуреночек, почаще. Немедленно же сообщи мне свой адрес в случае его перемены. Как бесконечно долго идут наши письма!.. Прости

мне, мой миленький, за мою безумную тоску... Когда же кончится, наконец, эта проклятая война?!. Как бессмысленно высасывает она у всех последнюю кровь! Но что же делать?!»

«Да, что же делать?!» — говорю я так внушительно и твердо сам себе в своих мыслях и крепко стискиваю губы. Но — это я про себя. И вдруг почему-то все очень быстро и очень внимательно поворачиваются и смотрят на меня, и весь шум разговоров сразу падает. Передо мною нагибается солдат и осторожно берет от меня из-под руки какие-то стеклянные осколки.

— Разрешите получить, ваше высокоблагородие, что раздавили стакан.

— Хам! — вдруг кричит капитан и вскакивает, дико рванув ворот своего расстегнутого кителя... И не поймешь сразу, на кого он кричит: на денщика или на поручика.— Хам! — кричит он исступленно. — Столичная сволочь! Ты думаешь, что я за взятку продам своих фронтовых ребят, променяю на вас, паразитов?! Мразь! — вопит он, кидаясь к поручику, растерянно съежившемуся и прикрывшему голову руками. — Мразь! На̀, возьми вот! — с треском рвет он рубаху и выпячивает под серебряной цепочкой креста глубокую розовую яму, зияющую рваным пятном возле плеча.

— Тише!.. Что вы?.. Тише!.. Опомнитесь! — закричали и набросились на него со всех сторон офицеры. — Разве так можно?! В офицерском собрании! Где ж честь мундира? — и его бережно схватили за руки и обессиленного усадили на стул.

* * *

Отряхиваясь от облепившего нас снега, мы поднимаемся вместе с Воробьевым к себе на квартиру черным ходом, по лестнице вверх. Сначала — кухня, где пахнет гнилою мор-

ковью и прокисшим супом. Денщик Воробьева быстро взлетает от раскрасневшейся Мотьки — хозяйской стряпухи — и встает перед нами во фронт.

— Ферапонт, самовар, — бросает ему Воробьев, — и лампу! Живо!

Денщик со всех ног громыхает вперед.

В столовой трепетный полумрак от розовой лампадки, грузный ореховый буфет и обеденный стол посредине под низко нависшим потолком.

На окне, я это знаю, валяется прошлогодняя «Нива». В ней, что яичек на пасху, груды овальных портретиков с господ офицеров. Лихо надвинутые фуражки, подстриженные усики, бритые подбородки. Все это — «павшие с честью на поле брани за родину и монарха». Солдатских карточек, конечно, здесь нет. Да и разве можно переснять миллионы всех этих безвестно погибающих Ферапонтов и Федоров — огромное крестьянское месиво, жирно удобряющее мужицким мясом фронт.

Хозяйка квартиры — старая дева в черном, как вакса, парике и с ровным оскалом вставных челюстей — обычно сидит в своей комнатке и выходит сюда только к чаю.

На скамейке, в столовой, возле жарко натопленной печки зябко кутается в шаль молодая племянница хозяйки — Зинаида Ефремовна. Месяц тому назад она вышла замуж за приезжего сюда поляка-офицера, познакомившись с ним только накануне своей свадьбы. С мужем она провела пять медовых ночей, после чего он уехал обратно на фронт. Теперь она пишет ему каждодневные письма. Каждый день получает ответы и томно благоухает перед нами в наивном бесстыдстве разбуженной чувственности. Сейчас она повертывает к нам свою маленькую головку с подстриженной темной прической и «мило» прищуривается.

— Ну, как ваши дела, господа офицегы?.. — говорит она с развалочкой и в нос, слегка картавя, словно рот ее

постоянно полон слюны. — А вы знаете, я опять получила сегодня письмо, — добавляет она, не дожидаясь нашего ответа, и при этом кокетливо изгибается, полуоткрыв пушистый рот с чуть выпяченным горбиком верхних передних зубов.

Мы галантно целуем ей ручку, — нельзя же: дама, а мы офицеры, — кидаем пустячковые фразы и проходим к себе.

— Ах, как забавно он пишет, мой Стеф, — картавит она нам вдогонку. — Хотите, пгочту?..

Наша комнатка очень мала и зверски морозна. В двух стенах — по окошку. Они вечно покрыты толстым колючим слоем белого пушистого инея. В форточку дует, дует и полом, потому что внизу, говорят, неотапливаемая холодная лавчонка. Небольшая железная круглая голландка в углу дает быстрый нагрев, но часа через два безнадежно охладевает. Тогда коченеют руки и ноги, а изо рта струится пар.

Денщик Ферапонт, обжигая спичкой пальцы, уже зажег керосиновую лампу и бережно накрыл ее стеклянным абажуром. Зеленые полутени заливают теперь мою кровать у стены и походную складную постель Воробьева, которую он распростер как раз посредине.

— Самовар — самоваром, а ты, Ферапонт, прокали-ка, брат, скорее нам печку, — и Воробьев зябко горбится и потирает застывшие руки.

А я, кинув шинель на кровать, бреду темным коридором назад в столовую и сажусь перед печкой прямо на корточки. С наслаждением впитываю через одежду всеми порами тела сухой и живительный жар. С какой-то ласковой усталостью любуюсь, как подергиваются один за другим легкой пленкою пепла красные, еле слышно звенящие угольки. Хочется не думать сейчас ни о войне, ни о мясорубке «Шварц-Лозе», ни о княжеском тыле, ни о раздавленном стакане... Но я чувствую справа в тени готовно-на-

стороженное, шершавое от пудры лицо Зинаиды Ефремовны и вижу пододвигаемый стул.

— Садитесь, погучик. Ведь так же вам неудобно. Хотите, — игриво картавит она, — я пгочту вам письмо?

— Письмо?.. Ну, зачем же?.. Ваши тайны. К тому же я за день так измотался и так перезяб... Знаете, вы разрешите мне так вот погреться здесь, попросту... просто без стула?

Она незаметно встает и в мерцающем отсвете розовой блеклой лампадки потуже запахивается в шаль.

— Ну, и тюлень!.. Впгочем, как хотите. Сидите, ггейтесь... А я вот пойду тогда к вам и, может быть, вытащу погутчика Вогобьева в кинематоггаф... А то вы совсем бгосили своего товагища. Эх, вы, тепличное гастение!..

Она плавно уходит и уносит с собою сухую свежесть каких-то пахнущих полынью духов. Не меняя своего положения, я пододвигаюсь и сажусь на нагретую ею скамейку. Теперь вот — совсем хорошо! Мыслей нет никаких, только вижу горячие красные угли, по которым коегде лукаво прыгает лиловый язычок. Так тепло и так тихо. И чорт с ней, с войной! Фронт — так фронт... Что же делать?!.

ГЛАВА II.

Всю ночь шипела вьюга, а утром снег лег сияющим на солнце пушистым покровом, легко и ровно укутав остроту карнизов и резкость заборов.

Деревянная настилка открытой галлереи Балтийского вокзала сплошь размохрилась щетинистым инеем, синеющим в тени и ослепительно ярким на солнце. Половицы гулко скрипят под сапогами, и кажется, будто этот морозный солнечный скрип стоит сейчас всюду. Скрипят люди, спешащие с вокзала. Скрипят острые полозья извозчиков, режущие россыпи рыхлого снега. Скрипят воза ломовиков, ныряющие в упругих ухабах с тяжелыми кладями мешков и ящиков. Скрипят, должно быть, и эти высокие многоэтажные дома, зубасто улыбающиеся голубому небу отблеском своих окон и пускающие к небу прямые тающие столбы палевого дыма. Топчутся от мороза и скрипят на снегу вереницы закутанных и замотанных женщин, подростков и старух, сгорбившихся в очередях перед мясными и бакалейными лавками, где нарисованы веселые быки на крутых зеленых обрывах и бело-синие головы сахара.

Вдоль толстых каменных желтых амбаров, лениво уснувших по ту сторону Обводного канала, размашисто и бестолково-суетливо марширують буро-серые взводы солдат. Они то-и-дело, порывисто, все — как один, круто поворачиваются на-ходу, неуклюже вскидывая враз по-

лами шинелей, и потом напряженно и оголтело долго толкут ногами снег на одном и том же месте, отчаянно при этом размахивая посиневшими от мороза руками. От разгоряченных и обессиленных солдат идет густой пар, а прапорщик на углу хладнокровно дымит папиросой. Вся эта толчея носит название «шага на месте» и считается важным военным упражнением, обязательным для отправляемых на фронт маршевых рот. Раз уж война, так война до победы.

Весь стылый и заиндевелый трамвайный вагон, звеня и качаясь, мчится к центру. На замерзших белых пушистых окнах, мягко сияющих солнечным светом, быстро проносятся синие тени домов. Сизые тени мигают по лицам людей, туго набивших вагон. Против меня, обмотав шарфом ворот засаленного пальто, сидит редкозубый рябой человек. На оттаявшей щетине его полинялых отвисших усов дрожит и сверкает еще неупавшая капля. Он снисходительно смотрит на кожаный картуз своего моложавого спутника, растерянно теребящего конец ватной тужурки и жамкающего жалкие слова:

— Оттого и идет все, что угля, вишь, нет. А какая, к примеру, без углев оборона?! Через то и цех-от закрывают. А как цех закроют, куда теперь денешься? Видал, сегодня порасклеили? Уж восемнадцатилетних призывают, а нашего брата, только уволься — живо на фронт. Намедни вон полковник Кутейников говорил...

— Кутейников, Кутейников, — насмешливо передразнивает его усатый. — Ежели бы поменьше вот Кутейниковых этих слушали, давно бы, смотришь, мир уже был бы. А то что?! В шахтах эти самые австрияки-пленные копают. Накопают они тебе углей? — как же, держи фартук шире! Вестимо, при наших порядках седни один цех закроют, а завтра, гляди, и весь Путиловский остановят. Директорам да инженерам — им что! Без работы кутейничать им

не привыкать стать! А вы, гужоеды деревенские, и уши поразвесили. Натарахтели вам Кутейниковы про оборону, вы и повыбирали олухов царя небесного. Представители, вишь, наши! «Рабочая группа»! Центральный военно-промышленный комитет! Оборона отечества, вишь, с нашим рабочим почтением! Вот и прописали вам теперь «почтение». Всех молодчиков третьеводни, как миленьких, в Кресты за решетку свезли! И Гвоздев эриксоновский, заводиловщик, с ими! И его туда же. Ништо, пущай теперь поизучат, как оборону вести, за царя-батюшку кишку класть!

— Полегче, смотри, — испуганно тычет его в бок, понизив голос, кожаный картуз и тревожно глядит на мои офицерские погоны.

Усатый виновато ухмыляется, замолкает и закопченным щербатым ногтем принимается прочищать и протаивать в инее окна прозрачное ледяное пятнышко.

— Опять вон сегодня четыре копейки на сахар набавили, — шамкает старуха, закутанная по самый нос в дырявую рыжую шаль, оттаявшую от дыхания. — Да и за фунтом-то стояла-стояла, все ноги-рученьки поотмораживала.

— И-и, милая, а до масла и вовсе приступа нет, — вторит ей драповая ватная жакетка.

— И не знай, когда господь смилостивится! — продолжает старуха. — Вчера, слышь, его преосвященство митрополит Питирим именинником был. Литургию в Казанском служил. Народищу — страсть! А уж говорил он, милая, аж так жалобно-жалобно — почитай, все плакали! Все про войну да про смуту. Оттого, грит, и дорого стало, что печальника земли русской злодеи убили.

— В аккурат, — неожиданно поддевает усатый, — вы и впрямь бы угодничку новопреставленному Григорию помолились бы, бабушка! Авось он с неба, глядишь, сахарку и мясца вам пошлет.

В вагоне хохочут.

— Сам молись, окаянный! — огрызается злобно старуха и с гневным презрением перекидывает с руки на руку выеденную молью ковровую сумку. — Ишь, спокоя нет на них, смутьянов! Фараонов уже, родимые мои, перестали бояться. Вот через все это и товаров не стало, что бастуют, ироды! На фронт, вишь, не хотят. Вон ряшки-то в тылу как расперло!

— Расперло, знать, у тебя, бабушка, да и то, кажись, не с того конца! — отвечает усатый.

Снова хохот, а парень в картузе весело подмигивает.

— Тьфу, окаянные, прости меня, господи! Свяжись только с ими! — и старуха плюется и злобно шаркает по плевку ногой.

Я схожу на Знаменской площади. Налево тонет в морозной сизой мгле широкий шумный Невский. Справа сумрачный Николаевский вокзал бросает на площадь муравьиные рои пассажиров. А посреди площади, за полосатой будочкой со сгорбленным от мороза наполеоновским гренадером, на широченном громоздком гранитном комоде, придавив широкозадого битюга, сопит, подбоченясь, матерой урядник, выкатив чугунные скулы из-под татарской шапчонки. Вот она вся — великая царская самодержавная Россия.

* * *

Фотограф — на Невском. В витринах большие коричневатые портреты. Кудрявые, словно болонки, матовые от пудры артистки и гладко прилизанные, словно яблочки в масле, щеголи во фраках и мундирах. На всех фотографиях возле голов какие-то лепестковые блики кабинетной таинственности. На то и первоклассный фотограф. Правда, цена дорога. Но впереди через несколько дней все равно ведь неумолимый фронт, и уж если посылать с себя портрет домой... «Ладно, фотограф, снимайте!»

С самодовольной дерзостью вешаю свою потрепанную солдатского сукна шинель рядом с разглаженным и раздушенным регланом из английского драпа. В полусумраке пыльной портьеры приглаживаю перед сизым зеркалом волосы и любуюсь, как серебряные пулеметики на моих погонах струят тихий матовый свет.

* * *

Мимо элегантных пальто с котиковыми воротниками и худосочных дам в пушистых шеншелях, мимо побрякивающих по каменным плитам широкой панели кавалерийских шашек и палашей пробираюсь к Морской. На углах всюду расклеен новый приказ о призыве 1898 года. Рядом огромные объявления о втором выпуске военного займа 1916 года.

А вон за непроницаемо-толстым огромным зеркальным стеклом приветливо улыбаются живые цветы. Свежие чуть зеленоватые, белые шапки махровых хризантем, тугие и круглые, как капустные кочаны, розы. Когда двери магазина распахиваются, до меня доносится болезненно тонкий блеклый запах, вернее — тень запаха этих тепличных цветов.

Возле самых дверей, прижавшись к водосточной трубе, прыгает с ноги на ногу и дует в побуревший кулачок маленькая оборванная девочка. Она мгновенно протягивает руку навстречу выходящим из магазина и в жалобной гримасе растягивает рот.

— Ба-арин, па-а-дай ка-пе-е-ечку, Христа ра-а-ади!— нудно тянет она, трясясь и пугливо озираясь по сторонам, как звереныш.

Но вышедший котиковый воротник в лаковых штиблетах без галош ее не замечает.

— Ожурдюи иль фе тро фруа, шер контес, — говорит он слащаво, подсаживая в блестящий черным глянцем лимузин длинноногое мохнатое манто. — Цветы озябнут,

если их не укрыть сейчас же пледом! — И он очень бережно вытягивает в руке туго закутанный в несколько бумаг огромный букет и неуклюже вползает в авто.

* * *

В штабном магазине нет руководства к пулеметам Шоша. Очень досадно. Завтра экзамен, а это единственный пулемет, которого я не успел изучить.

От нечего делать растерянно заворачиваю за угол. Вон, посреди площади — огромный толстый столб из гранита, и бронзовый ангел с крестом глядит с его высоты. А под ним — стройный и длинный, с колоннами вроде прилепленных пальцев, трехэтажный Зимний дворец. Он глядит пустынно и зловеще, будто весь он густо заплеван запекшейся старою кровью. Ведь здесь вот, об эту же пору, двенадцать лет тому назад белая перчатка офицера сверкнула зеркалом сабли, и треснул залп и треснул снова, раздался дикий исступленный крик, тревожно закавкали взлетевшие с деревьев галки, и кто-то тихо, бессильно завыл, прижимая к замерзшей каменной тумбе навылет простреленный рот с раскрошенным месивом зубов. И морозною ночью какие-то черные тени при шашках и свистках свезли на санях штабелями и наспех зарыли в мерзлых ямах две тысячи закоченевших трупов.

Двенадцать лет тому назад! Тогда я был еще глупым зеленым студентом. Щипал пушок на верхней губе, любил «Дикую утку» Ибсена, «Утро» Грига и беклиновских кентавров. Выходя из театра, ошалело прочел тогда на углу Дворянского собрания, среди тревожного шопота проходящих, только что расклеенный приказ губернатора и телеграмму о питерском расстреле. Прочел и спокойно этак взглянул на снятую с руки перчатку, а потом вдруг нестерпимо стало до крика горько, стиснул зубы, рванул перчатку пополам и кинул... Через год я приехал в Питер

и посмотрел на этот дворец. В моем кармане лежал тогда билет корреспондента Государственной думы и зашифрованный адресок конспиративной партийной явки, и мне казалось тогда, что я — именинник и что послезавтра мы перетряхнем целый мир.

А теперь?

Теперь мимо меня торопливо проходит к Дворцовому мосту взвод солдат под командою унтера. Унтер, утопая в снегу, идет сбоку, косит на меня, пыжится и вдруг, замирая, орет:

— Сми-и-рно! Равненье на пра-во!

— Вольно! — козыряю им.

Да, теперь я — офицер, с револьвером и саблей, крохотный винтик в сложной огромной машине многомиллионной армии его величества. Ведь это меня благословляет крестом на «подвиг ратный» и на смерть «за царя» медный ангел со столба; и солнечным переблеском стекол ведь это же мне улыбается зловещий от кровавой краски, незлобиво сейчас прикрытый пеленою снега Зимний дворец беспощадных свирепых царей.

Сквозь распушившиеся от белого инея ветви Александровского сквера грозно сереет неумолимо-каменный порядок колонн адмиралтейства, и высоко блестит над ними в лиловеющем от сумерек небе огромный золотой клинок с игрушечным корабликом наверху. Седенький, как пепел, генерал в красных лампасах синих брюк, уткнувшись в бобровый воротник светлосерой николаевской шинели, вразвалку ковыляет впереди, дребезжа шпорами по медным пяткам галош. Встречные солдаты то-и-дело испуганно бухаются перед ним во фронт и ошарашенно несутся дальше.

На Морской — опять котелки и меха, приказ о новой мобилизации и объявления о старом займе, бряцанье палашей и сверканье моноклей, щебетанье французского говорка о кутежах в ресторане Вилла Родэ и запах духов на

морозе, вереницы снующих автомобилей и ленивые выкрики перезябших мальчишек, продающих «Биржевку».

— Америка накануне войны!..

— Американский посол покинул Берлин!..

— Приезд нового японского посла в Петроград!..

— Официальное сообщение об аресте рабочей группы военно-промышленного комитета!

— Официальное сообщение об аресте рабочей группы!

Но эти крики здесь никого не смущают.

На перекрестке темнеющих улиц в черной с красным шнуром шинели, с серебряной гирляндой медалей на выпуклой груди крепко стоит, словно врытый, дородный, толстошеий полицейский. Чугунной рукой он зажал в шершавой кремовой перчатке короткий белый скипетр и самодержавно командует здесь всем движеньем, слегка осаживая племенных рысаков и пропуская вперед автомобили. И желваки его багровых от усердия щек ходят уверенно и прочно, как тяжелые створы тюремных кованых дверей.

Вот он весь тут, императорский Питер, — двухмиллионный вертеп глухонемых чиновников и затхлой помещичьей знати, резиденция обжор и кокоток. Ведь это только так кажется, что он незлобиво фланирует по панелям, покупает цветы и кутит в Виллах Родэ. Ведь это он своим чугунным задом придавил до хрипа всю страну. Ведь это для него мерзнут старухи и женщины в очередях за полфунтом сахара и фунтом крупы. Это для него в зимнюю стужу безропотно, до изнеможения выдалбливают шаг на месте стотысячные гурты пулеметного мужичьего мяса. Это для его столичной обороны двести тысяч закопченных, засаленных блуз покорно точат сейчас здесь у станков стальные стаканы шрапнелей. Трусливые рабы, верноподданно выбравшие «для защиты царя и отечества» какую-то нелепую «рабочую группу». Но для вящшей безмятежности император-

ской столицы испытанный городовой, в гирлянде медалей, уверенно запирает даже этих робких Сусаниных за кованые створы своих желваков.

Он, как гранит, уверен в себе, прост и прям, — императорский Питер, как прост и упрям сверкающий клинок его адмиралтейства. Как будто злой демон России высоко, под самое небо, взметнул над каменными шеренгами серых, застывших петровских колонн золотое зеркало сабли и сейчас вот сверкнет им,— и шеренги колонн пошевелятся и мгновенно ощерятся огненным залпом. И все это знают и покупают цветы, кутят в Вилла Родэ, до одури продалбливают снег «шагом на месте» и безропотно точат шрапнели. И над всеми над ними, крепко вбив руку кренделем в бок, сидит в самодовольной развалке на раскоряченном бесхвостом тяжеловозе неумолимый чугунный самодержец.

«Ну, как же мне не гордиться, что я — офицер?!..»

* * *

Для офицеров существует полосатое красно-желтое кирпичное учреждение на углу Литейного и Кирочной, здание Армии и Флота. В его низких сводчатых залах, торжественно распушенных огнями, дребезжит и фыркает медью оркестр. На светлых столиках стоят хризантемы, и можно недорого и прилично пообедать. Можно даже выпить бутылку пива и полбутылки виноградного вина. Это очень высокая честь для господ офицеров, когда в остальном городе открытой продажи ни вина, ни пива нет. Солдат сюда, конечно, не пускают.

Я наливаю холодный фужер янтарного пива и, запивая жирную котлету с макаронами, читаю принесенную с собою «Биржевку». На западном фронте мелкие стычки, а кавказский фронт, как всегда: без перемен. Эх, вот если бы подвезло, и мне бы попасть на кавказский фронт! В наивной мечте, улыбаясь, смотрю на газету, где если что и напишут,

то лишь как о «павшем смертию храбрых». От этого становится горько, а в уши лезет громыхающее попури из «Жизни за царя». При возгласах «Господа офицеры!» я вместе с другими почтительно звякаю шпорами и, не отрываясь от газеты, привстаю, отдавая этим честь входящим генералам. На то я и винтик прочно слаженной военной машины.

Оказывается, вместо генерала залом неожиданно проходит весьма любопытная группа. С десяток блестящих иностранных офицеров. Сизо-голубые в черных крагах кургузые французы, выутюженные, как гладильные доски, англичане в защитных френчах и коричневых сапогах, вертлявые японцы с вечно удивленными глазами. Все эти иностранные офицеры идут чопорно и важно в сопровождении двух суетливо лебезящих перед ними наших полковников и разглядывают нас через пенснэ и монокли с тою усмешкой презрительного превосходства, с которою посетители зверинцев разглядывают забавных обезьян. По газете я уже догадываюсь, что это — военные атташе с конференции наших «милых союзников», которые неделю назад собрались здесь, в Петрограде, потом прокатились в Москву, а сегодня вернулись назад. Все русские офицеры, сидящие за столиками нашего зала и еще могущие подняться, встают и большинство их раболепно рукоплещет. И гул этих плесков заглушает звенящий и бодрый мотив «Марсельезы», на минуту вспыхнувший в оркестре.

Газета мне скоро наскучивает. Что в ней интересного? Читать о том, как преосвященного митрополита Питирима, ближайшего друга Распутина, вчера в Александро-Невской лавре поздравляли с днем ангела: председатель совета министров князь Голицын, министр внутренних дел Протопопов, министр финансов Барк, обер-прокурор синода Раев, митрополиты киевский Владимир и московский Макарий и архиепископы Арсений новгородский и Тихон

литовский. Или о том, что вчера утром собрание петроградского дворянства единогласно послало верноподданническую телеграмму царю, а вечером было приглашено на традиционный торжественный обед к первому помещику России в его Зимний дворец. Даже сообщение об аресте одиннадцати уполномоченных рабочей группы военно-промышленного комитета уже не трогает больше. Бедные оборонцы! Оказывается, они обвиняются в желании превратить Россию в «социал-демократическую республику»!.. Нет, пожалуй, гораздо занимательнее читать объявления. Здесь, по крайней мере, узнаешь, что в кино «Паризиана» идет «Без тепла, без света, без любви» с участием красавицы Фабиен Фабреж, а вот в ресторане Вилла Родэ — должно быть, много и тепла, и света, и любви, потому что там, оказывается, ежедневно участвуют: мадемуазель Мюгет, мадам де Бриеж, мадемуазель Виолет Ру, ля бель Элен, сестры Ренос и прочие «сестры во Христе». Только, наверное, и дорого же у этих чертей, если вон в какой-то кабачок-кабарэ «Би-ба-бо» на Итальянской за один только вход дерут десять рублей, согласно объявлению. Нет, газета чересчур скучна своею беспомощностью. Гораздо интереснее наблюдать, как ужинающий наискосок от меня подполковник в седеющей оправе бакенбард, потягивая из лафитника бледное винцо, воинственно поглядывает через плечо своей старухи на столик рядом со мною в углу, где сидит в темном газе шатенка. От этой «сестры во Христе» вяло пахнет теплым дыханием духов, а черные притушенные глаза ее смотрят матово, как запотевшие ночные окна. Конечно, все это нравится офицерам, потому что, проходя мимо нее, они нарочно замедляют шаги, чтобы закурить друг у друга или с деланной небрежностью задумчиво сбросить пепел с уже давно потухшей папиросы. Перед шатенкою безмятежно заснул в черном застегнутом кителе рыжий морской лейтенант. Флот стоит в Гельсинках, и

моряки частенько наезжают сюда в командировки. Лейтенант, конечно, успел уже изрядно зарядить и не слышит теперь ни лязга тарелок, ни шумных криков подгулявшей офицерской компании, сидящей от нас за колонной, ни звенящего медного храпа вновь заведенной оркестром настойчивой «Жизни за царя». Лейтенанта давно уже следовало бы увезти домой, чтобы не нарваться на дежурного комендантского адъютанта. Шатенка, должно быть, весьма озабочена этим, и лейтенанта ей не хочется так упускать. Однако какой забулдыга этот лейтенант! Армейские пьянчужки, те всегда заблаговременно успевают благочестиво уплыть во-свояси. Вон по паркету, осторожно передвигая ногами и цепко держась друг за друга, неуверенно ступают, очевидно, вспугнутые иностранцами, прапор и штабс-капитан. Оба пьяны в дым, но оба хохлятся напускною озабоченной деловитостью. Вдруг один из них, не удержав равновесия, с треском и звоном срывается и едва не падает, еле-еле во-время подхваченный неразлучными объятиями друга. Полковник, мечтательно наблюдавший за шатенкой, сразу делает вид, что он поглощен изучением пускаемых колец табачного дыма, а по сторонам не видит ничего.

В переполненном сверх меры трамвае — энергии сейчас нехватает, вагоны поизносились, движение сокращено — возвращаюсь к себе на Балтийский вокзал. Намеченный поезд, оказывается, уже отошел, и следующий пойдет лишь через полчаса. Брожу от нечего делать гулким и мрачным перроном и выхожу вперед на пути. Стеклянная луна, бесконечно высокая, неподвижно струит мертвое сухое серебро на снег и на тугие полосы рельс. Тоска смертная.

В сумерках полуосвещенного вагона скучающе насупились немые пассажиры. Молчаливо, как и все остальные, стараюсь забиться подальше в угол. Какая безнадежная страна!..

* * *

Воробьева нет дома. Ушел с Зинаидой Ефремовной в офицерское собрание, куда днем мы ходим с ним обедать. Там сегодня концерт.

Квартирная хозяйка жалуется. Простофиля Ферапонт не смог найти сегодня дров. Все офицерские денщики прекрасно достают, тайком ломая по ночам обывательские палисады, а этот тюлень теперь, накануне отъезда на фронт, совсем отбивается от рук. Не успеем ли мы с Воробьевым получить дровяной паек в школе? Обещаю, чтоб отвязаться, похлопотать.

А в комнате действительно зверски холодно, да и спать совсем не хочется. Тоска, тоска и тоска! На концерт, что ли, пойти?

Покупаю со злостью дорогой билет и сажусь во втором ряду. Ни Воробьева, ни Зинаиды Ефремовны нигде что-то не видно. На эстраде бритая челюсть в топорщащемся фраке выводит гниловатым тенорком «В бурю, во грозу» из «Жизни за царя», и я вдруг с ужасом чувствую всю чугунную тяжесть и машинную настойчивость этих таких незлобивых мотивов.

Публики много. Большинство офицеры. Есть и дамы, полковые кадровые дамы. Это сразу же видно по их завистливым взглядам и скучным тощим прическам. Во время антракта они враждебно подкалывают друг дружку злыми глазами, приторно обмахиваясь любезно-слащавыми улыбками. Перед ними то-и-дело расшаркиваются и чмокают в шершавые ручки табунки офицеров. Возле одной дамы в первом ряду особенно густо. Впрочем, это оказывается вовсе не дама, а сам начальник Офицерской стрелковой школы, генерал Филатов. Коренастый, с густыми бровями и окладистой бородой, он напоминает чем-то Льва Толстого. У обоих волосатые щеки. Только взгляд у генерала

добродушно-прищуренный, с самодовольной хитринкой. Возле его широченной старухи-генеральши вьется вьюном его адъютант, капитан Локтев. Черная щеточка усиков, ровный пробритый пробор, блеск фикстуара и мягкий лак сапог. Небрежно-учтивая игра аксельбантом и почтительно-пресыщенный оскал приклеенной улыбки. А черный дерзкий глаз в уверенной прищурке неутомимо летает по всему залу, успевая в одно и то же время улавливать малейшие движения генерала. Образцовейший адъютант! Возле генерала осела целая свита полковников и капитанов, командный кадр школы и ее пулеметных полков. Но наш адъютант почтительно ревнив и дипломатически тонок. Он — в курсе всех дел и превосходно умеет во-время вставить нужное словцо генералу и так обернуть разговор, что генерал послушно жмет руку и отпускает от себя собеседников одного за другим. Теперь генерал весело разглаживает широкую бороду, генеральша важно застывает, как поставленное в ледник желе, а ловкий адъютант уже успевает игриво словить откуда-то сбоку робко скользнувший взгляд лукавых, как мокрые вишни, женских глаз. А здорово все окопались здесь, черти!

Вдруг капельмейстер стучит по пюпитру, шум затихает, все садятся, и по залу плывет, колыхаясь, томительный, напевный, грустный марш. Марш пулеметчиков — «Аша».

Я закрываю глаза. Мне чудится, что сейчас жаркое, знойное лето. Поют кузнечики, а воздух стоит, как стеклянный. Мои сапоги пожелтели от пыли, а бока моей лошади лоснятся от пота. Я — впереди. Сзади устало качаются один за другим пулеметные конные вьюки. Загорелые и потные солдаты с кривыми бебутами у поясов и карабинами за плечами понуро черпают тяжелыми сапогами мягкую рыхлую пыль и идут, все идут и идут. Я еду шагом впереди их, покачиваясь в такт ходу лошади под мерное поскрипывание седельной кожи и крепко зажав шенкеля.

Солнце безучастно горит и, растекаясь огнями, плывет высоко-высоко в прозрачно-голубом эфире. Какая торжественная грусть! Я безнадежно теперь понимаю, что сзади брошено все: вся разноцветная шумная жизнь, душистая любовь и сочные надежды на какое-то всечеловеческое счастье. Теперь веры не осталось ни во что. Впереди у всех нас — одна лишь сухая и пыльная смерть. Нелепейшая смерть без всякого порыва, чугунная гибель без тени оправданности, дурацкий прыжок в пустоту. Можно сказать: офицерский прыжок в пустоту. Это одно и то же. Прощай, здравый смысл!

На то я и винтик огромной военной машины.

* * *

Утром неожиданно вваливается прямо в холодной шинели и мокрых от снега сапогах Марцинкевич — прапорщик, приехавший сюда вместе с нами из одного и того же полка.

— Ребятишки, чего же вы дрыхнете? Скорей одевайтесь! Приказом по школе сегодня в девять назначена поверочная стрельба. Через полчаса нам всем надо быть уже на стрельбище у пулеметов. Смотреть будет сам Филатов. А вы тут разоспались. Ну, и лежебоки!

Вставать действительно адски не хочется. Под одеялом и шинелью так тепло, а только что высунутая наружу рука сейчас же покрывается от холода гусиными цыпками.

— Ишь, не было печали, черти накачали! — ворчит Воробьев, решительно спуская волосатые ноги прямо на студеный пол. — А когда же экзамен? Ведь в одиннадцать должен был начаться экзамен?

— Экзамен, по приказу, переносится на двенадцать. Не тужи, успеешь еще провалиться. Только, ребята, сбирайтесь мигом. Я ждать вас не буду. Спешный аллюр. Три креста, — и Марцинкевич крепко и румяно хохочет.

— Ну, и черти! — ругаемся мы и, быстро одевшись и наскоро всполоснувшись, летим, что есть духу, на стрельбище.

Сегодня пасмурно и много теплее.

— Смотри, Ваньчо, пуля сегодня будет итти тяжело,— предупреждаю я, — как бы не снизить.

— А ты думаешь, будем стрелять? — снова смеется Марцинкевич.

Мы удивленно смотрим на него.

— Не бойтесь, я все уже разузнал. Филатов стрелять не любит. Надо только держать в руках его линейку. Да вот увидите сами.

Ни черта не понимаю!

Стрельбище — большое, покрытое глубоким снегом поле. На краю его мокро сереет голый безлиственный лес. Пулеметы стоят на линии. Здесь только кольты и максимы. Шоша, слава дьяволу, нет! Далеко на опушке леса перед покрытою снегом насыпью сереют мишени. Возле пулеметов возятся солдаты, кадровая прислуга. Идет смазка и поверка. Один за другим подходят запыхавшиеся офицеры. Капитан, записывая фамилии, распределяет всех нас по пулеметам. Воробьеву достается максим. Мне рядом — кольт. Я не тужу и не волнуюсь. Знаю их оба хорошо. Но кольт, разумеется, проще. Бьет медленнее и тяжелее, но нет ни станка Соколова, ни абракадабрского замка, а самое главное — всего лишь восемь задержек. Для прапоров — одно удовольствие. Облиман, как говорят юнкера.

Тщательно укрепляю остов станка, пробую вертлюг. Пулемет врезался прочно. Проверяю раму. Ходит легко. Мотыль и шатун, возвратные пружины и спусковой крючок — все в порядке. Теперь освобождаю вертлюг, подпимаю ствол мушкой повыше, закрепляю. Пропускаю ленту, продернув до отказа, отвожу и отпускаю мотыль и ставлю предохранитель на огонь. Все готово.

Воробьев рядом что-то ворчит. У него непослушно топорщится один палец Глазатова. А кругом уже кипит лихорадочная работа. Офицеры готовят и проверяют пулеметы. То-и-дело, торопливо захлебываясь, словно сеют через железные решета свинцовый горох, в сыром воздухе хохочут пулеметы.

Я спускаю курок. Кольт дрожит и неистово лает быстрым огненным грохотом. Ребристый ствол поднагрелся чуть-чуть. Все превосходно. Ну, а где же наш генерал? Уже девять.

Уже девять, и с каждой минутой становится все светлее и светлее. Уже бурее и синее выглядывает лес. Яснее обозначаются перед ним дальние мишени. С краю возле них вырисовывается и направляется к ним с красным флагом группа махальщиков-солдат.

Солдаты с красным флагом?! Перед моим наведенным на них пулеметом? Я ничего не понимаю от какого-то невероятно дикого радостного волнения. Нет, мой пулемет нацелен в небо. Встаю и дрожу нервной дрожью.

— Огонь пре-кра-ти-ить! — несется команда капитана.

И вдруг перед глазами встает вчерашний разговор усатого в трамвае. Добродушные глаза, пегий шарф и оттаявшая капелька на свесившихся усах.

А если будет команда «огонь»!?

Сердце неистово колотится, и руки немеют.

Справа слышен неясный крик, и капитан, держа под козырек, бежит направо. Все головы оборачиваются туда, где маячит подъехавший автомобиль и вылезают из него военные.

— Линейку. Саша, линейку не забудь, — возбужденно кивает Воробьев. — Филатов!

Генерал в сопровождении пяти офицеров медленно переходит от одного пулемета к другому, причем его свита

толпится гурьбою и мешает пулеметчику работать. И действительно, ни единого выстрела.

Я достаю из кармана филатовскую линейку. Это — жестяная пластинка размером в открытку, окрашенная масляной краской. На ней нарисован солдат, по краям нанесены шкалы различных делений. Удобное пособие для глазомера и определения расстояния для прицела. Я вытягиваю ее перед глазами и смотрю через ее край на мишени.

— Полезная штука, — говорю я вслух непроизвольно.

— Да, старикан на этом патенте здорово подрабатывает, — неожиданно в тон мне продолжает обрюзгший и недобритый штабс-капитан с башлыком, возившийся у максима, слева. — Вообще, генерал наш не спит. Вот этот станок Соколова. Вы думаете, в чей карман денежки сыпятся? Генерал как-то сумел его околпачить, построил на паях завод. А думаете, мало этих станков теперь требуется?.. Да, кому смерть, кому деньги... — ворчит он в раздумьи. — А теперь вот подсыпался к Федорову. Мудрят какое-то ружье-автомат. Говорят, что ни к чортовой матери. А может, просто не успел еще кое-где смазать. Одним словом, вы не думайте, Филатыч наш не зевает... Вы линейку-то не прячьте. Ерундите с ней как-нибудь. Смотрите, к вам идут...

Действительно, бросив уже Воробьева, ко мне колыхался генерал. За ним ступали те же полковники и капитаны, что подсаживались к нему вчера на концерте. Капитан Локтев, небрежно качаясь, шел как-то сбоку с приклеенной скучающей улыбкой и забавлялся тем, что бороздил по утоптанному снегу шпорами, спущенными для оригинальности ниже пят. Его приподнятые брови говорили: «Ну, давайте, кончайте поскорей эту ненужную галиматью!» Полковники наступали за генералом твердо, подходили плотной стеною и смотрели молча и лениво-холодно

выдержанными равнодушными глазами. Зато генерал, пыхтя и отдуваясь, сразу же взял у меня из рук линейку. Он взглянул через нее куда-то вдаль мимо моего плеча; лицо его добродушно и радостно прищурилось, и он сразу же засыпал меня шепелявыми вопросами, на которые поспешно сам же отвечал, игриво повертываясь и ко мне и к застывшим полковникам. Я пробовал было его перебить, чтобы показать, что я все это сам знаю. Но меня дернул сзади за шинель подошедший штабс-капитан. Я сразу же прикусил язык, ел начальство восторженным взглядом, изредка испуская поддакивающе-почтительное мычанье. Под такой аккомпанемент Филатов пришел в буйный восторг. Того и гляди, раскачивая линейкой, пустится в пляс. Но капитан Локтев, пристально взглянув на меня, звякнул шпорой и посмотрел на генерала иронически. Я замолк, а генерал сконфуженно обмяк, ласково передал мне линейку и поковылял к штабс-капитану.

Подавляя душивший меня смех, я отвернулся. Воробьев распялив улыбку, разряжал свой пулемет.

* * *

Экзамен был посерьезней. За столом в классе сидел командир 1-го пулеметного полка, строгий усатый блондин, полковник Жерве. Рядом в вытяжку сидели его капитаны. Они были для мебели, потому что экзаменовал он сам единолично, холодно отрубая вопросы. У прапорщиков из потных дрожащих рук валились пулеметные части, и они, спотыкаясь о станки и треноги, отходили красные, с безнадежно растерянными лицами.

Жерве враждебно скользнул взглядом по моему кителю с университетским значком и, записав мою фамилию, небрежно кивнул на кучку металлических частей на столе.

— Соберите, подпоручик, этот замок.

Это был максим, и я начал торопливо сбирать привычными движениями. Под руку попался второй экземпляр шептала. Я его откинул. Совсем нехватало верхнего предохранительного спуска. Зато валялся ограничитель из пулемета льюиса.

— Замок нельзя собрать, господин полковник, — с холодной почтительностью отрапортовал я, — нехватает спуска, а вместо него дан ограничитель от льюиса.

Он внимательно взглянул на меня, загадочно улыбнулся своим капитанам, холодно кивнул мне и процедил:

— Достаточно, поручик, можете итти.

— Он поставил тебе «весьма», я видел, — радостно сообщил мне потом Воробьев.

— А тебе?

— Чорт его знает, но я отвечал хорошо.

* * *

Надвинулся вечер. Воробьев кряхтит, затягивая свой чемодан.

— Вот и кончилась, Сашка, наша ораниенбаумская лавочка. Завтра прочтем в приказе, на какой фронт нас погонят. Хорошо бы нам с тобою опять в один полк.

Я молчу. В комнату крадутся жуткие синие сумерки. Знаю, надо сбираться. Надо написать жене письмо. Сообщить, что фотограф вышлет ей мою карточку, а завтра наспех приписать, куда меня погнали. Ведь завтра я буду уже далеко-далеко. И никак не вырваться из этих проклятых тисков. Короткохвостый битюг. Чугунная туша. Короткий затылок головки кретина. Упрямо нахлобученная татарская шапка. Это — отец. А сын? Слюнявый пискляй с бородкой сердечком. Ни в чем и ни в ком никогда не уверенный. Заводная вертушка в руках Питиримов и Штюрмеров. Священная ширма для бобровых воротников с букетами хризантем. Лейб-вышибала Виллы Родэ!

И в угоду всей этой мрази!?.

Но где же спасение? Жалкий писк героической правды из захолустных швейцарских деревушек Циммервальда и Кинталя? И нигде никакого ответа. Везде мерзавцы и предатели, патриотические шкурники. Дон-кихотствующие Сусанины «рабочих групп»! Нигде ни малейшего просвета. О, будьте вы прокляты!

— Господа погучики! — стучит в дверь Зинаида Ефремовна.—Не желаете ли на пгощанье сходить в кинематоггаф?

ГЛАВА III.

Меня всегда теперь будит гулкий грохот, и я тревожно вскакиваю. Сонная тьма плотно наполняет комнату, мохнато ширясь под самый потолок. Близко откуда-то пахнет ваксой и луком. Ну, так, стало быть, это — Никита Фенькин, мой новый денщик. Это он, по обыкновению своему, затаив дыхание, «тихо» ставит влоск начищенные для меня сапоги.

— Ты это, что ли, Никита?

Фенькин виновато откашливается и робко хрипит:

— Семь часов, ваш выскрбродь. Будить приказывали...

— Ладно, встаю.

Никита все еще сокрушенно мнется, сопит и с той же неуклюжей осторожностью, тяжело скрипя половицами, ступает к столу, чтобы зажечь керосиновую жестяную лампешку. Темнота вздрагивает и, ежась, уползает в углы. Но стоит только Никите уйти, и коварная лампешка сейчас же дразнится красными язычками, озорливо закручивая их черными шнурочками копоти. Надо оправить и быстро одеться. Умываюсь холодной водой над глиняной миской. В потные окошечки комнатки жадно уставилась тьма зимней ночи.

Скрипнув ступеньками крыльца и хлопнув дверью, Никита приносит теперь из команды, что напротив нас, жестяный чайник с кипятком. Хотя после кружки горя-

чего жидкого чая в комнате совсем становится жарко, Никита ни за что не расстегнет при мне своей шинели. Он сидит на самом краю табуретки и откусывает свой сахар с такой церемонной бережливостью, словно это не его законный солдатский паек, а мое угощенье.

— А что бы хотел я спросить, ваше выскрбродь, болгары — православные будут или нет?

— Болгары — православные, а тебе-то это зачем?

— Да вот, — и, застенчиво вытерев о полы шинели замусленные сахаром пальцы, Фенькин подает мне с окна голубую книжечку.

На глянцевой ее обложке нарисована в мономаховой шапке и сарафане Россия, она держит меч и пальмовую ветвь и прикрывает щитом русского солдатика. За солдатиком робко жмутся женщины и дети, и видно вдали мирное сельцо с церковкой. Солдатик грозно замахнулся штыком сразу один на троих: на немца, австрийца и турка. Те на картинке испуганно взметнули руками, и беспомощно валятся у них сабли и винтовки.

— Книжку я эту вчерась читал, — объясняет Никитка, — с кем и почему воюет Россия. Занятная книжка. Фельдфебель мне третьеводни ее дал. На, грит, ты грамоту любишь, читай; а то, вишь, из канцелярии прислали, а наши, кому ни дашь, брезгуют, а то на цыгарки крутят... С большим понятием писатель должен быть этот, что книжку писал. И не поймешь сразу, что к чему. А по-писанному выходит, давно уж планета такая России пошла завсегда за другие народы стражаться. Мы и немцев от татар защищали, и немцев же били потом, почему они на хрянцюзев не нападают, а с Наполеоном хрянцюзским дрались, зачем он против православных пошел. Сколько народов всяких мы перезащищали — страсть! Текуча кровушка человечья. Особливо вот за сербов да за болгар здорово мы вступались. Потому православные они уж очень. Никаким

манером нам оставить их нельзя. Мессия наша такая: крест наш хрестьянский для их на турецкую мечеть в полумесяц воткнуть. Только не домекнусь сам-то я, ваш выскрбродь, на кой леший болгары, ежели они православные, и вдруг супротив нас воюют? Чудно как-то, книжка больно уж умственная!

И задумчиво вертит тамбовский парень, Фенькин Никита, заскорузлыми пальцами голубенькую книжку, а другою рукой крепко держит жестяную кружку с чаем. Слыхал я, как Фенькин рассказывал про себя, что у него совсем не было деда. Родился отец его прямо от бабки Аграфены, что служила у господ в скотных девках. Через это и фамилия пошла ему Фенькин. Когда в учебной команде спросили солдат, не желает ли кто своей охотой итти в денщики к новому помощнику начальника команды, только Фенькин вызвался сразу же восторженно и добровольно. Он очень исполнителен, раболепно робок и любит разглагольствовать. За глаза про меня он солдатам рассказывал так: «Мой выскрбродь — мужик что и надо, степенный. Только уж больно чудак-барин. Не то, чтобы в зубы там али по уху, а и ругается-то по-благородному. Не приведи бог, ежели письма долго от бабы своей не получит, насобачится молчком в окно, как бирюк, — не подходи. А так — все газеты читает, а наоднех остаемся, табурет подвигает, чтоб сел. Обходительный барин! И чай, значит, за одним столом с им пить. Ну, да разве можно наравнях чаи с им гонять, когда сахар у его прикупной, а у меня казенный? Он меня, конечно, угощает, да разве я без понятия?! Ратник — ратник, а службу знаю. Как в селе, братцы мои, в школе я учился, уж вот как поп меня любил, умуразуму наставлял, а я ему в алтаре кадило раздувал. Интиресно! Эх, не война бы эта, я, гляди, на дьячка, может, выучился бы! Я все службы, братцы мои, знаю, меня не собьешь...»

— Вот и хотел я спросить, ваш выскрбродь, — тянет сейчас Никита,— ежели болгары православные, почто они креста нам в Константинополе поставить препятствуют? И для чего народу кровушку лить за тот крест, когда Хабибулин вон в команде говорил, что татарские мечети у нас по России скрозь без крестов стоят?..

Я пью чай и смотрю в черноту чуть-чуть синеющего окошка.

— Это вопрос серьезный. В другой раз как-нибудь потолкуем. Видишь, на занятия надо спешить.

Туго стягиваю шинель поясным ремнем с шашкой, нахлобучиваю защитную фуражку с белой овальной кокардой и выхожу.

На дворе темнота синя и прозрачна. Трехствольная сосна-раскоряка перед самыми окнами распушила огромные лохматые ветви, мягко прикрытые голубеющим снегом. Густое тяжелое небо внимательно нависло над сыростью снежных деревьев и чернотой притаившихся деревянных построек. Ночь от этого и густа и тревожна. Снег мягко продавливается под сапогом. С залива тянет сырой ветерок. Легкая оттепель.

Через шоссе напротив, за оградой, на горке чернеет в деревьях двухэтажная дача с плотно засыпанными снегом балконами. Теплый свет электрических лампочек льет через окна на махрово-белые ветви, неподвижно нависшие в сырой предутренней синеве. На дворе перед дачей темно, но видно, как в сумраке копошатся тени солдат, и слышны их возгласы и говор. Потом все стихает. Насторожившийся воздух прорезывает: «Смирр-но!.. Господа офицеры!..» — и я различаю замершие в строю серые ряды солдат и прапорщика Иловайского, держащего под козырек.

— Здорово, молодцы!

— Здррам-жлам-ваш-выск-бродь! — стройно рявкают в ответ мне шеренги.

Машинка заведена.

— Вольно... Господа офицеры...

Взводные офицеры опускают руки от козырьков, и я поочередно здороваюсь с ними.

— Вы сами, господин поручик, пойдете с пятым взводом на строевые или прикажете кому-нибудь из нас итти?.. Прапорщик Красников еще не приехал, должно быть, опоздал на поезд. Прикажете его заменить?

— Нет, зачем же? Я пойду сам... Шевелев! — кричу я, и ко мне подбегает франтоватый унтер, с румяными щечками и подстриженными в щеточку усиками. — Ведите взвод вы, Шевелев, и занимайтесь по Ольгинской улице неподалеку, а я вас нагоню.

После этого я иду в команду. Дежурный по команде солдат, словно нашпоренный, тыкается навстречу мне в дверях. Заикаясь и глотая слова, он в один дух отбарабанивает рапорт и, придерживая бебут, неуклюже отскакивает в сторону. В команде светло и сладко пахнет печеным солдатским хлебом. Фельдфебель и писаря в одних гимнастерках — очевидно, только что пили чай в проходной комнате, а теперь, чинно вытянувшись, «едят» меня глазами.

— Вольно! Вольно! — небрежно рассыпаю я всюду и чувствую себя еще более неловко от глубокой смысловой лживости этих загаженных муштрою слов.

В огромной даче не так уж много помещений. На втором этаже набиты на нарах по комнатам взводы. Здесь же находятся канцелярия команды и комната для офицеров. Внизу — классы с партами для занятий, пулеметные цейхгаузы, помещение первого взвода и комната фельдфебеля и взводных. Взводов пять, а классов три. Приходится изворачиваться. И потому какие-нибудь два взвода поочередно — всегда на строевых занятиях. Сейчас в одном из классов прапорщик Застежкин начинает занятия по сборке и разборке кольта.

— Вольно! Вольно! — милостиво рассыпаю я всюду. На то я помощник начальника пулеметной учебной команды Офицерской стрелковой школы.

Сам начальник команды, поручик Казаков, после моего к нему назначения взвалил на меня всю свою работу. Он вволю теперь отсыпается, являясь в команду лишь часа на полтора днем, чтобы подписать в канцелярии нужные бумаги. Я столуюсь у него, и в час дня мы вместе уходим к нему на квартиру обедать. Относится он ко мне — лучше не надо желать. Словом, я — самостоятельный князек четырех кварталов Мартышкина, куда так нежданно кинула меня после Ораниенбаума счастливая судьба. Лафа!

* * *

А как тогда я боялся! Помню, как рано утром примчались мы тогда в канцелярию офицерской школы. Офицеров — внабой, не протолкнешься к приказу. Однако Ваньчо Воробьев поработал костлявыми локтями, и пролезли. Начали листовать по алфавиту. Смотрю — ясно написано: «Подпоручик Воробьев Иван оставлен инструктором в кадре Офицерской стрелковой школы, с назначением взводным командиром пулеметной стрелковой команды». И рад я за товарища, и зависть горькая взяла. Человек он холостой, а поди ты, как повезло: оставлен инструктором в кадре при школе. Прощай, проклятый фронт! Тю-тю!

— Хорошо-то как! — тихо говорю я сияющему Воробьеву, а у самого во рту сухо, и подложечкой словно песку кто насыпал.

— Ну, ничего, — говорит Воробьев ласково этак, — давай и тебя посмотрим.

Раскапываем, глядим, — то же самое: «Оставлен инструктором в кадре... с назначением помощником начальника пулеметной учебной команды». Даже жарко от радости стало, и глазам не верится. Сон, что ли, паршивый какой в обман

вводит? Вылезли мы с Воробьевым из толпы, молча обнялись и расцеловались. Даже слеза прошибла. А следом, смотрим, и Марцинкевич весело подпрыгивает. Вместе с Воробьевым в одну команду назначен. Что за причина была такой повальной удачи, — докапываться боязно было. А вдруг да как переменят? Так и не знаю, почему нас капитан Локтев так разметил. То ли, что прибыли мы все вместе из одного полка, то ли, что все трое окончили отлично.

Все команды эти размещены в двух верстах от Ораниенбаума, по дороге к Петергофу, в дачном чухонском поселке Мартышкине. Стрелковая команда ближе к вокзалу, а наша учебная — на шоссе, возле самого берега залива. Почему эти команды носят разные названия — никто толком не знает. Пригоняют сюда солдат из запасных пехотных полков большими гуртами со всех концов России. Бóльшая часть их распределяется между огромными запасными пулеметными полками: первым, что в Ораниенбауме, вторым, что в Стрельне, и батальоном кольтовских команд в Ораниенбауме же. Там готовят из них в месячный срок пулеметчиков и в составе маршевых пулеметных команд угоняют на фронт. Учебная же и стрелковая пулеметные команды должны в месячный срок подготовлять пулеметных унтер-офицеров, которые убывают на фронт одиночками. Только капитан Локтев обычно посылает нам в команды таких же неопытных пехотных кашеедов, что и в полки. Тут не то что унтер-офицера, а и простого толкового пулеметчика сделать в месячный срок невозможно. Было бы правильнее посылать нам отборных солдат, уже прошедших учебу в пулеметных полках. Но этого не делается, хотя бесполезность и бесплодность нашей учебной и стрелковой команд для всех очевидна. Когда зашел об этом разговор с начальником команды Казаковым, он удивленно посмотрел на меня.

— Это все крестик ваш университетский елозит,— усмехнулся он добродушно, — какое нашему брату дело, есть ли

толк или нет толку от наших команд? Вздумалось генералу Филатову побольше их понаделать, и сам он через это больше получает, да сколько еще народу кормит. Наше же дело только исполнять да благодарствовать, что и мы с вами через это в тылу засели. Тут вперед выскакивать никакого толку не будет, батенька мой! Если печонка о пользе военного дела болит, — поезжайте на фронт. А если нам с вами и здесь хорошо, — тогда и чорт с нею, с войной! Плюйте на все с высокого дерева. Налить, что ли, рюмашечку очищенной?

Смолчал. Какая чудовищно-наглая правота! К чему я, в самом деле, фордыбачу? Окопался в тылу — и нишкни.

Но неужели мы — шкурники и сволочь? Пусть ежедневно умирают и калечатся десятки тысяч людей, а нам наплевать?!

Я сказал об этом как-то Воробьеву, и он не согласился.

— Нет, мы добросовестно будем, Сашка, готовить хороших пулеметчиков. Наше дело — честно работать на оборону.

На «оборону»? На оборону кого?

Даже московские и питерские зубры — дворяне — выразили на-днях полное недоверие царскому правительству и требуют ответственного министерства. Третьего дня при открытии Государственного совета разразился скандал. Золоченые старички в белых панталонах тщетно пытались огласить свою «крамольную» декларацию. А правительство нагло ухмыляется, конфискует даже «Новое время», морит народ голодом и гонит его на убой. Нет, гнусавого рыжика с бородкой сердечком, самодержавно окруженного жандармерией, надо уничтожать, а не оборонять!

Но если не оборонять, значит удесятерять и без того кровавые жертвы народа. Не оборонять, значит списывать убитыми и ранеными вместо десятков тысяч ежедневно сотни тысяч человеческих жизней. Значит множить миллионы калек и сирот.

Если же оборонять, значит потуже, до смертного хрипа занянуть на шее родины петлю с двуглавым орлом. Оборонять, это значит гноить испитых полуголодных рабочих в чахоточных подвалах и держать лапотное нечесаное мужичье на картошке и квасе, лишь бы только котиковые воротники могли безопасно блевать в Вилла Родэ. Эх, растрепать родину-мать и волочить ее, стерву, кровавыми кишками о́земь вплоть до Босфора! Пускай там собутыльник Распутина, преосвященный митрополит Питирим, водрузит крест православный на софийской мечети. Но ведь тут даже Фенькин Никита не смог свести концы с концами!

Какой проклятый, кровью намазанный, заколдованный круг!

Я редко вижусь теперь с Воробьевым. Он живет при своей команде и «честно» готовит солдат на оборону. Я занимаюсь тем же, но только терзаюсь «бесчестностью» этой работы. А по существу между мною и им разницы нет никакой. «Честно» или «бесчестно», а немыслимо выскочить винтикам из этой гигантской мясорубочной фабрики.

Вот Марцинкевич, тот определился в какую-то комиссию по изучению пулеметной стрельбы по воздушным целям. Он попрежнему квартирует в Ораниенбауме, приходя на свои занятия к нам, в Мартышкино. Здесь на серебристой равнине замерзшего Финского залива стоит будочка. Из нее через блиндажную крышу бьет вверх пулемет, а потом офицеры бродят кругом и ищут упавшие пули. Но пуль не находят. Иногда они стреляют по привязанному воздушному змею, и бывают, говорят, случаи, что иногда попадают. Служба легкая и беззаботная!

* * *

Обойдя порядка ради все классы, спускаюсь по чисто разметенной дневальными снежной дорожке через сад на шоссе. Уже рассвело. Синеватый сумрак тает в розовой

прозрачности солнечного зимнего утра. Колонна пятого взвода гуляет вдоль деревянных решеток дачных садов, засыпанных румяным снегом.

Вообще пятый взвод в нашей команде на особом положении. Это не солдатская кобылка, согнанная сюда на месяц и набившая остальные четыре взвода, чтобы пачками убывать на фронт на пополнение унтер-офицерской убыли. Здесь — все кандидаты в краткосрочные школы прапорщиков пехоты, ожидающие своей очереди быть туда откомандированными. В этом приятном ожидании они коротают в пятом взводе долгие месяцы, а кой-кто так и годы. Занятий с ними почти никаких не велось, кроме строевых, да и те более походят на прогулки, нежели на строевую учебу. Вон они маршируют сейчас на шоссе с какою-то ленивою барственной прохладцей. Сапоги их поблескивают, как черные зеркала. Отменно чистенькие шинели складно пригнаны на офицерский образец. А сизоватый румянец гладко пробритых упругих от сытости щек словно бахвалится перед янтарным сиянием зимней зари: «Полюбуй-кось на нас, ведь мы без пяти минут «их благородия», «господа прапорщики»...

Офицер пятого взвода, прапорщик Красников, молоденький и безусый, со слюняво улыбающимся ртом, живет, как и большинство остальных офицеров нашей команды, в Питере, но любит поспать и постоянно опаздывает на службу. Вот и теперь он только сейчас подбегает ко мне, неловко сутулясь, и с преувеличенным добродушием долго трясет меня за руку своими красными, озябшими от холода руками.

— Доброго здоровья, Асан Натич! Никак, я немножечко запоздал? Поздно вчера засиделись в одной страшно интересной компании. Был, знаете ли, и кой-кто из партийных, не так, чтобы из самых крайних, но все-таки... Зато сколько теперь новостей расскажу вам! Ужас! — и с заговорщицким видом он отводит меня в сторону.

— Ать, два, три, тыре!.. — нарочито громко отчеканивает удаляющийся взводный Шевелев. — Кру-уго-ом... аррш! — и мерный скрип десятков сапог внезапно сменяется легкокрылым шумом взлетевших на повороте шинельных пол и начинает теперь приближаться.

— Оправиться, покурить! — кричу я, чтобы задержать их вдали.

— Взвод, стой!.. — командует Шевелев, и взвод останавливается вдали от нас с коротким характерным шумом, напоминающим мгновенный взлет стаи диких гусей.

— В Питере чорт знает что делается, Асан Натич, — говорит Красников, закуривая, и его голубые детские глазенки еще более поблескивают от огонька спички. — В субботу было открытие Государственной думы. Ждали грандиозных манифестаций. Меньшевики и эсеры раскидали листовки на окраинах и звали на поддержку Думы. Кадеты тоже ждали, но перетрусили. Милюков так — читали, наверно? — даже письмо напечатал в «Речи», что, мол, к демонстрациям он — ни-ни. Это, дескать, провокация темных сил. А генерал Хабалов в субботу поставил весь питерский гарнизон в ружье и оцепил тройными заставами весь район Таврического дворца. Ну, само собой разумеется, что манифестация, если бы ее не сорвали, могла бы быть только лишь мирной, но зато тем и внушительной. И вот в последний момент большевики с межрайонцами все сорвали. Выпустили нелепейшую прокламацию с отвратительной демагогией: «Не поддаваться, вишь, на удочку меньшевистских лакеев буржуазии, зовущих к Думе 14 февраля. Потому что, во-первых, дескать, Думу вообще не надо поддерживать, там одни зубры. Во-вторых, в эсдекских рядах сейчас разброд и кризис. В-третьих, с армией у них нет еще связи, и потому будет разгром. А в-четвертых, не только-де будет разгром, но будет и погром от несознательных масс». Ну, просто не стиль, а сплошная прострация! Как вам это все

нравится?! — и Красников с негодующей усмешкой слизывает сползающую слюнку. — Словом, большевички, как никто, сыграли Хабалову на-руку. Вы подумайте, дворянские зубры тщетно спасают царя от «темных сил», пленивших его в его же царском дворце. Милюков и Хабалов в один голос твердят, что это «темные силы» с немецкими деньгами зовут сейчас рабочих на демонстрации и забастовки. А теперь вдруг, пожалуйте: сами большевики сорвали народную поддержку Государственной думы жупелом каких-то погромов со стороны тех же «темных сил» и «несознательных масс». Вы подумайте — ведь это же чорт знает что!.. Все сорвали. Бастовал один лишь Обуховский, да путиловцы робко вышли возле завода с красными флагами: «Долой правительство!», «Да здравствует республика!» и главное — «Долой войну!» Нет, вы подумайте также об этой хитрой большевистской демагогии: «Долой войну!» Легко только вымолвить. Да-с, Асан Натич, одним словом — дело теперь пошло бесповоротно на убыль. Ведь даже девятого января и то нынче в Питере бастовало более двухсот тысяч. А теперь что вышло?! Из-за демагогии большевичков рабочие все теперь проиграли. Хабалов спешно перевооружил всю полицию нашими пулеметами, а с фронта срочно затребованы, кто говорит — текинский полк, кто говорит — вся дикая туземная дивизия. Большевики — вот кто теперь злейший тормоз революции. Наскакивают всегда, как слепые фанатики, и губят все дело свободы и демократии своей непроходимою глупостью.

Я молчу, а Красников вздыхает и, ежась от холода, отряхивает папироску. Пятый взвод давно уже накурился и построился. Старательный Шевелев, очевидно, хочет снова маршировать. Я смотрю на часы. Да, пора!

— Шевелев, — кричу я, — ведите взвод в команду и кончайте занятия.

Солдатские кандидаты в офицерский корпус его величества степенно перестраиваются и, скрипя по снегу, проходят мимо нас, посверкивая ваксой сапог и шурша полами шинелей.

— Песню! — кричит им Красников.

— Ать, два, три, тыре! — отбивает такт Шевелев.

> М-мы случайно с тобой повстречались, —

выводит запевало.

> Было много в обоих огня, —

подхватывает взвод.

> Мы-ы недо-олго в сомнениях терялись,
> Полюбила ты скоро меня...

Вот они поднялись садом в гору, и эхо пенья защелкало по деревьям.

— Так вы жалеете, Красников, что рабочие не поддержали Государственную думу?! — спрашиваю я моего собеседника, глядящего на меня исподлобья. — Не поддержали ту Государственную думу, от имени которой робко пролепетал жалкую декларацию так называемого прогрессивного блока Шидловский?! Не поддержали ту Думу, которая, по словам того же Шидловского, из кожи лезет вон, чтобы ценою военной победы во что бы то ни стало укрепить нашу монархию?!.

— Причем тут монархия?! — сердится Красников. Он совсем недавно призван в армию прямо с университетской скамьи и потому искренне считает себя твердым социалистом. — Ведь тот же Шидловский сказал же о коренном переустройстве исполнительной власти!..

— Ну, да. Я про то и говорю, — подзуживаю я. — Легонькое переустройство власти исполнительной, и, конечно, — боже, царя храни! — ни в коем случае не законодательной.

— Ах, Асан Натич, вы — вечный скептик, и ко всему придираетесь, — сердито морщится Красников. — Неужели вы не читали прекрасной речи Чхеидзе?! Как стыдил он Думу именно за ее нерешительность в борьбе с правительством, как призывал он буржуазию возглавить революцию, отказавшись от завоевательных лозунгов! Вот где гвоздь всей нашей революции! Если б только наша буржуазия...

— ...да занялась бы меньшевистским вегетарьянством,— вставляю я насмешливо.

— Нет, послушайте! — вдруг с жутью уставился он на меня. — Неужели же вы за большевиков? Вы — поручик, и вдруг — за большевиков? За поражение?

— Да ведь за поражение стоят кадеты! — насмешливо отбиваю я вопрос. — Ведь это же Милюков заявил, что лучше поражение, чем революция. Вот вам и весь символ веры вашей «самоотверженной» буржуазии!

— Так не хотите ли вы, чтобы в нашей мелкобуржуазной, крестьянской стране власть стала бы чисто рабочей, как о том писал Троцкий?!

— Во-первых, я не знаю, что он там писал, а во-вторых, при чем тут он, если уж вы принимаете меня за сочувствующего большевикам. В-третьих, я лично — вовсе не за поражение. Поражение, по-моему, убьет и царя и страну.

— Ни поражения и ни победы! — обрадованно запрыгал Красников. — Как раз то же самое, что пишет и Троцкий. По сути — это честная, деловая оборона родины, чем мы с вами и занимаемся. Впрочем, я и так, конечно, никогда не сомневался в вашей сознательности и патриотизме. Оборона — прежде всего, Асан Натич,— и он восторженно глядит на меня блестящими глазками.

— Причем тут оборона?! — бормочу я растерянно и раздраженно. — Надо прежде всего сдернуть самодержавие, чтобы кончить войну. Возможно, что при этом временно нарушится и оборона. Вообще, я не представляю себе,

кто и как будет сдергивать самодержавие, не вызвав этим временной завирухи на фронте. А насчет какой-то там чисто рабочей власти, — пусть об этом пишет ваш Троцкий. Большевики же, насколько мне помнится, никогда не отрицали ни буржуазного характера нашей революции, ни широко-демократического устройства будущей республиканской власти!

— Не сердитесь, Асан Натич, — добродушно улыбается Красников, когда мы поднимаемся на гору к команде. — Я пошутил. Рабочие, конечно, безнадежно слабы, и в нашей отсталой стране не в них, понятно, будет дело. Чхеидзе безусловно прав. Передовая часть буржуазии — вот кто должна же, наконец, взяться за ум. И она, как кажется, теперь уже берется. Вы подумайте, даже Пуришкевич — тот, что ради обеления царского престижа пристрелил за великокняжеской попойкой Распутина, — разве не читали, что сказал он в субботу в Думе?! — и Красников вытаскивает из кармана шинели газету. — «Предатели и изменники, — начинает читать он, близоруко придвинув газету, — толкают народ на улицу... Внутреннее спокойствие в каждой стране зависит от распорядительности правительства и от степени его предвидения назревающих событий.. Над Думой висит дамоклов меч роспуска... Я сознаю теперь бесцельность всяких речей в Думе!» — Красников торжествующе смотрит на меня, потом, ухмыльнувшись, свертывает газету и прячет ее обратно. — И вы знаете, что они теперь затевают? Но только поклянитесь, что никому ни звука!.. — он робко озирается, отводит меня на середину дороги и, облизнувшись, шепчет на ухо: — И, кажется, это уже прочно согласовано с союзными миссиями... Одним словом, на-днях ждите — дворцовый переворот!..

Вдруг неподалеку нежданно гулкое тарахтенье пулеметной стрельбы. Я смотрю через редкие сосны и клены на Финский залив. Его белоснежная гладь, как парча, свер-

кает на солнце. Вдали, на горизонте, маячат сизые дымки, трубы, дома и собор Кронштадта. А недалеко от нашего берега сияет свежесрубленная из желтых бревен будочка. Высоко над нею в голубом небе плывут, словно цветочные лепестки в водоеме, легкие розоватые облачка, а по земле придушенно стелется железное рокотанье пулемета. Ах, да! Ведь это же прапорщик Марцинкевич изучает принципы воздушной стрельбы.

* * *

Пулемет Максима преподает в команде прапорщик Иловайский, рыжий и веснущатый. Он коротко острижен, гладко выбрит и лоснится, словно медный пулеметный кожух. Да и вообще всей своей медлительной и крепкой повадкой он очень напоминает стоящий перед ним пулемет. Должно быть, поэтому сидящие вокруг прапорщика солдаты третьего взвода, куда я захожу, с тяжелой подавленностью переводят глаза с прапорщика на пулемет, а с пулемета на прапора.

— Мелехов! — цедит сквозь зубы прапорщик Иловайский. — Возьми прицел и расскажи все его части и их назначенье.

Усатый Мелехов, до этого сонно клевавший носом, встает нехотя и грузно, словно с треском расправляя свои согнутые мужичьи жилы. Беззвучно шевеля губами, он берет снятый пулеметный прицел так осторожно, точно тот жжется.

— Так что целик...— говорит он и сам себе добродушно кивает.

— Отвечать не научился! — рявкает Иловайский. — К кому ты обращаешься?! Что я тебе, сват-брат, что ли?! Целик это, ваше благородие, вот как надо отвечать. Болван!

Мелехов обиженно моргает заспанными веками.

— Целик это, ваше блродь...

— Целик, целик! Ты части его называй! Дура!

— Энто зубастая планка и рамка...

— Сам ты зубастый, идиот!.. Куприй, поправь его! Разве может быть зубастая планка!

— Никак нет, ваш высклбродь! — вскидывается белорус Куприй. — Эта есть откидна стойка с дзубчатой рамкой, та и планкой, ваш высклбродь.

— Молодец, Куприй!

— Рад стараться, ваш высклбродь!

— Продолжай, Мелехов, какие еще тут есть части?

— Так что, — жмется Мелехов, — еще есть хомутик с маховком и трубка поперек для целка.

Взвод хохочет.

— Вот как дам тебе пять нарядов не в очередь да на два часа под ружье с полной выкладкой, — до гроба забудешь, как по бабам лазить. Остолоп! Маховичок, а не маховок. А как называется эта фитюлька на нем?

Мелехов растерянно жует усами, потупив глаза, и по рябым вискам его сбегают крупные капли пота.

— Потеть умеешь, болван, а почему урока не выучил? Я приказал третьего дня всему взводу выучить все части прицела на-зубок. Чего ж ты целых два дня делал? По чухонкам здешним лазил? Целка искал?!. Взводный! — и покрасневший взводный вытягивается и дрожит, как струна.— Мелехову пять нарядов не в очередь.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородь!

А Мелехов порывисто глотает воздух, беспомощно опуская узловатые руки, и механизм прицела грохает на пол.

— Вот как?! Ты еще швыряться смеешь?! Мерзавец! — орет Иловайский. Круглое лицо его наливается краской, как стеклянный кувшин клюквенным морсом, и карие глаза сверлят солдата, как два бурава. — На два часа под винтовку с полной выкладкой! — шипит он через зубы.

Взвод затаил дыханье и замер. Все знают, что Иловайскому стоит только начать.

— Пора кончать, — произношу я как можно спокойней, взглянув на часы и прислушиваясь к начавшемуся топоту шагов в других классах.

* * *

— Ваше высокоблагородие, разрешите доложить, у нас люес не в порядке, — ловит меня на лестнице взводный Шевелев. — Заниматься сегодня, должно, никак с нами не придется. Направляющая пластинка свернута набок и нет кулачка.

— Как это так? В тот раз все было в порядке, а теперь вдруг и свернуто и потеряно. Срочно выяснить, кто виноват, и мне доложить. Сейчас немедленно же написать требование в оружейную команду, чтобы сегодня же в два счета выправили пластинку, а из материального склада немедленно получить кулачок. Смотрите, Шевелев, — говорю я, — это проделки вашего взвода. Я доберусь...

Чорт знает что, в самом деле. Я взял на себя в команде преподаванье пулемета Льюиса. Но как только ввел занятия и в пятом взводе, чтобы будущие прапоры поменьше лодырили, — сразу начало портиться то одно, то другое. Ловчатся во-всю, лежебоки!

* * *

В комнате для офицеров уже накурено и все в сборе: Красников, Застежкин и Мальцев с Иловайским. Возле каждого котелки с супом и кашей, принесенные дневальными. Хоть все наши офицеры и получают положенные им продукты самостоятельно из продовольственного магазина школы, но каждый из них непрочь ежедневно лишний раз пообедать за счет солдатского котла. Ну, и чорт с ними! Все живут в Питере. Пока попадешь на обед, действительно проголодаешься.

Маленький, с красным носиком-пуговкой и с крохотными масляными глазками, Застежкин болтает деревянною ложкою мутный суп с перловой крупой, пробует и презрительно морщится: — Гадость!

Все взглядывают на него и продолжают молча есть. Застежкина никто не любит, потому что он нагл и липок, как волдырь.

— Лопай что дают, — басит Мальцев, и нижняя губа его отвисло чавкает, как у бульдога.

У косяка дверей стоят прилизанный и румяненький Шевелев и фельдфебель. У этого волосы ежом, усы кольчиком.

— Бумаги там есть подписать, ваше выскбродие, — обращается он сразу ко мне. — Начальник команды в канцелярию школы пошли, должно быть, не скоро вернутся.

— Хлебца бы, Егорыч, — кидает ему Иловайский.

Егорыч толкает в бок Шевелева, тот расторопно вылетает в коридор, а оттуда в комнату третьего взвода, откуда все время из-за тонких досчатых перегородок были слышны говор и чавканье обедающих солдат.

— Куприй, хлеба для господ офицеров! Живо!

— Брось, чего чужой хватаешь?! — слышны крики и возня; потом — затрещина, и все смолкает.

— Тоже, видно, два часа под винта заработать хочешь?! За хлеб держишься, гад? — шипит Шевелев и, запыхавшись, спешит в нашу комнату. — Извольте, ваши высокбродь. На всех хватит, — кладет он на стол толстые ломти сырого, непропеченного хлеба.

— Можете итти, — выпроваживаю я его, — и вы, Егорыч, тоже. Я сейчас к вам зайду... Обед обедом, господа, — это общий котел, но зачем же брать хлеб у солдат? — говорю я офицерам.

Застежкин жадно уписывал полбенную кашу со шкваркой без хлеба, а теперь нарочно хватает корку от ломтя, запихивает ее в жирный от сала рот и нагло улыбается.

— Ничего, поменьше будут воздух портить, — сурово цедит Иловайский, не отрываясь от супа. — А то выходит, мы здесь эту сволочь откармливаем, а она из деревень нам хлеба не дает. Читали, что министр Риттих в Думе сказал? Твердые цены не помогли. Нужна разверстка. Нам с деревенщиной, поручик, церемониться нечего. В бараний рог — и к ногтю!.. Вы, должно быть, здесь не знаете, какие в Питере хвосты за хлебом?! А все из-за того, что мужичье хлеб прячет. Сермяжная сволочь! — и он гневно куснул ломоть.

— Пустяки, — заикаясь и краснея, робко вставляет Красников. — Как только продовольствие перейдет в руки общественных и земских организаций, очереди за хлебом исчезнут, и снова наступит спокойствие.

— Оно и так уже наступило. Я сегодня уезжал из Питера, нигде никаких хвостов уже не было, — самодовольно и веско опроверг всех Мальцев, — полиция всех разогнала. В два счета!..

— Ерунда, хвосты есть и не только за хлебом. За всем теперь хвосты пошли, — вставляет, кобенясь, Застежкин. — Моя тетя в субботу целых полдня простояла в очереди к Жорж-Борману за конфетами. Скоро в России ничего не будет. Все пропадает, ничего не останется, кроме социал-демократических ишаков в Государственной думе...

— Ха-ха-ха! — задорно хохочет за перегородкой в канцелярии Шевелев.

— Хо-хо-хо! — вторит Егорыч.

— Довольно политики! — обрываю я резким полушопотом. — А здесь в команде хлеб у солдат я брать запрещаю.

— Чего вы горячитесь? — утирая рот платком, поднимается Иловайский и подходит к широкому окну. — Вон поглядите, — подзывает он меня и тычет пальцем вниз.

На дворе дачи, возле задней калитки кучка баб и ребятишек, торопливо озираясь, покупают у наших солдат краюхи хлеба, кидая их в свои мешки. Длинные аккуратные

шинели и сверкающий из-под них глянец сапог ясно изобличают среди продавцов пятый взвод. Но, должно быть, кто-то стукнул в соседнее окно канцелярии. Головы солдат испуганно взглянули сюда наверх и поймали условный знак. И солдаты и старухи мигом исчезли. Только один увлекшийся пятовзводник за калиткой, возле самого нужника, совал краюху стыдливой молодухе, а другою рукою тискал ей груди. Но и его, должно быть, окликнули. Он тревожно взметнул взглядом прямо в наше окно и побег в команду, еще успев настойчиво что-то шепнуть своей покрасневшей знакомке.

— Красников! — позвал я с упреком. — Подтянитесь! Ведь это ваш взвод!

— Сволота, — сказал Красников, глянув в окно через мое плечо, и облизнулся.

* * *

Бумаг мне подписывать не пришлось. Поручик Казаков, начальник команды, успел вернуться и подписал сам. Потом, когда все офицеры разошлись на занятия по взводам, он потащил меня к себе обедать.

— Плюньте вы на пятый взвод! Ведь сами ж вы говорите, что они вам пулемет испортили... Такое уж положение их здесь: руки в карманы — и справа налево перекладывать. Льюису вы их все равно не обучите, да у них и своих люесов хватает. Мне уж сколько здешних баб жаловалось... К тому же мне кое-что секретное обсудить с вами надо...

Казаков жил напротив команды в домике рядом со мной. Его жена, увялая желтоголовая хозяйка, походила на облезшую канарейку с полинялым хвостом. Когда мы пришли, денщик выносил через сени ведро с картофельными очистками в хлев. Поручик держал поросят и откармливал их объедками из команды.

В кухне на сковородке жирно урчал в сале картофель и пенились политые соусом мелкие кусочки мяса. Растрепанная хозяйка мотала патлами над самой сковородкой, с ленивой заботливостью тыча по ней ножом. От этого сковородка трещала, и чад скобленки смачно плавал по комнатам.

Сынишка Казакова, малыш, сполз с одеяла, кинув замусленную побрякушку, и сидел теперь без штанов прямо на голом полу. Пухлыми ручонками он жадно тянулся к замызганной кошке, с упрямым равнодушием отвернувшейся от него.

— Кх... кх... кх!..

— Киску тебе? — спросил Казаков и нагнулся.

Но кошка своевременно учла маневр и стремглав шмыгнула на кухню. Тогда Казаков сел на диван, на старомодный, обитый синим плюшем диван, которым Казаков неимоверно гордился. Сев на диван, он взял карапуза к себе на колени.

— Скоро ль ты? Поживей! — крикнул он жене и, наклонясь ко мне, глухо произнес: — Будет ералаш, Александр Игнатьевич, это, кажется, очевидно... Всех начальников — полковых, батальонных и отдельных команд — сегодня старик срочно вызывал строго-секретно к себе. Прочел нам старое объявление генерала Хабалова, которое мы и без него давно знаем, что забастовки, одним словом, на-руку врагам, а потому — долой изменников без всякой пощады. Старик, по обыкновению, пустил слезу, а потом у Локтева было секретное совещание.

Казаков вздохнул, позвал денщика и передал ему мальчугана. Спровадив его на кухню, он плотно закрыл в комнату все двери, ворча: «Ишь, какой чад!» Затем сел на диван и, расчесывая пальмовым гребнем свою черную бородку, продолжал:

— Прежде всего предложили наметить надежных офицеров для временной и срочной командировки в Петроград в распоряжение генерал-квартирмейстера штаба,

чтобы там обучить пулеметам всю полицию. Я отказал. Пошлешь, знаете ли, а вдруг что потом неладно, ты же и ответишь. Ну их к дьяволу! Второе: строго приказано секретно следить во-всю за малейшей попыткой к революционной агитации среди солдат. Чуть что — сейчас же сдавать куда следует. А там уже на свалку или под лед. Хоть Локтев и намекнул, что в нашей команде что-то такое есть, но это он на пушку брал. Мне-то кажется, что у нас, славу богу, спокойно. Хотя, конечно, все-таки... береженого и бог бережет. Вот я и думал было, не попросить ли прапорщика Иловайского остаться здесь на вечерок подежурить и последить незаметно? Да вот с вами сначала решил посоветоваться...

Вошедшая жена начальника стала собирать на стол, и Казаков продолжал, уже не таясь:

— Застежкин — пустозвон, Мальцев — галоша, а Красников — сопля. К тому же, знаете, чорт его знает, кому он сам сочувствует. Мне фельдфебель говорил как-то, что Красников министрами недоволен...

— А кто ими доволен? — прерывает жена. — Ни мануфактуры, ни крупы, ничего не стало. Булочные, и те по случаю муки все закрыты... Тьфу, ты пропадом! Ну, и жизнь!.. — и она кинула вилкой. Вилка покатилась и упала. Казаков ее поднял.

— Оно, конечно, кто ими доволен, но тогда надо уметь держать все в себе, если уж такая штатская мораль в голову кинулась. Я думаю все же, что надежней Иловайского нет. Он, кого надо, выследит. А то подведут, знаете ли, сукины дети, и пропадешь ни за понюшку. Вон в оружейной команде, говорят, очень неспокойно. Рабочие там все — слесаря да токаря... Прошедшую ночь двух увезли... царство им небесное...

Денщик внес миску с жирными щами, и Казаков, прервав разговор, достал из шкапа хрустальный графинчик с полынной настойкой.

— Ну-ка, Александр Игнатьевич, зеленца-винца! — и налил две рюмки. Потом, не дожидаясь меня, выпил, крякнул и закусил жирным кусочком вареной говядины. — Ну, так как же, Иловайского, что ли?.. — спросил он, наливая себе вторую рюмку.

* * *

После обеда сочное небо стало совсем бирюзовым, а дальние леса густо заголубели и даже сделались розовато-лиловыми. Палевые тени нежно легли на снежные поля и невидимо лизали сугробы. Пулемет на заливе молчал, и вороны с диким карканьем и шумом возились на кленах. Я прошел в команду, дождался конца занятий и, как обычно, отпустил всех офицеров по домам, в Питер. Только Красникову я сказал один на один за калиткой:

— Вы полегче, знаете ли, языком-то, а то вон солдаты про вас уже разносят... Сами знаете, какое сейчас время... Лучше бы вот свой пятый взвод подтянули.

Красников растерянно козырнул и, застенчиво сутулясь, заторопился на станцию.

Иловайского я не оставил и никакого поручения ему не давал. Я убедил Казакова, что Иловайский сделает из мухи слона, а влетит-то все нам же. Больше того, я уговорился с Казаковым, что послежу за командой я сам. Я решил это сделать сегодня же. Конечно, в команде не может быть никаких партийных связей. Откуда возьмутся они у солдат, только что согнанных со всех концов России?.. А если вдруг есть?!

Мое сердце горячо колотится, когда я представляю себе листовочку, перепачканную жиром типографской краски с родным, стародавним лозунгом наверху: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И лиловый кружок комитетской печати внизу... Вспорхнувшая память, как бабочка, вмиг развернула узоры юношеских весен... Вот — маевка в Тро-

5*

ицком лесу, когда еще голые деревья чуть-чуть кружевеют пахучею липкостью почек, под ногами шуршат прошлогодние листья, и стоит на поляне в кружке рабочих патлатый Альберт Пинкевич. Карманы моей тужурки тяжело набиты свежими прокламациями, от которых пахнет скипидаром. У Берты в руках на тонкой осиновой жерди красный флаг, а высоко по небу, над широким, порябевшим от ветра разливом Казанки несутся на север веселые клинья гусей... Юность, юность! Свободная юность!..

Нет, и сейчас, с очерствевшим рассудком, я по-братски пожму настигнутую мною руку солдата и ласково шепну ему, чтобы работал крепче и осторожней. Можно даже будет, пожалуй, и самому связаться тогда через него с организацией...

Вздор! Химеры!.. Если что есть, надо будет срочно предостеречь, откровенно обо всем посоветовать и помочь, но... самому ввязываться... нельзя. Нет, нельзя! Безрассудство — вести подпольный солдатский кружок офицеру! Ведь это же майн-ридовщина, детский провал!..

Иду из команды домой. Подтаявшие за день тропинки снова затянуло хрупкою корочкой, которая звенит и рассыпается под сапогом. Слева в пунцовом тумане тумашливо закатывается солнце и бросает на Финский залив длинные-длинные синие тени лачужек, румяня прощальным лучом прибрежную щетку камышей. Но вот и оно уползает за почерневшие гребни Ораниенбаума. Сизые сумерки заволакивают землю.

Мне не хочется итти в дом. Меня баюкает непонятная грусть сурово насупившегося неба. Далеко справа на самом горизонте замигали крохотные искорки и матово зажелтел небосклон. Белые мечи далеких прожекторов медленно забороздили по небу. Это далекий и близкий, мятущийся, загадочный Питер... А вот и окошки моей комнаты заянтарились от зажженной Никитою лампы. Наверное, и чай готов. Брр... холодно! Чего я мерзну на дворе?!

* * *

Никита заботливо помогает мне раздеться. Только сапоги я не даю снять и кидаюсь обутым на кровать.

— Чаю?.. Хорошо, Никита, я сам напьюсь... Ах, ты уже напился? Ну, что ж, хорошо. Конечно, можешь итти к землякам в команду.

Никита повернулся, но встал и мнется.

— Глупость еще одну все хотел спросить я, ваш выскрбродь, да вы отдыхать легли...

— Ну, вали, спрашивай!

— Опять сумление меня взяло насчет креста, православного, то ись. Какой же он православный, ежели и митрополитов всех, и игуменов наших всех Гришка-паскудник, сказывают, понаставил, тот что с царицей — прости ей, господи! — в спальнях блудил. Не для чего нам и на мечеть этакой-то крест вздевать... А тогда для ча, спрашивается, и воевать?.. Ну, прямо мозги вертятся, ваш выскрбродь!..

Но я молчу.

— Опять же, вот, говорили: Гришка, Гришка!.. А теперь вон, люди бают, заместо одного кобеля десяток новых сбегся. А поп здешний вчерась за обедней здеся говорил, будто убиенный Григорий, венец мученический приявший, в рай, грит, пошел... Да на кой чорт тогда православным этакой-то рай сдался?! С Гришкой-то!.. Истинный бог!..

Но я молчу, закрыв глаза, и делаю вид, что заснул.

Никита стоит, забирает с окна голубенькую книжечку, долго, сосредоточенно смотрит на нее, вертя в заскорузлых пальцах. Потом, вздохнув, решительно кладет ее на стол и выходит.

Я встаю, быстро пью чай и торопливо одеваю шинель. Шашку не возьму. Она гремит и выдаст. И шпоры надо отстегнуть. Вот так хорошо!

* * *

Воздух густо синь и плотно влажен. Тихо. Только по сторонам томно вздыхают мохнатые ели, роняя тяжелые отсыревшие хлопья.

На дворе команды темно, но потные окна сияют. Через заднюю калитку можно пройти во двор прямо к двери, оставаясь все время в тени. Осторожно тяну обшитую рогожей дверь. Она тихо подается, все более ширя луч бросаемого на крылечко света. Смотрю в щель. Наверху — топот, говор, обрывки пенья, а здесь у стены на табурете сидит под лампочкой дневальный. Он заложил ногу на ногу, гладит пристегнутый бебут и вполголоса зубрит по складам пулеметный устав.

— Вы-бор це-ли. При вы-бо-ре це-лей над-ле-жит пом-нить, что от-кры-то по-ка-за-вши-е-ся та-ки-е це-ли, как, на-при-мер, гру-ппа на-чаль-ни-ков?.. — Дневальный недоуменно останавливается, молча щупает страничку и, ретиво отряхнувшись и сдвинув шапку на лоб, начинает сызнова: — Вы-бор це-ли. При вы...

Но как пройти мимо него незамеченным?..

Внезапно сзади от калитки скрип шагов и чьи-то голоса. Быстро отскакиваю за угол. На свету появляется шинель солдата. Идут вдвоем и разговаривают вполголоса. Один останавливается, а другой поспешно бежит к калитке, и там слышен шопот. Потом опять сходятся, и первый солдат решительно идет к приоткрытой мною двери. Широко ее распахивает и стоит на свету. Я вмиг узнаю пятовзводника, что продавал сегодня днем хлеб молодке.

— Ржавцев! — кричит он и, быстро захлопнув дверь, отходит в темноту.

— Кто здесь? — тревожно спрашивает дневальный, остановившись на пороге распахнутой им двери.

Со света в темноту он ничего не видит и прикладывает руку с уставчиком вместо козырька.

— Подь-ка сюда, Ржавцев, — сумрачно говорит ему тень солдата, и дневальный, узнав голос, спускается к ним в темноту.

Дверь остается приоткрытой. В темноте раздается бунчанье.

— Никак не могу, — громко и решительно отвечает Ржавцев и повертывается, но его ловят настойчивые руки, и уговоры сыпятся горячей.

— Чудак... тебе ж говорю, что не к нам, а к Шевелеву, к взводному пришла... Молодка стыдливая, еще сколь уламывать-то пришлось... Вон, смотри, за калиткой стоит... Прямо в чехауз и проведем... Чай, не впервóй!

— А ежли офицеры? — нерешительно сдается Ржавцев.

— Какие тебе офицеры? Начальник счас в Оренбам пошел в очко жариться, денщик его счас нам сказывал. А помощник на кровати лежит, мы Никишку его тоже видели...

Ржавцев ворчит и нехотя идет с ними к калитке.

Быстро подняв воротник, вскакиваю в переднюю и стремглав по крутой винтовой лестнице вверх. На темной площадке разминаюсь с каким-то солдатом, лезущим книзу. Не может быть, чтоб узнал.

В сумрачном коридорчике никого. Только в дальнем конце его неподвижно, как каменный памятник, стоит навьюченный сумкой и скаткой, под тяжелой винтовкой на плече бедняга Мелехов. А рядом, за дверями взводов — шум и гам. В канцелярии темно. Не останавливаясь, проскакиваю туда, осторожно затворяю за собою фанерную дверь и становлюсь за шкап. По лестнице слышны шаги.

— Не может того быть, — грузно влезая, бормочет фельдфебель. — Зачем ему сейчас в команду?

— Тык я ж с ним на лестнице встрелся, вот этак, господин фельдфебель, и погон у них блестел.

Фельдфебель поочередно открывает двери в каждый из взводов, потому что последовательно в каждом из них на миг стихают шум, говор и крики.

— Никого тут нет, почудилось это тебе. Да и зачем ему сюда заходить? Давно, чай, все уже в Питер приехали.

Однако, осторожности ради, он заглядывает и в офицерскую и ко мне. Но в обеих комнатах тихо и темно, а я притаился за шкапом. Фельдфебель сердито закрывает дверь и ругается.

— Дурак, только зря беспокоишь! Причудилось, вишь, ему!.. Мелехов! — кричит он вдруг через весь коридор окаменевшему с винтовкой истукану. — Не видал ты тут, прапорщик не проходил? Прапорщик Мальцев, вишь, Прокофьеву здесь померещился?

Мелехов молчит грозно и нахмуренно, как гранитный монумент.

— Тебя спрашиваю, стоеросовый?! Или еще на два часа под винта захотел? Так за мной дело не станет, я прибавлю! Видал ты тут прапорщика какого али нет? Отвечай толком.

Мелехов шевелится, шумно вздыхает и со злобой отрывисто рвет:

— Никак нет!

— Почудилось это тебе, Прокофьев, зря только нас сголашил! Еле карты успели спрятать, — и фельдфебель, грузно скрипя половицами, сползает к себе вниз.

В комнате тьма. Пахнет обеденной кашей, должно быть, от неубранных со стола котелков. За синим окном тысячью шопотов трепетно переговариваются звезды и деревья.

Рядом, за тонкою стеной, возится третий взвод. Слышно, как солдаты открывают сундучок и снова задвигают его под нары.

— Баба-то моя слезами вся исслезилась, — говорит один из них.

— Чаво ж она тебе пишет? — спрашивает его другой.

— Купец, вишь, есть у нас один, Евдокимычем звать, до того забижает, прямо хоть не живи. Нас вот вскорости на неминучую смерть погонят, да чтобы через это бабе моей дома крупы не давали или па грех бы ее сбивали?!. Нет, уж я теперь, братцы мои, этак мекаю: это только допреж с нами бывало, как с курами; что хошь, то и делай. Ну, а теперя и мы повыучились. Теперь нашего брата голой рукой — обожжешься. Я, братцы, тем сейчас и живу, ежели как вернусь, так первым манером Евдокимычу — нож в самое брюхо! Теперя...

Но внезапно задорно тренькнула балалайка, и звонкий голос залихватски запел:

Нас-да в чугунку-да по-аса-жали,
И паг-нали да в Аренбам.
Пу-уле-меты изу-у-чали
Зде-сея мы на-а страх вра-гам.

— Да, теперь с крупой да с хлебом — беда, — поддакнул первому второй солдат. — Как обозначили твердую цену, так, скажи, ну, ни один барин ни пуда с экономий не продал, все настоящей цены скрозь дожидаются. Вот те Христос! Ну, а нашему брату, конечно, — кишка тонка, — не наждешься. Все, что и было, давно попродали да подати сдали. Много теперь по деревням через это без хлеба маются. А в городах через это что делается, и не говори!..

— Здря ты скулишь за них, Шеншин, — вставляет третий солдат сумрачным и тяжелым басом. — Нет нынче, братцы, добра в моей душе для всех сволочей, что в городах пооставались. Как прослышу, что жить им худо, — инда радуюсь даже. Пускай пожрут друг друга, стервы, за то, что нас на муку солдатскую да на смерть лютую осудили.

— Да нешто рабочие нас на войну гонят?! Нет, трудно рабочему человеку без хлебушка, Петра, — перечит ему

Шеншин. — Как умепьшат порцию, так тебе и сдается, что и свету конец.

— Да я не про рабочих говорил,— оправдывается бас,— а про таких, как вот наш пятый взвод. Отцы-то все лавочники, да кабатчики, за войну-то брюха поотрастили. Сынков за хабары, — чего молчать, сами говорят, — сюды пристроили. Вот сынки-то в офицеры метят, нагуливают здесь теперь жиры да девок только вокруг портят... Вся иха и служба тут.

А певец-балалаечник разошелся и заливисто голосит:

Пу-у-ле-мет наш стро-ачит звонко,
И-ин-да дрожь по-ошла в ру-уке.
Ты-ы пра-ащай, пращай, родна сто-ронка-да
И-и де-ре-вня при-и ря-ке.

В коридоре направо кто-то хлопает дверью пятого взвода, быстро выходит и кричит в дверь третьего взвода:

— Ребята! Подпимайсь в два счета! Забирай сапоги чистить!..

Пенье и говор смолкают.

— Вот паскуды, — бормочет вполголоса бас.

— Седни не нашему взводу черед. Седни — четвертому!— кричит первый солдат. — Седни нам сичас вьюки учить надо, а то прапорщик Застежкин задаст завтра баню, как седни Иловайский Мелехову задал...

— Мелехову вчера целых восемь пар сапог сунули, он пропотел с ими до ночи и выучить ничего не успел. Через вашего брата, погляди вон, под ружжом как страдает! — рявкнул бас.

— Четвертый взвод с прививки сегодня пришел, лежит. Не может он сегодня чистить! — раздраженно орет пятовзводник.—Третий взвод должен их на сегодня заменить без рассужденьев! Эй, кто у вас тут дневальный?!. — командует он. — Давай, выходи, забирай сапоги! Да чтоб не спутать!

— А ну их к чертям, захребетников! — буркает бас.

— Погоди приказывать, погоны сначала позолоти! Наприказываешься еще тогда вдосталь! — дерзко кричит, должно быть, Шеншин, под одобрительный гул остальных.

Прежде был изво-о-щик, звать его Володя.

подхватывает певун.

А теперь он пра-а-пор, — ваша благородья...

— Ах, вы так?! — бешено хлопает дверью пятовзводник, но одновременно по лестнице вверх тарахтят сапоги и подбегают к пятому взводу: — Шевелев! Вылетай, да живо!

Кто-то выбегает в одних носках, и придушенный голос скороговоркой продолжает:

— Эмку для тебя привел. Все, как наказывал. Весь день охаживал, будь она неладна! Только хлебом и взял курву. В чейхаузе внизу ее заперли. Вались, а потом, слышь, и мы...

Слыхать, как Шевелев самодовольно сопит, натягивая и оправляя вынесенные в руках сапоги.

— Молодец Анисимов. Это, брат, у нас па-афицерски, в два счета!

— Господин взводный, — еле сдерживая негодованье, рапортует выскочивший пятовзводник. — Здеся бунтуют. Не хотят чистить наших сапог, да еще и ругают нас всяк.

— Бунтуют?! Кто бунтует? Шеншин? А я вот сейчас их! — говорит, кряхтя, Шевелев и сердито ковыляет в одном сапоге. — Встать! — визжит он, распахивая дверь. — Смирно!.. Кто здесь бунтует?! Шеншин?! Это ты, земля и воля, сапог наших чистить не хочешь?! Приказаний господ взводных не сполняешь?! Молчать!!. Здеся рассуждать не приказано! Если не хочешь пропасть, — что велят, то и делай. Здеся одна машина, что я — то Илья, что Евсей — то и все. Кто у вас тут дневальный? Живо забрать у нас

сапоги! Мои почистите апосля. А ежели кто поперек, — рядом с Мелеховым под винта!

«Какая сволочь!», думаю я и толкаю дверь.

— Фельдфебель! — кричу я средь внезапно упавшего жуткого молчания. — Фельдфебель! — кричу я и иду к лестнице.

Спустившись на вторую ступеньку, я уже вижу внизу кольчики его усов и красные глаза, испуганно вспрыгнувшие к самой щетине. Он впопыхах подпоясывает ремнем гимнастерку.

— Фельдфебель! — приказываю я и чувствую, что воротник офицерского кителя нестерпимо давит мне горло. — Фельдфебель! — кричу я. — Поставить взводного Шевелева сейчас же на два часа под ружье, а взысканье Мелехову отставить. Понятно?!

— Так точно, понятно! — растерянно бормочет фельдфебель, и возле виска его непокрытой головы обалдело дрожит, отдавая честь, его оробевшая рука.

Я быстро выскакиваю вниз в дверь, но на пороге вдруг вспоминаю.

— Дневальный! Сейчас же при мне отпереть цейхгауз и выпустить бабу... Как тебе не стыдно им потакать, а еще дневальный!..

Ржавцев, придерживая бебут, бежит к чулану, трясущейся рукой достает ключи и выпускает женщину в кацавейке и вязаном белом платочке. Стыдливо закрыв лицо руками, она делает несколько робких шагов и вдруг стремительно кидается мимо меня на двор.

— Вот, фельдфебель, — оборачиваюсь я, — полюбуйтесь на ваши порядки! — и, еле сдерживая кипящую во мне ругань, стремглав выхожу, бешено хлоппув дверью.

Дома неистово коптила лампешка. Весь стол и голубая книжечка покрыты черной крупою сажи. Может быть, от этого и на душе моей мрачно.

ГЛАВА IV.

Напрасно несколько дней подряд я жадно смотрел по утрам в бестолково-почтительные глаза приезжавших на занятия прапорщиков, а в обед хватался за привозимые из Питера газеты. То, чего я ждал, не случалось. Все шло неизменно размеренно в этой столетьями налаженной машине: строго навинчено и нерушимо.

Ежедневно в команде на вечерней проверке пахло потом и протухшими щами. Стриженые шеренги солдат истошно ревели: «По-о-бе-еды», и, надсаждаясь до хрипа, рубили: «Бла-го-вер-но-му им-пе-ра-то-ру на-ше-му Ни-ко-ла-ю А-ле-ксан-дро-вичу...», и звоном дрожали в ответ запотевшие черные стекла. Нафикстуаренные министры в пушистых треуголках, черных с золочеными плюмажами и в белых панталонах с золотыми лампасами изволили отбывать с докладами в Царское Село. Щетинистый надзиратель, спесиво позвякивая железом ключей в гулкой тишине сырых коридоров, машинально пригибался поочередно к глухим глазкам одиночных каменных мешков. Шевелев, отстоявший два часа под винтовкой, еще усерднее рвал морозную синь на шоссе своим отрывистым: «ать!.. два!.. три!.. тыре!», словно торопливо вколачивал гвозди в досчатые изгородки мартышкинских палисадов, сильно поредевшие от топки наших печей. И даже посеревшая сосна перед моими окнами попрежнему тоскливо топорщила ветви в сумрачной мгле.

Николай царствовал. Дворцовый переворот не совершался.

Привезенные газеты были волглы от сырых ветров и скучно серели пасмурной сеткой шрифта. «На митавском направлении в районе Олай противник повел наступление, но нашим огнем был отброшен обратно в свои окопы. На румынском фронте противник атаковал наши позиции северо-западнее Окна и овладел тремя высотами. Наши войска ведут контр-атаку».

За окнами плавает седая изморось. Зима уходит, но и весны еще нет, а нудная тусклятина газетных полос ползет и ползет безотрадными лентами, словно бесконечные марлевые бинты после контр-атак.

В первое время я ненасытно глотал газетные отчеты о заседаниях Государственной думы. Начиная от меньшевика Чхеидзе и вплоть до матерого промышленника Коновалова, все депутаты обрушились на правительство за безрассудный арест «рабочей группы». Они возмущались бессмысленностью этого разгрома последнего оборонческого оплота в рабочей среде, самоотверженно боровшегося с большевистской агитацией. Чхеидзе горестно сетовал на фабрикантов за то, что сами они нарушают мирные соглашения с рабочими. В самом деле: зарплата ползет на карачках, а дороговизна летит, как экспресс, а теперь и рабочий день хозяева удлинили с десяти до двенадцатичасового; а напоследок и хлеба не стало.

Осторожный Милюков умно и деловито-тонко обронил, что продовольствия не стало вовсе не из-за твердых цен, а от неприспособленности нашего народного хозяйства к войне. Вся беда от резкого сжатия и без того скудного производства и от неимоверного разбухания армии потребителей. Спасенье — только в Константинополе! И пусть слева не толкают Думу на какие-то там дела. Все дело Думы — только в ее спокойном слове.

Трудовик Керенский, молодой и юркий столичный адвокатик, дружески помогший графу Орлову в его скандальном бракоразводном процессе, пугал теперь кадетов народными зарницами и молил их образумиться, подсократиться малость в завоевательном своем аппетите, который-де народ не поддержит. Кадет Шингарев кричал ему с места, что это неверно, а помещики неистово выли справа на весь Таврический зал, что Керенский — Вильгельмов приспешник. Но Керенский не унялся. Он обличал лицемерье кадетов: движение масс объяснять либо предательством, либо изменой. Он крикнул в заключение с надрывом, что ведь правые уже открыто ставят вопрос о грядущей революции. Они совещаются, как бы пресечь ее сразу, сейчас же, пока еще не поздно.

Как?! Даже правые уже говорят о грядущей революции?! О грядущей революции?! А я всего лишь несколько минут тому назад наивно вожделел о каком-то дворцовом перевороте. Что он изменит и кому он нужен?!. Нет уж, пускай утешается его ожиданием слюняйчик Красников. Точка.

А Керенский — молодец! В бодрой задумчивости я представляю себе сумеречный, с темными нишами лож под потолком, квадратный зал думских заседаний, — тот самый зал, в котором я слышал когда-то в первой Думе из ложи журналистов кругленького, как яблочко, с широкими листочками ушей Аладьина. Он дерзко говорил тогда тоже о «правительственном» продовольствии и с беспощадной язвительностью издевался над спекуляцией «лидвалевским» овсом министра Гурко. Свернувшись в соседней ложе министров, коротенький, как крот, Гурко положил на стол на руки голову набок, оскалился и прищурился, как затравленная крыса, и злобно сверлил острыми глазками звенящую жуть притаившегося зала. А в перерыве высокий напомаженный Столыпин, в черном сюртуке и

бархатном жилете, уверенно шагал в полуциркульный зал, нервно подвинчивая тараканьи кольца своих черных усов. Тогда ведь тоже говорили о грядущей революции.

И во второй Думе рухнул ночью в зале известковый потолок, вдребезги разбив и расщепав толстые дубовые доски депутатских пюпитров. Наутро тогда в круглом колонном зальце истерично визжал низенький замухрышка-горбун в сереньком пиджачке, большевик Алексинский. И визжал он тоже о грядущей революции.

Где сейчас все они? Пишут, что где-то там, за границей, в тумане Лондона и среди огней Парижа, забыв ради царских побед о прошлой своей революционности, они накачивают теперь воинственный дурман в шотландских рудокопов и в шампанских винодельщиков. Как все меняется! Только вот грядущая революция попрежнему все еще что-то безнадежно «грядет» и, увы, до сих пор нагрянуть не может, теряя одного за другим своих ретивых поводырей. Неужели все они таковы? Надувные резиновые чортики, которые пыжатся, визжат и бессильно никнут, сморщиваясь в сухую и дряблую пакость. И Керенский в том числе? Нет, нечестно так думать. Пускай про него говорят, что он — вечно самоопределяющийся трудовик. Есть в его речи слова, которые искренно звучат глубоким сердечным надрывом. Не может так врать человек! Отсыревший газетный лист даже прорвался слегка, когда я туго подчеркнул эти его слова красным карандашом. «Остерегайтесь тех, кто на словах исповедует красивые лозунги, но кто не хочет в жизни подойти их исполнить».

Исполнить на деле красивые лозунги! Хорошо сказано, Керенский! И жаль, что угнали на каторгу большевистских депутатов. Вот эти бы, наверняка, и сказали бы и исполнили. А впрочем, что смогли бы они исполнить? Да и кто в силах исполнить те лозунги?! Рабочие? Повторить опыт Пресни? Или, быть может, деревня в солдатских шинелях?

Уж не Мелеховы ли вместе с Фенькиными, под командой Шевелева?!

И газеты теперь надоели. Скоро выдохлись, полиняли и сникли думские речи, как изъеденный ветрами снег в рассыпающихся сугробах. То ли в Думе говорить стало не о чем, то ли режет цензура. Зато в нашей команде во-всю идет сейчас усиленная подготовка к первому марта. Предстоят выпуск всех четырех взводов и производство в унтерофицеры. Вчера вот только, совершенно случайно, занятия не могли состояться. Из прапорщиков приехал, да и то с опозданием, один только Иловайский. Приехал он сумрачный и пожелтевший какою-то жирной, восковой желтизной. Он скупо процедил через зубы, что опоздал потому, что в Питере не ходят трамваи. «И хлеба нет, — добавил он нехотя, — а по улицам... вздорные слухи». Впрочем, все это и до него уже было известно в команде по писарским сплетням, принесенным из Ораниенбаума еще утром. Тут прибежал денщик Казакова и попросил Иловайского сейчас же к начальнику на квартиру. Я пошел вместе с ним.

* * *

Казаков сидел у окна, насупившись, как-то странно за эти дни почерневший, как перезревший гриб, и неистово курил одну папиросу вслед за другой. Встал он порывисто, лишь только мы вошли, и посмотрел на нас мутными глазами, растерянно плававшими в опухших вкруг них кошелях.

— Садитесь, пжалста, — бросил он с напускной решительностью и широким жестом нечаянно смахнул с подоконника прямо на пол всю груду окурков. Сам он не сел, а, нервно ежась, глубоко вобрал руки в рукава заплатанной на локтях домашней гимнастерки и сутуло встал у косяка окна. — Мне хотелось вот только спросить вас, — обратился он к Иловайскому с несвойственной ему доселе ро-

бостью, — что там доподлинно-то творится у вас в Петрограде?

— Да особенно нет ничего, — сдержанно процедил сквозь зубы Иловайский, оставаясь чинно стоять, — особого нет ничего, но и хорошего, впрочем, господин поручик, маловато. Как вам сказать? Распустились, знаете ли, все окончательно. Собственно, даже с бабья началось, — он ухмыльнулся. — Мужиков нехватает. Вот и вздумали они вчера какой-то там свой женский день праздновать. Мы вчера вечером вернулись отсюда, а они все еще топтались огромными хвостами впотьмах перед запертыми с утра булочными и, как мартовские кошки, визжали: «Хлеба!» Ну, пришел городовик и разогнал мокрохвостых... А сегодня вот трамваи не вышли. Выбежало несколько вагончиков, так возле Варшавского вокзала их босяки остановили и пытались даже свалить один. Конная полиция похлестала... На Путиловском, вы уж, наверное, слышали, вот уже третий день как локаут, но рабочие не работают и расчет не берут. Только в газетах обо всем этом, конечно, не пишут. А сегодня кто-то болтал, что должна была как будто бы начаться забастовка и по другим заводам. Но все это, конечно, ерунда, господин поручик. Ерундистика! Меры приняты. Будьте уверены: их перестреляют, как кур! — и, молодцевато улыбнувшись, он уверенно и крепко потуже затянул на шинели широкий поясной ремень.

— Да? Думаете, значит, что... ничего? Обойдется? — задумчиво, и словно заглушая внутреннее сомнение, обронил Казаков. — Да что же вы стоите, господа, в самом деле? Садитесь, пожалуйста! — затумашился он вдруг, словно проснувшись, и усердно пододвигая нам стулья. — А мне, знаете ли, прихворнулось вот что-то. Чортовски знобит. Эй, Клаш! — крикнул он в сторону кухни. — Гони-ка в два счета чего-нибудь нам на загладочку. Вот мы сейчас

и чекалдыкнем для благополучия петроградского и для свежести нашей по рюмашечке. Не правда ли, господа? — и трясущимися руками он полез шарить в буфетик.

Но кухонная дверь тихо скрипнула, отошла, и через щель ее вместе с запахом поджаренного лука умоляюще мне замигало болезненно сжавшееся лицо Казаковой жены. Я тихо высунулся на кухню.

— Отговорите-ка вы его, ради бога, пожалуйста! С им опять, вишь, запой. Водку-то даве я спрятала. Как бы опять он драться не начал... — и Казакова быстро засучила рваный рукав грязной кофты: повыше локтя багровел густой синяк с желтым отливом.

— Клашка! — рявкнул Казаков, не найдя заветного графинчика.

Как выстрел, хлопнула буфетная дверца, и трепетный звон пробежал по ножам и стаканам. Казаков потемнел и, зловеще сопя, дико заскурлыкал зубами.

— Брось, Филипп Иваныч, нельзя пить сегодня! — кинулся я к нему и подмигнул Иловайскому.

— Клашка, стерва! — неистово рванулся Казаков и бешеным ударом настежь распахнул кухонную дверь.

Его жена уже стояла, судорожно насторожась, и злобно мотнула навстречу мужу прижатым к груди голоногим ребенком.

Мы оба с Иловайским стремглав схватили поручика под руки.

— Брось, Филипп Иваныч, охота тебе скандал затевать! Дойдет до начальника школы, сам знаешь тогда...

— И пущай доходит! — гневно взвизгнула Казакова жена, увидав, что мы крепко держим ее мужа. — Авось, поскорей этого субчика опять на фронт спровадят. Разве житье мне с им, проваленная его башка! Жрет водку, как пес, и откуда только выканыривают ее сейчас треклятую! Думалось: закрыли, так, авось, теперь в разум войдет.

Ведь и ране, как штейгером на Черемхах служил, так — не поверите, родные — ну, каждую получку в дрезину пьян-пьянешенек. Все с забойщиков драл, лапки мыл. Ну, не жалко: не свои пропивал, хабарничал. На позициях как теперь покалечили, другой бы господа бога денно-нощно славословил, что начальство через то под себя приютило. Отсидел бы здеся войну, а там, глядишь, и в становые бы приняли.

— Клашка! — яростно побагровел Казаков, и мы еле сдержали его на диване.

Но Клашка его уже закусила удила и несла дальше.

— Сам же мне говорил, чорт паршивый, что приняли бы! Спит ведь и видит, чтобы приняли. И вестимо приняли бы: до поручика дошел. Ан, вот неймется ему теперь, дьяволу! Сам себе, дурак, фронтовую погибель желат...

Казаков зловеще пыхтел и, вырываясь, скреб ногами по полу, а она оголтело визжала, брызжа слюной, и злобно моталась в дверях кухни с прижатым к груди неумытым ребенком. Малыш мрачно, совсем по-отцовски, насупил золотушно-набрякшие веки и задумчиво мазал по щекам матери какою-то липкою слизью, которую энергично добывал со своей верхней губенки.

— Э, да плюньте вы, поручик, на бабу! — настойчиво уламывал Иловайский Казакова, пока я утихомиривал его разошедшуюся жену. — Должны же вы понимать, как офицер, какое сейчас опасное положение. Разве можно нам сейчас напиваться?!. Вы не смотрите! В Питере это не зря все. Нет, пустяками не кончится! Окрошка будет. А ведь наша команда — учебная. Каждый час того и жди, начальник школы обязательно должен будет потребовать вас... Срочный пакетик, аллюр три креста. Строго, секретно... К бою го-товсь! — он вытянулся и щелкнул шпорами.

Казаков смяк.

— Гриша! — ласково позвал он денщика. — Убе-ри-ка, подлец, окурки с полу, да живо! Ишь, расшвырялись тут... раскричались... раскудахтались... Дисциплину, мать вашу, забыли!..

Мы ушли и уже поднимались садом к команде, когда денщик Казакова догнал нас и передал мне просьбу Казакова — вернуться.

Казаков опять сидел мрачный возле окна, сопя папироской, в густом табачном дыму.

— Право, не знаю, что мне и делать, — прошептал он тревожно и нервно обгрыз папироску. — Вот, знобит и знобит, совсем захворал.

Потом помолчал. За окном денщик выносил помои поросятам.

— Доканает нас сволота эта, уж я это чую, — сказал он вдруг так неожиданно, и в голосе его задребезжали слезы. — Сколько лет страдал. Все жил мечтою: ведь вырвусь же вот когда-нибудь от это черной копченой сермяжины. Хоть под старость пожить бы на легких хлебах. Так нет, — будь они прокляты! — не дают, — он скурлыкнул зубами. — И тогда бунтовали и теперь напирают... Уж я-то, поверьте, хорошо всю природу их знаю, семь пудов соли с ними на копях сжевал. Ежели осилят, всю нашу жизнь они нам — на смарку! — он затянулся, выпустил густой клуб дыма и дрожащей рукой потушил окурок о мокрый подоконник. Ветер рванулся за окном и хлопнул сенною дверцей... — Так вы уж, пожалуйста, я попрошу вас, из команды никуда не отлучайтесь. А если хуже мне будет, я рапорт пришлю о болезни. Вы тогда срочно отправьте его в школу. — В глазах Казакова мелькнула искорка ужаса и погасла. — Клашенька, сердце ты мое, дай ты хоть рюмочку! В грудях-то ведь как сосет!.. — он склонил взъерошенную черную голову на заплатанный рукав и бессильно заплакал.

* * *

Утром Иловайский уже не приехал. Приехал неожиданно Застежкин. Его маленький носик краснел и лоснился, как чирий.

— Чем заниматься-то будем сегодня? — спросил он, расставив колесом свои низенькие кривульки в толстых начищенных сапогах, и в серо-зеленых глазенках его пробежала беззаботная усмешка. — Ну, и дела! Только вот мы с вами вдвоем на все взводы и пооставались, господин поручик! Хи-хи-хи!.. — Потом с деланной серьезностью он подтянул почти до подмышки свою не в меру большую шашку, — она вечно тыкалась у него о пол, — и беспечно замурлыкал:

А там, чуть подняв занавеску...

— На строевые все пойдем! — мрачно отрубил я.

— Никак нет, разрешите доложить: не приказано сегодня солдат никуда ни отлучать, ни выводить из помещеньев команды. Секретное приказанье такое от начальника школы так что только получено, — и фельдфебель сунул мне в руку бумажку.

— Хорошо. Заняться всем взводам в своих помещениях повторением пулеметов. Вы, прапорщик Застежкин, останетесь здесь наблюдать. Я сейчас поеду в Ораниенбаум. Надо ж выяснить...

В Ораниенбаум скорее и ближе — поездом. На горку мимо двух чухонских лавчонок, мимо позеленелых от времени деревянных домишек с палисадами, закутанными снегом. В домишках доживают недобритую жизнь отставные придворные конюха и лакеи. И смотрят из чахлых палисадов к ним в серую скуку окошек только кусты взъерошенных смородин в белых и острых от мороза ресницах.

Мимо лиственниц, поседевших в зимней своей наготе, спускаюсь по лестнице вниз на платформу. Задержка: поезд из Питера почему-то запаздывает. Зато, пыхтя и качаясь, приближается из-за поворота встречный, из Ораниенбаума. Спешу взять другой билет. «Ничего, Застежкин побудет в Мартышкине вместо меня, а в Питере я зато все узнаю». Паровоз проплывает, дрожа грязным масляным потом. Мелькают пыльные окна классных дачных вагонов. Пустовато внутри. Едем.

Вот быстро пробежали, подобрав черные подолы, елочки парка. Готический сумрак Петергофского вокзала окунул нас минутно в гулкую пустоту посеревших от дыма голых стен своих и безрадостных окон. Промелькнули потом одно за другим, то подплывая, то уплывая игрушечными вокзальчиками: Стрельна, Сергиево, Лигово. И сырая пасмурь Петрограда тревожно дохнула промозглой безнадежностью глубоких каменных улиц. Сумрак неба тускло желтел, мерцая сквозь вялый и тихий туман. Словно кто-то огромный лениво смотрел мутными, как у мертвой рыбы, глазами. На площади перед Балтийским вокзалом у грязных куч снега топталась застава от Петроградского гвардейского полка. Солдаты грелись возле костра, составив ружья в козла. Офицеров не было видно. В вокзальном буфете, конечно, было и суше и теплее.

На углу площади, возле наглухо запертой ставнями двери, лукаво сияли на вывеске рыжие крендели. Перед ними одиноко на черном коне гарцевал полицейский в черной шинели. Он сердито дергал уздою, и короткая черная кисточка-султанчик на его черной с металлической лентой драгунке подпрыгивала враз с подрубленным хвостом его коня. Очередь сгорбленных баб и рабочих жалась понуро возле мясной. На углу торжественно застыли двое городовых и околоточный надзиратель. Его большое лошадиное лицо казалось шафранным от желтого отсвета туч, а белые

медали на сизом шинельном сукне отблескивали тусклою медью.

Трамвая не было. По засыпанным снегом осиротевшим рельсам его, вдоль берега Обводного канала, скользя и спотыкаясь, бродили солдатские патрули. Канал посредине протаял, и тихий пар плыл от его густых черных вод. На Боровом мосту возле заставы бурых солдат светло-серой аккуратной игрушкой красовался семеновский офицер. Золото погон его было туго перетянуто боевыми ремнями, синий околыш казался мягче его эмалированного лица, а белая упругая перчатка плотно лежала на расстегнутой кобуре револьвера. Он гордо поглядывал на черную цепочку городовых перед мостом, которые задерживали движение к центру. Двое пешеходов в потертых пальто, в замызганных картузах должны были вернуться. Третий — в тужурке и сапогах — стал ожесточенно спорить. Барышню в лиловой шапочке с белым венчиком розочек и пудреного кавалера в серой фетровой шляпе полицейские пропустили беспрепятственно, а мне так даже козырнули. Офицер внимательно посмотрел на меня еще издали: кто младше чином? Кому козырять первому? Но я нарочно увлекся брошенным на лед канала продранным лаптем (какой-то волжский новобранец, очевидно, оставил здесь свою память столице) и прошел мост, не козыряя.

С Разъезжей свернул к Знаменской площади зеленовато-серый броневик. Зловеще лязгая цепями, он тяжело прогрохотал чугунным дребезгом панцырных башен. Стальные створы его пулеметных глазниц остро щупали притаившуюся жуть лиговских панелей. На скурлычащем кузове его было написано по-славянски «Олег».

Третий задний двор на 5-й Рождественской неизменно хранил зеленую сырость старого колодца. Затхлая лестница с выеденными камнями ступеней неотразимо благоухала кошками. На двери надо было обшарить всю клеенку,

чтоб позвонить. Тогда дребезжащий старческий голос впустил меня в пыльную тьму скучающих по платьям шкапов, одурманенных сладкой прелью мороженой картошки.

— Дома их нету. Записочку? Ну-к, что ж, зайдите, оставьте.

Узкая тусклая комнатка, прижатая окном в стену дома. Была по-девичьи заботливо оправлена кровать с тюлевой накидкой на подушке. Кривая кушетка из ситца плотно подперла живодрягущий письменный столик. На нем аккуратная стопка тетрадок, потрепанные корешки эмбриологий, фармакологий и гимназическая карточка прищуренной блондинки. А посредине стола — бравый портрет молодого черноусого флотского мичмана с набухшими веками и с инженерским значком на груди.

Я оставляю Вале записку, что если приедет в Питер из Гельсинок муженек ее Борька, мой брат, пусть кинет мне открытку, мне надо его срочно видеть.

* * *

Суворовским проспектом я выбрался на Старый Невский. Народ сновал и спешил, как обычно. Справа из полицейской части стройно выходили черные шеренги городовиков.

Ручкин жил во дворе, но белый мрамор лестницы был устлан бордовой дорожкой ковра. Швейцар с золотым галуном на околыше радушно поднял меня на лифте до самой квартиры и поехал назад. Я минутку помедлил возле блестящей медной планки.

Что у нас общего? Что когда-то в далекие студенческие годы мы в обтрепанных брюках вместе бегали по таким же вот мраморным лестницам, предлагая купить медным планкам сочинения Брокгауз-Эфрона. О, мы оба хорошо изучили вкус покупателей. «Вселенная и человечество» на глянцевой белой бумаге сияла мрамором этих лестниц,

а золотые фитюльки на кожаных тисненных переплетах поблескивали, как медные дощечки этих парадных дверей. Планки принимали нас в прихожей, но, умилившись тисненною кожей, звали нас в кабинет, ставили образцы книг на стол, отходили, прищуривались и вдохновенно подписывали заказ, вышуршивая новенькими бумажками задатков.

Мы ходили врозь. Ручкин был агентом, а я его субагентом, и он зарабатывал и сам и на мне. И Ручкин и я этим жили, чтобы сохнуть утрами на лекциях юстиниановских фрагментов. Но за фрагментами шел Рикардо, а за Рикардо спокойно улыбался кудрявогривый Маркс. Новый мир мятежных дерзаний, которые должны высушить вмиг все слезы мира, вдруг сверкнул и взорвался передо мною с сухих капитальных страниц. Горло стиснулось неуемною радостью. Жребий был брошен.

А Ручкин? Он решил не ходить на фрагменты. Он говорил, что за утренним кофе медные планки щедрее. А в служебных кабинетах их учреждений, поймав на заказ самого принципала, можно было тут же, небрежно помахивая свежею подписью, набрать еще пачку новых заказов от его подчиненных, которые даже котлетками бак старались подражать принципалу. Ручкин завел брюки в полоску и элегантный пиджак с синим галстуком. Почти золотая цепочка протянулась по бархату его жилета. — «Все это— кормит!», хохотал он закругленно, похлопывая меня по костлявому плечу. Зачеты он не сдал и плюнул на ученье, уехавши в Питер с женой и детьми. Снял квартиру на Невском. Пусть на Старом Невском, за Александро-Невскою частью, но все ж на Невском. Я даже остановился у него первый денек, когда приезжал в Государственную думу. Он встретил тогда радушно и соболезнующе оглядел мое испитое лицо.

— Что же, бросили книги? Ах, пишете теперь в газете? Много выгоняете в месяц?

Я в спокойном отчаяньи врал, а он что-то вычислял в уме, деловито лоснясь розовым фарфором полнеющих щек.

— Ну, что ж, это не так уже плохо. Я, знаете ли, тоже бросил книги. Книги — мелочь. Теперь работаю домами.

В прихожей на вешалке синела его новенькая студенческая фуражка.

— Перевелись в Петербургский? — спросил я.

— Нет, — сказал он, как-то внезапно устало ухмыльнувшись. — Это я по старой привычке... В ней неизмеримо лучше встречают... Больше как-то доверья...

Позвонить ему или нет? Он крепко увязан теперь с деловым Петербургом. Он должен знать все, что — и там, за кулисами министерских приемов. И я нажал кнопку.

Дверь открыла дочка Ручкина, такая же блондинка, с такими же голубыми, как у отца, глазами.

— Папа! — крикнула она обрадованно. — К нам Тарасов пришел.

Алексей Финогеныч появился в дверях кабинета теперь уже в котиковой шапке и лиловом шелковом шарфе. Он торопливо набивал бумагами портфель.

— Ах, как я рад!.. Хотя и сердит: служите под Питером, а ни разу не заглянули, как следует. Раздевайтесь, пожалуйста. Жена сейчас накормит вас завтраком. А я вот спешу на минутку на одно деловое свиданье. Но к обеду я постараюсь вернуться: вы обязательно дождитесь!

— Нет, благодарствуйте, сам я очень спешу, и, если угодно, могу проводить вас немного, а то мне надо на поезд.

— Ах, вы вечно спешите, — укоризненно улыбнулась, появившись в дверях, его жена. — А то оставайтесь-ка, право. Вечерком поболтаем. Хорошо было бы сходить в Александринку. Там сегодня юбилей Юрьева, премьера Мейерхольда: лермонтовский «Маскарад». Говорят, дивная трактовка. Извечный мистический фатум зловеще двигает всеми людьми. Всякая борьба — бесполезна. Да жаль,

билеты все проданы. Вы не поверите: в кассе никогда не достанешь. Только у перекупщиков. И когда только уничтожат, наконец, эту спекуляцию?!. А то вот пойдемте к Сабурову. Грановская так хороша в «Романе». Заночуете. Жаль, что не было вас вчера. В Офицерском собрании Армии и Флота был чудесный вечер французских песен Жермен Фабиани. Но постойте, зато в понедельник вот, двадцать седьмого, будет еще интересней. Леля, дай-ка газету! Вот прочтите: «В императорском Михайловском театре — вечер национального искусства союзных держав». Ах, тут такая тусклая лампочка! Леля, прочти-ка программу.

И Леля стала читать:

— «Россия — «Жизнь за царя», Кшесинская. Англия— Люком; мистер Лесли Уоллер прочтет стихи мисс Бьюкенен. Франция — мадам Болта и мадам Дермо»...

— Ты читаешь какие-то глупости, детка, — насупилась Ручкина и взяла у дочери газету.

— Во всяком случае, мы возьмем билет и для вас, — радушно перебил ее Ручкин, одевая пальто. — Жди к обеду, — мотнул он жене, и мы вышли.

— Плохи дела, — сказал Ручкин на улице. — С домами сейчас туго. Работаю квартирами. Это мельче, конечно, но хлебней. Если бы вот только не эти дурацкие забастовки. Вы не знаете, что вчера здесь творилось? Огромная толпа рабочих запрудила Невский возле Казанского собора. Двинулись с красными флагами к Знаменской площади. Какие же тут квартиры! Какие уж тут дела!.. Условился с клиентом по телефону встретиться сегодня в одиннадцать в «Кафе де Пари» и боюсь, как бы эти черти снова не начали... Обиднее всего, что Левашев в Государственной думе вдруг брякнул, что смуту затеяли евреи и спекулянты... Ну, что еврейчики... — это я понимаю, но...

— Алексей Финогеныч, вы учились в университете, причем тут?..

— Ах, не перебивайте лучше! Еврейчикам интересно поскорей окончить войну, чтобы мы не успели отвоевать черту их оседлости. Они хотят теперь жить в столицах. Они страшно портят всю коммерцию. Это они распускают вздорные слухи, что война подрывает народное хозяйство... Ах, какой молодец профессор Локоть! Вы читали его статью в «Новом Времени»? Он доказал, как дважды-два, что война развивает сельское хозяйство. Ведь хлеба нехватает сейчас из-за армии, цены растут; значит: сей — не хочу!.. А в городах? Я никогда раньше не видал столько денежных людей. Цены на квартиры растут сейчас бешено... Только бы, знаете, и работать во-всю. А тут, как назло, посмотрите вот!.. — и он махнул рукою вперед.

За коренастым монументом самодержца с крутою толстою шеей, возле железной ограды Знаменской церкви выстроилась полурота Волынского полка. Крепко пригнанные шинели, кожаные подсумки, тяжело набрякшие патронами на поясах. Прапорщик в шинели солдатского сукна, затянутый в боевые ремни, стоит на правом фланге. Редкие пушинки снега летают легко мимо холодного блеска его пенснэ, мягко ложась на желтый кант и черную петлицу воротника. Многочисленные прохожие: господа в котелках, дамы в модных шубках и даже публика посерей — те, что сутуло запахиваются в пальто на «рыбьем» меху,— никто не обращает внимания на солдат. Каждый занят своим.

Вот ковыляет на костылях гурьба забинтованных марлею раненых. Сестра милосердия в белой перелинке, большегубая и курносая, заботливо поправляет пегую челку под накрахмаленной наколкой с красным крестом на напудренном лбу.

Дальше трое студентов весело рассуждают возле газетного киоска. Один из них напевает:

Кто и где бывает, кто и как обедает,—
Про то попка знает, Протопопка ведает...

Он притопывает рваной галошей. Остальные смеются.

Несутся по Невскому рысаки, автомобили. Лавины людей катятся шумно туда и сюда по панелям его, деловито спеша. Можно слышать порой случайные лоскутки разговоров:

— Не шутите. Четыре тысячи рабочих хотели вчера прорваться сюда через Троицкий мост.

— Взорвать Троицкий мо-ост?!.

. . . .

— Ну, так вот, попал я вчера в «Привал комедиантов». Ой, ведь это же так интересно!..

. . . .

— Поневоле заволнуешься, если хлеба нет.

— И не будет, раз продовольствие поручено Вейсу. Эти немцы... Недаром Протопопов снюхался в Стокгольме с Варбургами и Ашбергами... Александре Федоровне этого только и надо...

. . . .

— Вы представьте, этого прохвоста, Манасевича-Мануйлова, и вдруг выпускают-таки под залог!..

— Чего ж тут диковинного? Секретарь Штюрмера! Подарил ему свою содержанку, да хотите, чтобы...

— А вы знаете, после приговора его приезжал утешать сам Бурцев...

. . . .

— Взгляните! Взгляните! Вон, за воротами Аничкова дворца — видите через решетку? — казаки...

. . . .

— Клавдия Петровна, милочка, отправимтесь сегодня в Петровское училище. Там танцовальный вечер в пользу сирот павших воинов... Прошлый раз как весело было!..

. . . .

— А на вашем заводе выбирали?

— Куда выбирали?

— Да в Совет.

— В какой Совет?

— Ну, и растепа...

. . . .

— Он уже в ставке. Вчера императрица принимала послов. Испанский маркиз Виласинда обещал...

. . . .

— Слыхали? Победа! Продовольствие передали городской думе!..

. . . .

— Какие мерзавцы! До чего обнаглели! Смотрите, вон на углу срывают объявление генерала Хабалова...

. . . .

— Ну, и заваруха! Пойдемте скорее! — дергает меня за рукав Ручкин, и мы спускаемся в «Кафе де Пари» под пассажем.

Шум и гомон уличной толпы сразу тонет здесь в сумраке широкого подвала. Ослепшие лампочки, купаясь в голубых слоях табачного дыма, лениво лижут тусклые потемки с пыльных зеркал. Но это только кажется, что здесь этак тихо. Синегубая проститутка умоляюще мазнула нас у входа кокаинной тоскою подкрашенных глаз. Дальше вокруг за бесконечной вереницею мраморных столиков шумливо кишит муравейник людей. Бормотание этих теней сливается со звяканьем ложек о стаканы, двиганьем стульев, лязгом посуды о мрамор и шарканьем подошв. Чуть поблескивая мельхиором подносов, бесшумно порхают по узким проходам лакеи.

Ручкин садится к столу лицом к выходу, снимает перчатки и заказывает два стакана кофе.

За соседним столиком сидит компания штатских с военным. Его золотые, необычайно узкие погоны с черным просветом и какими-то мудреными накладными вензелями: «С. П.» приводят меня в тупик.

— Ну, как дышишь, земгусар? — весело хлопает его по плечу вновь подошедший в расстегнутом пальто и пушистой фетровой шляпе. — Брось хандрить, Северопомощь, делай доллары!.. Кстати, нет ли у тебя вагона резины?

— Есть у него резина, — насмешливо отвечает за него сосед, — да только тонка очень, не во-время рвется... — Все оголтело хохочут.

— Сорванцы! — завистливо улыбается в их сторону Ручкин. — А моего типчика все что-то нет. Неужели опять не придет?.. — Он мешает сливки в стакане и облизывает ложку. — Ну, как вы находите сейчас наш Питер? Конечно, — морщится он, — исключая эту временную заваруху... Сейчас — безобразие: немцы, еврейчики — сплошное пораженчество. Москва вот, Москва, та — совсем в другом роде Куда патриотичнее. Москва нас не выдаст.. Слышали, кстати? Марков, доктор Дубровин и Орлов созывают в Москве правый съезд. Это, знаете ль, во-время... Кстати, чего ж он не идет?.. — и Ручкин тоскливо смотрит на массивные золотые часы и на выход.

Но у выхода слышится шум. Лакеи кидаются туда и машут в ту сторону салфетками.

— Куда вы?!. Куда вы?!. Куда вы?!.

Слышатся звон бьющихся стаканов и грохот падающих столиков. Я оборачиваюсь. Густая волна людей катится и прыгает вниз по ступенькам в кафе.

— Куда вы?!. Куда вы?!. Двери запереть!.. — грозно орет жирный господин во фраке.

Швейцары в поддевках кидаются к дверям.

— Ловушка! — визжит кто-то пронзительно, и вся толпа уже хлещет обратно на Невский.

Ручкин торопливо кидает серебряную мелочь, и напор толпы с треском ломаемых перил поднимает и выносит нас обратно на улицу. Я чувствую себя в этот момент жалкой пробкой, крепко зажатой в бутылке, попавшей в водово-

рот. Уже на лестнице, среди отчаянной давки я увидел вдали растерянное испуганное лицо оттиснутого Ручкина. Он судорожно высовывал кверху портфель.

* * *

Первое, что кинулось в глаза: движение в сторону Адмиралтейства остановилось. Автомобили и лошади исчезли. Все, кто шел к Полицейскому мосту, должны были встать или повернуть обратно, или свернуть в поперечные улицы. Медленно и спокойно все люди идут только к Знаменской площади, запрудив собою весь широченнейший Невский и его панели. Это — не густая масса рядов. Люди идут вразброд, как попало: и кучками, и в одиночку, но удивительно сохраняя плавную ровность своего движения. Это поразительно напоминает ледоход. Здесь есть и плотные кучи людей, словно тяжелые льдины, плывущие одна за другой. Иногда они налезают друг на друга, и первые, замедляя ход, оборачиваются назад. Тогда наехавшая льдина, ворча, сползает обратно. По краям они всегда откалываются, эти льдины, их осколки крутятся и пристают от одной льдины к другой. Посредине ледоход плывет и быстрее и крепче. Там никто не мешает. Но чем ближе к панелям, тем медленнее течение. Людины и людинки, налезая на берега панелей, замедляют свое движение, наталкиваясь на встречных. Лишь мальчишки крутятся, словно щепки.

Здесь трудно разобрать, кто — основное ядро толпы, а кто — любопытные. Головы у толпы нет. Сначала плывут одинокие льдинки, потом гуще и гуще, а затем идет сплошной ледоход. Кто здесь идет? Это — не совсем обычная толпа Невского проспекта: толпа чиновников, хлыщей, спекулянтов и кокоток. Темные шары котелков, серебристые бобры и лоснящиеся котики торопятся улизнуть в закоулки и оттуда осточертело гнать на извозчиках домой.

Нет, — здесь больше замазанные картузы и шапчонки из черной вязаной мерлушки. И лишь изредка — то здесь, то там, как ромашки на темном поле, цветут и качаются серые солдатские папахи. Я вскакиваю на тумбу, чуть опершись на плечо случайного соседа, и гляжу направо. Там, за каланчою городской думы, от портиков Казанского собора, грозно ползет сюда, колыхаясь и урча, уже сплошная густая лавина несметных голов. Отдаленный рокот какого-то отрывочного рева тысяч голосов доносится сюда все ближе и ближе. И вдруг над упорно ползущей черною кашей людей, словно острый кровавый кинжал, там, вдали ярко выклинился красный флаг.

— Красный флаг! — ахнули панели.

Суетливо залебезили манто. Тревожно заоглядывались и туго поперли, прижимаясь к домам — лишь бы пробраться до первых поперечных улиц — оставшиеся бобры и цилиндры.

Рев и шум надвигается все ближе и ближе, и из толпы в разных местах один за другим вскидываются и, колыхаясь, плывут еще четыре красные флага. Будто бы огненно-красные языки боевого огня, остро струясь, ярко горят над угрюмо ползущей рекою.

Первый флаг поравнялся. Он плотно вбит в черное кольцо людей. За ним идут рабочие, затем несколько человек в потертых темных шляпах, три-четыре солдата и один офицер. Да, один царский офицер, в серой солдатского сукна шинели и фронтовой защитной примятой фуражке, шагает на глазах всего Невского рука об руку с мятежными рабочими непосредственно за красным флагом. Рокот толпы нарастает.

— Э!.. А!.. — кричит светлорусый рабочий возле флага. Рот его широко раскрывается, и шапка от этого сползает на затылок. Но только слов его отсюда нельзя разобрать.

— Хле-ба-а-а! — вмиг исступленно подхватывает и тысячами осипших глоток ревет толпа, и этот рокочущий рев отскакивает от стен, плещется по крышам и глохнет в галлереях Гостиного двора.

Я ловлю на себе удивленно-настороженные взгляды. «Офицер, и на тумбе? Не залез ли высматривать, как презренная царская челядь?», пытают глаза, прокопченные дымом. «Ах, сочувствуете?.. Тэк-с!», ядовито вонзают в меня взгляд свой очки в котелке. Но людоход уже навалился, столкнул меня и понес.

— А-о... А-о-а-а-е! — кричит возле флага, запрокидываясь шапкой, белобрысый, когда отдаленные плески предыдущего крика уже потонули в тяжелом рокоте десятков тысяч упрямых шагов.

— Да-а-ло-ой са-ма-держа!.. — неистово перекатывает весь Невский, и золоченые гербы императорских поставщиков тухнут и коробятся от сумасшедшей дерзости этих бешеных криков. И негодующе пыжится за седою дымкою измороси, в своем облетевшем сквере огромная Екатерина. Ее чугунный кринолин заиндевел, и снежная перелинка пушисто лежит на плечах.

— Аза.. азак... каза... казаки!.. — скороговоркой бежит по толпе.

Движение замедлилось, и многие схлынули к панелям. Из рыжих ворот Аничкова дворца выехал казачий разъезд во главе с офицером. Улица высохла. Они разворачиваются в один ряд, как по струнке, повертывают лошадей и едут шагом навстречу толпе.

Наша лавина ползет тише и тише. Она выравнивается и становится упругой и четкой. Лишь вдалеке позади все еще гудит бушеванье. Здесь же тихо. Красный флаг сузился, заострился и, как отточенный, точно застыл. Молодой казачий офицер, привстав на стременах в полоборота к казакам, выхватывает шашку из ножен, и вдруг все,

как одна, выхлестнулись полосы сабель, сверкнули, как белые молнии, и потухли у серых казачьих плеч. Натянулось жуткое, тугое молчанье. Лишь гулко раздавался дробный цокот приближающихся конских копыт.

И в этот момент, так неожиданно, выходит вдруг вперед из толпы девушка. На ногах — большие ботинки, калоши. Темная ватная кофта. Шерстяной платок плотно обвязывает голову, простой такой вязаный платок — в цвет казачьей шинели. Она идет наискось поспешно, семеня ногами, быстро-быстро навстречу казакам, приближаясь направо к их офицеру. Тысячи глаз с замиранием сердца следят за нею. И она вдруг стряхнула какую-то бумагу и подносит офицеру прямо к седлу пунцовый букет свежих роз.

Казачий офицер — молод. Его погон серебрится задорно. Зеркальная шашка остро торчит в его крепкой руке. И вдруг эта сабля беспомощно мотнулась и, сверкая, бессильно повисла темляком на упругом запястьи его белой перчатки. Он нагнулся и принял букет.

Такого бешеного рева я никогда не слышал больше в мире. Это был неистовый исступленный рев тысяч радостей. Я ничего не замечаю. Веки вдруг как-то глупо намокли. В глазах зарябило. Какой-то двойной господин, с двумя головами и с двумя жемчужными запонками, воткнутыми сразу в два лиловых галстука, неучтиво тычет меня в грудь:

— Нельзя же орать так сумасшедше мне в ухо?! А еще офицер...

Ах, какое мне дело, кто я! Офицер? Что ж, тем лучше! Как безумный, работаю я и плечом и локтями, пробираясь к середине. Толпа давно уже затопила казаков. Они стоят, одинокие, разобщенные, торча, как старые сваи возле мельницы из бурлящей воды. Я лезу напрямки к офицеру. Молодой удалец, очевидно, сам не ждал такого конца. Оглушенный восторженным ревом, он глядит беспомощно

и растерянно на сотни мимо плывущих улыбок. Левой рукой он тревожно натянул конский повод, а правою нервно пытается расчистить пред собою дорогу, сердито зажав, вместо шашки, увы, позабытый им цветочный букет.

— Господин офицер! — кричу я, продираясь, и поднимаю вверх руку. — Господин офицер! — хриплю я, и меня охотно проталкивают вперед. Он еще смущеннее, боязливо взглядывает на меня. — Господин офицер! — и я ловлю его руку с букетом. — Вы — честный сын трудового народа, господин офицер! Жму вашу руку! — и я тискаю его руку поверх, потому что он не отпускает боевого букета. Он радостно мне улыбнулся и весело покраснел.

Красный флаг, словно парус, проплывает мимо вперед.

— Да здравствует армия! — кричит белокурый в шапке.

— Ур-р-ра-а-а-а!!. — несется и переливается вширь и вдаль по безбрежному человеческому половодью.

— Долой войну! — кричит он же.

— А-о-о-о-у-у-у!.. — бурля и бушуя, вторят ему раскаты людохода.

Казачий офицер приветливо улыбается, круто повертывает коня и, взмахнув пунцовыми цветами, заворачивает и остальных казаков. Теперь все они шагом едут по течению, отставая от быстрого хода народа и застенчиво улыбаясь на ласковые крики и махание шапок людей, их окружавших, которые хватают их за стремена, гладят их лошадей и суют им в карманы шинелей конфеты, деньги и папиросы. Перед казаками, их обогнав, широко развеваясь, плавно несется вперед большой алый флаг. И гордые чугунные кони Аничкова моста, уже готовые подняться на дыбы, теперь чутко дрожат, еле сдерживаемые нагими силачами.

На мосту — уже, толпа напирает, меня относит к перилам и за мостом с группой рабочих отбрасывает в сторону.

— Закурим, — говорят они друг другу.

Один достает папиросы, другой — коробок. Пузатая барка заснула вдали у мрачного гранитного берега, застыв во льду возле черной полыньи. От тяжелой воды идет мягкий пар и пушисто бел вокруг нее снег.

— Ага, господин. Пойдемте за нами! — и трое полицейских схватывают под руки бритого человека в пальто.

О, их не только трое! К ним на помощь, придерживая шашку, бежит полицейский пристав в серой шинели, с тугим серебряным поясом, и хлестко мотается его револьверный шнур. Господин в очках, в нахлобученной шапке и с поднятым воротником что-то шепчет ему на-бегу. Из подъезда дома жадно выглядывают позади около десятка городовых.

— Товарищи! — вскрикивает схваченный, но полицейский зажимает ему рот.

— Брось, не балуй! — кидается на помощь рабочий, швыряя незакуренную папиросу. — Товарищи, выручай!

Сразу вся ватага стоящих стремительно бросается на полицейских. Корявые копченые пальцы хватают их за рукава и за плечи. Арестованный отряхивается и, тревожно оглянувшись, мигом скрывается в гуще идущей толпы. Растерянно отмахиваясь от толчков и хватаний, городовые ретиво бегут под ворота. Пристав тоже спешит и пронзительно свищет в свисток. Он бежит мимо меня.

«Ах, мерзавец!» — подножка, он летит, но сразу же вскакивает. Стремительно, как стая черных мух сахаринку, его вмиг облепляет толпа. В него крепко вцепились, озлобленно тычут кулаками в бока и садят по шее.

— Бей фараонов!..

Оловянные глаза пристава теперь заблестели животным страхом, оголясь, как у телки. Шапка сбита, и редкие волосы спутаны. Ворот разорван, содран погон, нос и усы замараны жидкою сукровицей. Он судорожно мечется,

скрюченными руками защищая голову, и с отвисшей губы его свисают кровавые слюни.

— Хватит, хватит, хватит стерве! — настойчиво успокаивает кто-то расходившихся.

— Вали его теперь, ребята, в Фонтанку! — кричит другой.

— В Фонтанку!.. В Фонтанку!.. — подхватывают остальные, и вот барахтающаяся серая туша летит через чугунные перила.

И с набережной и на мосту все нагибаются к перилам и смотрят вниз, и сотня любопытных спешит к изгородке.

— Жив еще, сволота! Гляди-тко, гляди: уползает.

Мной овладевает смутная тревога. А что если шпики меня заметили? Я живо ныряю в толпу и быстро пробираюсь вперед, через весь Невский, на другую сторону. Алый флаг, качаясь, плывет неподалеку. Люди вокруг поют дерзко и весело. Бодро и четко бьют по зеркальным витринам магазинов мятежные слова «Варшавянки»:

Но мы подни-имем гордо и сме-ело,
Знамя борьбы-ы за рабочее де-ело!..

За огромными зеркальными окнами слушают эти слова рябые желто-красные апельсины Италии и сингапурские пузатые ананасы с поблекшими синими листьями. Жирные сиги и копченая корюшка Балтики томно затекают блестящим янтарем на фарфоровых блюдах оконной витрины. Из-за фруктов робко выглядывают радостно-любопытные лица продавцов в белых фартуках.

Четкие выкрики песни, дробясь, отскакивают от стен и окон и гулким отрывистым эхом перебивают сами себя:

Знамя великой борьбы всенародной,
За лучший мир, за святую свободу...
На бой кровавый!..

— Ур-р-р-ра-а-а-а!!! — гремят и перекатываются сзади тысячегрудые волны.

Направо у серого дома, на углу Троицкой улицы, там, где стынут слоеные пирожки в сладком сумраке Филипповской кофейной, — тревожно и сердито у железных ворот гудит и рокочет толпа.

— Отпирай!.. Тебе, мерзавец, говорят!.. А то голову оторвем!.. — кричат в ворота отсюда.

Но и за железной решеткой подъезда тоже порядочная гурьба людей. Все лихорадочно наседают на дворника с металлической бляхой на шапке.

— Я ништо, я подневольный, — лепечет за железными прутьями дворник, трясущейся рукой доставая из-под белого фартука связку ключей. — Сказали мне фараоны: запереть, я и запер. Раз приказуете вы отпереть, я и отопру. Нам арестованных не надо.

Едва ворота, скрипя, открываются, как быстро один за другим, спотыкаясь и падая, выскакивают оттуда на улицу люди: пальто, куртки, две солдатских шинели.

— А где ж фараоны?

— По черным лестницам разбежались. Дом большой, рази отыщешь...

Меж тем Невский бурлит и играет. Еще разноголосо и нестройно, но напряженно и остро взлетают слова:

Тебе отдых одна лишь моги-и-ла,
Что ни день — недоимки готовь.
Царь-вампир из тебя тянет жи-илы,
Царь-вампир пьет народную кровь!..

Но вот опять какая-то задержка. Мы напираем, а спереди мнутся.

— Казаков вперед! Пустите казаков вперед!.. — кричат и машут нам спереди.

Казаки во главе с офицером торопливым гуськом выезжают вперед. Сзади напирают, а спереди встали. Я взбираюсь повыше, цепляясь за железный столб под балконом Палкинского ресторана. Я вижу: сбоку, поскрипывая седельною кожей, в два ряда быстро Литейным проспектом мчатся на нас конные жандармы. Лейб-гвардии уланского полка молодой офицер задорно гарцует у них впереди на караковой лошади. Черная метелка хвоста у коня играет по шелковому глянцу упругого крупа. И холодно-жестки, как лубок, лаковые ботфорты офицера. Повернулся, выхватил саблю и режет по воздуху острою жутью боевой беспощадной команды. Жандармы мгновенно скидывают с плеч карабины. Железный мороз продирает по коже, и пальцы костенеют, застыв на столбе.

Вдруг — горячий, как сердце, отточенный взблеск с мостовой. Жандармы не успели поднять карабины. Гром удара бьет в уши. Лошадь офицера взвивается в дыму на дыбы и падает напрочь. Офицера не видно. Наши казаки выехали теперь на Литейный и заслонили от нас жандармов.

— Убило?

— Нет, простая петарда. Слетел только с лошади. Вон видите: ведут к автомобилю.

Мы поспешно проходим теперь дальше. Красный флаг наш режет густой дробный рокот тысяч шагов и несется все вперед и вперед. Разве задержишься в этом могучем потоке? Упрямо движется эта широкая несметная река чумазых людей, и нет ей конца. Уже десятки красных флагов плывут теперь по ней тугими парусами волшебных легенд. И за сизою дымкой, нависшей над этою сказочной черной рекою, далеко-далеко позади чуть виднеется острый клинок Адмиралтейства. Он грозит нам вслед, этот клинок. Погрози, погрози!

До краев переполненный Невский пенится, бурлит, клокочет и переливается невиданной доселе стихийною

мощью и тревожною радостью живой человеческой силы. Словно бурная река в широкое море, катятся волны десятков тысяч людей, заполняя всю Знаменскую площадь. Красные флаги расходятся в разные стороны, как алые лебеди, и с разных сторон подплывают к огромному гранитному постаменту, где на бесхвостом гиппопотаме уселась чугунная туша самодержца. Вот уже скоро целый пучок этих флагов, словно костер, ярко сияет острыми языками вокруг заиндевелого хозяйского комода толстого чугунного царя. Какой-то смельчак, в расстегнутом пальто и без шапки, вскарабкивается по плечам других на царский пьедестал. Смельчак встает во весь рост и поднимает правую руку.

— Товарищи!..

— Тише! Тише! — кричат со всех сторон, и шум вокруг него понемногу стихает.

— Товарищи, гнусное царское самодержавное правительство...

— Казаки! — кричит кто-то испуганно.

Справа от Лиговки — отрывистый шум. Все оборачиваются, все волнуются. Там кричат. Там визжат. Толпа беспокойно редеет. Оттуда бегут.

— Рубят!.. Рубят!.. — голосит кто-то неистово.

И бежит оттуда в валенках женщина с обезумевшими глазами. Она бежит, странно хрипя, и закрывает седые космы, а через узловатые пальцы ее стекает широкою лентою кровь. За нею на лошади, вспрыгивая в седле, вытянув шашку в руке, скачет жандарм. Как куры от хищного коршуна, шарахаются во все стороны и разбегаются люди. Кричат, падают, поднимаются и снова бегут. Кое-кто из рабочих торопливо разбирает из сваленных куч обледенелые куски сколотого снега. Полицейский пристав, нацелив наган, высоко подкидывая полы голубоватой шинели, мчит, что есть духу, со ступенек Николаевского вокзала

прямо на памятник. Внезапно откуда-то слева, из-за памятника, со стороны шестиэтажной мрачной Балабинской гостиницы карьером развертывается лава казаков. Один из них всвистывает шашкою круг в заряженный холодом воздух, и вытянутая с револьвером полицейская рука легко колется возле плеча и шутливо подкидывает уже бесполезный револьвер. Пляшут и конь и казацкая шашка над упавшим наганом. Торжествующий гам несется по площади. Куча льдышек летит в сторону Лиговки. Конных жандармов — как сдуло.

— Товарищи! — хрипло вопит с пьедестала. Он храбро все еще стоит, этот оратор, и держится рукою за чугунный каблук нависшего над ним императора. — Товарищи! Вот под этой безмозглой чугунной пятою до сих пор истекает кровью Россия. Затеянная камарильей безумная военная бойня уж довела весь народ до полной разрухи. Вот, вы просите сейчас: «дайте нам хлеба», а...

Какой это шалун бросил на крыши домов горсть чугунных орехов? Почему внезапно стало так тихо под этим свинцово-нависшим небом? Какой это дурак так свирепо залязгал полосами железа на всю площадь? Почему кричат люди? Отчего все бегут? Уже не видно ни казаков, ни полицейских, ни жандармерии. Люди несутся стремглав в разные стороны, сами не зная, куда им бежать. Беспомощно брошенные, падают флаги. И люди падают, — те, что держали их. Робко пригнувшись, прыгает с памятника дерзкий оратор. Только, застряв на сапоге самодержца, одиноко развевается широкая красная полоса с белыми буквами: «Долой войну!» Словно дразнит кого-то.

«Долой войну! — подбоченясь, смеется самодержец. — Так вы говорите: долой войну?.. Ну, а это как вам понравится?..»

Быстро пустеет сумрачная площадь. Люди лежат на ней одинокими кучками. Какой-то рабочий ползет, и что-то

багровое длинное волочится за ним. Это флаг. Нет, оно пачкает снег. Это окровавленный шарф. Другой пробует встать. Со стоном хватается он за живот и снова падает. Кто-то воет. Кто-то кричит. Ах, это неистово визжит мальчишка! Он, согнувшись, бежит и держит левую кисть правой рукою. На левой руке его на окровавленной плепочке кожи мотается отстреленный палец.

На площади щелкают орехи. Кажется, будто это они гулко рассыпаются по железным крышам, урчат в водосточных жолобах, раскатываются по гранитным панелям. Да нет, ведь это же град. Это — небесный град. Или это свинцовый град? Да, это град, — град всех царей, и земных и небесных, град лилейных ангелов и архангелов с аксельбантами и всей господствующей тьмы-тем серафимов с крестами и медалями.

«Ага, бунтующие рабы! — гулко хохочет раскатистым свинцовым смехом среди брошенной площади чугунный самодержец. — Как мне весело теперь, что я одинок. Ну, куда же вы все разбежались, толпа игрунов-шалунишек? Кто это из вас позабыл здесь, на моем сапоге, свой лоскутик?..»

Я лежу, жалко прилипнув животом, у ограды Знаменской церкви, на Невском. Когда раскаты железного града чуть-чуть затихают, я быстро ползу и, брянча о гранитные плиты, волочится моя шашка. И другие лежат, и другие ползут. Да... но ведь я — офицер! Какая трусость! Какой позор! Разве у меня нет револьвера? Вороненый самовзводный наган и в нем семь смазанных пуль. Но в кого же стрелять? Дымные струйки штукатурки выпархивают из каменных стен домов. Это щелкают пули. Значит, бьют поверху. Но откуда? Град теперь уж не жахает, не трещит, а враскачку грохочет. Будто крепкий чугунный горох веют на исполинских железных ситах.

— Вы слышите? — вытаращив испуганные глаза, поднимает кверху палец ползущий рядом бледный человек в серой фетровой шляпе.

Где я его видел? Не он ли это утром проходил Боровой мост рядом с барышней в лиловой шапочке с венчиком беленьких розочек?..

— Вы слышите?.. Это — пулеметы... Фараоны стреляют с крыш...

Да, я слышу, конечно. Это — пулеметы. Даже могу уточнить безошибочно: это — максимы. Кольты — те бьют суше и реже..

— Фараоны стреляют с крыш, из пулеметов, — продолжает бледный молодой человек в серой шляпе, — у них на каждом перекрестке они заранее были расставлены... и вдоль улиц... а я вот не знаю, где Анюта...

Но какое мне дело, где его Анюта, когда вдоль Невского жахают гигантские железные листы.

— Это солдаты, это теперь солдаты стреляют!.. Наверное, от Владимирского... — шепчет шляпа, плотнее пригибаясь к панели.

Впереди — каменный уступчик со ступеньками вниз, к запертым дверям магазина; в этой ложбинке можно будет залечь. Я отчаянно карабкаюсь. Под руками на мерзлых камнях попадаются окурки, песок, опилки, апельсинные корки, замерзшие плевки... ах, все равно, лишь бы добраться! Тщетно. Под ступенькою лежит старик. Лежит седой старик в котелке. Какой-нибудь нотариус или владелец меняльной лавки. Он прищурил щетинистый глаз, а другим смотрит остро, как сыч. Какая досада! Но ружейные залпы смолкают. Все смолкает. Вдалеке только где-то гулко кудахчут пулеметы. Люди отлипают от запертых ворот, из дверных впадин, от панелей, робко озираясь, поднимаются и бегут. Я тоже бегу на угол Пушкинской. Отсюда безопасней будет и легче пробраться к вокзалу.

Следом за мною тоже бегут. Нас пробирается целая группка. Мы робко жмемся урывками в подъезды повсюду запертых ворот, когда сзади на Невском вновь поднимается рокотание гневного шквала. Пушкинской, мимо маленького памятника, потонувшего в колодце домов, через Коломенскую, Разъезжую, все смелей и быстрее спешу к Балтийскому вокзалу.

— Господин офицер! — останавливает меня за углом пожилая женщина в серой дырявой шали. — Господин офицер, скажите, ради Христа, что вы там делаете? — Ее губы дрожат, и руки дрожат, и в горле ее дрожат слезы. — Мой Митя, мой Митенька убежал на Невский... Уж давно убежал он... А вот все нет его и все нет... Что такое вы делаете там с народом? Эх, господин офицер!

— Там стреляют, мамаша, — отвечает рабочий.

— Стреляют? — безучастно шепчет старуха, плотнее надвигает шаль на глаза и быстрехонько спешит прямо к Невскому.

Над домами, над крышами пляшут и, грохоча, кувыркаются пулеметные раскаты. Будто тяжелое бурое небо хочет выхлестать градом свинца всякую жизнь с посиневших мертвых улиц.

Когда я добрался к Балтийскому, на площадь спускались сумерки, и было пустынно. Было сине и пустынно везде. А вдалеке, в разных краях бесконечного каменного лабиринта, названного Петроградом, без умолку квохтали пулеметы полицейских.

Мрачный вокзал. Мрачный поезд. Мрачные ветви облезших лиственниц на черном небе над мартышкинским деревянным перроном.

Денщик Никита зажег лампадку перед узким высоким киотом, оставленным в углу моей комнаты ханжой-домохозяйкой. Как засохшие градинки, блестят вкруг копченых святых жемчужины риз. Бьет перед ними о пол Никита

поклоны. Стремглав вскочив передо мною на ноги, он растерянно смотрит на трухлявый лампадный огонек.

— Это я о спасении душеньки вашей молился, ваше выскрбродь... Каптер счас приехал с Петрограда. Уж что деется-то там, господи, господи! Помилуй нас грешных, царица небесная!.. Прикажете чаю?..— тумашится вдруг он.

— Ничего я не хочу, Никита. Иди, ложись спать, — отвечаю я и задуваю лампаду.

— Еще рано, ваш выскрбродь. Только что и лампу сейчас запалил. Разрешите, ваш выскрбродь, сходить тогда к землякам на команду.

Но кто-то стукотит в сенях, и в комнату влезает Казаков. На сапогах его снег, и шинель наброшена внакидку. Гимнастерка без пояса, и защитная фуражка кокардой на-боку.

— Вернулись? — спрашивает он, гнусавя, и шагает, виляя коленками, к табурету. — А я, знаешь ли, выпил... Ну их всех, язви их в душу!.. Выпил... и... бабу отдул. Пусть не суется, сука, в военные дела... Начальник я или не начальник?! — ревет он вдруг, бия себя в грудь, и фуражка его падает на пол. — Начальник я. Да! Начальник пулеметной учебной офицерской школы команды! Вот!.. А она что?!. И ты — тоже это не хорошо. Взял и уехал. И не доложился. Ладно, так обошлось, а вдруг да как нашу б команду да потребовали б? Что тогда? Полковник Ковровцев сегодня прислал приказание: вечером быть у него. Ну, а раз, видишь, я болен, — и он икнул, поднимая фуражку, — ты иди сейчас заместо меня.

— Никуда я сейчас не пойду, господин поручик. Слышите вы, никуда я больше не пойду! В Петербурге крошат людей. Там — бойня сейчас! Никуда я сейчас не пойду, и вы идите немедленно спать, а то вас немедленно потребуют. Куда вы годитесь? Вы — пьяны.

— Спать? — смущенно бормочет Казаков и, качаясь, встает. — Хорошо, разве я что говорю? Нет, господин

поручик, вы — человек образованный, я вас слушаюсь... Спать? — он пожимает плечами. — Хорошо, я иду спать, — и тихонько, на цыпочках, пошатываясь, исчезает за дверь.

— Можешь и ты, Никита, итти. И дверь затвори.

— А что б я хотел вас спросить, ваш выскрбродь! Объявление тут сегодня ребята в газетах читали в пятом взводе. Будто учебник такой за деньги высылается, что можно по ему на прапорщика готовиться.

— Ну...

— Разрешите мне, ваш выскрбродь, его выписать. Может, и я до офицеров дойду...

ГЛАВА V.

В табачном тумане на каменной трибуне университетского вестибюля, над плотной мостовой человечьих голов спокойно покачивается Западный [1]). Его мягкие усики волнисто золотятся отблеском электрических лампочек. Его ласковый голос мечтательно журчит о человеческом счастьи. О человеческом счастьи!

Весь хищный мир земли оледенел синими сосульками человеческих слез и багровыми комьями крови. Мертвый ужас стынет и лоснится на жирных паучьих животах, черных, как пузыри, и тугих от тяжелой рабочей сукровицы. Обожравшись, они еле шевелят чахлым бархатом ног в сусальных норах своих дворцовых палат и банкирских контор.

Но бежит по сухим обсосанным трупам их чернеющих жертв красный огонь. Он бьет, как живой родник, по выпитым жилам. Он вспыхивает алыми флагами. Он гремит под гулким потолком вестибюля:

Месть беспощадная всем супостатам!
Всем паразитам трудящихся масс!
Мщенье и смерть всем царям-плутократам!
Близок победы торжественный час!..

Торжественный час! Простуженная жуть земли внезапно уползает. Воздух теплеет и загорается лучезарным

---

[1]) Западный — подпольная кличка Б. Позерна.

невиданным светом. Дивные янтарные гроздья переливаются тысячами солнц над изумрудно-сиреневыми садами душистых сказочных городов. Нет больше господ, все люди — братья.

— Это социализм! Это социализм!— поют счастливые люди.

— О, скажите, что нужно для этого?

— Только хотеть [1]).

— Только хотеть?

. . . .

— К пассажу! — таинственно кто-то шепчет мне на ухо. — Живее к пассажу! Револьвер-то при тебе?..

Уверенно лезу рукой под черный резиновый плащ и похлопываю там по карману. Там светленький никелированный партийный смит-вессон.

Мы мчимся, как рыбки, зеленой стайкой, едва поспевая за кудрявым Машкиным в синей фуражке. Да, впереди уже порядочно народу посреди улицы, и мы чуть-чуть не опоздали. Вон лучистыми карими глазами из-под черной ушастой шапки мягко улыбается екатеринославец Нил. Он улыбается восторженной лаской, и за спиною его, как огненные крылья, уже полыхают два красных флага. Растерянные барыньки тумашливо сползают с Воскресенской [2]) к Черному Озеру или к Проломной. У смуглого Нила — тонкие черные усики. Он весело поет и задорно. Ему деловито подтягивают бледный Модест и осторожный высокий Кулеша... И Юрий Денике в фуражке политехника тоже поет картавой хрипотцой, расставив, как циркуль, свои журавлиные ноги. Ему подпевает скромный, как девушка, студент Фортунатов. В подъезде пас-

---

[1]) Такой волюнтаризм не от Позерна, а от тогдашнего восприятия автора.

[2]) Главная улица города Казани.

сажа мелькнула фигура длинного Николая Ивановича. Значит, здесь — весь комитет. Наша дружина тоже вся в сборе. Машкин мечется, как угорелый, закрепляя наше кольцо.

— Казаки! Казаки!..

Раскачиваясь в седлах, с кожаным скрипом подкрыльев, несутся на нас от полицейской части вооруженные всадники.

Сердце захолонуло. Сжимаю жесткий вессон и жду команды. Толпа мигом твердеет и замолкает.

— Ни звука без команды! — хрипло скурлычет Семен.

Подковы мчащихся лошадей вихрем высекают у каменных желваков мостовой искры и пыль. Флаги ныряют. Быстро сжимаемся к тротуарам на самый перекресток. Казаки замедляют шаг. По бокам их бегут околоточные и полицейские.

— Разой-ди-ись!..

Молчим, как серый камень насупившегося пассажа. По три в ряд, шагом казаки уже проезжают мимо нас, спесиво колыхая чубами. Вдруг огонь из-под ног. Треск и дым. Звон рассыпающихся стекол. Две лошади падают. Остальные оголтело мнут тротуар. Слышны храп лошадей и визги давимых людей.

— Эх, какой же это дурак?..

— Эсеры, дьяволы, с крыши пассажа... метнули...

Удирают казаки галопом к окружному суду. Мигом спешиваются, быстро строятся, сбрасывая на бегу карабины.

— За угол! За угол! — кричат нам.

Оглядываемся: как нас немного! Мы бежим. Железный треск. Кто-то падает. У двери семинарии давка. Взлетаем по лестнице вверх. Ложимся за баллюстрадой. Ах, да ведь это же — вход в церковь...

— Как у Христа за пазухой! — смеется Фома.

Вертя барабаном бульдога, мы подползаем к окну. Окна звенят, сыплются стекла. С потолка, харкая, слетает шту-

катурка. На улице чья-то жесткая лапа с грохотом швыряет пригоршни чугунных ядер на гигантские железные листы. Я знаю, кто их швыряет. Погоди, я пробью твое жирное брюхо, тарантул!

Фома робко прилипает к подоконнику, вытягивает через него свой бульдог и стреляет.

Я лежу у баллюстрады и зорко стерегу. Зачем тратить зря драгоценные пули? Вот внизу в створку дверей лезет лезвие шашки. Я спускаю курок. Судорожно щелкаю второй раз. Шашка вмиг уползает, а на двери остались мои две царапины. Милый город сказочных солнц! Мы тебя завоюем!..

А за окнами бушует железный шквал. Он сухо трещит и грохочет, как тысячи чертей из жести, сорвавшихся с привязи. Он врывается бешеным вихрем в деревянные двери, сотрясая их до основания и выщелкивая из них зубастые щепы. Он трещит и грохочет и бьет по вискам, отчего в висках маршируют солдаты, и красным жаром заплывают глаза.

Над глазами склоняется толстое благодушное лицо с двумя бородавками. Это — Бряндинская, мать рыжего Матвея, который живет с Пущеровским.

— С вами жар, голубчик? Лежите. Я пришла только предостеречь: к нам на двор зачастили шпики...

— Встать! Смир-рно! — вдруг кричит Шевелев, и щеточки-усики на его румяном лице нагло вздрагивают, как стрекозиные крылышки.

Почему я должен вставать? Ведь я же — офицер! Да, я — офицер. У меня теперь самовзводный наган и семь пуль, а не прежний плюгавый смит-вессончик. Но в кого же стрелять?.. Штукатурка вспархивает от каменных стен, и на синем диване плачет Казаков. Под руками плевки, а я ползу.

— Возможно, что стрелять и совсем не придется, — говорит красноносый с жесткой щетиной усов Терентий

в синих очках. — Важно только заложить в нужном месте фугас и держать провод наготове. Когда рабочие от Алафузова и от Рама пойдут по Успенской, и навстречу им двинется Ветлужский батальон...

Я крепко жму ему руку. Жму ему руку поверху, потому что она туго держит букет. Я крепко жму ему руку поверху и говорю:

— О, да, на Успенской. План мною снят. И квартира готова. Сыртланов нанимает меня в число каменщиков мостить мостовую... Товарищи, фугас будет заложен!..

Но упругая рука странно тает, как стеарин на плите. Она тает, закругляясь в забинтованный марлей обрубок. На глазах тихонькой Богомоловой робко дрожат слезинки.

— Вы поймите, такое несчастье! Нашей бомбой брату сейчас оторвало обе руки. Он поскользнулся на углу Сенной...

Обе руки? Почему обе руки? Нет, одна рука крепко вздыбила бронзовый повод, а другая спесиво вбита в бок. Он нагло хохочет. Он хохочет железом на всю помертвевшую площадь.

«Куда же вы разбежались, мои малыши-шалунишки? Кто из вас позабыл на чугуне моего сапога свой забавный кумачный лоскутик?..»

Я лежу, и жуть пораженья дрожит у меня в животе.

— Пустячки, — виновато улыбается веснущатый высокий Кузьма [1]) в сапогах и в красной рубашке, и золотые кудри его вьются, как у барашка. — Не все проиграно, дорогие товарищи! Товарищ Ильян [2]) сказал в Таммерфорсе... Солдаты — крестьяне, крестьяне — солдаты...

— Терпенье! — поддакивает круглоголовый уверенный Эмдин; но за плечом его ехидно смеется карлик-эсерик

---

[1]) Кузьма Лосев — делегат от Казани на большевистской конференции военных и боевых организаций в Таммерфорсе в ноябре 1906 г.

[2]) Ильян — подпольная кличка Емельяна Ярославского.

Володя-маленький, Дербер. — Терпенье, — упрямо твердит Эмдин, — пусть мы проиграли! Товарищ Ленин пишет, что через год, через два или через десять...

Солнца тухнут. Золотые гроздья блекнут и вянут. Киснет воздух. Нечем дышать. Улицей кружит сухая метель. Сероватые мухи мутным роем холодно сыплются на группу выходящих из тюремных ворот. Еле брезжит синий рассвет. Закутанные в башлыки, с шашками наголо ковыляют конвойные солдаты.

— Сережа, Сережа, прощай! — кричу я, и голос мой жалко замирает в сизых хлопьях предутренней мглы средь кандального лязга отправляемого этапа.

— Прощай, Саша! — слышу знакомый голос, и из-за сабель и башлыков взметнулся вверх белый тугой узелочек.

Как пусто и мрачно на сердце. Вяло и тихо висит серый пасмурный чад.

— Не вылезай, Касьян, — трогает меня за рукав неутомимый Семен. — Зачем зря проваливаться? Завтра ты поедешь в Чебоксары.

— Никуда я не поеду.

— Завтра ты поедешь в Чебоксары. Связь с крестьянством...

— Мне нечего делать в этом курятнике. Я не поеду.

— Завтра ты поедешь в Чебоксары, — говорит он настойчиво. — Где же твоя дисциплина?!..

— Помолчи о дисциплине, Семен! Ты сам ее потерял вместе со своею калошей на экспроприации винной лавочки в Академической слободке. Плевать я хочу на твои Чебоксары и на твою дисциплину. Я — отзовист [1])!

---

[1]) Отзовизм — прикрытый левою фразой мелкобуржуазный уклон некоторых членов большевистской партии в 1907 г. (Луначарский и др.). Отзовисты считали недостойным для большевиков сидеть в черносотенной Государственной думе и других

Налезает огромное холодное брюхо. Оно — тугое и черное, и я лежу под ним, не шевелясь. Лишь бы не раздавило. Пусть оно думает, что все мы мертвы.

Тихий шорох, и я открываю глаза. Фенькин ставит начищенные сапоги.

— Вставать будете, ваш выскрбродь? Я кипятку принесу. А то полежите. Сегодня, слава богу, занятиев нет. Сегодня — воскресенье.

Стекловидные пленки сугробов ярко сверкают на солнце. По рыжей сосне под окном бегают юркие зайчики. Густые синие кисти седеют от инея. Воздух розовато-упруг и голубовато-прозрачен.

Что сейчас в Питере? Утренняя морозная тишь зимнего кладбища? Все расстреляно, все расползлось и забилось в щели квартир?

— Хорошо, Никита, принеси кипятку и газеты мои немедленно захвати из команды. Если кто приехал из Питера, узнай, что там нового, и живее назад. Поживее назад!

Никита уже стукотит по ступенькам лубками сапог, и слышно, как скурлычит под ним снег на тропинке.

Он ворочается, запыхавшись. Из носика жестяного чайника вьется пар. Газеты пахнут солнечной свежестью и сосновыми стружками. Но в них — нечего читать. Совершенно нечего читать. Только в Государственной думе внеочередное заявление сделал Родзянко:

«Волнения, возникшие в Петрограде и других центрах городов на почве расстройства правильного снабжения населения пищевыми продуктами, достигли, как вы знаете, в настоящее время таких размеров, которые несомненно угрожают превратиться в явления, крайне нежелательные

легальных организациях и заниматься там длительной революционной подготовкой масс.

и недопустимые в тяжелое военное время, нами переживаемое...»

Нудно, как жеваная бумага! Растерянно, как собачья старость!

«Волнения», обратите внимание, «на почве расстройства... пищевых продуктов». «Угрожает», извольте ль видеть, его думскому превосходительству. Ну, конечно, — еще бы! — все это «нежелательно и недопустимо...»

А свинцовый хохот в ответ допустим?

Из Питера никто не приехал.

День тянется медленно, как скрипучая телега по грязи. Скурлы-скурлы, скурлы-скурлы... Это скурлычат за окном по шоссе одинокие шаги пешеходов. Все опротивели, и все опротивело. Обедать к Казакову не пойду. Послал к нему Никиту сказать, что болит голова, и наказал принести обед сюда.

Когда от тоски и неизвестности становится больше невмоготу, одеваю шинель и отправляюсь навестить Воробьева.

За воротами, обмотанными засохшей теперь рыжей пихтой, в глубине двора, на втором этаже светлосерого деревянного дома, в маленькой комнатке со стеклянною дверью на занесенный снегом балкон валяется на постели одетый Воробьев. Он стремительно вскакивает, и радость расплывается на его широком недобритом лице, как жир по сковородке.

За окном гаснет от ветра жаровня заката. По стеклу балконной двери уныло ползают ожившие мухи. Он так рад, милый Ваньчо, и порывисто трясет мою руку.

Когда у нас выпуск? Много ль работы? Как лажу с прапорщиками? Что успели пройти и что не успели? — стремительная метель вопросов.

Я обрываю:

— Все хорошо... но вот... обстановка. То, что в Питере, срывает работу...

Воробьев растерянно умолкает. Очевидно, эта же мысль сильно беспокоит и его.

— Да, — говорит он. — Сегодня Филатов отправил Хабалову в Питер две пулеметных команды. Нас предупредили, что ночью иль завтра могут отправить туда же и нас.

Я вскакиваю, как на пружине.

— И ты, Ваня, поедешь?!

Он молча опустил глаза и досадливо подернул плечами.

— И ты будешь... стрелять?!

— А если пошлют и тебя, ты, скажешь, не будешь?.. Как же это ты не будешь?.. Болтовня!.. Сделай милость!..

— Я не буду стрелять.

— Ну, тогда тебя расстреляют.

— Ваня, волей капризов судьбы мы — военные люди. Нас теперь смертью не запугаешь. Мы — офицеры. Если меня пошлют усмирять, знаешь, Ваня, я... буду, пожалуй, стрелять. Пускай — смерть. Я знаю, в кого надо стрелять. Но никогда, слышишь, Ваня, никогда не должны мы с тобой быть палачами народа... Ваня, Ваня, где ж твоя честность?! Где твоя совесть?!

Он устало вздыхает и медленно садится на кровать.

— Дело серьезно. Давай, потолкуем, — говорит он мне озабоченно-медленно. — Видишь ли, мне известно наверняка, в школе так решено: и твою и мою команду пошлют. В Питере только еще началось. С каждым часом стрельба там становится ожесточенней. Рабочие прут напролом. Тысячи жертв. Мне недавно подробно звонил из школы Марцинкевич. Он только что вернулся обратно из Питера. Дальше Обводного канала немыслимо продвинуться. Для меня нет сомнений: раздавят. Силы слишком неравны. Раздавят, Сашка. Ну, и мы пропадем... Как же быть?..

— Давай не поедем.

— А если приказ?

— Сволочь! — кричу я ему.

Но он не сердится.

— Ты не горячись. Давай хладнокровно рассудим. Ну, как поступить, если будет приказ?..

Почем же я знаю, как поступить, если будет приказ.

— Я не знаю. Но только стрелять в народ я не буду. Лучше — смерть...

— Ладно, Сашка. Даю тебе честное слово: стрелять по рабочим я тоже не буду. Ты только не горячись. Даю тебе честное слово!..

Пусть тухнет свинцовый закат. Рука у Ваньчо жестка, как железо.

* * *

Ярким солнечным утром меня будит Фенькин. Лицо испуганное, и руки в ваксе. У дверей, сняв папаху, стоит в шинели фельдфебель Егорыч.

Бумаги. Срочные бумаги из школы.

— Но почему же не к начальнику команды?

По сморщенному лбу фельдфебеля играет от миски с умывальною водою солнечный зайчик. Смущенно проводит Егорыч рукой взад-вперед по щетине своего холеного ершика. Но даже кольчики его всегда так тщательно закрученных усов отражают теперь его беспокойство. Один ус, например, совсем вышел из фельдфебельской дисциплины и легкомысленно выпустил, как весенняя луковица, два разноторчащих росточка.

— Его высклабародие приказали к вам. Они вот и рапорт свой дали переслать. Так что больны...

Срочное секретное из школы. Подписи полковника Ковровцева и капитана Локтева. Занятий никаких не производить. Никого из солдат никуда не отпускать. Экстренно просмотреть и привести в полную боевую готовность в

команде все пулеметы и винтовки. Держать тесную телефонную связь со школой и со стрелковой командой, и всем офицерам неотлучно быть при своих взводах.

— А кто есть из офицеров?

— Так что никого.

— Можете итти, Егорыч. Я сейчас приду.

Торопливо одеваюсь, а Фенькин растерянно крутит головой.

— Господи, господи! И чего-то людям еще надобно?.. Из оружейников кто-то, ваш выскрбродь, чуть свет сегодня в нашу команду прибегали. Да дежурный не допустил. На подмогу подбивали...

— На какую подмогу?..

— Да ноччу, фельдфебель сказывал, половину их команды в Оренбаме господа офицеры переарестовали. Они, слышь, ваш выскрбродь, пулеметы свои зачали тайком питерским рабочим препровождать. Их вчера вечером, бают, барынька одна на вокзале Оренбамском накрыла Стоит какой-то, значит, нижний чин, а при ем тяжелое, что-то длинное такое, завернуто в одеяло. И рабочий с им какой-то ящики в мешке держит и все этак сторонками оглядуется и оглядуется. Барынька возьми да и заяви жандарму. Хвать голубчиков, а у них пулемет да еще коробки с патронами. Вот, стервецы, ваш выскрбродь, что делают...

Лихорадочно-быстро плещусь в чистой холодной воде и нервная дрожь пробегает по телу.

* * *

В команде дежурный бежит, спотыкается, выбалтывает залпом в захлебе, как индючок, зазубренный рапорт:

— ...в команде пррышествий никаких не случилось!.. — и вот уже катится из взвода во взвод, стоит лишь порав-

няться с какой-либо дверью: — Встать! Смир-р-р-но!.. Встать! Смир-р-р-но!.. Встать! Смир-р-р-но!..

— Вольно, вольно...

У стола в канцелярии, подмазав мятежный свой ус, степенно застыл, заплывая жиром, фельдфебель. В углу скрипит, согнувшись, писарь. Солнце ломится через окно и кладет на плечо мне свою теплую светлую руку.

— Чем прикажете заниматься, ваше высклабародие?

— Всем взводам по классам срочно заняться чисткой винтовок...

— Игра?

— То есть, какая это игра?

— Я спрашиваю, ваш высклабародь, только русские чистить или также и Гра?

— Да! Ну, все, конечно... и Гра. И не только Гра, но и все четыре пулемета... Да поживей!..

Фельдфебель выматывается, кричит что-то взводным, и скоро гремит коридором и по ступенькам топот тяжелых солдатских сапог. Взводы спускаются в классы. Но классов на всех нехватает. Третий взвод и пятый остаются в своих помещениях. Слышно, как тащат в третий взвод винтовки. За фанерною стенкою шум и гам, бряк прикладов и лязг шомполов о стальные стволы.

— Протирку! Протирку подай-ка мне, Петра!

— Эх, мать честна, масла нехватит. Рази состольку надо было выдавать? Жулики — каптер, и фельдфебель... Только затвор и обмусолишь... Рази это война?!.

— Война?.. — смеется кто-то тихим говорком. — Провосвались мы, братцы, эту войну подчистую, дальше некуда. Какой дурак теперь воевать хочет? Вон пятый взвод рази. Тот, поди, рад воевать. Так почто им и не воевать? Они тебе и здеся груши поколачивают, да потом, слышь, четыре месяца в школе прапоров. Отцы-то все — лабазники. Деньги по почте каждый день получают, а потом

жалованье офицерско пойдет. Да они б его в мирное время и во сне б не видали! Опять же почет... Вестимо, начальство — всегда за войну...

— Эх, поотличались на войне наши енералы да офицеры — благородия. Команды орать да войско туда-сюда тыркать, да карманы свои набивать — это они больно горазды. А как от немцев отбиваться, — тут их барская жила тонка. Вали, знай, нашего брата, как в запруду... Дураков в Расее хватает. Бабы каждый год рожают почем зря. Мужикам что? Земля — у бар, земли мужикам нехватает, — вот и давай они баб пахать.

— Ништо. Теперь наших баб пленны австрияки перепахивают, — авось, поразумней приплод народится.

— А мне сдается, потому простой народ дураком был, что и думать-то ему некогда было. Доведись до меня, так я через эту войну только и на свет вылез, и людей посмотрел, да и про себя понятие взять время сыскал. Кабы нашему брату, мужику, да было бы раньше время как след башкой пораскинуть, мы бы, пожалуй, получше господ все смикитили... Ведь и душа в простом человеке светлая, и кровь в ем свежая...

— Вот, посмотришь, какая с тебя нынче кровь потечет, тогда и скажешь. Чай, не зря, братцы, ружья-то чистим...

Торопливый шопот, бурчанье, и опять гам затворного лязга, прикладного бряка и черноземного пыхтенья тугих шомполов.

Не-эту ху-уже в све-ете жи-ить,
Пу-улеме-отчико-ом служи-ить...

запел кто-то звонко вдали.

— Потише ты, Жураковский! Заткнись! — закричали на него с разных сторон. — Чай, в канцелярии помощник сидит.

И певец сразу смолк.

Солнце почти по-весеннему светит в окно, но на крыше сарая еще пушисто-сухо, совсем по-зимнему сверкает снег, и туго скрипят на дворе полозья саней, на которых солдаты привезли кадушку воды. А где-то вдали за деревьями гулко токует пулемет. Это, должно быть, опять Марцинкевич.

— Хорошо языком локотать, руки скламши, — громкой насмешкой покрывает за стеною какой-то солдат прерывистый шопот других.

— А что ж, по-твоему, и нам на улицу, что ли?.. — задорно звенит ему кто-то в ответ. — Нет, брат. Рабочий, он — вольный. Он тебе и побастует и опять на завод, здорово живешь. Ему — ничего. Ну, а приведись-ка нашему брату... Куда апосля ночевать-то пойдешь?..

— Господин взводный, готово!

— И у меня готово!

— Начистил свой винт, аж горит!

Грохот и лязг, бряк и грохот.

Почему же в пятом взводе так тихо? Я иду в пятый взвод. Но со стенки раздраженно дребезжит телефон из Ораниенбаума. Долго дребезжит и настойчиво. Даже досадно. Скоро ль он замолкнет?

— Слушаю. Да. У телефона его помощник. Да, его помощник. Начальник подал сегодня рапорт о болезни. Сейчас перешлем. Что? Что такое?..

Я слышу отчетливо в трубку: «Полковник Жерве приказал немедленно... в полную боевую готовность... при пулеметах достаточное количество лент и обойм... Всем офицерам быть в боевой походной форме. Неотлучно ждать срочного вызова».

— Слушаюсь! — вешаю трубку.

Вешаю трубку и молча стою. Писарь тоже стоит и выжидательно смотрит, и фельдфебель прибежал на звонок.

— Приказания будут?

— Никаких приказаний! — и быстро иду к Казакову.

Вот разнесло сегодня Марцинкевича! Так и строчит из пулемета. Да никак и не из одного...

* * *

Казаков сидит в ночной грязной рубашке и в защитных брюках, но босиком, на синем плюшевом старомодном диване.

Я говорю ему, что приказано команду привести в боевую готовность и ждать по телефону срочного вызова.

— Вам приказано, — насмешливо вру я, — быть в походном снаряжении во главе вверенной вам команды...

— Александр Игнатьич! — умоляюще вянькает он, и его нечесаная голова спутана, и борода всклокочена. — Я же послал вам рапорт? Пусть пришлют врача, если не верят. Я — болен! — и с деланной беспомощностью он размашисто опирается рукой на спинку дивана. — Я же болен. Начальником команды сейчас являетесь временно вы! Да! — и глаза его лихорадочно сверкают, как у затравленного волка.

Он начинает нарочно тяжело дышать и, закатив глаза, в притворном изнеможении опускает голову на свою волосатую открытую грудь. По синему плюшу диванной спинки бежит к нему тощий рыженький клопик.

Мне больше медлить здесь нечего.

— Ну, до свиданья, Филипп Иваныч!..

И Казаков болезненно кивает мне в ответ.

Гулко расстрелялся за окном Марцинкевич...

* * *

Взлетаю к себе в сени и слышу через дверь в комнате моей голоса.

— Наше дело такое: заря в оконце — сапоги чтоб, как солнце, — и в голосе Никиты денщицкая гордость, а в ответ ему кто-то бунчит.

Распахиваю дверь. У окна стоит Ферапонт.

— Это к вам, ваш выскрбродь, — угодливо вскидывается Фенькин, — денщик это с запиской от их выскрбродия поручика Воробьева.

— Лично вам, — говорит Ферапонт и достает из шинельного нарукавного обшлага записку.

Воробьев пишет бегло карандашом:

«Саша. В Ораниенбауме сейчас началось восстание в первом пулеметном полку. Офицеры под командой штабс-капитана Борщевского, по приказанию полковника Жерве, расстреливают солдат из пулеметов на углу Михайловской, преграждая им путь к вокзалу. Мой начальник получил приказание привести команду в полную боевую готовность. Ответь. Записку сожги».

Хватаюсь за карандаш и полевую книжку. Какая дикость! А если они уже выступили, и если Ферапонта перехватят?!.

— Хорошо, Ферапонт. Скажи, чтоб поручик позвонил мне сейчас в команду по телефону. Подай, Никита, ремни... И помоги потуже их затянуть... Вот так!

Чувствую теперь себя крепко подобранным, упругим и легким. Фенькин мне помогает, а сам смотрит встревоженно, и руки его трясутся.

На крыльце кто-то стукотит. Какой-то солдат прибежал. Да, дверь, запыхавшись, распахивает писарь.

— Ваш вскабародь! Вас к телефону. Как можно скорее! Из школы!.. — и он еле переводит захлебнувшийся дух.

* * *

Прытко бегу в полном боевом снаряжении через сад наверх, к команде. Гулко тарахтят в разных концах пулеметы. Машинный их лай скребет по Мартышкину замороженный воздух.

Стремительно влетаю в канцелярию. В канцелярии — все встревоженные, взводные и фельдфебель. Хватаю трубку телефона, терпеливо лежавшую на писарском столе.

«Ага. Так-с. С вами говорит капитан Локтев. Выполнили ли вы приказанье полковника Жерве? Надежен ли ваш пятый взвод? Ведь это кандидаты в школы прапорщиков? Вольноопределяющиеся?..»

— Точно так.

«Приказываю вам немедленно, захватив все пулеметы, с этим взводом повести наступление...»

— Там мало людей.

«Как то есть мало людей? Почему мало людей? Приказываю немедленно доложить мне сейчас же, не отходя от телефона, сколько людей? Я жду у трубки... Быстра-а...»

Но я вешаю трубку. Лицо пылает, а руки потеют. Что я ему отвечу? Как бы соврать? Все взводные и фельдфебель с мрачной подавленностью следят исподлобья за моей растерянностью. А телефон неистово звенит. Противный, резкий, сверлящий мозг звонок. Мучительно кривясь, потому что в подражание мне также мучительно кривятся лица всех взводных и фельдфебеля, я хватаю проклятую трубку. Локтев что-то бешено мне кричит.

— Так точно. Сейчас доложу, — говорю я нарочно отчетливо и нарочно как можно спокойней и кладу трубку на стол. Теперь она хрипло трещит и бессильно скурлычет, будто в ней пляшут тараканы... Но зато — нет звонка...

— Взводные! — обращаюсь я к ним деловито. — Отправляйтесь, проверьте наличность людей и винтовок в каждом из взводов. Тщательно. Вы, Егорыч, последите за этим. Чтоб не было ни малейшей ошибки. — Я стараюсь их выпроводить как можно скорее и уж лезу в карман за перочинным ножиком, но в двери деловито влезает писарь. — Ах, вот что, — озабоченно говорю я ему и задумчиво смотрю в его широкие серые глаза. — Вот что, пошлите-ка мне

поскорей каптенармуса! — Писарь бросается в дверь. — Ах, впрочем, нет. Сбегайте-ка, голубчик, поскорее за моим денщиком! Да, за Никитой...

Теперь я торопливо закрываю дверь на крючок, кидаюсь с раскрытым перочинным ножиком к телефонному аппарату и режу ему сверху обе тонкие проволочки. Танец тараканов в трубке мгновенно умер, и сама трубка словно вытянулась. Только укоризненно-молча кивают мне со стены два обрезанных кончика провода. С брезгливой тошнотой стараюсь заправить их поскорее за аппарат, но они — коротки. Меж тем коридором уже кто-то идет сюда. О, дьявол! Быстро скручиваю обрезанные проволочки незаметно между собою и прижимаю у изолятора к стене. Отскочив, тихо отпираю крючок. Лезет фельдфебель.

— А больных, ваше всклабародие, считать?

— Нет, больных особо.

— Я так и приказал... Уж очень много больных... — Потом он чмокает и крутит головой. — Сичас соседской хозяйки тут дочка из Питера приехала. Так стрельба там какая! И-и!.. И говорит: бытто рота Павловского полка к рабочим было переметнулась. Так всех заарестовали и утрось в крепость заперли... — он сокрушенно крутит стриженой площадкой своей головы. — Ишь, чего вздумали! За это, чай, теперь не погладят. Чтоб солдат, да против его императорского величества пошел?!. Тьфу, ты, неладная! Грех-то какой! — и он испытующе-угодливо смотрит на меня. — Утрось тут к нам из команды мастеров-оружейников кто-то, говорят, подбегал. Тоже на бунт подбивал. У них нынче ночью, сказывал, шестьдесят человек арестовали... На полигоне сидят...

Но его прерывает плаксивый гнусавый гудок полевого телефона, поставленного на окне. Телефон то гудит, как осенний ветер в трубе, то жалобно пищит, словно злой придавленный шмель. Этот маленький ящик вопит, настой-

чиво призывая к себе. Порывисто прыгаю и, надавив черную костяную кнопку, прикладываю к уху.

«Сашка? Это ты? Это — я, Воробьев. Адъютант начальника школы передает сейчас через нашу команду приказ тебе. Писарь записывает. Не отходи. Сейчас будем передавать...»

— Ваня, — говорю я вкрадчиво и тихо, глядя в окно, где уже начинают сереть холодные сумерки. — Ваня! — а сам кошусь на прислушивающегося фельдфебеля. — В чем там дело? Передай в двух словах...

«Тебе и нам приказано сейчас совместно наступать...»

— Внимательно слушай! — быстро прерываю я его. — Ты просил ответа... Так вот, запомни: ничего этого не получили, ни ты, ни я. Ты понимаешь меня? Ничего. Как? Да так вот: на линии где-то, должно быть, повреждение. Связь прекратилась. Как?.. Гм-гм... Егорыч! Срочно спросите у взводных затребованные мною сведения. Бегом!.. ...Как?.. Дубина! — злобно хриплю я в нервно вздрагивающий телефонный хрящ. — Оттяни свой ответ им, выгони всех за дверь и перережь. Провода перережь, дубина!..

Ваньчо, должно быть, отходит, потому что теперь его трубка молчит.

И пулеметы за окном молчат.

И вечерние тени ползут и молчат.

И во всех взводах чутко молчат.

Какой же я идиот! Ведь стенки-то из фанеры. Ведь меня все они слушают...

Хватаю теперь со стола пустую мертвую телефонную трубку обрезанного мною провода со школой и нарочито громко ору:

— Слушаюсь. Так точно, капитан. Спокойно? И у нас спокойно... Да, это я со стрелковой командой сейчас говорил. Провод, что ли, испортился там у них; так вот я и

говорю: нет ли заземления? Если есть заземление, тогда его надо отыскать и перерезать. Слушаюсь, капитан! Рад стараться, капитан! Счастливо оставаться, господин капитан!..

Вешаю трубку, и мне становится буйно-весело. Хочется громко петь, свистать, дурачиться и не думать ни о чем, что будет дальше, сегодня там или завтра.

Но телефон Воробьева снова жалобно поет.

— Ага. Ну, как, Ваньчо? Исправил? Молчит? Вот прекрасно. Теперь тихо? Вот видишь. Я же тебе говорил. Что? Вызывает оружейная команда? Прапорщик Шерстнев? Борщевский? Ваня, повтори ту же историю и тут. Ну, что ж, ахай тогда и меня!.. — и довольный достигнутым успехом я кладу плаксивую трубку. С секунду она еще что-то урчит про себя и лопочет, а затем совсем замолкает.

За окном густеют лиловые тени. На пороге стоит Фенькин и писарь за ним.

— Ваш выскродь, вы меня требовали?

— Да-да, Никита. Что, бишь, я тебе?.. Ах, да!.. Ты пил чай?.. Впрочем, я — не то... Да. Вспомнил. Вот что: не вздумай сегодня брать обед для меня у Казакова. Он сильно захворал, так я боюсь, не заразное ли там у него. Понимаешь?..

Но за окном, где-то вдали, вновь затарахтел пулемет. Да, опять тарахтит! И еще. И еще... А справа на небосклоне умирает холодный закат. Зеленовато-сизые перья его прощально-ярко горят за черною сеткой густых корявых кленовых ветвей, и непроницаемо-мрачно торчат на этой яркости мохнатые капюшоны монашенок-елей. Кубовый сумрак шагает медленно вниз с черных воздушных, простуженных лестниц. Меня пробирает озноб. Безглазая тьма давно копошится по комнате. Писарь открывает электрический свет. В дверях стоят фельдфебель и все взводные. И Фенькин стоит.

— Ну, что тебе надо, Никита? Ах, что я буду есть? Я поем здесь каши. Ты можешь итти... В чем дело?.. Ага... вы собрали все точные сведения. Вот и великолепно. Отдайте их писарю. Он их сейчас перепишет рапортом на имя адъютанта начальника школы... Что? Каши?.. — Нехотя беру деревянную ложку. Дубовая каша в застывшем котелке безвкусна. — Вы, взводные, отправляйтесь по взводам и будьте при них безотлучно. Вот ведь смотрите: и день прошел... Я, пожалуй, скоро пойду к себе на квартиру, а вы, Егорыч, если в случае чего, немедленно тогда пришлите за мною. А главное: поменьше всяких тревожных слухов.

Я говорю это теперь со спокойной прохладцей, а сам чутко прислушиваюсь к говорливым захлебам пулеметов за окном. Кажется, будто вереницы порожних телег тараторок проносятся вскачь по гулким деревянным мостам. И я отчетливо слышу, как рядом с придушенными пулеметными рокотаньями отдаленно хлопают одиночные винтовки. Окно горит зеленым светом, и мороз, как паук, распускает по стеклам серебристые папоротники. Да. Временами пулеметы как-то совсем затихают, и на смену им все ярче и злобней потрескивают винтовки. Неужели это стрелковая наступает? Эх, зря Ваньчо поспешил перерезать со мной телефонную связь! Изволь теперь сидеть и слушать и томиться незнаньем. А может быть, это стреляет по офицерам первый полк?..

Писарь скрипит пером. Хитрец великолепно понимает, что означают эти винтовочные шпоканья, но из учтивости делает вид, что ничего не слышит. Я тоже храню спокойнейший вид. Чего мне беспокоиться? Телефон перерезан, посыльного к нам не отправишь. Никакой чорт теперь нас не вытянет. Прощайте, полковник Жерве!.. И я думаю о пятом взводе. Как цеплялся за него капитан Локтев! А надо б проведать этих «молодцов».

* * *

В комнате пятого взвода ярко горит несколько лампочек. На ослепительно освещенных железных кроватях, стоящих вдоль стен, и на нарах, что посредине, валяются поверх постелей в одежде алчущие и жаждущие золоченых погон. Шевелев сидит возле столика на самом свету, и вокруг него плотно сгрудилась группа солдат. Кто без сапог, кто без гимнастерок. Они оживленно что-то обсуждают.

Наконец с кровати меня кто-то заметил.

— Встать! — кричит он, поднимаясь.

— Смир-рно! — подхватывает Шевелев, вскакивая, и роняет ногой табурет.

Со столика падает несколько карт. Несколько рук поспешно сгребает что-то со столика, и высокий красавец-толстяк мигом утискивает свой оттопыривающийся карман.

— Что вы тут делаете? — поднимаю я с пола бубнового валета.

— Гадаем, — спокойно и невозмутимо отвечает Шевелев и в простодушном раздумьи смотрит мимо меня. И щеки его розовы и ресницы его остры, как у валета бубен.

По стенке над столиком Шевелева висят в черных рамочках фотографические блеклые карточки. Выпялив серебряную цепочку и белую медаль, гордо сидит выщербленный морщинами старичок с седеющей бородкой, в сюртуке и в сапогах. Рядом, утопив на животе толстые руки, расплылась, накинув на круглые плечи кашемировую шаль, мамаша. Сзади, в вытяжку, с хищными глазками — два полинялых сынка. Один — в пиджачке, другой — в косоворотке. А ниже вон, в рамке из белых ракушек, выкатив гвоздики зенок, застыла колченогая девица. Одной рукой прижала над животиком дешевенький веер

другой оттопырила бумажный цветок. За спиною ее намалеван океанский прибой и серая плоскость портьеры с кистями.

— Спать пора! — говорю я, кидая карту на стол. — Пора ложиться.

— Слушаюсь! — также мертво отвечает Шевелев.

— Да мы вот все ждали, что и остальных оружейников будут сегодня арестовывать... Так писарь сказал, что нас должны вызвать... — говорит высокий и толстый, гладко пробритый, с напомаженным пробором красавец, прикрыв пятерней раздувшийся от карт и от денег карман.

— Нет, едва ли. Спать ложитесь, — и я выхожу.

Я выхожу совсем из команды.

* * *

Темные деревья посерели от ясного лунного света и притаились в жутком морозном молчании. Но гулко и четко доносится разнобойное пощелкиванье винтовок. Выстрелы слышны из-за темных деревьев, из разных мест, со стороны Ораниенбаума и железной дороги.

Кажется, будто застывает земля от тугой зеленовато-свинцовой стужи, и то здесь, то там лопаются по ней бездонные трещины.

Но вот выстрел бахнул где-то совсем недалеко, длинно рванулся, прокатился спугнутым гулом по глухой лесной полутьме и замер. И лишь на опушках охнули отгулы. Вот бабахнул другой, неподалеку от первого. Я пристально смотрю в лесную мглу. Вот грохнул где-то рядом третий удар. Хлопанье рвется то здесь, то там по морозному, занесенному снегом, безлюдному лесу. Но кроме — ни хруста, ни крика, словно это стреляют сами деревья. Должно быть, в самом деле это деревья хлопают в небо вразброд, посылая привет бесконечно высоким студеным серебряным звездам. А вот вдалеке — но значительно

ближе, чем раньше — опять заболтал пулемет. И следом ему неподалече закудахтал другой.

Кругом — ни души. Снег скрипит под моим сапогом. А на небе, вокруг помертвевшей луны, лиловатый кружок.

* * *

Привернутая лампа еле дышит, и в сумраке комнаты мережится тень Никиты.

— Господи, господи! Господи, господи! — безумолку упрямо шепчет он.

— Ну, что такое: «господи»?..

— Господи, господи! Господи, господи! Вашш-вашш всырбродь, — его зубы дрожат, а губы заикаются, — Господи, господи! Господи, господи! Поми-ллуй мя грешш-ного на страшном суде!.. Вашш-вашш вскрыбродь... Второе пришшес-пришшес-твие... — он всхлипывает и садится прямо на пол.

— Болван!

Снимаю ремни, которые сдавили мне плечи и грудь. За окном бабахают выстрелы. На полу плачет и шепчет Никита. Вдруг выстрел охает под самым окном. Никита вскакивает, кидается к лампе и тушит ее. В оцепеневшую комнату втекает голубая ночь.

Подхожу к окну и останавливаюсь в его мертвящем холодном свете. Сквозь пышный узор замерзающих стекол можно разглядеть только край палисада и яркий снег на шоссе. Все остальное закрыто серебристыми перьями. Вплотную прилипаю к студеному стеклу и смотрю.

Луна уложила весь палисад в постель из парчи. За шоссе мрачно насупились черные деревья сада нашей команды. Справа в лунной блесени чуть маячит с пригорка деревянная церковка, и одиноко сверкает снег на шоссе. Кругом — ни души.

Но вот откуда-то справа, из-под тени деревьев, робко, бесшумно выходит на лунный свет одинокий солдат. Он — в расстегнутой шинели и волочит винтовку. Остановившись, он оглядывается, нерешительно топчется, поднимает винтовку к небу. Взблеск огня и отгул выстрела звякает о стекло, словно кто кирпичом двинул по раме.

— Ваш выскрбродь! — шепчет Никита и ловит меня за ноги. — Отойдите.

Злобно отпихиваю его ногой и продолжаю смотреть.

Солдат снова топчется. Делает несколько шагов влево, вперед по шоссе, и опять озирается. С бугорка из тьмы деревьев прыгает на шоссе вторая тень. И тоже стреляет в небо. Потом, также забавно подпрыгивая, приближается к первой. Длинными черными пятнами стоят они теперь вместе на ярком снегу и, должно быть, о чем-то говорят. У ног их на шоссе мотаются короткие синие тени. К ним подходит третий солдат. Теперь они совещаются втроем, и один из них машет рукой и назад и на темный сад нашей команды. Тогда двое из них, вскинув винтовки наперевес, уходят с шоссе, исчезая в сумраке сада. Оттуда мелькают на горке раз-другой взблески выстрелов. А третий солдат остается стоять на шоссе и снова машет кому-то назад. Теперь справа подходят к нему вразброд сразу десятка два солдат. Вместе с ним они снова толкутся, машут руками, и большинство их опять исчезает в направлении нашей команды. Ружейные выстрелы раскатываются и полыхают вкруг нашего деревянного домика один за другим. И все настойчивее, и все ближе клокочет неугомонная дробь пулеметов.

Вдруг я слышу отчетливо: кто-то неожиданно быстро вбегает по ступенькам крыльца и осторожно затворяет за собою дверь в сени. Шарит там по клеенке, бережно входит в прихожую и настойчиво кличет вполголоса:

— Фенькин! Фенькин!

— Кто там? — шепчет Никита, поднимаясь на корточки.

— Фенькин! Где ты?.. Скажи: его благородия здеся?

— А тебе на что? — сумрачно хрипит Фенькин и решительно становится в дверях.

— Да ежели здесь, то чтоб ушли куда на время. Это — я, Шеншин. Солдаты чужие пришли к нам. Всю команду сголашили. Требуют, чтобы и мы с ими пошли, всех офицеров чтоб бить... против начальства... на Питер. Винтовки сичас требуют и пулеметы...

— Заходи, Шеншин. В чем дело?

— Разбегаются наши из команды, ваше благородие. Больно гораздо стреляют вокруг те, что пришли. Они — для острастки, а боязно. А что до офицеров, то требуют, чтоб показали, где квартируют. Я и прибег задами. А то неровен час...

— Ну, куда ж тут спрячешься? Чудак! Пойдем лучше вместе в команду.

— Пойдем, — тянет он нерешительно, — только кабы хуже не было...

Мы выходим.

За калиткой, на шоссе, фуражка моя с белой кокардой и золотые погоны ярко заливаются лунным светом.

— Офицер! — кричит кто-то удивленно и тревожно.

— Офицер! — кричат злобно с разных сторон.

И один солдат, а следом и другие со штыком наперевес подбегают ко мне.

— Кто такой? — запыхавшись, хрипит он и с отточенной ненавистью глядит мне в лицо.

— Офицер здешней команды.

— Это наш поручик, — подтверждает Шеншин.

— Чего смотришь? Бей сволочей! — кричат со стороны.

— Убить всегда успеешь, — говорю я. — А полезного человека убьешь, корысти мало серьезному делу.

— Знаем вашу пользу! Не наматывай! — кричат подбежавшие все настойчивей. — Вон в Оренбаме перед вокзалом, должно, сотни две наших постреляли!.. Ваш брат!!. — и неожиданный сильный тумак бьет меня сзади в плечо, а кто-то хватает за шашку.

— Ребята! Стойте! — звонко кричу я и поднимаю вверх руки. — Никогда я не был врагом простого народа! Я сам сейчас вышел к вам, как только увидел! Ведь я же не убегал от вас! Я не прятался от вас! И не против вас я вышел!

— Стой, ребята! Дай человеку слово сказать! Погоди! Чего налезаешь? Разберемся! — загалдели вокруг.

— Зря ребята! — торопливо лопочет Шеншин. — Он у нас — хороший офицер. Он да Красников. Намедни за нас заступился, взводного поставил под ружье.

— Хороший я для вас иль нехороший, вы увидите на деле. Но если вы едете в Питер на помощь рабочим, и вас много, — я от вас не отстану.

— Ура! — весело орет кто-то и тут же, подняв полы шинели, пляшет на залитом луною снежном шоссе; другие выхлестывают в небо огнями выстрелов.

— Весь Аренбам сюда прет! Весь Аренбам! На Питер идем! На Питер! Все полки и команды! — кричат они со всех сторон восторженно мне в уши. — Всех сымаем по дороге! И твою команду сымем!

— Сымем! Сымем!.. — и крики, и выстрелы, и толпа вкруг меня быстро растет.

Какой-то худой высокий солдат подходит ко мне:

— Что тут такое?

Ему наперебой торопливо голосят, что вот — офицер, и хочет с нами итти.

— Из какой команды? — сумрачно спрашивает высокий.

— Вот из здешней! — кричат вокруг и показывают руками на командный сад.

— Пойдемте туда. Там разберем, — решительно говорит высокий солдат, и все беспрекословно подчиняются ему.

В сопровождении большой ватаги мы вместе с ним поднимаемся темным садом к команде. Всюду хлопают и бухают одиночные выстрелы. Позади, внизу у залива, заливается трясущейся яростью явно перегретый пулемет.

— Ребята, воду б там надо сменить, — спокойно советую я. — Да и зря бы здесь пока не стрелять.

— Верно! Верно! — говорят одни.

— Чего он понимает? — огрызаются другие.

* * *

Весь двор команды полон народу. Выстрелы, крики, шум и гам. Высокий упругий красавец-толстяк из пятого взвода, накинув шинель поверх нижней рубашки, но в брюках с оттопыренным карманом и в сапогах, — старается всех перекричать.

— Братцы! Мы вам сочувствуем! Ей-бо, мы вам сочувствуем, братцы! Но... сичас — ночь. Сичас одну только папику разведем. Надо б поспать до утра. Как вы хотите, а нам — лучше поездом утром...

— Утро поздно! Поздно утром! К утру в Питере всех перебьют! Мы опоздаем! — яростно кричат вокруг, и еще бешенней вспарывают воздух винтовки.

— Оружье тогда выдавай! Оружье давай! Пулеметы! Ежели оставаться здесь хочешь! — неистово трясут на крыльце ополоумевшего от передряги фельдфебеля десятки солдатских рук.

Мы подходим, и фельдфебель, увидев меня, как утопающий хватается за соломинку.

— Вот спросите, ежли мне не верите. Вот спросите их высклабародия! Они — начальник команды. Что я вру, что ли, что наши пулеметы разобраны? Они для боев не годятся. Они — учебные.

— Тише! Тише! — кричат кругом. Все взоры впиваются в меня. — Пущай он скажет.

— Это верно, — говорю я средь нависшего внимания.— Наши пулеметы — учебные. Стрелять из них плохо, но можно. Мы их здесь, конечно, не оставим.

— Ур-р-ра! — кричат солдаты, и треск винтовок бьет по ушам. — Ур-р-ра!!. — перекатывается в сад и разливается внизу по шоссе.

— Что с командой? — кричу я фельдфебелю.

Он растерянно приставляет ладони к ушам, но ничего не разбирает в этом гаме.

— Что с командой? — пробираюсь я к нему вплотную.

Но он молчит и одурело глядит на меня, ничего не понимая.

— Собрать сюда всю команду! — кричу я ему. — Живо всем одеться и построиться здесь на дворе!..

— Для ча строиться? Так выходи! — орут солдаты. — Выходи-и! Выходи-и! Выходи-и! — и оглушительный треск винтовок разбрызгивает лунную задумчивость ночи.

Ярко освещенные замерзшие окна команды звенят. И тарахтят и гремят по ступенькам внутренних лестниц торопливые солдатские сапоги.

— Выходи-и! Выходи-и!.. Выходи-и!..

Солдаты нашей команды, уже в шинелях и подсумках, толкаясь и тесня друг друга, брякая винтовками, лязгая сталью штыков, бурным потоком высыпают на крыльцо и растворяются здесь в плотной, орущей, ревущей и стреляющей в небо солдатской толпе.

— Лошадей запрягай! Лошадей!.. Где двуколки?!.— кричит энергичный солдат.

Ба, да это ж наш Мелехов! Он ретиво размахивает сейчас тяжелыми, как сырые сучья, руками. Куда подевалась вся его неуклюжесть?!

— Выводи лошадей!.. Мать вашу за ногу!.. Дневальный! Где дневальный?! Ключ от замка!..

Но какой тут к чорту дневальный. Какой уж тут ключ. Удары прикладов сбивают замок. Распахнут сарайчик. Низкорослые мохнатые лошаденки, спотыкаясь, тащатся к дышлу.

— Пулеметы тащи! Пулеметы!

— Ваш высклабародие, выдавать? — испуганно тянет меня за рукав фельдфебель, все еще без шинели и без шапки.

— Ну, конечно!.. — и сразу же становится смешно: независимо от наших разрешений пулеметы уже вылезли на двор.

— А люес куда заберем? — кричат от дверей.

— Люес с гочкисом на плечах доведется. Попеременке будем тащить!..

— Ты обоймы к им не забудь! В вещевые мешки напихать их надо побольше.

— Патронов, ребята! Патронов!..

— Все ленты берите!..

— Куда же их все класть?!.

— На двуколку!

— На себя надевай!

— Надевай! Надевай! Надевай! — треща, рассыпаются ящики.

Пулеметно-патронные ленты крест-накрест обвивают груди и спины солдат.

— А кольт-то, ребята, куда? А кольт?!.

— На себе не понесешь...

— Стой, ребята! Давай мне кольт! — задорно вопит молодой солдатик. — Я его сичас смастерю.

Я еле его узнаю, а меж тем это Ржавцев. Тихенький, исполнительный Ржавцев. Он хватает теперь из-под навеса обледенелые водовозные санки.

— Веревок! — кричит он, — веревок!..

Куприй, любимец Иловайского, бежит за веревками. Порозов и Карнаухов тащат кольт на треноге. Быстро всей гурьбой крепко привязывают его стоймя к салазкам. И стрелять теперь удобно. Возле них стоит рыженький веснущатый Анисимов. Он в шинели, но без винтовки. Он смотрит на них, сам — руки в карман. По лицу его бродит недоуменная насмешливая улыбка.

— Ваше высокоблагородие, — степенно тянет кто-то меня за шинель.

Я оборачиваюсь. Шевелев. Аккуратно приглаженный, в стройной шинельке, румяный, как яблочко, сероглазый Шевелев.

— Как нам быть? — говорит он, но ровная щеточка его усиков уже снова спокойна, и ничего не прочтешь по его острым, немигающим ресницам. — Солдаты это спрашивают, чтоб в ответе потом нам не быть... — и в глазах его чуть пробегает что-то злобно-затаенное.

За спиною его я вижу десятки тревожно-внимательных взоров. Это все пятовзводники.

— Я сейчас скажу. Да, я сейчас скажу, — и, хватаясь за высокие холодные колеса, я вскарабкиваюсь с помощью солдатских рук на пулеметную двуколку.

Сотни глаз оборачиваются на меня.

— Тише! Тише! — кричат отовсюду, и я вижу плотно набитый солдатскими шинелями двор. — Тише! Тише!..— Понемногу и говор и хлопанье выстрелов приутихают, кроме шума и грохота в самом помещении команды, но на это можно не обращать внимания.

— Товарищи солдаты! — говорю я. — Вы знаете, что делается в Питере? Царское правительство с помощью жандармов и полицейских уже третий день беспощадно расстреливает из наших пулеметов наших братьев-рабочих и наших братьев-солдат, которые не хотят голодать, которые не

хотят кровь проливать в осточертелой ненужной войне. Жандармы расстреливают рабочих за то, что те решили добиться себе восьмичасового рабочего дня и земли для крестьян. Неужели мы их не поддержим?!.

— Поддержим! Поддержим! Ур-р-ра-а!!! — грохочет в безумном восторге весь двор и весь сад, и от треска винтовок готовы лопнуть все уши.

Я поправляю револьвер и шашку и вытягиваю руку: «Вниманье». Все быстро опять утихает.

— Как нам быть? Меня спрашивают: приказываю ли я, как начальник, всем итти? И я отвечу: никаких приказаний я не даю. Мы выступаем на бой, а не на парад. Кто честен и смел, тот с нами пойдет. А трусов — нам не надо.

— Правильно! Правильно!.. — рокотом перекатывается по двору.

— Нет, неправильно! — резко кричит кто-то внизу возле меня и, цепляясь за колесо, вскидывается кверху Шеншин. — Нет, неправильно! — кричит он с волненьем, и все мгновенно замирает вокруг. — Разве это правильно: нам итти на смерть, может, и вернуться не придется живыми, а тех, кто нам не сочувствует, здесь пооставлять?!. А как они нам да в спину из пулеметов зачнут?!.

— Да ведь пулеметы с собой забираете! — задорно кричит пятовзводник Анисимов.

— С собой? — не унимается Шеншин. — А мало этих пулеметов в Оренбауме на складах пооставлялось?!.

— Все позабирали! Все!.. — орут во дворе и в саду за изгородкой, подкрепляя свои утвержденья выстрелами.

— Нет, не все! — упирается Шеншин. — А вы думаете, офицеры на такой случай на тайных складах не припрятали? Не припрятали?!. Мы пойдем, а они соберут тут кобылку, раздадут... «Равнение на середину! Шагом марш!» И нам по шеям!..

— Правильно! Правильно! — вновь рокочет по двору.— Всем итти! Всем! Все-е-ем!.. Вылетай!.. Вылетай!!. Вылетай!.

— Правиль-на-а-а! — кричу я. — Всем собраться! Все пойдем!..

Меньшин, приветливо мне улыбнувшись, спрыгивает. Вместо него, сосредоточенно хлопая глазками, аккуратно по спицам колеса взбирается Шевелев.

— Товарищи! — выкрикивает он, и голосок его кругл и вкрадчив. — Товарищи, мы друг дружке сочувствуем и потому все заодно. Как я, значит, тоже из крестьян, и у родителей моих есть клочок земли в деревне...

— ... и лавка! — подбрасывает кто-то возле двуколки, но его не все слышат.

— ... так я думаю, товарищи, — продолжает Шевелев,— мы пойдем чинно в столицу, чтоб охлопотать наши крестьянские права. Но как мы, крестьяне — простые солдаты, нам дворянских командиров не надо. Таких командиров,— взвизгивает он, — что по телефонам сидят да из канцелярии школы приказы против нас получают, таких командиров нам не надобно. Сами справимся!

Убедительно мотнув головой, он также аккуратно сползает с двуколки.

— Правильно! Правильно! — кричат по двору.

— Пра-а-виль-на-а!.. — орет кто-то в саду и палит из винтовки.

Но вместо Шевелева на двуколку взгромождается в расстегнутой шинели краснолобый Куприй.

— Правильно-то вона правильно, — говорит он, хитро скривив голову на-бок и подмигивая сам себе, — да это вин протыв нашего поручика балакав. А моя думка така: поручик наш человек бачный [1]), но вин спротив нас не катував [2]).

---

[1]) Бачный — осторожный.

[2]) Катувать — истязать, мучить.

А це взводный на поручика в серьцах, шшо тый его под винта сунув.

— Правильно!.. Правильно! — говорком пробегает по двору.

— Товарищи солдаты! — кричу я. — Я слова не скажу в защиту офицеров. Помещичьи сынки, что стреляют в солдат и рабочих, — наши враги. Но надо немного разбираться и в людях. Вот Шевелев говорил тут про телефоны. А знаете ль вы, как только я стал получать приказ, чтобы нашей команде итти на усмиренье, — я перерезал телефон... Можете сбегать в канцелярию посмотреть...

Кое-кто из стоящих на крыльце с любопытством ныряет в команду.

— Товарищи, вы постановили сейчас, чтобы всем итти на Питер. Хотите вы или не хотите, а я от вас не отстану...

— Правильно! Верно! Ур-р-ра-а-а!.. — кричат во дворе.

А когда выбегают из команды и знаками восторженно объясняют, что телефон на самом деле перерезан, — неистовому восторгу солдат нет пределов. Орут, стреляют, лезут меня качать. Но я сел и крепко вцепился в поручни двуколки. Конечно, солдаты рады, что у них смыто проклятое сомненье.

— Стано-ви-ись!.. — кричит Шевелев. — Команда, становись! По взводам! Строем пойдем! Двуколку вперед!..

Кое-кто тискается, стараясь встать в правильный ряд, но толпа сминает и, радостно урча и мотаясь, вразброд ползет со двора. Шевелев машет рукой и, прыгая по снегу на отскочке, кричит:

— Ать! Два! Три! Тыре!..

Я прыгаю с двуколки.

— А как тут оставить, ваш высклабародие? — растерянно ловит меня фельдфебель, — солдатские сундуки да и казенное имущество?..

— Оставить четырех дневальных, остальным всем итти.

Быстро обгоняю всех тоже по снегу, чтоб успеть еще забежать к себе на квартиру, наказать Никите и захватить револьверные патроны. Но, выползши из сада, наша команда еле-еле вклинивается с огромным трудом в густую, сплошную, беспорядочную и бесконечную массу солдат, с неохватным шумом катящуюся по шоссе из Ораниенбаума на Питер все вперед и вперед. Скрип беспрерывных тысяч тяжелых солдатских шагов. Визг и скрежет замерзших колесиков сотен станков пулеметов в кожухах и без кожухов, которые на веревках тащатся, как стальные барашки, за каждым пятым-десятым солдатом. Железный бряк пулеметных двуколок, ползущих за мухрастыми, кудрявыми от белого инея лошаденками. Лязг винтовок. Стальное щелканье штыков. Говор и крики упрямо и непрерывно идущих и изредка озаряющих вспышками махорочных цыгарок свои настойчиво скуластые, сорьезные мужицкие лица. Все это гудело под лунным морозным сияньем каким-то протяжным, без конца и начала, поднявшимся к самому небу, шипящим клокотаньем неуемных человеческих сил.

Я еле пробрался через эту лавину. Шеншин и Куприй сопровождали меня.

Грохот пулемета совсем неподалеку останавливает нас.

— Бей их! Стреляй сволочей! — кричат солдаты, ломая палисады, и бегут с винтовками наперевес к берегу Финского залива. Мы выскакиваем следом за ними. Влево на пригорке, над занесенными снегом камышами, яростно лает максим. Впереди него, далеко по безбрежному, посеребренному луной, замерзшему заливу, уходящему ровною гладью в беспредельную тьму, в одиночку и кучками, там и сям убегают от берега темные тени людей.

— Бегут стервецы? Не хотится всем заодно пропадать! Попрятаться хочуть, — пыхтящею злобой клокочет рядом стоящий солдат. Крепко прижимает к плечу приклад и

грохотом огненного плевка швыряет свой гневный заряд в жалкие тени пропадающих трусов.

Кронштадт спит в далекой тихой тьме. Там ни огня, ни звука. Направо, на самом горизонте, над далеким маревом прибрежных огней Петербурга, то приседая, то подымаясь, колышатся красноватые хлопья туч. Неужели это пожар? Небо над ним то тускнеет, то вновь вспыхивает огненной ярью. Да, пожар. Питер горит! Ага, значит еще не поздно! Бешеное желание ворваться в него вот сейчас же с тысячами ораниенбаумских пулеметов бушует во мне. Бегу палисадом и торкаю дверь к себе. Дверь крепко заперта, и в окнах темно. Я неистово колочу в дверь и брячу рукою в окно. Никакого ответа. Наконец робко приподнимается блеклая тень лица над замерзшею частью стекла.

— Отвори, Никита! Это — я...

Трусливые шаги, лязг щеколды, запах лука и ваксы, и кромешная тьма. Ощупью прохожу к себе в комнату. Спичек нет. Жаль, что я не курю.

— Огня, Никита! — а сам уже шарю впотьмах в ящике столика, нахожу пачки патронов и сую их поспешно в карман. — Ты один пока здесь останешься, Никита. Я уезжаю.

— Ваш выскрбродь, — шепчет он сзади и тычет мне на плечи какую-то хламиду. — Вот перезденьте. Это моя шинель, ваш выскрбродь! Начальник команды уже перезделись. Гришка их переодел, и они убегли к вдове тут одной. И вы оденьте, ваш выскрбродь! Учителька тут есть за церковкой, так я уже бегал к ей. Она говорит...

— Болван! — толкаю я его прямо в грудь. — Не забывай, болван, что я офицер!..

— Господи, господи! Господи, господи! — тихо опускается Никита на пол. — Господи, господи! Ничего не пойму!.. Ни-чи-во не пой-му-у!.. — и он жалобно-жалобно тоненько воет...

* * *

Шипя разлезается железная колкая стыль от несметной ползущей, орущей, палящей, бунтующей солдатской лавины, неудержимо несущейся по шоссе через морозные иглы ветров, через лунную блесень в бой, в бой! в бой!!! — на далекий, закованный в латы чугуна и гранита, самодержавнейший Питер. С шумом падают бесконечные черные толпы в провалы, растекаются по снежным болотам, уснувшим в мохнатых чащах елей и сосен. Глуше и чаще чавкают здесь винтовки по убегающим кустами, оврагами, кочками малодушным. Вздымаются толпы на взгорья, словно гигант Змей-Горыныч, отливая при свете луны чешуею штыков. Мимо серебрящихся месяцем окартоненных дачек-домиков, мимо садов с застывшими в ужасе острыми ресницами инея, мотаясь закуржавелыми волнами папах, визжа о снега закостенелостью тысяч сапог и пулеметных катушек, рушат и раздирают просторы ружейные вздохи. Мелкий пылистый снег блестит и прячет в мельчайшую сетку петергофские парки. Мертвый мрамор дворцовых статуй глубже зарывается в снег от неслыханной дерзости воплей:

— Вылетай!.. Вылетай!.. Вылетай!..

— Будя! Повоевали!..

— ... Товарищи, мы вам сочувствуем, но...

— Вылетай!.. Вылетай!.. Вылетай!..

Хохочет на небе голубая луна, когда по задворкам, судорожно отстреливаясь из-за поленниц, разбегаются в лес юнкера. Заливаются веселою трелью по ним пулеметы. Звоном рассыпающихся казарменных окон радостно просыпается третий запасный. Жалкие хлопки офицерских револьверов захлебнулись в торжествующем грохоте новых взлохмаченных тысяч.

— Вылетай!.. Вылетай!.. Вылетай!..

Небо пухнет от ружейных восторгов. Гремя зарядными ящиками на саженных колесах, в блеске факелов, с криками, с храпом коней, вырывающихся за постромки, выезжают одна за другой батареи.

— Ур-р-ра-а-а!!. Ур-р-ра-а-а!!!

Хайластые пушки прыгают, сверкая при месяце жирной чернотою широких стволов.

— Будя! Повоевали!..

— Бей офицеров! На Питер! В бой!

— Долой-ой вой-н-у!!.

Серые мещанские домишки на улицах судорожно зажмурились от невиданной жути. В ужасе оголили бездонные черные окна накрахмаленные дворцы.

— Плюнь им в зенки!..

И ружейные плевки шлепают и застывают на них белесыми круглыми пятнами.

Отщелкивая отгул в досчатых курятниках, прогрохотал где-то рядом полуночный поезд. Тоже на Питер. Кто в нем едет? Не предупредят ли о нас? Не встретят ли нас где-нибудь из засады в пути, не дав развернуться? Предусмотрено ли нами все это? Кто нас ведет? Где командиры? Кого ни спроси — никто толком не знает. Вокруг уже попривыкли, что среди них — офицер. Все ласково улыбаются, а солдаты нашей команды так даже чванятся:

— Наш поручик...

Так что — в случае подавления — расстрел обеспечен. Только из первого пулеметного им возражают:

— Что ж, и у нас есть два прапорщика... впереди.

Но как же обогнать эту плотную реку, туго бурлящую по шоссе? Эх, если б коня?!

— Ребята! Поручику надобна лошадь! Расстарайся!

— Лошадь!

— Ребята! Ищите!

— Лошадь!

— Нашему офицеру!..

— Ему надобно!..

— Лошадь!

— Беспременно! С седлом!

— Сейчас расстараемся...

— Лошадь!

— Вот постойте, сейчас будет Стрельня...

Впереди — снова крики, стрельба, вой безумных восторгов.

— Ребята!..

— Второй пулеметный!

— Стрельна восстала!

— Второй пулеметный!

— Восемь тысяч!..

— Второй пулеметный!..

— Ур-р-ра-а-а!!!

Ноги окоченели. Сапоги — как лубок. Скрипит кожу хами мороз.

— Ваше высблагородие! — это Ржавцев. — Отогреться бы малость!.. А то мы смотрим — вы закоченели...

Залезаем в какой-то домишко. Горница — внабой. Должно быть, где-то посредине, на столике дохнет от духоты керосиновая лампа. Неуклюжие тени мечутся по стенам и ломаются у потолка. Густой аромат переобуваемых портянок и махорочный горлодер перехватывают дух. В полутьме гудит оживленный солдатский говор.

— Мы, значит, к им в красны казармы: «Выходи!» А они с перепугу — под лавки да под нары. Поставили тогда мы два пулемета на воле у обеих дверей, да и наставили их, как собак, на луну. Как пошли ими строчить, а сами кричим: «Все равно, вылетай, а то перекрошим!» Только этак весь полк и подняли. Кабы не офицерье проклятое, у нас, может, никого и убитых бы не было.

— Из команды мастеров-оружейников, что ли? — приветливо заговариваю я, словив недоверчивый взгляд.

— Путиловские мы. Недавно вот нас мобилизовали и сразу же к вам в Оренбаум, в оружейную мастерскую... Эх, попадись нам сейчас штабс-капитан Борщевский или, гнида эта, прапорщик Шерстнев!.. — и путиловец дико хрустнул челюстями на крепком скуластом лице.

— И у нас тоже стерва, слыхали, чай? Полковник Жерве! — вставил солдат, весь обверченный пулеметными лентами. — Раздавить мало гадину! Он в офицерском собраньи в Аренбаме засел и давай по нас крыть с офицерами своими. Наложили нашего брата, что дров...

— Ребята! — врывается крутящимся паром звонкий восторженный гам. — Второй пулеметный весь целиком к нам перешел и командир ихний полковник Шереметьев!..

— Ур-р-а-а!!! — взрываются стены домишка.

Лампа тухнет. И с бешеным ревом, содрогая дрожащие окна, грохоча сапогами за дверь, растет, огромнеет, ширится неохватная светлая радость простых землеробных сердец. На синих, замерзших, освещенных луною окошках проходят какие-то тени. Неровные ряды штыков, переламываясь в льдистости окон, каячаясь, падают за стену. И идут, и идут, и идут...

— Здесь поручик? Коняку я им здобував!

Это — Куприй.

— Лошадь вам привели! — радостно тянет меня за рукав Шеншин. — Лошадь вам, господин поручик...

Просто этак, безо всяких там «высклабародий», — «господин поручик».

— А может быть, можно и не «господин», а «товарищ»? — с робкой обидцей спрашиваю я.

— Ну, конечно ж, товарищ!.. — и вспыхнувший Шеншин крепко тискает мне впотьмах офицерскую руку.

Белая лошадь в английском седле.

— Где достал?

— Во втором пулеметном. Из офицерських . Которые пооставались, которые поездом поехали...

Поездом поехали? В Питер? Присоединились к нам, а сами поехали в Питер?.. Ничего не понимаю.

Пришпоривая тугомордую лошадь, с трудом продираюсь вперед. Надо все время кричать:

— Сторонись!.. Сторонись!.. Товарищи, сторонись!..

От обители Сергиевской пустыни пахнуло лампадностью масла, засохшими градинками раболепных поклонов... Вспомнился Фенькин.

— Ишь, долгогривые, позаперлись! — гогочут солдаты.

— Все, значит, рай нам у небесных царей обещали.

— Ну, их в ж... всяких царей с ихними раями!

— Небо не вспашешь. Дали б землицы, мы бы и здеся свой рай понаделали б...

— Уж больно изнуждался народ...

— Теперь мы потребуем. Государственная дума нам даст...

— Разевай рот пошире!.. Дадут там тебе Шинкаревы! Получишь землю с шинкарей!..

— Сем, грю, измагдались мы...

— Да, бытность тяжелая...

— Не горюй, товарищок. Судьба не баба — слезой не возьмешь...

— Сторонись!.. Сторонись!.. Товарищи, сторони-ись!..

Да будет ли где голова у этой бесконечной, десятки верст расползшейся лавины?.. Вот уже и Лигово. Лигово деревянных клетушек, парных вздохов в коровьих хлевах, Лигово киснущей теплоты в грязных перинах. Серенькая пасмурь рассвета укачивает засыпающую луну. Кричат петухи. Холодно стегают по потеплевшему воздуху винтовочные выстрелы. Да это — голова. Несколько пулеметных двуколок говорливо болтают расхлябанными колесами.

На одной из них, подвязанный на шесте, колышется родной красный флаг. Несколько всадников едут гурьбой. Среди них хмурый чернявый солдат со свеже-забинтованной ногою и два прапорщика. Один — кругленький, востроносый, в башлыке, с маленькими глазками. Другой — коренастый, с поднятым воротником, в очках и с бородкой.

— Вот еще офицер, Григорий! — мотнул ему на меня солдат с белой куклой ноги.

— Откуда? Из Ораниенбаума? — мягко спросила бородка.

— Из Ораниенбаума...

— Партийный?

— Да как бы сказать? Пожалуй, что и партийный.

— Эсер? — с туго забинтованною ухмылкой обронил солдат.

— Нет, не эсер! — вспыхнул я.

— Неужели большевик? — умилилась бородка.

— Неплохо когда-то работал, как большевик... Теперь оторвался...

— Ну, ничего, подберем...

Из-за поворота выглянул сразу надвинувшийся горизонт Петербурга. Желто-серое небо колыхалось волнами, бросая на нас свой мерцающий свет. Наши лица то наливались, как спелая репа, то серели и тускли, как пепел.

— Горит, — сказала бородка.

— Горит, — подтвердил солдат и поправил забинтованную ногу.

— Григорий! — скакал кто-то сзади. — Григорий!..

На вспотевшей взлохмаченной лошади подлетел тощий, в несуразной шинели солдатик. Его впалые черные глаза, казалось, сияли упрямым восторгом чахоточной смерти.

— Григорий! В Питере восстали войска! Полки один за другим переходят на сторону рабочих! Правительство заперлось в Адмиралтействе! На улицах пальба! Арсенал

взят! Горят окружной суд и Литовский замок! Наш здешний парень... сейчас лишь из Питера...

— Да здравствует пр-ролетарская р-революция! — побагровев, заревел, привстав в стременах, прапорщик с бородкой, и очки его запотели.

— Ур-р-ра-а-а-а!!. Рра-рра-рра-а-а!!. — понеслось, покатилось, погрохотало.

— «Заперлись?!» — привскочил я в седле и зачем-то выхватил саблю. Ах, так вот когда он наступил, наконец, столько лет долгожданный праздничный день упоенья! Неужели оказался прав Ленин?!. «Через год, через два или десять, но...». Да. Через десять!.. О, дорогой наш, кровью, слезами, цепями, выстраданный Питер! Вот он сияет перед нами, то вспыхивая, то замирая, и упрямо отчетливятся на его облаках длинный, высокий железный скелет путиловской верфи и подъемные краны. Воздух теплеет и загорается в облаках тысячами солнц над изумрудно-сиреневыми садами душистых сказок. Нет больше господ, все люди — братья!

— Вперед!.. Вперед!.. Вперед!..

Город сказочных солнц, мы тебя завоюем!..

ГЛАВА VI.

Сквозь тусклую муть морозного утра пробивается, барахтаясь, багряное солнце. Густой бахромой кудрявых дымков курится в гранитной своей беспредельности заиндевелый Петроград. Он несется вскачь к нам навстречу: в брызгах, в дребезге, в лязгах бешеных пулеметных двуколок; в подпрыгивающих всхлипах потных седел; в грохоте и звяке солдатских винтовок; в гаме и хрипе серых шинелей, летящих через колдобины и ухабы шоссе вперед, вперед, вперед. Там, в морозной предвесенней испарине, желтеют двухэтажные коробки деревянных домов. Встают из-за них, выплывают, громоздятся, целясь бездымными жерлами в небо, гигантские стволы путиловских труб.

Вдруг — сзади крики. Сзади — стрельба. Еле осаживаю тугомордую лошадь, яростно затаптывающую неугомонную прыть. Неладно сзади. Люди бегут врассыпную в разные стороны. Кто полег, кто присел, кто стреляет с колена. Нам неистово машут. И теперь вот явственно слышно: быстрыми осами ноют в воздухе пули, а оттуда, от путиловской околицы, бестолково трещит пулемет.

Только секунду мы обалдело торчим посередь шоссе, как мишени; а затем, колотя шпорами по мокрым бокам лошадей, живо сползаем в канавы. Лошади вязнут в снегу, прядают и храпят. Безумолку, вразброд хлопают вкруг нас винтовки. Солдаты третьего запасного, рассыпаясь в

боевые цепи, без офицеров, без команды, звеньями, по целине, перебегают, согнувшись, то-и-дело проваливаясь в сугробах.

Неужели по нас стреляют перепуганные путиловцы?

— Флаг сюда! Флаг!.. — орут из цепей, и оглашенный солдат срывает с пулеметной двуколки шест с красным флагом.

— Прощай, товарищи! — вскрикивает он, потерянно взмахнув рукой, — не задарма мы гибнем и не последние мы!.. — и под свистом пуль, как шпареный, он несется вперед по шоссе.

— Какие это рабочие? Откуда у них пулемет? Вестимо — жандармы, либо — фараоны...

— Пулеметов, ребята, сюда! Пулеметов!..

— Эх, батарея отстала!..

Двуколка в канаве. Кряхтят пулеметчики, волоча в обхватку ящики с лентами. Рябой солдат, спотыкаясь в расстегнутой мешкотной шинели, торопливо тянет вперед подпрыгивающий максим. Рот солдата открыт, загорелое голое горло играет кадыком, впалые глаза горят боевым бесстрашием.

— Сверни, товарищок! — кричат ему. — Хлобыстнет, смотри, по ногам...

А он сугорбкой, задыхаясь от бега, торопится дальше по занесенной снегом линии рельс заброшенной трамвайной колеи.

Соскакиваю в снег, кидаю повод чернявому солдату с забинтованною ногой.

— Подержи-ка на время да пригнись, а то видишь...

Впереди, взвихривая снежные гребни сугробов, бежит пулеметная очередь неприятельских пуль. Воздух воет от жуткого визга. Солдатские цепи ужимаются в снег. Рябой пулеметчик падает, лежа заворачивает пулемет и прилипает к прицелу. Переваливаясь через рельсы, ползу

к нему. Рядом, волоча коробки, кряхтя, ползут солдаты. Вдруг один из них вскакивает и, прижав коробку к груди, пригибаясь, бежит вперед, кидается на пулемет под щиток и поспешно вздевает патронную ленту. Рябой солдат вскидывается на корточки, целит пулеметом на досчатый забор дальнего желтого дома, и вот его судорожно схваченный максим нервно бьется тарахтящей стрекочущей дрожью. Далеко впереди на снежном бугре взлетают еле приметные простому глазу снежные ошметки.

— Недолет! — кричу я, торопливо подбираясь на четвереньках. Рябой пулеметчик досадливо оборачивается. — Дай, наведу... — и я решительно отстраняю его, крепко хватаясь за ручки затыльника.

По сторонам быстро-быстро бьют оружейные выстрелы. Солдаты упрямо ползут вперед. Один вдруг дергается и, неуклюже ткнувшись в снег лицом, лежит недвижно. Непокрытый его затылок осел и сморщился, и кровавая каша мозгов забрызгала снег и шинель. Двое, стоная, вползают направо в канаву. Я вижу отсюда желтоватый стиснутый оскал их зубов и едкие пятна крови, упрямо проступающие через рубашечную бязь самодельных солдатских перевязок.

Маховичком подъемника быстро навертываю прицел по кольцу. Снова трясется мой пулемет от огненной ярости. Желтый дом с серым забором прыгает в глазах и не видать, куда попадаешь. Вижу лишь, что справа, грузно бултыхаясь в снегу, вползает на бугор кучка солдат с пулеметом на треноге. Да, это — кольт. Секунду они копошатся и вдруг замирают. Торопливой захлебкой свинцового ливня они поливают забор.

Давлю на спусковой рычаг. Молчок. Что за притча? Вскидываю крышку короба. Так и есть: девятая задержка, простой перекос патрона. Дергаю ленту вперед, вновь нажимаю и, упиваясь волнующей дрожью машины, смотрю, как

она жадно глотает патронную ленту. И сразу вспомнилось: метель за окном, верзила Воробьев и лакированный князинька возле шварцлозе. Как тогда трусил я фронта!.. Неужели в самом деле я трусил? Но ведь вот это же — фронт! Я под пулями, я стреляю! И мне не только не хочется от этого бежать, напротив. Я сверлю острым взглядом серый дальний заборчик, из-под которого убегают черненькие люди. Меня душит досада, что тяжел пулемет, что тяжелы мои ноги. Эх, если б сорваться вдогонку своим хлещущим пулям и со всего бы размаху врезаться в кучу противника всепожирающим ливнем!..

Поднимаясь окрест, сначала робко, потом все смелей и смелей, солдаты бегут вперед, цепь за цепью, вал за валом, все быстрей и все гуще. Прекращаю огонь. Пулеметного огня по нас уже больше нет, и пулемет на бугре тоже умолк. И над всею снежною болотной равниной — спереди, сзади, с боков — растет, несется, ширится и, раскатываясь в потном несметном беге, гремит, разрывая розовый солнечный воздух, огромное, победное, солдатское — ур-р-ра-а-а-а!!!

Двуколки прыгают по шоссе. Густая людская река снова мчится вперед по дороге, силясь не отставать от бегущих на город цепей. Вскакиваю, бросая пулемет. Но солдаты его не бросают, торопливо волочат к себе в двуколку.

— Еще пригодится, — весело подмигивает рябой солдатик, и румяные пятна восторженно цветут у него на щеках.

Ищу глазами лошадь. Примятые канавы опустели. Только грязные тряпки валяются там, полыхая ярко-алыми пятнами памяти о свежих жертвах новой народной войны.

Скорее, бегом. Там, впереди, на поводу у чернявого солдата, помахивая головой в такт своей иноходи, пружинно танцует белая лошадь. Она задевает седлом забинтованную ногу солдата, низ которой краснеет от проступающей крови и от рдяной радости морозного солнца.

* * *

У дальнего дома слышны крики и треск выстрелов. Здесь же, за густою солдатской толпой, под дощатым забором, широко раскинув босые ноги, лежит ничком полицейский. Широкоскулый татарин-солдат, растекаясь радостной улыбкой, напяливает себе на грязную ногу порыжелый шерстяной носок. Другая нога уже обута в сырой и прочный яловый сапог.

— Смотри, Рахматулла, — поддевает его кто-то из толпы, — штаны-то ведь в дырьях. К этаким да сапогам надо б и полицейские штаны прихватить...

— Нисява, — подмигивает татарин, притаптывая обуваемый сапог. — Чурный штана псякий узнаит, палицейский сапога никто ни узнаит...

— Боишься, сыромолотный!.. — хохочут в толпе.

— Ну, и чорт с ими, пущай узнают! Семь бед — один ответ! — откликается вдруг низкорослый кургузый солдатик. — Мои портки, ребя, тоже сопрели...

Он кидает винтовку и лезет расстегивать полицейские брюки.

Из-под откинутой полы черной шинели убитого на утоптанном снежном месиве грязи и крови блестят пустые медные гильзы.

— Эх, шинелочка дарма пропадэ... — соболезнующе тянет третий солдат. — Треба, хлопцы, забрать: дома сгодится, — веселым рывком он вытряхивает из черной добротной шинели еще не остывший труп с уже примерзшим под усами снегом.

— Ты в мешок покладай, а то, неровен час, признают, скажут, что ты — городовой, и порешат...

— Так що ж, в мешок, так — в мешок...

— Пулеметы, ребята, нашли! — подбегает запыхавшийся. — Четыре пулемета!.. Вон, в том доме...

— Это, что по нас стреляли...

— А где ж фараоны?!.

— Сволочи!..

— Бей их!!

Вся гурьба, бросив раздетый труп, кидается к каменному дому. А там уж и без этого густо. Штукатурка обшарпана. Стекла выбиты. Слышен рев толпы и одиночные выстрелы.

У калитки, запахнув на груди драную кофтенку и размазывая грязь по лицу, дрожит и плачет простоволосая женщина.

— Силком, милые, силком поналезли... Муж-от к заводу ушел... Я одна с детьми-та... И откуда-то с полю понаперло их, иродов... Окна повышибли... Два пулемета, стало быть, напялили, ну, пряма, скажи, на завод, чтоб оттеда никто б не подошел, а два супротив вас... Окон-то на Лигово нет, так они, милые мои, в чулан да в сартир, да по вас-от оттеда-то... Ребятишки-т мои разбежа-а-ли-и-ся...— Ее вой тонет в гаме толпы и треске винтовок.

— Чего плачешь? — ласково лыбится рыжий курчавый артиллерист, — и ребят твоих, бабка, найдем, и мужик твой придет. Слышь, фараонов-то твоих добивают. Без остатку, вишь, всех приканчивают...

Чернявый солдат с забинтованной ногой кричит, размахивая рукой. Его рыжая лошадь нервно обмахивает черным хвостом огненный глянец потного крупа.

— Порядок наводи! Прядок!.. Ильинский! Цепи вперед!..

Непрерывною серой рекою солдаты уже заполняют путиловскую окраину. Услышав приказание, худенький чахоточный Ильинский неистово накручивает повод своей лохматой взопревшей лошаденки. Она скачет, словно блоха, вскидывая враз все четыре ноги, и при каждом прыжке Ильинский испуганно вбирает в себя воздух и судорожно хватается за гриву, и только что надетая им на себя поли-

цейская шапка озорливо взлетает вверх. Я карьером настигаю его.

— Цепь вперед!.. — сипло кричит он, — флаг вперед!..

Навстречу нам движется с красными флагами черная от жирной засаленной копоти толпа рабочих. Шеренга огромных запачканных каменных труб грозно сторожит за высоким мрачным забором затихший порядок каменных красных заводских корпусов. Радостно орущее, плотное, черное море рабочих голов необозримо залило широкую улицу. В разных концах оно утыкано красными флагами, наскоро изготовленными из бордовых бумазейных юбок и кумачевых подушечных наволок, на которых кой-где еще пушатся белые перышки. Эта несметная грязная машинная масса кипит, как в котле, и клокочет нам навстречу безудержным гамом тысячеголосой щебечущей радости. Сквозь нее, словно искры через густой черный дым, пробивается медно чавканье чахлого оркестрика. Безнадежно придавленный где-то к забору, он тщетно пыжится выплыть из восторженного рева отчаянными всхлипами дразнящей марсельезы. Но жалко тонут эти медные выкрики в черных урчащих волнах десятков тысяч упрямых мускулистых плеч, с крепко кой-где прилипшими к ним стальными ружейными дулами. Наши солдаты с растерянными улыбками подходят вплотную. Словно блудный брат-забулдыга подходит с любовной неловкостью к своему долготерпеливому приветливому брату-упрямцу. И разом всхлынул розовый лес рабочих рук, расцветших черными шапками, и буйно колышется он нам навстречу в кричащем шторме неуемного счастья.

Пожилой, небритый, рябой человек в замасленном пальто, с воротом, обмотанным дырявым пегим шарфом, без шапки, взбирается возле ворот на какие-то ящики.

— Това-а-рищи! — кричит он осипшим исступленным голосом, и редкие ржавые зубы мерцают под отвислой

щетиной его усов. Где я его видел? Не он ли это тогда, в трамвае...

— Това-а-рищи! — хрипит он с отцовским укором, когда гам понемногу смолкает, и навалившийся широкий солдатский поток нераздельно слился своей головой с беспредельным рабочим морем.

— Това-арищи! Как министерское самодержавие шло в противную от нас сторону, мы должны в корень свернуть башку Николашке. Иначе всем нам, товарищи, — крышка, и рабочим — крышка, и солдатам. И без солдатской кровной подмоги нас, товарищи, уже спихнули бы начисто в противную сторону. Теперь с этой подмогой, крепко сжимая прибывшие винтовки, а их из арсенала сичас еще подвезут. Мы должны теперя, товарищи, нашими мозолистыми руками зорко смотреть, чтоб общая наша восстания добилась бы восьмичасового дня и чтобы всю землю царя и помещиков даром — крестьянству, и чтобы хлеб был в продаже, и что мы не согласны больше страдать и кровь свою лить, чтоб завоевывать барыши для хозяев. Поэтому да здравствует, товарищи, революционная войска и все рабочие путиловские и питерские, и других городов, и заграничные. Ур-ра-а!

Звякнул оркестрик и опять захлебнулся в перекатных волнах ликующего рева. Заплясали в воздухе руки. Заполоскались кумачи на шестах. Заскакали по солдатским плечам белые бумажки. Я нагнулся и схватил одну.

Серые, пачкающие скипидарною краской, черные буквы напряженно кричали бунтующей радостью о том, что «настал желанный час... революция началась... не теряйте ни минуты времени... выбирайте... солдаты и рабочие... пусть под защитою войска создастся Совет депутатов... Финляндский вокзал будет центром, куда соберется революционный штаб».

Крики снова смолкают, потому что на ящики взбирается тот, кого называли Ильинским, чахоточный черный солда-

тик с тощею смуглою кожей на обтянутых скулах. Слова его — хриплы, просты и прямы, как выстрелы:

— Долой царей! Долой войну! Добиваться восьми часов на заводах. Добиваться земли для крестьян. Братство солдат и рабочих ненарушимо. Если подавят, не будет пощады ни тем, ни другим. Добивай царя до конца! И без промедленья! Вперед, товарищи! Вперед, вперед!

Снова чавкнул оркестрик. Вновь взревел и всплеснулся розовой кашкой лес приветственных чумазых рук с черных живых и тугих берегов. Упрямо их разрезая, опять забурлила по расступающемуся хлюпкому руслу и понеслась, колыхая штыками, бесконечная буро-серая солдатская армия. Рабочие дали нам несколько флагов. Они поплыли у нас впереди. И несметные тысячи ликующих весенней отвагою глаз, — глаз упрямых — мужских, свежих глаз — женских и детских глазенок, — влюбленно нас гладили и ласково передавали друг дружке. Они сверкали, нас провожая. Они восхищенно цвели, упиваясь этой нежданною сказочной былью, этим сбываньем таких, казалось бы, давно раздавленных под царским каблуком, затерянных в каторге и тюремных застенках, старых надежд.

В упрямом мятежном восторге мы уверенно-быстро стремимся вперед. Все солдаты знают теперь четко и ясно, на что они идут.

В урчащем грохоте, взметая и лязгая цепями, мчатся навстречу нам, трепеща красными флагами, грузовики. Над грудами ящиков, на кучах винтовок пролетают на них мимо нас в бензинном дыму черные пиджаки и кожанки. Они весело машут нам новенькими винтовками и быстро исчезают по направлению к заводу.

Говорливые толпы рабочих, ребятишек и женщин радостно спешат возле нас по бокам тротуарами, вмиг оживляя до этого мертвые улицы. Солнечный день искрится и переливается в сверкании морозного воздуха. С опрокинутых

в небо верхних окон огромных домов скользит на нас синяя льдистость. Усталые солдатские лица сияют гордым сознанием мятежного подвига. Шутки. Смех... И только чугунные воины с серо-желтой громады Нарвской заставы и глухой дальний гул пулеметной стрельбы сразу напомнили о еще притаившемся где-то мстительном глянце непроницаемых толстых дворцовых колонн, о зажатых в упругую замшу гвардейских штандартах, о жуткой резкости беспощадного рожка и сухом треске карающего барабана. Губы сжались. Шаг становится четким. Окоченевшие руки крепче сдавили приклады винтовок.

— Равня-айсь! — самовольно бежит по солдатским рядам.

Да, солдатская армия вступает сейчас в императорский Питер. Вступает с безумною дерзостью вооруженного бунта. За это, в случае подавления, ждет только смерть. Ну, и пускай, беспощадная смерть. Мы тоже не дешево отдадим наши жизни. И мы знаем, за что мы умрем, если так будет надо.

Тысячи трепанных, забеленных курчавым инеем, солдатских шинелей железным скрежетом пулеметных колес настойчиво режут туманную стужу.

Впереди этой армии едем верхами мы, случайные ее главари: десяток солдат и три офицера военного выпуска, втайне стыдящиеся своих золоченых погон. Колыхаясь в розовой дымке, поблескивают вдали за нами штыки. Задорно алеют над нами флаги. А далеко где-то, влево, за Обводным каналом, глухо гогочет стрельба. Что же, мы знаем: дело еще не закончено...

От нашего грохота, скрипа и лязга, от шумного рокота тысяч шагов просыпается пустынный Обводный канал. Седые от изморози камни домов спешат выбросить перед собою на набережную десятки и сотни и восхищенных, и сочувствующих, и любознательных глаз. Большинство

здесь — это мелкие чинушки, писцы, терпеливо трущие стулья бесчисленных департаментов, вздыхающие о политуре ремесленники, торгаши, и просто обыватели. Лишь изредка видны замазанные пальто рабочих, но немало встречается здесь и солдат. Только смотрят на нас эти солдаты как-то потерянно и стоят без поясов и без винтовок. Из глухих вонючих подъездов, с грязных дворов, из завешанных деревянными щитами парадных народ заливает панели все гуще и гуще. Подгоняемые дворники трясущимися руками наспех рвут с флагов белые и синие полосы, предусмотрительно пряча их по карманам, и торопливо втыкают над подъездами древки с узкими красными лентами. Отдельные наши солдаты все чаще и чаще теперь выбегают из строя к панелям и отстают. Сердобольные женщины суют им там печеный картофель, кусочки вареной говядины, а кой-где так даже и хлеб. Мы жадно смотрим на эти черствые куски, рот наполняют непрошенные слюни, и начинает сильно тянуть подложечкой. Так бы вот и сам подъехал к панели. Но неумолимо скрежещут колеса наших укутанных максимов, и бесшабашным упрямством шумят и устало колышутся тысячи солдатских шинелей.

И к нам тоже то-и-дело подбегают одиночки и группки с панелей.

— Товарищи, там вон на Пряжке стреляют... там жандармы засели... у них пулемет...

— Послушайте, солдатики, помогите! Александровский рынок громят... Вот она — свобода-то!... Тюрьмы все пооткрывали. Ну, вот, теперь жулье и громит.

— Не слушайте, братцы, его, спекулянта. Это они наши карманы громили... Хватит!.. Попили кровушки!..

— Товарищи, на Гутуев остров скорее идите!.. Там, на Гутуеве, солдаты еще не сдались...

Но мы неуклонно движемся дальше. Что нам какая-то Пряжка с жалкою кучкой жандармов и с одним пулеме-

тиком! Или какой-то там Гутуев остров. Смертельного врага надо бить в самое сердце. Мы знаем теперь: министры царя в мундирах, расшитых золочеными перьями, в нафталиненных треуголках с плюмажами, в муаровых лентах, в брильянтовых звездах, в фарфоровом глянце досиня выбритых обрюзглых щек, — вся эта самодержавная свора забилась сейчас, как семейка клопов, за каменные колонны, за чугунные ворота адмиралтейства. Там у них — телефоны, там у них — телеграфные клавиши Юза, которые вмиг вытрескивают за тысячи далей, в ставки августейших, верховнейших главнокомандующих: «К еппара-ти-ку... немедленно шли... немедленно шлите... вооруженную... воорружженную... ввооорррружженнную... помощь...» — Вот, где враг!

Нет, погоди, золоченый царский клинок, кичливо заостренный над тремя угловыми проспектами! Нет, настал, наконец, и для тебя час последней народной расплаты. Слышишь визг пулеметных колес?!. Слышишь мужицкую поступь проснувшихся орд?!. Погоди! Погоди!..

От грязных бурых корпусов длинной фабрики калош «Треугольник» противно пахнет горелой резиной. Мрачная, как свинцовые пыльные окна, шеренга рабочих с ружьями наперевес загородила набережную и зорко следит за нашим приближеньем. Сбоку у них тумашится розовощекий, с красною повязкою на рукаве студентик-технолог. Вздернутый, как молоточек, нежненький носик, взблеск пенснэ без оправы, синий кант бархатного околыша, молоточки на нем, и золоченые царские вензеля на черном плюше квадратных погон. Непривычной рукою залихватски вертит тяжелый полицейский наган.

Мы надвигаемся, и на лицах рабочих, как нефть по воде, широко расплывается радость. Крепко машут винтовками, просят патронов.

— Кто вы? Откуда? Куда? — с захлебом, изумленно щебечет студентик.

— Мы — солдаты! — шутливо и гордо отвечает за всех, гладя бородку, очкастый наш прапорщик, тот, кого называли Григорием. — Из Ораниенбаума мы, из Петергофа, из Стрельны... А идем на Выборгскую...

— А! На Выборгскую... Тогда вы идите Обводным и Боровой на Разъезжую, а дальше Литейным. Загородным вам без боя не пройти. Там — Семеновский полк. Он не сдался. Вот Петроградский и Измайловский ночью еще перешли, а Семеновский все еще не сдался. И правительство тоже еще не сдалось. Оно — в Адмиралтействе. И Петропавловская крепость еще за него. Так что, пожалуй, ни через Дворцовый, ни через Троицкий мосты вам сейчас не пройти...

— Пройдем, — коротко и просто отрезал наш чернявый солдат с простреленной ногою, и рабочие-дружинники, молча, в такт кивнули ему.

— Но зачем вам непременно на Выборгскую? — любопытствует студент.

— Ведь на Финляндском вокзале Совет депутатов? — снисходительно взглянув поверх очков, буркнул Григорий.

— Какой же там еще Совет? — недоуменно оглянулся студент на рабочих.

— Да и надо же где-нибудь нам, наконец, передохнуть... — нетерпеливо рванул повод рыжеусый солдат с малиновой тесьмой на рукавах шинели. — Пехом прошли за одну ночь сорок верст... Со вчерашнего дня крошки ни у кого не было... А вот подкрепимся возле Совета, приведем себя в боевой порядок... А то не жрамши-то на голодный желудок...

— Сейчас, товарищи! Сейчас! — сразу же затумашились рабочие.

Они торопливо бегут, хлопотливо выносят ломти хлеба и заботливо тянут солдат внутрь заводского здания, обещая и кашу и чай.

— Только не все! Только не все! Товарищи! На всех же нехватит!! — испуганно вопят они теперь и растерянно машут руками, когда от хлывнувшего напора солдат треснули двери проходной.

— Вам бы лучше тогда в Технологический поскорее!..— советуют нам наперебой.

— Куда ты их гонишь?!. — негодует за нас работница.— Чай, и мы могем тоже здеся их покормить. Аль солдат не свой брат?! Не царский, чать, а ревалиционнай...

— Чего ты зря треплешься?.. — огрызается парень в кожанке. — Рази мы им отказываем?.. Эвона, глянь, сколь народу пошло. Разве здеся у нас на всех их хватит.. А для дружины нашей, скажешь, не надо оставить?..

— Верно! Верно! — гудят рабочие. — Разве мы отказываем?..

— В Технологический бы, товарищи, вам всем остальным... в Технологический...

— Там в нашей столовке организован питательный пункт для солдат, — кичливо топорщится студентик.

— По распоряжению нашего Совета депутатов... — гордо добавляет седоусый рабочий.

— Как?! Совет уже работает?!. Где Совет?!. — жадно кидаемся мы.

— Да, со вчера уже... — вперебой отвечают рабочие.

— Там же, где Дума была...

— Богадельню-то эту, слышно, царь распустил...

— Ну, так наши теперя там, заместо ее...

— Сегодня и у себя думаем выборы провести...

— Десятерых депутатов от нас выбираем.

— Да и вам, братцы, солдатам-то, тоже надо... По-одному, слышь, на роту...

У двери проходной — шум и гам.

— Товарищи! Товарищи!.. — пыжится прижатый на лошади прямо к двери наш остроносенький прапорщик.— Больше сюда нельзя, товарищи! Больше сюда нельзя! Держите же революционную дисциплину!!.

Украинца с полицейской шинелькой подмышкой, прямо упершегося плечом в уже закрывшуюся дверь, товарищи его оттаскивают обратно.

— Товарищи! — кричит юный прапорщик, и острые глазенки его озабоченно бегают. — Товарищи, сейчас все пойдем в Технологический. Там всем приготовлен обед... Ррав-ня-яйсь! Шагом аррш! — и, картинно завернувшись, он едет вперед.

— Туды же, «енерал»! — сердито бунчит себе под-нос украинец.

Мы тоже усиленно шпорим усталых коней. «Эх, поскорее поесть бы! Да и лошадушкам овсеца...»

У площади Балтийского вокзала нас неожиданно встречает густая толпа таких же, как и мы, солдат-пулеметчиков. Это видно еще издали по бестолково намотанным кой на кого патронным лентам. Вдоль деревянной вокзальной галлереи понуро мерзнут, запряженные в пулеметные двуколки, поседевшие от кудрявого инея мохнатые лошаденки. Сотни солдат тупотят сапогами по протаявшим камням возле костров. Над вокзалом повис красный флаг.

— Кто это такие?.. — понесся к ним вскачь остроносенький прапорщик.

— Ну, конечно, — улыбаясь, оборачивается к нам Ильинский, — да ведь это же те, что поехали вчера из Ораниенбаума поездами...

— Чего же вы тут до сих пор прохлаждаетесь?!. — кривясь от боли, кричит им солдат с забинтованною ногою.

Мы подъезжаем к решетке садика. Но и армия наша машинально повертывает за нами и начинает заполнять собою всю площадь.

— Прямо! Прямо! — кричу я, настойчиво заворачивая обратно ряды. — Товарищи! Привал и обед будет сейчас в Технологическом. Прямо! До Варшавского вокзала!.. Пряма-а... арш!

— Нет, товарищ любезный, мы здеся не прохлаждаемся, — обиженно возражает чернявому худой, долговязый, бородатый ефрейтор. — Нет, мы здеся здря не торчим. Офицерей, правда, ни одного нет у нас, но мы, как умеем, сами по-солдатски справляемся. Одна наша команда еще на рассвете поехала брать Анючкин дворец. Другая — на Лиговку побежала, выбивать фараонов. Срочно стребовали. А сейчас вот требовали из Таврического две команды. Хотел было я посылать, да вот ребята не соглашаются что-то. Чем нам Думу какую-то там, говорят, защищать, мы лучше министров пойдем выдирать...

— Правильно! Правильно!.. — рокочет обрастающая нас солдатская ватага.

— Петропавловку пойдем брать, товарищи! — кричу я, привстав закостеневшими ногами на стременах.

— Верно! Правильно! Урра-а! — пробегает по площади.

— Ну, вот, — продолжает ефрейтор, когда крики стихают, — услыхали мы, что вы подходите, и решили дождать и вместях обсудить.

— Откуда же вы о нас услыхали? — удивляется Григорий, снимая сосульки с усов.

— А из Таврической думы сам председатель звонил к нам в вокзал. «Какая это, — грит, — армия на Нарвские ворота наступает? За кого? И кто ею командует?» Ну, мы сразу, значит, и поняли, — вы. «Наступает, — отвечаем мы председателю, — наша армия против кого следует, а командуют сами солдаты. Раз за землей и за миром пошли, они

и командуют». Мы не знали, что за нас тоже офицери есть,— взглянул ефрейтор на нас исподлобья. — Ну, а он тут враз возьми трубку и брось, председатель-то ихний.

Чернявый солдат ухмыльнулся и, кривясь, поправил кровавую куклу ноги.

— Вот, что, товарищи! Я предлагаю привал. Надо подзаправиться и в два счета привести себя в боевой порядок. Без этого мы, случись что, ни пушек своих не найдем, ни пулеметов... А тогда — и в бой!.. Так, что ли?.. — обвел он нас горящими глазами.

Все, молча, кивнули в ответ.

— Правильно! Верно! Правильно! — загудело по площади.

— А я тем временем с комитетом свяжусь, — ввернул, протирая очки, Григорий. — Раз тюрьмы открыты, значит, все наши — опять на местах.

— Хорошо. Значит, Григорий поедет в ПК, — обернулся теперь к нам хромоногий. — Ну, а Ильинский с прапорщиком Семашкой пусть соберут тем временем в один кулак весь первый пулеметный.

— Да ведь он же сильно отстал? — заикнулся было остроносенький прапорщик.

— Ну, так вот поэтому-то и надо собрать... А поручик наш... — и тут хромоногий дружелюбно взглянул на меня. — Как фамилия-то ваша?

Я назвал фамилию.

— Ну, так вот, пускай наш поручик немедля поедет с пулеметною командою в Таврический дворец. Раз сейчас там Совет, надо с ним нам связаться. Объясните им об нас все, и оттуда, смотрите, сейчас же обратно. Мы будем все в Технологическом. Понятно?

— Так точно, понятно, — ответил я и по непроизвольной привычке откозырнул, словно предо мною был не простой рядовой солдат, а отдающий приказы боевой генерал.

Когда я отъехал, чтоб выбрать и снарядить с собою команду, я ухмыльнулся. Ну, и революция! Обыкновенный солдат с простреленной в Ораниенбауме ногою. Он держал там в канаве на поводу мою лошадь, как простой вестовой. А сейчас он отдает боевые приказания по всей многотысячной армии. А главное: приказы эти — чортовски правильны. Что же значит тогда: «генерал»?!

* * *

Через Боровой мост, где всего лишь три дня тому назад, придавив упругою белой перчаткой кобуру револьвера, прочно стоял сверкающий игрушкой эмалированный семеновский офицер, — вихрем несся сейчас с отчаянным зевом, трубя и подпрыгивая, легковой автомобиль под красным флажком. Ощетинившийся, словно еж, штыками винтовок, он был плотно набит воинственно орущими и трясущимися на рытвинах людьми. Даже на крыльях его, сверкающих на солнце черным лаком, плотно лежали серыми комьями, нацелив ружья, солдаты. Снующие Лиговкой встречные вооруженные кучки солдат и рабочих, восхищенные такой пролетающей крепостью, исходили в обрадованном реве и палили в безответное небо.

С торопливым говорком пробегали к центру вооруженные рабочие. Беззаботно перещелкивались в морозном солнечном воздухе винтовочные выстрелы. С грохотом проносились, мотаясь щетиною ружей, грузовики. Радостным зевом шумела толпа. Даже жесткое рокотанье полицейских пулеметов, упрямо застрявших где-то в дальних колодцах гулких каменных закоулков, теперь не могло заглушить такой по-весеннему свежий и по-весеннему щебечущий, ликующий уличный гам.

Но не всем, очевидно, был люб этот гам. Сотни уютных квартир укутали свои сытые окна густою тяжестью портьер. Стеклянная наглость магазинных витрин теперь зажмури-

лась, трусливо присев за скорлупу щитов и ставней. Даже чванные фасады каменных громад как будто бы съежились, брезгливо скосясь в чопорном ужасе на дерзко пришпиленные к ним страшные флаги. Одно было ясно: чинные дома смертельно ненавидели бушующее разгильдяйство улиц. И дома в одиночку плевали в улицы пулеметным свинцом, а улицы мстили домам. Жестоко мстили домам.

Сначала я этого не понимал. Мне казалось даже диким вначале, зачем это улица так безжалостно мучает дом. Я подъехал к нему, а вместе со мной подошла и семнадцатая номерная команда с двумя кольтами, когда этот дом на углу широкой Лиговки уже был обречен на смерть. Торжествующая толпа в угрюмом напряженном молчаньи окружала его.

На грязном снегу мостовой лежали перед ней толстые груды бумажных пластов в синих обложках. Тут же валялись поломанные стулья и обрывки золоченой бахромы от красной, залитой чернилами скатерти, которую уже приколачивали, как знамя, к шесту.

— Товарищи! Товарищи! — наперебой кинулись к нам. — Тут на чердаке фараоны заперлись!.. Всю ночь гвоздили из пулемета... Сколь-от народу побили!.. И не сдаются... Мы их сейчас подпалили... Ежели будут стрелять, вы, товарищи, помогите!..

Мы остановились и на всякий случай свинтили один кольт. Конечно, фараонов надо уничтожить. Но зачем уничтожать двухэтажный каменный дом?..

Меж тем из разбитых окон его в проломанные рамы уже валили густые рыжевато-седые тучи дыма. Иногда выхлестывались с ними и яркие космы огня. Железная крыша бессильно шипела. Струились по ней тонкие кудри пара. Вдруг слуховое окно со звоном рассыпалось, и в нем появилась человечья голова. Огромный задыхающийся раскоряченный рот вздыбил черную гребенку усов. Глаза вылезли в стынущем ужасе. Рука ухватилась за переплет

рамы, и вместе с нею полезло и черное плечо с красным жгутиком полицейского погона, овеваемое жидким синим дымком.

— Вон он! Вон! — взревела толпа. — Бей фараонов!.. Нет пощады мерзавцам!.. Жги царскую сволочь!.. Из пулемета его саданите, товарищи! Из пулемета!..

Но и без нас вперегонку залязгали выстрелы. Зарешетилась обшивка слухового окна. Полицейский устало глотнул воздух и провалился обратно в сизую мглу. И вдруг по крыше затрещало. Из окошка забили жирные лохматые клубы серого дыма. Длинные пряди цветистого пламени, свиснув, лизнули по раме. Крыша стала сиреневой. Дым кинуло вверх. Внутри дома урчало и шипело. Видно было через жидко струящиеся окна нижнего этажа, как в багровом чаду трепетали и бегали яркие рыжие ящерицы. Дом полицейского участка безропотно погибал.

— А чего ж протоколы-то ихи повытаскали?!. Аль сберегти их кому-то понадобилось?!. — заскакали тревожные возгласы. — Жги фараоново семя! Со всеми потрохами...

Толпа загоготала, заулюлюкала, заползала ходуном и, разлетаясь листами, в окна посыпались пачки бумаг.

Крыша рухнула. Бешеный вихрь искр и черного жара ринулся кверху. Горький чад сдавил горло. Моя лошадь шарахнулась в сторону. Стало тепло. Закружились по воздуху черные бабочки обугленных жженных бумаг.

— А ловко их, стервецов! — заулыбались солдаты, когда мы торопливо двинулись дальше.

— Эх, кабы в отпуск сейчас! — зачесал под шапкой затылок безусый солдатик. — Мы бы нашему земскому тоже пустили бы петуха, здрастя вам...

— Поперед батька не суйся в пекло, — мрачно срезал хмурый солдат. — Погоди, дай поперед туточка справыться.

Беспорядочный железный треск ружейной перестрелки доносился от Знаменской площади. Кто же это стреляет?

Люди бежали и туда и оттуда. В тумане лучезарного солнечного дня мигом вспомнилось: свинцовое небо, ползущий, пачкая снег простреленным животом, несчастный рабочий, и красный лоскут, позабытый на чугунном сапоге самодержца. Мы прибавили ходу. Наши шаги стали теперь торопливы и тверды. Даже уступленная мною белая лошадь, мотаясь навьюченными на седло пулеметами, еле успевала за нами. Не терпелось и нам подрезать своим пулеметным огнем одну из последних царских болячек. Ведь на нас, на взорвавшийся Питер, затаивши дыхание, с надеждою смотрит вся необъятная многострадальная Россич!

У ворот Николаевского вокзала мы поравнялись с растерянной гурьбою солдат, увешанных, вместо ружей, котомками и сундучками. Разглядев золотые погоны, они боязливо друг за дружкой подошли к нам навстречу.

— Ваше благородие! — взмолился первый из них, робко припечатав ладонь к козырьку. — Ваше благородие! Наш старшой потерялся... Куда теперь нам итти?..

— Как потерялся? Кто вы такие?

— Пополнение — мы... Из Пензы... — вразнобой подхватили остальные солдаты. — Приехали и не поймем, что тут такое творится... И в какой полк — тоже не помним. Фельдфебель ехал при нас, кадровый из запасного, и, должно, убег, что ли, куда... «Ждите,— грит,— пять минут»... А мы уже три часа здеся стоим, а его все нет...

— Да и нас, почитай, половины теперь не осталось... У кого деньги были, — на чугунку, да и по домам... — вылез веснущатый шустрый кудряш с фуражкой на затылке.

— Цыц тебе! — гаркнул первый солдат. — Ишь рассупонил язык, толстопятый... пра, толстопятый!.. Дисциплины не знаешь?! — и обернулся ко мне. — Вы не слушайте его, ваше благородие. Списки-то на всех у фельдфе-

беля есть, и деньги при ем, да его что-то нету... И куда теперь нам итти?.. Люди не емши...

Обращаясь ко мне, они тревожно оглядывались вправо, где на площади все еще рокотала стрельба.

Я пожал плечами. Ну, и революция! Вот она тебе, матушка провинция! Как же! «Многострадальная с затаенной надеждой смотрит на наш безумный взрыв». Хорошо еще, что эти приехали из запасного полка. И без оружия. И с фельдфебелем, который сбежал. А если — с фронта?! Железо шеренг, заряженных муштрой. С бессмысленно-стеклянными глазами. С тугими кобурами кадровых гвардейских баронов. С пулеметами и при батареях...

— Опустите руку, — сухо и торопливо мотнул я. — Вам придется дождаться фельдфебеля. Без оружия мы вас с собой не возьмем.

Терпеливые крестьянские лица солдат тоскливо вытянулись, и навьюченные сундуки как будто бы еще ниже сникли с их плеч.

— Товарищи! Товарищи! — бодро крича, шли из-за угла еще неумелой шеренгой, крепко сжимая винтовки, рабочие. — Не сейте панику, товарищи! Это полицейщина пальнула с чердака на гостинице. Их уж сняли сейчас оттуда и щелкнули. Спокойно, товарищи!..

Крепкий шаг. Кулаки, как кувалды. Рабочие!

Когда мы вошли на утихающую от выстрелов площадь, мне показалось, что, нелепо раздувшись, свинцовый царь до крови рвет удилами с досады губу своего бегемота и потускневшим полинялым лицом зло отвернулся от новых рабочих шеренг, четко чеканящих шаг. Жадно смотрит теперь брошенный император в таинственную мглу вокзальных дверей. На кого он надеется?

— Эй! Офицер! Офицер!.. — дерзко кричат одиночки-солдаты и одиночки-рабочие, стремглав окружая задумчиво выходящего из высоких вокзальных дверей офицера.

Вздрогнув, он озирается на жесткие дула убийственно вскинувшихся на него револьверов.

— Оружье давай! Оружье сымай! Будя, покомандовали...

Офицер краснеет, как флаг, как свежий ярко-алый флаг, мотающийся над каланчею вокзала. С офицера деловито стаскивают шашку и отстегивают вместе с поясом револьвер. Щупают поверху по карманам: нет ли другого. А он покорно поднимает вверх руки, как ему приказывают. Жалкий блуждающий взгляд его случайно падает на меня. Глаза его молнией озаряет надежда, но сразу же тухнет в пепле сереющих щек от моей холодной усмешки. Что же: мало ли Застежкиных и Иловайских?! И даже будь он из Красниковых, то...

— Офицер! Офицер! — кричат со ступеней и теперь также быстро подбегают ко мне.

— Кто такие?! — хлещут вопросы.— Зачем при оружьи? Куда направляетесь?!.— летят беспощадно-враждебные испытующие взгляды. Но лишь без револьвера, да и то потому лишь, наверное, что со мною — команда.

— Что вы, ребята!.. Али не видите, что свои? — негодующе осаживают их мои солдаты. — Чай, он при нас. Из Ораниенбаума мы... Всю ночь перли. А теперь вот — в Совет, к Таврическому...

— А-а, в Совет!..

— А почем мы знаем, кто он? Может, вы его пымали где и ведете?! — гудят из нарастающей толпы.

— Слушайте тогда, офицер! — ретиво протискивается ко мне черный в рыжих подпалинах, пропахший какою-то вонючей кислотою, пиджак. Он пронизывающе смотрит в мой открытый и слегка растерявшийся взгляд. — Слушай, брат! На вот тогда, вздень себе где-нибудь...— Он стремглав отдирает от красного флажка у рядом стоящего рабочего узкую кумачную полосу и подает ее мне. — А то не мы, так другие все равно тебя остановят.

С благодарностью хватаю ленту и жму ему руку.

— Спасибо, товарищ, — шепчу я, — спасибо. Как вас зовут?..

— Тянульщики мы. С проволочного... — застенчиво улыбается он.

Солдаты с готовностью помогают мне зашпилить красную перевязь на рукаве.

— Вот смотрите теперь! — торжествующим взмахом раздвигает передо мною тянульщик толпу. — Вот теперь уж, брат, сразу видать: наша армия! — и нежная умильная улыбка ласково расплывается по его изъеденному кислотными парами лицу.

— Уррр-а-а!.. — машет шапками площадь.

Я продолжаю итти вместе с командой, конфузливо тупя глаза, но внутренне восторженно-гордый таким «посвященьем».

— Уррра-а-а-а!! — гремит еще неистовей. — Пымали! Пымали!.. Бить его надо!.. Паскуда длинногривая!..

Удивленно вскидываю глаза. На углу Старо-Невского — грузовик. В его грубом ящике, спиною к шоферу, на запачканной мелом и глиной доске сидит, нахлобучив черный шелковый клобук, священник. Проседь его усов и бороды беспомощно передергивается от трусливых перебежек хитрых загнанных глазок. Трясущейся рукою он тщетно пытается поймать распахнувшуюся полу широкой, лоснящейся добротным сукном, роскошной шубы. Из-под ее пушистого теплого меха сверкают драгоценные камни каких-то божественных блях, что мотаются у него на серебряных толстых цепочках по лиловой шелковой рясе. Рядом с ним садится, держа револьвер, рабочий. Брякая прикладами, торопливо влезают на грузовик, весело улыбаясь, солдаты.

— Эх, мать честна!.. — подмигивает один из них, деловито закрепляя за собою нервно дрожащую заднюю

стенку гудящего ящика. — Ежели бы да этот тулуп, — и он озорливо кивает на священника, — да нам бы в окопы!..

— Кто это? — торопливо спрашиваю залезающего к шоферу студента с красным бантом. Но грузовик уже тронулся.

— Питирим! Питирим! — затараторили мне наперебой окружающие. — Только сейчас в Александро-Невской лавре забрали...

«Как же теперь с крестом на Константинополе?», ухмыльнулся я про себя.

— Распутинский сподвижничек! — торжествующе чмокнул проходивший рабочий. — В Таврический голубчика поволокли...

— И как же это: самого митро-по-ли-та, священную особу, и вдруг этак... неделикатно!.. — недоуменно шамкает в воротах старушоночка и одиноко качает головою, дряблою, как прокисшее яблоко.

Со Старо-Невского неслися на площадь седые клочья удушливой гари. За плотною торжественно-праздной толпою догорала огромная Александро-Невская полицейская часть. Ее каменная каланча над провалившейся крышей угрожающе накренилась на-бок, как подрубленная, и прозрачно струилась сквозь густой жирный жар, дышащий пеплом в морозное солнечное небо. В каменных провалах окон еще буйно кипела огненная каша, и ослепительно сияли раскаленные добела балки проваленных потолков.

Улицы беспощадно мстили домам...

Как-то чувствует здесь по соседству себя Ручкин?..

. . . .

Одиноко мотающиеся вооруженные солдаты оглядывают нас приветливо, но чести, конечно, уже никто не отдает. Какая же тогда революция, если тянуться перед каждым барином в офицерских погонах?..

И захотелось поскорее в Таврический. Там сейчас — штаб. Там головка рабочего класса. Оттуда должны сейчас разлетаться все ответственнейшие боевые приказы восстания. Там — все сейчас ясно и все известно. Что, где и как: царь, войска, фараоны, министры...

— Нет, Суворовским вам не пробиться, — шагая в ногу с нами, советуют нам разговорчивые любопытные из толпы. — Там такая сейчас баня заварилась... Убитых и раненых—горы!.. Туда литовцы сейчас побегли выбивать их...

— Кого выбивать?

— Офицерье, что ли, говорят, там засело по лазаретам... Бьет сейчас из пулеметов, что твой фронт... Вы лучше Лиговкой заверните, а там на Парадную...

— Ну, как? — оборачиваюсь я к команде.

— Да уж лучше Лиговкой, поручик. Чай, нас тут всего и трех десятков нет... А там мы скорее пройдем...

Пошли Лиговкой. Смотреть даже совестно. А в глубине — что за пакость? — как будто бы и приятно: и в самом деле, зачем зря рисковать? Все равно, Литовский полк их выбьет.

ГЛАВА VII.

Еще издали долетали дребезжащие медью вскрики оркестров. Здесь же, против Таврического, вся ширь Шпалерной улицы перед большой искрасна-черной водонапорной башней уже была густо закупорена все время прибывающей людской толчеей, шевелящейся гребнями красных плакатов и флагов. Черные упрямые клинья рабочих пролезали вперед. Раздраженно крякали, еле продираясь к дворцу, сверкающие гранеными стеклами лимузины. Жалкой неловкостью тлели в них лощеные лица в котиковых воротниках.

— Дорогу! Дорогу! — кричали студентики, вспрыгнув на подножки. — Члены Государственной думы! Пропустите!

Недоуменно и нехотя расступались. Скользили по лимузинам холодком любопытства и тумашливо бежали, размахивая шапками, за плотными рядами длинных солдатских колонн, где за фыркающими оркестрами колыхались широкие красные флаги. Буксуя в рытвинах, медленно тряслись и пыхтя скрежетали моторами затертые толпой грузовики.

Как большая муравьиная куча, развороченная озорниками, кишел и тумашился забитый народом сквер перед бледножелтым дворцом. В левых воротцах массивный гранитный столбина был выворочен поперек дороги нале-

тевшим на него и исковерканным вдребезги грузовиком. На нем уже раскачивался человек в пальто и без шапки и, надрываясь, размахивал руками. Приседая, он тряс кулаками, но слов его не было слышно. Взбудораженное море людских голов: и в разномастных студенческих фуражках, и в женских шапочках и платках, и в рабочих вязанках и картузах, но всего больше в серых затертых солдатских папахах, — бурлило, урчало и перехлестывалось через высокую чугунную решетку дворцового сквера, потому что ворота в него были узки и безнадежно забиты. Трещали и мялись чахлые шпалеры из боярышника и стриженых акаций. Мы еле протиснулись в этот двор, сдавленный низкими крыльями дворцовых пристроек. Озабоченно мотаясь на лошадях, барахтались в толпе, стараясь вытянуться в шеренгу, кавалеристы с красными лоскутиками на пиках. Жамкали воздух, брызгая звуками, налитые радостью медные трубы. Марсельеза вихрилась, марсельеза взвивалась, как легкокрылое истлевшее знамя старинных баррикад далекого Парижа. Марсельеза гудела и прядала над взволнованно-переливающеюся толпою, напирающей на белые, затопленные людьми колонны дворца. Там, возле узкой чернеющей воронки дверей, стоял караул преображенцев в красных петлицах и с красными кантами. Они требовали пропуска. Но люди назойливо лезли под руки, тискались и непрерывным потоком проглатывались распахнутой дверью.

— Какой тебе пропуск?.. Али не видишь, что рабочая депутация?! — хрипел, колотя себя в кожаную грудь, какой-то шофер. И он пролезал.

— Пустите! Пустите! У меня экстреннейшее донесение членам Государственной думы! — негодующе хохлился студент. И его пропускали.

— Так ведь я ж вместе с ним! — раздавленно визжала только что подвернувшаяся курсисточка и юркнула вслед.

Солдат задерживали:

— Нельзя же, товарищи, всем! Там и так нашего брата битком, хоть отбавляй. Депутатам нашим тама-ка и повернуться скоро негде будет.

— Да нам бы только взглянуть, товарищ. Мы б на минутку... — и напористые ныряли под руки.

В углу двора я оставил свою белую лошадь при пулеметах и половину команды. С остальными солдатами я двинулся к дверям. Красная перевязь под золотым офицерским погоном заставила караул расступиться перед нами без расспросов.

* * *

Мрак вестибюля с паутиной нависших темных балкончиков под потолком торопливо прожевал нас бурлящими от сутолоки ступенями и втолкнул в потный круговорот круглого зала. Белые изразцы его приземистых печек испуганно жались к высоким розовым стенам. Вереницы любопытных солдат корявыми пальцами щупали мраморный глянец колонн и задирали разинутые рты к лепному великолепию надменных карнизов. Другие, лениво опершись на винтовки, с треском вертели рамки круглых витрин с портретами депутатов Государственной думы.

— Ишь, посмотри-ка: Марков-второй! Так и подписано. Харища-то, в три дня не обкладешь!..

— Ковыряй его, гниду!

Стекло звенело, и портрет выдирался.

— А вон, глянь: Пуришкевич. Ишь, лысый чорт!

— Завсегда супротив наших перся. Подцень его, стерву!

Верноподданную карточку крикливого бессарабского магната мигом продавливал четырехгранный скинутый штык.

— А энто что за фефела? Смотри-к: председатель ихний! Чистый пырин. А ну-к, и его.

— Что ты?! Обалдел? Да ведь это ж Родзянко.
— Ну-к, что ж? Не один хрен...
— Так, ведь, он нынче за нас...
— За на-ас?.. — покорливое, но непрошибаемое недоверье.
— Товарищи! Где здесь Совет?
Равнодушно скосились:
— А кто ж его знает...
— Совет тама. Тама спроси! — плечистый солдат тычет пальцем в сторону колонн, и на груди его трясется большая серебряная медаль: «За веру, царя и отечество». И на ней красный бант.

У мраморных колонн насевшие кучи грязных солдат жуют ломти хлеба, догрызая селедочные хвосты. Закручивая махорочные цыгарки, они по-мужицки деловито, как новые самовольные хозяева, не спеша, рассуждают о барских прихотях екатерининского любовника. Сизый сумрак свисает над ними с высоты расписных потолков. Но не бренчанье клавесинного менуэта, не серебро париков и не шелк подвязок плывут сейчас под старинною бронзой семи высоченнейших люстр. В гулких стенах длинного Екатерининского зала отупело разлетаются густые лохмотья солдатского говора, глухие вздохи каких-то далеких дверей и харкающая возня тысячей мокрых сапог по заслякоченному грязною жижей паркету. Когда говор глохнет, и топот робеет, слышны издали гортанные вскрики оратора. С сухим, заостренным, непробритым лицом он сутуло топорщится на круглом столе черного дерева. Редеющая проседь серебрит черноту его выеденных молью висков. Он катает кадык под клинышком седоватой бородки и, устало сверкая глазами, бросает:

— Това-ары-щы! Рэва-люционная дэмократия... свабода... установит... па-абида-носный народ... свабода.. должин нымедли-инно органы-ызава-тца... свабода...

— А чего ж он про войну-то молчит?.. Как с ей теперь быть?! — бурчит соседу бородатый солдат.

С широкою красною лентой, живописно наколотой наискось через всю папаху, вытянулся спиною ко мне высокий прапорщик.

— Кто это говорит? — дергаю его за рукав.

Восторженно оглянувшись, блестит выразительными глазами:

— Чхеидзе.

— Ах, Чхеидзе!..

Молодой румянец. Черные усики. Картинная бородка. Вообще все лицо прапорщика полыхает задорной решимостью. Стенька Разин — в юности.

Вдруг глухой гул огромного зала раскололся градом рукоплесканий. Взметнулось «ура». Чхеидзе спрыгнул со стола. Треснул, рванул по махорочной мути медный оркестр. И сразу же: мрамор колонн, бронза люстр, кумачные флаги, солдатская слякоть паркета, нежные шелка кремовых штор над огромными окнами дальних полукруглых стен и хриплый рев толпы — все это вздыбилось, взгромоздилось и величаво заколыхалось в старом гимне французского бунта.

Брезгливо морщась и торопливо задевая фалдами сюртука, из толпы продирался лопоухий черноусый Крупенский. Я сразу же узнал черносотенного депутата по карточке.

— Как пройти мне, товарищ, в Совет? — всколыхнулся я сразу же к прапорщику.

— В Исполнительный комитет? Это там вон, в углу, в одиннадцатой комнате.

Прапорщик, должно быть, тоже восхищен моей красною перевязью на рукаве и был бы рад мне услужить.

— Но вам, быть может, в Военную комиссию?.. Познакомимтесь: Ковригин.

Называю свою фамилию и твержу:

— Нет, мне непосредственно надо в Совет... — и спешу вместе со своими солдатами вслед за Ковригиным к небольшой двери где-то сбоку.

Часовые у дверей упираются, но пропускают.

— Куда вы? Куда вы?! — давят на дверь изнутри.

Через щель злой рассерженный шопот какой-то сутулой визитки.

— Здесь заседают...

— Нам в Совет! — нажимаю я.

Злобный взлет серых глаз. Задумчивый нос над капризно-опущенной, тщательно пробритой губою.

— Зачем вам Совет? — прыгая, шипит губа.

— Пропустите, товарищ Суханов, — услужливо взывает из-за моего плеча Ковригин.

— За инструкциями! — настойчиво пру я. — Нас сейчас пятьдесят тысяч сюда пришло...

— Откуда?! Какие пятьдесят тысяч?! Пусть входят!.. Откуда?!. — полуудивленно, полунедовольно оборачиваются люди, сидящие за столом позади все еще непропускающего меня Суханова. — Николай Николаевич, пустите их!

— Ах, ведь это же бесконечно! — досадливо машет рукою Суханов.

— Проходите! В чем дело? — настойчиво и озабоченно несется к нам со всех сторон, хотя мы уже моментально ввалились, забив собою всю дверь этой хмурой комнатенки с полукруглой задней стеной.

Два больших окна в тихий снежный солнечный сад. Портьеры. Табачный дым. За большою зеленою бархатной скатертью десятка два неумытых, заспанных людей в пиджаках, в визитках, в пальто. В одном из кресел утонул, накрывшись шубой, раздраженный, усталый, щетинистый Чхеидзе.

— Какие пятьдесят тысяч? Откуда? — добродушно гнусавя, широкоплече поднимается высокий окладистый бородач, блестя умным с пролысью лбом.

— Из Ораниенбаума. Пулеметчики. Два полка. Сотни пулеметов. С батареями из Петергофа.

— Ого! — заспанно улыбается, вскидывая льняной хохолок, мягкий сероглазый интеллигентик со светлой бородкой. Чесучовая рубашка его повязана вместо галстука шнуровым бантиком с пушистыми круглыми помпошками.

— Что ж, вы, значит, сейчас все здесь? — любовно гнусавит бородач, запуская пальцы в карманы серого жилета.

— Нет. Люди очень устали. Не ели. Пошли в Технологический. Я с одною командой при двух кольтах прислан для связи с вами.

Полуразочарованное молчанье.

Я добавляю:

— ... И для распоряжений...

— Ну, что ж, говорил я, что никого не впускать! — брюзжит Суханов. — У нас это вечно так будет. Проходной митинг, а не историческое заседание Исполнительного комитета. Ну, вот, когда же мы, спрашивается, будем решать теперь вопрос о типографиях? Половина уже разбрелась, а ведь сейчас и вам надо открывать заседание Совета! Говорил я...

— Николай Николаич! Да будет вам. Это ведь быстро! — важно жужжит из-за стола низенький плотный человечек в сюртуке. Тщательно зачесанная лысинка. Окаменело блестит пенснэ. — Ведь это же важно! — вдруг хлопотливо взметывает он свою пушистую черную и широкую, как подвязанная салфетка, бороду. — Их надо сейчас же срочно проводить в нашу Военную комиссию! — он вскакивает, делает мне знак следовать за собою и, деловито насупясь, мчится к двери.

Худенький еврей с устало вытаращенными глазами, серенький, в сереньком пиджаке, точно только что прибежавший из-за конторки аптекарского магазина, равнодушно вертел карандаш. (Должно быть, он вел протокол.) Сей-

час он метнул в почтительном шопоте курчавую копну своей шевелюры прямо к уху насторожившегося Чхеидзе.

— Николай Дмитриевич! — скрипнул тот торопливо.— Вы, пажалста, ны ухадыте! Пускай афицера праводит другой кто-нибудь. Пускай товарыщ Капелинский праводит!... — кивнул он на курчавого. — А вы не ухадыте! Сичас пайдем Савет открывать, а тут нас срочно запрашивают о трамваи. Верныте, пажалста, товарыща Соколова!— раздраженно выкрикнул он уже вслед.

— Товарищи! Пропустите! — ломился навстречу нам через караул какой-то студент с позеленевшим лицом. — Я говорю же вам: чрезвычайная важность! Экстренное сообщение! Вы понимаете: прокламации! Ну, да: черносотенные прокламации! Вы понимаете? — и он совал в нос оторопевшим солдатам какой-то рукописный листок.

Так вот он, Исполнительный комитет рабочего Совета! Могучий руль, двигающий всю революцию! Какою жалкою и пустой мелочью показалось мне теперь все это наше провинциальное ораниенбаумское восстание: бессонная ночь, оголтелый глупый поход, утренняя перестрелка, чумазые путиловцы, голодная усталость. Какие это все пустяки перед спешной огромностью обсуждаемых ими здесь сейчас важнейших задач! И зачем это я побеспокоил штаб революции своими наивными глупостями?! Стало и стыдно и как-то этак пусто.

Только повинуясь слепому чувству дисциплины, я машинально спешил вместе с солдатами вслед за разлетающимися фалдами Соколова. А он, торопливо пробиваясь через толчею солдат, то насупливал свои густые брови, то снова их распускал, торжественно вздернув кверху пушистую черную бороду, приоткрывшую теперь на лацкане его сюртука сине-белый университетский значок. Глубокое уважение к тому известному адвокату, столько раз помогавшему своею защитою многим и многим самоотверженным

большевикам, совершенно для меня затмевало сейчас забавную взъерошенность его коренастой фигурки.

— Кто это там, в Исполнительном, высокий такой, с окладистой бородою? — спросил я неотстававшего от меня Ковригина.

— Это Стеклов... журналист один.

— А с помпончиками, русый такой, с бородкою, симпатичный?..

— Как, вы не знаете? Член Государственной думы, социал-демократ, меньшевик Скобелев. Он сейчас один из товарищей председателя Исполнительного комитета.

— А кто председатель?

— Чхеидзе.

— А кто второй товарищ председателя?

— Да Керенский же!

— А который был Керенский?

— Там его не было. Он сейчас где-то там все, во Временном комитете Государственной думы. Это как раз в тех же заповедных краях, куда мы идем.

— А вы сами давно уже здесь?

— Да уж с самого утра. Второй раз сюда прихожу. И опять сейчас пойду.

— Куда?

— Жандармов я арестовываю и вожу сюда.

— Большевик?

— Нет, социалист-революционер! — красиво сверкнул он глазами.

* * *

Теперь мы пробились из праздничной гущи людоворота вновь почти к самому выходу и мимо солдатских цепей и караулов пролезли в правый коридор. Куда-то вздымались темные ходы каменных лестниц. То-и-дело мелькали желтые галстуки бой-скаутов с золотыми значками королев-

ских ирисов, пришпиленных к защитным широкополым ковбойкам. Подавленно шмыгали бородатые поддевки, рясы с наперсными крестами, накрахмаленные манишки визиток и смокингов. Это тревожно насупились оттиснутые сюда непрошенной чернью культурные члены Государственной думы. Одинокие офицеры мрачно пробирались между ними вдоль стен. За матовой стеклянною перегородкой пустынно сияло не работающее почтово-телеграфное отделение. Дальше, за новым кордоном часовых, еще блестел навощенным паркетом длинный коридор с огромными окнами в парк. Из-за коричневых переплетов оттуда лукаво подмигивали золотистые солнечные зайчики, беззаботно резвящиеся по темным стволам лип и кленов, загрузших в толстых синих сугробах.

Соколов подлетел к белым дверям сорок первой комнаты, где перед суетливой гурьбой проскочивших офицеров и штатских еще стойко держался солдатский караул.

— Вы слышите, что они орут? «Долой войну!» Как это нравится?! Паршивые хамы! Свора обнаглевших дезертиров! Вшивый сброд! О, случись это у нас, на Волыни!.. Надобно их заставить сейчас же понять, что мы бунтовать не будем. Мы — Государственная дума, а не бедлам! Гнусная мразь! Быдло!..

Заячье, все с кулачок, с продавленным подбородком и пушистыми усами, злобное личико этого длинного господина в сюртуке прыгало от душившей его ненависти. Ничуть не стесняясь присутствия наших офицерских погон, а быть может, даже ободренный этим, он вышвыривал теперь свое бешенство в запоздалых ругательствах. Торопливой походкой в ногу с ним, как подклеенный, улетал в даль коридора, краснея лопастями ушей, тонкоусый маслянистый Крупенский.

— Погодите, Василий Витальевич! К Хабалову идут сейчас две батареи из Петергофа...

— Слыхали?! — весело мигнул им вслед стоявший против двери офицер. — Выходит, не все еще потеряно, господа!..

— Да, лишь бы только Временному комитету Государственной думы удалось как-нибудь обуздать эту чернь! — сокрушенно покачал головою другой.

Третий снял фуражку и вытер платком красный лоб.

— Милюков только что приехал из первого запасного полка. Вот, говорят, где образцово!.. Полное подчинение офицерам!

— Кто это так разошелся? — кивнул я офицеру вслед господину с заячьей мордочкой.

— А это ныне член Временного комитета Шульгин, крупный дворянин, — с горделивым достоинством ответил офицер и поправил на горле кашне.

Но в это время стараниями Соколова нас уже впустили в душную и тесно набитую комнату.

— Сейчас я вас с Филипповским сведу, — обернулся он ко мне и, растолкав неповоротливый офицерский галдеж, назойливо липнущий к столам, подлетел к смуглому, в синем кителе и расстегнутой черной шинели, морскому офицеру.

Мне показалось, что и бородка его, и нависшие усы, и сочные вишни впалых глаз были отлиты из одного и того же застывшего блестящего дегтя. Судя по золотым капитанским погонам, он имел чин старшего лейтенанта.

— Василь Николаич. Вот примите!.. Пулеметные полки из Ораниенбаума!.. Он сам вам расскажет... — и, снова насупив усы и также стремительно крутнувшись, Соколов стал пробивать своими манжетами офицерскую кашу, пока, взмахнув последний раз фалдами, не утонул со всей своею бородою и зачесанной лысиной в гудящей толпе.

Филипповский сосредоточенно что-то подписывал, не отрываясь от шуршащего перед ним бумажного сугроба.

Солдаты мои протискивались вслед за мной. Огромные зеркальные простенки растерянно отражали всю эту шинельную сутолоку, затопившую в углах большие белые банки круглых старинных изразцовых печей с урнами наверху. Разноцветно-перистые зверюшки, ярко-расписанные по потолкам и карнизам двух больших смежных комнат, злобно топорщились от назойливого говора офицерской толпы и тарахтенья одинокой пишущей машинки.

В комнаты налезали все новые и новые офицеры и штатские. Чопорно представлялись, ежась перепуганными насмерть душенками за зеркалами сапог и проборов. Деланно небрежно закуривали, принимали торжественно-бравые позы и кидали украдкой трусливые взгляды на команды солдат, таскавших все сюда же связки винтовок, шашки, револьверы, какие-то тяжелые полицейские панцыри, куски кожи, бутылки вина и много всякой другой конфискованной дребедени. Чиновники разных ведомств, в кокардах и кантах, лебезили, выхлопатывая ордера на освобождение своих квартир от обысков. Ползли здесь от них смрадные слухи о разгромах магазинов, продовольственных складов, рынков и банков, о тайных засадах верноподданной черной сотни, о назначении какого-то диктатора. Их принимали растрепанные измученные офицеры, нервно дергавшиеся у столов, и порывисто спрашивали: о вокзалах, о полицейских пулеметах, о присоединившихся полках. Энергичные одиночки с собственноручно написанными ордерами на аресты и обыски требовали приложения печатей, которые равнодушно ставил Филипповский, и подписей, которые подписывали все, кому было не лень. В углу, возле столика с беспорядочным ворохом денег, жертвуемых «на революцию», сонно стоял, опираясь на штык, часовой. Зеленый шелк палисандровых диванов «ампир» и притащенные сюда же рядом железные скамьи из сада были вплотную забиты штатскими и офицерами, за спиною ко-

торых истерично дрожали телефонные звонки. Высокий поручик то-и-дело кидался к ним, каждый раз злобно швыряя папиросу.

— Да... да... Военная комиссия... У телефона поручик Скобейко... Адмиралтейство?.. Что угодно?.. Прислать?.. Зачем прислать?.. Слушаюсь!.. Точно так... Сейчас... Не кладите трубки... Товарищ Филипповский! — просительно тренькал он шпорами, — Адмиралтейство, должно быть, сдается. Кто-то требует оттуда к себе членов Государственной думы. Себя не называет, и... непременно членов Государственной думы!..

— Тогда причем же тут мы? — сонно бунчит Филипповский. — Доложите об этом Родзянке или Энгельгардту, — и он кивает на коридор.

Скобейко стремительно выпархивает.

— Ну, так как же? Дадите вы мне пропуск или нет? — прилипчиво наседает на Филипповского помятый штабс-капитан без шашки и с хлябающим по плечу отодранным погоном.

— Какой пропуск? — отбуркивается тот.

— Да в Думу!

— Зачем же вам в Думу? Пришли раз, и будет.

— Что за неуместные шутки! — щетинился штабс-капитан. — Разве я не прибыл в ваше распоряжение? Разве я вам только что не представлялся?! — неугомонно лезет он.

— Ведь вам же сказали, господин штабс-капитан... — порывисто отзывается из-за соседнего стола молодой коротко остриженный и гладко выбритый, словно артист, прапорщик со смуглыми горячими глазами. — Мы вам сказали: если вы считаете себя в нашем распоряжении, наберите сейчас здесь, во дворце, команду и займите с нею Царскосельский вокзал.

— Чудно сказано! — бравурно обертывается к нему штабс-капитан. — Как же это можно набрать?! Да меня-то

и свои солдаты, если желаете это знать, в своем полку не послушали, а вы хотите, чтобы из здешних посторонних зевак... Разве они послушают?! Погодите, они еще всех нас перебьют! Вот помяните мое слово.

— Выдайте, чорт возьми, пожалуйста, ему пропуск! — раздраженно отмахивается Филипповский к бритому прапорщику со смуглыми глазами. — Слышите, Синани? Выдайте ему пропуск!

— Ну-с, а с вами что случилось, поручик? — вспоминает он обо мне. — Из Ораниенбаума вы? Ну, как у вас там?..

— Мы пришли все сюда.

— То есть, как это: все?!.

— Весь Ораниенбаум, Петергофы, Стрельна. Разогнали офицеров и пришли сюда. Расположились в Технологическом...

— Что вы говорите?! — вспрыгивает он обрадованно ко мне, и нас сразу же кругом облепляет удивленная толпа.

Офицеры молчат и оглядывают меня осторожно, как неожиданного крокодила.

— Скобейко! Поручик Скобейко! — кричит Филипповский. — Где же он?!. Синани! Почему мы до сих пор ничего не знали о приходе ораниенбаумцев?

— Родзянко знал, — перебиваю я. — Он справлялся у наших на Балтийском вокзале по телефону.

— Родзянко знал?! — озабоченно вскакивает Синани. — Ах, да, впрочем, действительно: Энгельгардт нынче ночью пугал нас, что на помощь Хабалову уже идут какие-то пулеметные полки. Родзянко даже послал навстречу на автомобиле, кажется, Титова и Ефремова. Так, значит, это были вы? — сверкает Синани глазами.

— Так это были вы?! — крепко трясет мне руку Филипповский.

— Сейчас же зарегистрируйте у нас его часть, товарищ Синани!.. Но как же вы этак скоро? Ведь расстояние...

— Сорок верст форсированным маршем.

— Сергей Дмитриевич! Вы слышите? — кидается Филипповский к господину в сером поношенном пиджачке. Тот устало сидел на подоконнике огромного окна и скучающе наблюдал, как в сквере перед дворцом, лязгая лафетами пушек, прыгая лошадьми и мелькая красными флагами, бушевал глухим буханьем оркестров человеческий прибой.

— Знакомьтесь! — дернул меня Филипповский к окну. — Мстиславский...

Фамилия мне ничего не сказала, а обладатель ее повернул на меня тускло впаянные в мешочки, будто бы высосанные, слюдяные глаза. Потом он мотнул вислыми складками вялых щек, втянул с боковым присвистом воздух, както непроизвольно-задумчиво передернулся всем лицом и, глядя сквозь меня, небрежно обронил:

— Да-ас?

И я повторил скороговоркою то же, что рассказывал и в Исполнительном комитете, но Мстиславский, казалось мне, глубокомысленно о чем-то мечтал.

— Я прислан для связи, — закончил я, — и должен вернуться обратно.

— Неужели же до пятидесяти тысяч, как вы говорите?! — ликовал вишнями глаз Филипповский. — И сотня одних только пулеметов, говорите вы? Это кстати! Это как нельзя более кстати!.. Посидите здесь где-нибудь, мы вас используем...

— Разве бои не окончились? — смело спросил я.

— Смотря где, — скривился он неопределенно. — Здесь-то как будто бы уже побеждаем. Хотя, правда, Адмиралтейство с Хабаловым еще окончательно не сдалось. И у Народного дома стрельба. И о семеновцах сведений нет. Держат «нейтралитет», — ухмыльнулся он язвительно, — как и все военные училища... Впрочем, кажется, Михайловское вон подошло, — обрадованно взглянул он через окно.

— Господа! — возбужденно ворвался высокий военный чиновник с аккуратным, округло-обточенным лицом, черными усиками, ровными пробором и черными ласковыми глазами. — Штюрмера привезли, господа! Штюрмера! Арестовали! — мягко картавил он, торопливо, с легким польским акцентом, и понесся коридором дальше.

— Чему же тут радоваться?! — недоуменно вздернулись погонами многие из офицеров, торчавшие по углам. Но гурьба любопытных уже густо высыпала в коридор.

— Я домой пройду на минутку, переодеться, Василий Николаевич, — встает Мстиславский вслед за ними.

— Врет Добраницкий? — задумчиво спрашивает Скобейко Синани, когда комната наполовину опустела.

— О чем это?

— Да про Штюрмера...

— Ну зачем же? Едва ли...

А за окнами попрежнему колышутся и бурлят людские потоки, автомобили, оркестры, красные флаги...

— Команда здесь со мной, человек тридцать, не ели ничего со вчерашнего дня, — робко напоминаю я о себе, потому что солдаты мои все настойчивее шепчут мне о жратве.

— Говорят, что тут где-то открыли сегодня продовольственный склад для солдат, а вчера ничего не было. Есть у нас тут солдатик такой один, Иоффин. Он промышлял нам немного и хлеба и масла. Только сам я, право, не знаю, где этот склад... Товарищ Иоффин! Иоффин! — кричит Филипповский. — Синани! Где Иоффин?.. Все разбежались... Должно быть, придется вам попытать самим здесь что-нибудь промыслить. Это, наверное, где-либо поблизости. Только, смотрите, потом непременно вернитесь сюда же!

* * *

У окна в коридоре вполголоса беседовала небольшая группка военных и штатских.

— Два раза, представьте, было у меня по большому шлему на бубнах, и все-таки вдребезги продулся. Партнер был шляпа, — небрежно цедил стройный молодой человек в элегантном штатском пальто, нервно извивая тонкие бритые губы. — Утром мне надо было выступить в окружном суде, вот мы и заигрались. Выхожу—вижу: стрельба, хоть нос не показывай. Пробираюсь Шпалерной, гляжу, а окружной-то суд наш уже догорает. Кругом одни солдаты. Пушка стоит. Это они арсенал громили на Литейном. Пули вкруг меня — дождем! Вижу: не пробраться домой. Ну, я и махнул сюда. Пришел сюда, когда...— и он спесиво метнул рукой на двери Военной комиссии, — здесь никого еще и в помине-то не было. Члены Думы забились под кресла. Тумашился один только Соколов. «Ведите, — кричит мне, — скорее сюда всех восставших солдат! Ступайте за вашим полком!» Большой оригинал. Ну, что ж из этого, позвольте спросить вас, что я прапорщик? Как же я мог, ведь об этом надо только подумать, пробраться в такую стрельбу в свой Семеновский полк?! Ведь на улицах, чорт знает, что делалось! Да еще, заметьте себе: в штатском. — Он капризно сдернул губою, самовлюбленно оглядывая свое пальто. — Ну, что ж, плюнул я, и вот начал работать в Военной комиссии.

— Это повезло вам, Любарский, — с завистливой грустью заговорил поручик в петлицах Преображенского полка.—Могло бы случиться и похуже. Прихожу я вот сегодня утром к себе на квартиру. Все кувырком... Разворочено. Перерыто. «Это вас, — говорят, — господин поручик, ваши солдаты искали». Ну, ясно, как шомпол, я не стал дожидаться. Дорогою, недалеко, еще шашку подлецы отобрали. Хорошо, что на своих не нарвался, а вы говорите...

Я попросил солдат подождать меня у соседнего окна, а сам пошел вдоль коридора. Где же еще и быть продовольствию, как не там? Там, направо, сияли своей чистотой двор-

цовые комнаты. Лакированный палисандр мягких шелковых кресел улыбался в рыжих солнечных лужах паркетного глянца. С небрежно сползшего бархата столов еще не были убраны стаканы с остатками чая и сальные тарелки с объедками ветчины. Рыхлые от бессонницы и треволнений, благородные лица устало валялись в тени портьер, утопая в крахмальной жести манишек. Морщинистые опухшие веки мигали мясистым носам. Дряблые рты безвольно роняли озабоченные полушопоты, которые сразу же спрятались в хрустальном шелесте люстр, лишь только я появился в дверях.

Дородный розовощекий прищуренный господин в сюртуке, с седыми усами кота, — в котором нетрудно было узнать Милюкова, — встал мне навстречу.

— Что вам угодно здесь, прапорщик? — сухой, непонятною мне холодностью блеснули его пенснэ.

— Я ищу продовольствия для солдат. К тому же я, как будто, не прапорщик, — обиделся я.

— Мы не можем помочь вам, к сожалению. Здесь закрытое заседание Временного комитета Государственной думы.

И все с одинаковой молчаливой враждебностью уставились на мой левый рукав. Ах, я и забыл про него! Там алела рабочая перевязь...

Я в недоумении вышел назад в коридор. У какого-то бокового выхода с вешалками, заваленными благопристойными шубами, целая кучка думских швейцаров в позументах, согнанная сюда, должно быть, отовсюду, глядела на меня с неприязненным любопытством. Так, я помню, смотрели когда-то из окна старушки-приживалки на босяка, окруженного полицейской облавой. Дуралей еще шел в твердой надежде, что ему удастся сейчас улизнуть. Но старушки сверху уже видели у него впереди цепь засады и застывали глазами в испуганном любопытстве.

Чорт побери, на самом деле! Что это за новоиспеченный Временный комитет, о котором я сегодня столько раз слышу? Каково его отношение к Совету рабочих депутатов? И вообще, что это за странное поведение Крупенских, Шульгиных и Милюковых?!

Любарский все еще беседовал с преображенцем, когда я подошел, а солдаты мои колупали штыком мраморный подоконник. Оказывается, поспорили: цельный он или накладной. Синие косые тени уже ползли за окном от дворцового выступа.

Вдруг далеко где-то, должно быть, в зале, рухнула музыка. Мерный грохот солдатского строя донесся оттуда. И вспомнился мне Шевелев: «Ать!.. Два!.. Три!.. Тыре!..»

— Полк какой-то опять приволокся, — небрежно процедил Любарский.

— Преображенцы! Преображенцы, — бежал на носках уланский корнет без шапки, обгоняя трех торопившихся штатских. — Где Михаил Владимирович?.. — и все они вместе поспешно исчезли в дверях Временного комитета.

Любарский настороженно смотрел им вслед. Его собеседник-преображенец бесследно куда-то исчез.

— Погодите еще, — сказал я солдатам смущенно, — продовольствие, должно быть, в том крыле. Я пойду там отыскивать.

Я двинулся в общей сутолоке по направлению к залу, но догнавшая нас целая фаланга грузных туш приперла нас в закоулок и пролезла вперед.

— Дорогу! Дайте дорогу! Родзянко идет! — сюсюкал корнет, раскалывая локтем проход в толпе.

В наспех накинутой на плечи шубе Родзянко торопливо колыхал свой грузный живот, растопырясь, как индюк, во главе покорного стада серых штатских индюшек. Старчески виляя коленками в стороны, он сопел одышкой на весь коридор. Обрюзглые щеки его тряслись, как куски студня.

Я постарался не отставать от всей этой влиятельной группы, пахнущей теплым мехом и проутюженными духами носовых платков.

Огромный сумрачный Екатерининский зал был внепроворотъ забит спертой гущей солдатских голов. Но остро проламывали всю эту кашу, сверкая рядами штыков, ровно пригнанные и прилаженные колонны торжествующе входящего полка. Кое-где на взводах суетливо тумашились сиротливые прапорщики. Отделения кружились, грохотали о пол четко и яростно, косоглазо ровняясь в четыре шеренги. К правому флангу плыли красные флаги.

Из окна, с хор зала заседаний, какой-то обалделый попик плавно помахивал над ними крестом, очевидно, благословляя теперь революционное воинство уже на бунт против «священной» особы, «божьего помазанника», так усердно до сей поры замоленного всеми церковными ектеньями. «Небесный царь» тоже, должно быть, непрочь был сейчас поиграть в революцию против земного царя.

Перед шеренгами полка на стол, пыхтя, вбирался Родзянко.

— Преображенцы, внимание! — потупясь от неловкости новой, самим им выдуманной, команды, неуверенно как-то вскрикнул капитан и пружинно взял под козырек.

Обер-офицеров здесь не было.

Родзянко грузно встал, как медведь на дыбы, и обвел всю эту обильно обвешанную красными бантиками, стройную солдатню побагровевшим с натуги лицом. Приветствие ему не понравилось. Надо было выправлять линию.

— Прежде всего, православные воины, — прохрипел он размашисто и напролом, незаметно покосясь на капитана, — позвольте мне, как старому военному, поздороваться с вами. Здравствуйте, молодцы! — гаркнул он, выпучив глаза.

— Здрам-жлам-ваш-дисс! — столетиями заученно грянул полк.

— Позвольте мне, — удовлетворенно мотнул Родзянко жирной дряблою шеей, — сказать вам спасибо за то, что вы пришли сюда, чтобы помочь членам Государственной думы водворить порядок и обеспечить славу и честь родины.

Его пухлая румяная рука размеренно что-то хватала, копошась под мехом шубы.

— Ваши братья сражаются... Мой сын с самого начала войны находится в славных преображенских рядах...

— ...в штабе корпуса... — ядовито усмехнулся один из писарей в задней шеренге.

— Чтобы вы могли помочь делу водворения порядка, за что взялась Государственная дума, вы не должны быть толпой... Я прошу вас подчиниться и верить вашим офицерам, как мы им верим...

Я невольно подумал о преображенском поручике, собеседнике Любарского.

— Возвращайтесь спокойно в ваши казармы, чтобы по первому требованию явиться туда, где вы будете нужны...

Сказано было туманно и многообещающе.

— Согласны?.. — робко закончил Родзянко.

— Согласны... — так же робко откликнулись разрозненные голоса и тут же завяли.

— Укажите путь! — неожиданно-дерзко прорезал сумрак молчания резкий солдатский выкрик.

Родзянко растерянно попятился. Складки его затылка полезли под шубу, как тесто, решившее обратно влезть в квашню.

— Старая власть, — стал ловить он выскользнувшую из рук полу шубы, — старая власть, — зажевал он смущенно, — не может вывести Россию на нужный путь. Первая наша задача, — глухо сипел он, мотаясь исподлобья гла-

зами, — устроить новую власть, которой все бы доверяли и которая сумела бы возвеличить нашу матушку-Русь!..

Но глаза солдат холодно глядели на него, нахмурясь, и руки цепко держались за винтовки.

Родзянко сник и стал сползать со стола. Чтобы загладить все по-хорошему, под красными штандартами правого фланга марсельезною медью взорвался оркестр.

«Да, — подумал я. — Молодцы преображенцы! Теперь уже вас не поведешь бессловесно обновлять содержимое дворцовых престолов. Хотя бы за вами пришла в расшитом гвардейском мундире и сама пленительница офицерских сердец, слабая на передок, Елизавет».

Злой и понурый, как намокший глухарь, пробивался Родзянко обратно.

* * *

— Да, да, — горделиво вертелся в свите и своих и посторонних прапорщиков, уже успевший проникнуть сюда, в правый коридор, капитан-преображенец.—Вот сюда! Вот сюда! — провожал он в дверь Военной комиссии своих писарей, нагруженных пишущими машинками и папками бумаг. — Я, знаете ли, всю свою полковую канцелярию со всеми полковыми делами перевожу сейчас в распоряжение Военной комиссии. Вот приходится, видите ли, теперь мне, капитану, заворачивать целым полком. Наш полк — самый революционный! Особенно офицерство. Можно даже сказать: сознательно-революционный! Вчера мы выстроились в карре на площади у Зимнего дворца. По нашему зову к нам подошли Павловский полк и гвардейский флотский экипаж. Другие почему-то не подошли. Мы бы долго стояли, да солдаты перемерзли. И разошлись...

— Чего ж вы там стояли? — простодушно спросил один из моих солдат.

— Как чего? — вспыхнул с досадою бравый капитан. — А как же... декабристы?!. Революция! Это, голубчик мой!.. Раз уж, голубчик мой, вы этого не знаете, тогда и... — и капитан торжествующе-весело вздернул плечами... — Вам бы все бунтовать только...

И все офицеры посмотрели на нас со снисходительной усмешкой.

Мы же деловито пошли, решив во что бы то ни стало немедленно же где-нибудь раздобыть себе продовольствия.

И мы отыскали его, наконец, где-то внизу. Это был огромный потный подвал, кишащий солдатами и до одури сладко пахнущий теплым хлебом. Его отрезали каждому из нас по огромному еще липкому ломтю проворные судомойки и какие-то барышни. Да еще вдобавок обильно намазали сверху соленым экспортным сливочным маслом. Мы даже зажмурились от этакой роскоши. Когда после этого нам передали жестяные миски с крутой рисовой смазанной кашей, я был уже сыт и боролся с напавшей икотой. Вместо каши я предпочел, получив два больших куска крепкого сахару, выпить, обжигаясь, две жестяных кружки чаю. Солдаты мои блаженствовали за кашей и чаем, вольготно развалившись всей гурьбой в полутемном углу на упругих грязных мешках с мукою и рисом. К запаху масла примешался острый дух сыра. Это солдаты переобували портянки. Прислуге, конечно, было уже не до нас: очередь голодных все время прибывала. Разопревшие солдаты разных частей хвастливо перекидывались впечатлениями дня, блестя потными лицами.

— Вот и у меня теперь революционная медаль есть! — хвастался сапер, выпятив на груди сверкающий жетон на красном шелковом бантике.

— Кто тебе дал? — позавидовали остальные.

— Туточка утрось много их продавали. За полтинник всего. Зато теперь память будет! Приеду в деревню...

— Что за значок? — любопытствую я.

Медный значок. Изображение «России» в сарафане, кокошнике и с крестом. Вокруг выбита надпись: «Союз русского народа». Ого! И черносотенцы не зевают. Продают свои погромные значки, прикрасив их приманчивыми ленточками.

— Святая простота! — говорю я саперу. — Тебя обманули. Это значок черносотенный, тех, что — за царя.

— Будет тебе! — ухмыляется сапер недоверчиво. — А зачем же тогда он красный?.. Эх, фотографии заперты, а то бы я снялся!..

* * *

Я отправил уже поевших солдат сменить остальную половину команды, оставленную нами на дворе при лошади и пулеметах. Провести их в продовольственный подвал вызвался ефрейтор. Надо было, конечно, дать поскорее поесть и обогреться и этим, иззябшим и проголодавшимся, самоотверженным нашим товарищам. Мы условились, что после этого они зайдут за мною в Военную комиссию, где я должен был получить инструкции и предписания.

Уж потом я вспомнил о лошади. Где бы и ей раздобыть овсеца?..

Круглый розовый зал еще гуще, чем раньше, гудел и вертелся хороводами праздных солдат. Над грязной жижей, покрывавшей паркет, неслись от дверей по ногам острые сквозняки. Криками раздвигая бурный людоворот, солдаты втаскивали и без конца проносили куда-то какие-то грузные ящики, мешки с мукой и с зерном, вонючие боченки с сельдями, связки шашек и винтовок. Одиночки-студенты, надрываясь, таскали кипы каких-то небрежно связанных дел в синих, зеленых и желтых папках.

— Керенский приказал это сюда! — объясняли они гордо и уверенно. — Архив департамента полиции.

Боящиеся растеряться патрули вооруженных рабочих проводили вглубь зал каких-то арестованных штатских, жалко сгорбленных, испитых, с трусливо мечущимися глазками. Про одного из них сказали уже вслед, что это — министр. Я торопливо оглянулся. Боже мой, как изменился внешний облик царских сановников! Какое-то заурядное пальтишко на сутулой спине, растрепавшийся шарф, грязные ботинки... Как непохоже все это на золотое шитье чванных мундиров, на парчевые лампасы белых брюк, на надменные плюмажи пушистых треуголок, на чугунную мощь адмиралтейских подъездов, на мертвый лязг неумолимых засовов в бастионах Петропавловской крепости!

— Попили нашей кровушки!.. Сволочь! — смачно плевали вслед солдаты, запоздало взмахивая прикладами ружей.

— Туда их скорее ведите! Туда! В полуциркульный зал! — беспокойно кричали рабочим, тревожно размахивая руками, студенты.

И арестованных, и бумаги, и продовольствие, и оружие— все это волокли в дальний зал, который большой полукруглою нишей незаметно лежал позади высоких лож президиума, опустевшего теперь, широкого белого зала думских заседаний. В молочном свете стеклянного потолка, над креслом самого Родзянки, живописно зиял пустой провал в огромной золоченой раме. Должно быть, нетерпеливые солдатские штыки уже самовольно углубили революцию, распоров и выдрав в клочья портрет «возлюбленного монарха».

— Не найдется ли здесь овсеца? — спросил я часового возле сложенных позади выдранного портрета мешков, за которыми вдоль полукруглой стены на разнокалиберных стульях, на чемоданчиках и просто на корточках терпеливо хохлились арестованные с поднятыми воротниками пальто.

— Как будто бы нет, — ответил часовой. — Рису есть, а овса будто как и вовсе не было. Взгляните.

Да, здесь были мешки с жестким сахаром, хрупким рисом и мягкой мукой. Здесь были и арестованные: генералы в красных лампасах синих брюк и в штатских пальто, провокаторы с трясущимися локтями, жалкие сановники с отвислыми губами. Шныряющие тут же по залу журналисты, неведомо откуда сюда пробравшиеся, говорили полушопотом, что в министерском павильоне, куда шел отсюда изолированный коридор, уже сидят: Щегловитов, Штюрмер, митрополит Питирим, адмирал Гирс... Хоры наверху трещали и сопели от согнанного туда стада городовых и жандармов.

Только овса действительно нигде не оказалось, и я пошел отсюда обратно.

У дверей, сидя на стульях с ружьями в руках, добродушно разговаривали между собою двое часовых.

— А ты сартиры тута их видел?!—восхищался один из них, щелкая прицелом винтовки, — большущие! Хоть всю нашу роту становь — на всех хватит. И светло-то тебе и тепло-то тебе. Так и остался бы в ём всю жизнь жить... Ей-бо пра...

— А ты еще бабу выпиши! — подсмеивается другой. — Эх, ты, несознательность!..

В проходной комнате, там, где широкие лестницы вели к сумрачным хорам зала заседаний, одиноко сидел на подоконнике военный фельдшер, с повязкою красного креста на рукаве, и жадно читал какой-то большой помятый печатный листок. Я заглянул мимоходом. Там — крупными буквами: «Известия», «27 февраля».

— Что за диковинка?!. Товарищ, — затрясся я умоляюще, — дайте прочесть!..

— Сейчас, — кивнул тот машинально, даже не взглянув на меня, весь поглощенный чтением.

Тогда я без стесненья подсел к нему и стал с захлебом читать через его руку:

«Газеты не выходят. События идут слишком быстро. Население должно знать, что происходит».

Сердце затрепетало птичкой. Внизу была подпись: «Комитет петроградских журналистов».

В этом листке было коротко все,—все, чем взволнованно бились виски в этот сумбурный и памятный день. Здесь были все новости прошедшего дня. Указ Николая о роспуске Государственной думы. Осторожное решение Думы «не расходиться» (да и куда же пойдешь, когда кругом стрельба?). Восстание Волынского, Преображенского, Литовского, Кексгольмского и саперного гвардейских полков. Их депутация к Родзянке с запросом о намерениях Думы. Ответ Родзянки, какой я слышал уже от него сегодня, преображенцам: «Армия, родина и порядок». «Порядок и спокойствие». И касательно «замены власти» — тоже... этак туманно и широкотолковательно. (Куда кривая вывезет. Ишь, хитрый зубр!)

Дальше шли две его телеграммы царю. В первой: «Положение серьезное. В столице анархия... Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство... Всякое промедление смерти подобно. (Картинно!) Молю бога...» и т. д. (Слезно, однакоже, молит верный холоп своего монарха!) Во второй телеграмме: «Положение ухудшается (Ухудшается? Гм... это для кого же?!) Надо принять немедленно меры (да, так черным по белому: «немедленно меры»), ибо завтра будет уже поздно. (Вот оно что!) Настал последний час, когда решается судьба родины и династии».

(Так вот оно как! О спасении династии самоотверженно хлопочет этот старый сыч!)

Дальше шло: о заседании Государственной думы, об избрании ею пресловутого Временного комитета «для водворе-

ния порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами».

Ярче не выдумаешь: «для водворения порядка в Петрограде»?!. И это в тот момент, когда огонь вооруженного восстания перекидывался из одного полка в другой?! Когда сами винтовки вспарывали ночной морозный воздух неистовыми криками: «Выходи! Вылетай!» Значит, против нас для «водворения порядка» организовался этот «Временный комитет»... Ну, а сейчас: брать Адмиралтейство, вышибать оттуда министров, — это что же будет — «порядок» или «беспорядок»?!

И что это за целомудренные «сношения с учреждениями и лицами»?.. Ах, теперь-то я понимаю, на кого и почему так надеялись там, в коридоре Военной комиссии, черносотенные офицеры. Обнаженная догадка тревожно подползает теперь к самому сердцу. Жадно читаю фамилии этого «Временного комитета». Ну, конечно, так и есть! И Родзянко, и Шульгин, Львов... Милюков. Теперь все понятно. Значит, против нас бессонно работает уже объединенный их фронт. Буржуазия и помещичьи царедворцы...

Но что это такое?.. Читаю дальше: «Керенский. Чхеидзе»! Ничего не пойму. Ничегошеньки не понимаю... Как Фенькин вчера.

Фельдшер давно уже ушел. Листок у меня в руках. Я — один. Опупел я с усталости, что ли? Неужели же вся эта вчерашняя кутерьма, бессонная ночь, сегодняшняя карусель революции — до того закружили меня, что... Нет, надо успокоиться! Надо обдумать хладнокровно. Если во Временный комитет вошли также и Чхеидзе с Керенским, то, в конце концов, это ровно ничего... А как же тогда Шульгин и Родзянко?! Шульгин и Родзянко, которых я только что видел собственными глазами во всем их махровом обнаженно-черносотенном аромате?!

Шатаясь, встаю. Дальше читать нет охоты. Ни об аресте Щегловитова, ни о разгроме охранки, Крестов, арсенала... Тронули только воззвания Совета рабочих депутатов о скорейших выборах рабочими и солдатами депутатов в Совет, о прокормлении голодающих восставших солдат населением столицы. Ведь об этом взывает не Временный комитет, а Совет, в котором председательствуют тот же Чхеидзе и тот же Керенский! Пускай даже эти отдельные личности кое в чем и ошибутся. В такой сутолоке — это не диковинка. Зато коллектив избраннейшей головки трудящихся масс никогда не может ошибиться. Да здравствует Совет!

* * *

Вдали опять этак красиво и как-то уверенно-бодро запылали марсельезным бунтарством костры солдатских оркестров. В распахнутую на мгновение дверь они ворвались сюда дерзко и радостно, вместе с мерным торжественным гулом новых полков, без конца приходящих «на поклонение» «революции».

В дверь вбежало двое немолодых штатских, в скромных, но изящных костюмах. Боязливо огляделись, со спокойной уверенностью взглянули на мои золотые погоны и, торопливо отойдя в угол, заговорили между собой:

— Иванов уже выступил.

— Ну, и как мы?

— Будем ждать. Государь снял с каждой армии по целой бригаде с конными батареями. Сейчас узнал от Родзянки. Он все время висит на прямом проводе.

— Ну, и влетит же всей этой сволочи!..

— Надо думать...

Закуривают.

Какие гулкие стены! Я никогда не мог бы предположить, что здесь так отлично слышно.

— Где же они сейчас?

— Энгельгардт говорит, что сто семьдесят первый полк уже подъезжает сейчас к Петрограду. Через час будет здесь.

— Слава богу! — и изящный костюм, отведя папироску за спину, благодарно взглянул на потолок, над котором сейчас пыхтели арестованные жандармы, и размашисто перекрестился.

— Только смотрите: пока что — никому!

— Ну, что вы!.. Помилуйте!..

Швырнув в угол окурки, оба также поспешно вышли.

Сумасшедший холодок пробежал по спине.

Вихрь марсельезы уже улегся. Слышен только утихающий рокот солдатской болтовни. Кто-то говорит перед ними речь.

Я вышел.

На столе в серых полоскою брюках и в строго-облегающем черном сюртуке сверкает пенснэ упруго-румяный и серебристо-пепельный Милюков. Деловито, уверенно мягкой профессорской рукою, крепко засаженной в крахмальный лубок манжеты, он легонечко словно подталкивает свои гладенько-обточенные, как слоновые шары, слова:

— ...Властью этой является Временный комитет Государственной думы. Только ему нужно подчиняться, и никакой другой власти, ибо двоевластие о п а с н о и г р о з и т... Я вчера видел первый полк, который пришел сюда в полном порядке со своими офицерами и признал власть Государственной думы...

— Браво! — жидко кричат из шеренг офицеры.

— ... Помните, единственное условие нашей силы—наша организованность. Только вместе с офицерами вы будете сильны... Надо сегодня же организоваться и сделать то, что сделал первый явившийся сюда полк. Найдите своих офицеров, которые стоят под командой Государственной думы, и сами встаньте под их команду. Этот вопрос сегодня оче-

редной. Помните, что враг не дремлет и готовится стереть нас с вами с лица земли.

— Не будет этого! — встав на цыпочки и держа руку под козырек, кричит спереди какой-то полковник.

— Так, значит, этого не будет? — облизывая усы, ласково обводит Милюков вероломными кошачьими глазами простодушные шеренги солдат.

— Не будет! Не будет! — кричат офицеры и рядом стоящие с ними солдаты.

Где у него хвост? По-моему, у Милюкова обязательно где-нибудь спрятан большой пушистый кошачий хвост.

Брызгает марсельеза. Милюков деловито слезает со стола, и на смену ему вспрыгивает перетянутый боевыми ремнями полковник. Поднимает руку в белой перчатке, и все умолкает.

— Сейчас говорил член Государственной думы Милюков, — склонил полковник на-бок головку.—Вам понятно, что он сказал?

— Понятно! Все поняли! Знамо, понятно! — досадливо наперебой закричали солдаты.

— Ну, так вот. Нам нужно сорганизоваться...— Полковник помолчал и переложил головку на другой бок. — А как это сделать, я вам сейчас скажу... — Он опять помолчал и взглянул на шелковый крем облитых вечерним солнцем оконных штор. — Сейчас все старшие чины — офицеры и унтер-офицеры — должны пойти к своим частям и выстроить их перед Государственной думой. Затем идите по городу, но чтобы красивее было, чтобы народ любовался своей армией. Будьте спокойны и в полном порядке. Уж, верьте, Государственная дума обделает дело по чистой совести! Мы будем в ее распоряжении! Ура! — взмахнул он фуражкой.

Он спрыгнул. Оркестр затопил жидко разлившееся «ура» и торопливо-угодливое «рады стараться!..».

«Эх, прав Сервантес: «подкупить народ нельзя, а обмануть — легко». Переметчивая солдатня... Хватит! — говорю я себе. — Болтаться здесь больше нечего! Поскорее в Технологический! Только надо все же будет на минутку зайти в Совет и определенно связаться с депутатами. Без этого...»

Но в одиннадцатой комнате, уже опустелой, со свезенными до полу скатертями, с крошками черного хлеба, с небрежно брошенными жестяными кружками, окурками и клочками бумаги, спокойно стоял, заложив руки за спину, задумчиво-равнодушный бритый Суханов.

— Вопрос о конструировании власти... — говорил ему, размахивая руками, красиво-очерченный карий еврей.

— Вам кого? — спокойно спросил меня Суханов. — Уже все разошлись... Совет заседает в тринадцатой. Здесь не пройдете. Это надо кругом...

Заходящее солнце косило морозными лучами на его позеленевшую, стриженую в бесцветный сухонький ершик голову.

* * *

В левом коридоре, — в том же, где дверь в тринадцатую комнату, у окна, выходящего в яростно залитый людским приливом сквер, — стоял невысокий полный солдат в затасканной потертой гимнастерке. Груша носа на оплывшем лице. Подстриженные усы. Проблеск лысины. Затаенно-самонадеянные, энергичные темные глаза в напухших мешках. Держась за тесный обруч поясного ремня, он старательно убеждал, кидая цепкие взгляды по сторонам.

Его коренастый плотный собеседник в пиджаке слушал рассеянно, бережно гладя пухлой рукой короткую курчавость своей большой и упругой, как мяч, головы. Какая-то своя непробиваемая мысль была глубоко где-то спрятана за пенснэ, в блестящей одутловатости его лба.

— И надо же, Богданов, дать хоть самим себе в этом ясный отчет! — хрипел солдат басом. — Почему вы допускаете Родзянку выступать перед приходящими сюда солдатами? Что это за планомерное выпячивание заживо сгнившей Государственной думы?.. Зачем вам нужен этот зубр, еще до сих пор старающийся спасти царизм?!.

— Вы постоянно и неверно заостряете вопрос, Лашевич, — поморщился Богданов, оглядывая свои аккуратно остриженные ногти. — Во-первых, вы забываете о демократии, а затем Родзянко еще может нам объективно пригодиться. Еще неизвестно, где царь!.. С фронта к Питеру уже подходят войска!.. Слыхали: генерал Иванов едет с батальоном георгиевских кавалеров! И тот же Родзянко еще, знаете ли... — тут Богданов уверенно сунул руки в карманы, вздернул круглыми плечами и направился к двери тринадцатой комнаты.

— Погодите! Он еще предаст вас, ваш Родзянко! — хрипло грохнул вслед ему Лашевич и покатился за ним. — Ваше неверие в рабочие и солдатские массы...

Как мне стыдно теперь, что всего лишь минуту тому назад я сомневался в стойкости всех этих масс. Ладно, чорт подери! — и я направился в ту же дверь.

Но неизбежный караул преображенцев тщательно проверял здесь мандаты входивших депутатов. Никакого мандата у меня не было. Забавные эти мандаты. Я посмотрел тут на них. Замусленные клочки бумажек. Только на некоторых круглели лиловые печати. Считалось уже вполне достаточным достижением, если на мандате красовался в углу бланочный оттиск штампа с наименованием воинской части. В большинстве же это были кустарные «грамоты», размашисто накрученные ротными писарями от руки и скрепленные такими корявыми загогулинами подписей, что и сами авторы их не смогли бы вновь разобрать свое творчество.

Я настойчиво убеждал преображенцев в том, что я послан для связи в Совет, что об этом знает вся военная комиссия Совета, что, таким образом, я уже являюсь самым доподлинным депутатом от ораниенбаумских пулеметчиков. Я показал свои пулеметики на погонах, малиновую обшивку на рукавах, красную перевязь вокруг локтя. Наконец меня пропустили.

Большущая комната деловито гудела, как затихающий улей. Часть солдат сидела на стульях и скамьях. Другие депутаты громоздились на подоконниках, затенив собою всю нижнюю половину огромных уже синеющих окон. Солдаты цеплялись за складки портьер. Солдаты плотно набили собою стойком все помещение. Часть из них грузно висела, держась друг за дружку, и печатала грязными сапожищами большой полированный красного дерева стол. Черные группы рабочих четкими пятнами только подчеркивали сплошной матовый фон серых солдатских шинелей. Пахло потом и сапожной слякотью. Махорочный перегар, мотаясь, синел вокруг тяжелых бронзовых люстр.

На столе, плотно влипнув в солдатскую стену, покорно тонул в своей шубе худыми зарослями щек изможденный Чхеидзе. Барственно покрякивал вместе с ним монументальный Стеклов. Он разглядывал, прищурясь, потолки и поглаживал свою окладистую темнорусую староверскую бороду. Богданов уже сидел у них в ногах и деловито перешептывался с наклонившимися к нему солдатами. С краю стола, надрываясь от хрипа, качался в расстегнутой шинели огромный солдат Павловского полка. Ворот его гимнастерки был обшит форменной белой тесьмою. Он тяжело взмахивал руками, словно цепами, и по его веснущатым, напоенным полевым загаром, вискам стекали капельки мужицкого пота.

— Товарищи! Проклятая царская режима, она как с нами сделала?.. Павловцы, выходит, мы... этой самой, значит,

четвертой роты... Ну, ладно... А ротный нам еще с вечеру сказал: «Завтра, — грит, — братцы, наш черед усмирять». Усмирять?! А кого усмирять-то, спрашивается?.. Сами же беспорядок наделали, рабочих сбаламутили, немцу фронт хотели открыть, а теперь выходит: «усмирять»?! Нет, правильно седни вот председатель здешний Роззянкин говорил. «Вы, — грит, — молодцы, только нам спервоначалу помогите порядок над ими навести, а уж там господь-бог вас не оставит!..» Ну, ладно... Сговорились этта мы ночью и вышли, значит, все утрось, в воскресенье, стало быть, это было на Катерининскую канаву. Церковь еще там такая стоит, радостная, царя, што ль, там убили... Ну, ладно... Вышли и стоим... И солнечно это и знойко было, ну, как сегодня... А они и начали, значит, с крыш по нас поливать: та-та-та! та-та-та!.. Фараоны, выходит... А из-за угла, смотрим, цельный их эскадрон на нас прет. Ну, мы как вскинули: — р-р-аз! — залпом. Да вдругорядь, да вдругорядь...

Он долго говорит, этот павловец, и солдатская масса напряженно ловит каждое слово своего депутата. Видно, что каждого здесь подмывает рассказать вслед за ним сейчас же и свое. Поведать всему трудовому крестьянству, всему рабочему люду, как их мял, как давил их солдатскую душу в бога и мать распроклятый офицерский, царский режим. Каждому смертельно хочется распластать здесь немедленно перед всеми, такими родными и такими понятными, свое честное мужичье солдатское сердце и крикнуть на весь божий мир.

— Терпежу, братцы, не стало!!. Терпежу больше не стало! — надуваяся синими жилами, судорожно трясет павловец кулаки, и вдруг губа его неподатливо отвисает, прыгают с морщинистых глаз капли слез, и он с виноватой решимостью шваркает по ним грязной шинельной полою.

Богданов насупленно что-то шепчет солдатам, Чхеидзе устало открывает и закрывает, как умирающий ястреб, серые ввалившиеся глаза. Стеклов мечтательно глядит на окно.

Павловец конфузливо слезает со стола. Комната грохочет и рушится в треске рукоплесканий. Чхеидзе силится что-то проскрипеть, но, подталкиваемый снизу Богдановым, на стол взлетает новый оратор, унтер-офицер в черно-желтых петлицах. Самодовольной походочкой делает по краешку два робких шажка. Трет красные руки и, наливаясь тугими скулами, ярославским говорком рассыпается:

— А у нас, товарищи, так, стало быть, было... Волынцы — мы... Наша, выходит, учебная команда...

Я тихонько приоткрываю дверь и выхожу.

«Ну да, интересно! Дьявольски, конечно, все это интересно! — сердито бормочу я сам себе под нос, — но разве время всем этим заниматься сейчас... Сейчас, когда на Питер уже наступают царские генералы, когда солдатские полки еще дезорганизованы, когда все мы висим на волоске от небывалого, кошмарного кровавого разгрома? Жить! Жить! Жить! — сжимаю я кулаки. — А значит — организовываться! Обороняться! Стрелять! Эх, пулеметики вы мои! Надо сейчас же распрощаться и с Военной комиссией!»

* * *

Комнаты Военной комиссии значительно обезлюдели. Многие офицеры уже предпочитают шушукаться у окон в коридоре.

— Где вы пропадали? — накидывается на меня Филипповский. — Ведь вы же единственный здесь офицер, фактически руководящий огромною революционною солдатскою частью. На Николаевский вокзал прибыл с фронта, по приказанию ставки, на усмирение Питера сто семьдесят первый полк. Мы и решили сейчас же бросить против него вас со всеми вашими пулеметчиками. Телефон с Технологическим порван. Искали вас по всему дворцу. Ну, да ладно! Теперь обошлось. Полк приехал, бросил оружие и рассосался. Будем ждать следующих.

— Говорят,—подлетел Скобейко,—идут с фронта георгиевцы и батареи!

— Вот у нас и поубавилось, — насмешливо обвел Филипповский черными глазами значительно опустевшие комнаты.

Действительно, толпа в комнатах поредела, но и порядку в ней прибавилось. За столами уже щелкала на машинках целая вереница преображенских писарей в красных погонах и с обшитыми красной тесьмою воротами защитных гимнастерок.

— Я уже, каюсь, подумал было, что и вы... — взглянул на меня Филипповский.

— Никак нет! — густо покраснев, щелкнул я шпорами. — Я кормил свою команду, потом был на заседании Совета... Меня не спрашивали здесь? — спохватился я.

— Спрашивали, спрашивали и спрашивать перестали,— отшутился Филипповский. — Ну, что ж, хотите, небось, отправляться к себе в Технологический? А я намеревался было дать вам по пути одно маленькое порученьице... Впрочем... Прапорщик Любарский! — обернулся он вдруг к молодому, уже знакомому мне штатскому, который скучал теперь на диване, наблюдая от нечего делать через зеркало простенка за подмигиванием своей собственной щеки. — Прапорщик Любарский! Что же вы все еще не в форме? Уж, казалось бы, давно пора вам итти «совращать» свой Семеновский полк. Вон, Масловский давно ведь ушел переодеваться...

— Мстиславский мне не указ! — раздраженно вскочил Любарский. — Он рядом здесь живет. Не беспокойтесь! Мое от меня не уйдет.

— Товарищи! Господа! — шипя и брызжа слюною, влетел в комнату колченогий толстый господин. — Калашниковскую биржу громят! Помогите, ради Христа! Ведь сто-

лица без хлеба на завтра останется... — и он жалобно и испытующе-деловито бегал по всем нам ищущими глазами, стараясь разгадать, от кого из присутствующих должно исходить решение.

— Вот хотите... — и Любарский заложил руки в карманы проутюженных брюк, причем из-под расстегнутого пальто показался фрак с университетским значком в петлице. — Хотите я отправлюсь сейчас для охраны Калашниковской биржи? Дайте только мне надежную команду...

Колченогий толстяк умиленно заломил перед ним кверху руки.

— Кто здесь старший из военных? Кто старший военный здесь во дворце?! — ворвался в расстегнутой грязной шинели и защитного цвета погонах капитан с большим красным бантом на груди.

И я сразу узнал в нем того фронтового забулдыгу, что поскандалил с поручиком в ораниенбаумской столовой, когда я разбил стакан.

— Какого вам старшего? — ухмыльнулся Скобейко. — Комендант дворца — Караулов.

— Нет, уже Энгельгардт! — хрипло крикнул со стола Синани. — Караулов пьян в доску. Он ночью даже диктатором хотел себя объявить.

— Но все-таки он — комендант дворца! — спорил Скобейко.

— Энгельгардт уже давно назначен начальником гарнизона, — вставил Любарский.

— Но все-таки кто же здесь-то старший?! — недоуменно разводя руками, скользил капитан выпученными глазами по нашим погонам.

— Филипповский старший! Филипповский! — закивали все на него.

— Господин капитан! Коллега! — подскочил к нему капитан и вытянулся в струнку. — Триста тридцатого Зла-

тоустовского полка, временно прикомандированный к гвардейской офицерской высшей стрелковой ораниенбаумской школе, капитан... — замолол он, — имеет честь и счастье явиться в полное распоряжение революции!.. О! Мы — фронтовики... мы еще покажем!! — и он, рыча, обвел всех нас выпученными пьяными глазами.

— Значит, еще один ораниенбаумец! — кивнул мне Филипповский. — Ну, а где же ваши солдаты?

Капитан засопел и раздвинул ноги.

— Какие же солдаты, раз я фронтовик? Солдаты остались в Ораниенбауме. И в Питере есть солдаты. И здесь, у вас... — он махнул рукою. — Солдаты везде есть... А вот офицеры?! — он ехидно зажмурился и чуть-чуть присел. — Офицеры — это все! — подскочил он и грозно вытаращил глаза. — Мы, брат, терпим! Мы терпим!!. Я вот живу здесь, на Песках. Паршивая комнатенка. А вы знаете, сколько эти подлецы дерут?!. Шкурррру стерррвецы сдирррают!! — зарычал капитан и сжал кулаки.

Задребезжал телефонный звонок.

— Слушаю! — кинулся Скобейко.

— Хорошо, капитан, — блеснул глазами Синани. — Наберите сейчас во дворце вот или вон там, — Синани небрежно кивнул на окно, — сотню солдат. По-фронтовому!.. И мы тотчас дадим вам важную боевую задачу.

— Слушаюсь! — восторженно шаркнул капитан и так же бурно вырвался из комнаты.

— Куда вы его? Зачем? — укоризненно обернулся Филипповский. — И без него хватает тумаши. Все приказывают, а исполнять некому...

— Фронт! — ехидно бросил вдогонку Любарский.

И в этот момент грохнули выстрелы. Гулкие пулеметные выстрелы. Я сразу понял, что стреляет кольт, и сердце мое захолонуло.

Любарский побледнел и обернулся. Щека его прыгала, а тонкие губы дрожали. Папироска вылетела на пол. И все повскакали. Офицеры бросились к окнам и в коридор. Писаря испуганно побросали машинки. Синани полез рукою за чем-то в ящик. Скобейко сжал рот и животом уперся в стол. Филипповский покраснел и заторопился морской разволочкой к окну.

— Стрельба! — заикаясь, прошептал Любарский.

— Стреляют! Стреляют!... Казаки!!! Напали!!! — в панике бежали и грохотали коридоры.

В дверь ворвался растерянный Суханов и невзрачный, похожий на него, бритый человечек в сюртуке. Он стремглав вскочил на подоконник, дернул форточку, встал на цыпочки, высунул стриженую ершиком голову и пронзительно-быстрым захлебом, визгливо выкрикнул:

— По местам!.. Защищайте Государственную думу!.. Вы слышите!.. Это я говорю! Керенский! Да, я — Керенский!!. Защищайте вашу свободу, революцию, защищайте Государственную думу! По местам! Все по местам! Это Керенский вам говорит! Керенский — я! Керенский! Керенский!..

Он судорожно дергался на окне, как попавшая головой в мышеловку неловкая крыса.

Потом тяжело вздохнул, устало спрыгнул с подоконника и безмолвно развалился тут же на стуле.

— Все в порядке, Александр Федорович, — мягко шелестя верхней губою, подошел к нему Суханов, поглядев через окно в сквер, где легонькая суматоха уже затихала.— Пожалуй, не стоило нам производить панику бо́льшую, чем от выстрелов.

Керенский злобно вспрыгнул, как от удара. Лицо исказилось, глаза метали искры, губы гневно дрожали.

— Прошу!.. — завизжал он, — каждого... выполнять... свои обязанности... и не вмешиваться... когда я отдаю распоряжения!..

Упало стопудовое молчание. Суханов конфузливо потупил глаза.

— Совершенно верно! — бросил, вытянув руки по швам, Любарский и почтительно щелкнул каблуком.

Я выбежал на двор. Так и есть. Большая толпа сгрудилась вкруг моих пулеметов, один из которых был снят с седла и стоял на треноге.

— Мы же только попробовали, — виновато оправдывался унтер-офицер команды. — Рази можно итти, не спробовав?!

— Надо было предупредить!.. Кто у вас старший?!. Это провокация!.. — раздавались уже утихающие голоса.

— Что вы тут наделали? Разве так можно? — дернул я унтер-офицера за рукав.

— Ваше высклабародие! — зашептал он растерянно. — Это мы вас думали вызвать. Никак найти вас нигде не могли, а тут поручик какой-то с красным бантом пристал с ножом к горлу. «Обязаны вы, — грит, — немедленно итти за мною. Как я, — грит, — сам пулеметчик, и забрать вас есть у меня революционный приказ!» Ну, мы и решили этак вас вызвать... Да, вишь, как сполошили!.. Здешние-то — непривычные...

Твердо условились, что сейчас выхожу с пропуском от Военной комиссии, и немедленно идем в Технологический.

* * *

Филипповский куда-то ушел, а Синани меня не пускал.

— Нет, мы не можем отпустить с вами вашу команду. Зачем она вам? Мало у вас их в Технологическом?! Сейчас звонили, — хрипел он тревожно, — что рядом громят винный склад. Вы понимаете, что это значит?! Когда они перепьются!!. — и он зловеще ширил карие зрачки и тыкал рукою на тот угол, за которым, казалось, лежал, притаившись, огромный, набитый солдатами Екатерининский зал.

— Вашу команду мы отправим вместе с прапорщиком Любарским или с другим кем-нибудь на защиту винного склада. Это — самое важное. Раз вам надо в Технологический, отправляйтесь туда! И по пути... впрочем, позовите мне сейчас Любарского. Кажется, он еще в коридоре.

— Вождь?! Да! Вождь!! — азартно кричал в коридоре Любарский.

— Ну, чего же вы кричите? Что я сказал вам особенного? — морщил лоб под аккуратным косым русым проборчиком прапорщик с польским акцентом. — Быть может, он и вождь, — успокаивал он уверенной мягкой иронией. — Я же сообщил только, что не дальше как в минувшую пятницу этот же Керенский на тайном собрании у Николая Димитриевича Соколова, где были представители всех левых партий, этот же Керенский решительно высказался против каких бы то ни было демонстраций!

— И это, заметьте себе, было как раз в тот момент, когда по демонстрациям уже стреляли! — вкрадчивым польским говорком вставил, возбужденно сверкнув черными глазами, просунувшийся из-за плеч Добраницкий.

— А вы-то сами там были? — кинулся Любарский вслед уходившему прапорщику. — Да, да, вы постойте-ка, прапорщик! А вы сами-то там были?..

Прапорщик упрямо остановился, повернул гордый свой подбородок и, надменно подняв дуги бровей, хрипло отрезал:

— Да, был!

— Ваша фамилия?—разлетался слюною Любарский.— Мы это проверим! Я сам спрошу Николая Димитриевича. Я хорошо с ним знаком...

— Можете проверять. Моя фамилия — Яблонский, — и прапорщик круто повернулся.

— Полячишки!.. — прошипел кто-то язвительно вслед.

Я обернулся. Уже все расходились. В синих сумерках соседнего окна стоял спиною ко мне щегольски вылощен-

ный прапорщик-блондин и вполголоса разговаривал с другим военным.

— Говорят, что генерал Иванов едет из ставки, и его эшелоны уже в Вырице.

Я бесшумно вдвигаюсь в нишу окна. Коридором изредка торопливо туда и сюда проходят люди.

— Да, он назначен диктатором, — уверенно этак и спокойно ответил другой, выждав, когда мимо уже прошли. — По высочайшему приказанию Родзянко наметил к нему в начальники штаба полковника Доманевского. Он уже выехал к Иванову навстречу вместе с офицером для поручений.

— Но почему ж тогда поспешил сдаться этот... Хабалов? Разве Родзянко его не предупредил?

— Хабалов— растяпа. Жалуется теперь, что это его шуганул Михаил Александрович. Испугался, как бы солдатня не обрушилась на Зимний дворец. Шляпа!..

— Шляпа! — твердо кивнул прапорщик и помолчал.

— И неужели без помощи с фронта здесь так-таки уже ничего нельзя больше поделать своими силами? — снова заговорил прапорщик, закуривая папироску и протягивая собеседнику портсигар и огонь зажигалки. — Ведь сколько здесь одних только офицеров!..

«Боже мой! Какой удивительно знакомый голос. Где я его слышал?..»

— Сомневаюсь, — спокойно ответил военный, закурив. — Вы знаете: вчера вечером мы с капитаном Кутеповым пробовали. Собрали два десятка надежнейших офицеров-добровольцев, — жаль, что вас не было, — взяли с собою сотню солдат и пошли чесать прямо с Невского. Прошли с полной победой почти весь Литейный. У Кирочной застопорилось. В пути как-то незаметно примазалась к нам посторонняя солдатня. Пошло у них с нашими шу-шу. Мы и глазом не успели моргнуть, в такую переделку попали, еле сами-то ноги унесли.

— А все-таки Кутепов арестован.

— Ничего подобного. Он еще с утра сегодня опять на свободе.

— Как же он выбрался отсюда? — изумился блондинистый прапорщик, попыхивая огоньком папиросы.

— Ну, хотите!.. — самоуверенно ухмыльнулся военный.

«Ах, как жаль, что в сумерках не различишь лица этого негодяя!» Сижу, не шелохнусь. Даже слышно, как в висках моих шуфкает кровь.

— А почему так неудачно работает полиция? — как будто бы нарочно для меня все еще не унимается прапорщик, даже не стесняясь мимопроходящих. — Ведь сколько пулеметов им вбухали!

— Чего же стоят одни ваши пулеметы без лент? У нас ведь всегда так. «Матушка-Русь», одним словом. Полиция села без патронов. К четырнадцатому, говорят, все было заготовлено, а тут все как-то вышло врасплох. И ведь нужно было какому-то гениальному дураку додуматься устроить склады огнеприпасов за Выборгской стороной! Когда вся эта чумазая мразь восстала, — вы понимаете! Что там ваша полиция?! Весь наш надежнейший Преображенский полк остался в самый критический момент без патрон.

«Ах, вот это кто! Преображенский поручик, что разговаривал днем с Любарским...».

— О! — тяжело вздохнул он, — если бы не это роковое несчастие, не беспокойтесь: все уже было бы давным-давно подавлено в самом корне... И потом пулеметы не годятся для улиц: чересчур велико мертвое пространство.

— Это пулеметы-то не годятся для улиц?! — насмешливо вздыбился прапорщик. — Эх, вы не знаете, поручик, пулеметов!.. Я их теперь великолепно изучил. Там есть такие удивительные системы...

Поразительно знакомый голос. Тихо сползаю с окна.

— ...Там есть такие удивительные системы! Шварц-лозе, например. Одна инерция...

Острая догадка бьет мне в голову. Как сумасшедший, отпрыгиваю к противоположной стене, чтобы разглядеть его лицо.

Он испуганно оборачивается. Огонек папироски озаряет цыплячий пушок на его губе.

«Князинька».

— Ага! — кричу я неистово. — Стойте! Стойте!.. — кричу я и хватаюсь за кобур. — Стрелять буду!..

Но оба офицера бесстрашно бегут мимо меня и пропадают в темной глубине коридора. Там, где мутно синеет боковой выход с думскими швейцарами. Там, где яркий свет люстр Временного комитета уже бросает в коридор косые желтые лучи.

Проходившие по коридору тревожно останавливаются. Из комнаты Военной комиссии выскакивают встревоженные люди. Бросаются ко мне:

— Что случилось? — ведут меня в свое ярко освещенное помещение. — Что случилось? Кому вы кричали?!

— Монархисты, — шепчу я. — Усмирители! Ваш дворец пропитан контр-революционерами! Я подслушал сейчас их разговор. Я сейчас его передам вам. Только вы их отыщите! Сейчас же ищите!! Они убежали туда... к Родзянке... Не беспокойтесь, я знаю их фамилии.

Все тревожно обступили меня. Какой-то высокий светлорусый поручик, с худым длинным бледным лицом и с офицерским белым эмалевым крестиком «георгия» на кителе, участливо держит мои нервно-дрожащие руки.

— Не волнуйтесь, — говорит он мне мягко, — успокойтесь! — и поправляет золоченый эфес своего полученного за храбрость оружия.

— Как «не волнуйтесь»? — вспыхиваю я в новой подозрительности. — Отыщите их немедленно! Они здесь. Я

знаю их фамилии. Одного — прапорщик-пулеметчик князь Головкин. Другой — поручик Преображенского полка. Фамилию его знает Любарский.

Любарский густо краснеет.

— ...Любарский разговаривал с ним сегодня днем в коридоре.

— Ну, так что ж? — испуганно заикается и бледнеет Любарский. — Фамилии его я не знаю. И видел его сегодня в первый раз. Так же, как и вас! — гневно швыряет он мне. — И вашей фамилии я тоже не знаю. И не хочу знать! Не желаю! Слышите ли вы, не желаю!.. Меня здесь знают члены Исполнительного комитета Совета... Товарищи! Ведь это же провокация!..

— Успокойтесь! Успокойтесь! — успокаивают все окружающие обоих нас, и нервно передергивающегося Любарского и меня, уже заботливо посаженного на диван.

«Чорт его знает! Может быть, я и в самом деле зря... на Любарского...» Быстрее спешу рассказать краткое содержание подслушанного разговора.

— Вы говорите: князь Головкин? — озабоченно перебил меня поручик с «георгием». — Я сейчас разузнаю... не беспокойтесь!..—прочел он мой настороженный взгляд:— Меня здесь знают! Моя фамилия — Петров. Поручик Петров... — и он вышел быстрыми решительными шагами.

— Это наш!.. — кивнули ему вслед офицеры Военной комиссии. — В лазарете лежал. Нынче, собрав пятьдесят человек команды, с боем отбил обратно арсенал, когда его опять у нас захватили жандармы.

— Да, катавасия!.. — покрутил кое-кто головою.

— Никакой катавасии нет, — сказал взлохмаченный и помятый военный врач. — Здесь это в порядке вещей. Кто этого не знает?! Ночью здесь, говорят, арестовали переодетого жандармского ротмистра. Ходил и записывал...

Я выглянул в коридор. Он уже был освещен, и вдали у выхода виднелась кучка спорящих.

Тем временем Скобейко уже распоряжался нарядами. Моя команда уходила на охрану винного склада под командою прапорщика Пригоровского. Мне, в виде одолжения, разрешалось оставить из них при себе только четырех человек. Они уже пришли со двора и, устало вздохнув, сели на диваны и на подоконники.

Пригоровский ушел, взяв предписание и захватив моего унтер-офицера, попрощавшегося со мной и попросившего меня, чтобы я завтра непременно же сменил его команду другою. Я пообещал.

— Да, ушли, должно быть, — мрачно сказал, возвратившись вместе с другими офицерами, поручик Петров. — Швейцары говорят, что офицеров много мимо них уходило. Да там еще целый хвост городовых, приставов и жандармов стоит. Пришли с заднего крыльца к Родзянке «арестовываться»... Напрасно только весь этот скандал подняли. Там сейчас на нас рвут и мечут... Вам не надо было их спугивать. Пришли бы сюда тихонько, мы бы их и накрыли...

Я встал. Пора уходить. Выбрал себе в углу легкий кавалерийский карабинчик. Взял пачку обойм в карман.

— Так вот еще что! Раз вы уходите, — обратился ко мне поручик Скобейко, — то не откажите в любезности, пожалуйста, заглянуть по пути на Николаевский вокзал. Там какой-то поручик Греков распоряжается. Мы его уже утвердили по телефону нашим комендантом. Так вот он тревожно о чем-то звонил нам недавно. Но ничего нельзя было понять. А теперь оттуда упорно никто не отвечает. Выясните вы, пожалуйста, господин поручик, по пути, что там такое, и примите нужные меры.

— Спокойной ночи! — Забираю с собой моих четырех сиротливых солдат.

— Спокойной ночи...

— Куда вы? Уходите? — попадается нам коридором навстречу торопливый и до крайности встревоженный прапорщик Синани. — Чорт знает что?! Вы понимаете?! Прибежали сейчас, рассказывают, что только что предупредили взрыв газового завода! Кто-то уже все подготовил! Рабочий подметил один, а то бы... Ведь это вот тут вот, рядом!!. Вы представляете, что бы тут было?! Ах, просто голова идет вокруг! Звонки звонят отовсюду, везде требуют помощи! Ночь наступает, а мы остаемся одни. Солдаты разбрелись и заваливаются спать. Чорт знает, что может получиться?!. Не видели вы Филипповского, не вернулся? Значит, все еще сидит, чорт его возьми, на заседании Исполнительного комитета!.. Ну, ладно... Пока.

Да, в матовом свете редких лампочек тускло отблескивают масляные стены сильно опустевших коридоров. И ярко освещенный люстрами зал поредел. Одинокими сонными кучками еле бродят солдаты. Какие-то усталые серые шопоты. Большинство уже спит, хотя еще не так поздно. Счастливцы завалились на тюки кожи, на мешки с мукою и сахаром, на ящики. Кой-кто в них уже ковыряется тихомолком. Многие согнулись в креслах, вставив винтовки меж ног. Но большинство храпит прямо на полу, ближе к запачканным и облупленным стенам. Иные запрокинули свои мужицкие головы на загаженные грязью и дегтем нежные шелка дворцовых стульев. По раскиданным по полу винтовкам и сонным сапожищам без разбору ступают другие. В грязной мусорной слизи паркета хрупают осколки сбитой штукатурки, разминаются рваные бумажки и растаптываются ружейные патроны.

В холодном сквозняке вестибюля, где грязи еще больше и пахнет разлитым бензином, потому что возятся шоферы, рабочий патруль вводит растерянно озирающегося впалыми морщинистыми глазами, высокого сугорбленного старика с черною бородою. Оказывается: сам председатель черносотен-

ного «Союза русского народа», предводитель всероссийских погромщиков, знаменитый доктор Дубровин.

* * *

В сквере пустовато и темно. Трещат несколько автомобилей и грузовиков. Снуют темные редкие тени людей. Жесткий силуэт пушки мнет щетину кустов. Небо мрачно. Двор освещен только отсветом окон. Одинокий фонарик тускло горит на левых воротах.

Голова налита свинцом. На ногах гири, а надо еще итти — ближний свет! — до Технологического.

— Ну, и путанка! — подкидываются в ногу со мною солдаты. — Никаких концов не найдешь тута! А интересно! Никогда не думалось прежде живых министров повидать, а вот довелось-таки. Штаны-то у них на ногах синие, а выше пояса — красные.

— А ты откуда разглядел?

— А я в нужнике сидел, как их оправляться-то к нам приводили... А и офицеров, братцы мои, сколько тут!.. В жисть не думал, чтобы столько ихнего брата за простой народ стояло. И самого Керенского довелось послушать. Невзрачный на вид-от, а шустрый какой! Так и шпарит, так и шпарит. А Родзянко-то ихний генералом, сказывают, до этого был. А вот смотри ты, в сочувствие к нам вошел и вольну одежу надел. Хватко!

Полыхало вдали над домами рыжее небо. Все еще горел и не мог догореть окружной суд на Литейном. Мы свернули по Знаменской улице. На углах у костров мотались патрули. Рабочие при винтовках, беспоясые солдаты и воинствующие револьверами студенты с красными повязками на рукавах.

— Откуда, товарищи? — спрашивали нас. — Из Таврического?.. Ну, как там, пымали правительство?..

— Уже почти всех министров переарестовали, — говорю я.

— Сидят теперь тама, чижики! — весело подхватили мои солдаты.

— Ловко! — радуются патрули, ежась и переминаясь с ноги на ногу от морозного ветра. — Спасибо, товарищи! Благодарим вас за приятную новость!

Там и сям одинокие винтовочные выстрелы то-и-дело вспарывали тревожную ночную тишь полуосвещенного города. Казалось, что, всего только несколько дней тому назад так ярко переливавшийся четкими ожерельями брильянтовых фонарей, шумный, беззаботный город вдруг взорвался нежданным огромным вулканом, вздыбился огненным шквалом вверх, тяжело рухнул вниз и распластался, застывая темнеющею лавою и зловеще лопаясь стреляющими пузырями.

Что еще ждет впереди эту подергивающуюся пеплом гневную массу? Где-то там, за сотни верст, а может быть, уже и ближе, порывисто стукотя, мчатся сюда, лязгая буферами, фронтовые эшелоны. Бренчат на платформах зарядные ящики. Золотые крестики сверкают в полутьме вагонов на развешанных гимнастерках. В мягком штабном отдельном купе сухой генерал нетерпеливо натягивает на руку лайковую перчатку...

Таврический сейчас, наверное, спит. Спят декабриствующие офицеры. Спят солдаты, крепко сжимая во сне фальшивые жетоны с красными бантами, снятся им раздавленные режимы и радостные церковки, где «царя, што ль, там убили». Спит, наверное, даже Дубровин. Спит тихо, подняв воротник, и старчески вздрагивает во сне. Только Родзянко, наверное, не спит. Да, он не спит. Он сидит в куче портьер, ветчинных объедков, храпящих дряблых ртов, смятой жести манишек. Он сидит и ждет. Терпеливо и уверенно ждет. Потому что он знает все...

Сзади нас мчится, звякая, грузовик. Вихрь белых бумажек кружится с него, разлетаясь по тротуарам. К нему бро-

саются со всех сторон обрадованные прохожие и ловят на-лету крутящиеся белые листки. Грузовик, мотаясь ощетинившимися солдатами, в белой метели листовок, в восторженном гаме, лязге и грохоте, пролетает вперед.

Свежая скипидарная краска. Второй выпуск «Известий». Напечатаны все Родзянкины речи к солдатам. Да, да. Вот:

«Слушайте ваших офицеров, они вас дурному не научат и будут распоряжаться в полном согласии с Государственной думой...»

«...Я старый человек и обманывать вас не стану...»

Тревожная злоба вскипает во мне. Я знаю, кто еще здесь не спит. Это — капитан Кутепов. Он молча и мрачно сидит на окне.

И вдруг! Что это?!

«Манифест»?!

«Манифест ко всем гражданам России»!

«Временное революционное правительство должно стать во главе нового, нарождающегося республиканского строя. Рабочие фабрик и заводов и восставшие войска должны немедленно выбрать своих представителей во Временное революционное правительство...»

«...оно должно осуществить 8-часовой рабочий день, конфисковать всю землю, созвать учредительное собрание, обеспечить армию и города продовольствием...»

«...войти в сношения с пролетариями воюющих стран для революционной борьбы народов против угнетателей, для немедленного прекращения кровавой человеческой бойни!»

«Центральный комитет РСДРП большевиков».

Большевики! Ура! Большевики! Вот кто не спит. Вот кто нервно таскает сейчас с заезженных грузовиков там, на дымных грязных заводских окраинах, новенькие арсенальские винтовки.

(Поручик Петров их отбил для них от налетевших жандармов. Поручик Петров, а не я!)

И захотелось тут же немедленно какого-то небывалого подвига. Так бы вот и кинуться куда-нибудь в свалку, в кровавую гущу, в кромешную стрельбу!..

Суетливо зачем-то закладываю в магазин карабинчика обойму, вскидываю вверх и стреляю. Острый огненный взлет режет мрачное небо и тухнет. И далеко где-то, как лопающиеся пузыри, этак же потрескивают винтовки.

На углу, возле Знаменской церкви, под ступеньками, по которым я полз так недавно со Знаменской площади, лежит сейчас труп солдата. Одна нога вытянута, другая согнута в коленке. Вся волосатая щека, борода и вся шея — в черной застывшей крови.

— Эх, угораздили крепака! — соболезнующе обходят солдаты.

Вот и Невский. Там, направо, — его впотьмах не видать, но я знаю, — торчит золоченый клинок Адмиралтейства. Пустой, ничтожный, раздавленный нами клинок. Как он жалок, брошенный министрами, петровский императорский символ! Как он бессилен и ничтожен, этот клинок, против огромного рабочего океана, гулко вздымающего сейчас на весь мир свои гигантские красные валы! В сравнении с ним весь наш питерский взрыв — это только вулканчик.

«... Войти в сношения с пролетариями воюющих стран для революционной борьбы народов против угнетателей! Для немедленного прекращения кровавой человеческой бойни!»

«Центральный комитет большевиков».

. . . .

Впереди — Николаевский вокзал. Сюда поручено мне зайти. Мрачный памятник перед ним распластался свинцовым пятном. В высоких коридорах вокзала тусклая мгла. В комнате, бывшей жандармской, одиноко прохаживается петушком, головку на-бок, молоденький офицерик.

— Поручик Греков! — кукарекает он. — Нет, сейчас все успокоилось, а было очень тревожно. Эшелоны какие-то подходили, да мы их свернули. Поезда с Москвой — беспрепятственно. Да, знаете? Москва тоже уже присоединилась!.. Потом запрашивали откуда-то пропустить куда-то царский поезд. Я сказал: нельзя. Дерзко этак спросили: «Кто это говорит?» А я спрашиваю: «А кому это надобно знать?» Отвечают: «Лично его императорскому величеству». Ну, я и сказал: «Ответьте, что, дескать, поручик Греков!»

Греков задорно смотрит на меня веселым петушком.

Куда итти теперь? Ноги еле волочатся. Уставшие солдаты вздыхают. В Технологический далеко, да и спят все там. Лучше утром пораньше, со свежими силами. А сейчас куда-нибудь поближе. Вспомнил о Ручкине.

— А что, ребята, если мы где-либо здесь переночуем, в квартире тут одной?

— Нам где-нито, — отвечают солдаты, — измотались мы.

Вот то-то у Ручкина поднимем тарарам! Ну, и чорт с ним! Пусть хоть под кровать залезает.

Но у Ручкина нам радушно отперли. Алексей Финогеныч встретил меня обрадованный и сияющий. Даже красную перевязь на моем рукаве он встретил как должное.

— А я, знаете ли, и сам тоже ходил в Таврический дворец. Как жаль, что там вас не видел! Вот тумаша-то!..

— Проходите! Проходите! — приветливо провожает он солдат на кухню.—Аннушка! Дай-ка солдатикам хлеба! Да побольше! Да с маслом! Не беспокойтесь, товарищи, в тесноте, да не в обиде. Всех положим...

— Не хотите ли закусить? — ворочается он ко мне. — Как мило, что вы зашли!

— Нет, спасибо, — теряюсь я. — Мне бы, знаете, лечь. Я так устал...

Супруга его с радушной поспешностью стелет мне в столовой на диване.

— Да, кто б мог так предвидеть?!. — весело вслух не отстает от меня Ручкин.

Голова моя мотается, как ведро на коромысле, и я несколько раз засыпаю, стаскивая с себя сапоги. Мне снится, что на меня стремительно наползает огромная куча. Впрочем, это не куча, а Родзянко. Он пучится, как тесто из квашни, и манит всех маленьким пальчиком.

ГЛАВА VIII.

Слышу сквозь сон: вздрогнули в буфете стаканы, и кто-то на цыпочках тихо-тихо скрипит по паркету. Где ж это я?

Поднимаю голову с подушки. Мне ласково кивает Ручкин, румяненький и чистенький, как маринованный огурчик в стеклянной банке.

— Спите, спите, Александр Игнатьевич! — радушно улыбается он.

Хватаюсь за часы. Уже десять. Какой позор! И надо же этак проспать! А еще условился с солдатами отправиться в Технологический чуть свет. Стремглав одеваюсь.

— Ну, а солдаты мои встали?

— Солдатики? — умильно расплывается Ручкин. — Солдатики ваши давным-давно встали. Вы не беспокойтесь. Они позавтракали и к себе пошли. Аннушка их черным ходом проводила. Я не велел вас будить. Записку они оставили вам... — он протягивает мне со стола четвертушку бумаги.

На ней карандашом наковыряно:

«Господин подпоручик разрешите отправиться к своим в батальон допреж вас чтоб не будить. Благодарствуем хозяев за хлеб за соль, за ночлег. Солдат Семенов».

— Полноте! — утешает Ручкин. — Зачем спешить? Сейчас мы как раз пьем кофе. Чтоб вас не беспокоить,

я распорядился в кабинете. И, знаете ли, со свежим горячим хлебом и с маслом. Кто б мог подумать?! Вот что значит чудеса революции! При Протопопове ничего не было, а сейчас — сделайте одолжение: сколько угодно и почти без всяких очередей... Позавтракать надо обязательно. А потом, конечно, мы задерживать вас не посмеем. Что ж, разве мы не понимаем всей важности ваших задач?!. Вот полотенце. Мыло — там... Так мы вас ждем. Я мажу вам бутерброд... Нет, кто б мог предвидеть?! Какие великие и радостные события, Александр Игнатьич!..

Торопливо плещусь в умывальной и силюсь хоть что-нибудь понять в этой феерической перемене. Какие громкие слова! «Важность задач», «великие и радостные события»?! И все это из уст того же самого Ручкина, которого я наблюдаю не первый год. Того самого Ручкина, который всегда, как упитанный слизистый линь, вечно возится в густой грязной тине всевозможных спекуляций, отводя время от времени свою душу испусканьем вонючих пузырьков жидоедства. А теперь вдруг пожалуйте: «Чудо революции!»

На ломберном столе в кабинете — теплый липкий хлеб, сливочное масло, горячее кофе со сливками. Встречают радушно. Старшая дочь, кривясь под взглядом матери, кобенясь, привстает из-за стола, чтобы отмахнуть заученный книксен. Старший сынишка Ручкина, давясь бутербродом, спешит узнать у меня своим петушиным ломающимся голосом:

— Почему это в прихожей у вас на шинели красный бант?

Младший сынишка, болтая ногами, ловит момент, чтобы вытереть нос и губы о материн подол. Словом, все, как и подобает в домах, из кожи вон лезущих встать «на хорошую ногу».

Безотчетная злоба закипает во мне. Молодцы солдаты: вежливо использовали гостеприимство и деловито ушли

без промедления. А меня вот «приличное» воспитанье обязывает поддерживать «учтивый» разговор. Ну, хорошо же!

— Как теперь будет со съездом монархистов в Москве? — подкалываю я Ручкина, напуская на себя самый наивнейший вид. — Вчера вечером я видел как будто бы доктора Дубровина в Таврическом дворце уже арестованным.

— Да, знаете ли, оказалось совсем несерьезное предприятие, — невозмутимо отвечает Ручкин. — Кустарное предприятие и вдобавок еще на немецкие деньги! — брезгливо морщится он. — Из-за этого, оказывается, мы и войну-то до сих пор проигрывали. Если бы не союзники, тут чорт знает что могло бы получиться. Посудите сами: Протопопов. Собственные суконные фабрики в Симбирске, а ведь какой остолоп! Ах, какой остолоп! Вы и представить себе не можете. Ведь это «Продамет» провел его в министры. Пришлось, говорят, здорово смазать Распутина, и вот Протопопов-коммерсант прошел в министры. Мало того. «Продамет» сорганизовал в его распоряжение специальную громадную газету. Общественное мнение страны. Это тоже не дешево стоило. Для «Русской воли» пришлось купить и Леонида Андреева и Амфитеатрова. Ну, еще бы! Когда за это дело взялись «Продамет» и «Продуголь»! Такие промышленные тузы, как князь Мещерский или Путилов, — эти на полдороге не останавливаются. Ведь это же вся наша крупнейшая промышленность страны! Мало того, ведь это же — парижский банк «Сосьетэ Женераль». Ведь это же лондонское Сити. Солидная фирмочка ! — причмокнул Ручкин и любезнейше пододвинул мне масло. — И вы представьте себе, этот остолоп Протопопов после всего этого вдруг посмел за спиною своих принципалов снюхиваться в Стокгольме, по поручению царицы, с Вильгельмовым агентом Варбургом. Хотел бы я видеть, — покачал головой Ручкин, — где бы это нашелся хотя бы один такой деловой капиталист, который позволил бы своему доверенному

плутовать в этаких важнейших операциях! И вы хотите, чтобы и Протопопов, и царица, Николай, — вся эта компания после всего этого еще оставалась?!.. Да, чудный хлеб! — пододвинул Ручкин мне. — Такого при Протопопове не было. Пожалуйста, кушайте, Александр Игнатьевич! В здоровом теле — здоровый дух... Только, разумеется, не солдатский... — ухмыльнулся он брезгливо. — С этим вам придется еще повозиться... — и он вздохнул, сосредоточенно размешивая в кофе сливки. — Да, с Николаем покончено. Вчера в Таврическом мне посчастливилось повидать и присутствовать при беседе одного важного туза из «Продамета». Оказывается, и Бьюкенен и Палеолог давно уже имели определеннейшие инструкции из Лондона и Парижа. А вы представьте, говорят, что и этот старый дурак Родзянко с перепугу, что ли, тоже попытался было спасать Николая. Ну, на него, знаете ли, вчера и надавили. Конечно, Георг, говорят, ничего не имеет против самого Николая. Двоюродные братья. Но раз кузен залез под каблук к Алисе Гессен-Дармштадской... его песенка спета теперь бесповоротно. Будьте уверены: царствовать будет Алексей, регентом — Михаил, и министрами, представьте себе, — кадеты. Оказывается: самые толковые люди! Кто б мог раньше подумать?!. Даже Родзянку Бьюкенен не хочет теперь пускать в министры. Раз путает в таких делах, как старый попугай, кому он нужен?!. Вот, а вы спрашиваете о монархическом съезде! Нет, Александр Игнатьич, на одном антисемитизме, как оказывается, далеко не уедешь! Может быть: и к сожалению, но, увы, не уедешь, — вытянул он губы, — раз это не согласовано с мировыми хозяйственными интересами наших могущественных союзников. С биржей, батенька, нельзя спорить! Двадцатый век. Вы понимаете? — и Ручкин даже привстал, как новоиспеченный пастор, увлекшийся первою проповедью. — Когда шестьдесят пять процентов всей нашей

крупной промышленности крепко зажаты в руках англо-французских банков, приходится быть исполнительными... Тем более, что нам разрешено отыграться на Константинополе. Техникой нам немного помогут, а народу, — народу у нас хватит. Важно сейчас только одно: как можно скорее подтянуть солдат. На это, знаете ли, решено бросить сейчас все живые офицерские силы. Не зевайте, Александр Игнатьич. Советую вам, как друг. Ведь это — карьера!.. Да, — помолчал он, — побыл, знаете ли, вчера в Государственной думе каких-нибудь пять часов, а поумнел на пять лет. А все отчего? Беседа с крупными людьми... Да что ж вы не кушаете ничего?..

«Боже мой, боже мой, а я-то — какой дурак! — стучит в моих висках. — Проболтался вчера в Думе целый день, а поглупел на целых десять лет».

— Ну, чего ж вы не кушаете?..

— Нет, спасибо, Алексей Финогеныч. Мне надо очень спешить. Да, спешить. Да, спешить. Да, спешить...

* * *

«Куда спешить? Зачем спешить?», устало думаю я, выйдя на улицу. Седая пасмурь неба — вверху. Холодными ветрами стелется понизу гарь от сожженной Александро-Невской полицейской части. Гулко тараторят издалека пулеметики. На углу направо, у булочной, оживленная очередь. Душисто пахнет горячим пропеченным хлебом. На бестолковых сияющих лицах прохожих розовые отсветы от красных бантов. И словно стыдно становится, что у меня на рукаве красная перевязь. На чей хлеб мажем мы масло? Революция или кукольный балаганчик?

На углу кучка прохожих жадно толпилась возле свеже наклеенных объявлений. Первое гласило:

Официальное сообщение.

Временный Комитет Членов Государственной Думы сообщает, что, ввиду устранения от управления всего состава бывшего Совета министров, правительственная власть перешла в настоящее время к Временному комитету Государственной Думы.

Председатель Государственной Думы
Михаил Родзянко.

Ну, что ж, «Банк оф Коммерс» не зевает! Новые доверенные прибирают власть к рукам.

Второе сообщение было приказом ко всем офицерам петроградского гарнизона и вообще находящимся в Петрограде. Военный комитет Государственной думы (это что же еще за новоявленный «комитет»?) приглашал всех господ офицеров явиться 1 и 2 марта с 10 ч. утра до 6 ч. вечера в зал Армии и Флота «для получения удостоверений на повсеместный пропуск и точной регистрации, для исполнения поручений комиссии по организации солдат, примкнувших к представителям народа для охраны столицы»... Внизу шли подписи «Военной Комиссии Временного Комитета Государственной Думы» и Родзянки.

— Спеши, ваша благородия! — насмешливо кинул мне оторвавшийся от чтения приказа аккуратно-одетый и бравый солдат. — Выходит, вишь, по-вашему, по-Родзянкину, что мы для того лишь и стекла в казармах перебили и офицеров своих порасшугали, чтобы к ему, вишь, примкнуть для охраны столицы. Чудно получается, братцы! Будем, выходит, самих от себя охранять. Ну, и ловко ж господа смикитили!..

Солдаты в толпе злобно захохотали и обернулись ко мне. Разве только необычные для офицера мой карабин и кумачевая перевязь на рукаве заставили их ограничиться этим.

«Зачем теперь мне спешить? И куда мне спешить? В зал Армии и Флота, чтобы по приказу Родзянки «организовывать» солдат? Или итти в Технологический, собрать своих Шеншиных, Мелеховых, Куприев, Ржавцевых и совместно с Шевелевыми отбывать сторожевые наряды донкихотствующих декабристов из офицерской Военной комиссии?!. Ради «Банк оф Коммерс» и «Сосьетэ Женераль»?! Покорно благодарю! Не проще ли пройти сейчас к Вале, благо это совсем здесь неподалеку. Быть может, и Борька приехал...»

И я решительно сворачиваю на Суворовский проспект.

Панели суетливо оживлены. Солдаты, рабочие, обыватели — все спешат и все больше в сторону Таврического дворца. Урча проползают перегруженные через край автомобили. Ощетинясь штыками и с сидений и с крыльев, они, словно ежи, переворачиваются по колдобинам улицы. Настойчивый гул пулеметов манит их вдаль.

Навстречу двое солдат ведут под-руки третьего. Он без шапки и тяжело сопит, растерянно блуждая серыми, как дым, глазами. Его волосы спутаны. Искривленная болью гримаса запекшихся губ то-и-дело обнажает желтоватый оскал зубов и бледные десны, лишь только солдат ступает на правую ногу. Алые следы остаются от нее по грязной панели и, пузырясь пеною, хлюпает из-за голенища кровавая жижа.

— На Невском перевязочный, на Невском! — тумашится студент.

— Вам бы, родимые, назад до гошпиталя сподручнее дойти, — сочувственно шепелявит старуха в потертом салопе. — Недалече это будет отсюда, на 9-й Рождественской.

— Спасибычко, баушка! — язвительно роняет один из поводырей, покрепче подтаскивая себе через шею руку раненого товарища. — Из офицерьских-то госпиталей по

нас жиганули как раз. Тама-ка его покалечили... Ишь, проклятые! — швыряет он злобно мне вслед. — Не навластвовались... Глотки б им все перервать!..

Мотаясь щетиной солдатских штыков и орущими гроздьями прицепившихся мальчишек, торопливо пролязгивают тарахтящие грузовики. Стаями белых птиц разлетаются с одного из них бумажные листы. Набегающая толпа ловит их на-лету. Хватаю и я. Разворачиваю. Еще не просохшая краска пачкает пальцы. Меня обступают плотным кольцом и наперебой читают, вытягиваясь через мои плечи и руки:

Товарищи солдаты!

Свершилось! Восстали вы, подъяремные, закабаленные крестьяне и рабочие, восстали, и с треском и позором рухнуло самодержавное правительство.

Солдаты! Долго терпел народ...

...В то время как паны-дворяне с жиру бесились, высасывая народную кровь, — многомиллионное крестьянство пухло от голода.

Братья солдаты! Что нужно вам, крестьянам-хлеборобам? Что нужно всем рабочим? Вся земля и вся воля — вот что нам нужно! Не напрасно же вы лили свою кровь. Вот уж два дня, как Петроград во власти солдат и рабочих, — два дня, как распущенная Государственная дума выбрала Временный комитет и называет его Временным правительством; но до сих пор вы не слышали ни от Родзянки, ни от Милюкова ни одного слова о том, будет ли отнята земля у помещиков и передана народу. Надежда плохая!

Солдаты! Почему Дума не говорит об этом? Нужно с корнем вырвать самодержавный произвол. Если мы не доведем дела до конца, если не будет созвано Учредительное собрание, в которое посылали бы своих депутатов все крестьяне и все рабочие, а не как в ны-

нешней Думе, кто побогаче да посановитее, то погибнет народное дело...

...Для того, чтобы вас не обманули дворяне и офицеры — эта романовская шайка, — возьмите власть в свои руки. Выбирайте сами взводных, ротных и полковых командиров, выбирайте ротные комитеты для заведывания продовольствием. Все офицеры должны быть под контролем этих ротных комитетов.

Принимайте к себе только тех офицеров, которых вы знаете как друзей народа.

Подчиняйтесь только делегатам, посланным от Совета рабочих и солдатских депутатов!

Солдаты! Теперь, когда вы восстали и победили, к вам приходят вместе с друзьями также и бывшие враги — офицеры, которые называют себя вашими друзьями. Солдаты! Лисий хвост нам страшнее волчьего зуба!

Солдаты! Услышьте наш голос! Требуйте от Думы, чтобы она ответила вам теперь же: будет ли отнята земля у помещиков, казны и монастырей? Будет ли она передана крестьянам? Будет ли дана вся воля народу? Будет ли созвано Учредительное собрание? Не теряйте времени!

Всю землю — крестьянам!

Всю волю — народу!

Да здравствует Совет рабочих и солдатских депутатов!

Да здравствует Временное революционное правительство!

Петербургский Междурайонный комитет Российской социал-демократической рабочей партии и партия социалистов-революционеров.

1 марта 1917 г.

Десятки губ еще шептали, настойчиво впитывая в себя этот горячий кричащий призыв.

— Вот это, братцы, в точку! — весело крякнул один из солдат и пыхнул дымом цыгарки.

— Ах, какое безобразие! Да ведь это же против вас, господин офицер! — разволновался вдруг господин в котелке, нервно поправляя под бородой белый вязаный шелковый шарф. Его раздувшиеся ноздри готовы были вывернуться торчащею из носа прокопченною табачным дымом жесткою шерстью. — Да ведь это же травля Государственной думы! Это — гибель порядка! Это — анархия! — оборачивается он к своей спутнице, кутающей покрасневший нос в воротнике беличьей шубки.

— Кака ж это тебе здеся енархия?!. — вскидывается на него тот же солдат и злобно выплевывает из зубов окурок цыгарки.—Как фараонов с чердаков сымать, так тогда к нам: «Помогите, пыжалста, братцы-товарищи!» А как об земле речь пошла, так тут же тебе враз и «енархия»?! Братцы вы мои! — вскидывается он же к быстро накапливающейся вокруг него толпе солдат и обывателей. — И на войне нашего брата бьют, и здеся фараоны подстреливают, а про землю нигде, выходит, и сказать не моги... Да тут всем им такую б енахрию прописать бы надо!..

Я весело и непроизвольно гогочу, и по жилам моим вновь разливается упругая бодрость. Кое-кто из солдат недоверчиво было озирается на меня, насквозь прощупывая глазами. Встретив открытый дружеский взгляд, успокаиваются.

— Нет, правильно тут прописано!—не унимается взволнованный солдат. — Самые правильные партии, выходит, это прописали: рабочая, вишь, партия комитета и революционная партия сицилистов. Эти, брат, осечки не сделают. Обманывают, вишь, нас только паны — дворяне и офицеры — лисьи хвосты. Им бы, товарищи, без конца воевать!

Выходит, свою нам, братцы, власть-то нужно. Свою! Нет, нас нынче, братцы, назад не запрячешь! Ежели мы нынче... Да, ежели нас нынче...

Солдатская толпа быстро нарастает. Солдатик уже вскочил на тумбу. Растерянно увиливают в сторону котелки и беличьи шубки. Я медленно отхожу, и мне хочется задорно петь или бешено по-вчерашнему лупить в небо из карабина. Ага, «Сосьетэ Женераль»! Погодите мусье и мистеры! Как-то еще обернется здесь у нас с землицей и миром.

* * *

В рытвине за углом валяется разбитый со сломанными рессорами автомобиль.

— Вот полюбуйтесь-ка: накатались «товарищи»! — ехидно шипит, повернувшись ко мне, котелок. — И прекрасно вы сделали, господин офицер, что тоже догадались уйти от них. Чтоб обуздать теперь всю эту хамскую солдатню, нужна очень крепкая власть! — и в такт своим словам он крепко прижал под-ручку беличью шубку. — Да, уже многие, представьте себе, начинают основательно опасаться, что как бы теперь, сняв голову, не заплакали мы все по волосам...

Снисходительной острой насмешкой встречаю его доверительный взгляд. Только «культурные» хамы могут издеваться над разбитым революцией автомобилем. Зловеще гудят вдалеке пулеметы. Что мне с ним разговаривать? Вот навещу сейчас невестку и живо — в Таврический.

В темноте каменной лестницы спугиваю заговорщицки настроенных кошек. Ну, так и есть, ведь сегодня уже март. На стук мой настороженно гремят крюки. Валя дома.

— Как я рада. Из Ораниенбаума? Давно?.. От Бориса — никаких вестей. Не знаю, право, что и подумать... Какие события!!. А я вот сейчас собиралась было в Госу-

дарственную думу. Ну, да вы раздевайтесь! Будем чай пить.

— Нет, что вы, спасибо! Раз вы тоже собрались в Таврический, шагаем по пути. Я ведь тоже как раз собрался туда же.

— Ну, что же, пойдемте... Как поживают ваша жена, ребятишки?..

Выходим. Под ногами на лестнице опять проклятые кошки.

— Скорее, Валя, скорее! — тороплю я ее.

— Ого, да вы меня еще не знаете. Вы сами-то, смотрите, поспевайте за мною. Я быстро хожу.

Действительно, мы летим, как наперегонки. Сырой морозный ветер хлещет колючей изморозью, словно солью.

— Э, да вы с карабином! По какой это дичи? — смеется она, жмурясь от колкой поземки, бьющей в лицо.

Татакают выстрелы в поперечных улицах. Но никто не обращает внимания. Обгоняем торопливые отряды солдат. За плечами винтовки раскачиваются на упругих ремнях. Тяжелые шаги солдат вязнут в расхлябанной снежной каше проспекта. Вот уже четвертый день, как никто не убирает снег.

Скрежещущие залпы вдруг раздирают воздух над нами. Впереди слева — церковка. На углах сгрудились люди, жмут спинами стены домов. Хлесткие пули ломают и сыпят над ними штукатурку карнизов.

— В подъезд, Валя, в подъезд! — «Еще ухлопают тут ее», беспокоюсь я.

Но Валя жмется к стене и пробирается вперед.

— Давайте, посмотрим!

За угол не высунуть носа.

— Из лазаретов палят!.. Офицеры!..

— Уж целый час ни пройти, ни проехать.

— Вчерась, говорят, их там разоружили, а сегодня вот опять начали садить...

Но вот ружейный треск слегка ослабевает. Какой-то солдат, согнувшись, опрометью перебежал на ту сторону. Да, за углом налево большой серый дом. В боковой стене его — три узких окошечка рядом. Эх, если б туда из пулемета. Но неужели сейчас обходить назад и кругом?

— Бежим! — кидается Валя.

И солдаты бросаются вместе с нами перебежать через улицу.

— Порядок, вишь, наводят их благородия!.. — гневно плюются они.

Бешеный шквал трескотни хлещет свинцом по обезлюденной улице, когда мы уже переводим дух за каменной оградой колокольни.

— Опоздали, родзянкины дети!

* * *

Старчески насквозь пожелтевший Потемкинский дворец в лакейских бакенбардах своих флигелей распялился нынче дряблой улыбкой именинника. Тускло поблескивая лысиной купола и ощерясь, как морж, длинными и редкими клыками колонн, самодовольно плавает он в тысячеголовых потоках бесконечных солдатских рядов. Они колышутся вкруг него перьями красных знамен, дразнят его гребнями красных плакатов и брызжут визгливою медью чванных оркестров. Говорливые толпы затопили все прилегающие улицы. Зеваки карабкаются на тумбы, цепляются за чугунные острия палисадных оград, за водосточные трубы, лезут на крыши, висят на заборах. Стада новоявленных котелков, дамских шляп, каракулевых воротников — восторженно жужжат на панелях. Боже мой, как интересно! Сама Государственная дума... вы подумайте только: сама Государственная дума, трусливо пугавшая царя страшным

призраком «красного зверя», — теперь вдруг сама бесповоротно решила возглавить революцию.

— Ах, как интересно! Как интересно! — подпрыгивает Валя, настойчиво пролезая за мной.

Толпа бурлит, толпа бубнит, толпа судачит на все лады.

— ...Временный комитет...

— ...Да, Временный комитет...

— ...уже все министры и последним сам Протопопов. Ночью сам пришел, говорят, и потихонечку прямехонько к Керенскому.

— К самому Керенскому?!

— Да, «разрешите,— говорит,— мне, ваше высокопревосходительство, арестоваться»... Толпа хотела было убить, но Керенский спас.

— Керенский спас?!. Слышите, милочка? Вот вы говорили... а, Керенский спас!..

— Ну, и что же Временный комитет?..

— Погодите. А что еще скажет этот... Совет дурацких депутатов...

— Ерунда!

— ...сам Родзянко.

— Пустяки. Будет вам теперь сам Родзянко возиться с каким-то там министерством торговли и промышленности? Это племянник его, Родзянко, назначен туда комиссаром, а не сам он.

— Взгляните, Анна Ивановна, взгляните! Конвой его величества. Боже мой, какой стремительный размах! Даже — конвойцы!..

— ...а Милюков-то, а Милюков. Какая обаятельная личность!..

— Ах, Димитрий Петрович, как они красивы! Вы полюбуйтесь: синие казакины, черкески. А какие плечи! Вы знаете, даже проводники в Ялте...

— Господа, а правду говорят, будто Николай уже сбежал?

— Передавали с вокзала, что он выехал вчера из ставки и до сих пор еще не знают, где он.

— «Доалисился!»...

— ...а я утверждаю: в министерство внутренних дел комиссаром Временного комитета назначен князь Васильчиков.

— А я еще раз повторяю, что ничего подобного. Князь Васильчиков назначен комиссаром в министерство земледелия, а в министерство внутренних дел назначен граф Капнист.

— Ни в коем случае! Как раз именно граф Капнист и назначен в министерство земледелия.

— Так, который граф Капнист? Я говорю, что граф Капнист второй, а вы говорите о графе Капнисте первом...

— Иван Спиридонович! Кого вижу! Давай, брат, похристосуемся...

— Воистину воскресе, Епифан Гаврилович. С Великой вас Святой и Бескровной!..

— ...говорят, уже новых министров подыскивают?

— Милюков уже всех подыскал. Только вот в министры финансов никого не могут найти.

— По юстиции, конечно, Маклаков?

— Ничего подобного, Керенский.

— Керенский??!

— Чего же тут ужасного? Видите, сколько вон их тут прет... и все без офицеров... Чтобы привести, знаете ли, всю эту шатию снова в православный вид, надобна, сударь мой, жесткая рука и мяконькая рукавичка. Ну, что касается до руки, то... А чем плох Керенский для рукавички?

— ...директор второго департамента, тот, знаете ль, сам прилетел сюда. «Так и так,—говорит,—признаю и при-

соединяюсь. Исконные начала русской власти, так сказать, и тому подобное... Кому,— грит,— прикажете присягать?..»

— А наш дурак пересолил, знаете ль, с перепугу. Прибежал тоже нынче утром сюда, все еще спали, и понес какую-то околесицу: и про новгородское вече тут, и про Марфу Посадницу, и про республику. А Милюков проснулся и ехидно вдруг этак сбоку: «Откуда,— говорит,— вы, милостивый государь, все это взяли? Особа третьего ранга и вдруг...» Тот и язык прикусил.

— Вот тебе и карьера!..

— Виктор Сергеич! Кто это там подпрыгивает? Посмотрите: вот там у колонн...

У колонн на ступеньках дворца перед рослыми шпалерами растерянных императорских конвойцев тряс острым клинышком русой бородки Скобелев. Шапка ради торжественности была снята, а демократические помпончики галстука придавлены плотной шубой. Сквозь сдавленный говор праздной толпы, сквозь дальние звуки оркестров пугливыми воробьями выпархивали его слегка заикающиеся слова: «...истинное нар-родовластие... р-революционная демокр-ратия... великий свободный нар-род... р-революционный пор-рядок... истинное нар-родовластие...».

Бум! бум! бум! — гремело с улиц. Чжан! Чжан! Чжан! — били литавры. Пу-оо-пу-пу-пу! — выли трубы. И в холодных стеклянных зрачках дворца безопасно плавали красные отсветы флагов.

* * *

В сквозняках вестибюля были давка и крики:

— Нет, позвольте! Пропусти, тебе говорят!.. Ну-к, и что ж, что не депутаты?.. Чай, не к вам мы, а в Совет свой идем. Мы там выясним!..

— Мы там выведем всех их на чистую воду! По какому это праву старые приказы отсюда дают, чтоб опять офицеры

над нами командовали?!. Да чтоб мы и оружье свое им бы выдали?!. Тоже, нашли дураков!..

— Прррапусти! Тебе говорят, а то вот прикладами!..

Солдатские толпы проламывались и бурно текли направо в левый коридор. Там у тринадцатой комнаты шел уже бой. Притиснутый к дверям Капелинский жалобно топорщил густую и жесткую кошму своей шевелюры.

— Совет не причем здесь, товарищи! Уверяю вас! Совет не причем здесь! Приказ отдан Родзянкой без нашего ведома....

— Толкуй толокно, тетка Маланья, с квасом пить будем!..

— А вы чего ж спали?!.

— А вас мы для ча выбирали?!.

— Родзянки будут командовать, а вы!..

— Ишь ты! Раззянки, вишь, у них виноваты. Сами-ка лучше не будьте раззянками!..

— Чего рты-то поразевали? Собирай заседанье Совета!..

— Нечего прохлаждаться! Не на посиделки пришли!..

— Успокойтесь! — хрипел Капелинский. — Успокойтесь! Заседанье Совета, товарищи, сейчас откроется!..

* * *

Круглый зал ходит ходуном. Витрины с карточками членов Государственной думы были уже предусмотрительно вынесены. Вместо них у розовых стен, в противоположных друг от друга сторонах, лепились куцые столики, заваленные аккуратными стопками листовок. Вокруг них грудились солдаты, а над ними со стен так небывало дерзко и остро открыто били в глаза четкие надписи: «Центральный комитет партии социалистов-революционеров» и — сердце прыгнуло — «Военная организация РСДРП большевиков». Возле этого столика суетилась, раздавая листовки, пожилая строгая дама с сухим носом, оседланным пенснэ в ободках

и со шнурком через ухо, и здесь же сидели двое солдат и штатский в скромном рабочем пальто. Один из этих солдат, сапер средних лет, широколицый с круглым лбом и с пожелтевшими от усталости впалыми щеками, старательно записывал в коленкоровую книжечку, то-и-дело тыча химический карандаш под нависшую бахрому своих усов. Другой же солдат, — молоденький, чистенький и, судя по красной тесьме на гимнастерке, преображенец, — бодро вертелся розовым упруго-пробритым продолговатым лицом и весело отвечал на десятки летучих солдатских вопросов. Небольшой ровный с легкой горбинкой носик его деловито поблескивал стеклышками дешевых очков. К этому большевистскому столику жадно теснились сейчас с деловыми расспросами десятки солдат, которые то-и-дело сменяли друг друга. Громкий говор переходил здесь подчас в дружеский полушопот. Глаза загорались теплым братским приветом, и записная книжечка усатого солдата торопливо заполнялась оставляемыми адресами. Здесь рабочая партия крепила свои растерянные связи во взбаламученном солдатском море.

Дальше, в сквозняках длинного Екатерининского зала, месили хлюпкую грязь по паркету беспорядочные солдатские толпы. Над ними сквозь сизый сумрак махорочных волн были видны по разным углам на столах туманные тени самочинных ораторов.

— Царская опричина, товарищи... помещичья клика крепостников... темные силы Распу... — скользило мягко по вздернутым шторам окна.

— Да, земля должна быть вся целиком немедленно же передана в руки трудящихся! — четко щелкало эхо по потолку из другого угла. — Диктатура пролетариата и революционного крестьянства, вот что теперь...

А посредине, у входа на хоры зала думских заседаний то приседал, то спокойно раскачивался на столе низенький

тощий рабочий с чахлой бороденкой и в обшарпанных брюках.

— И, конечно, председатель Государственной думы, товарищи, он настойчиво требует от вас, чтобы вы ему русскую землю спасали... Ну, еще бы! У него ведь есть что спасать. Поезжайте к примеру в Екатеринославскую губернию. Там десятки тысяч десятин черноземной земли, да и какой еще земли, товарищи! «Чья, — вы спросите, — эта земля?» — «Председателя Думы Родзянки», вам ответят, товарищи. Спросите тогда еще в Новгородской и Смоленской губерниях: «Чьи же это богатые поместья и чьи это несметные леса?» — «Председателя Государственной думы Родзянки», вам ответят, товарищи. А вы вот спросите-ка там же тогда: «И чьи же это огромные винокуренные заводы? Чей это большущий завод, который сейчас поставляет по бешеным ценам на всю нашу многомиллионную армию березовые ложа для солдатских винтовок?»—«Председателя Государственной думы Родзянки», вам ответят, товарищи. Ну, почему же тогда, вы скажите, товарищи, и не воевать теперь председателю Думы Родзянке до полной победы, товарищи?!.

— Долой Родзянку!!. — гневно рычит зал.

— Так вот, братцы-товарищи, — спокойно мотается рабочий, — и Родзянкам и всем этим князьям Львовым, князьям Васильчиковым, графьям Капнистам, Шульгиным, Крупенским, Пуришкевичам, всем этим думским помещикам, им есть что спасать. Им есть за что гнать на убой крестьян и рабочих. Это они владенья свои — княжеские, графские, баронские и помещичьи — называют русской землей. А вы вот спросите-ка этого председателя Государственной думы, Родзянку, товарищи, будет ли он так же заботиться о спасении русской земли, если эта русская земля из помещичьей и господской да станет вдруг по совету нас, большевиков, *вашей*, дорогие товарищи?!.

— До-о-лой Родзянку-у-у!!! — гремит и исступленно воет весь Екатерининский зал.

— Долой Ро-од-зя-анку! Долой войну-у-у-у!!!

Нервная бодрая дрожь пробегает по мускулам. Ласково глажу затвор карабина, весело свисшего за плечом на ремне. «Ага, «Банк оф Коммерс!» Выходит: осечка!..»

— Боже мой, как интересно! — радостно волнуется Валя.

— Интересно? Да. И, пожалуй, не только интересно... А выберетесь ли вы одна отсюда обратно домой, если я вас покину сейчас здесь для дела?

— Ну, конечно!

— Тогда... но только, смотрите, идите обратно по Знаменской. Это — крюк, но безопасно. Шальная пуля...

Крепко жму руки и отправляюсь назад в круглый зал.

Но, за большевистским столом уже нет ни сидевших солдат, ни штатского. Осталась одна только строгая дама. Но она успевает и листки раздавать и деловито беседовать с солдатами.

— Товарищ, — говорю я, улучив свободный момент, — сейчас люди нужны. Я — большевик, офицер-пулеметчик. Вот можете мною воспользоваться.

— Вы были связаны здесь с комитетом или с военной организацией? — пытливо смотрит на меня сквозь пенснэ.

— Нет, я ни с кем не был связан. Я недавно здесь, в Петербурге.

— Тогда вам придется немного здесь подождать, товарищ. Товарищи, с которыми вас можно было бы сейчас свести, только что вышли. Двое, солдаты, ушли на заседанье Совета, а Молотов пошел в Исполнительный комитет. Если вам некогда, — словила она мой непроизвольный досадливый жест, — вы попробуйте пройти в тринадцатую комнату, здесь, налево. Там вы найдете Молотова, а рядом там, в зале, идет заседанье Совета. Попросите там вызвать

Садовского. Это солдат-сапер. Досадно, впрочем, что вы не знаете его в лицо.

— О, нет, я их здесь всех видел... Попытаюсь...

* * *

В тринадцатую комнату уже не пропускали.

— Только членам Исполнительного комитета! Только членам Исполнительного комитета! — с раздраженною тумашливостью кричал в дверях студентик в тужурке с красным бантом. И покорные ему часовые непреклонно заграждали дверь, оттопыривая винтовки по-ефрейторски накараул.

— Позвольте! Мне Молотова...

— Никаких там Молотовых...

— Разрешите! — подлетел вдруг сзади полковник с раздушенной одеколоном щеточкой усиков и по-боевому туго затянутый в ремни. За ним сиял золотыми жгутиками на синей форменке сочный и гладенький, как виноградина, молоденький гардемарин. — Разрешите!.. Нам по срочному неотложнейшему поручению от его высокопревосходительства господина председателя Государственной думы Родзянки непосредственно в Исполнительный совет рабочих депутатов. Разрешите!.. — настойчиво лез полковник, сняв фуражку.

Суетливый студент растерялся, часовые приняли ружья, и я вслед за полковником и гардемарином вместе с другими вкатился сначала в проходную комнату, а дальше за зеленую занавес, в комнату заседания Исполнительного комитета. Десятка три, а то и больше, интеллигентных штатских людей (а из военных — один только морской офицер Филипповский) напряженно сидело вкруг большого стола и стояло у стен и огромных окон, выходящих в скучный запорошенный сад. Лихая поземка белой пылью вилась по сугробам и подбрасывала в стекла сухие пригоршни колкого снега.

— Власти... власти... в буржуазной революции нам не нада! Ны в какую... ны в какую каалыцию я ны пайду!..— щетинился, зловеще вращая глазами, Чхеидзе и, накинувши на плечи свою хорьковую шубу, устало бухнулся в кресло.

Нетерпеливые, злые, сердитые и просто равнодушно-усталые взгляды сразу же остановили полковника.

— Разрешите представиться! — щелкнул он шпорами, вздернул подбородок и вытянул руки по швам. — Великая наша русская армия и все благомыслящие, преданные своей родине граждане нашего славного дорогого отечества и я, ваш покорный слуга, твердо и неукоснительно признаем, что только рабочий комитет исполнительных депутатов является единственным и справедливейшим правительством, законно обладающим всей полнотой государственной власти, которой все добронравые граждане с величайшей готовностью повинуются и обязаны повиноваться, не жалея своего живота...

— В чем дело?.. Короче!.. Говорите ясней! — пронесся злобный залп взглядов и возгласов.

Но боевой полковник не дрогнул. Он вытянулся, как струна, выкатил зеленые зенки и залепетал:

— Смею уверить... Разрешите вам доложить... Я с самого раннего детства питал неизменную надежду и преданность революции. Мой покойный родитель был человек либеральнейших взглядов. Моя тетка, урожденная... состоит в замужестве с пострадавшим...

Дальнейших слов не было слышно. Гневный шум и крики и скрип отодвигаемых кресел и стульев заглушили полковника. Но он упрямо стоял, как клен за окном, безучастный к снежному вихрю.

— Что за болван? Говорите, чорт побери, толком и прямо! Что вам здесь нужно? В чем дело? — в комнате поднимался кавардак. — Гоните их вон! — кто-то кричал из угла.

— ...Его высокопревосходительство... Государственной думы Родзянко изволил получить телеграмму его императорского величества с повелением немедленно прибыть к нему на станцию Дно, — донеслись, наконец, раздавленные слова растерявшегося полковника. — Его высокопревосходительство изволил поручить мне почтительнейше просить Исполнительный комитет не отказать ему в распоряжении о предоставлении для его высокопревосходительства специального поезда. Интересы родины и революции...

— Но причем же тут мы?! — полетели тумашливые голоса и снова заглушили полковника.

— ...железнодорожные рабочие... — снова прорвался звенящий фальцет полковника, — ...и ответили, что без разрешения Исполнительного комитета они не дадут...

— Хорошо! Хорошо! — замахали руками. — Мы просим вас подождать за дверями. Сейчас мы обсудим и сообщим вам свое решение. Просим всех посторонних немедленно выйти! — торопливо метнулся Суханов.

Я стал искать глазами Молотова.

— Только позвольте все же заметить, что моя исконная преданность революции, — снова взорвался полковник, — всосанная, можно сказать, с молоком моей матери...

— Хорошо! Хорошо! — зашумели кругом. — Мы обсудим. Просим всех посторонних немедленно удалиться!

— Позволяю себе, — вынырнув вдруг из-за плеча полковника, торопливо залепетал гардемарин,—позволяю себе все же осведомиться от лица всех моряков и всех офицеров, какое у вас отношение к войне и к защите родины? Беспрекословно вам повинуясь и признавая ваш авторитет, мы все же должны...

— Чорт побери! — повскакали все с мест. — Дадите ль вы нам здесь возможность заседать, наконец?! — бешено кинулись все на него.

— Я считаю необходимым все же сказать, — тараторил гардемарин, поворачиваясь к выходу,— что вся наша армия и весь флот, и здесь и на фронте, все мы стоим за неуклонное продолженье войны до полнейшей победы! Рабочий комитет может рассчитывать на всех нас только в том случае, если и он...

— Хватит! — рявкнул, вскочив, покрасневший господин в сюртуке и что есть силы треснул рукою о стол.

Напружилась жуткая тишь.

— Вопрос о войне и мире в Савэте еще ны обсуждался! — резко проверещал Чхеидзе.

— Когда будет принято решение, вы об этом узнаете,— добавил Суханов.

— Сейчас же будьте любезны не мешать здесь нашей работе! — раскатисто загундосил Стеклов.

И всю нашу ораву так же стремительно выкатили за дверь.

* * *

Из зала, где заседал Совет, несся сдержанный шум. Все помещение было набито внабой солдатами. Только изредка кое-где тускнели две-три пары прапорщицких погон, и чернели одинокие кучки рабочих. Сидеть было негде. Все сплошь стояли, кто на полу, кто на скамьях и стульях, кто на подоконниках, кто на огромном столе. На нем впереди плотной массы солдат сосредоточенно супил брови свои и топорщил усы чернобородый Николай Дмитриевич Соколов. Порывисто сверкая и лысиной и пенснэ, он то-и-дело оправлял в рукава сюртука сползающие на кисти рук белые оковы манжет.

— Так выходит, для этого мы кровь проливали?! — хрипел на столе, засунув руки в карманы шинели, рябой и скуластый солдат. — Для этого, стало быть, мы и революцию делали, чтобы опять Государственная дума офице-

ров нам на шею сажала?!. Ну, ладно, хорошо, хорошо! Я знаю... — вдруг вытянул он руку вперед, почувствовав где-то какой-то протест. — Ладно, я слышал: сейчас, выходит, война, и без господ офицеров нам никак нельзя. Ладно, товарищи, хорошо! Мы это понимаем, мы своей родине не лиходеи. Обороняться мы, конечно, согласны, но разрешите тоже и нам по ндраву себе оставлять офицеров. А тех, что по мордам нас лупили, тех, что царям и князьям сочувствуют, тех, что немцу фронт согласны открыть,— нам таких офицеров не надобно.

— Верно! Веррна-а!.. Правильна-а! — дребезжат оконные стекла, и осторожно поднимает брови Соколов.

— Из-за чего тогда, спрашивается, мы тут битый час канителимся?! — наливается вдруг солдат красным мешком лица. — Раз у нас есть теперь свой Совет, и все мы признаем сейчас, чтобы и у себя во всех частях ввести ротные комитеты, чтоб продовольствием ведать, пускай эти комитеты и за офицерами наблюдают. И пускай все наше оружие: и винтовки и пулеметы...

— ...и броневики! — кричит у дверей высокий рыжеватый солдат.

— ...и броневики, — подхватывает оратор. — Пускай всем этим распоряжаются теперь одни только наши выборные ротные комитеты, и чтоб офицерам ни в каких случаях, ни по каким приказаниям из этого оружия ничего не выдавать. Не выпускай оружья, товарищи!.. А тех офицеров, которых мы совсем не пожелаем принять, пусть их сейчас же с глаз наших долой Совет отправляет на фронт!..

— Верна-а-а!! — беснуется зал, и под грохот ладоней покрасневший солдат прыгает на пол.

На смену ему залезает высокий, худой, с прямым лицом, тонким носом и серыми глазами.

— Борисов я, — просто представляется он. — И хочу я сказать здесь о следующем. Отправка на фронт офице-

ров — это хорошая мера. Пускай там теперь заодно с полицией повоюют господские сынки.

— Ве-ерна-а! — рявкает Совет.

— Здесь они по нас из пулеметов и до сих пор еще садят по улицам, — продолжает Борисов. — Ну, а вот, что будет, если те генералы, которые здесь поостанутся и которых мы признáем, что если они и нас всех спровадят отсюда на фронт? А сюда вместо нас пригонят деревенский набор, а то пусть даже и с фронта, да таких, что нашей революции еще и не нюхивали. Я вас спрашиваю, товарищи, кто будет тогда защищать наши свободы, кто защитит наш Совет?!. И вот я здесь предлагаю, — чеканит Борисов в настороженной тишине, — я предлагаю Исполнительному нашему комитету немедленно издать строжайший боевой приказ, чтобы весь петроградский революционный гарнизон ни в коем случае никуда отсюда не отправлять.

Соколов одобряюще кивает расправленным лбом. Бешеный грохот ладоней и крики... и на стол молодцевато подскакивает невысокий коренастый офицер в синих галифе с серебряным позументом.

— Я депутат девятого кавалерийского полка корнет Сакс, — франтовито щелкает он шпорами. — Не беспокойтесь, я не немец. Я истинно-русский. И я счел своим долгом доложить здесь немного о Военной комиссии. Здесь уже было много нападков на нее. Я хочу лишь добавить, что я сам в ней работал вчера, но сегодня член Думы полковник Энгельгардт вместе с Гучковым тстранили весь прежний состав...

— Разогнали! — кричат с места. — И поставили черносотенных офицеров из генерального штаба...

Все оборачиваются и глядят на кричащего, и по черным усикам, примазанному пробору прически и расплавленным темным глазам я узнаю в нем Добраницкого.

— Ну да, я это и хотел сказать, — морщится корнет Сакс. — Мне кажется, что оставлять военный штаб революции в таком положении нельзя. Все их приказания и распоряжения необходимо теперь проверять очень осторожно и, в случае малейших сомнений, запрашивать Исполнительный комитет Совета рабочих депутатов. А чтоб были в нем и наши военные представители, я предложил бы выбрать туда от нашей солдатской части Совета равное им количество членов.

— Верно! Верно! — громыхнуло по залу, и корнета сменил тот молоденький чистенький остроносенький преображенец-солдатик в очках, который сидел в круглом зале за большевистским столом.

— Падерин Александр, — назвал он себя, порозовев и смущенно сощурив глаза. — Я вполне присоединяюсь, товарищи, к практическим предложениям предыдущих ораторов и хочу дополнить их следующим. Если уже здесь так настойчиво отстаивалось большинством сохранение командной власти офицеров, то нам, Совету, необходимо все же точно оговорить, что эта командная власть офицеров допустима исключительно только в строю на занятиях и ни в коем случае не должна распространяться на политику. В политических выступлениях мы, солдаты, должны подчиняться только Совету. И вне службы и строя все солдаты должны быть абсолютно уравнены во всех, и в политических и гражданских, правах со всеми остальными гражданами. И дурацкое вставание во-фрунт и отдание чести вне службы и строя для нас, солдат, должно быть абсолютно отменено.

— Что он говорит?.. — подпрыгивает у стола корнет Сакс.

— Мало того, я предлагаю отменить и всякое титулование офицеров даже и в строю. Можно их называть попросту: гражданин прапорщик, гражданин генерал.

— Пр-р-ра-авильна-а-а!!!—орет возбужденно весь Совет.

— Но только, во всяком случае, фривольное штатское «гражданин» следует заменить более учтивым «господин», — вставляет с места корнет Сакс, когда шум умолкает.

— Ну, ладно, — машет рукою Падерин, — вот это все, что я предлагаю. А самое главное необходимо, чтобы все эти сегодняшние постановления наши были бы немедленно же опубликованы в виде нашего обязательного для всей армии приказа. На этом я решительно буду настаивать. Мы собрались в свой Совет не в бирюльки играть, а делать революцию. И только мы, представители рабочих и солдат, фактически являемся временной революционной властью.

— Правильно! Правильно! Правильна-а-а!!.. — затрещали солдатские и рабочие ладони, когда Падерин спрыгнул и поправил очки.

— Только, во всяком случае, все это необходимо будет предварительно провести через Исполнительный комитет, — деловито насупясь, проскрипел Соколов, выпятив усы.

— А вот мы довыберем к вам немного своих солдатских делегатов, пусть тогда они там у вас срочно все это и проведут, — обернулся Падерин на-ходу.

— Верно! Правильно! — загудел зал.

И высокий светлый рыжеватый солдат, тот, что крикнул о броневиках, подошел теперь к Падерину и стал деловито ему что-то рассказывать. Тот озабоченно слушал.

— Товарищ Падерин, — подошел я к нему, и он обернулся.

— Ах, вот что! — выслушав меня, приветливо кивнул он, и глаза его ласково сверкнули. — Чтобы связаться с организацией, вам надо будет зайти как-нибудь в комитет наш на Выборгскую сторону, а сейчас вот... Вы говорите, что вы пулеметчик? Погодите-ка, не хотите ль тогда поработать по городу на броневике? Давить пулеметные гнезда полиции?

— Ну, еще бы!

— Ну, вот тогда тебе и пулеметчик! — весело повернулся Падерин к рыжеватому веснущатому солдату, и тот приветливо взглянул на меня.

— У нас на броневике два пулемета, — сказал он. — Я сижу за одним. Того, что сидел за другим пулеметом, вот убило сейчас возле телефонной станции.

— Как то есть убило? Ведь вы ж говорите, что у вас броневая машина?

— Да что там! — снисходительно махнул рукою солдат. — Царское добро, известно. Интенданты, должно быть, карманы свои бронировали, а сквозь наши машины пули нижут, как сквозь бумагу. Так, одна только видимость! А вы хорошо умеете стрелять?

— Ну, еще бы!

— Ну, тогда поедемте. Только вот сперва надо будет в Военной комиссии выцарапать как-нибудь наряд на горючую смесь. Без этого, знаете ли, сегодня здесь уже не дают, а мы сейчас все сожгли.

— Как название машины?

— «Олег».

«Олег»?! О, да я помню тот свинцовый первый день расстрела жандармами и полицией мирной рабочей безоружной демонстрации. Помню я в то утро пустынную Лиговку и зловещий на ней броневик: «Олег». Да, «Олег». И вот теперь вдруг...

— Как фамилия ваша, товарищ?

— Айя, — лучезарно озарился он теплым приветливым светом. — А твоя как, товарищ?

Я назвал свою.

— Пропустите! Пропустите! Пропустите! — бежал через толпу коридора прапорщик, а за ним по пятам стремительно несся тусклый и колкий Керенский.

— Что случилось? — шарахались все в стороны.

Но Керенский и прапорщик уже нырнули в тринадцатую комнату, и толпа любопытных устремилась за ними.

— Что вы наделали?! — завизжал Керенский, ворвавшись за занавес. — Где Чхеидзе?!.

— Его только что вызвал к себе Родзянко.

— Это — безумие!.. Как вы могли?! — захрипел он прерывисто трагическим шопотом. — Ведь Родзянко должен был немедленно ехать, чтоб заставить Николая подписать отречение! Это было согласовано со мной!.. А вы что наделали?! Вы не дали поезда! Вы сорвали все это! Вы сыграли на руку Романовых! Вы спасаете царскую династию! Вы — монархисты?! Ведь это же провокация!.. Вы!.. Вы!.. Вы!.. — задыхался он, брызжа слюною и вскочивши ногами на кресло. — Ответственность за все это... ложится на вас!!! — он соскользнул, беспомощно бухнулся в кресло и, тяжело дыша, распластался на нем, дико вращая глазами. Его синие бритые губы извивались, как мокрые черви.

— Воды! Воды! Поскорее воды! — бросились люди и стали ему расстегивать галстук.

— Пойдем, что ли, — с подавленной неловкостью кивнул мне Айя.

* * *

В правый коридор через тройные караулы чистеньких юнкеров Айю за мной не пропустили. Здесь по сравнительно еще опрятным паркетам одиноко мотались офицеры.

— Боже мой! Боже мой! Вы только послушайте, господа, что там делается! — встревоженно бежал за мною и кричал сюда вперед низенький толстяк в черном длиннополом сюртуке и со свесившимися вниз черными усами. — В Екатерининском зале сейчас огромная депутация солдат! Там и броневой дивизион и наши казачьи полки!.. Надо, чтоб кто-нибудь из наших к ним экстренно вышел!.. Их там

обрабатывают красные. И поскорее усильте юнкерские караулы! Поживей, господа офицеры, поживее! Вы не представляете себе, как там все накалилось! Ради бога, поскорей, господа! Я опасаюсь, что они перебьют арестованных и до нас доберутся! — Жирный черный толстяк летел коридором, как мяч, и судорожно хватался за встречные кителя, сюртуки и визитки.

В сорок первой комнате, где помещалась Военная комиссия, я не застал уже вчерашней сутолоки. На диване сидели две дамы и трое незнакомых штатских мужчин. У окна на машинках сонно пощелкивали военные писаря и одна рыженькая машинисточка с трепетными ноздрями и подведенными дочерна глазками. За столом, где суетился вчера Филипповский, теперь было чистенько прибрано, и сидел в круглой темной визитке невысокий кургузый, похожий на полинялого петуха, седоватый стриженый господин. Он нервно тер свои руки, положив их локтями на стол на бумаги, и то краснел, словно клюква, то синел, как молоденький индюк. Возле него склонились в почтительной позе, в синих брюках на выпуск, два подполковника с белыми кантами генерального штаба и с отвисшими белыми плетеными вожжами — аксельбантами. Один из них, красный высокий и толстый, грузно сопел, тяжело обвисая жирными складками живота, подбородка и щек. Другой, с квадратной под ершик остриженной верткой головкой, напряженно бегал глазами по бумаге и почтительно-убеждающим тоном быстро доказывал сидящему за столом:

— Нет, я такого приказа не советовал бы вам подписывать. Как же это вдруг так: «к недопущению подобных действий со стороны офицеров вплоть до расстрела виновных?» Это офицеров-то? За то, что они отбирают оружие у разнузданной солдатни?!.

— Ну, так что же я могу поделать? — беспомощно синеет сидящий господин, нервно потирающий руки. —

Что мы можем поделать, если там эти... «товарищи»! — и он передернулся в злобный брезгливости.

Машинисточка перевела на меня глаза, а изогнувшийся возле нее долговязый обсосанный прапорщик мигом вскинулся и дернулся ко мне:

— Вам что угодно?..

С каким-то загадочным любопытством сразу все взглянули на меня. И мной овладела здесь непонятная тягостная неловкость и за свой карабин и за свою красную перевязь.

— Мне... Военную комиссию.... наряд вот на горючее... броневая машина.

— Военная комиссия переведена наверх! Здесь только личный кабинет ее председателя, полковника Энгельгардта, и без доклада сюда...

Прапорщик выпроводил меня за дверь.

. . . .

— Ну, что, капитан, полюбовались? — насмешливо кликнул кто-то с окна.

Я оглянулся. Никаких капитанов в коридоре не было. У окошка стояло четыре незнакомых мне прапорщика, а на подоконнике сидел между ними рослый военный чиновник с двумя просветами на узких серебряных погонах. Должно быть, это он по штатской неразберихе принимал мои погоны за штабс-капитанские, потому что тускло-серые глаза его с небрежной улыбочкой смотрели именно на меня. По той манере, с которой он крутнул русый ус, мотнул вялыми складками щек и с боковым присвистом втянул воздух, я узнал в нем Мстиславского.

— Выходит, крупные перемены здесь у вас? — сказал я в тон ему, поздоровавшись.

— Как видите. А я подумал было, что и вы представляться пошли к Энгельгардту, настолько вы быстро влетели к нему, — и он насмешливо передернулся, вызвав сочувственные улыбки прапорщиков. — Я хотел было

даже предупредить вас, что вы немного не во-время. У Энгельгардта сейчас на приеме полковники генерального штаба Якубович с Туган-Барановским. Это ничего, — язвительно передернулся он, — что только вчера они сотрудничали в штабе Хабалова. Это не мешает им вместе с Энгельгардтом формировать сегодня уже «революционный» штаб округа! Да-с, скушали нашу Военную комиссию Родзянко с Милюковым.

— Но как же Совет? Ведь Военная комиссия образована при нем? Почему же ни Керенский, ни Соколов, ни Суханов... ни революционная часть офицерства, наконец?..

— Э!.. — презрительно отмахнулся Мстиславский. — Если б вы знали, сколько сейчас наших офицеров сюда бегает!.. Как мухи на патоку. Мы, как уволенные «вчистую», сидим вот здесь и наблюдаем, как летают к ним представляться эти шаркунчики с фалдочками... Видите, мы и вас заподозрили...

— Ну, что вы! — потупился я. — Я за горючею смесью для броневика... Где у них тут Военная комиссия?

* * *

Военную комиссию я отыскал совершенно в другом конце дворца за вереницей продуваемых сквозняками коридоров, за низкими дверями в продовольственные склады, откуда пахло отсыревшим хлебом, сытыми крысами и дымящейся манною кашей. Там полутемными мостами лестниц я взлетел в сумрак бетонной площадки, на которую выходило несколько дверей. Судя по робкому звону шпор и почтительному шопоту сюсюкающих теней, площадка была полна ожидающих приема офицеров.

— Вам тоже к Гучкову? — спросили меня.

— Да, я за горючей смесью. Для броневика.

— Ну, тогда... — усмехнулись они, — вам сюда вот, направо! Здесь без очереди.

В комнате, в которую я вошел, находилось только двое, и оба были штатские. Один из них, плотно вколоченный в сюртук, задумчиво глядел в низкое квадратное окно. На большом и нескладном, словно слепленном из глины лице его лежала тугая печать волевого упрямства и каменной выдержки. Он смотрел вниз на красные флаги толпы, и легкая паутинка усмешки вилась на его губах.

— Я с броневой машины «Олег». Мне нужно получить горючее.

Глиняное лицо повернулось ко мне от окошка, пытливо мазнуло меня зелеными глазами и кивнуло тупым углом лба на копошившегося за конторскими книгами инженера. Инженер этот быстро ерзал острыми локтями черного кителя и, топырясь серебряным орлом инженерского значка, сразу же сморщил в гармошку низкий лоб свой, топорщась жесткими иглами черных усов и короткого ершика.

— Инженер Паршин! — колюче вспрыгнул он, выпятив оловянные глаза. Потом, проскакав ими по страницам своих записей, он треснутым голосом прохрипел: — Ваша машина у нас здесь до сих пор не зарегистрирована. Когда вы присоединились?

— То есть как это... Видите ли, я недавно на ней. Я — пулеметчик.

— Ну, тогда получайте боевое задание и после этого берите горючее..

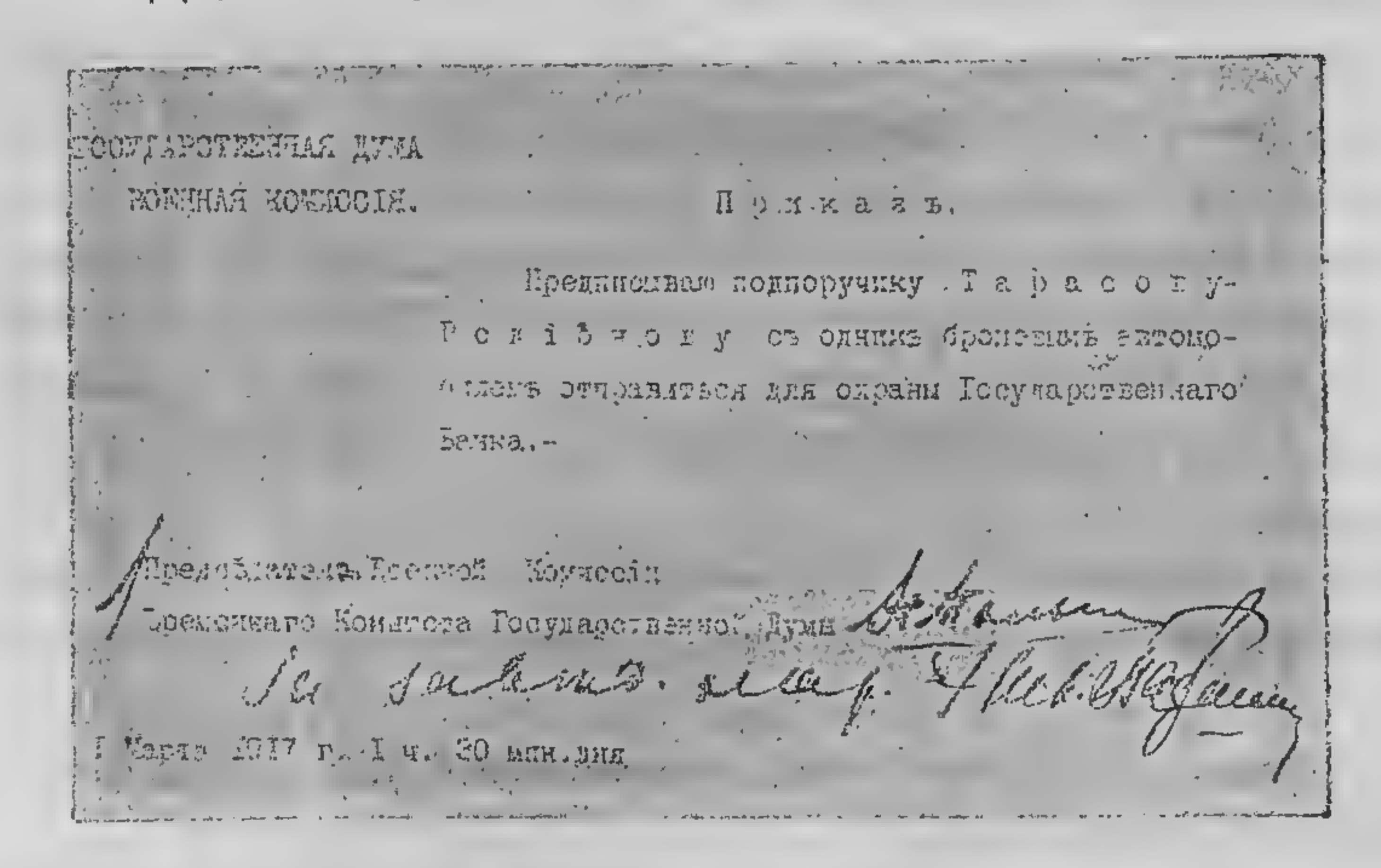
— С удовольствием. Мы сами только что собирались ехать уничтожать пулеметные засады полиции.

— Это — мелочь,—небрежно обернулось глиняное лицо в сюртуке. — Из Государственного банка сейчас требовали помощи. Огромная толпа громил и хулиганов накапливается на Садовой. Ведь тюрьмы открыты. Мы поручаем вам как офицеру всю охрану центрального Государственного банка страны.

— Охрану банка? Хорошо, я поеду... Но если там никакой толпы нет?

— Позвольте мне, инженеру Пальчинскому, товарищу председателя Военной комиссии Александра Ивановича Гучкова, — процедил он небрежно, снисходительно ухмыльнувшись, — позвольте мне быть самостоятельным в своей информации и в своих распоряжениях. Если я говорю, что банк окружила толпа... Угодно вам ехать?

— Да, пожалуйста.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ВОЕННАЯ КОМИССІЯ.

Приказъ.

Предписываю подпоручику Тарасову-Родіонову съ однимъ броневымъ автомобилемъ отправиться для охраны Государственнаго Банка.-

Председатель Военной Коммиссіи
Временнаго Комитета Государственной Думы

1 Марта 1917 г. 1 ч. 30 мин. дня.

Через минуту, засунув в карман подписанный ими приказ ехать к банку и записку на горючее, я уже вылетел на площадку, где из соседней двери в почтительно расступившуюся толпу офицеров торопливо выходил господин в очках. Драными клочьями серебрилась его бороденка, а виски и лысина, казалось, были прикрыты примятым седым пушком одуванчика. Молодой гардемарин, которого я уже видел в Исполнительном комитете Совета, тревожно сейчас лебезил перед ним:

— Ради бога, Александр Иванович, как можно скорее! Всего лишь минут десять назад из Царского села звонил

комендант. Ведь это же ужас! Солдаты вошли во дворец. Государыня срочно просит Михаила Владимировича как председателя Думы немедленно же приехать к ней для переговоров. Но Михаил Владимирович сейчас срочно на проводе со ставкой. Милюков просит вас, Александр Иванович...

Их шаги потонули в гуле каменных лестниц и шелесте козловых сапог щегольски перетянутого в серой черкеске казачьего есаула, который шел вплотную за ними, залихватски покручивая ус.

— Половцев! Половцев! — зашептали вслед офицеры, робко тренькая шпорами. — Неужели, господа, в командующие петроградским округом пролезет эта думская выскочка, Половцев?..

* * *

Айя ждал меня терпеливо у колонн круглого зала, равнодушно держа мой карабин.

В дверях вестибюля мы столкнулись с пыхтящими солдатами, втаскивающими тяжелый ящик.

— Осторожней, товарищи! В сторону! Бонбы взорвутся! Бонбы! — кричали они.

— Вишь, офицеры-лярвы что́ против нас прятали?!—возмущался один из них, отрывая с крышки мотающуюся доску. Ящик был полон мелких, как огурцы, орудийных снарядов. — Это они все в порту спротив нас хранили, паскуды!

— Товарищи, это не бомбы. Это снаряды к морской скорострельной пушке Гочкиса, — пытался растолковать я.

Передние, натужливо держа ящик, недоуменно встали, тяжело переводя дух. Мокрые жилки пота бежали по их загрубелым лбам.

— Ну, чего встали?.. — гневно крикнули сзади. — Нашли кого слушать! Раз офицер, знамо, своих выгораживает. Тащи прямо! Здесь, брат, теперь новые власти, здесь разберут. А то — тоже: «снаряды к пушке»! Бонбандир какой сыскался! Нам пушку теперь не зальешь. Хватит!..

ГЛАВА IX.

Через намерзлую грязь дверей, в непролазной толкотне продуваемых ледяными сквозняками, через кишащую в сквере толпу, вспененную флагами и оркестрами, мы продрались, наконец, на улицу, где за углом мрачно стоял броневик. На зеленовато-серой круглой башне его поверх византийской вязи «Олег» свежим ярким баканом было четко выведено красными большущими буквами «РСДРП» и по бокам два флага. Через открытую заднюю дверку машины неслись наружу перебойное чавканье мотора и железный скрежет рычагов. Толпа любопытных плотно окружала броневик, самодовольно ощупывая его холодную бронь и боязливо нагибаясь к темному отверстию, где замасленный помощник шофера перебирал грязные тряпки.

— Вот, ребята, и я!—крикнул Айя внутрь машины.—Офицера к нам привел. Пулеметчиком будет. Свой, партийный!

Лязг рычагов прекратился, и легкая ровная дрожь затрясла машину. Из темной дыры сначала показалась, осклабясь приветом, кудлатая голова помощника с пятнами грязного жира на носу и щеках, а затем выглянул и сам шофер, перемазанный и закопченный, и с ошметками пакли на реденькой бородке.

— Ну, куда теперь поедем? — весело спросил он и, приветливо кивнув мне и протянув запачканную в масле

и бензине руку, ласково добавил: — Ну, залезайте, товарищи-дятлы, поедемте старые дупла сверлить!

В башне было чадно, тесно, темно и жестко. Кинув карабин у стенки на пол и вскарабкавшись на высокий табурет, я сел за левый пулемет, просунув голову в круглую коробку верхней башенки. В глазницу были видны угол дома и краешек серого неба. Помощник подвинул ящик с лентами и завинтил заднюю дверку. То-и-дело щелкаясь непривычной головой об углы стальных кожухов, я проверил пулемет и вдел ленту.

— Трогай, товарищ...

— ...Николаев! — откликнулся шофер, и машина заскрежетала, дернулась, лязгнула, загудели панцырные стены, и я хлопнулся затылком о стальную коробку вышки.

В манеже девятого кавалерийского полка горючего уже не оказалось. Все разобрали набитые солдатами грузовики, самочинно отправляющиеся в боевые экспедиции. Пришлось доехать до Михайловского манежа.

— Тут разговорчик выйдет, — наклонившись ко мне, через лязг и грохот крикнул Айя, — так смотрите, вы нас выручайте...

Наш броневик быстро катился по залитым народом улицам города. В щель бойницы были видны испуганно-шарахающиеся лица, мгновенно затем озаряющиеся восторженной радостью. Да, на стенке снаружи у нас сияла новенькая надпись. И неимоверная гордость напруживала мое сердце. Ведь все эти солдаты и барышни и студенты так приветливо сейчас улыбаются боевой машине нашей партии. Нашей партии! И я крепко держал пулеметные ручки затыльника, когда броневик, оглушительно дребезжа и скурлыча, тяжело кренился на поворотах.

. . . .

Через темные растворы Михайловского манежа несся на площадь седой туман бензинного чада, и в тусклой мгле

этого огромного каменного сарая, еле освещенного дуговыми фонарями, мрачно поблескивали вереницы панцырных чудовищ, а на залитом бензином и маслом асфальте копошились перепачканные тени солдат.

Блондинистый поручик броневого дивизиона принял от меня наряд на горючее и тоненько крикнул солдатам, чтобы те протянули кишку к нам на улицу.

— Э-э-э... — спохватился он вдруг, — да ведь это ж «Олег»? Как он попал к вам? Это наша машина, самовольно от нас сбежавшая третьего дня. Придется вам ее оставить здесь, у нас. Кто шофер? Николаев?.. Да, да. Мы, офицеры, не можем нарушать свой строевой распорядок. Благоволите...

Но я не отдал броневика. Я заявил поручику, что машина находится в руках его солдат, ею сейчас управляющих. Кроме того она — в ведении Военной комиссии и выполняет ее задания.

— Мы все теперь в распоряжении Государственной думы, — оборвал поручик заносчиво. — Наш дивизион сегодня утром целиком присоединился, и поэтому...

— Тем лучше, — перебил я, — но Совет рабочих и солдатских депутатов постановил сейчас, что офицеры не вправе требовать у солдат возврата захваченного ими оружия и... броневиков, — вспомнил я предложение догадливого Айи.

— Но ведь это Совет...

— Да, Совет, и сам Энгельгардт выпускает сейчас соответствующий приказ...

— Да, но ведь они сбежали от нас без офицера! — вспылил поручик.

— Чем же они виноваты, что офицеры не присоединились к ним своевременно? — ухмыльнулся я вслух. — Теперь у них есть офицер, — и, представившись, я протянул ему предписание Военной комиссии.

— Поручик Филоненко, — сконфуженно прогнусавил в ответ собеседник, взглянув на приказ, и смерил меня с головы до ног затаенной бессильною злобой. — Не смею задерживать. Мы это выясним. Но имейте в виду, что прислугу этой машины мы сейчас же снимаем со всех видов довольствия...

— Не беспокойся, и без тебя прокормимся! — пробунчал обрадованно-сияющий Айя, втягивая меня за руку в бронированный кузов.

* * *

Никакой толпы на Садовой не оказалось. Железные решетчатые ворота банка были заперты изнутри тяжелыми замками. На углу переулка копошилось несколько встревоженных зевак.

— Говорят, что на углу Банковского и Екатерининского, с той стороны, на крыше дома «Треугольника» засели городовые и садят из пулеметов, — вернулся запыхавшийся Айя.

Мы поворачиваем на Невский и, против Казанского собора круто завернув за угол, мчимся по гранитной набережной замерзшего Екатерининского канала. В стальной коробке — грохотно, жарко и душно до тошноты от спертого керосинового перегара. Через освежающую бойницу я вижу крышу трехэтажного желтого дома впереди и большую треугольную вывеску на ней на углу. Силюсь поднять и нацелить пулемет на слуховое окошечко. Увы! Пулеметы закреплены настильно, и, чтобы поднять их, требуется много возни. В бойницу гулко доносится снаружи яростная болтовня обалделого полицейского пулемета. Но достать его отсюда никак нельзя.

— Назад! — командую я.

Броневик с трудом заворачивается. Мы летим обратно.

— Пуля щелкнулась! — кричит нам в ухо помощник.

Мы ныряем мимо монумента полководца Кутузова под нависшую тень стройной колоннады Казанского собора и, вынырнув по другую сторону Екатерининского канала, мчимся к банку. Железный висячий мостик возле него держат в зубах на гранитных берегах две пары больших черных чугунных пантер с золочеными крыльями.

— Стой! — говорю я, — здесь, на углу. Вы, Айя, не стреляйте, а то спутаете мне пристрелку. Я сам с ними справлюсь.

Не теряя ни минуты, навожу пулемет на верхний карниз верхних окон дома, откидываю предохранитель и, быстро нажав кнопку спускового рычага, веду пулеметом вправо. Максим неистово бьется в моих руках, как огромная пойманная птица, заполняя и лаем и грохотом гулкую клетушку броневика. К тяжелой бензиновой гари и духоте прибавляется острый запах бездымного пороха. Верхние стекла окон трещат и со звоном сыпятся вниз, и ровная гирлянда штукатурных вихрей от пулевой струи бежит вдоль карниза. Приняв их за выстрелы из дома, вдали поднимается с угла Гороховой ожесточенная ружейная трескотня по всему дому. Он быстро покрывается оспой. Толпа солдат садит по нему из-за углов и из-за каменных перил моста.

«Зря», думаю я и командую:

— Немного назад! — надо же достать крышу дома.

Несколько пуль на излете гулко бьют о броню, оставляя на ней тупые углубленья. Броневик задним ходом немного отползает назад, пока я не беру на мушку слуховое окно. Мне кажется, что в нем кто-то возится. Быстро вонзаю в него рой острых пуль и затем вспарываю железо крыши вдоль по карнизу, чтоб уж никто не смог убежать.

— Хватит! — бросаю я стрельбу. — Открывайте дверцу! Теперь пойдемте, Айя, в банк.

Мостик узок, и гранитные стены канала отвесны. Черные пантеры, как бабочки, взмахнули золотыми крылами. Пусть высоко над мостиком посвистывают шаловливые пули, — полицейская засада уничтожена. Народ бежит к обстрелянному дому и бушует перед ним. Мы стучимся в ворота банковской ограды. Встревоженный сторож в зеленых галунах под широким тулупом не хочет отпирать, вызывает чиновника. Тот, накинув пальто поверх сюртука, дрожит на холоде, читая мое предписание, и только тогда меня с Айей впускают. Вот она, золотая Бастилия, где за решетчатыми окнами тяжело лежат звонкие блесткие кучи, которые сгребают угольными лопатами. Здесь по клеточкам сейфов спят жемчуга с брильянтами, вся та холодная жесткая роскошь, которая в шумные званные ночи вздорно искрится и млеет на напудренных сальных мясах. По сверкающим широким беломраморным плитам, заглушенным мягкими коврами, мы вбежали в какие-то закутанные драпри дубовые кабинеты, где одетый в дорогое меховое пальто управляющий банком трусливо жал мою руку и уверял, что банк — в полном порядке, что все крепко заперто, — и он тряс при этом звонкою связкой ключей, — и что его беспокоила толпа, перестреливавшаяся с полицейским нарядом, сидящим на чердаке соседнего дома.

— С ними я соединен телефоном! — и тут управляющий помахал одною из трубок, покоившихся на тугом сукне широкого массивного стола. — Но сейчас они почему-то не отвечают, — добавил он с грустью. — Мы будем очень признательны, если вы с броневиком въедете во двор и останетесь здесь для охраны.

— Нет, — сказал я, — запритесь покрепче, вас никто здесь не тронет, а мы здесь окажемся лишними и, пожалуй, только привлечем ненужное внимание.

А про себя в это время подумал: «Долой анархистские мысли!» Потому что анархистские мысли вздорно лезли

мне в голову. Ведь я вместе с Айя влетели сюда вооруженные и пылающие мятежом, а вокруг нас безмолствовала трусливая челядь сторожей и чиновников. Что если крикнуть сейчас им всем: «Руки вверх! Пожалуйте ключики...» Оборвать телефоны и, оставив здесь Айю, помчаться с ключами в Совет рабочих и солдатских депутатов. Какой бы поднялся там восторженный гам! Государственный банк в руках Совета!.. Вот когда бы беспомощно затряслись Милюков и Родзянко; с Гучкова б от страха слез последний пушок, а Энгельгардт б побледнел, как мокрица... Золотая Бастилия в народных руках?!! «Да,— подумал я, — ...но ведь над Советом есть еще Исполнительный комитет, — и я представил себе широкую занавесь и взбешенные непрошенным посещением взгляды.

— Что вам угодно?..

— Опять «внеочередное»?..

— Здесь не митинг, а историческое заседание! — прошипел бы Суханов, а Чхеидзе проскрипел бы колюче: — Вопрос о банках в Савэте еще ны абсуждался!..

Нет, долой мятежные мысли!

— Скажите, пожалуйста, — вкрадчиво спросил провожающий нас управляющий, — а не вывесить ли нам на здании и на воротах красный флаг? А то полицейские наши не отвечают, и я боюсь, что...

— О, вывесьте! Вывесьте! — в один голос воскликнули я и Айя.

Мимоходом мы подбежали к уже поредевшей толпе на углу. На панели у дома, выпачкав его стену, валялась вытащенная груда какого-то месива из черного сукна, человеческой кожи, волос и кровавого теста.

— Ну, и здорово же онч его с броневика!.. — задумчиво обронил один из прохожих среди всеобщего молчания.

* * *

Лязгая цепями колес и неистово тарахтя моим карабином, с грохотом мчится наш броневик по Невскому. Снова звон и треск в ушах, бензинная гарь и жара. Прозрачные зеркала магазинных витрин скользко ловят наше грозное отраженье, призрачно пробегающее по выставленным в них товарам. Пулевые пробоины сияют на огромных толстых стеклах седыми плевками. На панелях — торопливо озирающиеся господа в котелках, уверенные патрули вооруженных рабочих, перетянувших свои пальто ременными поясами, и торжествующе-шатающиеся солдаты без поясов. За углом массивная шеренга опустевшего генерального штаба, взвихрясь плюмажами бронзовых коней на арке, молчаливо вытянулась во-фронт перед бельмами окон Зимнего дворца, застывшего в своей кровавой окраске. И мы пронеслись мимо Александровского сквера. Как обрадовались бы тени расстрелянных здесь 9 января 1905 года женщин, детишек и рабочих, если б они смогли бы проснуться сейчас и увидеть вот здесь наш мстящий за них броневик. Вправо трусливо бежали теперь смертельно-бледные колонны адмиралтейства, и опустошенно торчал бесславно брошенный царскими министрами пустой золоченый клинок. Заиндевелые гранитные скалы огромной Исакиевской просфоры пронеслись мимо нас, и по ровной зеркальной Морской мы свернули на Гороховую.

— Да! Да! Да! Там, на углу Садовой, у кино «Летучая мышь», отчаянная стрельба! Там целый взвод городовых! — кричали нам мальчишки, вприпрыжку бегущие рядом.

Ага! Летучие мыши... Мы влетели на угол Садовой. Но — увы! — как ни откатывал я свой броневик, крышу под обстрел ниоткуда нельзя было взять. Мешали или соседние дома или мертвое пространство фасада. Значит, и они оттуда стреляют впустую. Остановившись на самом

перекрестке, мы все вылезли из броневика друг за другом на улицу и смело позвали из-за углов всех робко стрелявших по крыше.

— Не беспокойтесь. Здесь у них под носом мы в полной безопасности... И нечего канителиться! Лезьте на чердак со двора и глушите фараонов!

Хотелось дьявольски есть. Услужливые студенты свели нас в наспех открытую солдатскую столовую за два дома отсюда, где у дверей толпились курсистки и студенты с повязками красного креста на рукавах. Здесь, подкатив броневик, мы по очереди пообедали. Кислые щи и жирная каша и ласковые фартучки барышень, порхающих среди вкусного пара, — все это после лязга и грохота дурманило голову теплом и уютом.

— Кушайте, кушайте! Пожалуйста, кушайте, господа!

— Видишь? — томно лыбился Айя, — и никаких дивизионных довольствий не надо. Пускай там Филоненко...

Когда мы выходили, солдаты и рабочие из патрулей вели понурые тени разоруженных полицейских, уже стащенных с крыши. Сзади крепко держали под-руки пристава, шагающего в одной калоше, без фуражки и в накинутом поверх мундира штатском пальто. Его лицо было разбито в кровь, и холодно поблескивали перед ним револьверы.

— Ага, ты думал, все это шуточки?! Все это шуточки?! Столько народу ни за что перестрелял!.. Николашку спасали?!

Шофер Николаев, заложив руки в карманы шинели, долго смотрел с любопытством им вслед, пока мы... я, Айя и помощник — взбирались в панцырный кузов.

— Готово, — сказал он, — щелкнули, — и полез вслед за нами.

— Кого? — спросил я.

— А пристава... Не довели...

* * *

По Литейному стлался опаловый дым. Окружной суд все еще догорал с бюрократическим упорством. Одинокая трехдюймовая пушка, разгромившая третьего дня полицейскую заставу на Литейном мосту, теперь скучала без дела, брошенная вместе с зарядным ящиком на углу Сергиевской улицы. Арсенал с открытыми дверями и битыми окнами был опустошен и пройден народом насквозь. Там и сям вдали хлопали бесцельные выстрелы. День бушующих криков и кумачного пламени опускался в дымку сизых сумерек.

Не доезжая Потемкинской, броневик наш безнадежно забуксовал в снежной рытвине.

— Придется сбегать еще за цепью, — сетовал Николаев.— Вы идите, товарищ поручик, в Таврический, а мы подъедем...

— Где вас найти там?.. — уславливался Айя.

Впереди по Потемкинской улице бурлил на тротуарах народ, задорно скакали мальчишки, придушенные звуки оркестра вырывались из-за домов, и во всю ширь улицы, метя ее красным знаменем, четко и дружно без конца проходили несметные черные шеренги матросов. В черных коротких бушлатах, развеваясь по ветру полосатыми ленточками, всхлестывал улицу взмахами клешей гвардейский флотский экипаж. Несметные ряды острых плоских ножей на вороненых круглых японских винтовках колыхались вперед и вперед, подпирая бунтующую медь, за которой гордо вышагивал впереди офицеров вертлявый худой молодой адмирал с черными пауками на золоченых погонах.

— Великий князь! Великий князь Кирилл Владимирович идет на поклон Государственной думе... — ветром неслось по толпе, разинувшей рты с тротуаров.

Дробь пулемета раздалась вдруг впереди, и над матросами просвистел рой свинцовых орешков. И это здесь, рядом с Таврическим дворцом! Эх, жаль, что наш броневик забуксовал, а то с каким наслажденьем я раздавил бы сейчас эту наглую упрямую болячку! Но матросы лишь на мгновенье расстроились, и офицеры возле оркестра замялись, а музыка смолкла. Но сейчас же все так же упруго и стройно, выравниваясь, морская колонна заколыхалась вперед. Я воспользовался заминкой, чтобы, пробираясь рядом с колонной, ее обогнать.

* * *

Таврический сквер попрежнему ходил ходуном от солдатских папах, рабочих картузов, студенческих фуражек, котелков и красных флагов. В раскрытые настежь двери дворца вместе с холодом валили новые толпы войсковых частей и депутаций, оркестры, знамена. Тревожно шумели полутемные лестницы. Бешеной бурей ревели набитые солдатами залы.

В правом коридоре меня перехватил на-лету бегущий навстречу, расширя от страха глаза, встревоженный до бледности Синани.

— Вы слыхали?!. Кронштадт!!. Еще нынче утром!.. Все офицеры перебиты! Адмирал Вирен растерзан в клочки!.. Родзянко посылает туда сейчас членов Думы Пепеляева и Таскина... Ведь это ж анархия!!.

Он умчался.

«Родной, дорогой мой, соседушка, молчаливый бетонный Кронштадт! Милый, милый, прости, что позапрошлой ночью я безнадежно смотрел на тебя через темный пустынный замерзший залив. Ты пришел! Ты пришел на подмогу и поднял старое расстрелянное красное знамя броненосцев «Потемкина» и «Очакова». Недаром тебя так перепугались теперь в старом дворянском Потемкинском дворце!»

В коридоре вспыхнули лампочки.

— Разрешите доложить... — тренькает шпорами перед двумя сюртуками прилизанный офицерик. — Пришли матросы...

— Матросы??!! — глаза оголились от ужаса.

— Да, но другие... Весь гвардейский экипаж. Желают видеть председателя Государственной думы. С ними великий князь Кирилл Владимирович.

— Его высочество?!.

. . . .

Дверь в кабинет Энгельгардта была раскрыта, и ни его самого, ни полковников, ни адъютантов и даже рыженькой машинисточки с лукавыми ноздрями здесь больше не было. Почти по-вчерашнему стучали писаря, и бестолково толпились офицеры.

Как все-таки это быстро здесь все и непонятно меняется!..

— Ну, как, поручик, ваши успехи? — весело окликнул меня бодрый коренастый прапорщик. — Это ведь вы вчера пришли сюда с ораниенбаумцами? Как у вас настроение? А вот у зубров — неважное! Тарутинский полк, отправленный сюда с фронта на усмирение, доехал до Царского Села и побратался. Послушайте-ка, что говорят сейчас его депутаты в Екатерининском зале. «Вся, дескать, армия — за революцию! Да здравствует республика!» Вот это так здорово! У кадетов вся надежда сейчас только на генерала Иванова и георгиевский батальон. Он все еще где-то катится. Ну, а как ваши пулеметчики? Организованы?

Нас окружает толпа офицеров и одиночек-солдат.

— Нет, знаете ли, я сегодня строчил с броневика по полицейским. Кое-где снял. У своих еще не был. А надо обязательно... . . . .

— Товарищ поручик! — влюбленно смотрит на меня румяненький унтер-офицер со светлорусыми подстрижен-

ными усиками.—Пойдемте, пожалуйста, к нам. Командуйте нашим полком.

— ??!..

— Я — старший представитель делегации от Московского полка, выборный от всех солдат. Стоим мы на Выборгской стороне. Офицеров мы своих вчера распугали: несподручные они у нас, стрельбу с нами затеяли. Ну, а как же теперь без командиров? Мне не под силу. Идите, пожалуйста, к нам, будьте командиром полка! Уж как любить вас все будем!.. За революционное геройство! — блеснул он глазами.

Ласковая услада потекла по моему сердцу. Мне представились стройные колонны восторженных бодрых солдат, распущенное красное знамя, и я — впереди! А рядом с нами бесчисленные заводские трубы, закопченные улицы, упрямая поступь рабочих и наш родной большевистский комитет. Я готов был пожать руку унтер-офицеру-московцу и радостно вымолвить: да! Но сразу же вспомнились бессонная ночь похода, перестрелка у Нарвской околицы, чернявый солдат с простреленной ногою, шумная лавина замерзших пулеметов, Шеншин, Мелехов, Куприй...

— Нет! — сказал я, вздохнув. — Нет, я не могу. У меня уже есть своя часть... Вот, быть может, товарищ прапорщик? — взглянул я на своего собеседника. — Вы из здешних полков или с фронта?

— С фронта, — скромно потупился он. — Сейчас в команде выздоравливающих.

— Вот и прекрасно. Берите-ка прапорщика! — кивнул я унтер-офицеру. — Фронтовик!..

— Ах, как складно! Как складно выходит! — заулыбался радостно московец. — А уж как полк-то будет доволен!.. Пойдемте, товарищ прапорщик, пойдемте!..

— Ну, как же это вдруг так? — совсем растерялся прапорщик. — Даже без всякой бумаги...

— Ладно, я вам сейчас напишу, — вскакиваю я. — Напечатайте-ка срочно! — кидаюсь я к писарям: — «Предписание». С новой строчки: «Военная комиссия революционного народа настоящим назначает прапорщика...» Как фамилия? — Он называет фамилию, я диктую и сейчас же ее забываю, — «...командиром Московского полка». Внизу: «За председателя Военной комиссии...» Готово?

Размашисто расчеркиваюсь внизу. Все окружающие офицеры сочувственно смотрят на это, как на должное.

— Получайте! Наплевать, что нет печати! Там, в полку, поставят!.. Счастливого пути! Приведите весь полк в строгую революционную готовность на все!.. Свяжитесь с рабочими!.. — жму им руки.

У прапорщика бурно вздымается грудь и томно от счастья закрываются глаза. Он плывет в огромное будущее. И унтер-офицер сияет от восторга. Чорт побери! Вот она — революция!..

. . . .

В коридоре депутация офицеров. Почтительно ломятся в двери Временного комитета Государственной думы. Впереди их высокий молодой прапорщик-кавказец.

— Нам Родзянку. Нам срочно Родзянку! Мы делегация. Я — прапорщик Шахвердов.

— Родзянко занят. Он в Екатерининском зале. Говорит перед матросами. В чем дело? Все равно и без него. Здесь Временный комитет.

— Мы из «Армии и Флота»... Там собрались офицеры... несколько тысяч... Настроение наше, словом... за Государственную думу... Вот мы составили резолюцию... Надо будет в печать... Хотим посоветоваться... Еще можно изменить... мы имеем там большинство: как скажем, так и будет... Мы вставили вот об Учредительном собрании...

— Совершенно напрасно.

. . . .

На окошке сидит мрачный похудевший Шульгин. Злобно кусает ногти. Перед ним черный усатый толстяк.

— О, если б наступление?!. О, если б наступление?!. Чудо!.. И все было бы спасено..

— Да, — бунчит шаровидный толстяк. — Утром освободили, вечером опять привели... Карусель!..

. . . .

— Где Мстиславский?!. Где Филипповский?!. Там чорт знает, что творится!.. Оказывается, большевики наводнили весь город возмутительнейшими прокламациями. Посмотрите вот!

Его обступает плотная толпа офицеров. Листовку чуть не рвут.

— Безобразие!.. Провокация!.. Что, им мало Кронштадта?!. В Вирены всех нас производят! — раздаются со всех сторон гневные голоса. — Бегите к Мстиславскому! Это надо конфисковать. Он сейчас, кажется, в Военной комиссии. Там, наверху!..

Я смотрю на листовку. Такая же листовка, которая лежит и в моем кармане. Та, что я читал сегодня утром на улице. Прекрасная листовка. Чего все они взбеленились?..

— Если будут меня спрашивать здесь солдаты с броневика, — говорю я в сорок первую комнату, — не откажите им передать, что я буду в Совете...

. . . .

В закоулке коридора один журналистик неистово тряс другого за пиджачную пуговицу, и тот обалдело хлопал глазами.

— Слыхал? У Родзянко только что были послы английский и французский. Официально признали новое правительство Государственной думы.

— Ловко. А как же будет теперь с Николаем?

— Ну, что там: «с Николаем»! Теперь никто и ни чорта не разберет... А видел Кирюшку?

— Мы сейчас с ним возились. Ромом так и разит.

— Однакоже все это — смело! Императорское высочество, как-никак, и вдруг... на поклон революции.

— Подумаешь! Испугался матросского напутствия адмиралу Вирену, вот и все. Шкуру спасает. Вчера отправлял матросов на помощь Хабалову, а сегодня... Зачем, дескать, зря меня убивать, если я все равно все признал. К тому же ловчится теперь попасть в императоры. Владимировичи, они все по отцу: дураки, пьяницы, бабники и жулики.

— Жулик-жулик, а ты смотри, как бы не раз-два, да и в дамки!

* * *

В зале Совета заседания нет. Сидят и вполголоса переговариваются одинокие кучки солдат и рабочих.

В тринадцатой комнате за длинным зеленым столом сгорбился весь взлохмаченный Соколов. Близоруко склонясь над бумагою, пишет. Его окружает группа солдат. Я узнаю здесь и Падерина, и Садовского, и Борисова, и многих других из солдатского Совета. Сейчас они все диктуют.

Падерин кивает мне:

— Поздравьте! — шепчет он. — Теперь мы — члены Исполнительного комитета.

— А дальше? — сосредоточенно скрипит Соколов.

— Ну, а дальше, значит, будет пункт пятый, что ли, — медленно выводит, склонясь круглым лбом, усталый Садовский. — Дальше, значит, так: «Всякого рода оружие, как-то: винтовки...».

— И пулеметы, — добавляет Падерин.

— И бронированные автомобили, — вставляю я.

— ...«винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее»... — гундосит под-нос Соколов. — Ну?..

— Ну... «должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем

случае не выдаваться офицерам даже по их требованиям»,— продолжает Садовский.

— Записываем все давишние постановления Совета, — гордо улыбаясь, шепчет мне Падерин. — Ночью опубликуем все это от имени Исполнительного комитета как наш первый приказ по гарнизону.

— Так, значит, теперь мы — власть?

— Ну, а то кто же?

Солдаты диктуют. Соколов деловито бунчит под-нос, и манжета его трудолюбиво трясется над исписанным листом.

В уголках и поодаль на окнах сидят по-двое, по-трое некоторые из членов Исполнительного комитета и шопотом толкуют о чем-то, стараясь не мешать солдатам. На столах жалкие огрызки кусков черного хлеба с маслом и холодные жестяные кружки с давно застывшим чаем.

— Не видел Молотова?

— Он, кажется, со Шляпниковым в одиннадцатой, — отвечает Падерин.

— Здравствуйте! — машинально протягивает мне руку незнакомый солдат. — Линде.

У Линде зелено-желтое испитое нервное бритое лицо, серые большие глаза и короткие русые волосы.

. . . .

В одиннадцатой комнате пустынно и мрачно. За столом над листом бумаги бок-о-бок сидят и что-то сочиняют Стеклов и Суханов. Суханов сейчас же вскидывает на меня недовольные глаза и шипит:

— Мы здесь работаем. Нам очень некогда...

— Ну, так что же? — раскатисто прерывает Стеклов. — Товарищ офицер нам не помешает. Даже кстати. Мы спешим составить обращение Исполнительного комитета о доверии солдат к офицерам. О контакте. Кронштадтский ужас и эта гнусная большевистская листовка!.. Необходимо против нее...

— Извините, я не разделяю...

— То есть как это: не разделяю? — озадаченно откидывается Стеклов, когда я выхожу.

* * *

Екатерининский зал был настолько переполнен, что люди кишели сплошною массой, плотно забив собою все пространство, и лезли слякотными сапожищами и на полированные столы и на шелковые сиденья кресел. На правом конце зала, на одном из столов соборным колоколом колыхалась туша Родзянки. Слева, жестко ощерясь небритой щетиной, визгливо скрипел, как гвоздь по железу, охрипший Чхеидзе. Справо бухало над толпой: «...Православные воины... не позволим исконному врагу... проклятому немцу... погубить нашу матушку-Русь... постоим за ...» А слева летело, как со ржавой чугунной доски: «...Распутин... цар-р-рскии апрычники... пр-равакатарры... угроза анар-р-р-хией... задачи буржиуазной революции... свободная дэмократия...»

— Молодцы! — гремел Родзянко, что есть силы подбрасывая кверху живот. — Злобный враг!.. беспорядки!.. шпионы!.. прорыв фронта!.. Не допустим, братцы, тевтонского ига! Не дадим на разграбление наши нивы и села! Не дадим на поруганье наших жен и сестер! Пусть крепкая власть из недр Государственной думы!.. Пусть строгий порядок!..

— Р-р-революционная дэмокр-р-ратия, — верещал Чхеидзе, — нэ дапустит!.. Черносотэнные пагромы... рэзултат дэмагогии... анар-р-рхия!.. Задачи буржиуазной рэволюции... пар-рядок!..

Они качались, эти двое ораторов, по обоим концам переполненного зала, как две чашки весов, все более и более приходящие в равновесие. А насупившаяся масса солдат,

матросов и рабочих глядела на них исподлобья, тяжело опершись на винтовки, устало переступала в грязи с ноги на ногу, курила, плевала и зловеще молчала.

— Ты нам вот лучше что расскажи! — вдруг вскочил посередине на какие-то ящики бойкий солдатик и тут же с треском свалился обратно. Но снова подсаженный и поддерживаемый десятками рук, он звонкоголосо, как медный колокольчик, зазвенел о земле, о помещиках, о том, что некуда даже куренка... Затем перешел на царей, обозвал всех их иродами, заявил, что пузы у царей деликатные, а солдатских штыков много, и штыки эти острые, и на каждое брюхо их вдосталь найдется, так что ежели есть охотники царствовать?!. И тому подобное.

Родзянко перешел в беззвучное хрипенье, и казалось, что он теперь мотается молча; от Чхеидзе же слышалось только сдавленное карканье: «дэмакра-дэмакра-дэмакра», а солдатик на ящиках под одобрительный бурный рев всего сгрудившегося к нему зала перешел теперь к словам о войне. Он кричал теперь о мокрых окопах, въедливых вшах и наглой офицерне, о нехватках винтовок и снарядов, о разболтанных пушках; он кричал о том, что ни турецких, ни немецких, ни поляцких земель им, крестьянам, не надобно, что в России про всех всего хватит, ежели б только своя власть. Зал то-и-дело взрывался бешеными восторгами, а солдатик, раскрасневшись, сверкая хрустальным блеском глаз, в какой-то щемящей тоске протягивал руки и вопил, что и немцев ведут супротив нас такие же проклятые генералы, что царей всюду — словно в гумнах мышей, что так кинуть фронт никак невозможно, но и воевать дальше нет сил, да и не для чего воевать; и солдатик беспокойно бегал глазами по доверчиво-пылающим ему навстречу взглядам и разинутым ртам этого взбаламученного зала и растерянно потухал теперь, как догоревшая свечка, бросая робко и

трепетно: «Что же делать?!. Ну, что же делать?!. Что же делать?!.»

И мне вдруг показалось, что я снова сижу в ораниенбаумской офицерской столовой и передо мною давнишнее письмо от жены и нечаянно раздавленный стакан. А зал гудел подавленно и глухо. Тревожное беспокойство металось темными тенями по заветренным лицам. Все жадно искали какого-то маленького, простого и вместе с тем самого яркого и самого нужного слова. И никак этого слова не находили.

И, словно проснувшись от гула, Чхеидзе колюче шипел:

— ...немецкий империялизм!.. защита революции!.. давэрье афицерам!..

И густою медью крыл по залу Родзянко:

— Православные! Мы ль допустим, чтоб немцы сеяли б среди нас гибельную рознь?!.

Мне сделалось как-то не по себе. Я прошел в круглый зал. За нашим большевистским столом сидели какие-то новые незнакомые мне товарищи. У них были сердитые, встревоженные чем-то лица, и листовок на столе уже не было. Они взглянули на меня недоверчиво и враждебно, и я не подошел к ним, а прошел мимо, и мне сделалось в этот момент нестерпимо тоскливо.

Вдруг бешеный рев поднялся сзади. Все кинулись в Екатерининский зал. В гневном гаме сразу ничего нельзя было разобрать. Люди сердито махали руками, люди стучали о пол винтовками, люди взволнованно кричали:

— Нет, ты скажи: а почему царь не арестован?!. Зачем против нас до сих пор посылают с фронту войска?!. Чего тут зря кочевряжился: «немцы-немцы»!.. Мы про немцев лучше твово знаем, ты нам про землю лучше скажи!.. Ребята, чего на него тут смотреть, толстопузого. Сажай его к министрам... Арестова-ать его!.. Ареста-ава-а-ать!!.

— Товарищи! Товарищи! Товарищи! — беспомощно тряслись над солдатами крахмальные манжеты из на-смерть перепуганных визиток. — Опомнитесь, что вы делаете?!. Ведь это ж Родзянко! Сам председатель!..

Оттертый за их спины, Родзянко торопился убраться восвояси с посиреневшим от страха лицом.

* * *

У дверей Исполнительного комитета, где дежурят часовые и студенты, нетерпеливо тумашится коротенький, круглый и крепкий, как перепел, человек. По его аккуратненьким усикам, приличному костюмчику с протянутой по животику цепочкой и по торопливому володимирскому говорку его всего скорее можно принять за удачливого пронырливого купчика.

— Это вопиющее безобразие! — волнуется он. — Нечего сказать, хороша наша «революционная свобода»! Ну, что же вы сказали ему? Вы сказали, что: Шляпников срочно просит?.. Наконец-то! — подлетает он к показавшемуся в дверях Молотову. — Ты знаешь? Сейчас на Николаевском вокзале задержали всю нашу литературу. Комендантишка там какой-то, офицер. «Это,—говорит,—по распоряжению Чхеидзе». Ты понимаешь?.. Надо немедленно выручить, иначе она опоздает на поезд. Я нарочно вызвал тебя сюда, не показываясь сам; что у вас тут делается?.. Ну, чего ж ты молчишь?!..

Но Молотов не молчит. В добрых темных глазах его, скромно сидящих под навесом округлого лба, горит деловая тревога. Чуть заикаясь от волненья, он торопливо передает, что здесь сейчас оборонцы открыто пошли на нас походом, что нам, большевикам, запрещено сейчас выступать здесь перед солдатами, что под нажимом Гучкова вся наша литература конфискована как «погромная», и что надо будет

сейчас же совместно добиться ее освобождения, лишь только кончится это бурное заседание по вопросу о власти...

— По вопросу о власти? — вскидывается Шляпников, и они оба стремительно возвращаются в Исполнительный комитет.

«По вопросу о власти?», подмывает меня.

— Товарищ Молотов! — кидаюсь я им вслед. — Мне б товарища Падерина, если он там. Я — свой.

Быстрый, пристальный, мгновенно теплеющий, доверчивый взгляд, и Молотов пропускает меня за собой мимо часовых и студентов в душную комнату, тесно набитую интеллигентною публикой.

Я живо нашел Падерина возле окна и, перекинувшись с ним шепотком, встал за его плечом.

Говорил Суханов. Все слушали его с неослабным вниманием, хотя говорил он тягуче и витиевато, каким-то небрежно-скучающим голосом, и слова его казались прокисшими, как третьегодняшний суп.

— Я абсолютно несогласен с товарищем Рафесом. Демократия ни в коем случае не должна разделять бремя власти с буржуазией, а тем более в период войны. Подобной коалицией мы скомпрометировали бы идею социалистического интернационализма. Опыт социалистов Альберта Тома и Шейдемана должен служить нам уроком. Вместе с тем я ни в коем случае не могу согласиться и с детскими по наивности предложениями Молотова. Поскольку ближайшими задачами нашей революции являются полное уничтожение царизма и безболезненная ликвидация войны, я не вижу, каким образом думает Молотов справиться с этими задачами, выдвигая эфемерное предложение о создании революционного правительства из наших рядов. У нас прежде всего нет и не может быть никакого аппарата власти, тогда как буржуазия является в организационном отношении несравнимо и опытнее нас и богаче. И вообще

я не слыхал еще, чтобы большевики особенно настаивали на концепции, что текущая война является прологом социалистической революции.

— Напрасно не слыхали. Надо было лучше слушать! — буркнул из угла моложавый, слегка сутулый товарищ в косоворотке с лицом красным и пухлым, словно он пришел сюда только что спросонья. На него сердито зашикали, и он, подтянув брюки и тряхнув хохолочком головы, наклонился к Молотову, стоящему рядом со Шляпниковым.

— Возможно, — с ехидным спокойствием передернулся Суханов, — что товарищ Залуцкий когда-нибудь подробнее познакомит нас с этой максималистской отрыжкой в новейшем издании, но вопрос о власти не ждет. Благоразумные большевики до последнего времени не отрицали, насколько мне это известно, буржуазного характера нашей революции...

— Мы и сейчас не от-трицаем этого! — выкликнул Молотов.

— ...а стало быть, исключительное право буржуазии на власть не только несомненно...

— Откуда же эт-то несомненно? — снова крикнул Молотов.

— Но демократия, — спокойно продолжал Суханов, не обращая на эти выкрики никакого внимания, — должна сейчас приложить все старания, чтобы не отпугнуть оробевшую буржуазию от принятия ею власти...

— Ого! — вскрикнули из большевистского угла.

— ...поэтому наши требования должны быть сейчас самыми минимальными. В своих лозунгах как по вопросу о будущей форме правления, так и, тем более, по вопросу о войне мы должны проявить величайшую скромность и крайнюю осмотрительность.

— Где же концы с концами?! — пронзительно выкрикнул Шляпников.

— То «буржуазия нужна для ликвидации войны и царизма», то «ни звука о войне и царизме, чтобы не пугать буржуазию», вслух усмехнулся Линде.

— И тем более недопустимы,—рассердился, наконец, Суханов, — те бестактные большевистские листовки, в которых без санкции Исполнительного комитета, явно демагогически...

— И провокационно... — злобно добавил кто-то из угла.

— Позвольте! Позвольте! Кто так смел крикнуть?!. Это оскорбление!.. — закричали, зашумели и задвигались в комнате большевистские голоса.

— Товарищи! Спокойствие! — рявкнул председательствующий Стеклов. — Я не мыслю себе, чтобы подобный выкрик мог быть сделан членом Исполнительного комитета. Несомненно, что масса посторонней публики, налезшей сюда через занавеску, только мешает нашему заседанию и обостряет кипящие страсти. Я категорически предлагаю всем не членам Исполнительного комитета немедленно покинуть эту комнату.

Нас вышло человек двадцать. Тут были и солдаты, и рабочие, и студенты, и офицеры.

* * *

Кое-как продравшийся через юнкерские караулы, усталый Айя терпеливо ожидал меня в правом коридоре возле дверей сорок первой комнаты. Энгельгардтовская свита уже вновь овладевала этими аппартаментами, смело вытесняя отсюда «непрошенных, самочинных гостей». Одним словом, гучково-родзянковский штаб снова вовсю приступил к тому «полному уничтожению царизма и безболезненной ликвидации войны», о котором так прекраснодушно только что мечтал Суханов. Однако весь этот вновь осмелевший и разлившийся здесь теперь в малиновом трезвоне шпор и пахучих духах

фиксатуара офицерский задор далеко не разделялся самими — уже чего бы казалось! — всемогущими главарями того Временного комитета, который так скоропалительно был признан сегодня как законная власть со стороны щепетильнейших послов Англии и Франции. Мы отправились с Айей наверх, в Военную комиссию. Правда, Айя упирался, но я настоял, что надобно же сообщить о результатах своей командировки. И вся лестница и вся площадка перед дверьми, освещенная теперь лампочками, тоже звенела и благоухала ожидающими гучковского приема офицерами.

Пальчинский встретил нас ласково.

— Да, мне звонили из банка, — сказал он. — Ваше появление действительно спасло положение; запоздай вы, и нельзя было бы ручаться, что толпа...

— Вот неудобно только, что ваш броневик действует автономно от броневого дивизиона, — взмахнул густыми, как войлок, усами инженер Паршин. — Вам необходимо будет, поручик, вернуть сейчас машину в Михайловский манеж, а самому возвратиться к своей части. Вы читали приказ Энгельгардта?..

— Погодите! Постойте-ка, подождите здесь минутку! — спохватился вдруг Пальчинский и исчез на мгновенье из комнаты. — Прекрасно! — быстро вернулся он, чем-то обрадованный. — Вы поедете сейчас на своем броневике почетным эскортом проводить великого князя Кирилла Владимировича до его дворца. А то, знаете ли, сейчас темно, и опять эта перестрелка... Он сейчас выходит от Гучкова, и вы представитесь ему на площадке. Довольны? — любезною ласкою блеснуло глиняное лицо Пальчинского.

— Благодарствуйте! — резко ответил я. — У меня честная боевая машина, и провожать великих князей нам не с руки.

Паршин удивленно вытаращил глаза.

— Ну, к чему ж эти резкости? — снисходительно улыбнулся Пальчинский. — Вы подумаете, чего доброго, что я — монархист, но ведь такт и вежливость обязывают...

Решительно затворив дверь за собою, мы круто вышли на площадку. Офицеры уже стояли там руки по швам, замерев шпалерами в ряд, и раболепно ели глазами разбитного адмирала в черной шинели. Обсосанный докрасна крючок великокняжеского носа вдавил меж обрюзгшими щеками черную подковку усов, над которыми бегали в набухших мешках едкие глазки Владимировича.

— Не извольте беспокоиться, ваше императорское высочество, вас проводит сейчас специальный наш броневик...

— Скорее, скорей! — торопит меня Айя. — Забежим на минутку в Совет к Садовскому и едем!

. . . .

В Совете Стеклов при радостном гуле всего зала зачитывал пункты того приказа, при составлении которого под диктовку солдат-большевиков в Исполнительном комитете я случайно присутствовал.

— Правильно! Верна! — все восторженнее и громче рявкала за каждым пунктом внимательно настороженная толпа депутатов.

— Ну, а теперь позвольте мне информировать вас, — закончил Стеклов, когда настроение переполненного зала в достаточной мере накалилось, — позвольте мне информировать вас, что Исполнительный комитет наш только что постановил допустить образование Государственной думой Временного революционного правительства, так как дальнейшее двоевластие невозможно. Царизм надо уничтожить до конца единой крепкой рукой. Сознательно не входя в состав буржуазной власти, мы свяжем, однако, ее обязательным исполнением неотложнейших революционных мер и проведением в жизнь настоящего только что прочитанного приказа в первую очередь...

Гром рукоплесканий разорвал на клочки нависшую тишину.

— ...а также соблюдением обязательства: ни в коем случае не выводить из Петрограда ни одну из частей нашего революционного гарнизона.

— Ур-р-ра-а! — бешено взревел восторженный зал.

— Садовский советует мне, — выбрался, наконец, Айя к дверям, — сегодня где-нибудь переночевать, а завтра вернуться в Михайловский манеж и приняться там за нашу работу. Надо будет постараться сейчас же пройти от дивизиона сюда депутатом. А вас, значит, сейчас в Технологический?..

— Момент погодите! Я сейчас захвачу с собою у Молотова или у Падерина немного наших листовок для своих солдат...

. . . .

В Исполнительном комитете было уже малолюдно. Заседание кончилось. Солдат наших никого здесь не было видно, а Молотов молча стоял сумрачный у стены.

— Так этого оставить нельзя! Завтра пораньше обсудим это у себя в Комитете! — петушился вкруг него Шляпников. — Утром запретили выступать перед солдатами, сейчас конфисковали литературу, завтра посадят обратно в Кресты. Только этого и остается теперь ожидать!..

Пришлось уезжать без литературы.

В дверях тринадцатой комнаты шла давка.

— Пустите! Где товарищ Суханов? Где товарищ Суханов? Я спешно сейчас из типографии! — тяжело переводил дух запыхавшийся студент.

— В чем дело? — подскочили к нему его товарищи.

— Наборщики отказались набирать его воззвание о доверии солдат к офицерам. — «Это, говорят, — контрреволюция». И воззвание Гучкова тоже не набирают. «Пусть, — гово-

рят, — выкинет оттуда про полную победу, ишь, завоеватель какой нашелся!» Я не знаю, что с ними и делать...

— Товарищи! — нудно вянькали у дверей господа в теплых шубах. — Нельзя ли как поскорей? Говорили, что утром распределите все типографии и разрешите всем газетам выходить, а вот ждем здесь до ночи...

— Обождите Гвоздева, — отвечали студенты. — Гвоздев сейчас приедет. Это в его ведении и Стеклова, но Стеклов сейчас занят...

— Но ведь наша партия «Народной свободы»... — вкрадчиво запел каракулевый воротник.

— Уже говорил бы попросту, что кадеты!.. А то переиначиваются все, чорт их побрал бы! — ругался обескураженный Айя.

У входа в коридор в закоулке сгрудилась небольшая толпа. Несколько офицеров и штатских плотно окружили Керенского, устало откинувшегося на стену. Он топорщился смятым ершиком и злобно брюзжал, размахивая левой рукой:

— Ну, вот перепугали теперь Родзянку!.. Его требуют сейчас из Пскова к прямому проводу... Его царь вызывает!.. Речь идет, очевидно, о сдаче и об отречении, а Родзянко теперь не едет... «Меня,—говорит,—самого уже арестовать здесь хотели, да чтоб после этого я отсюда поехал?!.» И это называется: сознательность масс?!. Взбунтовавшиеся рабы! Слепые, темные, некультурные! Они слушаются только провокаторов! Они кидаются на лживые большевистские листовки!.. Полнейший развал... Без удержу прущая солдатня!.. Сейчас звонят, что на Сенной погром, что по городу происходят убийства... Ни малейшей законности!.. Да, все пропало!.. Да, все пропало!..

— Ну, Александр Федорович, успокойтесь! Успокойтесь, право... — утешал его пожилой штатский в модном полосатом галстуке.

Все остальные подавленно молчали.

— О, нет, — томно передернулся Керенский, — все пропало!.. Меня зовут сейчас войти министром в новое формируемое Милюковым правительство. Но разве могу я при этом полнейшем разложении?!.

— Ну, успокойтесь, право, Александр Федорович!

— Ах, нет, все пропало!..

* * *

Броневик, гулко подскакивая, мчал меня с грохотом по Загородному проспекту в Технологический.

«Ничего, — думал я про себя, — не все еще пропало. Хозяин — тот, кто держит винтовку, а тем более тот, кто держит пулеметы. Пусть изощряются банк-оф-коммерсы и сосьетэ-женерали. Пусть суют власть в руки Родзянок, Сухановых и Чхеидз. Власть останется у того, кто силен и кто смел. И как правы солдаты, что встретили громовым «ура» решение о невыводе их из Петрограда... Попробуй-ка теперь одолеть революцию!.. Вот сейчас я еду в Технологический. Там я вновь встречу тех, с кем шел позапрошлою ночью, — простых, честных, свирепых и милых товарищей. «Вылетай! Вылетай! Вылетай!..» Что это?»

Скрежещущий визг стоном полз мне навстречу. Остановив броневик, я соскочил на улицу. Слепая темная лавина, трепетно освещаемая красными вспышками догорающей вправо полицейской части, надвигалась на меня мимо казарм Семеновского полка тысячами заиндевелых шинелей и скрипом замерзших пулеметных колесиков. Понурые музыканты в жестких кишках толстой меди устало шагали впереди. Огоньковые отсветы пожара ярко играли на клапанах.

— Кто вы? Куда?..

— Ораниенбаумцы мы, пулеметчики... Сорок верст... двое суток... только сейчас все подошли... Сейчас в Государственную думу идем... приветствовать!.. — и он, словно спросонья, встряхнул барабаном.

Дальше, поблескивая холодной медью патронных лент, намотанных крест-накрест на шинели, тяжелыми шагами ступали ряды пулеметчиков.

Впереди них, растерянно мигая глазами, колыхался бородатый генерал Филатов.

ГЛАВА X.

Каменный город тревожно тонул в плотной синеве ночной мглы. Впотьмах по гранитам панелей глухо чавкали грязью растоптанные о камни сапоги. Осторожные шопоты невидимо шелестели на мрачных перекрестках. Беспокойные винтовки судорожно вспыхивали взбадривающими себя выстрелами, расколовшееся эхо которых тумашливо упрыгивало по окаменелым черным фасадам замерзших от слепоты и жути домов.

Электрический яркий свет сухо и праздно бил на мостовую перед подъездом Технологического института и отшвыривал в глубь площади косые черные тени от неугомонно мотающихся солдат. И вестибюль, где еще стояли профессорские вешалки, а на черных досках были наколоты разные объявления студентов, и загрязненная теперь широкая лестница — тихо мерцали в сырой полутьме серыми очертаниями солдат, которые с усталым беспокойством либо бродили вверх и вниз, словно не находя себе места, либо коротали бессонную ночь в товарищеских беседах на холодных каменных ступенях.

— Нет, мы не пошли в Государственную думу. Мы завтра, должно быть, пойдем, — ответили мне солдаты. — Это первый пулеметный полк пошел сейчас туда, да ведь он и разместился-то не здесь, а в Народном доме. Здесь и для остальных наших команд школы тесно. Первый пуле-

метный затем и подходил сюда, чтобы забрать с собою отсюда остальные свои команды, с ними и пошел.

Я узнал дальше, что моя учебная команда стоит здесь в нескольких аудиториях третьего этажа. Все спали, когда я вошел туда. Укутанные шинелями, люди лежали на узких скамьях вдоль стен и на чертежных столах, сдвинутых вместе, как нары, и на полу под столами. Один солдат тревожно взглянул на меня, полуоткинув с лица полу шинели и машинально при этом пощупал сапоги под головою. Потом он с удивлением впился в меня взглядом, взволнованно вскочил на пол босыми ногами и, непроизвольно расправляя свои затекшие от неудобного сна руки, обрадованно вскликнул:

— Поручик... помощник...

Несколько заспанных голов сразу же приподнялось и на полу и на столах. Некоторые сели, некоторые вскочили и, жестоко почесываясь, окружили меня, но глядели молча с каким-то добродушно-растерянным недоумением и слов не находили.

— Ну, как тут живете без меня, ребята? — неловко начал я.

И словно боясь, что нехватит времени обо всем выговорить, они сразу же все наперебой бросились дружелюбно рассказывать мне о своем здешнем житье. Да, живут здесь неважно. Тесно и жестко. Кипяток есть, но обедов подчас нехватает. Хлеба мало. Забеспокоились по своим сундучкам, кинутым в Мартышкине, и почти все съездили и перевезли их оттуда. Лишь у пятовзводников кое-что пропало. Думают на фельдфебеля. Ведь он там один и сейчас остался. Живет теперь без хлопот в полное свое удовольствие. Что ему делается? Вот денщик мой Фенькин, тот места себе не находит. Все по мне беспокоится. «И подушки, — грит, — они с собой не захватили». Солдаты ласково улыбаются.

— Да, ежели б тюфяков сюда и пищу, жизнь в Питере куда поинтересней. Приходили тут к нам от рабочих, говорили, что надо выбирать депутатов в Совет. Ну, выбрали троих: Денисова из первого взвода, Громова из четвертого и вот...—И тут лица солдат как-то смущенно потупились и ласково покосились на человека, стоявшего за моим плечом. Я обернулся. Засунув руки в карманы брюк, в расстегнутой ночной рубашке и босиком, самодовольно улыбаясь, незлобливо глядел на меня Шевелев.

— Я в Совете видел вас сегодня. Вы взошли в дверях, а потом ушли, — обронил он горделиво, и все притихли.

— Да, я был там...

— Значит, тоже депутатом теперь? — медленно поднял он на меня свои насмешливо-наивные ресницы, и все смолкли.

— Нет, меня еще никто не выбрал, — стараясь оставаться спокойным, ответил я, и какая-то тяжелая неловкость нависла над нами. — А кто у вас из офицеров здесь был? — перебросил я разговор, желая отвлечься.

— Красников был... Прапорщик Красников был... Они очень вас искали сегодня... — затараторили наперебой солдаты.

— Как бы вот насчет кроватей для нас похлопотать,— подбросил кто-то сбоку, и я узнал пятовзводника Анисимова, того, что приводил женщину для Шевелева и кричал против меня в ночь восстания на дворе команды. — А то вон кольтовские команды, — плакался он сейчас, — уже достали себе здесь кровати. За них поручик ихний хлопотал, а мы вот, как сироты какие, на полу валяемся.

Обещав команде утром же похлопотать о кроватях, я спросил, не знают ли они кстати, где бы и мне тут переночевать. Они замялись и ничего не могли мне ответить, кроме искренней готовности уступить мне одну из скамеек или

стол. Я отказался, не желая перекладывать кого-либо на пол.

— Тогда вот коменданта здешнего спросить бы. Это во втором этаже...

Во втором этаже, где коридором толпились люди, мне указали на дверь к коменданту. Небольшая аудитория, залитая молочным светом потолочной матовой люстры, была уемисто завалена какими-то ржавыми берданами, охотничьими дробовиками, старинными турецкими пищалями, ятаганами, полицейскими шашками и грудами какого-то другого военного хлама. В углу за небольшим письменным столиком измученно-растерянный студентик самоотверженно канителился с наседающими на него солдатами. Одни жаловались, что они третьи сутки не ели, другие стучали кулаками по столу, заклиная разместить их хоть где-нибудь, так как они только что приехали из Гатчины, третьи клянчили хоть клок сена для околевающих с голодухи лошадей, четвертые с воинственным задором сообщали, что на углу Подольской сейчас стреляют по нас из пулемета и потому надо в два счета всех разбудить и собрать в ружье и пойти снимать фараонов, пятые совали студенту распоротые ими шелковые диванные подушки:

— На̀, возьми! Сичас у офицеря одного квартиру оглядывали, вот и посумневались, не зашил ли сюда планов каких секретных, словно хрустело что изнутри, ан это стружки сюда понапиханы...

— Чудаки! В подушках планы?!. — хватался за голову студентик.

— Что ж тут диковинного? — сердились солдаты и швыряли подушки в угол. — Писали ж вон в газете, что генерал Сухомлинов все наши планы немцам продавал. Ежели генералы... чего ж тогда от офицерей ждать?!.

Студентик ерзал по столу, красными нервно-трясущимися руками выписывал и рассовывал какие-то бумажки,

судорожно хватался за голову и, как рыба на берегу, беспомощно глотал воздух; и тогда розовые глазки его мигали жалобно и обреченно. Наконец, он вырвался из-за столика, обвел всех растерянным взглядом и, остановившись глазами на моих погонах, обессиленно пролепетал:

— Может быть, вы меня смените?.. Хоть на минуточку!

Я покорно сел за столик и стал комендантом, а он удрал и, конечно, не вернулся, и маленький самочинный местный механизмик революционной организованности вновь завертелся попрежнему. Снова к столику лезли, грудились, напирали, толкались, кричали. Настойчивые тревожные руки тянулись за распоряжениями и приказаниями. Каждый спешил увязать свою революционную решимость и свой горячий почин с общим ходом гигантских событий. Каждый малюсенький человеческий винтик стремился зацепиться здесь хоть бы зубчиком, чтоб от этого сразу же ощутить себя уже неотъемлемой частичкой огромной общественной машины, но машины новой и невиданной, машины своей, родной и радостной. И, должно быть, поэтому никто из этих бесчисленных, один за другим промелькнувших передо мною, безымянных солдат не проявил ни тени недоверия к моим, распоряжающимся всеми ими, офицерским золоченым погонам. И не красная перевязь на рукаве была причиной этой доверчивости, а четкая революционная целесообразность моих приказаний. И в ответ встречал я одну лишь готовность во всем мне помочь и все, что я приказываю, выполнить по мере разумения во что бы то ни стало.

— Куда отвести арестованных полицейских, товарищ комендант?

Один из окружающих меня студентов подсказывает мне, что все арестованные содержатся в близлежащем манеже Константиновского артиллерийского училища. Эту подсказку студента слышит и солдат, но он терпеливо до-

жидается моего подтверждения и только тогда уходит исполнять весело и гордо. Одно время вся моя работа грозила застопориться. Все распоряжения свои я сам писал и сам же подписывал на простых клочках бумаги, которые нарезал для меня один из услужливых студентов. И вдруг оказалось, что нехватает печати. Какая, откуда могла быть в это время печать?!. Но требующие печати настаивали. Ведь бумажку-то всякий может написать и подписать. Почем будут знать, что подписана она революционным комендантом этого района, тем более, что по фамилии никто меня не знает, да и неважно это знать. Словом, нужна была печать и больше никаких. И я решительно потребовал ее у тех же студентов. Они покопались в своей студенческой столовой и принесли мне круглую мастиковую печать «Общества взаимопомощи студентов-технологов». И в течение трех суток я уверенно и твердо клал эту печать на все свои приказы, и служила она крепко и верно.

Но это не значит, что все шло тихо и гладко. Случилось событие, когда солдатское море мгновенно вскипело и готово было захлестнуть всех и вся и меня первого, и произошло это по моей же ошибке и в эту же самую первую ночь.

* * *

Его привели и втолкнули ко мне в комнату два растрепанных солдата. Он был полковником какой-то из воинских частей, стоящих в Царском Селе. Фамилию его я сейчас уже забыл. Мирного образца чистенькая и плотная темно-серая шинель и синий шелковый шарф на шее придавали ему аккуратный и уравновешенный вид, и только растерянно-бегающие по красному лицу его малюсенькие темные глазки выдавали его волнение.

— Вот, примите! Куда его девать, гадину? — злобно стукнули солдаты прикладами о пол. — Мы в поезде его сейчас в Царском Селе захватили.

Полковник с надеждой скользнул по моим офицерским погонам и облегченно вздохнул.

— В чем дело? За что вы его?

— Он двоих наших солдат позавчера собственноручно застрелил из револьвера у нас тама-ка... — наперебой затараторили солдаты. — Чай, он наш, мы его знаем.

— Врут они, — устало сказал полковник и с деланным спокойствием зевнул.

Солдаты неистово божились и настаивали на своем. Полковник невозмутимо отпирался.

— Хорошо, — сказал я солдатам, записав их фамилии,— я отправлю его в манеж, где жандармы сидят. Потом наряди следственную комиссию и все разберем.

Солдаты, повидимому, успокоились и вышли, а полковник устало сел на окно и, пытливо глядя на меня, стал отирать пот с затылка. Потом, отдышавшись, он робко подошел к столу и, поманив меня украдкой в сторону, горячо зашептал:

— Спасибо вам, господин поручик. О, если б не вы... Надеюсь, что к жандармам меня вы не посадите, а незаметно отпустите, как только все успокоится.

— То есть как это «отпустите»?..

Но продолжать дальше все равно не пришлось. В дверь вломилась целая ватага крайне взбудораженных солдат.

— Где тут этот самый полковник? Зачем вы его прячете, господин комендант?!. Давай его сюда! Сюда давай! — уже орала вся вмиг наполнившаяся солдатами комната, и грозное эхо катилось по коридорам и лестнице.

— Успокоиться! И не вмешиваться! — отрезал я решительно и строго. — Преступный полковник теперь у меня здесь под арестом.

— Да ведь он же двоих наших солдат застрелил!

— Вот потому-то я и отправлю его, как важного преступника, в следственную комиссию Совета в Таврический

дворец. Я уже звонил туда об этом, — соврал я. — Но самосуда не допущу.

Люди в комнате нерешительно смолкли, но через открытые двери злобно выли коридоры:

— Зачем отправлять?! Куда отправлять?! Сюда давай!.. Ишь растабаривает!..

В узком и тесном, набитом битком, коридоре люди смолкали, по мере того как я проходил мимо них со своим решительным словом, но дерзкие голоса не убывали, а гудели все глубже и глубже и вели меня к лестнице, которая вся сверху и донизу была плотно набита и облеплена взбудораженными солдатами.

— Чего там кочевряжатся?!. Выволакивай его сюда!.. Нашего брата стрелять, — это хоть бы что, а его, выходит теперь, и тронуть не смей?!.

Я встаю на площадке, крепко хватаюсь за перила и, перегибаясь, кричу вверх и вниз, в этот крутящийся и кипящий каменный сумрачный колодец. Я кричу, что я здесь комендант, что о моей революционности могут засвидетельствовать солдаты хотя бы моей же учебной команды, находящейся тут же. И я слышу вслед за этим одобрительный гул голосов с площадки третьего этажа. Я настаиваю на том, чтобы все успокоились, потому что самосуда я все равно не допущу, а полковника сдам в распоряжение Совета. Я уверенно спускаюсь теперь вниз, в вестибюль, настойчиво повторяя те же слова, и мне кажется, что возбужденные солдаты, переполнившие и лестницу и парадный выход, уже послушно теперь успокаиваются. Когда я возвращаюсь обратно, полковник встречает меня заикающимся лепетом:

— Значит, вы решили меня выдать им?

— Нет, не выдам! — брезгливо бросаю я и решительно сажусь за столик, перед которым накопилась новая очередь.

— Товарищ комендант! Толпа!.. Огромная толпа!!! Нас осаждают!.. Все выходы заняты!!. — перепуганно друг за дружкой охватывают меня шопоты сбегающихся студентов.—Там кричат, что если сейчас же не выдадите им полковника, то они немедленно начнут стрельбу по нас с улиц по окнам...

Стрельбу с улиц по окнам? Замирает мое сердце. Ведь за окнами спят вооруженные пулеметами наши солдаты. Они вскочат и будут отвечать. Начнется безумнейший междоусобный ужас. И это в тот самый момент, когда судьба самой революции далеко еще не решена. Не слишком ли дорогая плата за жизнь одного паршивого полковника-палача?

Быстро сбегаю вниз. И в коридорах, и на лестнице, и в вестибюле бродят одинокие кучки сурово перешептывающихся солдат. Я выскакиваю на подъезд, прямо в холод. Яркая электрическая лампа льет мертвый свет на бунтующую солдатами площадь. Отдаленные тени их мрачно тонут в черной мгле насторожившихся окрестных домов.

— Погодите, товарищи! Погодите! — чуть не плача, кричит чернявый студентик без фуражки, беспомощно размахивая руками. — Мы сейчас обо всем передадим! Мы сейчас выясним! Ведь все зависит от коменданта! Ведь полковник здесь — у него под арестом. Его никто не выпускал! Ну, вот вам и сам комендант, — захлебывается студентик, увидав меня, и обрадованно кричит на всю площадь, тыча пальцем в меня: — Вот и сам комендант!..

— Табурет! — шепчу я.—Табурет. Поскорей табурет!— и мнусь в дверях, дожидаясь табурета. И схватив его, я быстро выхожу и ставлю его с краю подъезда. Вскочив на табурет, я четко выделяюсь теперь под светом электрической лампы перед всею несметной толпою, запрудившею площадь. Пускай теперь видят, что я — комендант. Я не дожидаюсь выкриков и требований со стороны толпы. Это

бы только усилило ее напористость и ее требования, и я был бы смят ею в одно мгновение. Нет, я хочу сам вести эту толпу. Я мигом стараюсь схватить все ее настроение и всю ее взвинченность и потому сам первый кричу на всю площадь с горячим возмущением, что требовать сейчас самосуда над полковником могут только контр-революционеры и дезорганизаторы, сеющие панику и раздор. Раз полковник сдан мне, я его из-под ареста не выпущу и никому здесь не выдам, а отправлю на законное расследование в Совет депутатов. Я кричу очень решительно и очень убежденно, но в глубине существа своего сам я чувствую, что говорю чепуху. Но мне так не хочется сделаться причастным к самосуду даже над негодяем и палачом. Миндальное сердце интеллигента мякнет и жмется, и поэтому я кричу до хрипоты горячо и правдиво и чувствую, как огромные массы солдат площади, плотно обступившие меня, мало-по-малу сдаются, сдаются хотя бы тем, что уже не кричат против меня и не протестуют. Но крики о выдаче и протесты продолжаются. Только кричат теперь об этом уже издали, с тротуаров. Это туда отступают перед моим натиском непримиримые горячие головы, но, отступая, кричат издали еще настойчивей и еще злобней:

— Чего его слушать?! Офицерня!.. Ворон ворону глаза не выклюет!.. Перебить их всех надо!.. Выводи полковника, стерва! Выводи, тебе говорят, а то!!

И я чувствую ледяными мурашками по спине, я вижу, как издали вскидываются и нацеливаются на меня десятки винтовок. Один горячечный нажим курка и... И все это чувствуют, потому что мгновенно падает зловещая тишина. Если я трус, я должен вмиг соскочить с табурета, и тогда меня неминуемо тут же растерзают. Ненависть задних рядов беспредельна и, как ток, передается сюда, вперед. Поэтому я спокойно подымаю руку и с напряженной спокойной решительностью, не спеша, говорю:

— Я верю в вашу революционную сознательность и в вашу стойкую выдержку, товарищи солдаты. Выделите сейчас же из рядов своих двадцать вооруженных самых преданных революции человек, и я поручу этому конвою препроводить полковника с моим письмом в Таврический дворец, лишь только наступит утро...

— Чего кочевряжишься?! — орут с тротуаров, и часть винтовок опускается, но только часть, а не все. — Аль не видишь, что давно уже светает?!

Да, в прозрачневеющем воздухе уже тают мутновато-синие тени, и на бледнеющем небе серее и жестче выступают дома. Электрический свет мешал разглядеть мне все это.

— Тем лучше, — спокойно смеюсь я. — Раз светает, значит, скоро и поведем. Ладно, товарищи. Пусть, стало быть, человек двадцать самых отборных пройдут в вестибюль и дождутся, — и я медленно, нарочно медленно, спускаюсь с табурета.

Тревожно-бледные лица откуда-то сбежавшихся студентов провожают меня.

— Значит, вы решили его сейчас отправить?.. Но ведь его сейчас же убьют?!

— Не думаю!.. — коротко и резко.

Отбираю у полковника документы. Они в бумажнике вместе с карточками томной дамы — должно быть, жены — и двух востроглазых кудрявых дочурок, и тут же сорок рублей денег. Револьвера нет, револьвер отобрали солдаты.

— Вот, — обращаюсь к студентам, подавая им полковничий бумажник вместе с моим сопроводительным письмом, — пусть человек шесть из вас вместе с двадцатью солдатами, дожидающимися в вестибюле, отведут полковника в Таврический дворец и сдадут туда, где принимают арестованных.

— Мы не пойдем, — шарахаются студенты.

— А я вам приказываю!

Полковник пристально смотрит на меня, и его передергивающееся лицо бледнеет.

— Немедленно приведите сюда этих солдат-конвоиров, — приказываю я студентам. — Сейчас вас отправят в Таврический, — равнодушно кидаю полковнику и нетерпеливо шагаю по комнате.

— Вы понимаете? — вдруг замирающе шепчет полковник, и зубы его колотятся и дрожат. — Это — смерть. Ведь я же понимаю. Значит, вы меня предаете?..

— Никакой тут смерти и быть не может. Вы в сохранности будете доставлены в Таврический дворец, — вру я нагло и холодно, не глядя на него, а сам думаю: «Неужели я предаю?» Но разве я не делал все возможное, чтобы человеколюбиво спасти жизнь этой сволочи, собственноручно убивавшей солдат? Пусть тридцать три карточки с верных жен и прелестных дочурок, — я не знаю, были ли такие же карточки и у застреленных им солдат. А потом — поднимать из-за этого междоусобный бой?! Да, рисковать жизнью человека, конечно, жестоко, но такова революция.

Студенты входят вместе с солдатами. Те — при винтовках, и лица их налиты строгой решимостью быть исполнительными до конца.

— Вот, — говорю я, — вы отвечаете мне, что доведете полковника живым до Таврического. Образуйте из себя второе кольцо вкруг арестованного, а первое кольцо пусть образуют студенты. Есть у вас револьверы? — обращаюсь я к насупившимся студентам.

— Есть, — обрывают те мрачно-подавленно.

— Ведите! Вы будете старший. Вот его документы и мой пакет.

Студент берет дрожащими руками и мучительно мнется, то бледнея, то краснея, пока полковника выводят в коридор. — Нельзя ль как-нибудь задержать? — кидается он

вдруг ко мне, и юное личико его болезненно передергивается. — Ведь его ж тут убьют! Толпа на площади растет!..

— Чепуха! — отрубаю я резко. — Не будьте слюнявой девчонкой. Крепко окружите его вместе с солдатами двойным кольцом. Живо!

Он уходит. Комната пустеет. Запотевшие окна чуть-чуть начинают сереть. Через минуту вновь один за другим входят и студенты и солдаты. Только сейчас они все уже более спокойны и более доверчивы. Полковника удалось, оказывается, уже вывести через площадь. Солдаты-конвоиры оказались решительными и надежными. Все облегченно вздыхают.

— Вот примайте-ка! Мы на обыске это сичас отобрали,— и взметнувшийся в комнату солдат, опустив полу шинели, с грохотом сваливает прямо под стол мне тяжелую груду каких-то чугунных кубиков и шаров.

Чорт побери! Да ведь это же ручные гранаты и бомбы всевозможных систем! Застыв от ужаса, гляжу на пол и вижу, что весь он уже и без этого давным-давно завален этими бомбами и гранатами. И я и другие то-и-дело спотыкались о них и просто не замечали их в суматохе.

— Осторожнее! — кричу я. — Отойдите! Ведь это же бомбы. Разве их можно так хранить?!

— Ну да бомбы, — равнодушно подтверждает солдат.

— Комендантское помещение надо немедленно же перебросить отсюда куда-нибудь в другое место! — кидаюсь я к студенту. — Здесь останется хранилище конфискованного оружия, и эту комнату надо наглухо запереть.

Идем искать другое помещение, но сталкиваемся в дверях с побледневшим, как воск, растерянно-всхлипывающим студентом.

— На̀-те, — кладет он на стол мне знакомый пакет и бумажник. — Полковника больше нет.

Мертвая тишина заползает в комнату, и с беспощадным укором все смотрят на меня.

— Я ж говорил вам, — жалобно хнычет студент, беспомощно снимая фуражку со своих растрепанных намокших белокурых волос. — Ведь вы же знали, что случится!.. На̀ вот, возьмите теперь его документы...

— Зачем они мне? — враждебно пожимаю я плечами.— Можете оставить их у себя на память.

Документов никто не взял. Они так и остались лежать на столе.

— Где же это его и как? — с напускным равнодушием спрашиваю я другого молчаливо-насупившегося студента, какою-то тряпкой затирающего следы крови на своей черной шинели.

— Едва с Обуховской больницей поровнялись, а тут от вокзала через мостик нас сдавила новая толпа солдат. Царскосельские. Кто-то налетел на него сзади с шашкой, рубанул... а потом все накинулись и... в момент искромсали.

— Вас к телефону! К телефону вас из Государственной думы! — бегут мне навстречу студенты.

Телефон в комнате возле самой лестницы. Звонят из Военной комиссии. Незнакомый спесивый голос от имени самого Энгельгардта встревоженно спрашивает, правда ли, что Технологический осажден солдатами и идет ураганная перестрелка?

— Нет, все спокойно, — говорю я. — Никакой перестрелки не было и не предвидится. Солдат очень много, но все преданы революции.

— Кто это говорит? — брюзгливо нервничает телефон. — Это из Технологического? Комендант Московского района?

— Да, он самый, — и называю чин и фамилию. — Вот, товарищи студенты, — говорю я, вешая трубку, — сюда-то и надо будет перевести теперь комендантскую.

Я равнодушно смотрю через окно на скучный серый утренний двор и на каменную стену соседнего корпуса. Я думаю о том, что отчасти и по моей вине сейчас убит полковник. Но странно, ни малейшего угрызения совести я не испытываю. Ну и что ж из того, что сметен с лица земли один злобный человечек, ставший на пути победного движения всего человечества...

* * *

Утро принесло с собою нескончаемую вереницу новых забот. Надо было уладить вопросы о продовольствии и о кроватях для солдат. Пришлось брать за бока профессуру и созваниваться с продовольственной комиссией Совета, и только при содействии студентов дело было улажено. Потом новые прибывающие части настойчиво требовали размещения. Все команды второго пулеметного полка из Стрельны пришлось перебросить, сосредоточить и уплотнить в здании института гражданских инженеров, что находился поблизости, а в освободившиеся помещения расселить других. Артиллерию, пригромыхавшую из Царского Села, надо было втиснуть в Константиновское училище. Хорошо было в этих хлопотах бегать морозным и солнечным утром по ближним шумящим солдатами улицам и, взвешивая тысячи мелочей, отдавать затем приказания, короткие, ясные и удовлетворяющие всех. Замещать меня в комендантской оставались поочередно студенты, и они прекрасно справлялись с текущею мелочью, оставляя крупные вопросы до моего прихода, да и этой мелочи хватало им по горло. Не успевал я сесть к столу, как просители уже наваливались на меня нескончаемой вереницей. Торговцы спрашивали, могут ли они открывать сегодня свои лавчонки на близлежащем Сенном рынке, железнодорожники прибегали говорить о воинских маршрутах, а в районе было три вокзала: Балтийский, Варшавский и Царскосельский, испуганные гра-

ждане доносили о грабежах, о налетах, и приходилось тут же снаряжать патрули из двух-трех студентов и десятка солдат. Но вот кто-то неожиданно протолкался вперед и приветливо схватил меня за руку.

— Ах, Асан Натич! Как я рад, наконец-то, вас видеть. Вот когда, наконец-то, мы дожили с вами до свобод!..

Распустив обрадованно слюньки, передо мной стоял умиленный розовый прапорщик Красников. Я был искренно рад ему, а он скороговоркой уже выбалтывал все свои маленькие новости: о солдатах нашей команды, о ее настроениях, о том, как он являлся вчера согласно приказу Родзянки на регистрацию офицеров в зал Армии и Флота, и как офицеры эти числом до трех тысяч принимали там резолюцию в своей преданности революции и в верности Учредительному собранию.

— И какая забавная история случилась там при этом, Асан Натич, вы не поверите! Лишь только была выработана там и оглашена среди офицеров эта резолюция, грянул взрыв бешеных рукоплесканий и полились восторженные речи: «народ», «свобода», «революция». И вот поднимается один заслуженный дряхлый полковник и голосом, в котором дрожат искренние слезы, говорит: «Я умилен, я преклоняюсь перед великой свободой, завоеванной народом, я счастлив, что дожил до этих светлых дней. И я предлагаю: пошлемте сейчас же приветственную телеграмму нашему обожаемому монарху!» Десяток хлопков вспыхнул и тут же потух и затем — гробовое неловкое молчание...

— Забавно, — поддакиваю я, не отрываясь от дела, — и скажите, неужели не нашлось там ни одного офицера, который бы выступил и указал, что с монархией бесповоротно покончено?

Красников удивленно хлопает своими детски-наивными глазами и виновато мотает головою: — Нет никого не нашлось...

— Да, вы знаете? — встрепенулся вдруг он, — в команде получен сейчас приказ номер первый Петербургского совета, и потому наши солдаты готовятся сейчас выбирать ротный комитет. Вам бы тоже не мешало б туда подняться, Асан Натич, — и он долго и дружески трясет мою руку.

Часа через два, оттеснив вереницу просителей, в комендатскую осторожно-плавно и вместе с тем торжественно вплыла, звеня шпорами, ватага начальников. Я поднял глаза. Перед столом, окруженный полковниками, сощурив глаза под мохнатыми бровями, сконфуженно пощипывал бороду сам генерал Филатов.

— Ну вот, ну вот, — начал он нерешительно при сосредоточенном молчаньи остальных. — Ну вот, с новосельем вас! — закончил он вдруг бестолково и шутливо-вопросительно обвел свою свиту сощуренными глазками.

Те, не шелохнувшись, глядели в пол. Я встал из приличия.

— Ну вот, — опять заколыхался генерал, — как я рад, что все этак кончилось. Вчера ночью я имел счастье привести наш первый пулеметный полк к Государственной думе. О, какая торжественная минута была там!—Голос Филатова сразу посырел, и он поднес платок к глазам. Оттуда спрыгнули и, пробежав по морщинкам лица и серой кошме бороды, скатились на стол мой две светлых генеральских слезинки. И тогда полковники с деловым участием, но попрежнему молча, взглянули на своего начальника.

— Вот, — продолжал генерал, — здесь под вашим ведением размещены сейчас все команды бывшей мне вверенной школы. Говорят, что сегодня у них, согласно новому революционному приказу, будут производиться перевыборы их начальников и командиров. Конечно, мы, старики, уже отслужили, нам надеяться, конечно, уже не на что... — и вдруг губы его слюняво отвисли, пла-

ток зажал глаза, а живот заколыхался от сдавленных рыданий.

— Полноте, господин генерал! — подал я стул. — Это дело солдат... И почему вы так думаете, что...

На стене соседнего корпуса золотился солнечный луч и сиянием своим говорил, как тогда мне казалось, о весне, о сердечности, о человеческом всепрощении.

Генерал ушел от меня со всей своей свитой совсем успокоенный. Мы условились даже, что я соберу здесь днем общее собрание солдат всех школьных команд, и пусть генерал на нем выступит. Я оглядел его свиту, никого из лиц явно замешанных в активном подавлении восстания здесь не было. Здесь не было даже его верного Локтева. Бедный генерал! Я распорядился отвести для него и его свиты одну из комнат внизу и попросил его только ставить в известность меня о всех вновь прибывающих к нему офицерах.

Потом ко мне — из команды, должно быть — тихонько спустился Шеншин.

— Вы не против будете, господин поручик, что мы начальником команды думаем выбрать прапорщика Красникова?

— О, пожалуйста...

— А то вы очень уж заняты сейчас, а допрежь этого все в Государственной думе, так что вам не до нас, поди... А прапорщик Красников, они...

— О, конечно. Я вполне с вами согласен.

— А потом... — и тут Шеншин потупился, — уж очень против вас агитация в команде ведется...

— Кем ведется? Какая агитация?

— Да все это взводный пятого взвода Шевелев, все за то, что вы его тогда — под ружье... Вам бы помириться с ним, што ли, как-нибудь...

— Идите, Шеншин. Пусть его агитирует...

Затем явился полковник Ковровцев.

— Честь имею явиться... Генерал Филатов сказал мне, что мы должны являться к вам по мере нашего сюда прибытия.

— О, это не совсем так. Я просил только извещать меня об этом, чтобы офицеры, опозорившие себя причастностью к усмирению... — Но у дородного добродушного полковника Ковровцева такие спокойные и безмятежные воловьи глаза и такая мягкость во взоре, что я сразу же заканчиваю: — Да, надеюсь, что и сами они не рискнут попадаться солдатам на глаза...

И Ковровцев спокойно уходит обратно к Филатову, почтительно и радушно пожав мне руку.

Потом кто-то приходит оттуда же сказать мне, что прибыл и полковник Жерве.

Как, сам Жерве?! Командир первого пулеметного полка, тот самый, что перестрелял в Ораниенбауме столько солдат!..

Вскакиваю и мчусь возмущенный. В комнате нижнего коридора, где сейчас и Филатов и вся его свита, стоит и Жерве. Его участливо о чем-то расспрашивают, но при входе моем замолкают, а он учтиво козыряет мне первый и в нерешительности ждет, что будет дальше.

— Ведь ваш полк не здесь, а в Народном доме, почему бы вам не направиться прямо туда?

— Полковник Жерве, — растерянно перебивает Филатов, — согласно собственному его желанию откомандировывается непосредственно к нам в кадровый состав школы.

— Полковник Жерве не будет больше служить и у нас в школе, и вообще я не рекомендую ему больше где бы то ни было служить, — обрываю я решительно, — и я сейчас же прошу полковника Жерве немедленно отсюда удалиться и больше сюда не появляться! — круто поворачиваюсь и ухожу, бросив дверь отворенной.

Жерве, этот строгий усатый блондин, так спесиво экзаменовавший меня по пулеметам, нерешительно мнется теперь, вертит в руках папаху, надевает ее и, козырнув, удаляется. Генерал Филатов, колыхаясь, спешит догнать меня у самой лестницы.

— Я так бы просил вас, господин поручик, разрешить ему...

— Я уже сказал, генерал!

Филатов остается стоять, глуповато мигая глазами.

В комендантской трое пожилых солдат-бородачей таинственно тычут мне в руки какой-то отпечатанный на машинке приказ и хриплым шопотом гудят прямо в ухо:

— К чему это нас отправляют куда-сь, товарищ комендант? Ничего тут такого не может быть?..

Приказ по какой-то номерной запасной дружине о том, что ей надлежит с получением сего в полном составе и при оружии немедленно переброситься в Териоки и ожидать там подхода остальных частей и дальнейших приказаний. Подпись: командир дружины полковник маркиз Паулучи; печать.

— Где стоит дружина?

— В Новой Деревне.

— Где командир?

— А мы сейчас с приказом-ст как раз от него и идем, да и посомневались. А он здеся неподалеку отсюда, у себя на квартире.

Наряжаю команду из десяти добровольцев-солдат. Выбираю самых удалых и спокойных, даю приказ, чтоб маркиз Паулучи был доставлен сюда немедленно.

— Это богатый барин, наш командер-то, — бахвалится, оставшись здесь, один из бородачей, — сколько имений у него здесь под Питером! А с царем нашим — он лучший друг, в гости запросто ездиют...

Здесь опять появляется Красников. Он немного торжественен и приятно взволнован, но предо мною блюдет наивную скромность.

— Как ни отказывался, — подбирает он слюньки, — солдаты силой выбрали меня начальником нашей команды. Но это я так только, на время согласился... Как только вы освободитесь и вернетесь к нам, я немедленно же, ей-богу...

Милый ребенок! Мне забавно, что он всерьез сейчас думает, что все эти перемещения волнуют меня. И я с веселым добродушием хлопаю его по плечу. Он глядит сперва удивленно, но потом вдруг расплывается.

— Ах, Асан Натич, ну какой же я глупый! Ведь большому кораблю большое и плавание...

Когда он выходит, я как-то уже совсем по-новому смотрю на его неуклюже обвисшую шинель и на то, как по-бабьи возит он закованными в шпоры сапогами. И это о больших кораблях, о «карьере» мог сказать мне он, офицер, искренне преданный социализму! Ведь, как-никак, подумал я тогда, хоть и меньшевик он, но ведь все-таки эсдек!

Полковник маркиз Паулучи — плотный, коренастый, смуглый брюнет с пронзительными черными толковыми глазами. Он невозмутимо и уверенно садится на стул передо мною, лишь только его привели, и оглядывает меня с наглым враждебным любопытством.

— Это вы приказали меня арестовать? — насмешливо кидает он.

— Я.

— По собственному почину?

— По собственному почину.

— Прекрасно. Что же дальше?

— Дальше прочтите вот этот приказ и дайте по нему объяснения.

Полковник Паулучи краснеет при виде знакомой ему бумажки, но, пробегая ее глазами, овладевает собою.

— Ну что ж тут особенного? — протягивает он ее обратно.

— Зачем в Териоки? И сегодня, второго марта?

— В Териоки?.. Гм, гм... в Териоки... Для защиты финского побережья от неприятельского десанта, — нагло усмехнувшись, смотрит он на меня.

— Какие же еще части вы ждете и от кого получили вы соответствующие распоряжения?

— Какие части? А какие придут. Мне все равно. А от кого распоряжения?.. Ни от кого. Я тоже это по собственному почину, так же вот, как вы по собственному почину сейчас арестовали меня.

— И вы приятель с Николашкой? — неожиданно и непрошенно вторгается в разговор один из приведших его пулеметчиков.

Полковник брезгливо меряет его с головы до ног:

— Я не знаю никаких Николашек.

— Ну, царь ваш...

— А, друг ли я государя? Да, близкий друг... И я советую вам, поручик, — обращается он вдруг ко мне, — немедленно же меня отпустить. Иначе, даю вам слово, вас по головке не погладят. Даю вам в этом слово. Достаточно и того с меня, что посланные вами вандалы прострелили мне дверь квартиры.

— А чего ж ты не впускал?! — сердито кричат солдаты.

— Отпустите или нет? — надменно встает полковник.

— Нет, я отправлю вас в Таврический, — холодно обрываю я.

— Ночью сегодня наш поручик уже отправил туда одного из вашего брата. Чай, и посейчас на углу его собаки еще не доели! — гогочут солдаты.

Мгновенно стиснув рот, полковник Паулучи глядит теперь мне в лицо с испытующей ненавистью.

— У меня внизу машина, — роняет он с развязной невозмутимостью, — не заставляйте хоть шофера моего мерзнуть напрасно. Если вам угодно прокатиться, я могу подвезть вас до Таврического.

Мое терпение лопается.

— Хватит! — кричу я. — Замолчать! Конвоиры, возьмите арестанта под стражу. Пусть он встанет в углу здесь, и вы следите, чтобы он не смел больше здесь рта разинуть!

Я посылаю в команду за прапорщиком Красниковым.

Неистово дребезжит телефонный звонок. Из Таврического дворца инженер Паршин из Военной комиссии просит к телефону коменданта района. И по поручению генерала Потапова мне сообщается для немедленного исполнения о том, что проведение в жизнь изданного Советом приказа № 1 надобно срочно приостановить. Министр Гучков уже вошел в сношение с Советом, и взамен этого приказа сейчас готовится приказ № 2. Это во-первых, а, во-вторых, я как комендант должен срочно затребовать от всех находящихся во вверенном мне районе воинских частей точные сведения о их численности, состоянии и количестве оружия и ведомости об этом представлять ежедневно аккуратно к двенадцати часам в Военную комиссию Государственной думы на имя Пальчинского или его, Паршина.

— Слушаю! — и вешаю трубку. «Вверенный мне район» — ловко сказано! Упрямая безотчетная злоба душит мне горло. «Плевать мне на них!», хочу я себя успокоить.

— Вот что, — говорю я пришедшему Красникову. — Вы временно побудете здесь вместо меня. Я лично отвезу сейчас этого арестованного полковника в Таврический. И если будут какие запросы сюда от Военной комиссии, вы записывайте и оставляйте их до меня, но сами ничего не исполняйте и ничего им не сообщайте. Понятно?

Красников растерянно и послушно хлопает глазками.

— Ну что ж? Говорите, что очень «понятно»! — язвительно усмехается вслух мой арестант полковник Паулучи.

* * *

Полковничьего шофера я, конечно, немедленно же отправил восвояси. Вместо него посадил какого-то шофера-добровольца из пулеметных команд. Обмотанные патронными лентами два конвоира держали наганы наготове, и полковник Паулучи покорно сел теперь в машину и сосредоточенно молчал всю дорогу. Автомобиль наш то-и-дело останавливали на перекрестках рабочие и солдатские патрули, беря винтовки наперевес. Подбегавший студент с красной перевязью требовал пропуск.

— Какой вам пропуск? Мы сами только что взяли машину и везем вот арестованного прямо в Таврический. Я — комендант Московского района... Трогай!..

Таврический гудел от мерного топота солдатских колонн, благоговейно приходящих на поклонение революции. Пружилась яркая медь оркестров, и красные флаги никли, пролезая через настежь распертые двери.

Отыскав в правом коридоре помещение «Комиссии по делам задержанных высших гражданских и военных чинов» и оставив солдат-конвоиров у дверей, я ввел туда полковника. Заспанный серый пиджак с помятой русой бородкой устало шевелил тонкими длинными пальцами над грудой каких-то бумаг. В мягком кресле утопал в спокойном раздумьи круглый толстяк в сюртуке с чернотой отвисших усов. Где я его видел ? Ну да, конечно, это он летел вчера этим коридором и с ужасом вопил, что солдат обрабатывают красные. Солнечный свет пронизывал косыми лучами полукруглую стеклянную стену, за которой безмятежно дряхлели рассыпающиеся сугробы дворцового парка.

— Вот вам полковник, — обратился я к толстяку, — и вот его приказ. Солдаты уличают полковника в том, что он пытался, вопреки постановлению Совета о невыводе частей гарнизона из Петрограда, отвести свою дружину в Териоки, чтобы, дождавшись подхода других частей, вместе с ними ударить на Питер с контрреволюционною целью.

— Садитесь, пожалуйста, — мгновенно оборачивается толстяк к моему арестанту, и полковник садится. По смуглому лицу его игриво пробегает самодовольная улыбка. — Прекрасно, господин офицер, прекрасно, — обращается толстяк ко мне, — не беспокойтесь сами и успокойте солдат. Мы все здесь разберем.

Он встает с озабоченной хмурью, но, и встав, не становится от этого выше. Накатываясь на меня, как плотный черный мяч, он отжимает меня прямо к дверям.

— До свидания, господин офицер, до свидания...

— Я требую только, — злобно кричит мне вдогонку полковник, — чтобы машина моя дождалась бы меня в Технологическом гараже. За целость ее вы отвечаете.

Толстяк досадливо машет рукой:

— Ах, это потом, потом... Машина никуда не пропадет...

«Ладно, — думаю я, — посидишь за решеткой и без машины».

— Как ваша фамилия? — спрашиваю я толстяка.

— Член Государственной думы Черячукин.

* *
*

Наискосок в бывшем в первые дни помещении Военной комиссии — сейчас большие перемены. Дверь из сорок первой в сорок вторую комнату теперь наглухо заперта, а из последней комнаты открыта в коридор. Стасканные в нее в беспорядке столы, кресла и громоздкие садовые диваны множат общую неуютность, отражаясь в огромной пустоте

блеклых простенных зеркал. У окна за столом — группа офицеров. Небрежные, полулежащие, бездельничающие позы и суетливая болтовня. Я узнаю их. Здесь и Скобейко, и Спнани, и ряд других. А в середке, как лакированный цыган, сверкает вишнями глаз морской офицер Филипповский. Все они добродушно кивают мне, не отрываясь от горячего разговора.

— Демагоги! Демагоги! — небрежно помотывает клипышком черной бородки Филипповский. — Но не страшно... Солдатская масса за ними не пойдет. Солдаты, это — крестьянство, а крестьянство всегда было и будет за нас. Пускай они теперь из кожи лезут вон, их требование какого-то там невиданного революционного правительства из выбранных из состава Совета социалистов — наивная ребячья чепуха. Ведь даже Красиков и Стеклов грозились написать Ленину об их немарксистском поведении... Все равно, они сварятся в собственном большевистском соку на Выборгской своей стороне... Да и это мы еще посмотрим... И среди рабочих влияние их не так уж сильно. Мы еще потягаемся...

— Почему вы на них так нападаете? — вмешался я несмело.

— «Восьмичасовой рабочий день»! — насмешливо передернулся поручик Скобейко, одергивая свой модный коричневый френч.

— Надо сначала закрепить то, чего мы добились! — веско кидает круглоголовый прапорщик Синани.

— А чего мы добились?— робко вспыхиваю я, но тут же окончательно конфужусь, потому что все оборачиваются на меня удивленно и враждебно.

— А вы где были? — срывается Синани.

— Мы добились без вас здесь, батенька, очень многого,— спесиво вскидывается на меня какой-то помятый и взлохмаченный военный врач с пушистыми усами.

— Нынче ночью мы наконец-то добились, — в такт остальным спокойно скрипит Филипповский, — сформирования приемлемого для демократии Временного правительства... — И, не спеша, он разминает папироску закопченными никотином пальцами. — Думцы сдались на все наши условия. И все это будет уже сегодня опубликовано в правительственной декларации, как только это соглашение сейчас вот формально пройдет через Совет. Итак: во-первых — политическая амнистия, во-вторых — полные гражданские свободы, в-третьих — общегражданские права солдатам при соблюдении дисциплины только в строю...

— Этого мало вам?! — кичливо ломает губы уже переодетый в мундир прапорщика Любарский.

— В-четвертых, — загибает палец Филипповский, — милиция и самоуправление городов, в-пятых — отмена сословных, национальных и религиозных ограничений, в-шестых — невывод гарнизона из Петрограда...

— Это хорошо! — восторженно вскрикиваю я, и все скользят по мне уже примиренными взглядами.

— Но главное сейчас не в этом, — продолжает Филипповский, — сейчас важен состав нового правительства. Керенскому так хочется войти туда, он всем об этом говорит, и ему надо войти. Иначе новое правительство, сплошь составленное из кадетов и октябристов и лишенное внутреннего контроля, может в любой момент...

— Так почему же ему и не войти? — простодушно озадачиваюсь я вслух.

Но тут опять почти все, кроме Филипповского, полунасмешливо, полувраждебно оборачиваются на меня.

— Вот как раз-то ему и ненадобно входить, — резко рвет Синани. — Раз еще вчера вечером после всесторонних дебатов Исполнительный комитет строжайше запретил представителям Совета вхождение в буржуазное правительство, Керенский не должен и не имеет права входить.

Буржуазную революцию должно проводить только однородное буржуазное правительство. Мы же, социалисты, рискуем лишь запачкать и руки и репутациию, если будем...

— Эсдековщина... — морщится Филипповский.

— А как теперь насчет республики? Как с Учредительным собранием? Как насчет войны? Насчет земли?..— тороплюсь выспросить я, потому что солдаты, оставленные мною в коридоре, уже настойчиво манят меня в полуоткрытую дверь.

— Какие пустяки! — морщась, шипит кое-кто. Остальные неловко молчат.

— «Республика»? — ухмыляется Скобейко.

— Разумеется, это основной наш лозунг, — чопорно цедит Любарский. — Но надо же знать и ему свое время. И без этого еле-еле только что едва удалось уладить конфликт с Гучковым о демократизации армии. Едва упросили не отказываться от портфеля военного министра. Вы думаете, легко было протащить гражданские права для солдат?!

За большими прозрачными окнами в тени двора колышатся красными флагами все новые и новые солдатские шеренги. Перетянутые в ремнях офицерики горделиво подпрыгивают с боков. Солнечные блики радужно играют на пыльных окнах закопченной водонапорной башни насупротив дворца.

— Не беспокойтесь, скажем когда надо будет и о республике, — зевая, вставляет Филипповский.

— Да посмотрим, как еще обернется с Николаем... — спрыгивает со стола поручик Скобейко. — Вы слыхали?! Сегодня уже поехали к нему «отрекать».

— Как?! Кто?! Неужели?! — затумашились все. — И ни в Совете, ни в Исполнительном комитете никто ничего не знает?!

* * *

— На одну только минуточку в Совет! — говорю я своим солдатам и спешу вместе с ними в этот битком набитый зал. Он полон теперь как никогда, этот зал, но попрежнему черные рабочие пальто тонут в сером море солдатских шинелей. На столе, воткнув руки в карманы жилета, уверенно покачивается Стеклов. Он уже заканчивает свои заверения о неизбежности и необходимости передачи всей власти в руки нового буржуазного Временного правительства. Весь зал слушает его чутко и внимательно. Одинокие покашливания только еще резче подчеркивают всю настороженность депутатов.

— Я полагаю, — гнусавит Стеклов и осторожно поглаживает свою бороду, — что Совет единогласно утвердит это тысячу раз взвешенное и продуманное и уже претворяющееся сейчас в жизнь решение вашего Исполнительного комитета, составленного из вами же избранных авторитетнейших революционных товарищей.

Он спускается со стола, а зал рушится и рассыпается в тысячеруком порхающем плеске. И когда шум и оживленный говор понемногу смолкают, на столе в черной курточке появлется бледный, как занавес, изможденный и брюзглый Керенский. Он еле переводит дух, и зеленые глазки его бегают испуганно и жалко.

— Товарищи! Доверяете ли вы мне? — вскидывается он в надрывном беспомощном вопле.

Все молчат. Молчат от неожиданности, а он застыл с приподнятой рукой.

— Доверяем! Доверяем! — торопятся крикнуть те, что окружают его поближе.

Он опускает руку и глубоко вздыхает, закатывая глаза. Его бритые губы дрожат.

— Я говорю, товарищи, от всей души... из глубины сердца, и если нужно доказать это... если вы мне не доверяете... я тут же, на ваших глазах... готов умереть!.. — и он опять беспомощно никнет и судорожно разводит руками по воздуху.

Все переглядываются. Все колышатся. Взволнованный шопот пробегает по залу.

А Керенский вдруг вздрагивает и твердо вытягивается, как монумент. Связки его губ твердеют.

— Товарищи! — бросает он, и взгляды его разлетаются смело и остро. — Ввиду образования новой власти я должен был немедленно, не дожидаясь вашей формальной санкции, дать ответ на сделанное мне предложение занять пост министра юстиции...

Настороженное внимание зала прорезывается десятком нетерпеливых хлопков.

— В моих руках находятся представители старой власти, и я не решился выпустить их из своих рук.

— Правильно!.. — и более широкий дождь хлопков.

— Я принял сделанное мне предложение и вошел в состав Временного правительства в качестве министра юстиции.

— Браво!!. — орут восторженные глотки, и шум рукоплесканий заволакивает зал.

— Первым моим шагом было распоряжение немедленно же освободить всех политических заключенных и с особым почетом препроводить наших товарищей депутатов социал-демократической фракции Государственной думы из Сибири сюда...

«Это он о наших большевистских депутатах», думаю я ласково, а ладоши мои уже непроизвольно весело щелкают друг о дружку. Весь зал рукоплещет.

— Ввиду того, что я взял на себя обязанность министра юстиции раньше, чем получил от вас формальное полномо-

чие, я слагаю с себя обязанности товарища председателя Совета рабочих депутатов...

Зал растерянно молчит, и беспокоясь чего-то, и не понимая, чего именно Керенский хочет.

— Но я готов вновь принять от вас это звание, — откидывается Керенский самоуверенно, — если вы признаете это нужным...

Большинство недоуменно переглядывается. «Кто его выбирал? Когда? Да и разве этак переизбирают в председатели Совета?..» Но простаки уже аплодируют и кричат:

— Просим! Просим!..

Керенский кланяется. Он кланяется на все стороны, прижимая руки к сердцу и скрыв радостную удовлетворенность в жадных поджатых губах. Затем он вскидывает руку, а другую осанисто прячет за борт тужурки и, бегая плутоватою зеленью глазок, верещит о демократии, о защите им, Керенским, народных интересов, о своей самоотверженной верности революции...

«Зачем он так усиленно убеждает всех в этом?», закрадывается нехорошая коварная мысль, а зал все чаще и все громче гремит теперь шумными ливнями доверчивых рукоплесканий. Но тяжелое и стыдное чувство, хитро прищурив один глаз, упрямо маячит в моих ощущениях. И я гоню его и не могу прогнать. Неужели же человек способен этак хитрить и фальшивить даже в этом честнейшем и самоотверженном подвиге освобождения всего человечества?.. И я вспоминаю вдруг Мартышкино, тягучий томительный зимний день накануне восстания, волглые полосы газеты и продранное красным карандашом то место из думской речи Керенского, которое я тогда подчеркнул: «Остерегайтесь тех, кто на словах исповедует красивые лозунги, но кто не хочет в жизни подойти их исполнить».

Нет, не может же этак врать человек!

* * *

Кипучий людоворот круглого зала, мимо которого мы проходим, стремительно увлекает и солдат моих и меня вместе с ними в Екатерининский зал.

— Новый министр! Новый министр говорит! — торопливою рябью несется настороженный шопот по хлынувшей туда толпе.

Расставленные цепи солдат при винтовках уже не в силах сдержать настойчивого напора. Екатерининский зал, как и в прежние дни, плотно наливается серошинельною распоясанной массой и бродячими кучками рабочих.

На столе, упрямо подобрав в аккуратную черную визитку свое упругое брюшко и сверкая стеклышками пенснэ, топорщит серебристо-пепельные усы Милюков. На румянящихся щечках его глянцевито играет улыбка победы. Уверенно покачиваясь, он самодовольно рассыпает вокруг себя кругленькие звонкие словечки, словно новобрачный король, кидающий червонцы в толпу. Он вкрадчиво вызванивает о «бескровном крушении бесчестного, трусливого, изменнического правительства», о необходимости закрепить эту победу и о сплоченной и единодушной поддержке новой общественной власти...

— Кто это вас выбирал? — хрипло орет на весь зал курчавый матрос, выпячивая из-под распахнувшегося бушлата волосатую, исчерченную синими драконами грудь.

— Кто выбирал вас? — злобно подхватывают солдатские глотки.

— Я слышу: меня спрашивают, «кто вас выбирал?»— настороживо исподлобья, но все еще любезно, озирается Милюков. — Нас никто не выбирал. Если б мы стали дожидаться народного избрания, мы не могли бы вырвать

власти из рук врага. — Он простирает одну руку над толпою, а другую уверенно сует в карман полосатых брюк. — Нас выбрала русская революция!

Взрыв аплодисментов.

— Мели емеля! — кричат рабочие из дальнего угла.

— Так посчастливилось, — ласково перегибается Милюков, перекладывая руку за спину, — так посчастливилось, что в ту минуту, когда ждать было нельзя, нашлась такая кучка людей, которая была достаточно известна народу своим политическим прошлым и против которой не могло быть и тени тех возражений, под ударами которых пала старая власть...

— Это уж не ты ли и ударял-то? — громогласно вопит неугомонный матрос.

— Тише! Тише!.. — шипят окружающие.

— Мы не отдадим этой власти теперь, — распинается Милюков, — когда она нужна, чтобы закрепить победу народа, и когда, упавшая из наших рук, она может достаться только врагу.

— Будет язык-то чесать! Ты скажи: кто министры? — кричат рабочие.

— Распрофессорствовался! — сплевывает матрос.

— Для народа не может быть тайн, — вкрадчиво мнется Милюков с ноги на ногу и ищет в карманах платок, — эту тайну вся Россия узнает через несколько часов, и, конечно, не для этого мы стали министрами, чтобы скрывать втайне свои имена...

— Да ты выкладывай! Не заговаривай зубы!.. — напирают назойливые голоса.

— Я вам скажу их сейчас. — Милюков находит, наконец, платок и звонко сморкается. — Во главу нашего министерства мы поставили человека, имя которого означает организованную русскую общественность...

— Цензовую!.. — упрямо вопят рабочие.

— ... так непримиримо преследовавшуюся старым правительством. Князь Львов, глава русского земства...

— Цензового!! — неистово орет матрос, и ему дружно вторят солдаты.

— ... вы говорите: «цензовая». Да, та единственно-организованная общественность, которая даст потом возможность организоваться и другим слоям русской общественности...

— Дадите вы нам организоваться! Как же, знаем вас! Не впервой, чать! — кричат рабочие, но шум рукоплесканий их заглушает.

— Но, господа, я счастлив сказать вам, — бодро оправляется Милюков, — что и общественность нецензовая тоже имеет своего представителя в нашем министерстве. Я только что получил согласие моего товарища Александра Федоровича Керенского...

Бурный вихрь хлопков мгновенно взрывается в зале и торопливым эхом убегает в коридоры.

«Ах, так вот почему, — думаю я, — Керенский так распипался сейчас... Здесь заранее уже все согласовано...»

— Мы бесконечно рады были отдать в верные руки этого общественного деятеля, — уже самоуверенно покачивается Милюков, — то министерство, в котором он отдаст справедливое возмездие прислужникам старого режима, всем этим Штюрмерам и Сухомлиновым...

И зал вновь гремит бурей рукоплесканий.

— Трусливые герои дней, прошедших навеки, — не унимается Милюков, — по воле судьбы, окажутся во власти не щегловитовской юстиции, а министра юстиции Керенского.

Бешеный гром рукоплесканий.

Матрос лязгает о пол прикладом своей Арисака и, одернув бушлат, молча вытягивает шею. Он сосредоточенно и

злобно жует одними губами, не отрывая взгляда с повеселевшего профессора, как верная охотничья собака, почуявшая редкую дичь.

— Что-то уж больно он за Керенского распинается тут, братишечки!..

Но никто не обращает внимания на его дерзкие матросские слова.

— Кронштадтец! — снисходительно посмеиваются на него через плечо солдаты.

— А вы? А вы? — кричат из толпы Милюкову.

Милюков галантно расшаркивается.

— Мне товарищи мои поручили взять руководство внешней русской политикой.

Восторженный шквал рукоплесканий и криков сотрясает стекла высоких окон, и Милюков щурится, любезно раскланиваясь во все стороны и скромно придерживая профессорскими пальцами круглые сползшие манжеты. Он повертывается теперь так томно и так устало, словно хочет сказать всем этим замученным войною простым солдатским сердцам: вот видите — я ваш слуга, ваш покорный слуга. И рукоплескания от этого вздымаются еще выше и еще настойчивей.

— Быть может, на этом посту я окажусь и слабым министром, но я могу обещать вам, что при мне тайны русского народа не попадут в руки наших врагов.

— Тайны царской своры! — отчетливо выкрикивает рабочий, но шквал новых солдатских рукоплесканий захлестывает его.

Милюков теперь ждет терпеливо, когда эти восторги затихнут. Он выжидает этого деловито-спокойно, крепко уверенный в своей полной победе.

— Теперь я назову вам имя, — начинает он осторожно, — которое, я знаю, возбудит здесь возражения. Александр Иваныч Гучков был моим политическим врагом...

— Другом!.. — суматошно кричат вдруг вокруг. — Не ври!..

— ... но, господа...

Только за шумом и злобными криками Милюкова уже не слыхать.

— ... Гучков человек действий, — прорывается, наконец, его хрип, когда гул понемногу стихает. — И вот теперь, когда я в этой зале говорю с вами, Гучков на улицах столицы организует нашу победу...

Жидкие хлопки, совсем жиденькие хлопки. «Не надуешь солдат», думаю я.

А Милюков все с той же спокойной галантной настойчивостью поводит по сторонам пушистыми кисточками седых усов, сверкает стекляшками пенспэ и говорит, говорит, говорит на все лады... То он пугает: «Что сталось бы здесь со всеми нами, если б не Гучков!» То он расхваливает новых министров, как прасол расхваливает свежую партию черкасских быков, только что привезенных на рынок. Коновалов-де помог организоваться рабочей группе, а Терещенко то же проделал в Киеве.

— Ты про землю скажи! Насчет земли у вас как?! — растут беспокойно-настойчивые крики.

— Министром земледелия мы назначили Шингарева, — безмятежно успокаивает Милюков.

— А программа? Программа какая у вас?! — орут все дерзостней и громче.

— Я очень жалею, — жмется Милюков и шарит по карманам, — что в ответ на этот вопрос не могу прочесть вам бумажки, на которой изложена эта программа. Но дело в том, что единственный экземпляр программы, обсужденной вчера в длинном ночном совещании с представителями Совета рабочих депутатов, находится сейчас на окончательном рассмотрении их. И я надеюсь, что через несколько часов вы об этой программе узнаете.

— Не вертись, как лиса! Программу! Выкладывай: на чем сговорились?! — бушует зал.

— Ну, конечно, я могу и сейчас сказать вам важнейшие пункты, — все более и более краснея и беспомощно озираясь, вертится обескураженный профессор.

— А с Николашкой как? Как с царем? А династию куда дел?! Где Романовы?! — злобно и четко вклиниваются резкие выкрики.

— Вы спрашиваете о династии? — вкрадчиво сжимается Милюков, и кажется, будто и пушистые усы его тоже съеживаются в остренькие шильца. — Я знаю наперед, что мой ответ не всех вас удовлетворит, — танцует он, — но я скажу: старый деспот, доведший Россию до полной разрухи, добровольно откажется от престола или будет низложен. Власть перейдет к регенту великому князю Михаилу Александровичу...

— Как?! Что?! Опять Романовы!! Что?! Слушайте!.. Тише!.. Предательство!.. Сволочи!! — вскипает и ширится бешеный шум.

— Наследником будет Алексей! — кричит Милюков, распушив усы.

— Долой!.. Позор!.. Вон!.. Негодяи!! — гремит зал.

Вокруг Милюкова тумашатся. Штатские пальто и шелковые кашне, офицерские погоны и студенческие шинели самоотверженно оттирают его от озлобленной лавы солдат, рабочих и матросов. А он с подбитым видом еще продолжает стоять на столе и все еще барахтается в хитроумных изворотах своей профессорской речи. Его розовые щеки беспомощно вздрагивают, серые глазки испуганно бегают поверх пушистых кошачьих усов, а тугие круглые манжеты отчаянно взлетают в воздух. Самоотверженные крики «ура» остро вспыхивают в тесном кольце, спасающем оратора, но как они жалки, эти восторженные крики, среди грозного воя всеобщей растущей враждебности! Они жалки в своей чо-

порности, как кустик пустых колосьев, одиноко торчащий в тяжелых волнах спелой нивы. Тогда студенты и штатские поклонники торопливо подхватывают Милюкова на-руки и поспешно уносят его, молчаливо роняющего вокруг себя кислые жалкие улыбки.

— Ах, опять царя?!

— А почему ни слова о войне?!

— Променяли кукушку на ястреба!..

— К чертям всяких царей и царят!! — рокочет разгневанный зал, и тревожные волны людских разговоров уже бегут все дальше и дальше, гудят в круглом зале, вылетают на улицу, где флаги, где оркестры, где солнышко: ворочаются оттуда глухим сдавленным ревом и хлещут грозным прибоем в закоулки дворцовых коридоров, где снуют визитки членов Думы, сверкают позументами погоны юнкеров-часовых и желтеют галстуки скаутов. Привезенные мною солдаты-конвоиры с удовольствием и подъемом наблюдают всю эту дворцовую сутолоку, но необходимо возвращаться. Надо вот только достать где-то пропуск на машину.

Коридором размашисто идет, мотая возле плеч белыми плетями аксельбантов, грузный оплывший полковник генерального штаба Якубович. Он внимательно слушает сухонького человечка в аккуратненьком пиджачке, который семенит под-руку с ним, тщетно стараясь попасть в такт колыханиям полковничьего живота.

— Генерал Рузский опять говорил сейчас по прямому из Пскова. Государь там и с нетерпением ожидает Родзянку. Он уже соглашается дать сейчас ответственное министерство...

Якубович досадливо пожимает плечами.

— Туда сейчас срочно выехали сам Александр Иванович Гучков с Шульгиным. Будем надеяться, что им удастся достичь того мирного...

«Ах, так вот какого рода «победу» мастерит сейчас Гучков, только что воспетый Милюковым!»

Я беспомощно встал, прислонясь к стене в коридоре, как только что дергавшийся игрушечный паяц, у которого нежданно лопнула ниточка. «Каждый воин должен понимать свой маневр», сказал когда-то Петр. И вот, пока все эти дни мы дергаемся здесь ради прекрасного миража «грядущего города сказочных солнц», крепко трезвые люди втихомолку и хитро обделывают свои делишки. Используя наши усилия, расчетливые промышленники уверенно вступают на престол, да еще бережно вытирая при этом помещичью плесень с неприкосновенной и для них монаршей короны. Лет сто двадцать тому назад во Франции они смело рубили головы голубокровым тиранам и бросали мятежные республиканские кличи за рубежи. А теперь здесь, в России, все идет наоборот... Так зачем же для всей этой черствой своекорыстной дряни мы должны теперь таскать голыми руками угли из революционного костра?! Ну да, конечно: запоздалый приход буржуазной революции... Я достаточно развит, чтобы понимать и принимать все это как неизбежную историческую ступень. И уже мне-то всего меньше надлежит от этого топорщиться. Ведь и сам-то я плоть от плоти мелких буржуа, только вот разве зараженный, правда, прекраснодушными мечтами о социалистическом рае, но о рае волшебном и таком неприступно-далеком для нашей сиволапой России! Мелькнули на одно мгновение в памяти чумазые восторженные путиловцы с их чахлым оркестриком у ворот закопченного завода, и сердце сразу же вспыхнуло чем-то отчетливо твердым и ярким. Но все это тут же потонуло в бесконечной беспредельной лавине сермяжно-солдатских ораниенбаумских потоков... Но ведь они же двинулись, эти потоки, они дерзко перешагнули через страх смерти и безудержно пошли вперед?! У них есть свои неотступные цели. Ради этих целей они ни

на миг не задумались прицелиться нынче ночью в мою грудь, лишь только мелькнула у них тень подозрения о желании моем укрыть врага. Верю я в них или не верю?! Вся эта гора тяжелых мыслей вдруг обрушилась здесь на меня так непрошенно и так внезапно, что усталое от бессонной ночи мышление бессвязно запуталось в этих мыслях и беспомощно застыло.

— Что задумались? — подлетел ко мне прапорщик Пригоровский.

— Да вот... пропуск надо на машину...

— Не вздумайте пойти в Военную комиссию. Отберут. Давайте я вам выдам. У нас тут остались от первых дней самодельные бланки с печатями. Не пропадать же им.

Пока Пригоровский заполнял бланк, сорок вторая комната опять наполнялась офицерами.

— Прелестно! — вошел, потирая руки Скобейко. — Четыреста голосов за и только девятнадцать против. Полнейший провал большевистского влияния. Совет утвердил и состав и программу Временного правительства...

— Ну, мы это еще посмотрим! — бросив кому-то назад в коридор, воинственно остановился в дверях, дерзко сверкнув глазами, Сипани. — Вы слыхали, господа, что сейчас Милюков говорил?! Вы слыхали?! Монархия!.. Нет, товарищи, — кинулся он внезапно к нам, быстро и крепко притворив за собою дверь, — борьба еще не кончена!.. Борьба еще далеко не закончена...

— Вы к себе? — остановил он меня, увидав, что я свертываю и прячу за обшлаг рукава полученный мною от Пригоровского пропуск. — Поезжайте, но держите теснейшую связь и только с нами. Никаких разговоров с их Военной комиссией!.. Момент ответственен...

Да, момент ответственен, и поэтому, выйдя в коридор, я хочу как можно скорее повидать хоть кого-нибудь из наших большевиков. А коридоры уже переполнены взбудо-

раженной солдатской и рабочей толпою, шумно расходящейся, очевидно, по окончании заседания Совета. Я спешу скорее туда, но уже у дверей вижу непонятно-встревоженную суетню. Все торопятся назад, в зал заседаний, откуда слышен странный бешеный рев. Я вижу, что люди стоят, пошатываясь от радости, как пьяные. Глаза у всех сверкают, как жидкие огни, а у многих заплывают непрошенными слезами. И даже Чхеидзе, сухой, горбоносый, исчерна-дымчатый Чхеидзе теперь совсем неузнаваем. Он распяливает ястребиный зев, топорщит колючие брови, бестолково машет руками и прыгает, толчась в своей шубе в диком восторженном танце.

— Великий пралетарриат всэво мира! — дергаются его необычные слова.

— Что случилось?..

— Таава - рищ!.. Вы не знаете?! Телеграмма!.. — кидается мне на шею первый встречный в дверях солдат и душит меня в крепких объятиях колючим махорочным солдатским поцелуем. — В Ермании революция! Берлин восстал! Вильгешка свергнут! Эх, брат, мы... мы...

Я не даю ему кончить. Мои ноги подкашиваются. Бешено стискиваю его голову и горячо впиваюсь в его честные солдатские губы.

И какой переполох тут пошел! Все бежали, все кричали, все плакали. А другие, и я в том числе со своими солдатами, стояли и обалдело хлопали глазами. Словно кто-то распахнул сейчас в небе внезапно огромную неподозреваемую всеми нами широченную дверь, и вот мы выплываем сейчас через нее в изумительно сверкающий мириадами красных фейерверков безумно ликующий и гудящий невиданной мощной симфонией человеческой радости необъятнейший океан всемирного пролетарского восстания... О, не сон ли это?! Все бегут, все кричат...

Но кругом и бежали и кричали, как оказывается, совсем не от этого. В коридор с гамом и треском ломились все новые и новые солдатские толпы.

— ... Нет, зачем нам царя?! Зачем нам нового царя сажают?! — вопили солдатские глотки. — Подавай сюда Милюкова!.. Милюкова сюда!.. Старую стерррвуу!! Мы покажем ему новых царей!..

— Товарищи! — дрожал в бледном шопоте пролезший вперед журналист в продавленном котелке. — Поскорее Керенского! Ради бога, скорее Керенского! Там солдаты с улиц уже штурмуют наш дворец...

А уже через четверть часа все окончательно выяснилось. Все прояснилось жалко и глупо. И теперь всем стало мучительно стыдно за свой минутный, такой легковерный и такой детски-наивный восторг. Телеграмма, оказалось, была из Кронштадта. Она говорила о революции, охватившей страну, о восстании в столице и свержении монарха. Но ни страна, ни город, ни монарх названы не были. А военная цензура вычеркнула вдобавок и место отправления: Кронштадт. Кто-то сделал догадку, и все сразу поверили, что телеграмма из Берлина.

Из Берлина!!!

Солдат успокоили. На дворе говорил Суханов, в Екатерининском зале говорил Скобелев, говорил Чхеидзе. Он опять ежился в шубу и с надтреснутой фальшью в голосе убеждал серые толпы, что Милюков высказал только свое частное мнение, и что царей больше не будет...

Синие сумерки душили город. Жалко чавкала перед дворцом уже затрепанная за эти дни марсельеза. Сердито щелкнул я автомобильной дверцей, залезая вместе с солдатами, чтобы ехать обратно в Технологический. А острая, щемящая, неукротимая досада до глупых мучительных слез раздирала сердце.

Эх, почему не Берлин?!

ГЛАВА XI.

Красникова я уже не застал, он смылся бесследно. Вместо него сидел какой-то студент-технолог, весь разопревший от сутолоки бесконечных просителей. Дрожащими руками он обессиленно откинул со лба вспотевшие волосы и обрадованно уступил мне свое место. И снова потянулась неотступная вереница тревожных сообщений, настойчивых просьб, измученных требований. Незаметно посинели стекла окон, электрические лампочки брызнули яркостью света, опять привели каких-то арестованных, в Константиновский манеж их уже не принимали: там было полно. Пришлось отправить в какие-то Тарасовские бани. Ну, что ж поделаешь, бани так бани, — стал сажать арестованных в бани. Среди просителей появилось много чистой публики, все больше с просьбою ордеров на освобождение от обысков; настойчиво совали документы и уходили раздосадованные. Кое-кто просил ордер на выезд из столицы, хотя все вокзалы были открыты, поезда ходили аккуратно и любой мог уезжать-приезжать беспрепятственно. Одна желтенькая женщина в сером платочке долго конфузливо мялась, то-и-дело оправляя выбивающиеся на лоб завитушки. Наконец, застенчиво потянула меня за рукав в угол:

— А вы подить сюды, господин комендант, уж право извините меня, дуру. Это люди меня сюда натакали. Давно, стало быть, разошедшись я с ним и не люблю его, сквалыж-

ника, только известно, при старом режиме через консисторию это надо было да и свидетели чтоб... Срамота!.. А само главное — деньги... А у мово, значит, у нового-то ись, ну где ж денег нам взять. Вот и поизмывался уж он, чортов аспид, через это надо мной... все силком принуждал... а нет, говорит, так я через полицию. Сделайте божецку милость, разведите меня с ним!

Женщина чуть не плачет, студенты улыбаются, солдаты хохочут. Я заставил ее привести с собою своего прежнего мужа. Он оказался каким-то счетоводом, и через полчаса женщина уходила с лучезарно-счастливым лицом, трепетно сжимая мое постановление о разводе, конечно, с печатью «Общества взаимопомощи студентов-технологов». Ну, разве можно без печати?!

Потом неожиданно, как во сне, я увидел вдруг Ручкина. Он подошел без очереди и сразу же отвел меня в сторону:

— Ваш адрес я узнал в Таврическом, в Военной комиссии Энгельгардта. Я второй уже раз сюда приезжаю, первый раз не застал; вы, говорят, в Думу ездили... Как рад я за вас!.. А у меня крохотная просьбица... Знакомый, знаете ли, есть тут один у меня... и очень беспокоится.. Эти безобразные эксцессы, знаете ли, хоть кого напугают... Не согласитесь ли вы сделать ему одолжение?.. Оно в пределах вашей власти и ваших обязанностей. Арестуйте его!

— ?!!

— Ну да, он, видите ли, помощник пристава в нашем районе...

— Пускай и идет в свой район...

— Ах, знаете ли, люди сейчас так напуганы... А здесь, по знакомству вы посадите его, он у вас посидит, пока все уляжется...

Я не стал его слушать. Да и других просителей уже накопилось много и с более важными просьбами. Даже бумажки теперь самому писать становилось некогда. По моим

указаниям их начали мне быстро заготовлять помогавшие студенты, сменявшие друг друга. Оставалось только подписывать.

— Ну ладно, ладно! — отмахнулся я от Ручкина.

Вскоре стали прибегать растерянные перепуганные обыватели. Значит: наступала ночь.

— Господин комендант! Спасите! Пошлите своих солдат! У нас грабят!

— Товарищ комендант!.. Так что винный магазин на Измайловском ктой-то разбил....

— Комендант! За углом пулеметная стрельба!.. Вы слышите?.. Вы слышите?!

Я ничего не слышал, но патрули наряжал то-и-дело, выматывая этим ораниенбаумцев. Свои ребята как-то надежней. Когда вернутся, обязательно зайдут и доложат. Другие же — не всегда.

Элегантно одетый господин вошел в комендантскую и долго наблюдал меня издали внимательно - изучающим взглядом, потом снял перчатки и представился: инженер такой - то... — он назвал какую - то еврейскую фамилию.

— Чем могу служить?

— Вы знаете, господин комендант, что сейчас в нашем районе начинается погром?

— Погром?..

— Ну да, удивляться тут нечего, еврейский погром. Ведь у русских всегда и во всем виноваты были жиды. Как же вы хотите, чтобы этакая революция и вдруг без погрома?

— Погром мной допущен не будет. Какие у вас основания?..

Оснований у него никаких не было. Он ссылался только на свое «национальное подсознательное чутье», как он выражался.

— У меня есть телефоны и есть патрули. Идите спать, погромов не будет.

— «Идите спать»? Легко это вам говорить... — и он в нерешительности стал мять свою пушистую фетровую шляпу. — А вы где предполагаете отдыхать? У вас есть квартира?

Узнав, что квартиры у меня нет, он обрадованно засуетился, настойчиво предлагая и постель и, стол, и все удобства у себя на квартире, тем более что это совсем здесь рядом, на Можайской. Он назвал номер и дома и квартиры и так неотступно просил, что я пообещал ему.

— Ну вот, когда вы придете ко мне ночевать, тогда мы будем знать: погрома не будет.

Но ночевать не пришлось. Глаза слипались, голова бессильно клевала на стол, бумаги то-и-дело заволакивались седым туманом, а комната упрямо не разгружалась от вереницы просителей. Потом звонили по телефону: городом таинственно рыщет какой-то черный автомобиль и в упор расстреливает наши патрули и пикеты. Уже есть несколько жертв.

Немедленно же нарядил вестовых, чтобы срочно предупредить об этом все уличные посты.

Затем подкрался какой-то прилично одетый господин в домашней курточке и без шапки. Он отрекомендовался помощником заведующего хозяйственною частью института и таинственно повел меня в просторный подвал, где помещались какие-то склады и лаборатории. Там поджидали его два молодых инженера и какой-то сутулый старик в широченном пиджаке.

— Вот видите ли, господин комендант, днем без вас притащили и сдали нам сюда партию конфискованных вин... — они подвели меня к углу, где в трех ящиках в беспорядке валялись самые разносортные и разновидные бутылки. — Здешние солдаты про это знают, а нынче вече-

ром некоторые солдаты, и главное живущие не здесь, уже пробовали этот замок штыком. Необходимо сейчас же избавиться от вина, пока не поздно, а то уже ползут настойчивые шопоты, и можно ждать разгрома кладовых. Что с ним делать?

На мое предложение запереть вино в какой-нибудь глухой отдаленный чулан они упорно вертят головами. Нет, надо показать солдатам, что вино отсюда увозится, его надо отправить... ну, хоть в Государственную думу.

— Вы только разрешите, а уж мы сами достанем и грузовик и охрану, и надеемся, вы позволите разобрать между собою несколько бутылок на память...

Ведь теперь я не могу жаловаться ни на обеды для солдат, ни на отсутствие кроватей; добыт даже фураж для лошадей... Так неужели же несколько несчастных бутылок?.. Равнодушно отмахиваюсь:

— Ладно, распоряжайтесь тут, только без скандала!..

Утро вползает вместе с новыми обывательскими кляузами, вместе с настойчивой вереницей оживших от перепуга торгашей, выклянчивающих теперь разрешение на открытие рынка... Сон переломан, тело разбито, лицо противно лоснится, во рту свербит, память увяла, потелячьи смотрю на розовеющий краешек неба, и ни о чем не хочется думать.

Вереница просителей прибывает. Начинают громче хлопать двери, тараторят проснувшиеся коридоры, не замолкая трещит телефон. Я ни во что не вникаю. В этом сейчас меня сменили свеже-отоспавшиеся студенты. И вот в это время входит какой-то страшно знакомый военный. Его взгляд задорно весел, но без тени приветливости. Совершенно не могу припомнить, где я его видел, а он бесцеремонно рассаживается на стуле передо мною и самодовольно закуривает.

— Не ждали? — спрашивает он, пуская мне в лицо клуб дыма.

— Нет, почему же... — машинально отвечаю я.

— Может быть, сомневаетесь?

— В чем? Нет, не сомневаюсь.

Он весело улыбается, и я весело улыбаюсь.

— Ну-с, теперь позвольте машину.

— Какую машину?

— Мою машину. Что вы? Комедию, что ли, хотите играть?! — и он протягивает мне бумаги. Обе с заголовком «Комиссии по делам задержанных высших гражданских и военных чинов». Одна — ордер на освобождение от обысков и арестов, другая — на возвращение автомобиля.

«Паулучи? Маркиз Паулучи? Полковник!.. которого давеча я сам...» Я вскакиваю, и он с насмешливым интересом наблюдает за моим удивлением.

Какая-то беспомощная безграничная яростная злоба клокочет где-то внутри, но только, должно быть, так глубоко, что никак не может пробиться наружу. Я молча разглядываю бумаги. Ордер на освобождение от арестов и обысков подписан членом Государственной думы Карауловым, ордер на возврат машины — Черячукиным.

— Мой шофер со мною. Где машина? — тянет полковник свои бумаги. — Или, быть может, вы не хотите?..

Я продолжаю молча сидеть, весь обессиленный...

— Тогда я воспользуюсь вашим телефоном, чтобы сообщить Энгельгардту...

— Машины вашей я вам не отдам и телефоном моим пользоваться не разрешаю. Можете убираться!..

У Паулучи — красивые глаза, когда он ими сверкает и когда под серебристой проседью висков загораются смуглые щеки.

Суматоха текущих забот и бесконечных просителей так и не дала мне времени сосредоточиться на этом как следует.

А тут вдруг выросло румяненькое, выспавшееся и вымытое, улыбающееся личико Красникова, а из-за спины его четко рявкнуло:

— Честь имею явиться!

Старательно прижав рукой шашку ко шву, мне козырял прапорщик Иловайский. Ничего не было в его веснущатом медном лице, кроме служебного послушания, да, пожалуй, еще легкого и дружелюбного любопытства. Из-за широкой спины его, вздернув красную пуговку носа, робко выглядывал тоже козыряющий прапорщик Застежкин.

— Согласно приказу Военной комиссии нового правительства, — деловито процедил Иловайский, — воинским частям предписывается продолжать нарушенные в эти дни занятия. Как же прикажете?..

— Я думаю, Асан Натич, — вмешался Красников, — что у солдат не занятия сейчас на уме; надо ждать, когда все уляжется. К тому же мы предполагаем сегодня устроить здесь, в актовом зале, общий солдатский митинг всех команд. Я условился с генералом Филатовым, и он выступает. Мы надеемся, что и вы что-либо скажите...

— Да, да, да, конечно... так правильней... А что касается распорядка в нашей команде, — обращаюсь я к Иловайскому, — то ведь теперь выборным начальником ее является прапорщик Красников, так что вы уж к нему теперь...

— Слушаюсь.

— Позвольте, а вы... вы выбраны?

— Точно так! — звякают шпорами Иловайский и Застежкин.

— Вчера еще... — приветливо улыбается им Красников.

Тут влетает растерянный, охрипший незнакомый прапорщик, без ремней и без шапки.

— Гучкова!.. Гучкова арестовали!.. Надо немедленно освободить!..

— Где? Как? За что?— накинулись на него мои студенты.

— На Балтийском вокзале... в железнодорожных мастерских... Он объявил, что царем будет Михаил... Он только что вернулся из Пскова...

— Ну, и чорт с ним! — властно обрубаю я.

Тут студенты волокут меня к телефону. Со мною хочет говорить сам Энгельгардт. Начинает он изысканно-вежливо:

— Что нового во вверенном вам районе, поручик? Какова дисциплинированность частей? Все ли офицеры вернулись? И кстати вот тут у вас маленькое недоразумение... Автомобиль полковника Паулучи взят незаконно... Не откажите немедленно же распорядиться, чтобы его вернули. Вы меня поняли?.. Будет исполнено?.. Вот и прекрасно... Всего доброго.

— О чем это он с вами? — почтительно замирает Красников.

— Так, пустяки...

Когда они выходят, я зову своего шофера.

— Вы свободны, — говорю я ему, — сдайте машину сейчас же заведующему хозяйством института. За машиной придут из Государственной думы...

И когда появляется маркиз Паулучи, я упорно не гляжу на него.

— Проводите этого гражданина во двор, — говорю я студентам, — нам уже надоело возиться с его никудышной машиной.

. . . .

— Вас спрашивает внизу Пуришкевич, — докладывает студент.

Действительно, в вестибюле в сопровождении военного врача мотается какой-то военный чиновник в офицерской папахе и защитного цвета поддевке с узкими серебряными погонами. Лицо его нервно подергивается.

— Разрешите к вам обратиться. Я — член думы Пуришкевич... Великие радостные события этих дней... Я надеюсь, что вы не откажете собрать здесь своих солдат, чтобы я мог обратиться к ним с приветственной речью...

В вестибюль выползает генерал Филатов со свитою. Он приветливо несколько раз козыряет, желая обратить на себя внимание.

— Нет, — говорю я, — не разрешаю.

— Но почему же?.. Вы боитесь, что я монархист?.. Но, во-первых, я приемлю революцию, а, во-вторых, разве теперь не полная свобода?..

— Свобода свободой, но здесь уже были эксцессы... Состояние солдат таково, что я не отвечаю... Одного полковника уже убили... Я не разрешу вам здесь выступать, господин член Государственной думы Пуришкевич.

— Но у меня же есть соответствующие полномочия и охранная грамота от Энгельгардта!..

— Хотя бы и от Энгельгардта...

Я дожидаюсь, пока он выходит и садится в свой автомобиль.

Потом в комендантской с таинственным видом вновь появляется лебезящий Ручкин.

— Привел...

За спиною его растерянно бегает встрепанными глазами субъект в штатском пальто и с перевязанной белым платком щекою. Когда он расстегивается, чтобы дрожащими руками молча положить мне на стол свои документы, видны помочи поверх ночной рубахи и какие-то драные чужие брюки, неуклюже заправленные в щегольские хромовые сапоги. Потом он робко снимает уже ненужную повязку, и тогда видны его размочаленные и примятые усы и бородка.

— В Тарасовские бани! — командую я одному из солдат.

— Слушаюсь! — угодливо пригибается субъект.

Ручкин рассыпается в любезностях, но я бесцеремонно не оказываю ни малейшего внимания. Улетучивается.

Актовый зал был набит до отказа. Первым выступил я. Мысли метались, и я говорил безалаберно. Я сказал о прекрасной дерзости ораниенбаумского восстания и призывал солдат крепко держать винтовки: революция еще не закончена! Я чутко смотрел в глаза всех этих слушателей, этих солдат ораниенбаумских вспомогательных дворовых школьных команд, и меня бесили их приторно-самодовольные улыбочки миролюбивых простачков, неожиданно для самих себя сейчас превратившихся в чествуемых героев какой-то не совсем им понятной, дерзко-мятежной чужой победы.

После меня говорил генерал Филатов. Он путался еще больше, но он так растерянно-покорно моргал глазами, так беспомощно и покаянно разводил руками, так надрывно клялся солдатам в своей отеческой любви и заботе о них по гроб жизни, что когда все его высокие слова о родине, о свободе и о революции уже иссякли, и за неимением другого он пустил слезу, — вся солдатская орава, крепко пахнущая щами и кашей, бурно кинулась к трибуне и с веселым гамом и прибаутками стала качать генерала.

Я вышел.

Надвинулся вечер, и снова пришел еврей-инженер.

— Ну, что же вы вчера не пришли?.. А мы и ужинать вас ждали. Дайте слово, что сегодня обязательно... В любое время дня и ночи... Только на ночь мы баррикадируем парадное, и у нас дежурство. Но вы назовите только вашу фамилию и... — тут он предупредительнейше изогнулся. — Ужин будет ждать вас на столе у постели...

Пообещал. А когда он ушел, отчаянно захотелось есть. Стал припоминать и установил, что совершенно забыл, когда в последний раз ел. Студенты заботливо приволокли

перловый суп и манную кашу. Съел без остатка, но длительно. Все время отрывали.

Далеким придушенным хрипом кто-то кричал в телефон и требовал самого коменданта. Разобрал лишь, что это из Царского Села. Надо немедленно ловить на поезде... очень важное... царские документы... фельдъегеря... ключ революции...

Какой ключ революции?.. Поднялся наверх в команду. Шевелев с двумя одновзводниками столкнулся со мною в дверях.

— Вы не сумлевайтесь, я не сержусь на вас, господин поручик, — сказал он блаженным голоском умиленного именинника, — вы хорошо сейчас говорили. Эх, Керенского вы бы послушали! Вот говорил вчера! Вот говорил!.. Замечательно... Весь Совет его сполна одобрил. И вы сегодня — тоже ничего себе сказали... А ежели что за старое, то я на вас не сержусь... Сгоряча мало ль что бывает. Вон прапорщик Иловайский! Так и то простили. Теперь нам полное спокойствие установить надобно. Это святая наша обязанность. Все офицеры теперь с этим согласны.

Я постарался отделаться от него и вызвал в коридор исполнительного Ржавцева и осмотрительного Семенова. Секретно растолковал им, как встретить сейчас поезд на Царскосельском вокзале и арестовать фельдъегеря в кирпично-малиновой фуражке. Да чтоб ничто из бумаг при нем не пропало. Надо взять верных товарищей.

Внизу меня дожидался высокий, дородный, с широким энергичным бритым лицом офицер военно-автомобильной части.

— Штабс-капитан Матисон, — отрекомендовался он, щелкнув шпорами. И тут я заметил, что шпоры его на ботинках, а икры закрыты черными глянцевыми крагами.

— Я от Военной комиссии. Господин Пальчинский просил меня выяснить численность ваших частей и степень

их дисциплинированности. Все офицеры должны быть на своих прежних местах. Между тем, отсюда сообщалось, будто вы допустили выборы офицеров солдатами... и что даже часть офицеров отстранена?..

— Согласно приказа номер первый.

— Он отменен... Потом здесь у вас незаконные аресты, самовольный захват автомобилей... Скажите, поручик, кем сюда вы назначены?.. Или, может быть, тоже здесь «выбраны»?.. — криво усмехнулся он.

— Я слышал вчера Милюкова, — ответил я, — когда его спросили, кем он выбран, он хорошо ответил...

— Ну, то Милюков!.. А то мы с вами...

— Что вам здесь угодно?

Он побарабанил по столу пальцами и снисходительно пожал широкими плечами.

— Теперь?.. Ничего... — Сверкнул крагами и молча ушел, не козырнув.

Вечерело.

— Отрекся!.. Отрекся!.. Отрекся!.. — влетели студенты, прыгая со свежим листком «Известий» в руках. Мгновенно их облепила толпа. Царь Николай оповещал манифестом о необходимости довести войну до победного конца и о своем отречении от престола в пользу брата своего Михаила... Лица кисло вытягивались.

— Постойте! Товарищи! — вскрикнул кто-то обрадованно. — Вы читайте-ка! В заголовке: «Великий князь Михаил Александрович отказался от своих прав на престол».

— Урррa-a-a!!. — взревела комната.

«Революция побеждает», подумал я, но щемящая обида попрежнему горела в сердце. Контрреволюционная гадина, замышлявшая нас ужалить и мной арестованная, теперь выпущена и катается на автомобиле, издеваясь надо мною. И гучковские молодцы посылают сюда расследова-

телей! Неужели же все, ради чего мы здесь боремся, только пустые красивые лозунги, которых некому осуществить?!. Я вспомнил о Керенском. Вот кому надо бы обо всем написать. Но толпы людей опять лезли в комнату, бурлили по ней и мешали. Я выпроводил всех их вместе с газетой. Пусть устраивают митинг в зале. Мелочные дела поручил студенту, а сам сел писать. Я изложил всю суть дела маркиза Паулучи, указал на связь его с Военной комиссией и требовал его ареста.

В это время Семенов и Ржавцев с сияющими лицами ввели задержанного ими поручика фельдъегерского корпуса. Его фамилия была Леонтьев. Они передали мне и его тяжелый тугой кожаный чемодан. Открыть его он отказался.

— Тогда мы вспорем.

— Но там срочные рескрипты и приказы его величества!..

— Его величество свергнут. Пожалуйте ключики!..

— Но здесь государственные тайны!..

— Вот их-то мы и посмотрим...

Чемодан был открыт. Там оказалось сто пятьдесят девять пакетов за сургучными печатями, адресованные в разные учреждения и разным лицам, начиная с председателя Совета министров и кончая командующим войсками, генералом Хабаловым. Я вскрыл этот пакет. Бумага содержала высочайшее приказание раздавить восстание без всякой пощады. На подлинном царской рукой было расчеркнуто: «Николай».

— Ого! И этого хватит.

Надо было все эти документы сразу же сдать в самые надежные руки. Поручив студентам спешно составить на имя Комиссии по делам арестованных опись всех этих пакетов, я соединился с Таврическим. После долгих настояний и объяснений с различными инстанциями мне обещали срочно выслать машину.

Щеголеватого поручика фельдъегеря обыскали, но ничего не нашли. Он молча глядел на всех исподлобья. Семенов и Ржавцев с винтовками в руках терпеливо сторожили чемодан. Машина пришла только через час.

Это был закрытый тесный лимузин. Ржавцев сел рядом с шофером, а Семенов — со мною. Штыки пришлось снять, винтовки еле умещались в автомобиль и были здесь никчемны. Уставив чемодан в ногах, я усадил фельдъегеря против себя. Я велел ему положить руку на руку на колено и плотно накрыл их сверху своей левой рукой. Правой я нацелил в лоб ему взведенный браунинг.

— Малейшая попытка шевельнуть руками, и я пригвозжу вас на месте.

Машина помчалась. Фельдъегерь сидел, не шелохнувшись и не спуская пристального взгляда с моих глаз; но я чутко ловил затекающими пальцами малейшую дрожь в его горячих руках. Дернись он, пистолет выстрелил бы автоматически.

Глухая темная ночь. Почему шофер свернул на Фонтанку? Объясняет, что там лучше дорога.

* * *

Сквер перед дворцом мрачен и пуст. Дворец глядит на темные тени его поломанных растоптанных кустов огромными, тревожно-ослепительными глазами.

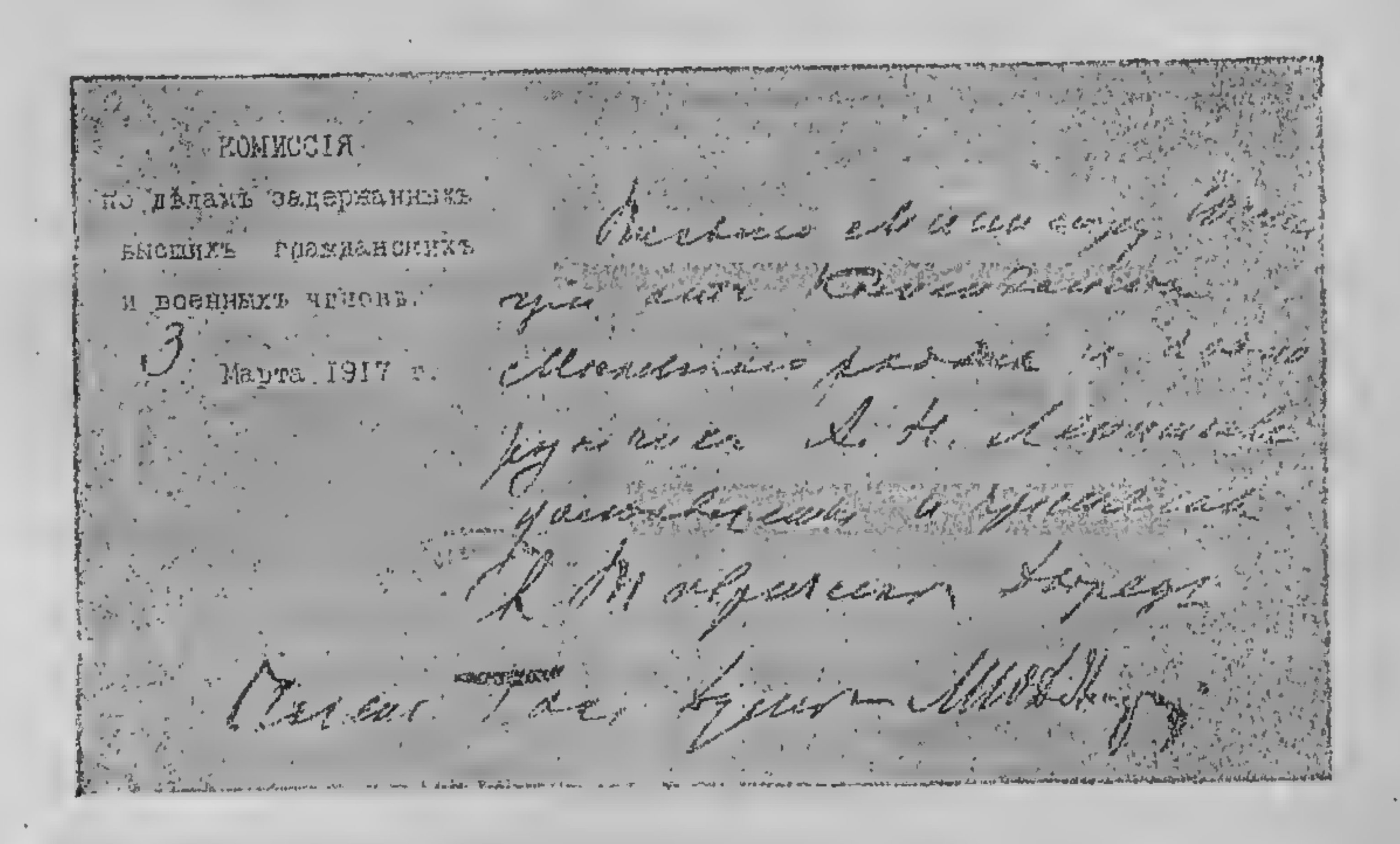
В комнате комиссии по делам задержанных сидело несколько штатских. Военный писарь с ефрейторской лычкой на красном погоне и с университетским значком на груди гимнастерки храпел, ввалившись в кресло, запрокинув голову и закинув ноги через ручки. Стена сплошных окон с откинутой напрочь портьерой глядела тревожным черным провалом.

— Потрудитесь принять арестованного и пакет на имя министра юстиции. И будьте добры — под расписку.

— За что он задержан? — равнодушно поднялся круглый, как шар, Черячукин.

— Во всяком случае не для того, чтобы их здесь отпускали. Фельдъегерь перехвачен с последними царскими приказами из ставки, — отрезал я, протягивая руку за распиской, которую написал один из сотоварищей Черячукина, широкоскулый мужчина с косыми сонными глазками.

— Я прошу, чтобы чемодан был оставлен при мне, — встрепенулся фельдъегерь, увидав, что я не выпускаю из рук его чемодана и, получив расписку, намереваюсь уйти.


КОМИССІЯ
по дѣламъ задержанныхъ
высшихъ гражданскихъ
и военныхъ чиновъ.
3 Марта 1917 г.

— Ну, уж нет, чемодана с приказами я вам не оставлю, я знаю, куда его сдать.

Но куда его сдать? Мелькнула мысль о Молотове и Шляпникове. Но была глухая полночь. Напрасно бродил я опустевшими комнатами, где на столах кто-то спал, укрывшись пальто и вздрагивая от нервных сонных бормотаний. В пустынном и грязном, оттремевшем за день Екатерининском зале по углам и возле загаженных исколупанных штыками мраморных колонн вповалку храпели солдаты. Большевиков я не нашел. Кому ж это сдать? И я вновь подумал о

Керенском. Он — министр. Он сам говорил, что не выпустит из своих рук попавших к нему палачей проклятого режима. Вот здесь, в этом увесистом аккуратном чемодане подлинные документы о зверстве верховного коронованного палача. Пусть он использует их на великом народном суде. И я снова вернулся в комиссию по делам арестованных. И здесь я увидел задумчиво стоящего у стены усталого Керенского.

— Вот, товарищ министр, — начал я неловко и стал подробно ему объяснять суть дела с фельдъегерем.

Он терпеливо слушал меня потускневшим обрюзглым лицом, не спуская с меня утомленных зеленоватых глаз из-под короткого ершика, и в заключение нерешительно как-то обронил:

— Вы меня не за того принимаете. Вам надо Керенского, а я — Суханов-Гиммер.

И он снисходительно скривил губы.

Чорт знает что такое! То ли они дьявольски чем-то похожи друг на друга, то ли это усталость от бессонных ночей? Керенского надо было искать на заседании Временного правительства. Это была все та же комната пресловутого родзянкинского Временного комитета. Гладенько выбритые стройные молодые проборчики в изящно-проутюженных смокингах меня туда не впустили. «Там сейчас заседает Кабинет!» Это было сказано священным шопотом. Но они могут передать господину Керенскому все, что я им передам, за это я могу быть спокоен.

— Здесь важные документы, которые я обязан немедленно же вручить лично в руки самого Керенского. Сообщите ему категорически.

Он выскочил и уставился на меня в каком-то сонном любопытстве.

— Отрекшийся царь еще не арестован, а вот его последние беспощадно-кровавые указы, которые мы перехватили.

Сто пятьдесят девять пакетов. Фельдъегерь, задержанный с ними, и мое подробное письмо на ваше имя сданы мною сейчас в комиссию по делам арестованных, — и я протянул ему чемодан.

Он торопливо принял его и горячо потряс мою руку.

Удостоверение

Доставленный в комендатуру Государственной Думы комендантом Технологического Института подпоручиком Тарасовым-Родионовым чемодан фельдъегеря из ставки Верховного Главнокомандующего сдан министру юстиции члену Государственной думы А. Ф. Керенскому

— Спасибо!.. От имени великой революции спасибо! Я, представитель революционной демократии, ваших услуг не забуду!..

Но его уже настойчиво звали сзади в дверь, и он так же поспешно кинулся обратно, сунув мимоходом чемодан одному из проборчиков.

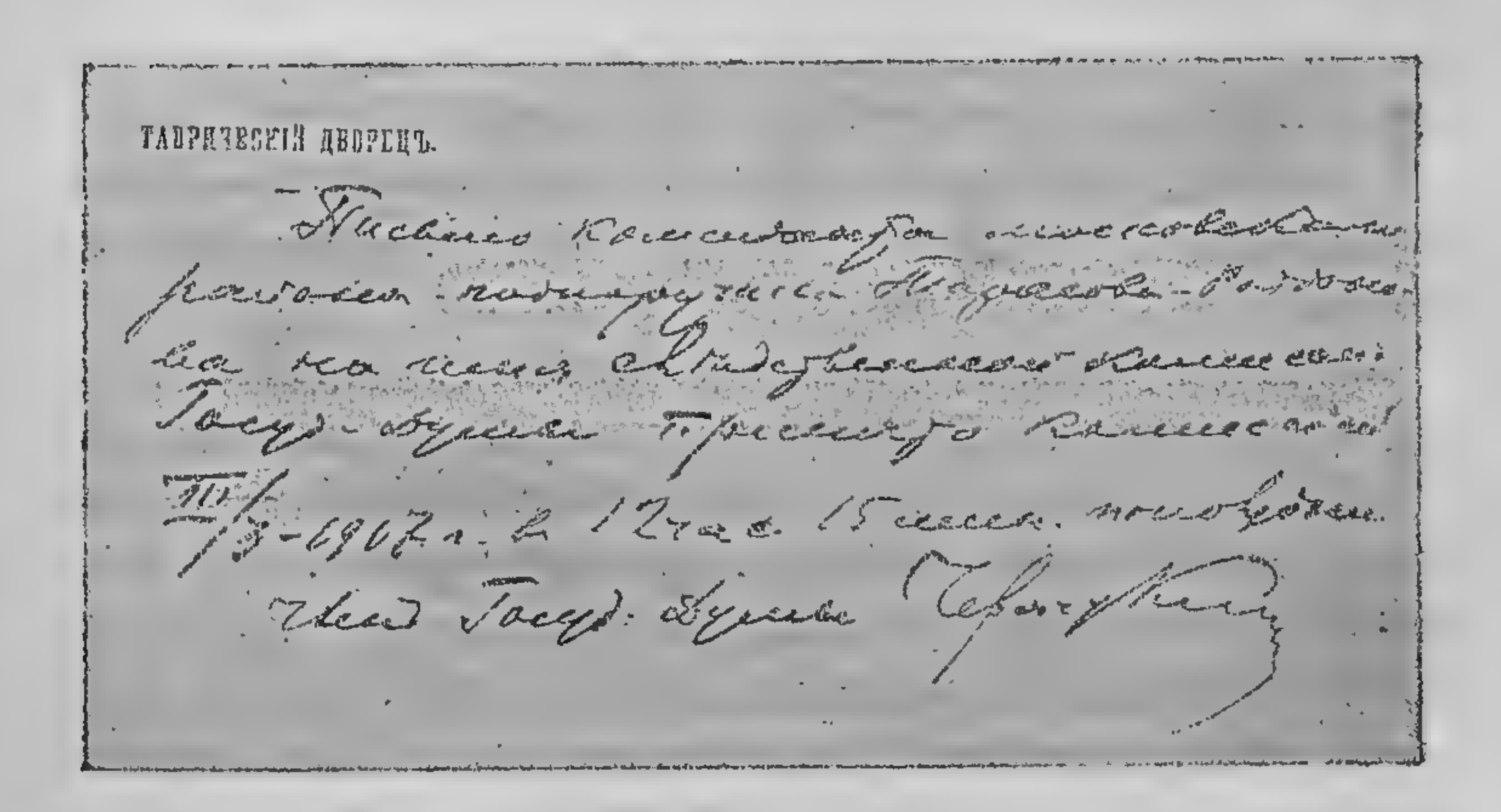
Тогда я вернулся.

— Я попросил бы, — сказал я, — выдать мне расписку в приеме этих документов.

— О, сделайте ваше одолжение! — смокинг нагнулся и быстро набросал под мою диктовку соответствующее удостоверение. Он уже хотел было сам расписаться, но я решительно его остановил.

— Нет, пусть сам Керенский. Сданными мною документами не шутят.

Смокинги переглянулись и возмущенно пожали плечами.


ТАВРИЧЕСКІЙ ДВОРЕЦЪ.

Письмо комиссара московского района подпоручика [illegible] получено на имя следственной комиссии Госуд. думы Председателю комиссии 3/III-1917 г. в 12 час. 15 мин. пополудни.

Член Госуд. думы Черячукин

— Но ведь мы же...

— Распишется лично Керенский. Я сдал ему.

Через секунду они вынесли мне его торопливую каракулевую подпись.

Неимоверная усталость обрушилась на меня, но я вспомнил, что не сдал еще пакета с описью документов. Я занес его в Комиссию по делам задержанных и взял от Черячукина расписку. Фельдъегеря Леонтьева куда-то уже увели.

. . . .

В сорок второй комнате, куда я заглянул мимоходом, на диванах и скамьях храпели бесприютные офицеры. Прапорщик Синани тыкался носом и что-то писал.

— Вы знаете? Вы слыхали, что они делают?!. Сейчас Добраницкий приходил из Военной комиссии. Это — наш. И вот какие сегодня из ставки рассылали телеграммы генералы Алексеев и Брусилов: из Питера, дескать, стали появляться в армии какие-то делегации, ведущие революционную агитацию и обезоруживающие жандармов. А посему: нарядить на узловых станциях надежные караулы, схватывать все эти делегации, немедленно военно-полевой суд и... тут же на месте...

— Ну, что ж, — ехидно огрызнулся я, — Николай в своем отречении уже дал лозунг: «Война до победы!»

— Ах! Причем тут война до победы?! — злобно передернулся Синани.— Нельзя же быть слюнявым пацифистом...

«Это он, пожалуй, прав, — думал я дорогой, — нельзя быть слюнявым миролюбцем. Берлин молчит. Стальная цепь винтовок Маузера и крупповских пушек висит над нами непримиримым кровожадным оскалом. Нельзя быть слюнявым пацифистом! Но разве разоружение жандармов— пацифизм? Хорошенькое «миролюбие», будьте здоровы!..» усмехнулся я, не спеша вылезая из автомобиля.

— Какие-то войска заняли Царское Село! Наступают на Питер! Сюда к вам звонили по всем телефонам. На вокзале не знают, что делать!.. — испуганно захлебываясь, метнулись ко мне в комендантской растерявшиеся студенты, солдаты, офицеры.

— Поручик! Поручик! — трепетно хватает меня за руки взволнованный прапорщик. У него ясные глаза, русый пушок и крепкие зубы. — Я из нашей стрелковой команды. Меня к вам послал поручик Воробьев.

— Ваньчо?!. Он здесь?!.

— Да, поручик, но надо сейчас же всех в ружье!.. И наступать самим! Ведь у нас здесь столько пулеметов!..

— И артиллерия! — весело кивнул я, и боевой огонь сверкнул по жилам. «О, я им еще покажу, какой я пацифист!» — Правильно, прапорщик. Мигом гоните ко мне Воробьева!

— Ваньчо!.. Где ж ты был?.. Сволочь! — обнимаю я его.

— Потом, Сашка... Ты знаешь, Жерве вытребовал тогда всех нас, офицеров, к себе, и нас осадили в клубе солдаты... Я еле спасся тогда через окно... Но это потом... Сейчас нужно принять бой.

— Да. Принять бой. Лети на вокзал. Это ведь рядом. Выясни все досконально.

Он убегает.

— В ружье! — командую я. — Оповестить все команды о сборе. Немедленно всем одеться, привести в порядок все свое оружие, командирам выслать ко мне вестовых. Ждать наготове сигнала о выступлении. При вещах оставить дневальных... Прапорщик! Милый прапорщик! У вас ясные глаза и крепкие зубы, впрочем, я не то хотел вам сказать, вы мчитесь бегом в Константиновское артиллерийское, это здесь наискосок, и пусть, кто там есть старший, немедленно отдаст распоряжение приготовить все годные орудия к боевому походу и сам вместе с вами чтоб живо сюда!.. Да, кстати, где же у нас петергофские батареи?..

Вошел Шевелев. Помялся у двери.

— А нам как, господин поручик? Прапорщика Красникова нет...

— Вы будете за командира.

— Можно, впрочем, за Иловайским послать. Нам их здешняя квартира известна... Только вот как же теперь с пятым взводом? Ни винтовок здесь у нас нет, ни пулеметов...

— Никаких исключений! С нами пришли, с нами и пойдете. Дадим берданы...

Но Воробьев вошел, медленно переваливаясь, и устало улыбнулся.

— Ложная тревога, Сашка, — обронил он, повалившись на стул. — Говорил сейчас с Царским Селом, говорил с Лугой, с Тосно... везде все спокойно... Можно спать... — Он зевнул и поднялся. — Ну, прощай пока.

— Отставить! По местам! Ложиться всем спать! — сердито кричал я на толпу взводных, озабоченно ввалившихся теперь в дверь с требованиями из разных команд на патроны, на подсумки, на перевязочные средства...

И сразу же невыносимо захотелось спать. Жадно обрадовался ясноглазому прапорщику, вернувшемуся вместе с артиллерийским поручиком. Артиллериста услал обратно, а прапорщика посадил своим заместителем. Оставил адрес квартиры инженера и наказал, чтобы в случае чего немедленно бы послали за мною.

* * *

Ночь висела плотно, как черный промозглый войлок. Я еле волочил ноги в этой сырой кромешной тьме пустынных улиц. Одиноко потрескивали выстрелы. Парадное отперли, лишь только я назвал свою фамилию, а увидав золото моих офицерских погон и то, что я один, предупредительно распахнули дверь. Любезный инженер сбежал ко мне навстречу в переливающем всеми цветами радуги шелковом ватном халате и сафьяновых туфлях и с поклонами ввел меня в квартиру. В просторной комфортабельной столовой с широким майоликовым камином был приготовлен изысканный холодный ужин из каких-то деликатных салатов. Когда я умывался в мраморной ванной, так забавно было смотреть в граненые зеркала на свои свирепо намыленные, давно уже небритые щеки.

— Может быть, ванную? — предложил хозяин. — Белье найдется.

Но я поблагодарил. После ужина он повел меня на покой. Всю эту комнату занимал биллиард, а вдоль стены стояла шеренга киев. Здесь на широком турецком диване была приготовлена постель. На низеньком столике под мохнатыми салфеточками стояли мельхиоровый чайник, стакан, сахарница и хрустальная низкая утлая ваза с какими-то душистыми сухарями. Инженер мигом вдел шнур от чайника в электрический штепсель.

— Это мы для вас здесь приготовили. Если бы мы были уверены, что вы придете сегодня наверняка, то я уступил бы вам спальню... В этом электрическом чайнике — чай. Он вскипит в две минуты. А если вы желаете кофе?.. Ну, простите, простите... Я не велю вас будить, — и он вышел, почтительно кланяясь, на своих сафьяновых цыпочках.

Странная жуткая пустота вдруг надвинулась на меня. Диван был нежно-мягок, белоснежные простыни прохладно-упруги, горячий чай ароматен, сухари рассыпчато-сладки, но зловещая пустота, щемящая душу пустота бешено звенела во всем этом вокруг меня и наваливалась на меня тысячепудовою безотрадной тоскою. Я устало снял сапоги. Еще раз взглянул на хрустящую простыню. Даже стыдно валиться на нее в грязном затасканном белье. Потом хлебнул чаю, опустил голову на руки и начал было задремывать сидя. Но резкий звонок в соседней прихожей вмиг отрезвил меня. Послышались туфли хозяина, глухие голоса на лестнице, потом настойчивый полушопот в передней.

— Он наверное уже спит.

— Никак нельзя. Срочно их требуют...

Я вышел. Меня срочно вызывали к телефону из Таврического дворца. Пришлось одеться и итти. Сырой ветер разметывал в небе сероватые пряди рассвета.

Прапорщик весело вскочил.

— Вас из Думы... и именно вас, лично...

Говорил член Думы Караулов. Что у меня тут за «восстание»? Почему я тревожил артиллерию? И вообще, что у меня тут за порядки? Незаконные аресты командного состава... большевистские провокационные листовки...

— Я полагаю, господин депутат...

— И нечего пол-ла-агать... А еще офицер... са-апляк!

Ясно, что Караулов снова был пьян. И я повесил трубку. Так вот для чего я делал революцию?!. «Са-апляк»?..

Весь сон слетел, как дым. Просителей сейчас было меньше. Работа уже не так утомляла. И к тому же надобно было подумать над планом кое-какого переквартирования всех моих войск и о точном их учете. Продовольственная комиссия уже несколько раз жаловалась мне по телефону, что посылаемые ими заявки на довольствие едва ли соответствуют их фактической численности.

Утром снова золотисто сверкнуло солнышко, зашумели лестницы солдатами, бегущими за кипятком, хлеще шлепали входные двери, далеко кто-то пел, и бодрая песня гулко разлеталась по каменным коридорам.

Ла-агерь — город полотня-аный...

разобрал я слова. А когда все внимание опять завертелось в сутолоке бесконечно-наседающих разнообразных требований и просьб, перед столом неожиданно вырос опять тот давнишний верзила-автомобилист штабс-капитан Матисон. Он протянул мне бумагу и блеснул крагами, бесцеремонно усаживаясь передо мною на стул и закладывая ногу на ногу.

Военная комиссия назначала штабс-капитана Матисона комендантом Московского района, а мне, как его предшественнику, предписывала «возвратиться к исполнению своих

прямых обязанностей». Подписал начальник гарнизона полковник Энгельгардт.

Должно быть, лицо мое болезненно сжалось, потому что ясноглазый прапорщик с участливой тоскою взглянул на меня. Все смолкли. Всем все было ясно.

— Хорошо, — поднялся я устало, — можете занять мое место.

И штабс-капитан Матисон весело и уверенно пересел на мой стул.

В вестибюле меня счел долгом приветливо задержать какими-то пустяками генерал Филатов. Я ни о чем не думал, когда после этого машинально вышел на улицу. Нежно искрились и мягко капали сосульки на домовых карнизах. Без удержу трещали воробьи в голых чащах круглых стриженых липок. Беззаботные солдаты с ленивым самодовольством лузгали семечки перед расклеенными на углах манифестами об отречении от престола уже и Николая и Михаила Романовых. У входа в магазин, встав на лестницу, мастеровой с молотком, заткнутым за фартук, повязанный поверх замасленного краской пальто, ретиво отколачивал с вывески топором золоченые гербы императорских поставщиков. Я ни о чем не думал.

Хозяин-инженер принял меня все так же приторно-радушно.

— Имейте в виду, я больше не комендант.

— О, это для меня совершенно безразлично, — ответил он почтительно, — даже напротив. Раз господин офицер будет теперь более свободен, он сможет уделять большее время его гостеприимству. А теперь, раз господин офицер еще не спал, ему надобно сейчас же отдохнуть, если только он не желает чего-либо закусить.

Я искренно его поблагодарил и остался один. Не раздеваясь, я ткнулся ничком на стеганый шелк одеяла, и мертвое тупое забытье мгновенно овладело мною.

* * *

Упавшая ложечка зазвенела, и я проснулся. Где я? Прислуга на цыпочках уносила поднос с чайным прибором. В окнах гасли сумерки. Машинально вскочил и бодро потянулся. Через минуту постучался изящно одетый хозяин.

— Мы все время не будили вас, ну, а сейчас разрешите пригласить отобедать с нами. Моя мама, мой брат, моя жена и ее брат будем с нетерпением ожидать вас в столовой.

Я припомнил вчерашнюю белоснежную недотрогость салфеток, назойливое подчивание медлительно подносимыми тягучими соусами, безалаберную болтовню о политике, — и тут же наотрез отказался. «Лучше в пять минут налупиться похлебки и каши в первой попавшейся бесплатной столовке для солдат, чем битый час разводить здесь майоликовые антимонии возле чопорного камина».

— Благодарствуйте. Меня уже ждут на обед мои старые знакомые. — И подумал: «Скорее в Таврический».

— Ах, как жаль! Ах, как жаль! — ужал он губки с неподдельным огорчением. — Вам корзиночку вот здесь принесли, — обронил он небрежно, когда я надевал в передней шинель, — я распорядился здесь ее оставить. Прислуга говорит, что штатский какой-то утром спросил, здесь ли вы, а днем корзиночку принес.

— Корзиночку?..

Действительно, туго перевязанная веревкой плетеная корзиночка стояла в углу. Я пошевелил ее. Бултыхнулась жидкость в бутылках. Откуда? И сразу же вспомнил разговор в Технологическом подвале... Хозяин внимательно смотрел на меня.

— А, — сказал я равнодушно, — это приятель один прислал, чтобы я пораньше захватил ее с собою в гости... — и подумал: «Трогательно, конечно, но все ж какие про-

хвосты! Куда теперь ее девать?.. Выругаю и швырну обратно». А вслух сказал: — Придется брать извозчика.

Корзинка оказалась средней тяжести, и я донес ее в руках до Загородного проспекта. Но на углу меня взяло раздумье. Возвращаться в Технологический сейчас — било по самолюбию. А главное, чем я гарантирован, что в вестибюле не встретят любопытные? «А что это у вас в корзиночке, товарищ комендант?», спросят они. Да ввяжется вдобавок Матисон... О, какая бешеная радость вспыхнет у этого карьериста! Нет, лучше смерть!.. Но и не назад же тащить?!.

— Извозчик, — нанял я на углу, — в Таврический дворец, только по Суворовскому. По пути на одну минуту заедем на Рождественскую.

* * *

Валя была дома, как всегда розовенькая, как всегда скромненькая. Оправила белокурые волосы и взметнула прищуренными глазами.

— Как я рада. А я уже думала, что вы пропали. От Бориса только сейчас вот получила телеграмму, — засияла она, но сорвавшийся вздох облегчения сразу выдал, сколько мучительной тревоги стоило ей ожидание этой телеграммы. — Вот, — протянула она, — сообщает, что жив и здоров, и скоро приедет. Но мне-то уже здесь все рассказали. Оказывается, у них в Гельсингфорсе то же самое было, что и в Кронштадте. Адмирал Непенин убит, большинство офицеров сброшено в воду... Ужасно! — передернулась она. — Что он там пережил, бедный!..

— Ну, ничего. Теперь утешится, — желая развеселить, пошутил я. — Я ему и гостинцев привез. Давайте посмотрим.

Виноградных вин в корзине оказалось немного, все больше разные водки, то, что я не люблю.

— Вот, вверяю все это вам, если это вас не стеснит. Здесь как раз больше для Борьки, по морской специальности. Пусть свищет.

* * *

Перед Таврическим дворцом уже не было тех бурлящих, ликующих толп, как в прежние дни. Уже темнело, когда я подъехал. Стройная колонна какого-то полка гулко громыхала мерный шаг, уходя от дворца в свинцовый сумрак улиц. Оркестрик взвизгивал выкриками торопливого егерского марша. Сбоку извивающейся мрачной колонны, светясь красными искорками папиросок, офицеры подгоняли свои взводы:

— Ать! Два! Три! Тыре!.. Левой!.. Левой!..

Вдоль подъезда в сиянии дворцовых окон прохладно блестела черным лаком вереница автомобилей.

И уже не было прежней слякоти и мусора в старинных потемкинских залах. Только у входа в коридоры, дребезжа, швырялись кой-где под ногами выбитые из гнезд изразцовые плитки. «Вот, — подумал я, — жизнь как будто бы входит мало-по-малу в свою прежнюю спокойную колею. Загаженный революционными сапожищами паркет теперь кой-как затерт, а скоро его, несомненно, вымоют, отменно натрут, и он будет снова блестеть, как при старом режиме. И лакированные автомобили царских сановников ведь тоже не стоят без дела, а терпеливо дожидаются теперь возле дворцового подъезда своих новых хозяев, вновь испеченных министров. У этих нет, правда, ни седых бакенбард, ни золоченых мундиров, ни белых брюк с золотыми лампасами, их барственные ноги зашнурованы в крепкие английские ботинки, а элегантно пробритые подбородки туго подперты парижскими крахмальными воротничками. Но что, в сущности, от этого изменилось?! Если с вывесок ретиво сбрасывают сейчас царские гербы, то не менее ретивые люди

не менее ретиво готовы налепить их обратно. Для этого существуют Кутеповы и маркизы Паулучи, а Милюковы, Энгельгардты и Матисоны им охотно в этом помогут. Как досадно вот только, что я теперь без толку вышвырнут под ноги этих событий, как вот эта выбитая революцией одинокая изразцовая плитка. Но разве я одинок? Разве нет тех милых походных товарищей, вместе с которыми все мы с боем ворвались пулеметною лавиной в беспощадный императорский Питер? Разве нет верных товарищей по партии, которые милей и дороже человеку его родных братьев?»

И я пошел туда, где возле столика с партийной литературой столпилась группа рабочих. Увидев среди них Шляпникова, я подошел.

— Как дела, товарищ офицер? — спросил он приветливо-шутливо.

— Не особо казисты, — ответил я ему в тон. — Энгельгардт уже признал меня не ко двору для новой власти. Помилуйте, осмелился я арестовывать его приятелей-контрреволюционеров.

Рабочие, наблюдавшие меня с осторожным вниманием, мгновенно сочувственно вскинулись.

— Ну вот, видишь, Александр, не зря мы тебе говорили! Сдрефил сегодня наш Пека и позорно сдрефил. Ну, как же это можно было такое писать: «Не противодействовать власти Временного правительства постольку, поскольку действия его соответствуют интересам пролетариата»? Это Гучков-то с Коноваловым, выходит теперь, будут нам соответствовать, что ли?..

— А самое главное, где восьмичасовой день? Помазали, получается, дуракам по губам... а теперь: оставайтесь, дорогие товарищи, на старых бобах!

— Да! — решительно вставил третий, — прежняя резолюция бюро Цека куда была справедливей. Временное

правительство из недр Государственной думы определенно контрреволюционно и связано с монархистами, а потому: никаких с ним соглашений! Наша задача: создать новое Временное революционное правительство из представителей демократии.

— Чудаки! — передернулся Шляпников, все время слушавший их с еле сдерживаемым напряженным беспокойством. Видно было, что тревога рабочих мучительно терзала его. — Чудаки вы, товарищи! Ну, скажите на милость: кто же это все отрицает?.. Кто это все отрицал и отрицает? Но что другое можно предложить сейчас конкретно? Свергать?!.

Белокурый рабочий насмешливо подернул плечами.

— Но кто и как его свергнет, если вся демократия наша поддерживает его во все тяжкие! Ты понимаешь слово: поддерживает? — не на шутку петушится Шляпников. — А затем, к чему перегибать зря палку? В чем сейчас основная опасность? Восстановление монархии! И вот тут-то, плохо ли это или хорошо, но и вся эта Государственная дума, создавая это Временное правительство, как там ни-как, а объективно все же помогает разгрому сил царизма... Конечно, нам надо быть на-чеку, чтобы поднять всю рабочую массу при первой же опасности, но основная задача — уничтожение монархии, и это не так просто...

У Шляпникова по-петушиному тоненький, но глубоко искренний говорок.

— Вы чего здесь болтаетесь, товарищ? Пойдемте! — раздается над ухом приветливо-уверенный голос.

Смотрю: глядит на меня, улыбаясь, черноусое румяное лицо статного прапорщика. Батюшки, да ведь это Ковригин! Те же чуть-чуть смеющиеся смелые глаза, та же широкоплечая удаль в движениях, нет разве только прежней сатиновой красной повязки, которая перехватывала папаху.

— Куда? — спрашиваю я.

— Да ведь у нас организационное собрание. Разве вы не были в сорок второй?

* * *

В сорок второй комнате мягко сияют потолочные люстры. Огромные окна без штор выглядят мрачно и сухо. Только простенные зеркала словно чуть-чуть потускнели. В комнате более или менее прибрано. Стулья и диваны расставлены рядами. Поодиночке и группками сидят офицеры. У входа за столиком подпоручик Скобейко вместе с сереньким прапорщиком регистрируют входящих и выдают «удостоверения». Выдали и мне в том, что я состою «членом Союза офицерских депутатов». Это что же еще за «Союз депутатов», да вдобавок еще «офицерских»? Ну, и окрошка!

Я сажусь рядом с Ковригиным и толкую. Бурный разговор доносится спереди. Там, ближе к столу оживленно жестикулирует, блестя глазами, Синани, бунчит о чем-то веско под-нос Филипповский, горячо кивает им в такт, исподлобья глядя по сторонам, Мстиславский, важно играет солдатским серебряным георгиевским крестиком на груди тонконосый Любарский.

— Знаете постановления нашей конференции? — говорит мне Ковригин.

— Какой нашей конференции?

— Ну да, нашей, социалистов-революционеров.

— А... Нет, не знаю.

— Прежде всего: полная поддержка Временного правительства, поскольку оно будет выполнять объявленную им политическую программу, и борьба со всякими попытками, подрывающими его организационную работу. Во-вторых: полнейшее одобрение вступления Керенского в правительство. Ну, а в-третьих: скорейшая организация всего трудового народа вокруг нашей партии, подготовка

Учредительного собрания, пропаганда республики и все прочее... Но самое интересное и вместе с тем самое досадное, — и тут в серых красивых глазах Ковригина промелькнула тень боли, — самое досадное это то, что конференция резко осудила ту прокламацию, которую выпустил вместе с эсдеками-межрайонцами наш Александрович. Резко осудила за внесение в народные массы взаимного недоверия и розни...

Я ухмыляюсь:

— Ну, что ж? Ведь эта прокламация уже давным-давно конфискована самим Исполнительным комитетом!..

— Да, но разве это все вас удовлетворяет? — вспыхивает Ковригин и проникновенно глядит мне в глаза.

— А я тут причем?

— Как то есть причем? Член партии и...

— Я не эсер.

— Как не эсер? — закрывает рот Ковригин и широко смотрит на меня.

— Почему же это мне все казалось, что вы эсер? Разве вы мне тогда не намекали на это?

— Нет, не мог намекать, — улыбаюсь я. — Я спросил только вас, не большевик ли вы?

— Ах, вот оно что... — роняет Ковригин, слегка потухая, и на лице его бродит какое-то смущенное раздумье.

Молоденький поручик с хриплым голоском подрастающего петушка — головка на-бок — здоровается со всеми за руку, глубокомысленно таращa на-бок глаза.

— Поручик Греков! Поручик Греков!..

Я припоминаю Николаевский вокзал и говорю:

— Мы уже знакомы.

— Разве? — забавно и шутливо поднимает он брови.

Бледный высокий поручик Петров с эмалированным крестиком офицерского георгия скромно входит и одиноко садится поодаль у стены. Он кладет вытянутое лицо с впа-

лыми щеками и тупыми скулами на золотой эфес своей почетной сабли и задумчиво застывает скромными широко расставленными, но узкими глазами. На белокуром виске его слегка играет контузия. И сразу чувствуется по тому, как он сел, и по тому, как он смотрит, что в этом человеке нет ни тени позы, чванства или карьеристской авантюры. Так вот какой человек отбивал у жандармов арсенал для рабочих!..

Когда офицерские погоны начинают сиять почти с каждого стула, Филипповский открывает собрание и выбирается его председателем. Один за другим выступают ораторы. Взлетают трескучие речи о великих заслугах революционного офицерства перед народом. «О, если б не мы!..» и тому подобное... По лицу Ковригина совершенно не прочтешь, о чем сейчас он думает. Он опустил тенистые ресницы над смуглым румянцем щек и машинально перебирает пальцами кожаную кисточку эфеса. А я слушаю в полузабытьи, почти не улавливая слов и не вникая в их смысл, но тон речей начинает меня опьянять. Ах, в самом деле, столько обид, столько горьких ударов по самолюбию за все эти сумасшедшие дни и бессонные ночи! Да, прав оратор, который сейчас говорит. Если кто из офицеров и вышел на улицу, то ясно осознавая, что впереди: либо победа над монархией, либо смерть. Офицер — не солдат и не рабочий, которых можно при случае и пороть и посылать на каторгу. Офицер по уставу — первый защитник престола. С офицером расплата одна. И вот мы сделали все, чтобы победить, и мы победили. Но окончена ли эта борьба? Монархия свергнута, но разве ее корни не живучи? Кому же нужно быть на-чеку, как не нам, офицерам? — и налитая вниманием комната расплескивается в аплодисментах.

Затем говорит Мстиславский, но это — не речь, а акафист о том, что «наша Великая и Бескровная сильна воскресшим духом священного народного восстания. Воистину

наш путь предуготован великими борцами и предшественниками нашими, начиная с офицеров-декабристов... Мы их завершители... Священный завет народовластия...»

То-и-дело втягивая в себя свистящий воздух небрежным уголочком губ, он говорит вдохновенно и умиленно, как говорил бы истаскавшийся рыцарь крестового похода, только что сподобившийся отбить у сарацынов пустой и пыльный гроб легендарного бога. Возможно, что не только я один ощущаю эту тревожную пустоту завоеванных святынь, пустоту, которую не только не спасает, но еще более подчеркивает слепая влюбленность Мстиславского. И, должно быть, поэтому после него сразу же выступает Филипповский. Его голос надтреснут, и мысль не ясна, но уверенно острие его черной бородки с нависшей бахромой усов и ясно и твердо его желание. Желание это он бросает спокойно и просто:

— Социализм...

И острый взлет рукоплесканий вкруг стола взрезает тишину внимающих погон. Я аплодирую тоже и, оглядывая комнату, вижу, что многие офицеры сидят, не разделяя социалистических восторгов, но во всяком случае с сочувственным к ним вниманием.

— Да, социализм, — подтверждает Филипповский, — тот социализм, для которого сейчас с победой революции открывается широкая перспектива через свободное сотрудничество народных масс!.. Тот социализм, который стоит на старом знамени боевой испытанной партии социалистов-революционеров!..

Ковригин и многие другие не жалеют при этих словах своих молодецких ладош.

Теперь, когда фейерверк вступлений кончился, Синани выступил с организационным докладом.

— Да, нам, офицерам-активистам февральских дней, и всем другим, желающим к нам присоединиться, необходимо

сейчас же организоваться, ибо враждебные силы еще актуальны и постараются нас съесть по-одиночке.

— Правильно! — раздается с места.

— А потому, — продолжает Синани, — нам нужно организоваться в социалистический союз офицеров и держать контакт исключительно с Исполнительным комитетом Совета...

Восторженные рукоплескания.

— Позвольте! — и у вставшего офицера недоуменно вытягивается лицо, — что же это мы против Временного правительства, выходит, что ли?..

— Зачем же против правительства? — скромно опускает глаза Синани.

— Поскольку оно образовано в согласии с Советом, мы... мы... будем его поддерживать...

— Ага... — успокоенно садится офицер, и в комнате на несколько секунд нависает молчание. Каждый по-своему раздумывает над этим «ага».

— И потому, — продолжает Синани, — основными задачами нашими должно явиться: охрана свобод от всяких покушений, с какой бы стороны они ни исходили, и организация армии на демократических началах. Ближайшими же нашими мероприятиями должно быть: создание народной гвардии из революционных полков Петрограда, издательская деятельность и создание офицерско-солдатских примирительных камер. Основным же лозунгом нашим, как и сказал товарищ Филипповский, является социализм!

Ряды золоченых погон засверкали в звенящей дрожи аплодисментов, стараясь заглушить равнодушное молчание других.

«Социализм! — думаю я. — Цветущие сады с дворцами веселых машин, дружное братство равно-счастливых людей. Но неужели ради этого светлого будущего надо поддер-

живать сейчас Энгельгардтов и Милюковых?! Ведь даже Ручкин знает те англо-французские банковские ключики, которыми заводятся эти новоиспеченные защитники завоеванных свобод! Причем же тут социализм? И как можем говорить сейчас о социализме мы, офицеры?» И я вспомнил, как рассказывал Красников про слезливого полковника, который умилялся «Великой и Бескровной» и тут же предлагал послать благодарственную телеграмму коронованному извергу, кровавые приказы которого удалось мне перехватить.

И я встал и попросил слова, и говорил горячо и нервно. Говорил о том, что социализм есть великая конечная цель социалистических партий. Создавать еще новую офицерскую партию социалистов — нелепо. Офицеры-социалисты уже борются за социализм в рядах своих партий, внепартийный же союз «офицерских социалистов» — химера. Революционная часть офицерства должна срочно организоваться, но ради той очередной тактической задачи, которая стоит сейчас перед русской революцией па данной ступени ее развития, то есть ради проведения в жизнь и защиты демократической республики.

— Позвольте! — вскакивает прежний офицер. — Нельзя говорить о будущей форме правления до Учредительного собрания.

— Можно! — кричу я. — И надо! Потому что мы, офицеры, активные участники революции, ориентируемся только на Совет рабочих и солдатских депутатов!..

— Тогда... — и офицер холодно надевает фуражку, — тогда нам делать здесь больше нечего. — Он гордо вздергивает голову и чопорно вызванивает шпорами к дверям.

Я сажусь, и взлет рукоплесканий окрыляет меня. Потом выступают против меня и Филипповский и Синани, но им возражает ряд офицеров и в том числе Ковригин.

Когда он садится, мы приветливо встречаемся глазами. Теперь вопрос ставится на голосование, и за социалистическую вывеску сплоченно поднимают руки первые ряды. Но большинство голосует за «Союз офицеров-республиканцев Народной армии». Мое предложение победило. Когда вслед за этим выбирают президиум Союза, в него наряду с Филипповским, Мстиславским, Скобейко, Синани, Лащинским, Любарским, Петровым и Грековым проводят и меня. Теперь лица всех блестят боевою решимостью и революционным согласием.

Условившись собраться здесь же завтра президиуму, чтобы распределить между собою обязанности, шумною сверкающей толпою мы затопляем коридор. У выхода в зал гладенькие юнкера-часовые чинно отмахивают нам винтовками честь по-ефрейторски и торжественно замирают от пьянящего счастья служить хоть и временному, но вполне «законному» правительству.

Вестибюль дворца в этот поздний час пустынен и мрачен. Команда обдерганных грязных солдат с походными сумками за плечами усердно просится у перетянутого в ремни неумолимого прапорщика пустить их во дворец переночевать.

— Да ведь с фронту ж мы! Пойми ты, товарищ! Трое суток ехали... не спамши... Каждый чорт шевелил-вываливал: куда, дескать, претесь и почему?.. Ну, а как же, мил человек, нам не ехать? Царя, грит, здесь скинули, и чорт с им, это правильно, ну, а как вот насчет замиренья? Ну, а как насчет земли?.. Неужто ж нам, стало быть, выходит опять попрежнему?.. Вот и поручили нам боевые наши сотоварищи доподлинно обо всем здеся выспросить у питерских ваших депутатов... Ну, и куда ж теперь нам деваться с вокзалу, ваше высокоблагородие? Пусти переночевать здеся до утра, христа ради!.. Нам бы хоша и на полу... ей-бо пра...

* * *

В сверкающей скатертью и блестящей тарелками столовой инженера, плотно укутанной от страшной улицы шелковым репсом тяжелых оконных портьер, меня дожидался прапорщик Красников. Любезно принятый хозяевами и оставленный ими ночевать, он неуклюже шаркал теперь по паркету грязными сапожищами и самовлюбленно болтал им о свободолюбии офицерства.

Когда за биллиардом поставили для него пружинную кровать, и мы остались наедине, он привольно вздохнул, стаскивая с себя непослушную гимнастерку.

— Вот теперь уснем спокойно, Асан Натич. Над царизмом — полная победа!.. И теперь, когда восстание так счастливо закончилось, наступила, как кажется мне, та счастливая пора, когда не будет больше ни большевиков, ни меньшевиков, а будет единая социал-демократическая рабочая партия. Посудите сами, из-за чего же теперь враждовать нам?.. Только вот, скажите мне откровенно, — понижает он голос, отирая носками пахучие прелые ноги, — из-за чего это вы не поладили с Государственной думой? Ведь теперь-то, когда образовано новое революционное правительство и когда демократия победила...

— Победила?!.. — насмешливо протягиваю я, плотнее закрываясь одеялом. И сразу же вспомнились грязные походные сумки рваных солдат в вестибюле Таврического дворца, так настойчиво просившихся переночевать хотя бы на полу.

ГЛАВА XII.

Крохотным крутящимся волчком летит земля сквозь звездную метель в бездонной прозрачности сумрака. Она мчится и бешено мечется вокруг огненно-жидкого солнца, как мечется белый мохнатый мотыль, зачарованный шипучею яркостью и ослепительной голубизной дугового электрического света. От солнечных ласк на груди у земли глухо ворчат океаны, устало вздымая свинцовые волны и взметая косматые брови седых облаков. Седые косматые тучи ползут над землею и кропят ее белые горы, леса и равнины первым весенним дождем. Жадно въедается дождь в обледенелую корку еще скованных рек и весело рассыпается мокрою солью по отощавшим талым сугробам. С бурых соломенных крыш в деревнях от такого раннего дождика ломко падают и остро втыкаются в снег прозрачные сосульки. Хихикают на них из окон ребятишки.

— Маманька, гляди-тко! Словно штыки в землю воткнуты...

Молча вздыхают в ответ, приветливо щурясь раннему дождику, деревенские бабы.

Только не рады, должно быть, этим весенним дождям тяжелые солдатские сапожищи. В неуемной тревожной тоске они попрежнему терпеливо и хмуро месят грязную жижу глубоких, в рост человека, сырых земных борозд, которые, словно кровавые и непримиримо враждебные

друг к другу шрамы, исполосовали лицо уставшей от человеческих распрей земли. Но даже и в этих долготерпеливых солдатских окопах теперь, после ранних дождей, когда злее кусаются вши и заунывней поют одинокие пули, все внятней и смелее растет неугомонный шопоток.

— Что, брат Антипов, не слыхать ничего про замиренье?.. Вон, вишь, в Питере и царя тебе своротили, и даже Совет свой собственный наш брат, солдаты да рабочие выбрали и вроде как послабленье сулят нам, а вот насчет мира все, должно, что-то туго идет... Я ты глянь, какой дождь-то! Бла-а-дать!.. Этак, почитай, через месяц в нашей деревне и пахать, поди, начали б... Ей-бо пра... Да вот только некому будет нынче пахать... Вот у нашего барина... А как про землю, Антипов? Видно, тоже опять ничего не слыхать...

Косматые тучи быстро несутся и над Питером, и тогда в железных жолобах журчит вода, а на миг проглянувшее солнце задорно искрится в мокрети красных гранитных панелевых плит. Но еще и сыро и холодно, опытные чиновники туже закрывают шеи вязаными шарфами и затыкают ваткою уши от весенних простуд, да и к тому же людям в Питере вообще некогда наблюдать за весною, а особенно тогда, когда и своих дел по горло, а тем более дел государственных. И когда у людей этих дел по горло, то рваная солдатня, случайно пролезшая в Таврический дворец, может сколько ей влезет безнадежно осаждать заповедные двери № 13 в комнату заседаний Исполнительного комитета. Часовые-преображенцы умеют стойко охранять историческую работу деловых людей от навязчивых глупых солдатских жалоб. Иногда, впрочем, капризная судьба по-весеннему улыбалась, и тогда солдат с фронта принимал сам Соколов. С сенаторским видом он хмурил густые брови над зеленым сукном большого стола, а в солнечном переблеске сверкала золотая оправа его пенснэ.

— Да... да... — тянул он, — вся страна, вся демократия, дорогие товарищи с фронта, преклоняется перед вашим геройством и твердо надеется, что великая армия наша не выдаст на разгром Гогенцоллерну завоеванные русским народом свободы.

— Никак нет. Точно так. Постоим!.. — восторженно подпрыгивал в ответ молоденький унтер-офицер-фронтовик с серебряным георгием на грязной шинели. Но, выходя вместе со всей своей делегацией и благоговейно притворяя за собой высокую белую дверь, он же внезапно спохватывался: — Стой, братцы! А ведь про землю-то мы так и забыли спросить... а ведь весна...

Да, трудно людям наблюдать за весною, когда у людей и своего дела по горло. Я замечаю это теперь и по себе. Даже ходить на ночовку на Можайскую к инженеру стало для меня теперь неподручным, и Красников сменил там меня окончательно. В сорок второй комнате Таврического дворца есть прекрасный кремовый, птичьего глаза, обитый зеленым шелком, стильный диван. Спать на нем мягко. Свернутая под голову шинель вполне заменяет подушку, а золотистый плюшевый плед мне одолжил корнет Сакс. Укладываясь здесь втихомолку на ночлег, я крепко запираю дверь, на которой снаружи пришпилена задорная бумажка: «Союз офицеров-республиканцев». На одном из собраний нашего президиума мы уже распределили между собой наши обязанности: Филипповский стал председателем и представителем нашим в Исполнительном комитете Совета; Скобейко и Мстиславский — товарищами председателя, причем последний взял на себя и организацию нашей еженедельной газеты «Народная армия». Синани был выбран секретарем. Там же мы выяснили и наши партийные принадлежности. Филипповский с Мстиславским оказались эсерами; Синани, Лащинский и Любарский — эсдеками-меньшевиками; Скобейко и Петров — беспар-

тийными социалистами. Греков склонил на-бок головку и обещал через несколько дней самоопределиться, я сообщил, что сейчас с организацией пока еще не связан, но раньше я был большевик.

— Большевик? — переглянулись все настороженно и замолчали.

— Вот не подумал бы, — колко обронил Синани, — вы так отстаивали для нас радикальную программу республиканства вопреки нашему предложению о социалистической ориентации...

— Живое ближайшее дело я предпочитаю туманным словам...

— Не ссорьтесь, — успокоил Филипповский, — будущее точнее определит каждого из нас, не беспокойтесь.

Я удивленно посмотрел на него. «Какое будущее? На что он намекает?..»

* * *

Наш «Союз офицеров-республиканцев» командировал меня как делегата от Исполнительного комитета Совета в Военную комиссию. Утонувший в бумагах, Пальчинский встретил меня там с приветливо-спокойной глиняной улыбкой.

— А... старый знакомец... представитель демократии!.. Ну, что ж, помогайте работать...

Он уверенно сидел все в той же комнатке с низкими квадратными окнами наверху дворца, вместе с желчным порывистым инженером Паршиным, который при каждом недовольстве любым пустяком раздраженно шипел и колюче щетинился, словно еж черной заморской породы. Гучкова здесь под-боком уже не было, он переехал теперь в министерство, а вместо него в соседней комнатке бестолково и хмуро копошился в бумагах вновь назначенный сюда председателем комиссии высокий и плоский, с мясистым лицом,

похожим на перезрелую дыню, генерал Потапов. Он то-и-дело убегал куда-то с какими-то каждый день новыми и каждый день им самим изменяемыми проектами никчемных и никому ненужных военных приказов, а приемная его с каждым днем все гуще набивалась гулливым, рыщущим роем разутюженного и нафабренного офицерства. Сначала оно заполнило всю его канцелярию, уверенно и плотно рассевшись за канцелярскими столами, понаделав папки, напечатав бланки, расставив чернильницы и пишущие машинки и разработав бесчисленные всеобъемлющие штаты отделов и подотделов. Новый управляющий делами всей этой самочинной канцелярской оравы, длинноносый и сухощавый полковник генерального штаба Гильбих, зеленовато-смуглый, как недозрелая слива, быстро утвердил все эти штаты у министра Гучкова, и Военная комиссия загудела и завертелась теперь так же уверенно и так же ретиво, как и ее электрические вентиляторы. По существу же всю работу здесь продолжали творить Пальчинский и Паршин, а генерал Потапов еще тумашливее зарылся теперь в попрежнему никому ненужных и никем не утверждаемых проектах приказов. Когда он теперь исчезал, в его канцелярии наступало затишье, офицеры скучающе фиксатуарили усики, терли подпилочком ногти и, небрежно садясь на столы, мягко тренькали шпорами, сюсюкая о новых назначениях по военному ведомству.

— Нет, вы только подумайте! Генерал Гурко, да, сам генерал Гурко!.. А? И вдруг слетел!..

— Что там Гурко! Левые теперь, говорят, под самого Николая Николаевича и под генерала Алексеева подкапываются... Неужели сместят?..

— Это Керенский все...

— Ничего подобного. Не Керенский, а этот... Исполнительный комитет рачьих и собачьих... Вчера даже Корнилов сюда к ним приезжал. Киргизские глазки, а видать —

парень ходок. Ну, да зря бы сюда не назначили командовать петроградским военным... вертепом.

— Да ведь его ж, говорят, еще государь назначил сюда по докладу Родзянки на предмет усмиренья...

— Ну, и что ж?.. А вы думаете, господа, — и офицер осторожно оглядывался, — вы думаете, что здесь... так... без усмирения обойдется?..

У офицера чересчур знакомое лицо, коричневый френч, на кисти руки золотая цепочка... И я вспоминаю ораниенбаумскую столовую, раздавленный мною стакан и фронтовика-капитана, который раздирал свою гимнастерку и орал в упор этому трусливому франту: «Хам! Мразь!».

Так вот кто работает здесь?! Всякая нечисть! Не теряя времени я тотчас же поставил перед Пальчинским ребром вопрос о чистке комиссии.

— Из-за чего? Где же факты? Что же, вы не знаете, что ли, вашу среду офицерства? — посмотрел тот спокойно. — Работает, и пусть себе работает. В том, что кому-то когда-то чуть морду не набили, никакой контр-революции нет...

После этого случая стоило мне пройти канцелярией, все офицеры враждебно смолкали, и бессильная ненависть змеилась в их глазах.

— Ррыс-пу-бли-канец!.. — шипел кто-нибудь вслед из угла.

В те случайные часы, когда генерал Потапов восседал в своем кабинете, его канцелярия медленно, но густо набивалась степенной очередью жаждущих приема к нему генералов. Они не спеша переминались с ноги на ногу, молча шевеля усами и недоверчиво щупая друг друга острыми старческими глазками. И в эти часы канцелярские офицеры тумашились вкруг них, как плотва вкруг сомов, угодливо лебезя и мягко на цыпочках тенькая шпорами.

— Так вы на юго-западный желаете, ваш дис?.. Ах, как я был бы рад за вас, ваш дис!.. Я сам давно и скромно

мечтаю туда же, ваш дис... Вся та местность так мне знакома, ваш дис... что, если бы вы удостоили меня хоть каплей надежды, ваш дис, сделаться вашим адъютантом, ваш дис... Я, несмотря на все свои здешние связи, с удовольствием бросил бы ради преданной службы, ваш дис, в тех краях этот кошмарный взбунтовавшийся Питер, ваш дис... О, я сию же минуточку передам о вас генералу Потапову, ваш дис!..

Когда генерал уходил на прием, офицерик под завистливые колкие взгляды своих сослуживцев быстро набрасывал рапорт о своем откомандировании в распоряжение генерала такого-то и почтительно вытягивался, пряча рапорт за спину, когда генерал возвращался с приема.

— Позвольте поздравить, ваш дис?.. Ах, не комфронтом, а всего лишь комкором, ваш дис?.. О, как досадно, как досадно, ваш дис!.. Вот как плохо теперь ценят военные доблести... — и порывисто комкал в кулаке заготовленный рапорт, равнодушно предоставляя остальной более мелкой, еще не приткнувшейся офицерской рыбешке жадно догонять сконфуженного генерала.

Но обычней разговор заканчивался так:

— Ах, командармом, ваш дис?.. Не на юго-западный, а на северный?.. Это даже лучше, ваш дис. Эта местность и все штабы мне тоже чрезвычайно знакомы, ваш дис... Как я рад теперь вашей удаче, ваш дис!.. Как я счастлив, что мое скромное слово генералу Потапову... Разрешите надеяться, что теперь, когда дело оформлено, ваш дис тоже не откажет... — и хитрый ловчила мигом подсовывал обалделому от питерских передряг генералу свой заготовленный рапорт. После этого он бережно промакивал резолюцию на нем прессбюваром, благоговейно звякал шпорами и, вытянувшись жердью, на носках удалялся вслед за генералом, даже не удостоив своих сослуживцев прощальным кивком прилизанной головы.

Вот почему личный состав служащих канцелярии Военной комиссии почти каждый день изменялся.

А то раз ко мне подскочил франтовато-подтянутый офицер с рыжеватою щеточкой усиков, аккуратным рыжим пробором, расклеенным вплоть до широкого тупого затылка, и с серебряными галунами на синих галифе.

— Корнэт П'кровский! — прокартавил он, согнувшись в дугу. — Я... тоже прикомандирован сюда к генералу Потапову... и я слышал... мне передавали, что вы изволите здесь...от офицеров-республиканцев?..

— Да, — кивнул я выжидающе.

— Ах, как я рад! — порывисто дернул он меня за руку. — Как счастлив я встретить в нашей славной офицерской среде истинного революционера! Вот вы не поверите, — зашептал он, быстро отводя меня в сторону, — ведь сам-то я тоже всегда был скрытым якобинцем... Я даже писал... одно научное исследование... «Вольные шампанские стрелки с социальной точки зрения».

Через полчаса, позабыв обо мне, он сюсюкал уже перед очередным генералом:

— Ах, ваш дис!.. Вы не поверите, ваш дис!..

Кто здесь назначает? Кого назначают?.. но Пальчинский был неуязвим на все эти расспросы.

— Назначает, понятно, Гучков. Оформляет Потапов.

— Но как же, позвольте?.. Такие командные должности и вдруг без предварительного обсуждения генеральских кандидатур Исполнительным комитетом?..

— А Исполнительный комитет, что же, уполномачивал вас требовать этого обсуждения? И с кем?.. Не слишком ли много берете вы на себя, господин поручик?!

Его воловьи глаза смотрят теперь на меня дьявольски в чем-то уверенно и спокойно. Я отчетливо чувствую: стóит только ему захотеть, он сейчас разыграет скандал, и меня тотчас же отсюда снимут, как сняли с Технологического... По-

жалуй, невыгодно начинать сейчас бой!.. и в ответ на мое глупейшее молчание Пальчинский снисходительно улыбается.

— Просмотрите-ка лучше, если вы так ретивы, вот эти ведомости на военные материалы, приходящие к нам от англичан через Мурманск, да проследите наши последние распоряжения и приказы. А в будущем не петушитесь! Антанта, голубчик мой, вот где корень всего...

Но все эти «совершенно секретные» ведомости политически ничего мне не говорили, а приказы были обычной канцелярской дребеденью. Серьезные политические шаги Военной комиссии проходили где-то за ее стенами, и я наивно узнавал о них лишь из газет.

Впрочем, однажды я поймал на столе отправляемую на фронт циркулярную телеграмму об отмене изданного Советом приказа № 1.

— Что вы делаете? Разве так можно?!. И не сообщив мне!..

— Это непосредственно от Гучкова, — с деланной усталостью проскрипел Пальчинский, — я и сам даже, знаете ли, был удивлен... Но Потапов говорит, что это уже согласовано непосредственно с Исполнительным комитетом на сегодняшнем ночном заседании у министра Гучкова на квартире... И Скобелев и Стеклов...

Бегом спускаюсь в сорок вторую. На диване, окруженный покорной толпою вновь вступающих в наш союз прапорщиков, Любарский, небрежно заложив руки в карманы своих офицерских, кадрового «мирного» покроя, длинных брюк со штрипками, мечтает вслух о реформе дворцового ведомства.

— Или вот также... дворцовые конюшни... Там, например, имеются прекрасные... да, господа, там должны быть превосходные лошади настоящих арабских кровей!.. И я полагаю... Синани! — внезапно кричит он, вставая. — Я настаиваю, что мы, офицеры-активисты, участники два-

дцать седьмого февраля, вправе претендовать теперь, чтобы нам за наши революционные заслуги Временное правительство помимо всего прочего предоставило бы выбрать из царских конюшен хотя бы по одной кровной лошади... Как вы думаете на этот счет, поручик? — бросает он мне, когда я проскакиваю мимо.

— Да, лошадь! — сосредоточенно-важно подхватывает Греков, суетясь возле окна. — Это я понимаю. Это — гандикап... Ну, а вот, кто и какого дьявола продолжает натаскивать сюда эти стопудовые никчемные полицейские щиты?!. — и он возмущенно волочит по полу в угол огромные и тяжелые металлические панцыри.

Филипповский с Синани заседают в новой, только что открытой теперь смежной комнатке с полукруглой стеною и любуются через окна, как сверкает на солнце мокрая медь только что прибывшего верхами военного оркестра, и как над стройной конной колонной казачьего полка на смокшем от дождя и словно пропитанном кровью кумачевом плакате от его линючих потеков розовеют нашитые белые полотняные буквы: «Война до полной победы».

— Уже «до победы»? — становлюсь я в дверях.

— Ну, а что же? — вскидывается Синани. — А по-вашему как? Открыть фронт немцам? Пустить Вильгельма восстанавливать здесь царский трон?

— Ах, я не про это... — смущаюсь я.

— А я вот про это. Что же, выходит, вы работаете от нас в Военной комиссии, над секретными бумагами, а сами никак продолжаете оставаться большевиком-пораженцем?!.

— Чепуха! Конечно, я — против Вильгельма... и я... я... как раз и прибежал сюда спросить вас, Василь Николаич. Военная комиссия заготовила сейчас вопиющую телеграмму об отмене приказа номер первый, и говорят, что с санкции Исполнительного комитета...

— Вы путаете, — легонечко морщится Филипповский.— Это не отмена приказа, а легонькое разъяснение, что он не распространяется на фронт, а касается одного только петроградского округа. Только и всего. Вчера Исполнительный комитет, после того как его посетила специальная делегация от генерала Рузского, заявившего, что он не сможет отвечать за фронт, если... Оборона страны и защита революции требуют от нас жертв, дорогой товарищ...

— О, это превосходно! Это будет превосходно! — восторгается в соседней комнате Греков и кричит: — Василь Николаич! А когда же мы вытребуем себе, чорт бы нас подери, этих самых арабских лошадок дворцовой породы?!.

— Вот почитайте! Наконец-то внесена долгожданная ясность! — и поручик Петров сует мне в коридоре свежий номер «Известий Совета». — Взгляните-ка на сегодняшнее воззвание Временного правительства к гражданам и к действующей армии. Ясно и коротко: «чтобы довести войну до победного конца... правительство будет свято охранять связывающие нас с другими державами союзы и неуклонно выполнять заключенные с союзниками соглашения»... Давно бы вот этак пора!

— Послушайте, Петров. Но ведь это же опять, значит, и Дарданеллы и завоевание Галиций и Армений?!. Неужели народная кровь так у нас дешева, что...

— Откуда у вас такая демагогия? А вы мне все время почему-то казались наиболее сознательным... Неужели вы серьезно можете думать сейчас у нас о каком-то там социализме?!

— О социализме?..

— Ну, ясно: нет! А если нет, то поймите, что нужен единый крепкий фронт всей страны во главе с нашей буржуазией, а тем самым и с общей нашей хозяйкой Антантой.

— С хозяйкой Антантой?..

— Или мы победим, и победим в пух и прах! Либо нас расколотят, и мы станем жалкой колонией для немецкой промышленности. Третьего выхода нет. И мы, офицеры, — и он подтянул портупею, — должны зарубить себе, господин поручик, все это претвердо на своем носу. Третьего выхода нет!

— А мне кажется, что стать колонией Германии так же неприглядно, как и стать колонией англичан.

— Этого не допустят! — гневно дернулся он.

— Кто не допустит?

— Сами союзники....

Заседание в Исполнительном комитете еще не начиналось, и я без труда отыскал скучающе-нахохлившегося на окошке красноликого Залуцкого. Я поделился с ним своими раздумьями.

— Да, за Военной комиссией надо зорко следить, — ободрил он меня, — и все эти генералы тоже безусловно что-то готовят.

— Войну до победы?

— Чепуха! Вон Скобелев только что сейчас передавал, как Гучков откровенно им нынче признался: на победу наших войск рассчитывать абсолютно нельзя. Ни продовольствия, ни транспорта, ни оружия, ни снарядов... Вся задача сейчас у всех наших штабов: дотянуть... Либо... «затянуть», чтобы затем... Недаром здесь теперь ни звука о мире!.. Да ты поговори-ка вот с нашим Садовским, он, брат, тоже по военной части...

Уже не молодой солдат-сапер, с легонькой лысинкой и желтым, похожим на репу, лбом, медленно подошел и тихо взглянул на меня своими внимательными глазами в металлических, перевязанных ниткой очках.

— Военная комиссия?.. — лениво слушал он меня. — Пустые саботажники! — сердито вдруг сплюнул он и задорно крутнул в кольцо свой темный ус.

— На всякий случай вы держите с нами связь, дорогой товарищ. Николай-то ведь еще фактически не арестован. Он только сегодня еще «изволил прибыть» в Царское Село... А Корнилов уже издает здесь приказы об отдании чести... Ведь и Михаил-то отрекся лишь потому, что Родзянко отказался ему гарантировать в этом случае жизнь. Им важно сейчас всех нас успокоить и как можно скорей прибрать к рукам. Но винтовки-то пока у нас!.. Держите с нами тесную связь, дорогой товарищ.

Мы умолкаем, потому что подходит широкоскулый чернявый сутулящийся Гвоздев, бывший председателем пресловутой «рабочей группы», по глупости арестованной Протопоповым накануне революции.

— О чем это вы?

— Да вот послушайте! — усмехается Залуцкий. — Даже офицер и тот жалуется на ваши порядочки в Военной комиссии. Составчик там у вас как на подбор! Сидим вот здесь не гадаем, а в один прекрасный день: фьюйть! И нет Исполнительного комитета. Охраны у нас никакой...

— Нет, это неправдоподобно? Разве это возможно? — вскидывается ко мне взлохмаченный Гвоздев. — В стенах Государственной думы!..

— Поручиться не могу! — роняю я.

Нас обступают.

— Да ведь этот товарищ офицер, помнится мне, как будто бы командовал здесь каким-то броневиком? — приветливо басит бородатый Стеклов. — Нельзя ли поставить этот ваш броневик теперь сюда во двор к нам для охраны?..

Я объясняю, что это не совсем так, но все подхватывают это предложение, и Гвоздев решительно сует мне соответствующее приказание на имя Военной комиссии.

— Какой им там еще броневик? Благоглупости! — устало зевает Пальчинский, когда я к нему прихожу. — Скажите им, что у нас все броневики на учете. Да здесь

и держать неудобно. Это они не про ваш ли уже? — испытующе смотрит он на меня.

Я ворочаюсь к Гвоздеву, когда заседание Исполнительного комитета в самом разгаре. Он еле выслушивает мое сообщение об отказе.

— Ну, и ладно! — равнодушно машет он рукой.

— Вы напрасно сноситесь с Исполнительным комитетом помимо меня! — ревниво шипит, догнав меня в дверях, вскочивший из-за стола Филипповский.

А в зале меня совсем неожиданно ловит прапорщик Красников:

— Вот, ведь я специально и срочно за вами, Асан Натич. Где ж это вы пропали? Филатов ставит вопрос об уходе нашем назад в Ораниенбаум. Первый пулеметный наотрез отказался, переходит куда-то на Охту, ну, а наши команды возвращаются.

— Ну, так что ж?

— Как же вы? Команда вас выбрала, а вы... не являетесь!

— Я теперь здесь...

— Ну, тогда вам нужно откомандироваться.

* * *

Под вечер, с предписанием Военной комиссии на имя генерала Филатова об откомандировании меня, я еду в Ораниенбаумскую школу. Сырой тусклый вечер. Поезд — непривычно набитый и загрязненный солдатской ордой. Хмурый неприветливый Ораниенбаум. Худые мокрые разломанные сады, разбитые опустелые военные флигеля и казармы. Лихие матросы в кургузых бушлатах и с голою грудью, спешащие в Кронштадт. В канцелярии школы почтительная оторопь при виде моей бумаги. Капитана Локтева в адъютантах уже нет. Смылся куда-то бесследно. Вместо него — подпоручик Метт. Обещает все срочно провести приказом и немедленно же выслать мне все бумаги в Таврический дворец.

Уж смеркалось, когда пришел я в Мартышкино. Обрывки чахлого сырого снега по сторонам. Уныло-темная раскоряга-сосна перед окнами моей квартиры. Как давно я здесь не был! Кажется, будто все это было не полторы недели, а лет пять тому назад. Стучу в пустынное окошко у крыльца. Зловещая пустота. В команде на горке огонек. Вспотевший Фенькин благодушно попивает чаек в гостях у фельдфебеля. Оба столбенеют при виде меня.

В комнате моей неуютно и сыро. Фенькин вздувает все ту же коптилку-лампешку, и так же нелепо поблескивает в углу киот с пыльными иконами квартирной хозяйки.

— Ну, как, Никита, живем? Не заскучал?

— Точно так, ваш выскрбродь, спервначалу скучал, а теперь приобык... Да и никак ведь нельзя, — многозначительно ухмыляется он, — я ведь все понимаю: революция. И в писании было сказано: «Не знаете бо ни дня, ни часа, вонь же сын человеческий...»

— Я утром совсем уеду в Питер, Никита. Буду жить теперь там. Расстанемся, выходит, с тобою навсегда.

Он молчит.

— Вам виднее, ваш выскрбродь. Конешно, в дворцах вам знатнее...

Но лампешка задорно высовывает в это время красный язык.

— Ну, а ты куда же теперь? В строй?

— Мне бы вот в отпуск, ваш выскрбродь, на побывку домой. Была бы ваша милость, хоть бы на месяц, — канючливо расплывается он. — Вон их выскрбродь поручик Казаков своего отпустили, а заместо его на время другого себе взяли.

— Поручик Казаков?.. Ах, да!.. Ну, а как он... теперь поживает?

— Не сугубо, ваш выскрбродь, — качает головой Никита. — Так что... спимшись... в доску... Намедни брюки

снял и этак без брюк и шасть по улице. Раз, — грит, — теперь революция, я, — грит, — тоже теперь — санкулот, что ли, там какой или как там по-ихнему...

* * *

Еле успел я войти и засунуть под диван в сорок второй комнате привезенные с собою чемодан и подушку, закутанную в одеяло, как ко мне суетливо-озабоченным петушком вскинулся поручик Греков.

— Бегу, бегу, бегу! — крутился он по комнате, туго затягивая поясной ремень. — Еду опять комендантом на Николаевский вокзал!.. Слушайте, — подскочил он ко мне, — а вас тут срочно искали какие-то солдаты из Исполнительного комитета, Садовский, что ли, и еще кто-то там...

— Садовский?..

На дворе перед Таврическим дворцом спокойно. Хмурое серое небо невозмутимо глядит за окнами на вереницы снующих посетителей, на подкатывающие и отъезжающие автомобили.

Порывисто врывается Синани. Брови туго натянуты. Впалые молодые глазенки сверкают. Порывисто оглядывается в широкое зеркало.

— Товарищи! Закройте двери... Мы сейчас занимаем войсками все вокзалы... И если нужно будет, арестуем правительство!.. Оно тайно увозит сейчас Николая в Англию. Свергнутого императора и в Англию?!. Вы понимаете, что это значит?!. Исполнительный комитет Совета срочно сейчас постановил: немедленно арестовать Николая Романова во что бы то ни стало и посадить в Петропавловку!

Буйный рой мыслей кружит голову, и я бегу в Исполнительный комитет.

— Ага! Ага! — хватает меня там под-руку Залуцкий и торопливо отводит к окну, чтобы не мешать заседанию. —

Мы отправляем вас сейчас в Царское Село. Вы должны будете вместе с Мстиславским срочно арестовать Николая Романова, или... сами понимаете... Милюков тайком сплавляет его за границу. Все это обделывают под шумок вместе с Керенским. Он в Москве вчера об этом проболтался...

— Тише! Тише! — шипят нам остальные.

— Товарищи, вот, — обращается громко Залуцкий к собранию, деловито поддергивая неустойчивый поясок брюк, — вот офицер, товарищ Родионов, про которого мы говорили. Необходимо немедленно же снабдить его полномочиями. Время не ждет!

— Да, да, да, — забормотали многие, шумно двигая стульями, и с внимательным любопытством взглянули на меня.

— Вы отыщите сейчас же Мстиславского! — кивнул Залуцкому русым клинышком бородки Скобелев. — Он только что сейчас был здесь.

— Товарищи! А как же с поднятым мною вопросом? Так и проглотим?! — горячо размахивал руками раскрасневшийся от волнения господин с жиденьким хохолочком волос и в сером пиджаке с закапанным жилетом. — Пускай, стало быть, никому ненужный вреднейший Думский комитет во главе с зубром-Родзянкой каждый день выпускает возмутительнейшие воззвания и постановления, направленные против нас?! По какому юридическому праву вообще существует этот..

— Красиков преувеличивает! — веско оборвал его Богданов, сердито поглаживая свою полную бритую щеку.

— Мы п-поддерживаем Красикова! — заикаясь, выкрикнул Молотов, на миг зажмурив глаза.

— И я! И я! И мы! — раздалось со всех сторон.

— Ну, кто ж возражает?! — развел руками Гвоздев. — Нечего поэтому и бучу зря подымать. Поручим это Николаю

Семеновичу Чхеидзе, поскольку он сам тоже являлся до сих пор членом этого Думского комитета. Он там и заявит им наш протест.

— Кто против? — мотнул помпончиками галстуха Скобелев. — Принято.

— Ну, а как же с офицером, господа? — опять высунулся Залуцкий, когда члены Исполнительного комитета стали вставать из-за стола и подходить к угловому столику у окна, где стояла батарея жестяных кружек со сладким чаем и лежали плотные ломти черного хлеба с маслом.

— Раз у нас есть постановление, невзирая на возможный разрыв с Временным правительством, срочно арестовать Николая Романова...

— Ну, что ж вы волнуетесь? — замахали на него, и многие то с какой-то утомленной досадою, то с сочувственным любопытством снова взглянули на меня. — Пусть товарищ Родионов едет.

— Конечно! Конечно! — загромыхал порывисто Стеклов. — Не надо терять времени. Пусть Родионов с Мстиславским немедленно же едут. Кузьма Антонович, заготовьте им сейчас же мандаты!.. С чрезвычайными полномочиями...

— Да броневиков, смотрите, не забудьте взять с собою! — озабоченно настаивал он, обращаясь ко мне. — Непременно, чтоб броневики!..

— Вы что, захватите с собою роту Семеновского полка? — спросил Гвоздев уже за занавеской, диктуя текст бумаги студенту, неистово хлопающему одним пальцем по клавишам ундервуда. — Мстиславский так нам сказал. Ведь это же рядом там с Царскосельским вокзалом...

— Нет, Кузьма Антоныч, — почтительно, но твердо возразил я, — на такое дело я поеду только со своими, абсолютно преданными нам солдатами, за которых я отвечаю. Только их и никого другого.

Через десять минут я уже выходил из дверей с мандатом, подписанным Чхеидзе и Гвоздевым о предоставлении в мое распоряжение вооруженной команды в двести пятьдесят человек из команд Офицерской стрелковой школы. Цель моих полномочий была сознательно обойдена в тексте молчанием.

— Ну, смотри, не подкачай! — весело толкнул меня в бок Залуцкий.

Я уверенно мигнул ему в ответ.

Мстиславского я застал в сорок второй комнате. Он нервно дергал плечом, настойчиво убеждал в чем-то кобенящегося перед ним прапорщика Любарского.

— ...и к тому же мой вооруженный отряд из вашего же полка! — расслышал я конец его фразы.

— Не могу я, Сергей Дмитриевич, у меня здесь есть одно важное дело, — фыркнул Любарский и оправил на коленке ровную складку своих длинных брюк.

— В Царское Село вместе с вами еду я, — сказал я Мстиславскому и протянул ему захваченные мною для него от Гвоздева мандаты. — Давайте добывать срочно машину.

— Машину Садовский мне уже дал, — повернулся Мстиславский и, как показалось мне, обрадованно взглянул на меня. — Это отлично! Едемте!

Молодцевато крутнув ус, он нервно вобрал голову в плечи и, сутулясь, вышел в коридор, размашисто звякая шпорами и торопливо застегивая на-ходу свою защитную серую бекешу на бараньем меху.

Сначала на несколько минут мы заехали к нему на квартиру, потом помчались в Михайловский манеж за броневиками.

Те же темные створы, та же бензинная мутная гарь, ползущая из этого огромного сырого каменного сарая, полуосвещенного дуговыми фонарями, где жутко блестели

над грязным асфальтом мрачные шеренги толстых железных панцырных зверей. И тот же рыжеватый, с лисьей почтительной ухмылкой, поручик Филоненко, торопливо пробежавший сейчас хитрыми глазками протянутое ему Мстиславским предписание Исполнительного комитета о предоставлении нам броневиков.

— Никак нет, не могу, — залебезил он трусливо. — Броневые машины из нашего дивизиона отпустить вам никак не могу.

— Но ведь предписание Исполнительного комитета! Подпись Чхеидзе!

— Все это так, — пожал плечами Филоненко, — но... мы военная часть. Вот, если бы была здесь подпись генерала Корнилова или хотя бы члена Думы Караулова...

— Чорт знает что! — вспылил Мстиславский и пошел звонить по телефону в Таврический.

— Ну, ничего, его сейчас взгреют, и броневики нам пришлют, — сел он уже успокоенный в авто. — В Семеновский полк! — махнул он шоферу.

— Нет, прямиком на Царскосельский! — поправил я и показал ему свой мандат. — Я поеду только со своими солдатами, а до этого заедем предварительно на вокзал и обследуем там положение.

Мы слезли мирно, как ни в чем не бывало, не вызвав своим приездом ни в ком ни малейшего подозрения, и сейчас же отпустили машину. Публика с пригородных поездов Павловска, Гатчины и Царского Села поспешно сновала взад и вперед внутри сумрачных вокзальных зал, то спускаясь, то поднимаясь по широким мраморным лестницам. Здесь же возле верхней со стеклянною крышей площадки у выхода на перрон помещались и комнаты дежурного по станции, начальника станции и коменданта, где то-и-дело дребезжали телефоны, и я внимательно заглянул в каждую из них. Вокзал работал беспрепятственно

и невозмутимо, никем не охраняемый и ничего не подозревая о наших замыслах.

— Теперь предоставьте дело мне, — шепнул я Мстиславскому, — и подождите меня хотя бы у входа, пока я не возвращусь. Распоряжайтесь только тогда, когда я займу весь вокзал! — и побежал в Технологический.

Шевелева не оказалось в команде, сказали, что он на заседании Совета в Таврическом, и я вздохнул облегченно. Не было по случайности и прапорщика Красникова, о чем я пожалел.

— Ребята! — быстро сказал я, отведя в угол Шеншина, Куприя и Ржавцева. — Сколько сейчас налицо надежных наших ребят? Но только своих, на которых бы можно было во всем положиться. Предстоит небывалое, важное и опасное дело.

Те пытливо взглянули в лицо мне и озабоченно задумались.

— Человек пятьдесят у себя наберем, — шепнул Шеншин.

— Тогда сейчас же соберите их при винтовках внизу у крыльца на площади и пулеметы захватите с собой.

Бегом дальше.

В Стрелковой команде я застал того смелого прапорщика с ясными глазами, который так толково и так энергично помогал мне мобилизовать для отпора георгиевцам генерала Иванова все наши здешние военные силы в недавнюю памятную ночь ложной тревоги.

— Милый прапорщик! — кинулся я к нему. — Есть секретное и важнейшее государственное дело. Оно поручено Исполнительным комитетом мне. Наберите сейчас же в два счета полтораста надежных и храбрых, готовых на отчаянный бой, абсолютно преданных нам солдат и человек хотя бы пять офицеров. Но никому ни гу-гу. Построиться бегом на площади у крыльца.

— Слушаюсь! — срывается прапорщик.

— Постойте! Кто сейчас здесь комендантом? Штабс-капитан Матисон? Ему ни звука. А люди обедали?

— Точно так.

. . . .

Через пять минут на площади у крыльца построилось в четыре шеренги человек около двухсот с двенадцатью пулеметами и при четырех офицерах, считая в том числе и ясноглазого прапорщика.

— Плотнее ко мне! — командую я. — Посторонних не подпускать. Товарищи! Знаете ли вы меня и твердо ли верите мне?

Утвердительный гул голосов и недоуменные взгляды.

— Я спрашиваю вас потому, что поведу сейчас вас на опасное и секретное боевое задание, которое поручено мне Исполнительным комитетом Совета, — тут я взмахнул в воздухе мандатом, — и потребую от вас беспрекословного послушания. При малейшей неточности буду расстреливать виновных собственноручно. Вот почему тот, кто не тверд, — два шага назад — аррш! — командую я.

Но все остаются на месте и с серьезной готовностью на все глядят на меня.

— Подробности задания я объясню только вашим командирам. Господа офицеры и взводные и отделенные командиры — за мной! — и я отхожу с ними в сторону.

— Сейчас мы подойдем вместе с вами к Царскосельскому вокзалу спокойно, как ни в чем не бывало. Вы останетесь на улице, пока я со своею командой не займу весь вокзал. После этого я выйду за вами, мы погрузимся и отправимся по указанному нам маршруту. Пока только это. По местам!

Я смотрю на лица юных офицеров. Взгляды некоторых из них подавляют внутреннюю невольную растерянность, а волевые мускулы губ наливаются боевой решимостью.

Все они мигом разбегаются по своим местам и перестраивают колонну к движению.

— Итти? — заговорщицки шепчет ясноглазый прапорщик.

— Прямо! — командую я. — И непременно песню, да позалихватистее.

Команда берет четкий шаг.

Все тучки, тучки понависли,
На поле па-ал тума-ан.
Скажи-п, о чем заду-умал,
Скажи, наш атаман.

. . . .

Останавливаемся возле вокзала у ограды Введенского канала.

— Ждите меня.

Забираю с собою сорок солдат своей учебной команды.

— Я расставлю сейчас вас, ребята, часовыми возле телефонных и телеграфных аппаратов. Ваша обязанность будет, пока я вас не сниму, никому не давать даже прикасаться к ним. Понятно?

Я уже вижу, как у вокзального входа нетерпеливо вышагивает бравый Мстиславский. Прохожу мимо, нарочно не обращая на него никакого внимания. Кидаюсь к телефонным будкам и быстро занимаю их часовыми. Затем всею гурьбой бегом вверх по широкой лестнице мимо ошалело шарахающейся публики. Все служебные кабинеты и телефоны были захвачены нами в несколько секунд.

Обступили красные фуражки железнодорожных чиновников. Перепуганные лица, дрожащие руки.

— Продолжайте работать без перебоя. В очередном поезде на Царское Село мы займем четыре вагона. Только и всего. Никому и никаких сообщений о нашем прибытии.

Ввожу всю команду в вокзал.

— Я им скажу сейчас речь, — подергивается Мстиславский.

— Говорите, только не сообщая целей и маршрута. Кругом посторонние.

— Ну, что я сам не понимаю, что ли?

Он говорит витиевато с пасхальным захлебом, но горячо и убежденно, как рыцарь, умирающий в бесплодных поисках принцессы Грезы. Мне кажется, что после речей его у слушателей-солдат должна оставаться туманно сладкая тоска беспричинного беспокойства.

Кончив речь, он гордо отряхивается, чрезвычайно довольный собой.

— Господин полковник! — подскакивает к нему восторженно мой ясноглазый прапорщик. — Прикажете команде грузиться?

— Да, немедленно! — повелительно кивает он и героически повертывается, чтобы сделать несколько шпорозвонких усталых шагов среди притихшего от нашего тарарама перрона.

— Состав еще не подан. Поэтому солдат еще рано уводить из здания вокзала, — внушительно бормочу я прапорщику, — во-вторых, все приказания — только от меня. В-третьих: какой он полковник?

— Но серебряные погоны...

— Титулярного или надворного советника военного ведомства. Только и всего. Нужно различать. А еще строевик!..

Начинаю жать на диспечера и начальника станции. Чувствую, что они беспричинно как-то осмелели во всем своем поведении и саботирую нашу отправку, задерживая подачу состава. Пробую решительно их приструнить, но тут вмешивается Мстиславский.

— Я полагаю, что они и сами понимают свой долг перед демократией, и то, что, как делегат Исполнительного

комитета, я облечен сейчас неограниченной властью вследствие важности моего поручения, и потому я вполне надеюсь, не правда ли?..

— Точно так, — равнодушно кивают чиновники.

А через минуту к нам неожиданно влетает в черном ватном пальто с поднятым воротником и в нахлобученной шапке сам Гвоздев. Огромный красный бант ярко прыгает у него посередь груди.

— Что вы тут наделали, Мстиславский?— накидывается он на Мстиславского. — Сейчас звонили отсюда по какому-то соседнему телефону, что вы всех здесь переарестовали и остановили всю работу железной дороги. Переполошили и все Временное правительство....

Нас мгновенно окружает плотная толпа осмелевших чинуш. Мстиславский смущен, но с честью выкручивается.

— Движение идет беспрепятственно. Часовые поставлены не к чиновникам, а к телефонам. Какой же это арест?..

Напряжение падает, потому что подают состав, и команда волочит пулеметы грузиться. Кургузые огнеметные зверьки с трудом влезают в вагоны. Двери тесны. Распоряжаюсь оставить их на вагонных площадках.

Мстиславского окружает на перроне густая толпа каких-то уже вновь прибывших штатских. По виду и манерам это, должно быть, журналисты. И здесь же, почтительно ему козыряя, уже получает какие-то приказания мой «знакомец» по Военной комиссии, прилизанный хлыщ, корнет Покровский.

— На одну секундочку, — стремительно отвожу я Мстиславского в сторону, — никакого общения с этим проходимцем! Я его знаю...— И быстро повертываюсь к насторожившемуся Покровскому, скрывшему свою тревогу под приторно-угодливой улыбкой. — Прошу, корнет, сейчас же покинуть вокзал. В два счета!

— Но почему же?.. — жалобно кривится он и растерянно-медленно сползает по ступенькам.

Провожаю его до выхода на площадь. Навстречу с каким-то смущением ковыляет Любарский.

— Мне бы Сергея Дмитриевича. Я только что приехал сюда на машине. Кроме того вот те два броневика, о которых он просил по телефону.

Я спускаюсь к броневикам и уславливаюсь, чтобы они оставались здесь и держали связь с нашей командой по служебному телефону, когда мы прибудем на вокзал в Царское Село. Все равно горючего при них на путь в Царское Село недостаточно. Когда я прощаюсь с ними, Любарский уже захлопывает дверцу, садясь обратно в свой автомобиль.

Я снимаю с постов и сажаю в вагоны всех своих солдат. У телеграфного и телефонного проводов с Царским Селом садится сам Гвоздев. Он берется наблюдать, чтобы ни звука не было сообщено о нашем продвижении, пока мы в пути.

. . . .

Солдаты, громыхая винтовками, молодцевато размещаются по вагонам. Я, Мстиславский и четыре прапорщика забираемся в отдельный угол. Мстиславский кичливо вынимает из кармана увесистый браунинг и с напускной озабоченностью проверяет наличие в обойме патронов.

— Советую и вам, господа офицеры, проверить. Момент ответственный. Думал ли когда-нибудь этот револьвер, — самодовольно мечтает он вслух, — что придется ему вершить судьбу династии?!.

— Может быть, вы посвятите всех нас в план предстоящих нам действий, — легонечко спускаю я его с мечтательных высот, — чтобы сейчас же по прибытии в Царское Село я дал бы каждому свое задание... Каждый воин должен понимать свой маневр...

— О чем же могут тут быть совещания? Моя цель: захватить Николая Романова и привезти его в Питер живым или мертвым. А все приказания я буду отдавать на месте, — и Мстиславский высокомерно отходит к противоположному окну, подергивая уголком губы.

— Объяснить эту цель сейчас же под строгим секретом всем солдатам! — приказываю я вполголоса офицерам. — Приказания исполнять только мои!

— Боюсь, господин поручик, что у солдат слишком мало патрон, — лепечет один из прапорщиков, и от тревоги у него краснеют уши. — Всего лишь по четыре обоймы на человека.

— Причем тут обоймы? Весь вопрос, взяли ли вы полный комплект лент ко всем нашим пулеметам?

— С избытком! — молодцевато вскидывается ясноглазый прапорщик.

— Вот и прекрасно. Это самое главное. В случае моей убыли вы, прапорщик, будете моим заместителем.

. . . .

За окнами уныло пролетают еще покрытые снегом поля, чахлые кустики и телеграфные столбы. Пасмурно висит серое скучное небо. Выходим на площадку, потому что поезд, шипя, подкатывает к вокзалу. Солдаты уже предупреждены и мигом в полном порядке на платформе. Мой прапорщик бегом занимает телефонный аппарат. Встречавший нас на перроне станционный начальник перепуганно хлопает глазами и не знает, что ему делать, нужно ли вообще отправлять сейчас этот поезд, следующий по расписанию дальше.

— Ну, конечно же, отправляйте. Наше прибытие вас не касается.

Гулко брянчат по асфальту колесики пулеметов. Солдаты вмиг заполняют зал третьего класса и проходной вокзальный вестибюль, загромождая его пулеметами, пат-

ронными коробками и козлами ружей, отчего весь вокзал моментально превращается в кордегардию.

Мстиславский звонит по телефону к коменданту города и срочно требует машину.

— Не беспокойтесь, — ухмыляется он, — мы приедем к вам только вдвоем.

— А разве солдат не возьмем с собою? — озадачиваюсь я, когда он вешает трубку.

— Ну, зачем же? Может быть, комендант выдаст нам его и миром?..

Легковая открытая машина приходит через несколько минут.

— Ну, вот что, — говорю я при Мстиславском, собрав вокруг себя в стороне прапорщиков и унтер-офицеров. — Начальника станции и телефон держать под неослабным наблюдением. Мы с Мстиславским сейчас уезжаем и попытаемся выполнить поручение миром. Сейчас полчаса третьего. Если через час вы не получите от нас никаких известий, значит: мы либо арестованы, либо убиты. Немедленно наступайте тогда к помещению городского коменданта, а оттуда, если там нас не будет, — к царскому дворцу. Свяжитесь с ротными комитетами второго стрелкового здешнего полка, но захватите царя живым или мертвым. Вам, прапорщик, передаю на время моего отсутствия свое командование.

— И я тоже, — сказал Мстиславский.

— Но смотрите точно: будете ждать только час...

Беру на подножку автомобиля Ржавцева и Мелехова в качестве ординарцев для связи, садимся вместе с Мстиславским и мчимся в ратушу к коменданту. Улицы провинциально-пустынны. Каменные особняки чередуются с полинялыми деревянными флигелями. Жалкие одинокие магазинчики дребезжат звоночками расхлябанных дверей.

Круто подворачиваем к угольному белокаменному дому с балконом. Мстиславский исчезает и просит меня дожидаться его здесь. Терпеливо зеваю по сторонам, наблюдая мирную развалистую поступь здешних обывателей. Проходит десять минут, проходит четверть часа, — Мстиславского нет. Подымаюсь на второй этаж. Там, за чиновничье-скучной вереницей протертых канцелярских столов с полинялыми воинскими писарями, в глубине гостинной арки, заставленной пожелтевшими пальмами и отделенной от зала пыльной драпировкой, я и застал Мстиславского, настойчиво торгующегося о чем-то с двумя сухенькими и желтенькими, как пергамент, полковниками в помятых сизых кителях с бордовыми владимирскими крестиками. Мстиславский вдохновенно декламировал им о чрезвычайных полномочиях, данных ему Петроградским советом, а старички упрямо ссылались на свою верность Временному правительству и на свою подчиненность приказам генерала Корнилова, переговорить с которым по телефону они то-и-дело порывались. Их упрямое скрипение вывело, наконец, из себя даже Мстиславского, и он вскочил с чувством беспомощного беспокойства, но тут же заметил меня. Это, должно быть, тоже раздражило его, и, отойдя ко мне в сторону, он колко бросил:

— Ведь я же просил вас обождать внизу?!

— Да, но срок истекает... Канителиться с ними нечего. Припугните этих беззубых хрычей нашими пулеметами, а для реальности давайте я вытребую их сюда.

— Что вы! Что вы!.. Ну, ладно, идите вниз! Через пять минут я спущусь.

Но прошло еще десять минут, а он не спускался, и я поднялся снова и стал прислушиваться, отодвинув слегка занавеску.

— Ну, хорошо, — убеждал их Мстиславский, — я буду считать вас здесь арестованными, если вы дадите мне че-

стное слово, что не подойдете здесь к телефонам и не будете ни сами вызывать, ни отвечать на вызовы. А сам я все-таки проеду во дворец.

«Комедия», подумал я и, плюнув, пошел вниз. Написав в полевой книжке записку, я послал с нею Мелехова на вокзал сообщить, что срок их выжидания удлиняется еще на полчаса.

— Император в Александровском дворце. Наконец-то узнал! — радостно вскакивает Мстиславский в автомобиль. Я равнодушно даю ему место рядом с собой. Его новость я узнал еще на вокзале от начальника станции.

— Значит, теперь за солдатами?

— Что вы! Что вы!.. В Александровский дворец! — командует он.

За высокой железной решеткой густая косматость черных оголенных деревьев огромного парка, бугры сугробов и хмурые полеты ворон. У наглухо запертых решетчатых ворот одиноко скучающий часовой, а поодаль за ним стройная белая колоннада дворца. Слева возле ворот — приземистое, желтое в полоску, казенное зданьице с выходом на улицу, к которому мы и подкатываем. Но нас не впускают. Выходят двое часовых и перетянутый в ремни гвардейский стрелковый офицер, дежурный по караулу.

— Да, у нас категорический приказ: никого и ни в каком случае не впускать.

— Но у меня полномочия от Петроградского исполнительного комитета! — настойчиво подергивается Мстиславский. — Именем революционного народа!..

— Безразлично. Ни в коем случае! — и прапорщик застывает с самодовольным окаменелым лицом.

— Вот видите, предлагал я вам немедленно же привести сюда с вокзала все наши высадившиеся войска! — поднимаюсь я в автомобиле.

— Это что же, угроза? — гневно вспыхивает дежурный офицер, крепко перекладывая руку на эфес шашки.

— Если только вы к этому вынудите, прапорщик, — продолжаю я спокойно. — Не сомневайтесь, если мы не выполним сейчас же нашего безобидного поручения или не успеем своевременно вернуться, наши войска через несколько минут уже самостоятельно начнут наступать на дворец и возьмут вас штурмом.

Прапорщик бледнеет.

— Хорошо. Я вызову сейчас дворцового коменданта.

— А мы что ж, будем стоять здесь на улице? — подхватывает Мстиславский и смело шагает вперед. — Это даже неучтиво заставлять старшего в чине офицера дрожать на морозе!..

Через пять минут он возвращается.

— Романов здесь! Слава богу, не увезли. Я попытаюсь во что бы то ни стало проверить его. А вы побудете здесь.

— Да, так будет лучше.

Проходит десять минут, и Мстиславский появляется снова.

— Этот противный комендантишка, штаб-ротмистр Коцебу, кочевряжится и ссылается на Корнилова... Я все-таки хочу пробиться... И я боюсь, как бы наша команда уже... не начала бы без нас наступление!

— Не беспокойтесь, я уже предупредил.

Мстиславский исчезает, а я долго разминаю затекшие ноги, толчась вокруг автомобиля. Наконец, поручив Ржавцеву следить за шофером, смело иду в зданьице. Часовой пытается было меня задержать.

— Что ты, очумел? Видишь, что нас уже впустили.

Налево помещение дежурной караульной смены. Винтовки блестят в стойке. Солдаты гвардейского стрелкового полка сидят у стола и валяются на нарах. Офицеров нет. Пошли вместе с Мстиславским во дворец.

— Здорово, братцы! — подсаживаюсь я к солдатам.

Нерешительное «здравствуйте» и осторожное оглядывание меня с ног до головы.

— Ну, как? Стережете Николашку? Не убежит?

— Куда ж ему бежать? — добродушно жмется один из стрелков.

— Ну, как сказать. Генералам есть расчет тихонько увезть его отсюда за границу, чтобы потом снова посадить его всем нам на шею. Ведь помещики знают, пока будет царь, не видать крестьянам господской земли!

Солдаты настороженно и дружелюбно поворачиваются ко мне, все еще недоуменно поглядывая на мои офицерские погоны. И затем робкое:

— А вы сами откуда?

— А нас Питерский совет рабочих и солдатских депутатов прислал сейчас сюда. Не дать помещикам увезти отсюда Николашку, а переправить его сейчас же в тюрьму в Питер.

Теперь все солдаты оставляют всякую постороннюю возню и доверчиво окружают меня. В дверь налезают все новые и новые лица.

— У нас здесь приказ. Сам генерал Корнилов сюда для этого приезжал, — строго бросает сидящий поодаль унтер-офицер, — императора никуда не выпускать.

— Вот то-то я и говорю, — отвечаю я небрежно, — питерские солдатские депутаты большую военную силу вместе с нами сюда сейчас прислали, да она на время на вокзале осталась. Вот теперь я и думаю, раз у вас приказ есть, чтобы, дескать, Николашку не выпускать, а наши солдаты наступать должны тогда начать, как бы зряшной перепалки у них с вами здесь не вышло б.

— Ну, зачем же перепалка? — взволнованно подхватывают солдаты, — можно, чай, и полюбовно...

— А как офицеры? Ваши, поди, будут против?

Молчание.

— Ну-к, что ж, что офицеры?— нерешительно начинает один. — Которы офицеры — двиствительно, ну, а есть, что и в сознании.

— Да и что ж одни офицеры без нас-то?! — залихватски задорно при всеобщем сочувствии подхватывает другой.

— Так что за свой полк поручиться можете? — развиваю я дальше.

— Уполне! — подхватывают хором солдаты.

— А как остальные полки?

— У нас здесь все, как и мы! — перебивают друг дружку вокруг.

— Ну, нет, не скажи! — резко вдруг протестует один. — А про сводный полк позабыл?

— Ну, что ж, конечно... вот только что этот сводный... — сокрушенно соглашается другой.

— А велик он?

— Ну, что ж там. Нас, вестимо, куда больше, чем их!..— подбадриваются все остальные. — Да и у них теперь тоже много солдат за нас стали становиться.

— А зачем же вам его отсюда увозить? — не унимается унтер-офицер. — Мы поди и сами сумеем его тут охранить.

Солдаты растерянно смолкают.

— А как ты поручишься, что его офицеры не переоденут как-нибудь, да тайком и не увезут?

— Вестимо! — подхватывают солдаты. — В тюрьме, брат, это не то, что во дворце. В тюрьме, брат, чай, крепче.

— А что ж вы там с ним делать будете? Если мы его вам выдадим? — уже полусдается унтер-офицер.

— Увезут и посадют. Поручик же про это уже сказывал, — успокаивают своего унтер-офицера сами же солдаты.

На сердце становится весело и бодро, несмотря на то, что время бежит, срок истекает, а Мстиславский все еще не возвращается.

— Беги, Ржавцев, — выхожу я на улицу, — скорей на вокзал и передай там главному прапорщику, чтобы отсрочил свое наступление еще ровно на час. Мы здесь немного задержались. Да назад не возвращайся. Мы наверно скоро сами подъедем. Все идет хорошо.

Оглядываю нашу тесненькую машину. Куда же мы «его» здесь посадим? Придется, должно быть, рядом с Мстиславским. А я встану насупротив и стисну на всякий случай револьвер в кармане шинели. И вспомнил про фельдъегеря Леонтьева. Где-то теперь последние императорские приказы? И нестерпимо захотелось вдруг есть. Ведь сегодня с самого утра ничего не было в горле! И я вернулся в караульное помещение.

— Ну, и проголодался же я тут, братцы! — откровенно сознался я солдатам. — А товарищ мой все чего-то не идет.

— А вы хлебца откушайте, товарищ поручик! — наперебой засуетились солдаты.

— Да чего там хлебца? — решительно поднялся пожилой солдат. — Сейчас здесь царский камердер па кухню прошел. Она здеся рядом через коридор. Как пойдет назад, вы и откушайте.

Действительно, бритый, круглый, лысый лакей с сосками седых бакенбард, в расшитом золоченым позументом вицмундире и в белых нитяных чулках, торопливо возвращался обратно, бережно неся поднос с двумя тарелками. На одной были ломтики белого и пеклеваного хлеба. На другой — холодный рябчик и нежинские огурчики.

— Ну-ка, оставь это здесь, старина! Я подзакушу, — остановил я его.

Старик испуганно вздрогнул и прикрыл поднос рукою, словно защищая его от святотатственного удара.

— Это для его императорского величества, лично его величеству!.. — гневно прошамкал он.

— Величество твое может теперь слегка и подождать, — принял я обе тарелки с подноса и поставил их на стол. — Ты знаешь здесь все ходы и выходы и поэтому можешь, если это так необходимо, принести своему барину вторично.

Солдаты захохотали, а лакей возвратился.

Никогда в жизни не ел я такого нежно-прохладного рябчика и таких изумительно вкусных малосольных упругих огурчиков.

. . . .

Наконец, окруженный хороводом офицеров, появился Мстиславский.

— А, вы уже здесь? — удивился он и, обернувшись к офицерам, радушно откланялся. — Итак, господа, счастливо оставаться!.. Едемте! — торопливо кинул он мне.

— То есть, как то есть «едемте»? — недоуменно дернул я его за рукав, когда на глазах вышедшей офицерской толпы он залезал уже в машину. — А как же Николай?..

— Едемте! — еще резче оборвал он меня. — Дорогой мы поговорим. Ведь чрезвычайные полномочия возложены не на вас, а на меня! — хмуро кольнул он еще раз, когда машина понеслась по пустынным, затопленным глухими сумерками, улицам.

— Я видел сейчас царя. Я настоял, чтобы его мне предъявили. И этого вполне достаточно. Уже одно это — пощечина всей монархической знати.

— Да разве дело в пощечине?..

— Что ж вы хотите? Устроить стрельбу и лечь костьми?..

— Зачем же обязательно стрельбу? Мы получили бы его сейчас же и безо всякой стрельбы.

— Чепуха! Вы не знаете, сколько нужно было нечеловеческих усилий только пролезть туда к нему во дворец. Да и зачем, спрашивается, его увозить? Я говорил с солдатами, да и вы, кажется, сидели с ними. Ведь они же

ручаются, что никуда и ни за что не выпустят отсюда Николая. Так в чем же дело?

Я не стал больше спорить, но подумал, что если бы я был одним из офицеров подобного же караула, а арестант был бы нашим партийным вождем, я сумел бы выручить его из этого заточенья, надув, если это было бы нужно, и всех часовых.

— Вы представить не можете, как мой визит обескуражил «величество»! — продолжал Мстиславский уже незлобиво делиться своими впечатлениями. — Я встал в свите этих всех караульных офицеров в низком коридоре возле дверей, у которых торчали придворные арапы в шутовских раззолоченных костюмах. Двери открылись, и Николай прошел мимо меня в сопровождении Долгорукова, Нарышкина и Бенкендорфа. Полковничий китель, тупые, свинцовые, обрюзгшие с перепоя глаза. Он хотел было даже подойти поздороваться, но нерешительно замялся и свернул.

— А остальные как?

— Бенкендорф шипел и плевался, как индюк.

— Что же, теперь обратно в Питер?

— Конечно, в Питер.

. . . .

На вокзале нас встретили шумной радостью, и Мстиславский стал тут же вдохновенно рассказывать о своих похождениях. Зажглись огни. Весело задребезжали освобожденные звонки. Ликующий станционный начальник сбился с ног, хлопоча о вагонах для нашей посадки. Затем подкатил состав, и нас прицепили.

Усталые за день от тревожного и напрасного безделья, солдаты небрежно швыряли на лавки ненужные теперь винтовки и, опрокидываясь на спину, дымили махрою, сердито сплевывая прямо на пол. Пулеметы на площадках неряшливо свалили друг на дружку. В соседнем вагоне

под лязг буферов и громыханье на стыках раскатисто гремела залихватская солдатская песня.

— Ну, а вы расскажите, поручик, что вы видели во дворце? — весело подсел к нашей компании тот юный прапорщик, который так боялся сегодня днем недостачи патронов.

— Да, да! Пусть расскажет! — с покровительственным добродушием поддержал его Мстиславский.

— Что ж я там видел?.. Дряблого рябчика в гарнире упругих малосольных огурчиков! — и я сердито отвернулся.

Но все весело и сочувственно расхохотались.

. . . .

Простившись с солдатами, я спустился на улицу. Броневики все еще дожидались возле вокзала, но легковой машины не было. Мстиславский отправился вызывать по телефону Таврический.

— Сейчас пришлют, подождем, — вернулся он. — Я сообщил вкратце о всех наших мероприятиях, и меня вполне одобрили...

— Ну, а я поеду, — сказал я устало.

— На чем же вы поедете?

— На броневике.

— Охота!—протянул он небрежно и завернул в вокзал.

Я подошел к мрачным грозным теням панцырных башен. Какая-то торопливая скрюченная тень юркнула от них мне навстречу, и при свете электрической лампочки я разглядел угодливо потирающего руки корнета Покровского. Размазав лицо сиропом улыбки, этот пройдоха, как ни в чем не бывало, засыпал меня льстивым каскадом слов.

— А мы вас так ждали!.. Разрешите отдать дань вашему героизму!.. Хорошо, что все этак благополучно окончилось! А мы вдвоем вот были командированы сюда нашей Военной

комиссией на всякий случай, знаете ли, в ваше распоряжение. Я и офицер Карамышев.

Из-за спины корнета Покровского на свет лампочки осторожно вылезает офицерское лицо. Боже мой! Да ведь это же тот самый поручик, который в первую ночь революции рассказывал, сидя на окне вместе с «князинькой», о своих карательных попытках вместе с капитаном Кутеповым подавить революцию! Тот, который вздыхал и тосковал о беспощадной с нами расправе, и которого я не сумел тогда схватить.

— Ах, вот что! — срываюсь я.

Но Карамышев мгновенно исчезает в темноте гулких улиц.

— Не понимаю... — недоуменно разводит руками корнет и сконфуженно пропадает.

— А вы все еще не уехали? — снова выходит Мстиславский. — И машины все еще что-то нет. Дождитесь легковой и поедемте вместе, я по пути только на квартиру к себе загляну...

— Трогай! — залезаю я в гулкую, жесткую и пропахшую керосиновой гарью коробку броневика. — В Таврический!

. . . .

Сперва я взлетаю в помещение Военной комиссии. Но в канцелярии и в кабинете генерала Потапова пусто. Комнаты заперты. Лишь в правой комнате огонь. Там за грудой бумаг одиноко сидит Пальчинский.

— Бодрствуете? — шутливо обращаюсь я к нему.

— Так же, как и вы — отвечает он с каким-то затаенным спокойным упрямством. — Чиновники отбарабанили свое и ушли, а мы с вами, должно быть, всегда будем на сверхурочных, — улыбается он шутливо. — У вас сегодня особенно было хлопотно, но хорошо, что все так кончилось.

— Откуда вы знаете?

— Так ведь вот же телефон от царскосельского коменданта. Он все время звонил мне...

«Ах, вот оно что!»

— Это вы послали мне на вокзал офицеров Покровского и Карамышева?

— Нет, их, кажется, послал к вам правитель нашей канцелярии поручик Плакса-Жданович. Знаете, тут такой, криворожий... Ну, а что?

— Я не знал фамилии этого Карамышева, но прекрасно знал его в лицо и давно хотел его поймать. Ведь это же отъявленнейший контрреволюционер!

— Что вы говорите?! — спокойно поворачивает Пальчинский глиняное лицо свое к бумагам.

— Да, но кто же всю эту мразь сюда назначает?!.

— Плакса-Жданович, Потапов... Впрочем, откуда я знаю? Да и охота вам волноваться из-за пустяков?!.

. . . .

В Исполнительном комитете многочисленно, душно, и заседание в полном разгаре. Садовский ловит меня за рукав и отводит в сторону.

— Ну, как? Почему не привезли? Мстиславский что-то звонил сюда, да мы ничего не поняли... Товарищи! — возвышает он свой хриплый голос. — Офицер Родионов вернулся! Пускай он нам сейчас доложит.

— Товарищи! — раздраженно верещит Чхеидзе. — Разрешите сначала закончить уже поднятый здесь вопрос, — и он обводит все собрание сердитым взглядом. — Поскольку представители Общества фабрикантов и заводчиков обратились сейчас здесь к нам, как к представительному органу демократии, с жалобой на то, что рабочие, вопреки нашему постановлению, не приступают к работам, а настаивают на немедленном противозаконном введении восьмичасового рабочего дня и пробуют уже посягать на права администра-

ции, и поскольку в развернувшихся прениях мы не достигли единодушия, и большинство высказалось за передачу вопроса в комиссию, разрешите наметить здесь же состав ее...

— Прежде всего надо подтвердить, — сердито рванул нахмуренный скуластый Гвоздев, — что мы настаиваем на немедленном приступе всех рабочих к работам...

— Мы п-против этого, — с захлебом веско вставил Молотов, — п-поскольку вы против введения восьмичасового рабочего дня!..

— И будем против этого! — гневно рявкнул, круто повернув к нему смуглое черноволосое лицо, Гвоздев. — Оборона страны требует...

— Будэт! Пажалста, Кузьма Антоныч, будэт! — болезненно ощерился Чхеидзе на Гвоздева и осторожно повернулся в сторону плотно усевшихся в распахнутых шубах с краю стола трех штатских господ, насмешливо и самоуверенно наблюдающих за ходом заседания.

— Так я предлагаю в комиссию Богданова...

Плотный курчавый меньшевик Богданов в темносером добротном пиджаке деловито вздернул свое широкое пробритое полное лицо.

— Суханова!.. — сразу же крикнуло несколько человек, но Суханов не пошевельнулся, а так и продолжал сидеть в своей обычной раздумчиво-скучающей позе, небрежно склонив зеленсвато-брюзглое лицо с слегка выпяченной нижней губой.

— Молотова! — предложил Садовский, но его густой хрип потонул в громких криках.

— Гвоздева! Гвоздева! Кузьму Антоныча!..

И смуглый скуластый Гвоздев торжествующе тряхнул своею черной шевелюрой.

— Кто за? — спешит Чхеидзе.

Зеленое сукно длинного стола обрамилось густым частоколом вскинутых рук. Шубы запахнулись и лебезливо стали прощаться.

— Дайте слово Родионову! — снова вскрикнул Садовский.

— Да, да, пожалуйста! — вскинулся фалдами Соколов.

— Да, да, просим! — пророкотал приветливо Стеклов.

И я коротко рассказал, что Николай находится в Царском под охраной, в этом мы убедились. Опасности немедленного увоза его как будто бы сейчас нет. Солдатский состав и охраны и гарнизона вполне наш, за исключением сводного полка, который немедленно же, в интересах революции, надо оттуда вывести. Офицерский состав не вполне надежен, как и обычно. Коменданта дворца, ротмистра Коцебу, надо срочно заменить вполне надежным своим офицером, иначе опасность увоза всегда останется налицо.

— Почему же вы не перевезли его в Петропавловку? — звонко кричит кто-то с места, должно быть, Залуцкий.

— Об этом вам доложит Мстиславский. А, впрочем, если говорить о контрреволюционных опасностях, то тут сверху и донизу должны быть приняты совершенно другие, то есть коренные беспощадные меры. Что, например, делает Военная комиссия, в которой я сейчас работаю?! Принимает к себе на службу активнейших наших врагов, непримиримо-злобных махровых монархистов, вроде офицера Карамышева, которого только что хотели мне подсунуть для этой операции!..

— Полагаю, что мы уже отвлеклись! — порывисто перебивает меня Богданов.

— Да, да, да, — кивает головою Чхеидзе, — основной вопрос доклада исчерпан.

— Нет, не исчерпан! — кричит с места Шляпников. — А что стоит одно сегодняшнее воззвание Гучкова к армии

и населению о том, что, дескать, в Питере сеют раздоры и недоверие к Временному правительству немецкие шпионы, переодетые в солдатские шинели?!. Это на кого намек?!

— Вот! — шепчет Садовскому подошедший Молотов. — А не далее, как сегодня на заседании Пека Авилов провел резолюцию, чтобы «не противодействовать Временному правительству постольку, поскольку действия его соответствуют интересам пролетарских и широких демократических масс». Вот Гучков и показывает теперь, как они «соответствуют».

— Значит, и ты, — усмехнулся Садовский, — не согласен с Выборгским районом, чтобы Совет немедленно же устранил Временное правительство и провозгласил себя властью?

— Нет, — мотнул головою Молотов. — Бюро Цека против всяких соглашений с правительством. Бюро Цека за то, чтобы Совет стал революционным правительством. Но для этого надо сдвинуть и Совет и всю солдатскую и рабочую массу с оборонческой линии. Ну, скажи ты, Садовский, много ли в настоящий момент у тебя, у твоих революционных саперов нам сочувствующих?

Тот крутнул головой.

Больших прений больше не было. Мой доклад приняли к сведению. Предложение о назначении к арестованному царю своего комиссара в принципе приняли. По поводу Карамышева постановили передать этот вопрос на расследование той же Военной комиссии.

«А щуку бросили в реку», злобно подумал я, ложась спать в сорок второй комнате, и стал перебирать в памяти все события дня. Нет, положительно это мне так не везет. Ну, что за незадачливый день. Что я сделал путного? Поел царские огурцы?!. И как отстал я и оторвался от партийной жизни. Узнаю обо всем только обрывками...

И я достал из кармана шинели свернутый номер сегодняшней «Правды», купленный мимоходом еще на вокзале. Но в газете ничего существенного, как показалось мне, не было. Сообщалось лишь о том, что установлен злой дух «черного автомобиля», застреливший в первые ночи революции пятнадцать наших патрульных. Он оказался членом городской думы Казицыным.

Я потушил свет, стиснул зубы и сжал кулаки.

ГЛАВА XIII.

Это неверно, что я размяк или у меня опустились руки,— нет, просто в Военную комиссию меня больше не тянуло. И в самом деле, какое удовольствие смотреть на застывшую глиняную ухмылку Пальчинского, разглядывать шершавое подергивание Паршина или слушать назойливое позвякивание шпор корнета Покровского и всяких прочих поручиков и эсаульчиков, приторно тренькающих вокруг генеральских эполет... И поэтому, на славном посту «бдительного делегата от демократии», меня вскоре вполне заменил другой делегат из Исполнительного комитета, Добраницкий. У него была спокойная мягонькая улыбочка, упрямо сверкающие глаза, ровные усики, и, должно быть, поэтому на все выверты и экивоки генеральской дипломатии он упорно и размеренно-вкрадчиво твердил свое:

— Нет, послушайте, господин генерал. Нет, послушайте, господин генерал...

И я видел, как господа генералы ежились от этих упрямых и настойчивых «послушайте».

Я сказал в «Союзе офицеров-республиканцев», что я разочарован и ничего не могу поделать в этом гучковском вертепе. Уж если говорить на чистоту, то нам нужно с корнем дергать всю эту верхушку и генерала Потапова прежде всего. Добраницкий тоже с этим соглашался, и даже Паль-

чинский, видя наше с ним недовольство, с укоризненным сочувствием покачивал головой:

— Ах, какие вы, господа, горячие, ах, какие горячие вы, господа! Революция делается постепенно; не беспокойтесь, генерал Потапов — ее созревающий плод, только и всего. Дайте ему время созреть, и он сам упадет.

Впрочем, по правде сказать, вся эта невязка с Военной комиссией не особенно волновала офицерско-республиканский союз. Здесь каждый был занят своим маленьким делом. Филипповский появлялся в сорок второй комнате редко, разве только на часик — на два заходил по утрам, да и то сидел насупившись и бурчал себе что-то под-нос в свои черные густые усы.

— Да, да, — говорил он обычно, — вот, погодите. Скоро мы развернем дело во-всю.

— И даже жалованье будем получать, — шептал мне на-ухо Синани.

— Откуда же деньги? — изумлялся я.

— Исполнительный комитет хлопочет о предоставлении ему десятимиллионной субсидии, — веско объяснял Филипповский.

— И вы полагаете, Временное правительство даст? — спрашивал я.

— Ну, еще бы! Конечно, надеемся. Временное правительство находится теперь под нашим непосредственным контролем и наблюдением. Разве вы не знаете? — гордо подтягивал он целлулоидный воротничок из-за высокого узкого ворота своего синего морского кителя. — Ведь я тоже член контактной комиссии... Чхеидзе, Стеклов, Скобелев, Суханов и я...

Синани был занят другим.

— Организовать под нашими лозунгами все офицерство, господа, это сейчас наша первейшая общественная задача! Разве вы с этим не согласны?

Конечно, мы с этим все были согласны, но как его охватить, это офицерство?

— Пустяки, как его охватить. Вот вчера, знаете ль, в зале Армии и Флота было грандиознейшее собрание. Были Чхеидзе, Стеклов и солдат Борисов. От нас вот поручик Скобейко там был, был и я. Даже от Военной комиссии был какой-то капитан Вейгелин...

— Ну, и что же?

— Полнейшее единодушие, полнейший контакт!

— Да? — изумлялся я. — Они пошли за нами? Они — за республику?

— За республику? — наивно вздергивал брови Синани. — Нет, этого вопроса мы не касались. Основной вопрос был, конечно, о войне.

— Ну?.. И...

— Ну, и так же, конечно, как и мы. Фронт, разумеется, не бросать, все на борьбу, на борьбу до полнейшей победы, до полнейшего издыхания, но ради защиты завоеванных нами свобод.

— Какой громкий пафос! И раздувание внешней опасности. Кто же это угрожает этим свободам? Фронт пока что упорно спокоен. Немцы молчат, — дерзко вставил белокурый новенький прапорщик из числа тех, что каждый день перелетными стайками порхали вокруг Синани в нашей сорок второй комнате.

— Штатские разговорчики, прапорщик Сахаров! — язвительно подернулся Синани. — Разве вы не слыхали, что немцы сейчас затевают десант к нам сюда на Биоркские позиции финляндского побережья. Ведь это же здесь, рядом, под Питером!

О Биоркских позициях говорил мне раньше и Пальчинский.

— Вот если вы бросите фрондировать и хотите найти себе живое интересное дело, — цедил он размеренно-веско,

глядя задумчиво, словно бы сквозь меня, — вот, возьмитесь-ка и рассчитайте: каков нам нужен гарнизон, чтобы защитить Биоркские позиции от десанта, а потом взвесьте и подумайте: откуда же мы можем достать для этой цели солдат, как только не за счет вывода из Петрограда его гарнизона?

— Никогда! — мотнулся я резко.

— Слепота, — подернул он плечами.

* * *

В Исполнительном комитете яркое солнце уже по-весеннему било в огромные окна, просвечивая сквозь ветвистую занавесь еще голых садовых сучьев. В этих щедрых солнечных потоках в душной комнате золотисто сияли лучистые столбы пыли, и серебрился голубоватый дымок папирос. В этой пыльной прокуренной комнате заседаний методично, изо дня в день кипела деловая суета, плотно облепляя окурками длинный стол с зеленым сукном. Здесь до одури безумолку хрипели разговоры и споры, лишь слегка приглушаемые в перерывах торопливым чавканьем над кружками сладкого чая и над толстыми ржаными бутербродами с густо намазанным сливочным маслом.

Гвоздеву было поручено спешно уладить с фабрикантами и заводчиками вопрос о восьмичасовом рабочем дне. Районы гудели назойливо, и рабочие то-и-дело непрошенно ломились в двери и лезли под занавеску в комнату заседаний, требуя от Исполнительного комитета еще и немедленного утверждения заводских комитетов. И фабрикантам, прижатым к стене забастовкой и падением власти, ничего теперь не оставалось, как признать их и утвердить, так же как и явочным порядком проведенный на фабриках восьмичасовой рабочий день.

— Безобразие!.. — возмущался в коридорах перед рабочими делегациями всклокоченный Богданов. — Как же

вы, вы, рабочие, и не руководствуетесь ясными директивами нашей рабочей партии?!. Разве вы не читали нашу «Рабочую газету»? — кидался он к ним. — Если отечество в опасности, если свобода и республика в опасности, только предатель или дурак может думать сейчас о немедленном восьмичасовом рабочем дне.

И так же стремительно он исчезал обратно за дверь, охраняемую часовыми.

— Ну, что ты ему скажешь?.. — разводили руками рабочие.

— Меньшевик! — злобно сплевывал кто-нибудь за спиной.

Однажды днем я застал, как члены Исполнительного комитета торопливо застегивались на пуговицы, отряхивали пыль с сюртуков, приглаживали лысеющие височки, чинили карандашики, укладывали перед собой аккуратненько листочки бумаги, словно ученики на выпускном экзамене в ожидании сурового директора. И действительно, минут через пять, окруженный сверкающей свитой, блестя лаком сапог, покачивая серебряными плетьми аксельбантов и сверкая шитым золотом генеральских широких погон, из приемной вошел сам генерал Корнилов. И весь этот блистающий серебром и золотом командный генералитет, вошедший сюда с громыханием шпор и торжественно и чинно остановившийся перед столом в сизых лучах сверкающей на солнце пыли, показался каким-то священным синклитом самых беспощадных и самых жестоких, перетянутых в сукно и парчу кровожадных жрецов, пришедших сюда за свежими человеческими жертвами.

Настороженное молчание легло между ними и нами. Все мы словно как бы старались пытливо обшарить взглядами и этот низенький лоб, и эти узкие по-киргизски смеющиеся глазки, и коротенькие остренькие японские усики, будто бы натыканные из жесткого конского волоса, которые

прикрывали холодную волевую хитринку генеральствующего азиата.

Все эти военные сели на освобожденные для них стулья, и Корнилов, вобрав в плечи свое узкое, желтое, хорьковое личико, сейчас же обложился кипами бумаг и начал закидывать насторожившееся собрание цифрами, сметами, предположениями, схемами, планами, дислокациями, коммуникациями, оккупациями, провокациями...

— Но, генерал, поскольку вы затрагиваете здесь и политику, мы, конечно, обсудим и это, но заранее должны предупредить вас, что мы едва ли будем согласны с той постановкой, которую придает вопросу о войне и о мире наш новый военный министр Гучков, — почтительно, но вместе с тем раскатисто и веско прогромыхал Стеклов.

— О, нет, нет, нет, — торопливо произнес генерал. — Нет, нет, политики я касаться не буду. Армия должна быть вне всякой политики. Армия выше всякой политики, господа, и я был бы счастлив, граждане депутаты, если бы в вашем лице я, верный слуга демократии, нашел бы поддержку и посильную помощь всем моим самоотверженным трудам и усилиям, кои мною направлены на пользу народа и революции. Я — ваш верный и надежный солдат!

Он обвел всех глазами. Соколов щурился и что-то бормотал себе в бороду. Чхеидзе устало уставился в стол. Даже Стеклов растерянно сунул окурок прямо в кружку с недопитым чаем. И только вновь появившийся в Исполнительном комитете молодой прапорщик Станкевич, в серебряных погонах инженерных войск, с румяным, всегда спокойным личиком и сам весь овальный и гладенький, довольно сиял теперь, как хрустальный туалетный флакончик.

— Хорошо, генерал. Но вы скажите теперь нам прямо и ясно, каковы сейчас наши перспективы на фронте? — внушительно спросил из угла долговязый солдат Борисов.

— Да, да, это самое важное, — заикаясь, подхватил Скобелев.

Листки бумаги шелестели, карандашики перекладывались, и десятки настойчиво внимательных глаз снова уперлись в генерала Корнилова.

— Перспективы на фронте?.. — тягуче скрипел он. — Нет, не блестящи наши перспективы на фронте. Вам известно, господа депутаты, и состояние нашего транспорта, и состояние продовольствия, и вопрос о пополнении, и вопрос о вооружении,— и по всем этим линиям выводы безотрадны. Конечно, — понижал он голос, — и я надеюсь, что эти сведения, абсолютно-секретные, никто за пределы этих стен не вынесет. Я хочу здесь сказать, что по отношению к нашим доблестным союзникам мы, конечно, обязаны, и мы обещались, и мы постараемся выполнить все... Это так, но мы вряд ли сможем, несмотря на все их настойчивые настояния, двинуться хотя бы на пядь земли вперед, вот чего я боюсь. Дай, господь бог, чтобы мы усидели и на наших-то позициях! Конечно, — сверкал он лисьими глазками, — вот, если бы вы здесь смогли бы двинуть в поход, в наступление, еще новые и свежие сотни тысяч людей или, по крайней мере, — хитро прищурился он, — дать мне возможность вот кинуть на фронт хотя бы весь здешний питерский гарнизон!.. Не беспокойтесь, конечно, вы не остались бы здесь без войска. Можно бы пригнать сюда свежее пополнение из захолустья. Можно было бы отвести сюда для охраны завоеванной народом свободы некоторые усталые части с фронта...

— Да, да... — нерешительно мычал ему в такт Стеклов, — но вы скажите нам прямо, господин генерал, есть ли у нас надежда на победу или нет?

— Почему же нет? — разводил руками Корнилов.— Нам надобно будет лишь продержаться, а французы с англичанами пускай победят. Таким образом победа будет всеобщая.

— Нет, а сами мы, мы одни? Здесь, на нашем фронте? — заверещал Чхеидзе.

— Вы требуете откровенного ответа, — заерзал генерал, растерянно оглядываясь на свою почтительно молчащую и опустившую долу глаза блестящую свиту. — Как честный солдат революции я должен буду с прискорбием ответить вам: нет. При настоящих условиях... нет.

— Чего же тогда и огород городить о победах? — сумрачно буркнул сзади меня себе под-нос Садовский.

* * *

Вечером в сорок вторую комнату то-и-дело звонили и то-и-дело приходили. В разные места необходимо было послать представителей от офицеров-активистов. В Михайловском театре было заседание Совета солдатских и рабочих депутатов. Но туда поехал сам Филипповский. Проведение нашей политической линии в органах демократии он всецело взял на себя, ревниво косясь на всякую другую инициативу в этом направлении кого бы то ни было из нас. В штаб Петроградского округа тоже нужно было кого-то послать.

— Вот туда хоть и с большевистскими речами — не страшно, туда вы поезжайте, — сказал он мне, выдавая мандат. Коренастый, коротконогий, уже с седеющими висками, заехавший сюда часа через два, корнет Сакс вызвался довезти меня на своем автомобиле. Он вошел раскоряченной походкой кавалериста в сопровождении той самой рыжей машинисточки с подергивающимися ноздрями, которую я уже видел однажды в первые дни в кабинете полковника Энгельгардта. Она «мило» щурила шустрые глазки и, томно вися на плече у корнета, гнусаво жаловалась, что на ней чересчур легкое пальтецо, а сейчас такой страшный ветер, такой ужасный северный ветер! На локте ее почему-то уже белела теперь повязочка с красным крестом,

и отрекомендовалась она мне сестрой милосердия. Впрочем, я с готовностью предложил ей укрыться в пути моим постельным пледом.

Автомобиль наш зверски трясло на ухабах и выбоинах, густо изрывших теперь ледяной покров широких улиц, потому что с начала революции лед на них уже никто не скалывал и никто не убирал. Шины хлюпали и проваливались в темноту, и брызги фонтаном окачивали прохожих. Мрачно-кровавое здание штаба Петроградского округа было тускло освещено. Сонные писаря робко жались к стенам, попадаясь навстречу нам на большой сумрачной лестнице. Просторный зал наверху был густо набит и гудел начавшимся заседанием. Какой-то высокий штабной подполковник елейным голоском читал, как акафист, текст приветствия штаба новому командующему, генералу Корнилову, и текст этот был восторженно принят. Все офицеры зорко следили здесь друг за дружкой, словно боясь, как бы сосед его не прыгнул скорее и выше по служебной лестнице штабной офицерской карьеры. И когда начались выступления, они были неуверенны и робки и косноязычно мычали о преданности новому режиму, но они сразу же приняли боевой и стремительный характер, лишь только речь зашла о дисциплине.

— Все дело в уменьи, господа. Все дело только в умелом подходе, — покачивался на эстраде возле стола, прочно затянутый в ремни, полковник Келлер. — Вы знаете, в нашем Измайловском полку была раньше и такая же разнузданность солдатни, и те же выборы в Совет «рачьих и собачьих», то есть, виноват, я не то хотел сказать, но так его все называют, — оглянулся он вдруг сконфуженно, но вокруг все сочувственно захохотали.

— Ну, и что же? Ну, и что же?

— А теперь, а теперь солдаты встречают меня возгласом «смирно!», а на мое приветствие «здорово, молодцы!» отче-

канивают все, как один, «здравья желаем, господин полковник!» А многие — да, уже многие, представьте себе — начинают день ото дня все дружнее и чаще рявкать: «здравья желаем, ваше высокородие!» Поэтому за свой полк я ручаюсь. Через неделю, через две он снова будет в наших верноподданных... то есть, — кашлянул он, — в наших верных новому режиму руках.

Лица офицеров засияли завистливой радостью и веселой довольной усмешкой. Я не стал дожидаться конца и, отобрав у сестры плед, в который она крикливо и кокетливо драпировалась, перемигиваясь с офицерами, быстро вернулся в Таврический. «Вот она где, офицерская зараза!», думал я.

На следующее утро я рассказал обо всем этом Пете Залуцкому.

— Да, да, — забеспокоился он, — вы расскажите об этом обязательно в Исполнительном комитете, этого так оставлять ни в коем случае нельзя.

Но Исполнительный комитет в этот день по горло был занят самыми боевыми дебатами о мире. По углам уже заблаговременно воинственно шушукались фракции и группировки, заранее подсчитывая свои голоса. Все опасались выступления приехавших из Сибири большевиков.

— Мы должны обратиться, — гремел, тряся бородой, Стеклов, — мы должны обратиться к нашим собратьям по ту сторону фронта, протянуть им честную пролетарскую руку через горы трупов с горячим призывом. Пусть и они немедленно скинут иго своего полусамодержавного порядка!

— Хорошо, — поднимался Молотов, — ну, а что же мы им взамен этого пообещаем? Все ту же преданность нашего Временного правительства старым царским грабительским договорам с союзниками, о чем на-днях распинался на приеме послов кадет Милюков?

— Демагогия! — оборвал его свирепо Богданов. — Демократия России давно уже обещает свое противодействие захватной политике.

— Обещаете противодействие? — вопросительно вставил и нервно погладил свой ершик какой-то незнакомый депутат в косоворотке и пиджачке.

— Наш Муранов, — прошептал мне на ухо Линде, — только что вернулся из Сибири вместе с Каменевым и Сталиным. Прибыло, брат, теперь нашего полку...

— В чем же скажется это ваше противодействие? Нельзя ли это как-нибудь поконкретнее! — качнулся Муранов.

— Мы не можем предлагать сейчас что-либо конкретное, пока не знаем принципиального ответа противника, — отрывисто рявкнул Филипповский.

— Да, да, — поддержал его Чхеидзе. — Конечно, речь идет не о сепаратном мире... Русская революция не отступит перед штыками завоевателей, и с германским народом у нас не будет общего языка, пока не будет убран Вильгельм. И до этих пор мы будем честно бороться за нашу свободную матушку-Русь!

— Го-го-го!—загоготали большевики.

— Ну, а вы-то что?.. А теперь что вы предлагаете? — гневно хрипел Гвоздев, стремительно повернувшись лицом в большевистский угол. — Вы-то что взамен нам предложите? Высказывайте на чистоту!

Муранов в раздумьи покачал головой, посмотрел на окно и как-то нерешительно обронил:

— Хорошо, в этих пределах мы вас поддержим.

— Ну то-то же, то-то же!.. То-то же!.. — вырвался сразу у многих вздох облегченья от этой совсем неожиданной уступки большевиков.

Лишь под конец заседания и с огромным трудом удалось мне получить слово об офицерском собрании в штабе.

— Вот вы сейчас только что говорили о воззвании к народам мира. Демократия предлагает кончить войну. О ее безнадежности высказывался здесь вчера и сам генерал Корнилов. А вот в его непосредственном штабе вчера вечером я вдосталь наслушался самых горячих речей о войне до полнейшей победы и о том, что якобы для этого некоторые части здешних полков уже снова приводятся в полнейшее повиновение офицерам. Разве не ясно, чем все это пахнет?!.

Линде сорвался бледный и горячечный и, нервно махая руками, заговорил, что он тоже только что вернулся из Витебска, и что там офицерство настроено так же, и что если теперь мы им дадим поблажку и свободу воздействия на солдатские массы, то мы не будем уже сидеть в этой комнате в самое ближайшее время. Они знают, куда они гнут.

Остальные члены Исполнительного комитета устало глядели на меня и на Линде и брезгливо косились на одиноко скучающих большевиков, да испытующе пронизывали взорами вновь прибывших: кругленького, как мячик, маленького, с седою головкой, в очках, представителя польской левицы Козловского и сутулого, с белым, как дым, хохолком и седой бахромою усов, латыша Стучку. Но эти еще были здесь новичками и внимательно еще только прислушивались к торопливому и нервному русскому говору, сами пока что сосредоточенно и выжидательно помалкивая.

— Ну, что ж, — вносил предложение Богданов, — мы примем доклад офицера-активиста к сведению. Я полагаю, что никаких конкретных выводов и никаких конкретных решений по этому поводу мы выносить не будем?

Все молчали.

— Принято. Переходим к следующему вопросу.

* *
*

Утром Филипповский на заседании президиума офицеров-республиканцев опять недовольно взглянул на меня:

— Сколько раз повторял вам, батенька, прежде чем выступать в Исполнительном комитете, вы обязаны были бы сделать доклад здесь, в нашей среде, и если бы мы его одобрили, то только в этом случае вы могли бы итти с нашего разрешения в Исполнительный комитет. А что делаете вы?!.

И Любарский, и Греков, и Лащинский, и даже Мстиславский укоризненно качали головами.

— Я не понимаю, — поддерживал их Сипани. — Я не понимаю, каким образом поручик не умеет тактично подойти к нашему высшему офицерству. В таком случае пусть он попробует свои силы в привлечении в ряды нашего союза широких масс низшего офицерства, рядового. Вот сегодня в зале Армии и Флота опять будет расширенное собрание офицеров всего гарнизона, то есть всех офицеров, выбранных от командного состава своих частей. Пусть поручик займется этим делом и даже попробует выступить там самостоятельно со своею партийной программой, конечно, только не вмешивая, разумеется, в это дело нас, как союз. А мы бы потом посмотрели, что из этого бы вышло.

И он насмешливо сощурил свои карие глазки.

* * *

Собрание в здании Армии и Флота было созвано в том верхнем зале, где обычно давались когда-то патриотические концерты. Здесь на четырехугольных толстых колоннах грузно лежали хоры, а в конце зала на большом деревянном помосте торжественно раскинулся стол. Зал был набит прапорщицкими погонами и переливался воинственным задором и беззаботным говорком тылового гвардейского офицерства. Но вся эта звонкая прыть робко тухла, голоски срывались и никли погоны, когда офицеры, сменяя друг дружку, вылезали говорить на трибуну.

— Граждане!.. Господа офицеры!.. Великие завоевания!.. Народная свобода!.. Великая свобода революционного

народа!.. Свободный народ!.. Великая революция!.. — склонялось здесь на все лады.

— Ну, а практически-то что же?— подзуживали с мест.— Пусть, выходит, солдаты нас выбирают?! Вставать во фронт перед нижним чином, может быть?!

— Да, господа офицеры, мы докатились до мрачной бездны падения, — зловеще начал, встав на трибуну, артиллерийский полковник Узембло. — Я офицер из Кронштадта, единственный оставшийся живым и свободным. Все остальные либо перебиты, либо сидят в военно-морской тюрьме по колено в воде и взывают сюда к вам: «Братья, спасите!»

Слова его были жалки, а призыв о помощи так горяч, что тронутое собрание мигом выделило депутацию в Исполнительный комитет Совета, чтобы просить о немедленном выезде в Кронштадт специальной делегации на предмет освобождения арестованных офицеров.

— Вы тоже выступите? — пробежав мой мандат, кивнул мне скуластой головой председательствующий полковник Гущин, когда собрание уже успокоилось.

— Да, прошу слова.

И я выступил, но говорил, должно быть, так же бестолково, как и тогда, в Технологическом.

— Конечно, «свободный народ», «великая революция» — все это очень возвышенно, очень шипуче, но практическая оценка всему нашему офицерскому свободолюбию дается пока что сейчас, увы, не в нашу пользу, а окончательно оценена будет историей только тогда, когда мы сумеем сдать боевой экзамен на нашу преданность делу, преданность лозунгам и интересам широких трудящихся масс, то есть лозунгам и интересам в первую очередь наших солдат, с которыми мы соприкасаемся. Только это спасет офицерство от повторения Кронштадтов. Война, к сожалению, остается войной, и уж не нам, офицерам, отступать сейчас

перед штыками Вильгельма, но и не нам же бить в поход с шумливой трескотней: «Война до победного конца!» ради союзнических обязательств, заключенных свергнутым нами царем. Как легко было бы вести свои полчища Гогенцоллерну против нас, если он сможет кричать им вновь: «Вот смотрите, русские сбросили царя, свобода как будто б свободой, а цели военных завоеваний, цели аннексий, цели контрибуций остались у них все те же». А представьте теперь себе, если бы мы четко и ясно сумели бы крикнуть на весь мир о том, что мы отказываемся от этих старых царских договоров, что мы сейчас же предлагаем всем заключение мира на основе полного отказа от завоеваний, кто бы, скажите, пошел тогда за Вильгельмом? Офицерство должно беречь кровь народа, хотя бы ради этой бережливости крови народной ему пришлось бы жертвовать и кровью своей. Ведь реакционные силы не дремлют, реакционные силы внутри офицерства мечтают о том, чтобы вновь при входе в казармы им кричали: «Здравья желаем, ваше высокородие!» или «Здравья желаем, ваш дис!» И кто еще знает, чем кончится с ними борьба демократии, борьба наших братьев солдат и наших братьев рабочих с этими сшибленными революцией выскочками, мечтающими о возврате старых цепей.

Я ожидал, что будет шипение и свист, но собрание довольно дружно наградило мою речь хлопками. Меня даже посадили в президиум, где за другим концом стола я увидел облепленного увивающимися вкруг него офицерами Милюкова. Моей речи он, должно быть, не слышал.

— Слово принадлежит Милюкову! — выкрикнул тот же полковник.

И седоусый кот, одергивая светлосерый английской шерсти костюмчик, вкрадчиво начал мурлыкать перед офицерством «о великих исторических задачах российского государства, о национальных проблемах проливов, о боевом щите Олега, прибитом к воротам Царьграда, о верности

честному слову союзных договоров, о чести офицерского русского мундира». Когда он окончил, все восторженно вскочили с мест, и профессор долго стоял и кивал головою, отвечая на бурный ливень хлопков, затопивших весь зал; а потом с гордым и торжественным видом министр иностранных дел повернулся к столу, и тогда все офицеры, сидевшие на трибуне, с угодливыми улыбочками порывисто кинулись пожимать ему руки. И он сияюще шел всем им навстречу, а также и к тем, которые стремительно хлынули сейчас на трибуну. Я поднялся и отошел в сторону, но Милюков подошел и ко мне. Я посмотрел на него растерянно-молча, покраснел и не подал руки, хотя он на глазах у всех машинально протянул мне свою. Это было, должно быть, для него так неожиданно, что он секунду держал протянутую руку, разинувши рот, но тотчас же находчиво махнул ею в воздухе, засунул в карман за платком и, дернув плечом, отвернулся.

Когда в конце собрания торжественно избирался «Исполнительный комитет» этого новоиспеченного «Совета офицерских депутатов петроградского гарнизона», были выбраны: генерал-майор Житкевич, капитан Поликарпов, полковники: Свечин, Гущин и Томме, корнет Сакс, штабс-капитан Вржосек, прапорщик Бернштам, доктор Вербов и много других, а в том числе почему-то и я. Выбирали, должно быть, всех выступавших. Председателем этого офицерского Совета был избран Гущин, а товарищами его — Вржосек и Свечин.

* * *

— Ну, что же, поздравляю,— с затаенной усмешкой сказал мне на утро в «Союзе офицеров-республиканцев» Филипповский, — ваша речь, говорят, произвела вчера впечатление. Только передают, что вы неделикатно поступили с Милюковым. Неужели вы, поручик, всерьез мечтаете сейчас о социализме?

— Это вы, если помнится, Василий Николаевич, предлагали нам социалистическую программу, — усмехнулся я в ответ.

— Как экономическую программу-максимум — да. Но ведь она же есть и у вас! Но это отдаленное будущее, «максимум», а то, что революция наша сейчас исключительно буржуазная, надеюсь, теперь-то и вы не станете больше отрицать. А если сомневаетесь, то советую посмотреть хотя бы сегодняшнюю вашу же «Правду». Там черным по белому объясняется это.

— И все эти ваши досужие россказни о каких-то тайных подвохах, о каких-то монархических заговорах, — злобно взглянув на меня, вставил подпоручик Скобейко, — вся эта болтовня о том, что, дескать, из-за этого нам нужно как можно скорее кончать войну миром и чуть ли не лезть в лапы Вильгельму, — все это, я должен вас, поручик, предупредить, все это пахнет чистейшей вашей большевистской черномазовщиной. Недаром этот прохвост-провокатор сидел у вас в «Правде» и получал от жандармов двести рублей. Ведь это он писал у вас статейки о братаньи на фронте? И кто еще знает, довольствовался ли он деньгами только из охранного отделения! А что вы скажете, если узнается, что он кое-что получал и от немецкого штаба?!.

— Я не знаю, какие статьи вообще писал Черномазов, и сегодняшней «Правды» я тоже еще не читал, а что касается нашего генералитета, то вот и Филипповский слыхал, как генерал Корнилов сказал, что победы ждать нельзя. Тогда для какого же дьявола хотят они прибрать к рукам солдат? А самое главное, из-за чего мы сейчас-то воюем?

— Так что же, по-вашему, теперь мы должны сдаваться на милость врагу?

— Нет, оборонять сундуки у Гучковых!—резко рванул я.

— Бросьте ссориться, — миролюбиво разнимал нас Мстиславский. — Было бы гораздо полезней, если бы вы, —

обращался он ко мне, — написали бы статейку в нашу газету «Народную армию» и вот там-то бы и изложили ваши взгляды.

— Хорошо, напишу.

— Василь Николаич, вас ищут! — стремительно врывался Синани.— Там, в Исполнительном комитете, солдатская делегация от тех самых георгиевцев, что шли нас усмирять. Они только что из ставки, из Могилева, и рассказывают сплошные ужасы. Говорят, что там поголовно все офицерство спит и видит, как бы им разгромить наш Петроград. Даже газет наших к себе не пропускают и открыто говорят, что питерский Совет «рачьих и собачьих» депутатов будет весь перестрелян. Куда ж мы идем?!

Филипповский убегал на прием и обработку этих делегаций, а я бесцельно садился к окну и наблюдал, как пыхтят автомобили и все еще подходят на поклон новой власти уже аккуратненько пригнанные ряды гвардейских полков. Офицеры, придерживая в кобурах револьверы, четко дают ногу. И качаются над оркестрами широченные алые плакаты, с которых белые буквы нагло бьют прямо в глаза: «Война до полной победы!»

Статейку я написал — «Офицерство и задачи момента»,— и передал ее Мстиславскому. Появилась она в № 4 нашей газетки в подсокращенном и сглаженном виде, но основные ее мысли остались: оборона свобод от Вильгельма и полнейшее отрицание всяких казенно-правительственных победных лозунгов, для того чтобы офицерство не за страх, а за совесть прониклось солдатскими политическими требованиями русского пролетариата и крестьянства и тем самым повело бы эти массы за собой.

Я показал эту статью нашим солдатам-большевикам, членам Исполнительного комитета.

— Мелкобуржуазные идиллии! Эсеровщинка, — с приветливой усмешечкой покривился Падерин.

— Ну, ерунда. Вовсе не так уж. Что ты на него напал?— заступился Борисов.

— Ты бы вот бы чего, —пробунчал мне сочувственно Садовский. — Ты бы лучше во дворец балерины Кшесинской как-нибудь к нам бы заглянул. Спроси там Подвойского. Наш Пека нынче ему поручил организовать всех наших военных большевиков.

* * *

Влево за длинным горбатым каменным Троицким мостом, по которому с визгом карабкались трамваи, тяжело и отвесно лежала прямо над скучными льдами Невы неуклюжая гранитная громада серых бастионов Петропавловской крепости, и легонько взвивался над нею прямо в пухлое тусклое небо золоченый шпиль соборной колокольни с крылатым архангелом на самом верху. Возле отлогого спуска к широченному, укатанному беспорядочной лавиной автомобилей, Каменноостровскому проспекту гранитная тропиночка, окаймленная голыми шустрыми кустиками, вела прямо на угол к уютному, как фарфоровая игрушка, красивому двухэтажному домику, остро сверкающему даже в это пасмурное утро мокрым кремовым глянцем изразцовых стен. Сзади над ним нависла свинцовая громада какого-то нелепого чужого особняка. А от Каменноостровского проспекта его отделял пустынный скверик с голыми кленами и сиротливо обнаженными лиственницами. Все это еще было покрыто сейчас чахнущими сугробами умирающего снега, из-под которых местами мягко стлалась по прошлогодней бурой траве и пожелтевшей хвое голубовато-сизая прозрачная ткань паутин. На углу у этого аккуратненького домика его садовая высокая чугунная решотка улыбалась глянцевыми колоннами римской беседочки с прозрачной решетчатой крышей, с побуревшей за зиму сохлой листвой дикого винограда. Вход в особнячок шел со двора, где па-

смурно скучала вереница жестких и гулких броневиков, вокруг которых деловито копошилась броневая прислуга, все эти перепачканные в машинном масле шофера Николаевы и хитро подсмеивающиеся из-под рыжих усов пулеметчики Айи. Это они поселились теперь в этом уютном гнездышке, которое носило громкий и скандальный титул: «дворец царской балерины Кшесинской». Это они, неуклюжие эти солдаты, прибывшие с фронта, завладев этой глянцевой безделушкой, созданной царскою прихотью на народные деньги, предоставили ее теперь в распоряжение беззаветно любимой ими нашей партийной организации большевиков.

Калитка на улицу все время была открыта, и солдатские вереницы заходили сюда с ленивым любопытством, ощупывая мужицкими пальцами добротность чугунных узоров ворот и мраморную облицовку римских перил и пачкая своими сапожищами белоснежные плиты парадной лестницы с загаженной теперь, сбитой и содранной на-бок, мягкой пушистой ковровой дорожкой. Солдатские толпы победоносно болтались взад и вперед по амфиладам раскидистых комнат, заходя и в просторно-сияющую огромными окнами белую залу, пышно застывшую в розовом мраморе плоских, вдавленных в стены колонн. В глубине этой залы, там, где со сплошных, занимавших всю заднюю стену окон еще висели, жалко поникнув, полуободранные тяжелые шелковые драпировки, все еще по-весеннему нежно зеленели брошенные здесь хозяевами на произвол жардиньерки. Здесь над голубой бахромой пышных раскидистых араукарий, над пушистыми веерами пальм и трепетными перышками мимозы, над всей этой тропической роскошью жалобно бился о стекло позабытый хозяйкой белый ручной голубок. Его пугало сейчас и шарканье солдатских сапог, и густые клубы едкой махры, и мужичьи плевки, и тяжелая ругань, и раскатистый хохот этих торжествующих непро-

шенных гостей, святотатственно ворвавшихся в этот заповедный рай заслуженной императорской содержанки.

Я спросил, к кому бы мне здесь обратиться, и какая-то молодая курносенькая работница, тюковавшая газетные связки «Правды», предназначенные для отправки, послала меня наверх. Но и там, на втором этаже, тоже сновали по комнатам любопытствующие вереницы серых шинелей. Пролезая бочком в потайную дверь, потому что другая дверь в спальную сейчас была наглухо заперта, солдаты забирались в просторную, утопающую в тяжелых мягких коврах, раздевальную комнату, все еще благоухающую ароматами французских духов и пряной сладостью восточных притираний. Они игриво подмигивали на уютные ниши с атласными диванами. Широкая занавесь легкого полупрозрачного шелка, подхваченная на сверкающий стержень золочеными кольцами, отделяла от раздевальной словно алтарь византийского храма облицованный майоликой и мрамором просторный со ступеньками вниз, мерцающий в полусумраке купальный бассейн.

В коридорах какие-то угрюмые штатские в затрепанных шляпах, с давно небритыми щеками, задумчиво дожевывали рассеянно позабытые во рту окурки.

— Товарищи, где тут Пека?

— Пека?.. А, так вы в Пека!.. В Пека, товарищ, сейчас закрытое заседание. Это там вон, в спальной...

Дверь заперта и, когда мне на стук открывают, я вижу на окнах мельком шелковые драпировки в цвет таких же шелковых обоев и совершенно пустынную от вынесенной мебели комнату с огромной широченной деревянной кроватью, на голом пружинном матраце которой сейчас уселась прямо ногами в кружок группа сосредоточенно рассуждающих штатских работников. И все они враждебно и быстро взглянули на дверь, сердито насторожась по старой подпольной конспиративной привычке.

Наконец в одной из дальних комнат я нашел того самого Подвойского, к которому меня направили. Мягкие ласковые дымчатые глаза, пушистый русый хохолок на высоко посаженной голове, пиджачок поверх рубашки из поддельной чесучи и галстук шнурочком с помпончиками. Он сразу подошел ко мне доверчиво и ласково.

— А, так вы к нам? От Садовского? Вот как прекрасно, вот как прекрасно! Пойдемте я вас познакомлю с Владимиром. А потом вас нужно обязательно зарегистрировать. Смотрите, вы так не уйдите! По части регистрации у нас здесь в самом низу, в подвале, есть товарищ Сулимов. Ну, а как вам нравится наше легальное помещение? Вот, всю эту дребедень, всякую там мебель, ковры и драпри мы вынесли. Пусть царская шлюха с собой забирает, зачем оно нам? А внизу, вы наверное видели там сейчас, в том зале мы устраиваем первый наш солдатский клуб имени «Правды». Мы его сегодня же и откроем, сейчас же откроем, так что вы не уходите. И вам, товарищ, обязательно придется выступить. Да и вообще и на будущее время все наши агитаторы и пропагандисты должны быть теперь на строгом учете. Таково постановление Пека. А тем более в военном деле это очень важно. Заведем связи с солдатами. Важно прежде всего завязать эти связи. Вы думаете, мало наших ребят? Вот Садовский, Падерин, Лашевич... Солдат у нас много, но это все пока что вразнобой, а через здешний клуб мы свяжемся со всеми воинскими частями, и у нас создастся тогда здесь такая боевая военная организация, что только держись!.. — и он даже подпрыгнул и весело щелкнул меня по погону. Потом он свел меня вниз, в какие-то темные подвальные закоулки и переходы, сумрачно полуосвещенные электрическими лампочками.

— Вот и Сулимов, — втолкнул он меня в крохотную комнатку, где за письменным столиком, обложившись конторскими книжками, что-то писал белокурый рабочий

с аккуратненькими усиками и мягким ровным проборчиком.

— Вот, — подтолкнул меня к нему Подвойский, — это тоже наш большевик-подпольщик. А ну-ка заприходуй, брат, и его в наш военный котел, да выдай-ка ему билетик; мы ведь теперь партийных карточек вдоволь напечатали, да и пора уж теперь выходить нам на вольный простор, на легальный манер. Хватит, поработали свое по подпольям! — и, шутливо махнувши рукой, он умчался.

А через какой-нибудь час в нижнем мраморном зале общими силами этих неутомимых, как муравьи, рабочих-партийцев и помогавших им солдат была сорвана с огромного окна шелковая шитая штора и смелым взмахом накинута вместо скатерти на внесенный сюда же широченный обеденный стол, вокруг которого теперь плотно сгрудилась непротолкаемая масса жадно и доверчиво насторожившихся солдат. У заднего конца этого же стола торжественно уселся председателем, вдохновенно сверкая по сторонам голубыми глазами, Подвойский. Слева от него чинно и скромно подсел приветливый Сулимов. А справа с веселым удивлением хлопал на солдат остренькими глазками и молчаливо улыбался во все свое широкое бритое лицо низенький широкоплечий ласковый человечек с маленьким носиком и откинутой гривой волос, что делало его похожим на псаломщика или поэта. Как потом я узнал, это был Владимир Невский.

— Вот, значит, товарищи, первый солдатский клуб наш имени «Правды» считаем открытым! — восторженно выкрикнул Подвойский.

Грохнули рукоплескания. Забившийся под зеленую листву плюща белый голубок испуганно выпорхнул и затрепыхался на верхних стеклах окна. А Подвойский увлеченно пел о свергнутом солдатами офицерском казарменном рабстве, о завоеванных рабочими руками роскошных

дворцовых вертепах, где развратничали наглые императорские потаскушки, и где сейчас собрались подлинные хозяева и строители человеческой жизни, для того чтобы сообща обсудить здесь свои народные кровные нужды и наметить революционные пути их преодоления.

Светленький клинышек бороденки Подвойского мягко порхал в такт его словам, словно шаловливый мотылек над пушистыми цветами его галстучных помпончиков. И даже белоснежный голубок спокойно уселся теперь на пальмовой ветке и, косясь вертлявой головкой с красным глазком, казалось, застенчиво слушал оратора. На внимательных лицах сотен солдат уже давно расплылась и растаяла вековечная мужичья забитая угрюмость.

— Сегодня мы здесь обсудим, товарищи, — закончил Подвойский, — самый боевой и больной наш вопрос, вопрос о войне.

— Теперь вы! — ткнул он меня, когда рукоплескания смолкли, и голубок снова забился в изумрудную чащу колючих араукарий. — Вам теперь выступать.

— Да о чем же я буду?..

— О войне...

— Да ведь я...

— Полезайте на стол, полезайте! Так будет громче, деловитее и веселей.

Брякая шпорами и боясь запачкать грязными сапогами нежный шелк наброшенной портьеры, я влез с ногами прямо на стол. Я стал говорить сначала смущенно, но сразу же как-то почувствовал, что все, что за эти дни я где-либо что-либо делал, все, чем страдал, что говорил и что писал, — все это жалкие ничтожнейшие личные пустяки в сравнении вот с этим, что должен я сказать сейчас, когда вокруг так любовно впились в меня сотни смуглых солдатских морщинистых глаз, глаз внимательных и упорных, глаз доверчивых и горячих и безудержно жадных до таких нужных

сейчас, еще неслыханных и ненаходимых пока, но совершенно новых дерзких бунтарских слов, которые должны услышать эти солдаты здесь сейчас от лица нашей партии. И я загорелся и говорил порывисто, резко и воодушевленно. Я говорил только о том, что было прежде всего у всех здесь на сердце и на уме. Я говорил солдатам о войне.

— Вам говорят, солдаты, про фронты; и это верно, что там и Вильгельм, и свирепый оскал крупповских пушек, и стальная щетина маузеров и майнлихеров, сторожащих смертельным огнем каждый наш шаг. Но не слушайте, товарищи, тех новоиспеченных радетелей о ваших свободах, которые приходят к вам, сверкая золотом погон на пыльно-зеленистых кителях, и страшат вас смертельной опасностью нашим свободам. Не верьте, товарищи, этим вражьим речам. Все эти радетели, кричащие о войне до полной победы, такие же враги вам, как и Вильгельм Гогенцоллерн и его генеральская свита и Круппы и Майнлихеры. Не верьте тем, кто кричит сейчас о войне до победы. На-днях вот на заседании Исполнительного комитета вашего Совета в упор спросили генерала Корнилова: «Есть ли надежда, хоть какая-нибудь надежда у нас на победу?» И если есть, то чтобы он доказал это с цифрами и по планам. И, прижатый к стене, генерал вынужден был сознаться: «Нет, господа, надежды на победу нет». Так зачем же они поют вам совершенно обратное в казармах? Вы припомните-ка всех этих офицеров, с шашками, при револьверах, как они, сверкая погонами, горячо убеждают сейчас вас, что все спасение народа только в победе над немцами, и что для этого нужно слепо подчиняться командирам и беспрекословно исполнять все их генеральские приказания, хотя бы они и бросили бы вас сейчас же здесь, на улице, в бой против рабочих, против Совета. Это ведь они сейчас напевают, льстиво вертясь вокруг вас, что надобно в интересах спасения родины всех петроградских солдат отправить сейчас же, как можно ско-

рее, на фронт. Вы подумайте-ка, товарищи, чего это ради? Где тут скрытая цель? А эта скрытая цель их ясна. Вы думаете, поди чай, что революция, дескать, кончена. А ведь царь сидит во дворце, как у бога за пазухой! Его не то сторожит, не то охраняет свита преданной ему офицерни. И вот, улучив удобный момент, тот же Николай не постесняется, товарищи, снова кинуть сюда на нас несознательные части с фронта. Да и никаких фронтовых частей не надо, если офицерам удастся зажать вас под видом войны для победы в свое полное подчинение. Тогда, повинуясь новым кровавым царским указам, какой-нибудь скуластый герой, вроде генерала Иудыча Иванова или вроде капитана Кутепова, полковника Паулучи или других, — живо кинется к вам в казармы, соберет вас в кулак и беспощадно в первую очередь расстреляет тех из вас, которые ему не подчинятся, и начнется тогда безумная зверская расправа с нашими передовыми братьями-рабочими. Прощай тогда наша свобода! Прощай восьмичасовой рабочий день! Прощай обещанная земля! Вот для чего и какая нужна им война для победы.

От приветственного бурного рева снова испуганно бился в огромные окна так бестолково забытый хозяйкою голубок. Потом выступил солдат, а может быть, фельдшер. Уж очень по-аптекарски аккуратно выглядывало его личико.

— Да, — сказал он, ехидно позевывая, — предыдущий оратор, что и говорить, парень, видать, опытный. Только, как видите, не всем в прок идет даже и подпольная школа. Ведь это же демагогия, товарищи! Игра на несознательном мужичьем инстинкте. Многим из вас, конечно, хочется домой в Рязанскую, Калужскую губернии и не хочется ехать отсюда на фронт. Все это понятно, кто же из нас хочет итти на смерть? Но неужели же все здесь только шкурники и предатели, которые готовы сейчас же воткнуть

штыки в землю и открыть немцам фронт?! Нет, сознательный рабочий, сознательный солдат и крестьянин так не поступит. Разве все, что мы теперь здесь с вами завоевали, вот даже то, что мы здесь с вами так свободно сейчас собрались, разве все это пустяки?! Разве нельзя встать смело с открытой грудью на защиту всего этого, добытого нашею кровью?!. Ложь говорил вам поручик. Ложь говорил он вам, а не правду. Бойтесь его! И если он уверял вас, что надо бояться господ офицеров, то я вам скажу: бойтесь таких офицеров, как он!

Словно рябь перед бурей, играют желваки на лицах солдат. Странное беспокойство овладевает мною. Ведь многое, что сейчас говорил здесь этот меньшевик против меня, я сам же на-днях только что писал в своей газетной статейке. Но зачем этот хитрец отводит солдатам глаза от внутренних контрреволюционных опасностей?!

— Дайте я возражу, — поднимается Невский.

Но я нетерпеливо вскакиваю на стол. Я смело режу по собранию глазами и говорю открыто и прямо.

— Да, товарищи, предателям в нашей среде, тем, кто пытается выдать на разгром вильгельмовым штабам нашу добытую кровью народною вольность, этим предателям не будет пощады. Но разве мы предлагаем здесь вам бросить фронт? Нет, мы этого вам не предлагаем. Мы говорим только вам, что фронт у нас и там, в окопах , и здесь, в Петрограде. Нам надо скорее окончить войну. Но эту войну мы окончим тогда лишь, когда своими солдатскими руками вы сдерете последние остатки этой царской нечисти и всех их прихлебателей, которые сознательно толкают нас сейчас на военные поражения, лишь бы разгромить этим самым всю нашу рабочую крепнущую мощь и революционный наш Питер!..

. . . .

Внизу в темном переходе, где когда-то жила придворная челядь здешней царской любовницы, Подвойский и Невский

долго и ласково трясли мне руку. А Сулимов вынес новенькую карточку партийного билета.

Весело гуторила, сползая по гулким мраморным лестницам, веселая расходившаяся солдатская толпа. А прислуга с броневиков приветливо провожала нас глазами возле крыльца.

— Это вот правильно! — робко окружили они меня на дворе. — В точку вы их всех, товарищ офицер, поддели. Вы бы почаще сюда к нам!.. Хотите, мы сейчас вас подвезем? При нашем отряде есть машина, только скажите куда, домчим вас мигом же в два счета!..

* * *

В союзе республиканцев я ничего не сказал о своем выступлении у Кшесинской. Какое им дело! Если каждый из них работает в своей партии, то какое им дело до моей партийной работы?!. И в Военную комиссию я поднялся только на минутку.

— Саботируете? — ухмыльнулся равнодушно Пальчинский. — Фрондируете против Потапова? Напрасно, голубчик, напрасно. Генеральский плод уже созревает и скоро отвалится! — и с уверенной легкой усмешечкой он вздыбил спокойную бровь.

«Тоже, фрукты! — думал я снисходительно. — Привести бы сюда вот наших солдат от Кшесинской, они бы все ваши плоды вмиг бы посбивали!» Ведь за Потаповым, я знал, стоял Пальчинский, за Пальчинским — Гучков, за Гучковым — контактная комиссия из Филипповского, Стеклова, Суханова и самого Чхеидзе. И над всей этой фруктовой оранжереей белым голубком бился в истерике Керенский. К чорту высокую политику! Жаль вот только, что я не связан еще с широкою солдатскою массой. Вот где хорошо было бы агитировать! Ну, да ничего, поработаем пока и среди прапорщиков. И для этого я быстро летел на Кироч-

ную, в палаты красно-желтого здания Армии и Флота. Там в боковой бордовой комнате, рядом с актовым залом, собирался обычно наш Исполнительный комитет Совета офицерских депутатов: скуластый, с жестким ершиком и крепкими, как клещи, челюстями полковник Гущин; рыженький щетинистый прапорщик с университетским значком, присяжный поверенный Вржосек; все время хитровато улыбающийся,— себе на уме, штабс-капитан Поликарпов; вороненый, серьезный и задумчивый, с тенями впалых глаз, прапорщик Соколов; высокий сухощавый юноша-кавказец с носом, похожим на закопченую плоскую щепку, прапорщик Шахвердов; юркий пролаза, мягко стелющий и вкрадчиво-ласковый, утконосый прапорщик Никольский, и наконец аккуратненький, румяный и полный, уверенно поглаживающий округлый свой подбородок, присяжный поверенный прапорщик Беренштам. С какой-то растерянной скукой временами сюда ненадолго заглядывали два генерала: сухонький Зайцев и кряжистый Житкевич. Но они так же быстро исчезали, устало сдавив два зевка. Председателем этих наших собраний обычно бывал высокий и спокойный, как сухая эфиопская мумия, плотный полковник Попов. Но и то лишь, когда не было Гущина. Впрочем, у Гущина дел всегда было по горло. Он летал по штабам, он порхал по комиссиям, если он и прибегал к нам, то всегда запыхавшись, и тогда деловито сверкал глазами, играл черными дугами бровей, ежил свой жесткий ершик, и тяжело шевелил скулами.

— Итак, господа офицеры, с Временным правительством у нас уже все отныне налажено. Гучков лично меня любезно принял и обещал нам полное свое содействие. Кроме того, сегодня же я условился через Пальчинского по телефону, и нас примет Исполнительный комитет рабочих депутатов. Тут надо ухо востро! Мы должны быть инкорпоре. Затем, никаких политических выступлений с нашей

стороны по вопросу о войне или мире! Пока, так просил нас Александр Иваныч Гучков, с ними об этом молчок. И сегодня же вечером у нас предстоит совместное заседание в Таврическом дворце с солдатской секцией Совета депутатов. Вы понимаете, что это значит, господа?!. Возможно, что мы войдем этим путем составною частью в Совет рабочих и солдатских депутатов! А ведь тогда бы мы получили и часть мест в их Исполнительном комитете! Вот была бы удача! Все теперь зависит от нас, от нашего сегодняшнего поведения на совместном заседании с солдатскими депутатами. Там будем мы и — как это там их? — «офицеры-республиканцы» или «активисты»... — небрежно поморщился он, совершенно, очевидно, позабыв впопыхах, что я состою членом этого союза.

* * *

В Исполнительный комитет на прием офицерских депутатов я не пошел. Какой интерес с зажатым ртом играть роль куклы в этой детской комедии?!. А под вечер в подвальной столовке Таврического дворца, где благодаря заведенному со здешней продовольственной комиссией знакомству можно было теперь поесть вкусно и сытно, прапорщик Любарский словоохотливо рассыпался передо мною, вскрывая уже вторую банку мясных консервов.

— Да... что же вы не были? В Исполнительном комитете сейчас был прием вашего Совета офицерских депутатов. Полковник Гущин у вас, должно быть, большой краснобай. Не только Соколов и Стеклов и Скобелев, но даже сам Чхеидзе патриотически растаял. Мне Филипповский рассказывал сейчас. Создалось даже впечатление, что главное в офицерстве они, а не мы из сорок второй комнаты. Мы это только так, какой-то привесок. Но мы это еще посмотрим! Мы им себя еще покажем! — ехидно передергивался Любарский.

А вечером в большом зале думских заседаний, когда ночною темнотой налился стеклянный потолок и вспыхнули хрустальными искрами висюльки огромных люстр, на резной дубовой председательской трибуне воссел, сверкая очками, упругий и надутый Богданов, а рядом с ним Филипповский и Гущин и еще какой-то солдат с университетским значком на груди, депутат солдатской секции Петроградского совета. Слово взял Гущин. Он, как тигр, рычал на трибуне, то-и-дело повертываясь и изгибаясь налево к десяткам солдат, полусонно усевшимся за депутатскими пюпитрами амфитеатра, а порою игриво кивал нам, офицерам, разместившимся за пюпитрами направо. И в такт ему головами кивали Вржосек, Беренштам и Никольский.

— Одни у нас мечты, — хрипел Гущин, — и у солдат и у офицеров! Эти мечты: победить немцев! Кровь, господа, течет... красная кровь, господа, течет! И эта кровь кровно нас соединяет. Наша общая и офицерская и солдатская кровь! И поэтому мы, офицеры, здесь всем вам, господа солдаты, за революцию вашу и за ее победы приносим вам земной наш поклон!..

Солдатик с прилизанным черным проборчиком, с гвардейскими цветными полосками на вороте и рукавах и с университетским синим крестиком в белом ромбе на правом кармане гимнастерки, порывисто сорвался с трибуны, и первый кинулся полковнику на шею. И плеск аплодисментов взвился в зале Ну, еще бы! Офицер, «революционный» офицер, лобызался с «революционным» солдатом! Я смотрел и морщился от досады. Неужели никто здесь сейчас не ответит ему, конечно кто-нибудь из солдат? Но солдаты молчали, а некоторые тоже шли целоваться, и я узнал среди них и своего знакомца Шевелева. Офицеры, довольные, весело переглядывались, и даже Синапи с Любарским, молча наблюдавшие весь этот поцелуйный обряд, не пошевелились. Богданов, как то и подобает председателю, спо-

койно и деловито жевал пухлыми губами. Какая досада, что на таком важном собрании и вдруг нет ни Падерина, ни Садовского, ни Борисова!

Меня всего колотило. Я чувствовал, что не могу усидеть. Не могу и не хочу участвовать в этом гнусном и наглом обмане. Хотелось дерзко плюнуть в это самодовольное торжествующее скуластое лицо коренастого подполковника, уже безо всякого стеснения хитро подмигивавшего нам, офицерам. Взойдя на трибуну, я успокоил себя стаканом воды. И, осторожно взвешивая каждое слово, чтобы не дразнить «офицерских гусей», но и чтоб сорвать на-нет всю их дешевую победу, я указал, что свобода нуждается сейчас в защите не только на фронте, но и в тылу. Доверять Гучкову и старым генералам особенно не приходится. Более того, в случае нашего наступательного наскока на фронте, при теперешнем состоянии нашей армии и страны нас ожидает позорный разгром. И пусть офицерство прямо здесь скажет, будет ли оно попрежнему легкомысленно бряцать оружием и кричать о войне без конца или присоединится к солдатским требованиям о заключении всеобщего мира?..

Гущин мрачно бесился, свирепо косясь и скаля, как молнии, белые зубы. Он вскочил, побагровев в лице, услышав дружный плеск аплодисментов. Должно быть, он снова хотел взлететь на трибуну, но тогда спокойно и уверенно, как медоточивый ксендз, примиряюще выступил сам председатель Богданов.

— Конечно, товарищи, прав наш полковник и прав наш поручик. Все это верно. Нельзя воевать без конца, но, друзья, демократия бодрствует. Завтра или послезавтра будет опубликовано и послано по радио за пределы фронта наше воззвание, наш открытый горячий призыв всем народам, всем народам в мире. И вот, если и тогда немец ничего не ответит, мы будем твердо знать, что он наш враг. Беспощадный наш враг. И к этому беспощадному врагу

и у нас не будет пощады. Или мы им или они нам,—но перервем глотки.

Бурный вихрь рукоплесканий взвился в зале. И прения о войне на этом были кончены.

— Товарищи, перейдемте теперь к обсуждению проекта декларации о солдатских правах, разработанного солдатской секцией нашего Совета. На этом обсуждении здесь сейчас, при участии солдатских депутатов и офицерских депутатов и представителей офицеров-активистов, мы, надеюсь, найдем тот общий язык, тот язык общей крови, о котором говорил здесь полковник Гущин. — Так начал Богданов.

А затем начался безобразный нудный торг. Торг из-за каждой буквы, из-за каждого слова между золотыми погонами справа и солдатскою серостью левых скамеек. Кровь у солдат и офицеров на этой пробе оказалась далеко не одинаковой. В этом торге все обалдели и устали. Скомкав и что-то урвав, договорились на чем-то безобидно-сереньком, среднем. Выбрали какую-то комиссию. И долго после этого все еще возмущался в дверях у выхода, окруженный толпой офицеров, подполковник Гущин.

— Дисциплина... Да, дисциплина! Без дисциплины армия ничто. А если нужна дисциплина, нужны и права офицеров над солдатами. Что без дисциплины армии нет и армии быть не может, и вы не станете отрицать, господин революционный поручик! — Это он ехидно кинул мне. — Вы знаете, даже и в вашей демократии есть своя суровая дисциплина. Вот что, например, нам сказал сегодня Чхеидзе на совместном торжественном заседании с ним в Исполнительном комитете. «Я, — сказал нам Чхеидзе, — тоже солдат многомиллионной армии пролетариата, и мой чин — генерал от доверия». Вы заметьте это, поручик, даже Чхеидзе сказал, что он генерал.

— Ну да, полковник, но «от доверия».

— Что вы хотите этим сказать?

— Если рухнет доверие, генерала разжалуют...

— Ошибаетесь! Так можно поступать с каким-нибудь штафиркой-депутатом, генерал же остается всегда генералом, вопреки всем и вся, хотя бы и силой!

— Ну, сила пока что у тех, кто оказывает доверие. А судьба Николая Второго и всех его генералов-министров наглядный пример того, что ждет генералов в случае их упрямства.

Гущин вспыхнул и стиснул зубы.

* * *

«Как хорошо! — подумал я, запершись в сорок второй комнате поздно вечером и готовя себе на диване постель. — Как удачно я связался с Пека. И какие там милые товарищи! Отныне я буду у нашей партии боевым военным агитатором. То-то, воображаю, будут беситься все эти Гущины, Филипповские...»

Но кто-то тревожно застучал ко мне в дверь. Отвечать или нет? Выдать, что я здесь ночую, как-то неловко. Молчать тоже неудобно. А вдруг что-нибудь серьезное, спешное? И когда я отпер, ворвался совсем неожиданно тот самый забулдыга-капитан, который кричал в ораниенбаумской столовке на поручика и рвал свой китель, тот, который так зверски носился с красным бантом в первый день революции здесь, во дворце, и охотился за моими пулеметами.

— Поручик! Поручик! — вскричал он взволнованно. — Вы здесь? Вы здесь! Вас срочно требуют. Срочно требуют и как будто из Исполнительного комитета...

— Но там давно уже все кончилось, — бормочу я устало.

— Надевайте, надевайте живей сапоги!

Одеваюсь, поспешно иду, запирая за собой дверь на ключ. В коридоре меня дожидается Богданов.

— Да, да, да, вы нам нужны, Тарасов-Родионов. Вот этот капитан примчался сейчас и говорит, что там какие-то солдаты вместе с ним отыскали бочки с золотом, кто-то их скрывает, хотя по закону все золото в монетах должно быть сдано, как вы знаете, в банк. Капитан говорит, что там колоссальные ценности. Я боюсь теперь, что могут расхитить. Надо бы принять срочные меры, понимаете, надо принять срочные меры. Сейчас уже поздно, но возьмите караул и опишите все это золото. Вот вам печать. Там внизу Садовский даст вам машину. Одевайтесь и поезжайте. Сейчас просто все это опечатайте, приставьте там на ночь надежных солдат, а утром уже произведите форменный и тщательный обыск и составьте подробный акт. Но только чтобы, знаете ли, все было бы формально, а то на нас и так уже все ворчат, и Гучков, и даже Керенский...

— Где же это золото? — обращаюсь я к капитану.

— Я уже доложил, что у графини Игнатьевой в особняке. Да, да, у той самой, у которой был салон с Илиодором, у вдовы генерал-губернатора. У нее там оказался тайный подвал под лестницей. Бочки монет чистого золота, бриллианты, жемчуга, вообще невиданные ценности. Идемте скорее! Я там уже оставил вместо себя двух офицеров и пятерых солдат. Я боюсь, как бы там все же не растащили...

Богданов отводит меня в сторону за рукав:

— Только смотрите, сейчас же опечатайте и приставьте надежных солдат. За целость всего отвечаете перед нами только вы. Капитана этого ведь мы не знаем, да и вообще он какой-то... неуравновешенный...

* * *

Надежных солдат мне отпустил полковой комитет преображенцев. Для этого я заехал на Миллионную возле Зимней канавки и назвал имя солдата Падерина. А дальше

нас встретил узкий мрачный двухэтажный дом с двумя крыльцами и нелепым застекляненным балконом, который тоскливо смотрел на сумрачную снежную гладь Невы. Мокрый ветер свистел вдоль этой пустынной набережной, где мы не встретили ни проезжих, ни прохожих. Одни только тусклые пыльные особнячки старинной фешенебельной знати беззубо прикурнули сейчас здесь плотной, съежившейся от страха перед революцией, шеренгой.

Старуха-графиня сидела, должно быть, наверху, потому что внизу все осторожно кашляли в руку. Здесь в нижнем этаже, направо за дверью, в узеньком коридорчике, возле низенькой еле заметной дверцы сейчас в вытяжку стояли два лакея. А на стуле возле них мирно клевал носом дремлющий прапорщик.

— Вот здесь! Вот здесь! — И капитан, отломав какую-то проволочку, распахнул эту дверцу в просторный чуланчик, заваленный доверху какими-то ящиками и коробками. Мигом окруженный своими, откуда-то вылезшими, заспанными солдатами в небрежно расстегнутых грязных оборванных шинелях, капитан предложил немедленно всем сообща заняться разборкою ценностей. Его горячо поддерживали оба его офицера. Один из них в коричневом френче и с золотою браслеткой на кисти руки оказался нежданно как раз тем же самым поручиком, с которым капитан повздорил когда-то в столовке. Он ретиво и нагло налезал сейчас на меня, пьяно качаясь и рыгая вонью перегоревшей мадеры. Но поставленная мною к дверям шеренга преображенцев уже загородила чулан, и я тут же объявил, что произведу осмотр ценностей только завтра и не иначе, как пригласив для этой цели чиновников от Государственного банка и от министерства юстиции. Пока же я потребовал свечу и ключ от несгораемой стальной двери этого бетонного чулана, которую и запер. Потом, растопив на свечке сургуч,

я припечатал концы веревочки печатью Государственной думы. Пьяный поручик с ревнивою злобой мрачно следил за всеми моими движениями.

— Ишь ты, рейхсканцлер какой выискался!— шипел он на меня.—Зазнаишка! И нечего нос перед нами драть. Тоже видал, как и ты околачивался возле генерала Потапова!..

— Будет тебе! — оттаскивали его сотоварищи. — Чего ты разоряешься?.. Мало ли здесь по округе других особняков?.. Вот пойдем сейчас и...

— Производство обысков я вам запрещаю! — резко оборвал я и, обратившись к капитану, продолжил: — Уж от вас-то во всяком случае я ждал большего подчинения и порядка... А еще фронтовик!..

— Ну да, фронтовик! — гордо взревел он. — И я подчиняюсь, да я подчиняюсь, хоть и очень обидно, что вы не доверяете нам, фронтовикам... Идем, ребята, по домам... Пррравое плечо вперед шагом.... арррш!..

— Где хозяева? — спросил я лакея в черных чулках, держащего свечу.

— Их сиятельства изволят быть наверху.

— «Сиятельства»?.. «Изволят»?.. Милейший, ведь сейчас революция!..

Тусклыми отблесками цветных стекол еле мерцало на мраморной лестнице огромное рисунчатое окно. На втором этаже, сейчас же за площадкой шла дверь в домовую церковь. Пахло отсырелым ладаном и каким-то прогоркшим лампадным маслом. Слева из дубовых сумраков скучной пустынной столовой с лампадами, разноцветно мигавшими возле больших почерневших, как угли, икон, торопливо вышла полная девушка, неуклюже качающаяся еще девической гусиной походкой.

— Молодая графиня! — шепнул мне лакей.

— Мама́ извиняется, что не может принять вас, — спокойно взглянула она на меня птичьими белесыми гла-

зами и, шмыгнув некрасивым красным длинным носом, сделала мне реверанс. — Скажите, господин офицер, ведь нам ничто не угрожает? Мы такие несчастные! Наш папа́ в бытность свою генерал-губернатором был, как знаете, зверски убит революционером. Мы здесь совсем одни. Один мой брат в действующей армии, другой — в нашем посольстве в Париже. И мама́ сейчас так далека от всякой политики! Так далека от всякой политики!..

Я успокоил ее, передал ей ключ до утра на хранение и попросил накормить караульных солдат.

— Утром ваши ценности осмотрят чиновники Государственного банка, — сказал я.

— Я так извиняюсь, — затумашилась она, конфузливо одергивая на полной груди свое скромное ученическое коричневое платье, — сегодня постный день и у нас ничего нет, кроме винигрета...

Винигрет оказался слизистым и прогорклым, но солдаты и я рады были и такому. Спать положил я всех пятерых свободных от караула солдат на огромном-преогромном турецком диване в кабинете парижского графа внизу, как раз неподалеку от охраняемой двери. Сидеть часовым не разрешил, чтобы не заснули...

Утром я сам съездил в Государственный банк. Вот, все тот же Екатерининский канал и висячий узенький мостик с золотокрылыми черными пантерами, только льду уже нет, и в гранитных отвесных стенах мертво стынет теперь черная вода. А вот и дом «Треугольника» с продырявленной мною крышей и с бахромою пулевых выбоин по карнизу верхних окон... Управляющий банком был тот же седой господин, но сейчас он был уже горделиво спокоен. Сразу же узнав меня, он обещал часа через два нарядить ко мне двух вполне надежных присяжных оценщиков. В министерство юстиции я звонил по телефону. Дежуривший у телефона чинушка долго не мог сообразить, в чем дело.

Наконец мы объяснились, и мне обещали прислать одного из состоящих при министре чиновников для поручений.

Часовые мои стояли у двери исправно, и печати были целы. Остальной караул все еще валялся на диване, а кое-кто из солдат небрежно шевырялся в письменном столе. Караульный начальник, достав откуда-то длинный старинный чубук, свирепо пускал из него медовые клубы сизого табачного дыма. Однако при виде меня все эти вольности были мигом оставлены.

Банковские чиновники явились скоро, исполнительные и сухие, как бухгалтерские выписи. Вслед за ними торопливо влетел и молоденький франтоватый румяный юнец в военной шинели с узенькими золотыми погонами и шитыми на них буквами: «С. П.»

— Для поручений при министре юстиции, Данчич! — отщелкнул он шпорами.

— Это у вас такая форма? — озадачился я.

— Нет, — пожал он плечами смущенно, — я из «Северопомощи», земского союза городов. Но так как я помощник присяжного поверенного и лично известен Александру Федоровичу Керенскому, то вот я и... — и он снова звякнул на удивление звонкими шпорами. — Впрочем, я надеюсь... Александр Федорыч мне обещал скоро дать здесь должность товарища прокурора окружного суда...

Когда хватились отпирать дверь, ключа неожиданно не оказалось. Молодая графиня искренно уверяла, что передала его ночью же своей мамá. Пришлось пройти наверх к мамá. Старуха-графиня со злым ехидным желтым лицом остроносо склонилась над старинною церковною книгой с массивными медными застежками.

— Позабыла, мой милый, совершенно забыла, мой дорогой, куда я его впопыхах позасунула. Да и нет там ничего такого опасного, что вы ищете. Повремените, авось, ключ как-нибудь отыщется...

Посулив старухе в душе трех чертей, пришлось вытребовать через тот же банк ацетиленовый аппарат, и через час огненная синяя струйка горящего газа остро впивалась в стальную грудь панцырной двери, со свистом и шипом выпиливая замок и наполнив все помещение клубами едкого желтого дыма. Когда дверь была вскрыта, чиновники, тут же отстранив подальше солдат, стали выносить, раскладывать на столы, взвешивать и записывать ценности. Я и Данчич, сидя, следили за ними. Золота в монетах не оказалось. Вчерашний капитан, очевидно, принял за них ворох золотых массивных медалей, рассыпанных в ящиках сверху браслет, брошек, медальонов, кулонов, запонок и всякого прочего золотого аристократического хлама. Главные ценности заключались здесь в дорогих безделушках, во всевозможных колье из жемчугов и из брильянтов, в диадемах, в ожерельях, в брильянтовых и сапфировых серьгах. Какие-то особенно дрожащие на золотых пружинках большие серебристые бабочки из брильянтов с массивными, в добрый орех, жемчужинами составляли, как указал чиновник, самые главные ценности. А сотни разных солонок, золотых и серебряных с резьбой, с инкрустацией и с мозаикой было даже трудно переписать. Все это покойник, известный усмиритель крестьянских бунтов, генерал-губернатор граф Игнатьев клал к себе в карман во время своих служебных поездок, принимая эти дары от «благодарных» крестьян, под нагайкой исправника встречавших его с хлебом и с солью.

К вечеру все ценности были тщательно переписаны и бережно уложены обратно на полки бетонного чулана. Дверь, лишенную теперь замка, удалось кое-как припереть и снова запечатать на одни сургучные печати.

«Вот хорошо было бы, — думал я, — конфисковать все эти стоющие сотни тысяч рублей безделушки, да и не у одних графов Игнатьевых, а пройтись бы по всем особ-

нячкам и по всем банковским сейфам. Нечего было бы тогда и клянчить Исполнительному комитету Совета рабочих и солдатских депутатов о какой-то жалкой субсидии у Временного правительства». Я радостно сообщил по телефону в Таврический дворец Богданову о достигнутых мною результатах.

— Куда распорядитесь перевезти теперь отсюда все эти сокровища?

— Что вы! Что вы!.. Ведь это же частная собственность!.. Не трогайте их. К тому же теперь сам Керенский заинтересовался этим делом, так что все дальнейшие распоряжения получите уже непосредственно от него.

Теперь на трубке повис уже Данчич. Но Керенского трудно было добиться. Отвечал за него товарищ министра Переверзев, который где-то все же словил, наконец, самого министра и дал окончательное распоряжение: ценности оставить на месте и передать обратно по описи законным владельцам.

Этой процедурой занялся уже непосредственно Данчич, а я снял караул и приятельски простился с приветливым и обходительным порученцем. С каким облегчением вздохнул я вместе с солдатами свежим ночным воздухом невской набережной, покинув, наконец, кургузый графский особнячок, посеревший от паутины и плесени и насквозь пропахший прогорклым маслом и лампад и постных винегретов, затхлым ладаном и трупным смрадом этих заживо здесь разлагающихся великосветских аристократических ханжей.

Так вот каково оно, белокостное нутро тысячевекового феодального дворянского мира, расщепленное одним ударом февральского грома этой неукротимой и все еще бушующей великой народной грозы!

ГЛАВА XIV.

Ночевал я попрежнему в сорок второй комнате Таврического дворца на обитом изумрудным шелком редком старинном карельской березы диване. Когда утренним солнечным блеском начинали сверкать пыльные окна закопченной кирпичной водонапорной башни через улицу напротив дворца, я быстро вставал и, потягиваясь, наблюдал, как пустынный сквер перед дворцом начинал с каждою минутой оживляться. Четким размеренным шагом приходили сменять караулы солдатские команды, торопливо семенили газетчики, сгибаясь под полными сумками, пыхтя подползали к боковому крылу грузовики с мешками и ящиками продовольственных грузов, робко пробирались гуськом солдатские делегации с фронтов, прибывающие на разведки о мире. В дверь мне стучали, и думский швейцар подавал целый ворох свежих столичных газет. Засунув постель под диван и наспех умывшись в соседней уборной, я бежал с жестяным чайником вниз на кухню за кипятком, по пути захватывал от любезных студентов-психоневрологов из продовольственной здешней комиссии кусок квадратной хлебной буханки, сверточек масла и сахар и тогда садился за принесенные газеты. Но прочитывать успевал как следует одну лишь свою большевистскую «Правду», затем пробегал «Известия Петроградского совета» и заглядывал мельком в «Рабочую газету» меньшевиков. После

меня, я знаю, когда я уже уходил, ее жадно читали прапорщики Любарский и Синани и военный врач Лащинский, да иногда мельком ее пробегал заходивший сюда все реже и реже поручик Петров. Остальные члены президиума Союза офицеров-республиканцев читали эсеровскую газету «Волю народа», в которой писали и Мстиславский и Филипповский. Свою еженедельную газету «Народную армию» почти никто не читал, кроме редактора ее Мстиславского. Синани усердно сплавлял ее на фронт, снабжая газетными тючками прибывающие во дворец солдатские делегации с фронта. Но нашу большевистскую «Правду», как я заметил, читали здесь все. И какой-то синий дымок затаенной тревоги струился во всех их глазах, когда за этим чтением я их заставал. Иногда, впрочем, кто-нибудь неожиданно вскакивал с изумленно-веселым взглядом.

— Посмотрите, товарищи! Это, должно быть, их вновь приехавший Каменев в передовице сегодня махнул, будто бы новое французское правительство уже отказалось от своих завоевательных планов... Дай бы бог!.. Но откуда он все это высосал?!

— Ничего, пусть его пишет, — спокойно гудел, пыхтя папиросой, Лащинский. — Все лучше, чем та демагогия о советах, какую развел здесь их Сталин. «Советы, — изволите ль видеть, — органы еще развертывающейся революции, органы нарождающейся власти крепнущего союза между пролетариатом и крестьянством». Вы подумайте только: «крепнущий союз» между революционным по сути своей рабочим классом и реакционной в основе своей мелкобуржуазной массой крестьянства! И это пишет «марксист»?!. — Лащинский презрительно сплевывал.

Иногда они, даже раскрасневшись от радости, ловили меня и торжествующе тыкали «Правдой» прямо в лицо.

— На-те, читайте-ка! Это вам будет полезно. Вот что ваш же Каменев пишет: «Наш лозунг не дезорганизация

революционной армии, не бессодержательное «долой войну», а давление на Временное правительство с целью заставить его открыто выступить с попыткой склонить все воюющие страны к немедленному открытию переговоров о способах прекращения мировой войны». Вы видите: не как вы... с нахрапом!.. с ножом к горлу! А достаточно даже и... «попытки» склонить» и притом «все воюющие страны»... А вы что?!

— А что же я? И я точь-в-точь так же говорил, — сконфуженно оправдывался я.

— Ну, нет, брат поручик, то же, да не то же. Слыхали мы, как вы тогда схлестнулись здесь с Гущиным!..

Работа в Союзе офицеров-республиканцев больше меня не тянула. И с какою радостью помчался я снова туда, в глянцевый особнячок Кшесинской, когда получил через Падерина коротенькую записочку от Подвойского: «Будьте у нас сегодня в 12 дня непременно».

* * *

Большая просторная комната на втором этаже, рядом с тою пустынною спальней, где в уемистой постели изгнанной балерины так деловито недавно заседал весь состав Петербургского комитета большевиков, наполнялась теперь торопливо подходившими солдатами из всевозможных питерских войсковых частей. Здесь были и безусые, и бородатые, аккуратненько одетые с цветными тесьмами на воротах гимнастерок, и в оборванных лохматых шинелях без поясов. Среди этой разномастной сотни солдатских погон лишь изредка робко поблескивали золотые погоны юных застенчивых прапорщиков. Подвойский, как именинник, летал среди всей этой все время прибывающей толпы, восторженно жал каждому руки, знакомил друг с другом, горячо тараторя что-то об издании специальной «Солдатской Правды». А за Подвойским, как масляничный блин, сочно плавало улыбающееся личико Невского.

Мы, офицеры, сейчас же быстро перезнакомились между собой. Мягко и застенчиво подал руку высокий с коротенькой щеточкой усиков и рыжеватой лопаточкой бороды кареглазый прапорщик Куделько. Один за другим подошли и другие прапорщики: румяные и простоватые, как деревенские парни, широкоплечие два брата Баландины, моргающий чернявый Вишневский, сероглазый Коцюбинский с продолговатым лицом и тонким узким носом, коренастый низкорослый широколицый блондин Занько, лучистоясный, как девушка, румяненький мальчик Дзенис, пристально вглядывающийся, серьезный Рудник, с лохматой поповской шевелюрой Тер-Арутюнянц и пухло-румяненький пышнокудрявый Женевский, застенчиво моргающий глазками.

— А вот и наш генерал! — шутливо заулыбались они, когда к нашему кружку подошел, сверкая очками и скомкав в кулак черный клок бороды, плотный и коренастый поручик Дашкевич.

— Ба!.. Приятель!.. — вдруг щелкнул он меня по плечу. — Да ведь это ж, братцы, земляк!.. — весело прорычал он, расплываясь в улыбке. — Али забыл ночной наш поход?.. Помнишь, как у Путиловской околицы фараоны по нас тогда-то из пулеметов!.. А я думаю все себе, куда это наш пулеметчик запропал?.. Ильинского спрашивал здесь, он не знает... А, хвать, выходит теперь, «отыскался след Тараса»...

— Откуда ты знаешь, что его фамилия Тарасов? — удивился Куделько.

— Нет, фамилии я не знаю. Это я к слову... — весело рявкнул Дашкевич.

— Ильинский, Ильинский! Подь-ка сюда поживей!

Но Подвойский стал усиленно звать садиться к столу. Все суетливо и спешно кинулись по соседним комнатам, с грохотом поволокли сюда скамьи, стулья и голубые

мягкие атласные кресла, и скоро все шумно и плотно облепили весь стол.

— Вот, товарищи, — начал Подвойский, когда шум затих, и все солдаты и офицеры внимательно насторожились, лишь изредка бросая насмешливо-равнодушные взгляды на обнаженные голые стены, обитые выцветшим шелковым розовым штофом с теневыми следами от снятых картин. — Мы собрались сюда, — продолжал Подвойский, — для того чтобы по директиве нашего Пека объединиться и создать при нем нашу большевистскую военную организацию. Долг каждого большевика-военного, не оставляя текущей работы, начать теперь же планомерное собирание и сплочение всех наших большевистских сил в войсковых частях. Конечно, в первую очередь и самое главное — это солдат. Но оказывается, в наших рядах обнаружилось немало и офицеров. Вот они все здесь, эти товарищи, обладающие опытом подпольной работы. Они должны помочь нам сейчас же немедленно установить методы агитации и пропаганды в военных частях, где нам в первую очередь сейчас же придется резко столкнуться с реакционной частью офицерства...

— Ах, вот ты где, наконец! — робко и приветливо потянул меня за рукав приткнувшийся сзади солдатик.

Я оглянулся и сразу узнал впалые смуглые глаза и чахоточный румянец приветливо улыбающегося Ильинского.

— Я так, брат, и не спросил у тебя тогда твоей фамилии и какой ты команды, а потом спрашивал и прапорщика Семашко, — он ведь теперь у нас выборный командир нашего Первого пулеметного полка, — спрашивал и Жилина, — помнишь... солдата на лошади, который... он теперь у нас председателем полкового комитета, — да никто тебя не знает... А ты слыхал, наш полк генерал Филатов вместе с Корниловым хотели было опять запичужить обратно в Ораниенбаум. Да нет, брат, мы — шалишь! —

а пункт о невыводе революционных солдат из Питера на что?!. Теперь поселились здесь, на Охте. Да только тесно, дьявол его подери. Боюсь, что нашему третьему батальону придется вертаться назад. Будем тогда вместе с тобою... У нас, брат, все теперь на нашу большевистскую дорогу встают... Ну, а у тебя как, твоя, то есть, команда?

— Да я отшился от нее...

— Что же так?

— Сам, поди, знаешь, какие при школе были подсобные команды... Либо лодыри-кашееды, либо тыловая калечь...

— Ах, ты при школе...

Но остальные зашикали. Подвойского теперь сменил Невский, который горячо призывал к неослабной агитации в казармах против усиленно сейчас распространяемых среди солдат кадетской партией Милюкова провокационных слухов о том, что рабочие, дескать, лодырят, не желают работать весь день, а только восемь часов, и получают белый хлеб, тогда как солдаты в окопах мерзнут круглые сутки, и белого хлеба здесь в Питере солдатам вообще сейчас не дают...

— Да это, братцы мои товарищи, в точку как верно! — перебив вдруг Невского, взволнованно поднялся огромный солдатина в лохматой папахе. — Самая партия «Народной свободы» каждый день нам в роту так и сыплет свои листики. Рабочие, грит, это ваши захребетники и паразиты, вроде, стало быть, как гниды: снарядов, дескать, для фронту теперь не готовют, на Вильгельмову руку подались, через это и работать начали только по восемь часов. Большая через эти листики завируха пошла по казармам. Это, товарищ, вы правильно пояснили, нам этим гидрам надо как след хвост наломать...

А Невский уже сидел, весело сияя глазами... Важно было только расшевелить солдат.

— А я, товарищи, пожалуюся вам насчет новой присяги. Мы в нашем батальонном комитете как прочли ее, так и сели. А назавтра уже требуют ее принимать. А мы единогласно: не примем, и никаких. Сами судите: «Обязуюсь, — говорит, — повиноваться Временному правительству». И больше никаких. Насчет там Совета или революции, или защиты свобод — ни звука. Ну, а если как это Временное правительство, которое Советом по глупости нашей поставлено, да хватится за ум Совет-то разогнать? Как, к примеру, тогда поступать солдатам? А ведь сознательного-то нашего брата почесть один-два, да пока и обчелся. Предлагаю, товарищи, в корне отменить эту присягу через солдатскую секцию Петроградского совета.

— А я спрошу вас, товарищи, — грузно встал третий, — научите нас, как нам говорить, когда провокаторами нас теперь обзывают и какого-то Черномаза нам клеют. Никакого такого Черномаза у нас нет, и мы его не знаем, а про нас говорят теперь в ротах — и особливо стараются об этом господа офицеры, что всю нашу «Правду», от строки до строки все статьи Черномаз этот пишет. И даже газеты об этом буржуйские нам суют...

— Насчет Черномазова, товарищи, не следует только волноваться! — сам густо порозовев от волнения, громким высоким голоском зазвенел статный застенчивый морской офицер в мичманских погонах и с холеным пухленьким личиком. — Я уже подробно писал в нашей «Правде», товарищи, относительно Черномазова в статейке моей «Литературный шантаж», что обнаруженный теперь жандармский провокатор Мирон Черномазов давным-давно был нами выгнан из «Правды» и во всяком случае ни о мире, ни о братаньи ничего никогда не писал...

— Товарищи, вы свяжитесь также, — предупредил всех, прежде чем разойтись, Сулимов, — вы обязательно свяжитесь также с нашими партийными районными организациями

на местах! Здесь, внизу, есть у нас в секретариате Пека товарищ Бокий, он вам может сообщить по этому вопросу подробнее.

— И вовсе это не обязательно! — вспылил Подвойский, в то время как шумная гурьба солдат и офицеров стала уже расходиться. — Будет у всех них своя военная организация, и этой связи достаточно.

Бокий оказался сутулым и узкогрудым, смуглым студентом горного института. Острые и вместе с тем уверенные в чем-то своем, спокойные глаза его на обтянутом тонкою кожей лице словно недвижно и чуть-чуть насмешливо пронизывали собеседника.

— Где вы живете и где служите? — процедил он, ощупав меня своим взглядом.

— В Таврическом, при Исполнительном комитете Совета.

— Ну, так с кем же тогда вам еще связываться?! Если в случае чего, можете, конечно, прямо ко мне, а то всего проще — держите связь с нашими в Исполнительном комитете. Там теперь много наших новых прибыло. Вот приехали из Сибири: Муранов, Каменев, Сталин. Ждем из-за границы Ленина. Да, должно быть, дьявольски трудно ему теперь оттуда вылезть. Швейцария... чорт ее побери! Через Германию нельзя. А Франция с Англией не пропускают. Прямо хоть аэроплан посылай. Да и то бы, пожалуй, даже аэроплан с ним все бы страны одинаково обстреливать стали б! — ухмыльнулся он.

* * *

На следующий день я увидел всех этих вновь приехавших товарищей на заседании Исполнительного комитета. Рыжеватый Каменев невозмутимо и степенно сидел у стола против Чхеидзе и скучающе слушал, сонно покручивая волнистый свой ус, спустившийся над клинышком золо-

тистой бородки. По лицу его, невозмутимо-спокойному, прочесть сейчас нельзя было ничего, хотя в это время правый меньшевик Кузьма Антонович Гвоздев неистово громил «пораженческую», как кричал он, агитацию большевиков. Сталин сутуло стоял возле окна, заложив руки в карманы какого-то коричневого полинялого и заплатанного пиджачишка, должно быть, с чужого плеча, в котором он, повидимому, только что и приехал из ссылки. Он изредка нервно покручивал шеей, как будто бы ворот косоворотки был ему узок, и сосредоточенно щурил при этом свои настойчивые азиатские глаза, чуть-чуть насмешливо и уверенно пронизывающие всех окружающих. Солнечные зайчики от стоящей на мраморном подоконнике кружки с чаем шаловливо играли на его смуглых, чуть подернутых редкими рябинками, узких щеках с тонкими усами и на невысоком лбу с жестким черным ершиком.

Только услышать их мне не пришлось. Неожиданно подкрался на цыпочках Мстиславский и, взяв меня за локоть, мигнул мне на дверь.

— Во-первых, — сказал он и шутливо погрозил пальцем, — зачем вы опять здесь?.. А во-вторых, — и он тревожно кругом оглянулся, — как можно быстрее спешите за мной! Мигом одевайтесь и, не привлекая к себе ни малейшего внимания, как ни в чем не бывало направляйтесь одиночным порядком сейчас же ко мне на квартиру; помните, заезжал я тогда в Академию генерального штаба... так вот это там, недалеко отсюда. Соберется сейчас у меня секретно весь наш президиум. Но только поодиночке! Конспирация самая полная.

* * *

Минут через десять я уже был у Мстиславского на его казенной квартире. В кабинете, заставленном книгами, я уже встретил Лащинского, Синани, Грекова и Вязальщи-

кова. Через минуру пришел и Любарский. Тогда хозяин запер дверь кабинета на ключ, и несколько секунд все молча и горделиво оглядывали друг друга с заговорщицки-таинственным видом.

— Товарищи, прежде всего, — начал Мстиславский, — дадим друг другу клятву, что об этом нашем совещании, чем бы таковое ни кончилось, абсолютно никто и ничего не узнает...

Все молча и гордо кивнули. Начало показалось мне интересным.

— Цель нашего собрания большинство уже знает, — мотнулся снова Мстиславский. — Только что получены достоверные сведения, что Временное правительство, испугавшись революционного Питера и чувствуя себя здесь беспомощным, думает тайно от Исполнительного комитета удрать в Москву. Что оно замышляет дальше, неизвестно. Но нам, боевым представителям свободной демократии, необходимо быть немедленно же наготове. Кто и что предлагает?

— Немедленно же арестовать все правительство! — щелкнул шпорами Греков. — Лишь только оно усядется в поезд. У меня имеются для этого достаточные связи на Николаевской дороге. Еще когда я задержал и не пропустил сюда поезд с царем...

— А как же быть с Керенским? — протянул, бледнея, Любарский.

— И его под запал! — кукарекнул Греков.

— Что ж делать? Придется заодно и его, — смущенно поддакнул Мстиславский, — а там, в случае чего, немедленно же можем его и отпустить...

— Кто же будет арестовывать? — вскинулся я.

— Конечно, мы, то есть исключительно мы, одни офицеры-активисты «двадцать седьмого февраля»! — торжественно продекламировал Мстиславский. — Сигнал дам

лично я. Грекову поручается точно узнать день и час этого маршрута и заблаговременно меня известить. Всем быть на-чеку в сорок второй комнате и никуда не отлучаться. Если правительство уже уезжает, оно, несомненно, готовит сейчас контрреволюционный переворот... Мы его предупредим и поставим Исполнительный комитет перед совершившимся фактом.

Дав слово о строжайшей тайне, мы также и разошлись поодиночке...

Но правительство... не уехало.

* * *

Порой мне казалось, что это только я один болезненно нервничаю неосновательной подозрительностью. На самом же деле Николай, забыв о троне, спокойно дожевывает у себя во дворце своих рябчиков с малосольными огурцами и играет от скуки в прятки с арапами. Все эти генералы Алексеевы, Корниловы и Филатовы рады отныне живот положить за свободный режим. Столпы демократии в Исполнительном комитете Совета зорко бдят интересы пославших их солдат и рабочих. Словом, все идет спокойно и мирно к благополучному своему завершению. И только мне, рядовому офицеру-обывателю, случайно приплывшему в Таврический дворец из тихих ораниенбаумских заводей, все еще чудятся, как дикие страхи первых дней, всюду Кутеповы и Паулучи. Не слишком ли зловеще рисую я себе эти жалкие последние пузырьки утопшего в революционном океане царизма?!

И я пробовал теперь внимательно и спокойно проводить часы, скромно сидя на подоконнике в комнатке заседаний Исполнительного комитета, чутко прислушиваясь и зорко наблюдая бушевание политических страстей. Однако если моя подозрительность действительно неосновательна, то из-за чего тогда так свирепо грызутся здесь люди?..

В окно здесь все ярче день ото дня сияло редкое петербургское солнце. На еще голые деревья Таврического парка прилетели с юга грачи. Гордо сверкая черно-синим своим оперением, они важно шагали сейчас по мокрым от талого снега садовым дорожкам, деловито подбирали широкими крепкими клювами упавшие веточки и поглядывали свысока на шустрые стаи распетушившихся воробьишек, вперегонку трещащих на неугомонных митингах в честь весны. А вот станет тепло, грачи сядут в старые гнезда, и воробьи угомонятся. Но так же ли будет и с нашей Россией? Пришла буржуазная весна, февральские ветры разметали и сдули затхлый склеп помещичьего лампадно-прокисшего самовластия, — и я вспомнил тут про гнилостный запах в особнячке графов Игнатьевых. Теперь вот Милюковы, Шингаревы и Коноваловы двинут мощно вперед расцвет русской промышленности. Ведь революция-то наша буржуазная! Ведь этого же, кажется, никто сейчас не оспаривает?!. И после этих мыслей я по-новому и с каким-то затаенным снисходительным любопытством наблюдал за шумным воинственным задором, вспыхивающим на лицах неугомонных людей, наполняющих эту комнату. Здесь тоже с каждым днем появлялись все новые и новые лица. Одни съезжались сюда из таежной глуши сибирских ссылок. Другие — из сверкающих городов шумного зарубежного Запада, о чем сразу свидетельствовали их тонкие плоские заграничные коробочки спичек, которые они в первые дни своего появления здесь употребляли. Сначала здесь сильно прибавились эсеры: дородный, с откинутым осанистым лицом и барственной курчавой бородкой, Авксентьев; плоскогрудый, серенький, мягкий, с острыми глазками, вечно сидящий тихоней где-нибудь в уголочке, Зензинов; безалаберно пухлый, с толстыми брызжущими губами и седеющей шевелюрой кудрявой болонки, Чернов; мрачный Гоц, злобно поблескивающий черными углями глаз через ледяные сте-

клышки пенснэ. Затем стали прибавляться меньшевики: тоскливо мотающийся, как мокрая серая тряпка, Бройде; низенький и кургузый, с большою черною головой востроглазого галчонка, Либер; торопливо ковыляющий на кривых и коротких тонких ногах и остроносый, как серая плосколобая сытая крыса, одетая в форму военного врача, Дан и, наконец, высокий, худой, с плоскою впалою грудью и темными ввалившимися сказочно-тоскливыми глазами, черно-синий, как грач, Церетели. И перед всей этой из дальних стран слетевшейся стаей прожженных крупных политиков прочирикивал здесь день за днем нескончаемый хоровод маленьких неугомонных отечественных воробышек.

— Товарищи, я — шофер Макаров. Почему ж у вас Горемыкин освобожден? Ведь он же числится за вашим Керенским?!

— Товарищи, с фронта мы, то бишь, из Пскова. Почему ваш питерский гарнизон нельзя отсюда выводить, а нас, псковских, отправляют?..

— Товарищи, завтра столица без хлеба! Ломовики требуют от хозяев прибавки, а те не дают. Как быть?.. Давайте агитаторов!..

— У нас, в Михайловском манеже, товарищи, офицеры больно стараются. Подговаривают наших солдат с броневиков, чтобы вас отседа разогнать. А уж больше всех капитан Плетнев агитирует...

— Уважаемые господа, мы опять к вам. Несмотря на полнейшую взаимную договоренность, которой достигли и вы и наше Общество фабрикантов и заводчиков, у нас опять начались нескончаемые недоразумения на предприятиях... Невозможные требования рабочих о повышении заработной платы!..

— Товарищи, кака же это выходит свобода?!. Время скоро землю пахать, а наша барыня, чисто собака на сене, сама не обрабатыват и нам не дает. Мы, было, по-божецки

разбили ее па клинья, а министр Шингарев приказ в уезд присылает, чтоб, дескать, вернуть, а силой нельзя забирать, ждите, грит, мирно до Учредительна собрания... А ежели нам ждать, господа товарищи... мы и так ждали-ждали, все жданочки приели...

— Дорогие товарищи, примите меры! У нас, на Васильевском острове, по всем линиям черносотенные листовки раскидывают.

— Ответьте вы нам, достоуважаемые товарищи, на один только письменный наш запрос, потому вся наша администрация Берестовского рудника в поселке Розовке Екатеринославской губернии всем этим в корне взволнована. Первое, какое отношение ваше к Временному правительству? Затем, были ли изданы вами директивы о немедленном проведении в жизнь классовых интересов? А ежели нет, то по какому такому праву у нас на руднике какие-то местные комитеты организовались, и не приведи господь-бог что они делают!..

— Мы от Временного комитета Двинского фронта. У нас полнейший произвол генералов. Ротные комитеты разгоняются, полковые арестовываются, офицеры тайно шушукаются. Пошлите, пожалуйста, к нам агитаторов, да поскорей!..

«Нет, — ухмыляюсь я теперь про себя, — нет, тут не подозрительность моя виновата», и догоняю в коридоре двинскую делегацию.

— Чудак вы, товарищ! Нашли, где просить агитаторов!.. Каких вам агитаторов нужно? Большевиков?

— А вам-то что до этого? — недоверчиво пятится огорошенный моим наскоком молоденький военный врач.

— Вестимо, большевиков! — обрадованно выдают его солдаты.

— Тогда валите скорее за Троицкий мост, спросите там дворец Кшесинской. Там наша военная организация боль-

шевиков. А хотите, я записку вам туда напишу. Как ваша фамилия?

— Склянский...

. . . .

Однажды в эти дни меня поймал Скобелев.

— Вот что, товарищ офицер, вы нам крайне нужны. Есть здесь в Таврическом радио-станция. Мы еще как раз через нее посылали на-днях наше воззвание к народам всего мира. Она где-то там, в Военной комиссии, у Пальчинского, наверху. Только офицеры там на ней какие-то чересчур подозрительные...

— Ну, еще бы...

— Так вот эта радио-станция нам крайне нужна и должна быть в наших руках. Сами понимаете, и ответ от немцев может со дня на день притти, да и сами мы тоже можем еще что-нибудь такое придумать... Словом, Исполнительный комитет постановил вчера забрать ее себе. Мы поручаем это дело вам, забрать и заведывать.

— Но я не радио-телеграфист, Матвей Иванович.

— Ничего. Поставьте какого-нибудь вполне лойяльного специалиста-офицера, подберите надежных наших радистов-солдат, переведите ее оттуда куда-нибудь сюда поближе. Политическое заведывание ею будет на вашей ответственности...

И, получив в тот же день соответствующее предписание за неизменными подписями Чхеидзе и Гвоздева, я добился согласия и у Пальчинского.

Он, правда, был недоволен, долго жевал губами и деловито смотрел в потолок, а потом, после пятикратного моего заклинания фамилиями Чхеидзе и Гвоздева, наконец, сдался и сокрушенно кивнул головой. В Союзе офицеров-республиканцев я сыскал офицера-радиста капитана Родера, а через военку у Кшесинской навербовал радиосвязистов из большевистско-настроенных солдат. Словом,

уже на следующий день к вечеру я перевел всю радиостанцию вниз, заняв две комнаты и потеснив оттуда местную продовольственную комиссию. Служащие этой комиссии, студенты-психоневрологи Лесновский и Иоффе, охотно мне их уступили.

— Все наши мешки и ящики мы сейчас отсюда распорядимся нашим солдатам повытаскать. Только вот... — и они смущенно переглянулись и покосились на запертый шкап. — Пожалуй, нам некуда его будет убрать... Нельзя ли оставить у вас... и с маленькой тайной?..

— В чем же дело?

— Да, видите ли, в нем... вино... В первые дни революции его откуда-то сюда привезли... Уничтожать его было жалко... Ну, мы все понемножку здесь им пользовались... Ключ всегда у нашей помощницы, вот этой барышни, Ивановой. Девать нам его сейчас больше некуда. Может быть, не помешает вам шкап, если мы оставим его здесь в проходной?..

— Почему же? — пожал я равнодушно плечами. — Оставляйте.

— Только за ним нужно следить. Вино пропадает.

И они рассказали, как однажды ночью застали они шкап отпертым, очевидно, подобранным ключом, и возле шкапа ватагу каких-то солдат с бутылками в карманах и под рубахами. Вино они отняли, солдат вытурили, но среди них был и один солдат Прохоров из их комиссии. Держал он себя смущенно и подозрительно, но оправдывался, что и сам он хотел накрыть этих воров. Вина при нем не нашли и поэтому оставили его попрежнему у себя на службе. И вот с той поры вино из запертого шкапа непрерывно и сильно убывает и убывает неведомо куда.

— Осталось теперь бутылок с тридцать, — и они отперли шкап, — так что если вам понадобится, товарищ поручик,

можете без всяких стеснений, сколько угодно. Вы и ключ, пожалуйста, возьмите себе!

В шкапу действительно было бутылок пятнадцать виноградных вин и бутылок двадцать водки. Я вспомнил, что всей этой дребедени у меня самого еще непочатая забытая корзина у Вали, а потому отказался и от вина и от ключа.

— Хорошо, — кивнул я на их конфузливые упрашивания, — если встретится надобность, попользуюсь тогда немного виноградным, водки же я совсем не пью... вот тогда и возьму у вас ключ. Сейчас же категорически увольте.

— Вы смотрите, товарищ поручик, только относительно нашего Прохорова... Мы подозреваем, не он ли ворует вино через подобранный ключ. Не пускайте его сюда.

Часа через два, уже ночью, когда мои солдаты переносили в комнату радио-приборы и проводили кабель, какой-то франтоватый солдат с плутоватыми глазками подошел ко мне бочком.

— Не возьмете ли, господин поручик, к себе сюда меня на службу? Я в продовольственной комиссии здесь служил, да служба грязная...

— Радио-телеграфист?

— Никак нет.

— А фамилия как?

— Прохоров.

— Ах, вот оно что.

Студенты еще не ушли. Я приказал своим обыскать при них Прохорова, нашел у него два револьвера, какие-то подозрительные — очевидно, подложные — мандаты от несуществующих «липовых» организаций. Глазки Прохорова бегали, как мышата в ловушке, и он клянчил о пощаде. Что с ним делать? Было поздно, сдавать было некуда. Ограничились тем, что отобрали у него оружие и документы и выпроводили на улицу.

Шкап последующие дни стоял неприкосновенен и заперт. Деловито тумашился возле аппаратов капитан Родер. Станция принимала во-всю.

— Ну, что? — тоскливо спрашивал меня временами Скобелев. — Нет ли какой-нибудь хоть случайной искорки надежды на мир в вашем воздушном эфире? Попрежнему молчат Шейдеманы в Берлине?

— И Шейдеманы молчат, и пролетарии молчат, — сокрушенно вздыхал я. — Попрежнему воинственно гремит, взрывая воздушные волны, один только кайзеровский Науен.

Другой раз за мной стремительно примчался огромный раскидистый Стеклов.

— Поедемте, товарищ офицер, скорее едемте! — схватил он меня за рукав, поспешно накидывая мне на плечи мою шинель. — Из Петропавловской крепости сейчас звонили, там что-то вроде очередного контр-восстания назревает, чорт бы их всех там побрал! Машина готова. Живей, живей!

Мандат мне на всестороннее обследование крепости был мигом подписан теми же Чхеидзе и Гвоздевым.

— Чорт их там разберет! — ворчал дорогою Стеклов, когда наш крытый автомобиль что есть силы подбрасывало на ледяных ребрах уличных колдобин. — Керенский, что ли, их там путает... Выпускает, наверное, тех, кого понасажали за февральские дни в Трубецкой бастион, ну, а солдаты, конечно, волнуются...

Мрачная крепость грузно вытянулась влево за Троицким мостом правильно состряпанным каменным пирогом, неуклюже вдавив под собою в Неву тонкую корочку острова. Легкая сизая колокольня собора как раз посередине цитадели игриво взвивалась вверх острым, золоченым, но уже заржавленным от времени шпилем. Голубые от древности жерла пушек одиноко поглядывали с серых гранитных

брустверов. Через деревянный мост мы подъехали к огромным обшитым железом воротам. Скучающий часовой взглянул на наши мандаты, позвонил куда-то по внутреннему телефону. Железные ворота жалобно заскрипели, и наша машина нырнула сначала в один сырой каменный склеп, а затем, пробежав широкую пустынную площадку, поросшую деревьями, гулко прошуршала и через второй. Побежали теперь приземистые каменные одноэтажные корпуса в хороводе голых ветвистых берез, потом слева метнулся плац с двухэтажной кордегардией, затем такой же дом коменданта, а вправо вырос сумрачный ящик собора.

— Вы из Совета? — метнулась к автомобилю какая-то изломанная долговязая фигура. — Это я вам звонил... Разрешите представиться... штаб-ротмистр Берс... помощник коменданта крепости... — И, еще более ссутулясь, он закивал перед нами своим черномазым небритым лицом, угодливо скрючив отдающую честь руку.

Оказалось, что звонил действительно он. Комендант, подчиняясь приказам Керенского, выпускает из Трубецкого бастиона одного за другим арестованных в февральские дни царских сановников. Местные солдаты в лице своего выборного крепостного комитета восстают против этого и грозят посадить самого коменданта в Алексеевский равелин. Помощник же этот, тумашливо нам все это на-ходу рассказавший, очевидно, ловко подыгрывался и здесь и там, а теперь почувствовал, что стулья раздвигаются, и он может упасть...

Мы прошли к самому коменданту. Это был веселенький низенький полковник.

— Разрываюсь, — забавно развел он руками, — вы даете одни приказы, Гучков отдает другие приказы, Керенский присылает третьи приказы... Чьи исполнять?.. Солдаты грозят арестовать меня и посадить, но, знаете ли, и служить при этих условиях гораздо труднее и хуже, чем

сидеть под замком в бастионе... Очень рад вашему посещению... Премного буду признателен, если укротите моих нижних чинов. Сами же вы их развратили своими приказами... Выборность!.. Комитеты!.. Да, господа, единовластие необходимо. Без железной дисциплины нельзя. А лучше всего, разрешите мне здесь распустить этот их глупый крепостной комитет. Тогда будет спокойно... Если же кто заартачится — в бастион!.. Да и помощника тут какого-то мне сунули... Ну, да мы его уберем. Я говорил уже в штабе...

В пустынной и затхлой от плесени канцелярии крепостного комитета нас недоверчиво встретил высокий солдат, его председатель. Узнав, кто мы, он просиял и сокрушенно стал жаловаться, что у него опускаются руки.

— Навезли сюда нам из Думы царских министров... Ладно, посадили мы их в Трубецкой бастион. Режим там был известный. Теперь же к им каждый день тащат пироги, вареное, пареное, жареное, даже вино. Ну, комитет наш заявил, конечно, что отставить, и никаких! А в ответ вдруг приказ от Керенского: пропущать! Потому, дескать, свобода и демократия... Мало того, теперь что ни день увозят их отсюда поодиночке будто бы, дескать, для отводу глаз, в тюрьму, — ну, а слыхать, отпущают... Вот тебе и свобода!.. И кто распоряжается этак — концов не найдешь, а мы думаем, что это все полковник наш мудрит, комендант. Ребята наши через денщиков в тонкости теперь разузнали, как у него на той неделе секретное собрание было всех здешних офицеров, и толковали, чтобы, дескать, поставить на стенах дальнобойную артиллерию. А для чего, спрашивается, им теперь артиллерия, если никогда здесь, кроме вестовой старой пушки, что бьет в полдень, никакой артиллерии сроду не было?.. Помощника мы ему выбрали господина штаб-ротмистра. Офицер ничего себе, только случается запивает и тогда стекла бьет... Правов наших солдатских в корне не признают. Здесь, грит, крепостной режим, а не

пародный дом... Конечно, весь гарнизон наш в корне за полную власть Временного правительства и опять же за Исполнительный комитет, но только контру полковничью мы допускать не согласны. Так ему и сказали: если что еще себе позволит, погоны сдерем и в равелин!..

Стеклов успокоил его, как только мог, и теперь отошел побеседовать с Берсом.

— С партией вам тут связаться бы надо, тогда и спокойней бы дело пошло тут у вас и организованней! — бросаю я осторожно и как бы ненароком понуро задумавшемуся председателю солдатского комитета.

— Как же, как же! Мы уже многие здесь вписались, — встрепенулся он. — Партия хорошая, самая наша настоящая партия.

— Ходите на собрания? — спрашиваю я обрадованно.— Здесь ведь близко...

— Куда близко? — озадачивается солдат. — Нет, мы здеся сбираемся, агитатор два раза к нам приезжал, все объяснил. А теперь не приезжает, мы и не собираемся. Да и объяснять, видно, больше нечего.

— Какой же партии?.. — робко недоумеваю я.

— Социалистической революционеров...

. . . .

— Гнусь одна! — хмуро дребезжал дорогою Стеклов.— Дело ясное, офицеры что-то тут затевают, а Берс — размазня. Хорошо было бы сюда от нас своего б коменданта...— и он задумчиво этак взглянул на меня и замолк.

Вечером на заседании президиума офицеров-республиканцев вышла ссора между Филипповским и Скобейко.

— Почему вы, поручик, — гремел Филипповский, — опять без нашего разрешения заводите какие-то закулисные шуры-муры с генералом Потаповым и выполняете его поручения, идущие в-разрез политике Совета?!.

— А разве Военная комиссия не орган Временного правительства? — отвечает Скобейко заносчиво. — Ведь мы же за единовластие. Причем же тогда ваши упреки?..

— Единовластие остается единовластием, — мрачно свирепеет Филипповский, — а ваши политические шашни, поручик, я тоже вижу насквозь. Благоволите их прекратить!

— Что прекратить? Полное доверие органам Временного правительства прекратить, что ли, вы требуете? Значит, вы за двоевластие? Или это потому только, что правительство не отпустило Совету десятимиллионного фонда?..

— Я знаю, за что я борюсь! — взревел Филипповский.— Если вы сейчас же не замолчите, мы поставим вопрос о вашем исключении из союза.

Скобейко молча надел фуражку и вышел.

— Товарищем председателя у нас во всяком случае этот беспартийный больше быть не может, — разрядил молчание Синани.

И вместо Скобейки мы выбрали военного врача Лащинского.

Потом Синани стал жаловаться, что он устал на союзной работе, и никто ему не помогает, тогда как ежедневный прием и беседа с делегациями с фронта, организация отделений союза в других городах, а главное циркулярные письма на фронт с разоблачением контрреволюционной деятельности нашего генералитета — отнимают все время.

— Ничего, — утешил Филипповский,— работайте!.. Денег нам, хотя и немного, а все же, по всей вероятность, дадут, и тогда назначим вам министерское жалованье четыреста рублей в месяц, а может быть, и четыреста пятьдесят.

Синани застенчиво улыбнулся.

— А теперь давайте решим, наконец, вопрос о поручике, — перевел на меня глаза Филипповский. — Сегодня в Исполнительном комитете постановлено назначить от нас своего коменданта в Петропавловскую крепость. И Стеклов,

и Скобелев, и многие другие, а тем более большевики, — ухмыльнулся он, — настойчиво проводят кандидатуру поручика, но окончательное слово оставлено за нами. Пост — важный. Давайте поэтому без стесненья разберем друг друга по косточкам и наметим сейчас, кого же мы выдвинем?

Сердце судорожно замерло. «Какая честь, — подумал я, — стать властелином этой цитадели. Гранитные бастионы не стали бы при мне скучать по дальнобойным орудиям, и крепко зато заскучали бы по пирогам арестанты-министры. И я знал бы, как при первой же попытке контрреволюционного выступления без промаха нащупать каленым ядром и разорвать гранатой золотопогонного врага в любом укромном месте Петрограда...»

Волнуясь, я молча слушал, как стали перебирать все кандидатуры, откидывая их одну за другою. Филипповский не подошел, потому что быть членом Исполнительного комитета — важнее; Мстиславский — перегружен газетной работой; Синани — секретарствует; Лащинский — военный врач, какой же он боевой комендант,— и все улыбнулись, а Лащинский смущенно потупил лохматые усы.

— Может быть, Греков? — передернувшись в лице, дипломатически выдвинул Любарский.

Все взглянули на Грекова.

— Господа, — повернул тот головку на-бочок и сияюще покраснел, — о себе могу сказать откровенно, что сейчас я вполне самоопределился. Я эсер, и эта программа меня удовлетворяет с ног и до головы. Больше сказать о себе ничего не имею. Моя деятельность в февральские дни вам известна, и вы знаете и ту телеграмму царю, которую...

— Знаем, знаем, — устало замахали все руками.

Когда же Грекова, наконец, остановили, и он, отрывисто кукарекнув, обиженно замолчал, Филипповский хмуро сгреб ладонью клинышек черной бородки и решительно выдавил:

— Нет, на этот пост Грекова мы все-таки, пожалуй, не выдвинем; просто он недостаточно еще известен в Исполнительном комитете...

И тогда они остановились на мне. Возражений вслух не было... Только Любарский злобно передернулся, да Синани зловеще вздохнул.

— Имейте только, Тарасов-Родионов, в виду, — внезапно насупясь и словно отражая всеобщее настроение, грозно придвинулся ко мне вплотную Филипповский. — Мы внимательно вас изучали. В смелости и самообладании вам не откажешь... Но, если случится хоть легонький намек к бонапартизму, смотрите! — сверкнул он зловеще углевыми глазами. — Мы сами же вас уничтожим...

Я вспылил и обиделся.

— Не хитрите, — уже спокойно ухмыльнулся Филипповский, — не об личном, индивидуальном бонапартизме мы здесь говорим. Там Кшесинская неподалеку... Запомните твердо, что вы получите Петропавловку только как наш дисциплинированный член Союза офицеров-республиканцев и если сейчас же поклянетесь, что будете точно выполнять только наши директивы. Решайте!

— Вы хотите от меня, чтобы я отказался от своей партийности?

— Ну, зачем же так резко? — сгладил Мстиславский. — Партийность пусть остается партийностью, но дисциплина нашего союза или во всяком случае Исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов должна быть выше всего.

— Хорошо, — твердо и честно сказал я. — Решения Исполнительного комитета Совета будут для меня высшим законом; как же иначе?..

— Ну, вот и в добрый час! — улыбнулся Филипповский уже радушно. Я подумал: «из-за каких в сущности пустяков мы часто враждуем» и крепко пожал всем руки.

Утром, когда я брал хлеб и масло в продовольственной комиссии, мне кокетливо улыбнулась кривобоконькая девица Иванова.

— Ну, что же, поручик, так и не желаете побаловаться нашим винцом? Хотите, дам ключик?

Я подумал, что действительно недурно было бы спрыснуть свое избранье и угостить вечерком сотоварищей, и взял ключик.

Днем Залуцкий обрадованно сообщил мне в Исполнительном комитете, что они только что постановили назначить меня на должность коменданта Петропавловской крепости и провести это официальным приказом через министра Гучкова.

— Только имейте в виду, — приветливо добавил Стеклов, — вам нужно будет непосредственно перетолковать о своем назначении предварительно с Керенским, ведь Трубецкой бастион и все арестованные сановники в его ведении... так что без него неудобно...

— Это мы устроим! — решительно кивнул Филипповский.

* * *

На утро Филипповский сообщил мне, что обо мне уже говорили с Керенским, и тот желает меня видеть сегодня же днем у себя в министерстве юстиции.

Тщательно побрившись, почистившись и одев китель с университетским значком, в назначенный час я уже ляцкал шпорами по мрамору министерских ступеней, мягко потухая шагами на бархатистой дорожке. Широкая просторная приемная блестела рыжим лоском усердно навощенного паркета. На позолоченных, обитых шелком, диванах и стульях сидели вдоль стен посетители: склеенные из морщинок, учтиво покашливающие в кулак старикашки; расфранченные барыньки; хрустящие белоснежным крахмалом

манишек, небрежно-раскидистые адвокаты. Судейских чинуш, приехавших теперь из провинции представляться, можно было сразу узнать по их седым приглаженным височкам, по засаленным перхотью темнозеленым бархатным воротникам и по лицам, сухощавым, тугим и чопорным, как те коронованные столбы, что сияли на их аккуратно застегнутых пуговицах. Старинные гостиные столы с досками цветного полированного мрамора сверкали так надменно и торжественно, что только томно вздыхающие пухлые дамы решались класть на них свои надушенные муфты, сумочки и перчатки.

Пропустив передо мною двух-трех чиновников, Керенский принял меня не в очередь.

— Очень рад познакомиться с вами, господин революционный офицер! — порывисто выскочил он из-за массивного тяжелого стола и, усадив меня в кресло, сел напротив.

— Мы уже и раньше были немного знакомы, — скромно напомнил я, — однажды я сдал вам царского фельдъегеря с пакетами от самого Николая Второго.

— Фельдъегеря?.. С пакетами?.. — наморщил он лоб, вскинув взгляд к потолку. — Нет, что-то не помню... Ну, да все это мелочь... Ваши друзья рассказали мне, что вы активно выступали в февральские дни. Вот это подвиг. Революция не может оставаться неблагодарной. Конечно, вы уже награждены за это?.. Нет?!. Какое непростительное упущенье!.. Это сейчас же будет исправлено... — и он мигом вскинулся обратно за стол. — Я сейчас напишу вам. Гучкова нет, так это к помощнику его генералу Маниковскому. Что вы желаете? Прежде всего, конечно, георгиевский крест!.. Но этого мало. Производство в следующий чин?.. Итак, поздравляю вас от чистого сердца, дорогой мой, и с георгием и с производством в следующий чин! — стремительно дописывал он записочку, опустив вниз большую верхнюю губу. — Поздравляю вас от имени великой

и бескровной революции нашей! — протянул он мне записку и встал.

«Значит, все? — подумал я. — А как же крепость?»

— Товарищ министр, — перебил я его робко, — я побеспокоил вас сегодня лишь затем, чтобы согласно вчерашнему постановлению Исполнительного комитета...

— Ах, о крепости? — не дал докончить он. — И охота вам, господин офицер?.. Ведь вы же и так сейчас награждены!.. Вы полагаете, что за ваши заслуги этого мало?! — усмехнулся он колко.

— Я боролся не ради наград, господин министр. Наград мне не надо. Исполнительный комитет интересуется теперь, могу ли я рассчитывать...

— Ах, причем тут Исполнительный комитет?! — передернулся Керенский. — Все зависит исключительно от меня. Я — министр!.. Хорошо: вы получите назначение. Дайте записку, и я припишу. Вот извольте, — сказал он, — видите я дописал: «Назначьте немедленно этого офицера комендантом Петропавловской крепости, с Александром Ивановичем этот вопрос согласован». Довольны?.. Желаю вам теперь успехов и счастья, — и он порывисто подал мне руку, давая понять, что прием кончен.

«Какой милый и деловой этот Керенский!», ликовал я, пряча драгоценную записку. И мне казалось, что и в приемной все ликуют: ликует и хрустальная люстра под лепным потолком и полированный мрамор александрийских старинных столов, отраженных, как в зеркале, в рыжем глянце паркета золочеными ножками. Ликуют и солнечные лужи возле окон, и белоснежные корки адвокатских манишек, и серебряные височки чинуш, и малиновые крестики орденов на мундирах судейских, и сапфировые серьги в пухлых ушах томно вздыхающих барынь.

Серебристый, сосредоточенно-скромный, артиллерийский генерал Маниковский, товарищ военного министра,

принял меня любезно, узнав, что я из Исполнительного комитета.

— Превосходно! — процедил он как-то задумчиво, прочтя записку Керенского. — Все будет исполнено в точности, господин подпоручик, раз Александром Федоровичем вопрос согласован. Не извольте больше беспокоиться, приказы будут проведены на-днях. Куда прикажете вас известить? В Таврический дворец?.. Слушаюсь!..

— Но, быть может, принять крепость можно будет и сейчас?

— Нет, это было бы нетактичным по отношению к прежнему коменданту... Запаситесь терпеньем!.. — и он лукаво улыбнулся, но руку пожал предупредительно и любезно.

Своей радостью я поделился и во дворце у Кшесинской, в военке.

— Ловко! — умилился секретарь Мехоношин и даже подпрыгнул в своем разлохмаченном кресле. — Тогда и мы с Тобиасом к вам туда перейдем. А типографии, кстати, у вас там не будет? Наверное, есть... А то наш Николай Ильич Подвойский все по городу сейчас бегает, для «Солдатской Правды» типографию ищет. Не может человек не тумашиться. Не столько делает, сколько тумашит всех и путает. У него вся жизнь, говорят, так... Одни заглавные буквы...

Капитан Родер встретил меня в Таврическом, запыхавшись.

— Свежее радио, господин поручик! Америка объявила Германии войну! — а у самого растерянно разинут рот, и на лице полнейшее недоумение, радоваться ли этому или хмурить задумчиво брови.

— Ну, что ж, полегче нам теперь будет, — улыбаюсь я, и Родер тоже тогда улыбается.

А вечером я отпер шкап и достал три бутылки сотерна. Мы заперли дверь и роспили их: я, Синани, Лащинский, Вязальщиков и Филипповский.

— За новую нашу союзницу, свободную заатлантическую демократию! — распушил усы Лащинский, и нос его показательно покраснел.

— Только пустые бутылки, смотрите, здесь не оставляйте! Сплавьте куда-нибудь в мусор, в подвал, — предостерег меня Филипповский. — Да и вообще неудобно вам, поручик, здесь ночевать.

— Ничего, теперь мы его в Петропавловку провожаем. — крякнул Синани. — А сегодня вон Скобейку на фронт проводили... пришлось провести его комиссаром в одну из армий. Оба крыла от нас отлетели. — ухмыльнулся он, — будем плыть теперь одним центром.

* * *

Были похороны. Торжественные похороны жертв революции. Нужно было заставить одного человека подписать одну бумаж нку о том, что он ни разу больше не будет садиться в золоченое кресло, не будет играть живыми солдатиками и никогда не будет больше подписывать бумаг. Сто семьдесят жизнерадостных крепких людей самоотверженно бросились под пули и легли бездыханными, перепачканными кровью, коченелыми трупами для того лишь, чтобы тот человек бумажку эту, наконец, подписал. Человечек, подписавши бумажку, пошел отдыхать. Вместо одного золоченого жесткого кресла ему оставили дюжины мягких и шелковых, вместо испитых изможденных солдатиков дали красногубых арапов с белыми, как облупленные яйца, глазами. Даже бумагу с чернилами оставили человечку на память, и, отдыхая в забавах, он нет-нет, да посматривал теперь на эту скучающую от безделья бумагу и лукаво мечтал, скоро ль вернется еще его час или уже не придет? А тех сто семьдесят беззаветных, час которым пришел, запаял и в холодные цинковые гробы и плотно обшили яркоалым сатином. И поплыли теперь эти гробы, как яркокра-

сные ладьи, рядами и вереницами по черным бесконечным волнам человеческих рек, плавно текущим по широким улицам Питера. Эти черно-густые волны несметных рабочих плеч и голов стройно и мощно струились от дымных копченых заводских окраин, сливались дорогой с длинными серыми потоками, бурно хлещущими из казарм, и сплошными тяжелыми реками плавно неслись дальше к центру, колыхая на себе утлые красные гробы. Эти могучие черные и бурые реки людей гулко грохотали тяжелым размеренным шагом в гранитных каналах испуганно застывших праздных питерских улиц. И в сизых оконных зрачках этих улиц, тревожно мигая, скользили бесконечные красные отсветы легких плакатов и плотные складки обвисших алых знамен. И торжественный скрежет медных оркестров буравил гранитные стены изумленных домов кричащей тоской похоронного марша. Серое небо глядело уныло. Изредка крапал дождь. На крепко загороженном живыми цепями солдат, широченном и длинном Марсовом поле гудели толпы народа, проходившего сюда по особым пропускам и билетам. Под высокими шестами с вьющимися на них черно-белыми длинными стягами была вырыта покоем глубокая широкая яма, мокрый суглинок которой лип к сапогам и калошам. Массивные грязно-желтые колонны длинных казарм Павловского полка сзади поля были затянуты кумачовыми полосами, которые парусил ветер. Большой красный флаг, сырой от дождя, устало свивался и развивался над большим деревянным помостом, выходящим лицом на проезд к Лебяжьей канавке и Летнему саду. На помосте под флагом торжественно сгрудилась вся головка Исполнительного комитета: Скобелев, Стеклов, Церетели, Чхеидзе, Гвоздев, Богданов. Здесь же, направо, притаив смущенье под сытой спесивой усмешкой, грузно колыхались шубы Родзянки, Терещенки, Коновалова, Милюкова, Гучкова... Поодаль с осторожным удивленным вниманьем остро озирались вокруг иностран-

ные дипломаты. Весь помост, кроме этого, был густо облеплен тумашливой жужжащей толпой журналистов, фотографов и просто праздных зевак, залезших сюда поглазеть на министров. Ретивый кинооператор, взгромоздясь на перила, плавно накручивал ручку своего аппарата.

— Стройтесь, стройтесь, товарищи! Сейчас нас будут снимать!— с веселой хлопотливостью мотался Любарский и лез на фланг. И мы гордо прошлись перед киноаппаратом стройной офицерской шеренгой. Затем снимали группами членов Совета, затем вернувшихся из ссылки революционеров. Старенький и сплошь колюче-заросший пегой черноседою щетиной меньшевик Рамишвили, депутат I Думы, в драной, нахлобученной на уши, мерлушковой черной шапчонке и торжественно обрядившийся при этом, как главный распорядитель, в широченную малинового цвета муаровую ленту с узенькими белыми полосками по краям, держал теперь под-руку сгорбленную старушонку. У старушки были серые тусклые глазки и бурое личико, словно скомканное из сплетенных морщинок, и седые редкие пряди выбивались из-под толстого платка. И с сыновьим почтением я пожал Вере Ивановне Засулич ее хилую пергаментную руку, которая писала когда-то боевые статьи на папиросно-прозрачных страницах большевистской старой «Искры».

Мимо Марсова поля, склоняя знамена, проходили тугими рядами крепкие шеренги рабочих. Вот целый отряд их в штатских пальто по-военному отбивал твердый шаг, и за плечами у них на ремнях хмуро поблескивали дула винтовок. Железное дыхание жестких машин, упрямых и прочных, сразу пахнуло на нас от этих вооруженных рядов, пришедших сюда от далеких Нарвских и Невских застав и Сампсоньевских и Выборгских проспектов. Даже Богданов гордо сверкнул при виде их очками.

— Вот это я понимаю. Самое надежное! Наша рабочая Красная гвардия...

Оркестры ревели и глухо тонули, качаясь, в туманной сизой дали, где еле виднелись серый Мраморный дворец и чугунная статуэтка Суворова перед Троицким мостом. Красные гробы, кружась, вплывали на Марсово поле и бережно опускались рядами в широкую длинную желтую яму. Когда они все были спущены, Чхеидзе, напыжась, с самого краю бугра торжественно проверещал о врагах и свободах, потом махнул сухонькой ручкой, и сразу же гулко захлопал о красные крышки гробов дождь песочных комков. И тотчас же воздух внезапно вздохнул и грохнул, прорвавшись гневным громовым раскатом, от которого дрогнула почва и зазвенели дальние стекла в казармах. Это был залп Петропавловки. Шестьдесят один залп пороховых страшных вздохов артиллерийской печали один за другим потрясли и гроба и людей, застывших в торжественном жутком молчании. И тихая крепкая клятва прошелестела на моих горестно сжатых губах.

— Спите, погибшие красные братья! Ваше дело бессмертно. На борьбу за него растет и шагает чумазая Красная гвардия рабочих окраин. Для борьбы за него засяду и я в крепостном Петропавловском сердце столицы и в последнем бою беспощадно швырну громовым чугунным расплавленным ливнем на головы наших врагов. Спите, братья, спокойно!..

ГЛАВА XV.

Напрасно все эти дни я ждал сообщений из штаба. Желанное назначение не приходило. Я тоскливо глядел на Секлова.

— Терпенье! — успокаивал он меня. — Наверное затормозилось у Гучкова. Хотите, чтобы этот старый черносотенный зубр, поднимавший в тысяча девятьсот пятом году бокал за здоровье адмирала Дубасова, разгромившего в кровь восстание пресненских рабочих в Москве, хотите, чтобы этот верноподданный промышленник, ставший военным министром, и вдруг бы назначил вас сразу же без канители комендантом боевого центра столицы?!.

— Зачем же тогда огород городить?

— Ишь, вы горячий! Вам бы — враз. Помните, как Куропаткин учил: терпенье, терпенье, терпенье...

Я одиноко слонялся по дворцу и недоумевал. Что за нелепая политика! Сам же Совет рабочих и солдатских депутатов утвердил всех этих буржуазных министров, молчаливо допустив к ним и своего Керенского. Теперь эти черносотенные промышленники начинают хозяйничать по-своему. У Гучкова в Петропавловке, в самом сердце столицы, офицеры затевают контрреволюционный заговор, а он, уведомленный об этом, тормозит необходимую замену комендантов, лицемерно надувая даже Керенского, которому обещал эту замену провести. Да и другие министры не от-

стают. На-днях, например, во всех газетах была напечатана беседа журналистов с Милюковым. Почтенный министр иностранных дел открыто вопил об исконно-национальной задаче России захватить турецкий Константинополь и прибрать к биржевым великорусским рукам кое-какие чужие славянские земли. Наша «Правда» резко подчеркнула этот наглый империалистический срыв всех наших мечтательных словесных призывов о скорейшем мире без аннексий и контрибуций. Да только одна наша большевистская «Правда» смело разоблачает всю эту гнусную хитрость скрытых милюковских капканов и черносотенных гучковских подвохов. Все остальные газеты молчат. И все Чхеидзы, Богдановы, Гвоздевы, Церетели, Даны и Черновы — словно в рот набрали воды. А почему бы сейчас же не скинуть всех этих министров и не заменить бы их своими из рядов Совета?!. Поэтому я торопливо спешил на заседание Исполнительного комитета, чтобы послушать бои. Но здесь я заставал бурный гам и свирепо хрипевшего в этом сумбурном содоме Гвоздева.

— Это ваша вина! Это ваша вина! — наседал он гневно на Сталина, сверкая широкими скулами. — Это ваша большевистская пораженческая пропаганда разлагает на нашем фронте солдат и способствует пораженьям!.. Сегодня мы потеряли Червищенский плацдарм, фронт на Стоходе прорван, а завтра немцы ударят на Питер... Товарищи! — рычал он, захлебываясь. — Я предлагаю принять против вредной агитации большевиков самые решительные меры!..

Рев разгорался. Хлопали стулья. Чхеидзе неистово звенел в колокольчик, а Сталин нервно ходил у окна, как затравленный волк, и злобно озирался исподлобья.

— Успокойтесь! — замогильным голосом вздыхал у печки Церетели. — Демократия найдет мирные меры, чтобы уладить недоразумение с неясными толкованиями Милюкова и ликвидировать демагогию слева. А пораженье на Стоходе пусть послужит отныне уроком...

— Уроком вам! — веско подбрасывал Сталин.

И опять поднимался галдеж.

— А в тылу! — вопил теперь Богданов. — Рабочие не работают. Производительность труда сошла на нет. Это на-руку только германцам и агентам самодержавного режима.

— Черномазову! — выкликивал Сомов.

— А вы повысьте расценки! — зардевшись, как красная девица, поднимался на цыпочки большевик Федоров из рабочих-металлистов.

— Причем тут расценки?.. — бесится Богданов. — Ведь и так уже введены карточки на хлеб, и рабочим даем в день только по полтора фунта. Восьмичасовый день у пекарей сорвал выпечку...

— Тогда для чего мы воюем? — звонко кидает из угла Шляпников.

— За милюковские проливы! — насмешливо хрипит, отодвигая стул, Красиков-Павлович. — Ради прекрасных глаз Антанты.

— Демагогия! — закашливается Церетели.

— Почему не опубликуете царские договора!..—бросает Сталин, но эти слова снова тонут в бешеном гаме.

— Голосую! — сипит вконец охрипший Чхеидзе. — Кто за предложение товарища Церетели?

Лес рук.

— Опустите. Кто против?

Жидкий десяток рук большевистских.

— Вопиющее меньшинство! — торжествующе хрипит Чхеидзе.

. . . .

— Помяни мое слово, будет буча. Будет скоро кровавая буча! — тихонько шепчет мне, выходя за дверь, Линде, толкая меня локтем в бок.

Лицо у Линде бритое, испитое, землистого цвета и болезненно-нервно подергивается, а короткие рыжевато-

белесые волосы на голове топорщатся беспокойной щетинкой.

— Какая кровавая буча? Что ты говоришь?

— А что же, ты думаешь, министры мирно уйдут? Придется свергать...

— Кто будет свергать?

Линде зловеще моргает бледными веками. Оловянные глаза его остро впиваются вдаль.

— Мы.

— Пустяки ты городишь... А как же Совет?

— Поставим перед фактом.

— И наша партия это одобрила?

— Да нет! — с мучительной болью передергивается он. — В том-то и горе, что нас пока еще меньшинство.

Горячая волна нахлынувшей было зловещей тяжелой тревоги теперь уже легко отливает от сердца. Какой мнительный и горячий, однакоже, этот Линде!

В Екатерининском зале дружный лязг прикладов. Это волынцы. Снова пришли на поклонение, но уже дисциплинированной крепкой частью, при затянутых в ремни офицерах. Перед строем невысокий, но коренастый и широкоплечий унтер-офицер Кирпичников, с лицом, загорелым, как кирпич, и узкими, словно заплывшими, глазками. Это он 27 февраля поднял на мятеж свою роту. Они тогда убили офицера, и труп его полдня лежал у ворот. Теперь уже другой офицер стоит на-вытяжку рядом с Кирпичниковым и почтительно косится на него. А на крепком потемкинском столе перед полком грузно дыбится Родзянко.

— Братцы! Волынцы! — жалостливо поматывает он обрюзгшими морщинами щек. — Вы — завоеватели нашей великой свободы. И на вас устремляет теперь многострадальные очи свои весь великий народ. К вам взывает истекающая кровью под сапогом тевтона Вильгельма православная наша Россия. Вы первые показали в февральские

дни геройский пример гражданской доблести и пришли в Государственную думу для ее защиты. И вы же первые должны и теперь показать всему остальному гарнизону светлый путь к исполнению священного воинского долга. Братья воины, коварный враг угрожает нашей отчизне! Получены достоверные сведения, что наши текущие неудачи на Стоходе являются лишь началом коварно-замысленного против нас наступления. Враг хочет воспользоваться нашим миролюбием, наступает на фронте и через шпионов своих и провокаторов, оставшихся от старой власти, уже сеет смуту и у нас в тылу, надеясь сбить вас с правильного русского пути. Братья воины! Православные! Гоните от себя прочь и арестовывайте этих агитаторов! Братья воины, сплачивайте ваши ряды и торопитесь к братьям, ожидающим вашей помощи! Ваше место отныне только на фронте!

Серебристый клинышек бородки Родзянки настойчиво вдалбливает эти призывы, а беспокойные серые глазки его остро щупают покорные солдатские ряды. И, должно быть, от той боязливой щемящей покорности, которая застыла сейчас в солдатских скулах, с сероватых глазок Родзянки струится торопливое удовлетворение. Еще бы, ведь над правым флангом замершей в своей готовности солдатской шеренги распростерт кумачовый плакат, на котором смертельно-белые буквы кричат: «Война до последней победы!» Родзянко, довольно крякнув, кончает. И вслед за этим— «ура», казенное старое солдатское «ура», дружно обрывающееся по команде. Когда он слезает со стола, неуклюже топыря толстые, как обрубки, ноги, Кирпичников с льстивой улыбочкой осторожно подхватывает его под крепкие помещичьи локти.

«Торжествуют», — молча переглядываемся мы с Линде одними глазами. Речь кончилась. Но солдаты все еще чего-то ждут, растянувшись вдоль зала четырьмя плотными шеренгами. Хмурое безлюдье глядит теперь от стен и из

мрачных углов этого когда-то бешено кипевшего, гулкого Екатерининского зала. Полк теперь ожидает Чхеидзе. Должно быть, какие-то жалкие обрывки революционной совести все еще требуют, чтобы измена революции была бы освещена все же печатью демократии. За стариком давно уже пошли. Но он, должно быть, слишком занят в Исполнительном комитете и все еще не идет.

— Я выступлю, — вздрагивает неожиданно Линде.

— Что ты?! — дергаю я его за рукав. — Еще чего-нибудь наболтаешь, смотри.

Но Линде не слушает. Властно раздвинув ряды, он быстрым прыжком взлетает на стол. Его отточенный нос и упрямый подбородок становятся теперь как будто бы еще острее, и сизые глаза его мгновенно наливаются горячей решимостью. Приседая и передергиваясь, он заклинает солдат не верить генералам, не верить правительству, не уезжать на фронт, так как это против приказов Совета рабочих и солдатских депутатов.

— Вас уже прибирают к рукам! — шипит он зловеще, картинно шевеля вытянутыми руками. И каменные лица солдат глядят на него с каким-то тупым изумлением. И только хитро исподлобья моргает глазками Кирпичников.

Неужели же все наши призывы уже запоздали?.. — невольно охватывает меня жуткий страх. Неужели все полки столицы уже приведены к покорности Родзянкам? И когда теперь Линде соскакивает, сорвав какой-то растерянный рывок «ура», я встревоженно спешу тоже влезть на стол. Осторожно озираюсь по сторонам из боязни, чтобы мое выступление не было бы замечено кем-либо из здешних, и поэтому торопливо я кидаю горячие слова в эти послушно-разинутые рты, с такой простодушной доверчивостью повернувшиеся теперь к моим золоченым погонам. Я бросаю им торопливо о том, что о земле до сих пор ничего не слыхать, а правительство кормит солдат и крестьян

уговорами ждать до Учредительного собрания; а так как землю Родзянкам не хочется отдавать, то и про Учредительное собрание правительство тоже молчок. Пусть спросят правительство, намечен ли хотя бы срок созыва этого Учредительного собрания? И на этот вопрос ничего никто не ответит, потому что на крестьян и на солдат смотрят сейчас, как на беспокойную чумазую опасность, которую удалось кое-как усмирить и которую надо как можно скорее сплавить на фронт.

— Волынцы! — кричу я.— В февральские дни вы первые дерзко восстали и пошли на верную смерть. Неужели теперь, если осмелевшие гады старого царского строя попытаются снова запрячь нас в ярмо, неужели вы, герои-волынцы, не поднимете первые их на штыки?! Верьте только Совету своих депутатов и держите с ним неразрывную связь! Ходите в солдатские клубы, вроде того, который открылся, к примеру, во дворце Кшесинской. Там вы шире откроете свои глаза и поймете, в чем заключаются ваши интересы. Не верьте правительству, волынцы, защищающему землю помещиков и посылающему вас на убой. Не верьте!

Мои шпоры остро звенят по столу, и задорно сверкают погоны, но я вижу, как казенные взгляды уже потеплели. Глаза солдат загораются внутренним блеском. рты сжимаются волевыми движениями, и, прыгая со стола, я радостно упиваюсь желанными, восторженными, стихийно взрывающимися кликами и залпами нежно горящих приветливых глаз.

— Поскорее! Поскорее! — увлекаю я теперь Линде в коридор.

Оглядываясь, вижу, как к столу, задумчиво улыбаясь, понуро спешит усталый Чхеидзе. А в коридоре навстречу нам шумно движется плотная гурьба выползших откуда-то солдат. По походным заплечным сумкам и фляжкам и по жухлым от окопной грязи папахам сразу можно

признать в них фронтовиков. Среди них и кое-кто из наших солдат-большевиков из Исполнительного комитета: ласково-задумчивый Садовский, верткий, остроносенький бритый Падерин и высокий плечистый Борисов.

— Интересное, брат ты мой, совещание у нас сейчас было, — бросает он мне. — Зря ты не приходил. Восемьдесят семь человек присутствовало. Все, брат, делегаты от разных армий с фронтов и кое-кто от провинциальных советов.

— Колошмачка легонькая вышла, — смеется Садовский, — с Дмитрюковым это; черносотенец, октябрист, член Государственной думы, а тоже свою лавочку защищать вздумал.

— А что бы ты хотел? — ухмыляется на него Падерин. — А все-таки резолюцию нашу приняли. Вот смотри-ка! — читает он мне с листочка карандашную запись: «Данное фронтовое собрание приветствует только Совет рабочих и солдатских депутатов, — заметь себе, — в его политической деятельности, направленной к обеспечению за демократическими слоями России результата победы над царизмом».

— «И к поддержке Временного правительства»... — вставляет строго Садовский.

— Ну, что ж! — поднимает на него глаза Падерин и затем продолжает: — зато совещание фронтовиков в дополнение к этому определенно постановило, что «Временное правительство должно объявить всем народам, что, не стремясь ни к каким завоеваниям и порабощениям чужих народов, Россия будет вести войну только лишь для обороны, пока Германия и Австрия не объявят, что и они согласны на мир тоже безо всяких там завоеваний и контрибуций.

— И мы этого потребуем!.. — с грозной решимостью хрипит Садовский.

— И Милюков это вам объявит? Жди! — едко подкалывает его Линде. — Волка не заставишь пасти овец, а и заставишь, так он наблудит.

— Что же ты хочешь? — озадачирается Падерин. — Долой?

— Долой! — усмехается Линде злобно.

— Все мы согласны, что долой, но как долой?

— А мало штыков? — прищуривается Линде.

— Анархистская авантюра! — изрекает Садовский.

— Бланкизм, — сверкнув очками, кивает Падерин, — и глупое мальчишество! Вот здесь сейчас, — кивнул он на бредущую за нами гурьбу фронтовиков, — мы слышали фактический голос всей армии, и как мы ни бились, как ни спорили с ним, а он еще раз подтвердил, что фронт за поддержку Временного правительства, понимаешь ли ты, за поддержку! А ты что предлагаешь? Нет, брат, — кивает задорно Падерин, — пока широкая масса сама вплотную не подойдет к осознанию нелепости своего доверья, до тех пор все мечты о переменах бесполезны...

Но по острому лицу Линде бегает упрямая непокорливая усмешка.

Теперь я на одну минутку заглядываю в сорок вторую комнату и прохожу через нее в кабинет. Синани куда-то вышел. Вместо него за столом восседает Любарский. Принимая небрежный скучающий вид, справляюсь: нет ли мне каких-нибудь бумаг из военного министерства? Остроглазый прапорщик с хищным ртом и черными резкими усиками стоит у стола против Любарского.

— Это не по поводу ли графини Игнатьевой? — зло улыбается он.

— Причем тут Игнатьева? — небрежно пожимаю я плечами и смотрю на него.

— Как же, — язвительно бросает прапорщик, обращаясь к Синани, — ваш поручик у нее отличился. Разгро-

мил ей весь особняк, панцырные двери распаивал. Ну, а все-таки, сознайтесь, верно мы вам указали, какие у нее там богатства?..

Я пристально вглядываюсь в прапорщика. Ну, так и есть, конечно, это тот самый, что в компании с фронтовым капитаном и пьяным поручиком сам пытался сделать у Игнатьевой обыск.

— Нет, — отвечает мне Любарский, — никаких бумаг для вас нет и не было. Вы это наверное все еще ждете насчет Петропавловки? — участливо осведомляется он. — Да, что-то долго тянут они... — но в глазах его чуть-чуть просвечивает какая-то внутренняя радость. — Должно быть, так и не придется вам, поручик, владеть Петропавловской крепостью... — и он полусочувственно, полунасмешливо качает головой.

— Ах, вот куда вы нацелились? — развязно влезает в разговор тот же прапорщик, но так как я ничего ему не отвечаю, а ему смертельно хочется мне досадить, то он небрежно сует руку в карман, достает портсигар и, тренькая шпорой, напевает: — «Мальбрук в поход поехал, была же с ним мигрень!..»

Я молча стискиваю зубы, отхожу к дивану и, достав из-под него свой чемодан, ищу носовой платок.

— Слыхали? — поворачивается прапорщик к Любарскому, видя, что я не обращаю на его колкости никакого внимания. — Керенский разводится с своей женой. Артисточка тут есть одна. Так, ничего себе, смазливенький бабец. Тиме. Говорят, что он теперь будто бы с ней...

— Я давно это знаю, — небрежно цедит Любарский, закуривая папиросу, — подумаешь, какая новость!.. Я ведь часто бываю у Александра Федоровича. Надо будет както-нибудь на-днях еще разок забежать. Да все, знаете ли, некогда, Алеев. Много пишу, сейчас срочно пишу политические брошюры. Одна уже вышла и быстро расходится.

Это «Правда о приказе номер первый». А теперь написал новую: «Какого мира хочет трудовой народ», и вторую дописываю: «Кому должен верить трудовой народ».

— Кому же он должен верить? — цинично ухмыляется Алеев.

— Демократии! — не заметив усмешки, отвечает Любарский с чванным самодовольством. — Только демократии, конечно, Алеев. Я так и перечислил; всем социалистическим партиям: народным социалистам, социалистам-революционерам и социал-демократам обоих фракций.

— Всем сестрам по серьгам! — насмехается прапорщик Алеев.

— Послушайте! — грозно-встревоженный влетает Синани и подскакивает к Любарсьому.— Наш Тарасов опять отлил пулю...

Должно быть, Любарский мигнул ему глазами в мою сторону, потому что тот мигом смолк, резко обернулся ко мне и, пронизывая меня ненавистью, прошипел:

— Ах, вы здесь?!. Это кстати... Жаль, что раньше я этого не знал и подумал, что вы вообще сбежали сейчас из дворца... А то бы я сейчас же привел для очной ставки с вами только что вызывавших меня офицеров Волынского полка Оказывается это вы отличаетесь?.. Да и кому же другому быть?.. И приметы описаны точно: молодой подпоручик с черными усиками, па погонах серебряные пулеметы, рукава шинели обшиты малиновой тесьмой. Так вот какую демагогию разводить вы изволите?!.

— Позвольте, — беспокойно вздрагиваю я, — какую демагогию?..

— А кто это выступал сейчас в Екатерининском зале перед волынцами и призывал их не доверять офицерам?..

Я молчу.

— Работать одновременно здесь в офицерском союзе республиканцев, состоять вдобавок, как кажется, в Испол-

нительном комитете офицерских депутатов и одновременно науськивать солдат на офицеров? Предательство! — презрительно, взглянув на меня, передергивается Любарский.

— Ах, так вы большевик?! — с злорадным любопытством вонзается в меня глазами Алеев. — Вот оно что! Так бы вы тогда и сказали. А впрочем, как это я сам тогда не догадался... Видать сокола по полету, а добра молодца по соплям...

— Проходимец! — гневно бросаю я ему, закипая бешеной злобой.

— Оставьте, Алеев! — обрывает его резко Синани. — Это вас не касается. Это вопрос нашего внутреннего распорядка. И мы обсудим все это, — глядит теперь Синани на Любарского, — на ближайшем же заседании нашего президиума. Мы это не спустим. А пока что я сейчас же решительно попрошу вас, Тарасов, прекратить отныне все ваши ночевки в этой комнате. Здесь канцелярия, а не квартира.

— Боитесь за бумаги? — презрительно усмехаюсь я.

— Нет, не за бумаги, а за те доверчивые фронтовые делегации, которых вы ловите здесь по утрам и посылаете к своим во дворец Кшесинской. Вы думаете, мы этого тоже не знаем?..

— Ого... — язвительно покачивает головою Любарский.

— Ах, так вы, поручик, ночуете здесь? — порывисто приосанивается Алеев. — Этого ни в коем случае нельзя допустить. Я, как адъютант коменданта Таврического дворца, категорически это вам запрещаю. Здесь у нас не общежитие и не постоялый. Ищите себе квартиру на стороне. Здесь спать вы больше не будете...

С бессильной досадой я выхожу в коридор. Навстречу несется и хватает меня за руки круглый, упругий, очкастый Богданов.

— Родионов, вы нам срочно нужны. Берите живей опять ваших преображенцев и как можно скорее мчитесь на Миллионную улицу, двадцать семь. Там дворец Марии Павловны. По телефону только что звонили сюда нам, что там будто бы обнаружен огромный гараж в полсотни автомобилей, и солдаты сейчас растаскивают его. Дворец брошен на произвол судьбы. Княгиня где-то на Кавказе, Кирилл, ее сын, живет отдельно. Жаль будет, если все это добро пропадет.

Нас живо окружает, жадно прислушиваясь, толпа офицеров. И прапорщик Алеев, подлетев торопливо, успевает словить конец разговора.

— Товарищ Богданов, может быть, вы мне поручите это дело? — протискивается он вперед. — Поручик и так уже один обыск у меня тогда перебил у Игнатьевой. А к тому же... — и Алеев бесцеремонно тянет Богданова за локоть и внятно шепчет ему: — ведь он же большевик!

— Пустяки! — досадливо машет рукою Богданов.— Спешите, поручик! Надеюсь, что все будет сделано так же толково и исправно. А вечером мне сообщите. Я здесь буду все время.

* * *

Падерин охотно дал мне записочку к себе на Миллионную в полковой комитет преображенцев. Но там уже знали меня и без записки. Я у них тогда брал и сменял солдат для караулов в особняке графини Игнатьевой. И теперь мне сейчас же отрядили целый взвод, благо итти отсюда было недалеко. Великокняжеский дворец был обыкновенным городским большим многоэтажным домом, выходящим и на набережную Невы и на Миллионную улицу. Отсюда шел подъезд в его темный двор, посередине которого стоял каменный сарай дворцового гаража. Все было спокойно, когда мы пришли. В глубине полутемного гаража у одной из машин

возились шоферы. Старший дворник, упитанный и серьезный, со злобной тревогой глядел на них и нетерпеливо звякал ключами. Сухой и гладкий, как бычачий пузырь, остроносый старик в добротном пальто с потертым бархатным воротником, должно быть смотритель дворцовых княжеских зданий, тревожно наблюдал за работой монтеров из-за спины дворника и злобно жевал безжизненными серыми губами.

— А вам что?.. — с ужасом оглянулся он на моих подошедших солдат. Но тут же, заметив мои офицерские погоны, он сразу же просветлел. — Вы не из Думы? — обрадовался он.

— Да. Я из Таврического дворца, от Совета. У вас здесь грабеж?..

— Да, вот видите ли.

И, забрав у дворника ключи, он укоризненно мотнул головою в сторону возившихся шоферов. Те быстро и смущенно поднялись, бросив свои инструменты, и подошли вперевалку, отирая о полы кожанок грязные руки. Сбиваясь и путаясь, они объяснили, что они с Гутуева острова, с какого-то продовольственного склада военного ведомства, что разъезды у них большие, казенных машин нехватка, а княжеские жулики сквалыги, у них полсотни шикарных рено и паккаров, да только магнета они все позапрятали.

— Ну, да ладно, мы свое одно принесли. Хотим наладить одну машиночку спробовать... Без разрешения? Как без разрешения? Мы своего солдатского комитету спросили Только бумажки с печатью, это верно, не успели захватить. Комитетский председатель был в город уехамши, а печать при ем.

Я без труда заставил их тотчас же убраться и велел смотрителю запереть ворота гаража. Для охраны одним часовым я оставил в караул только четырех солдат, а остальных отправил обратно в полк. Смотритель, заискивающе

пятясь и то-и-дело раскланиваясь, отвел для помещения караула отдельную комнатку в дворницкой.

— Но у вас, как нам сообщили, здесь был грабеж? — спросил я его, когда солдаты мои уже разместились, и часовой был поставлен у ворот гаража.

— Никак нет. Все здесь в сохранности. Все заперто! — звякнул смотритель связкой ключей. — И все запечатано печатями ее императорского высочества. Ее императорское высочество сейчас изволит отдыхать на Минеральных Водах. А управляющий делами ее императорского высочества генерал... — и он назвал немецкую фамилию какого-то барона... — он здесь напротив живет. Может быть, вам будет угодно к нему?

— Нет, зачем же, — равнодушно пожал я плечами. — Раз у вас все в сохранности, пускай так и остается. А вот еще что... — и мгновенно мелькнула веселая мысль. — Мне, как наблюдающему за караулом, необходимо здесь же помещаться. Не найдется ли у вас небольшой, совсем крохотной какой-нибудь комнатушки?

— Ну, как же не найтись для вас, господин офицер! С превеликим удовольствием. Может быть, вам угодно взглянуть?

И он повел меня через двор мимо гаража под другой полутемный подъезд, где через крыльцо направо мы прошли в светлую уютную комнату с большой деревянной кроватью, застланной чистым дворцовым бельем. Отдельный ход, ванная и даже плита в проходной комнате не позволяли мне мечтать о чем-либо более лучшем. Я был восхищен.

— Но она, должно быть, кем-то занята?

— О, не извольте беспокоиться! — почтительно согнулся смотритель, и так же угодливо в такт ему моргнули глазами густо набравшиеся вслед за нами, пока мы сюда шли, дворцовые служители с лакейскими бритыми лицами.

Добротные плотные военные шинели на них были пошиты из сизого офицерского казенного сукна с такими же петлицами, как и у нас в офицерской стрелковой школе, — малиновое поле и черный кант.

— Не беспокойтесь! — умиленно поднял птичью головку смотритель. — Это аппартамент дежурной фрейлины. Но фрейлины живут теперь все вместе. Так что комната совершенно свободна.

Я поблагодарил и обрадованно принял ключ.

Через какие-нибудь два часа я уже успел вернуться обратно сюда из Таврического, где сообщил обо всем Богданову и получил от него поручение привести весь гараж в служебный порядок. Из Таврического же я захватил с собою сюда и все свои пожитки: чемодан и постельные принадлежности. Прихватил за одно и четыре бутылки виноградного вина из заветного шкапа радио-станции. Надо же при случае справить новоселье. Раскладывая теперь здесь по чистеньким полочкам шкапов свое белье и вещи, я вспомнил внезапно, что давно уже ничего не писал жене, если не считать телеграмму от 1 марта, в которой сообщал, что здоров, и поздравлял ее с республикой. Почему в самом деле и не приехать бы ей сюда вот с ребятишками? Живут же другие... Живо достал я лист почтовой бумаги. Был он еще от сорок второй комнаты, с заголовком «Таврический дворец», что выходило очень торжественно. Вот, подумал я весело, заклеивая конверт, приедет она сюда, а там, смотришь, получу Петропавловку, станет она комендантшей. И я вспомнил о шикарной комендантской квартире. Жаль, — вздохнул я, — что обстановки нет, голо будет, ну, да и Москва не враз строилась.

Ключи от гаража я потребовал у смотрителя себе. Он потоптался, но отдал. Я отпер гараж в его присутствии. Обошел поблескивающие кубовым глянцем в холодном сумраке сарая вереницы лимузинов и потребовал указать,

где спрятаны снятые с машин части магнето. Смотритель поежился, но указал.

— А зачем вам все это? — робко скрипнул он.

— Как зачем? Гараж не будет стоять, машины будут работать.

— Работать? Но ведь их же испортят, ведь это хамье, солдатня, а машины-то вежливенькие, французские, по специальному заказу «Рено».

— Так что вы думаете, что на них умеют ездить только княгини? — улыбнулся я.

— Ну, зачем же, — поежился смотритель, — пусть ездят и теперешние господа, если чинно и аккуратно, то отчего же. А вот если испортят и изгадят, что тогда скажет ее императорское высочество. Вы поговорили бы, право, господин офицер, с генералом, нашим бароном, ее управляющим.

— Не о чем мне с ним разговаривать.

— Как же вы без шоферов? Или своих пригоните? — затревожился смотритель.

— Без шоферов ездить не будем.

— Может быть, вы наших возьмете? — взмолился смотритель. — У нас они есть; кое-кто, правда, сейчас в отпуску, да ведь и вы наверное не все же машины будете сразу пускать. Вы посмотрите, какие сейчас в столице мостовые. Полный развал, кругом полный развал. Перековеркать машины можно в неделю, можно в день. Разве не в ваших интересах, чтобы гараж работал и на славу и подольше? Ну, ограничьтесь пятью машинами в день. Пятеро шоферов у нас налицо здесь имеется.

Лукавый старикашка действительно тут же вывел мне пятерых, растолстевших на княжеских хлебах, квартирующих здесь же, шоферов. Гараж налаживался. Но шоферам княгини нельзя было доверять. Надо было когонибудь и своих, и я решил достать их в Таврическом через

Садовского. Но у Садовского в наличности в данный момент их не оказалось. Все были заняты.

— Ты спроси-ка в военке,—сказал он,—наверно там есть.

* * *

Лед на Неве побурел и кое-где треснул голубыми блестящими изломами. Сквер перед дворцом Кшесинской посерел после растаявшего снега. Под раскидистыми шатрами серых, тоскующих без листьев, деревьев желтела по земле сохлая хвоя лиственниц и буро коробилась прошлогодняя кленовая листва. Калитка во двор, как обычно, была настежь, и так же, как и раньше, гудел здесь тумашливый людской муравейник. Приходили солдаты за пачками «Правды» для своих частей. Торопливо пробивались они потом на верхний этаж, в канцелярию нашей военки. Рабочие носились с заговорщицким видом, либо ловя друг дружку на-лету, либо ныряя в плотно закрывающиеся двери уже занятых разными секретариатами комнат. На грязных мраморных ступенях лестницы, должно быть, дожидаясь кого-то, сидела кучка рабочих.

— Ты читал, брат, что сегодня наши-то пишут? — возмущался один из них с носом, запачканным какою-то ржавчиной. — На-ко, вот чти!—ткнул он в «Правду» грязным, закорузлым пальцем с придавленным и расплющенным ногтем. — Тут, брат, целое воззвание: «на фабриках и заводах Петрограда», видишь ли ты, «замечаются ненормальные явления; забастовки нет, а процесс производства де-зор-га-ни-зует-ся, работа не идет, не клеится, иногда даже неизвестно почему»... И что же выходит? — гневно хлопнул он по газете и обнажил свои желтые зубы. — Стало быть, наш брат виноват?!. «Организуйтесь, организуйтесь, только организованными выступлениями...» Вот балды-то!— хлопнул он газетой по ступеньке. — Ей-бо пра, балды, кто это писал.

— Это кто же балды-то? — лениво отозвался его сотоварищ, аппетитно обгладывавший с острых костей жирное пахучее мясо селедки. — Это кто же балды-то?

— Кто? — злобно разинул рот редкозубый. — Известно кто. Наверно, чай, кто-нибудь из Пека. Нет, братцы, мы этого так не оставим, мы сегодня же у себя на Айвазе собрание сберем и досконально все это объясним в своей резолюции. Мы им нос-то утрем. «Работы не идут». А как же им итти, ежели у хозяев ни материалов нет, ни топлива. Нефть вся вышла. Уголь не везут. Железного лома недостатки. На чем же мы будем работать? А тут, почитай, каждый день, что ни час, на наш завод одна за другой делегации прутся все от здешних полков: «Скажите, — говорят, — товарищи, почему вы сейчас не работаете, и как же это так не работаете, а мы за вас круглый день кровь проливаем, а вам только восемь часов подай, да и то вы лодырите». Тычут нам, понимаешь ли ты, «Биржевку» эту буржуйскую, что мы, дескать, будто бы теперь триста процентов придбавки требуем. «Триста процентов»! Да если бы хоть тридцать дали, так и то была бы лафа. Ты сочти-ка, сахар-то почем стал? Ты вот селедку брал?

— Брал, — ухмыльнулся собеседник, бережно положив обглоданный костяк под ступеньку и обсасывая жирные пальцы.

— А почем ты ее сегодня брал? На сколько процентов она сейчас вздорожала, вот они что сочли бы. Тут, брат, все триста процентов будут. Так нет, это они не считают. А хлеб? Разве рабочий человек с полутора фунта в сутки сыт будет? А почем теперь хлеб на рынке, ты тоже сочти. Этого они в расчет не принимают, буржуйские морды. Отъелись на нашей спине за войну!

— Ну, а как же у вас с депутациями-то? — перебил его третий, с молодыми густо синими глазами и в кожаной черной фуражке.

— Да что же, конечно, солдаты походят, посмотрят, покрутят головой, расскажешь им все наше житье-бытье, конечно, они соглашаются.

— А у нас на Путиловском, — гудит четвертый рабочий с верхней ступеньки, — к нам тоже намедни пришли какие-то агитаторы. Мы, говорят, от «Народной свободы», но по платью видать господа. «Вы,— говорят,— братцы, тут страдаете, разруха у вас, дороговизна, материалов для снарядного производства нехватает, а здешние солдаты,— говорят,— ваш фронт предают, занятий никаких не ведут, у вас же, рабочих, хлеб в очередях перебивают, на фронт уезжать не хотят. Через это,— говорят,— и немцы на Стоходе поражение нам причинили, а теперь сюда на Питер к вам подбираются».

— Ишь ты, хитрые гадины! — возмущается съевший селедку рабочий. — Тонкую, брат, механику они промеж нас развели. Солдат на нас натачивают, а нас, выходит, на солдат.

— Не беспокойся,— гудит сверху путиловец.— Мы их разом раскусили. Катись, сказали, с завода, а то на тачку и вывезем!

— Черт его знает, скоро ли кончит заседать этот Пека? — раздраженно метнулся редкозубый.

— Я так понимаю, товарищи, — оглянулся на всех голубоглазый юнец,—сейчас мы у себя пока Красную гвардию завели, а к тому идет, что придется нам, должно быть, и всю заводскую механику в свои руки брать. Не расчет хозяевам при новых порядках работать. К жирным барышам здорово попривыкли, будут жать нас измором и доведут к тому, что их самих мы поскидаем.

— Как же это с заводами-то тогда? — сердито загудел путиловец.

— А сами-то, что же, не управимся что ли? — задорно сверкнул огнем синих глаз молодой.

— Управишься, как же! Ни сырья тебе нет, ни угля. Больно ты прыткий! Нет, не хозяев надо спихивать, а правительство,— снова вставил съевший селедку.— Весь, брат, корень в правительстве. Это бы по-боку, а поставить свое новое, от Совета.

— Как же ты его поставишь? — опять раздраженно вскинулся редкозубый. — Как же ты его поставишь, ежели наш Совет сам не хочет его менять. Доверие, говорит, и никаких.

— А кто же виноват, что вы в Совет таких навыбирали?— гудел путиловец. — От нас вот как-никак почти все большевики. Как придут из Совета, только руками разводят: «Ничего, — говорят, — поделать не можем. От других заводов меньшевики поналезли, одолевают».

— Так разве это от нас? — сердито огрызнулся редкозубый. — От нашего Айваза тоже одни большевики прошли. Это, братцы, выходит, не мы виноваты; от нас, крупных заводов, в Совете народ деловой подобрался. А вот от этой братцы, мелкоты, — мигнул он, глядя куда-то в окно, — от мелких заводишков да от ремесленных мастерских. Эти разную шушеру повыбирали, и поналезло ее в наш Совет вдесятеро больше, чем депутатов от нас, от крупных заводов. А нас-то, потомственных пролетариев, у станков-то, может быть, вдесятеро больше народу работает, супротив всех их мелкой шушеры. Что ты тут делать будешь?

— А что тут делать будешь, — откликнулся синеглазый. — Требовать надо через Совет уничтожить этакую несправедливость. Чай, мы не гвоздевцы, за войну-то глаза пооткрылись, слава-те господи.

— Как же, похерят они сами себя, рассчитывай!..

В военке грудилась толпа солдат. Многие были уже мне знакомы по первому нашему организационному заседанию. Подвойского не было. Выходила «Советская правда», дела с нею было по горло, и он попрежнему летал, хватаясь за все.

— Неугомонный, — посмеивался про него Мехоношин. — Он и литератор, и корреспондент, и секретарь редакции, и главный редактор, и корректор, и метранпаж и выпускающий. «И швец, и жнец и в дуду игрец». Чем же я виноват, что его никогда здесь не застанешь? — незлобиво усмехался всем Мехоношин.

Он теперь оставался здесь один за начальство. Писарьская его лысинка, чуть-чуть пробивающаяся через аккуратно зачесанные на-бок русые волоски, задорно светилась, и весь он маленький и кургузый, как надувной резиновый чортик, глубокомысленно старался таращить свои слегка выпученные голубые глазки. Однако розовая пуговка его носика, пришитая к холеным, как зубная щеточка, усикам, не внушала окружающим солдатам достаточного политического к себе уважения.

— Ба, и вы здесь, поручик? — окрикнул меня кто-то сзади.

И я узнал остренькую с крохотными глазками безусую мордочку того прапорщика, который тогда, в памятное утро ораниенбаумского похода, вертелся впереди так же, как и я, на коне, и которого все называли Семашкой.

Так вот он какой, теперешний командир первого пулеметного полка, о котором мне так восторженно рассказывал на-днях Ильинский! И я тут же вспомнил о прогнанном мною из Технологического полковнике Жерве. Тоже, очевидно, дожидаясь Подвойского, Семашко беседовал с другим таким же юным прапорщиком Сахаровым, белокурым и с розовыми глазками, которого я уже однажды тоже встречал в Союзе офицеров-республиканцев.

— Мне Ильинский говорил про вас, — с какою-то едва уловимой куражливостью покачивался Семашко. — Вы в ораниенбаумских командах? Ну, как у вас идет там большевизация? Я слыхал, что вы уходите в Ораниенбаум обратно? А вот мой полк наотрез отказался. Да, мы оста-

немся здесь твердо на-страже. И пулеметы, брат, чистим каждый день, — лихо подмигнул он Сахарову. — События растут, кто знает, быть может, даже завтра придется на улицу.

— У меня хуже, — поздоровавшись со мной, задумчиво обронил Сахаров. — Отчаянная травля пошла сейчас в полку в связи с неудачей на Стоходе. Вчера был митинг всего полка. Вылез кто-то из оборонцев и начал, что вот, дескать, большевики разлагают фронт, играют на руку немцам... Червищенский плацдарм захвачен немцами из-за того, будто бы, что, дескать, большевики устраивали на этом участке братания. Зло меня взяло. Выступил я и давай их. «И хорошо,— говорю,— сделали немцы, что взяли плацдарм. Вперед наука. Не будем лезть воевать за Дарданеллы да за Галицию с Арменией. Про землю-то, — говорю, — до сих ничего не слыхать. А на заводах хозяйский саботаж пошел. А вот, как трахнут немцы еще раз по фронту, да как все посыпется вдребезги, тогда и все эти толстопузые министры к дьяволу полетят. Только этаким путем установим настоящую народную власть и войну кончим».

— Ну, и что же? — сочувственно смеется Семашко.

— Вот послушал бы ты, какой рев тут пошел. «Долой! Провокатор! Немецкий агент!» Ну, это, разумеется, офицеры наши начали. Солдаты-то меня хорошо знают. И все же настроение почему-то создалось поганое. Воспользовались эти мерзавцы моментом и подсунули резолюцию о поддержке Временного правительства. Провели, чэрт бы их побрал! Подавляющим большинством провели.

— Слабо работаешь, — изрекает Семашко покровительственно. — У меня, брат, в полку ребята стали на «ять». Жилин мой и другие каждый день вместо занятий — митинги по батальонам, а раз в неделю и полковой.

— Что ж, ваш полк стоит теперь за поражение? — несмело ввязался я в разговор.

— Так прямо не ставилось, — спесиво ответил Семашко, и голос его почему-то показался мне вдруг визгливым и дребезжащим. — А почему вы так спрашиваете? — надменно покачиваясь, вонзился в меня он острыми глазками. — Не за победу ли будете?

— Нет, не за победу, но и не за пораженье.

— Ну, конечно, — прищурился тогда Сахаров, — по Троцкому! Да вам и по чину надлежит быть оборонцем. Две звездочки! За Каменевым, голубчики, шагаете? Шагайте! Авось в Берлин придете. Давненько в Таврическом я у вас не бывал. Вот, наверное, у вас теперь там в республиканском офицерском союзе «совет да любовь».

— Ошибаешься, друг, — обиделся я, — живем мы там, как кошки с собакой. А что касается моих взглядов, то в чем практически у меня с вами разница? Против Временного правительства мы одинаково. Пойдете вы свергать, и я не отстану. Но разве можно из-за этого желать разгрома и гибели своих братьев на фронте?

— А как же при Николае мы этого желали? — насмешливо уставился на меня Сахаров.

— При Николае? — задумался я вслух. — Да, желали... — замялся я смущенно.

— Нет, скажите, вы-то желали? — насел он на меня.

— Да как бы вам сказать?.. Я не думал тогда об этом, — соврал я.

— Ну, тогда о чем же с вами говорить? — насмешливо кивнул Сахаров. — Какой вы большевик? Вы типичнейший оборонец! Ну, троцкист, в лучшем случае межрайонец. «Чорт с ней, с классовой кабалой. лишь бы хозяева остались целы. Нельзя же, Рассея!» Разве это большевизм?

— Не стращайте, — ощетинился я, — сам Ленин писал о национальной гордости великороссов. Мне Бокий показывал последний номер «Социал-демократа». Одно другому не мешает.

— Не мешает? — перекосился язвительно Сахаров. — А вот мы посмотрим, как блистательно сядете вы в лужу при первых же ваших практических применениях всей этой оборонческой вашей мешанины. Эх, каменевцы, разнесчастные каменевцы! — язвительно покачал он головой. — Ну, еще бы! Милюковские цели войны, ведь, так далеко для вас ушли от николаевских!..

Но в это время в двери ввалилась новая шумная ватага. Высокий юноша-еврей, с пушком на верхней губе, насмешливо вышагивал вперед, как цапля. Остальные кричали шутливо ему:

— Доктор! Доктор! Куда вы?

— Это вы только здесь ходов-выходов не знаете, — с дурашливой серьезностью кивал он назад.

За ним вошли трое матросов, молодых, красивых, румяных и плотных. И повеяло от них морским загаром и свежими солеными ветрами. Среди них суетливо вбежал невысокий широкоплечий, не то учитель, не то рабочий, в пенснэ и в широкополой помятой поярковой шляпе. А сзади всех скромно втиснулся бочком Раскольников, тот высокий молоденький мичман, аккуратно одетый и с пухлым розовым личиком, которого я уже видел однажды здесь же, в военке. Он приветливо протянул мне руку, и тогда рабочий в пенснэ присталъно взглянул на меня.

— Знакомьтесь, — застенчиво кивнул ему мичман на меня, — это наш ораниенбаумец, сосед по заливу. А это наш кронштадтский заводила Кирилл.

— Ну, что же, будем знакомы! — пропищал рабочий в пенснэ, и морщинистые лучики от сощуренных глаз приветливо разбежались у него по лицу.

— Ораниенбаумец? — с той же шутливой тревогой круто повернулся первый юноша. — Ораниенбаумцев, брат, мы будем скоро бить. Не правда ли, братва? — развернул он плечами к матросам, и те так же шутливо заулыбались.

— Это тебе только, Рошаль, все бить бы да бить, — засмеялся Кирилл.

— А ты как думал? — воинственно всхорохорился тот, и задорная слюнка запенилась на его пухлой губе. — А ты думал, что они будут милюковские да гучковские резолюции у себя в Ораниенбауме выносить, а мы будем в Кронштадте молчать. Ведь и так они наших ребят сейчас задирают. Поодиночке матросам через Ораниенбаум хоть не ходи. Вот мы им и прочистим мозги.

— У них, брат, там пулеметы! — засмеялся Раскольников шутливо, мигнув мне.

— А у нас артиллерия! — грохнул также шутливо один из матросов.

— Шутки в сторону здесь, ребятишки, — отмахнулся рукой Кирилл. — Говори, где Подвойский? — набросился он на Мехоношина.

С той же куражливой ленцой письмоводитель военки снисходительно стал объяснять, что Подвойский все еще летает по делам «Солдатской правды» и военку почти запустил.

— Это и видать, что запустил! — налетел на него Рошаль. — Иначе не было бы такого поганого воззвания к матросам Кронштадта, которое вы сегодня в «Правде» настряпали. Что это такое? — выхватил он газету из кармана пальто. — «Не доверяйтесь, дескать, провокаторской агитации. «Правда» никогда не предлагала вам побросать оружие, заклепать пушки, испортить поставленные мины». Разве так можно писать!? Ведь благодаря таким словам Ярчук и посейчас еще наверное на Якорной площади распинается, что «вот, смотрите, дескать, ваши большевики уже за победу. А раз за победу, значит, и за Временное правительство, за офицеров. К чорту, товарищи, всех социалистов! Да здравствует, братва, анархизм! Только под черным знаменем мы...» И пошло и поехало.

— Ну, и что же матросы?

— Конечно, ревут за него,—сплюнул сердито Рошаль.— Но кто же, мы спросим теперь, все дело нам портит?!.

Подвойского так никто и не дождался. Но шофера я нашел и без него, и даже двух шоферов. Обоих из броневой команды, разместившейся здесь же, во дворце. Они согласились притти ко мне на Миллионную и помочь мне наладить гаражное дело. Рошаль же оказался милым забулдыгой. Он тоже потянулся за мной.

— Все равно до-завтрева здесь оставаться, — так же шутливо махнул он рукой. — Федя Раскольников пойдет бай-бай к мамаше, Кирилл в районе заночует, братва по марухам, ну, а мне-то куда же? Пойду за поручиком, выведаю у него все его пулеметные хитрости. Вот тогда-то мы по ораниенбаумцам и ахнем! — и он лукаво мигнул расхохотавшейся своей компании.

Я был рад гостю. Дорогой купили мы колбасы и еще какой-то снеди. Дома тарелки были дворцовые с вензелями Владимира. Я аккуратно разложил на эти тарелочки снедь и поставил перед Рошалем.

— Цирлих-манирлих! — хлопнул он себя по коленке. — А ты бы, поручик, еще б и при белых перчатках, тогда совсем было бы «комиль-фо». А впрочем, — увидел он раскупориваемую мною бутылку, — вот это, брат, не вредно. Давно этой дряни не отведывал. Где это ты? Здесь добываешь? — мигнул он на стены.

— Нет, это так по случаю, на стороне, — ответил я смущенно.

За бутылкой мы по-душам разговорились, и Рошаль быстро бросил чудачества.

— Да, братишка! — торжественно начал он и задумчиво прищурился на недопитый стакан, который стал вертеть перед собой, перехватывая его длинными пальцами с грязными ногтями, и стакан становился от этого еще более захватанным и мутным. — Да, братишка, Кронштадт — это

махина. Десятки тысяч матросов, публика боевая, сознательная, крепкая. Минеры, подводчики, по прошлому все они с фабрик. Это, брат, всё овоененные пролетарии. Но есть, брат, и такие, знаешь ли, лаптешлепы, бушлаты,—те только об шамовке да об очке. Для них кок, корабельный повар — высший морской идеал. Вот с теми трудно. Конечно, они тоже искренние ребята, да уж больно неугомонная и безудержная братва. Это они, брат, так поквасили у нас все в Кронштадте, когда разошлись. Конечно, офицеров некоторых зря поубивали, а других зря повыпустили. У этой братвы все дело минуты, все дело порыва. Недаром у них вождь—это Ярчук. Анархизм! Но мы, брат, уживаемся с ними. Как ни бессистемны и ни бесшабашны они, но зато заодно с нами против всех этих буржуазных лизоблюдов, против всех этих министерских эсеров и церетелевской своры. Нет, брат, эта братва всегда будет с нами до конца.

— До конца?—задумываюсь я вслух.—До какого конца?

— До полнейшей победы рабочего класса! — ухмыляется Рошаль и, наливая дополна свой стакан, залпом его выпивает.— Ты думаешь, что вот, дескать, сидит передо мною какой-то еврейский интеллигентик и куражится про победу рабочего класса. Нет, врешь, брат! Слушай, как тебя звать?.. Сашкой?.. Ну, брат, чорт с тобой, пусть будет Сашка! Только ты врешь, брат. Каждый из нас теперь с рабочей братвой так крепко спаян, что не оторвешь нас, а и отрывать себя будешь, так только сломаешь зря себя и бросишь.

И он смачно сплюнул на пол.

— Конечно, кто я? Интеллигент и мальчишка. Читал ты, был когда-то процесс учеников средней школы витмеровцев?.. Так вот я один из них. Нас тогда всех исключили, потом либералы помогли нам встать на ноги. Я, не думай, я всю их школу прошел, все их эти громкие литературно-трескучие фразы, от которых в мозгах остается пьяный

шип, а на деле ничего кроме кисловатой размазни не получается. Вот, когда я все это раскусил, окунулся тогда я в книги поглубже, да в Энгельса, а через Энгельса вот и сюда. И не подумай, брат, — с любованием налил себе он снова вина и, бережно пригубив стакан. стал смаковать.— Я не каюсь, что хватил всей этой культуры. Культурка рабочим нужна. Если жалеть, так о том лишь, что мало хватил я этой культурки. Ты думаешь, она в этих тарелочках твоих с вензелями, в манжетках твоих вот. Ну, на кой они тебе дьявол, выкинь ты их! Эх, и тогда, брат, Кронштадт да Ораниенбаум!.. Давай, дьявол, выпьем за боевой союз мятежного флота с революционною армией!

Постель была широка, и мы улеглись вдвоем. Легко покачивало, и кисловато-душистый аромат сотерна пер из нутра. Но, стараясь держаться на ногах, бодро и твердо вышел я развалочкой на двор. Луна, томительно-светлая, задумчиво млела в небе и приветливо манила к себе. Будто бы знала она радостно про что-то, что скрывается там за спиной ее, в этой густосиней прозрачной тиши. Томительно-ласково улыбалась она и звала. А здесь, на земле, было жестко и мрачно, бульжники под ногами, тумбы, грязь. Тоскливо освещен луной каменный гараж с комком какой-то тени у запертых его ворот. «Где же часовой? — подумал я. — Надо проверить. Служба прежде всего! Неужели часовой уснул?» Ну, так и есть. Скрючился, уселся прямо на землю к стенке, винтовка лежит под обмякшим телом, голова откинута назад. Уж не убит ли? Низко нагнулся, сдерживая свое дыхание, чтобы разбудить солдата, не выдав ему свой запах сотерна. Но крепкий и сладкий густой аромат дышит на меня из солдатских блаженно распавшихся губ. Не может быть? Нет, не ошибся: это запах мадеры. Тяну солдата за плечо. Он всхрапывает, отбрасывает голову вперед и блаженно открывает глаза. Ничего, должно быть. не понимает сначала, потом пытается встать, но не удачно. Расслабленно

стонет, бормочет и, бессильно упавши ничком, блаженно хрипит: «Опосля!» Фу ты, дьявол! Какая неловкость. Надо сейчас же сменить. Иду по пустынному, посеребренному луной двору в его угол, к дворницкой. Душный смрад обдает меня из-за распахнутой двери. Солдаты спят. Двое в постели одетые, третий сидя за столом. На столе батарея порожних бутылок, в стаканах густая липкая темножелтая влага. Вино. Пробую разбудить. Сидящий мычит, не поднимая головы от стола. А у тех, что в постели, волосы спутаны, руки неловко раскинуты, слюнявые мокрые крошки хлеба расползлись по усам и по подушке. Пьяны. Бужу дворника. Велю открыть ворота. Миллионная спит. Через несколько домов на углу возле горбатого мостика через Зимнюю Канавку, у которой, должно быть, в такую же лунную ночь выходила на свидание к Герману печальная Лиза, трехэтажная серая каменная казарма Преображенского полка. Часовой в тулупе полудремлет возле калитки, но пропускает меня, раз я военный. Кровати в той роте, откуда был взят караул, теперь наполовину пусты, потому что много солдат, очевидно, уходят на ночевку по частным квартирам. При свете тусклых лампочек мерцают на масляных стенах старинные потомственные воинские изречения. «Пуля дура, штык молодец. *Суворов*». Ищу взводного. Его нет. Налицо один отделенный. Объясняю, в чем дело. Заспанно потянувшись, он тотчас же принимает уставную выправку.

— Это, ваше высокоблагородь, то бишь, господин поручик, это ваш дом такой счастливый. У нас в роте прямо отбою нет, дерутся друг с дружкой, кому наперед в караул к вам итти. Больно соблазн там большой. Цельный подвал вина, и окна в его открыты. Разве удержишься?!.

* * *

Гараж я наладил в ближайший же день. Помогли шоферы-большевики. Пять аккуратных и легких, бесшумных

машин летали теперь ежедневно в Таврический на дежурство при Исполнительном комитете. С местными шоферами пришлось держать ухо востро. Были попытки что-нибудь слямзить из частей, чтобы продать, а потом свалить пропажу на моих двух шоферов. И с караулом дело оказалось посложней. Винный подвал имел слуховые окошки, которые никак нельзя было заделать. Напрасно предлагал я смотрителю убрать куда-нибудь вино.

— Но куда же уберешь? — разводил он руками. — Да потом его там бездна.

— Уничтожь, — сказал мне Падерин, — другого выхода нет. Это такая приманка, что ты весь полк мне споишь. Подбери надежную команду и уничтожь!

В Союзе офицеров-республиканцев был такой офицер, прапорщик Пригоровский. Про него все смеялись, что он специалист уничтожать винные погреба. Прямой, четкий, стройный, он сразу же согласился. Пришел однажды с утра с какой-то своею командой, запер ворота, велел солдатам скинуть шинели и запер их. Вывел всю команду на двор в одних гимнастерках и мигом начал разгрузку погреба. Бутылки со звоном швырялись прямо на двор. Те, которые не разбились, отшвыривались к гаражу. Затем, когда погреб был начисто вычищен, солдаты хватали уцелевшие бутылки и щелкали их о каменную тумбу.

Когда я вернулся из Таврического, пахучий густой аромат сладких вин, напоивший весь двор, шибанул меня в нос еще в подъезде. Гора бутылочных липких осколков мокро сверкала возле самого гаража. Темные душистые лужи текли по мостовой двора, мешаясь с грязью и булькая в канализационный проход. Кое-кто из солдат покачивались, как пьяные.

— Не подумайте! — усмехнулся Пригоровский. — Это воздух пьянит. Вот и у меня голова слегка кружится. Но у меня в команде священная клятва. Там, на стороне, на

свободе — пей сколько хочешь, если достанешь, но не смей ни глотка во время операции, или смерть! И как видите, делаем на совесть. Ни одной бутылки не оставили целой, и не попробовали ни глотка, и с собой ничего не припрятали.

— Ну, товарищи, — крикнул он, — стройся живей за шинелями, одеваться.

И он пропустил всех солдат мимо себя, каждого прогладив руками, нет ли припрятанной бутылки.

— Жалко? — мотнул он мне головой на мокрую груду бутылочных осколков. — Ничего не поделаешь, товарищ поручик. Пусть пропадает, если эта дребедень может нам повредить. Революция!.. Ничего не поделаешь...

ГЛАВА XVI.

Назначение в Петропавловскую крепость не двигалось вперед. Пробовал было надоедать в Исполнительном комитете, чтобы надавили как-нибудь на канцелярию военного министра Гучкова.

— Ах, не до вас тут! — морщился Богданов. — Петропавловка, это пустяки; тут поважнее сейчас дела. На фронте этот стоходский разгром, а здесь рабочий саботаж по заводам. Вот уже скоро месяц, а мы не произвели ни одного нового снаряда. Куда мы идем?!.

— Это не у раб-раб-очих саботаж, — заикался Молотов, — а у вас, товарищ Богданов, в коноваловском вашем министерстве. Пусть промышленники бросят этот свой скрытый локаут.

Приветливее ободрял меня Стеклов.

— Ах, товарищ офицер, ваша Петропавловка у самого меня в печенках сидит. Который раз я уже ставлю этот вопрос в Исполнительном комитете, чтобы определенно назначили вас комендантом в порядке приказа, но как только подходит дело к этому вопросу, никогда кворума нет, потому что дотягиваем часов до двух ночи. Ну, ладно, наднях нарочно поставлю этот вопрос в первую очередь. Вы поговорите-ка об этом с Капелинским.

— Чорт его знает, неудобно как-то, — говорил я Залуцкому. — Получается, что я же сам о себе хлопочу, будто бы ради карьеры.

— Брось дурака-то валять, чего там стесняться. Раз надобно, чтобы крепость была в наших надежных руках и мы здесь избрали тебя, нечего тут интеллигентские мирхлюдии разводить. Даешь крепость и баста! Напирай!

Жаловался я и Филипповскому.

— Что же я могу тут поделать? — недовольно морщился он. — Мы говорили с Керенским. Керенский нам обещал, и вы же сами говорили, что он сделал все, что он смог сделать. Теперь дело за Гучковым. Да почему вы, кстати, совсем не заглядываете теперь к нам в союз? Там часто приходят и вас спрашивают.

— Приходят ко мне? Меня спрашивают?..

В сорок второй комнате теперь больше порядка, по крайней мере внешне. У стены, вдоль окон, — канцелярские столы, две пишущих машинки, собственные военные писаря. Какой-то вертлявый солдатик с узеньким личиком хорька пронырисго бегал, принося для офицеров продовольствие. В синих широких галифе, в франтовской гимнастерке, с двумя унтер-офицерскими белыми лычками на красных погонах, звякает шпорами прянично-красивый молодой брюнет с пробором. По тому, как Синани спесиво цедит ему свои распоряжения, видно, что это вновь приобретенный его адъютант.

— Слушаюсь! — щелкает шпорами пряничный унтер и бежит по натертому паркету к дверям.

— Стрижак! Товарищ Стрижак! Погодите! — капризно ворочает его снова Синани. — Ах, Тарасов, — скучающе морщится он с каким-то недовольством, — здесь вас все время спрашивают. Эти дни — морской офицер, ваш брат.

— Борька! — вспыхиваю я. — Фу ты дьявол, значит, он приехал.

. . . .

Конечно, я застал его на квартире у Вали. Он сидел в расстегнутом синем кителе на потертой скрипучей ку-

шетке и скучающе чистил подпилочком крепкие широкие ногти.

— Борис! — крикнула ему из прихожей Валя. — Брат пришел.

Мы трогательно с ним обнялись, но сквозь чувство братства смутно пробивалось какое-то взаимное недоверчивое беспокойство.

— Ну, ты как? — вопросительно взглянул он на меня, как бы ища не то совета, не то наставления.

— А ты как? — с покровительственной шутливостью ответил я.

— Да что же, — крутнул он свой черный ус, — ералашим. А ты извини, брат, я тут твою корзиночку вскрыл, — ухмыльнулся он на угол комнаты. — И кое-что без тебя подсосал.

— Ну, что же, ведь это я для тебя и притащил сюда.

— Тогда спасибо. У нас на броненосце там, конечно, этого материала сколько хочешь, ну, а здесь в Питере у вас его не достать, так что скуки ради я сейчас и потягиваю. Да вот послезавтра придется ворочаться обратно. Приезжал сюда за морскими винтами, там мы немножко чинимся. Завтра их отсюда гружу. Ну, да о деле потом. А теперь давай-ка я тебя угощу твоим же гостинцем. В корзиночке, брат, твоей невредные жидкости, только не любитель я всех этих фуксинов. Я по русской очищенной все больше хватал.

Он раскрыл корзиночку, которая действительно уже поубавилась, и достал зубровку, но я отказался от нее и выбрал бутылку вермута.

— Зря, — буркнул он, подавая стаканы, — кажется ты в Таврическом там заправляешь, а в политике, я замечаю, плохо, должно быть, разбираешься.

— Почему это так? — усмехнулся я.

— Да как же. Основное, что надо сейчас уничтожать, это зубра. Посмотрел я там, в твоем Таврическом, когда заходил искать тебя в сорок вторую комнату, много еще там по дворцовым коридорам зубров этих у вас шатается. Родзянку даже видел вчера. Чего он там еще пыхтит?

— Куда же ему деваться? — смеюсь я. — Это его нора, ворочается в ней, как медведь в берлоге, и помещичью лапу досасывает.

Я вспомнил его последнюю речь к волынцам, но ничего о ней не сказал, а налил в стакан виноградного вермута, вдохнул его полынный легкий запах и отпил.

— Ну, что же, а мы ударим по зубрам! — и Борис набулькал полный стакан зубровки. Потом огляделся. — Валя, ты бы колбаски, что ли.

Валя примчалась с закуской, оправдываясь, что ставила чайник на примус и теперь стережет, чтобы он не ушел.

— Так, стало быть, я по зубрам! — хлопнул он стакан в горло. — А ты, старина, выходит, по союзникам бьешь? — мигнул он на вермут — Это, брат, напрасно. Союзники, они еще нам пригодятся. Конечно, лучше своей очищенной что же может быть... Взять хотя бы наш Кильский поход. Накидали мы ловко им тогда, стервецам-немцам, мины. Подорвался на них один их дьявол. Не подкачал боевой наш броненосец «Россия». Но и англичане, брат, тоже молодцы. Эти, хоть они народ и хитрый и жесткий, а драться, мерзавцы, умеют, немцам не спустят. Зря, брат, ты по ним сейчас бьешь, — задумчиво покрутил он головой. — Ну, что же, разреши мне тебя спросить: большевик ты, как и был?

— Большевик.

— Худо.

— Почему же это худо? — ухмыльнулся я.

— Да потому, что не вижу из вашей политики никакого добра, ты меня извини, — насупился он, и его веки хмуро нависли. — Конечно, ты опять мне свое обычное скажешь:

молокосос, недомыслие. Сядешь на своего конька старшинства, а я тебе отвечу прямо: варитесь вы здесь в Питере в дворцах и не видите всех тех пропастей, в которые стремглав летит вся наша страна. Знаешь ли ты, что в связи с революцией боевое значение нашего флота упало на пятьдесят проце тов, и немцы отлично все это знают. Конечно, все наши морские офицеры, лощеная белая косточка из дворянчиков, были гнилью и дрянью, но как их и били, если бы ты знал! В ту злополучную ночь наши матросы как с цепи сорвались, мозжили офицерам головы направо и налево тяжелыми стальными кувалдами, которыми у нас в кочегарках раскалывают уголь. Кровь и мозг захлестали всю верхнюю палубу. А потом тех, кто еще дышал, топили под лед, в прорубь, брр!..

— Значит, того заслужили, — спокойно размазывал я по столу лужицу пролитого вермута. — Почему же ты их так жалеешь?

— Нет, не то что жалею, а все это так противно. И что я не жалею, можешь судить хотя бы по тому, что я избран сейчас членом корабельного комитета на нашем броненосце «Россия». Пусть я механик, но я единственный офицер, который выбран матросами. Ну, ладно, все это хорошо, но не в этом дело. Что дальше-то будет? Ведь войну-то нужно кончать, и кончать не поражением, а победой. А если победой, то нужны и дисциплина и власть — пусть наша новая революционно-демократическая, какая угодно, но власть. А вот этой власти мы сейчас там и не видим. Я в комитете сейчас, а, ты думаешь, меня кто-нибудь слушает? Общее собрание матросни,— вот кто диктует законы. А комитет это только так, на словах, да надо кому-нибудь регистрировать отпуска. Все теперь вповалку кинулись в деревню на побывку домой. Дезертирство! — брезгливо поморщился он. — Рассчитывали мы там, что вы здесь создадите Временное правительство, оно будет крепким, его

будут слушаться, а все получилось совсем не так. Конечно, для меня не новость, что ты большевик, но мне почему-то казалось, что война должна бы тебя переродить. А выходит, как волка ни корми, а он все в лес смотрит. Ну, вот, объясни ты мне, пожалуйста, на что ты надеешься? На что вы все тут рассчитываете? Каков ваш путь? В чем заключается сейчас ваша конкретная деловая программа?

— Деловая программа? — сказал я, отпивая глоточками вермут. — Деловая программа — мир.

— Пацифизм? — спросил Борис, сердито отставив в сторону бутылочку с зубровкой.

— Нет, не пацифизм, а простое нежелание итти на убой и разбивать на-смерть себе лоб в этой капиталистической мясорубке. Надоело, знаешь, таскать угли из этого пожара для твоих вот этих вермутовских англичан.

— Что же, сдаваться на милость врагу? Вместо того чтобы держаться честно до конца и дать вооруженный отпор немецким империалистам? — скривился он враждебно.

— Ты бормочешь, как попугай, — осадил я его. — Не так давно была у нас в «Правде» прекрасная статья о положении народного хозяйства. Там наглядно доказывалось, как старая власть уже довела нас до полной хозяйственной разрухи. Для нашего потребления и для фронта в эти последние три недели нам нужно было около ста миллионов пудов хлеба, а на рельсах оказалось всего десять. А где и как достать остальные — до сих пор никто не знает и не умеет достать. Для войны нужны снаряды, нужны, вот видишь ли, и винты для твоих броненосцев, нужны новые пушки. Раньше потребление нами одного чугуна выражалось в пятнадцати миллионах пудов в один месяц, а сейчас мы даем только девять.

— Что ж, — сказал он, — но все это еще усугубила революция. Ты знаешь, мне приходят порою на ум ужасные мысли. Все чаще и чаще мне кажется, что кадеты были правы,

что нельзя было во время войны начинать революцию. Хоть правда, я социал-демократ... Но не надо было ни мне, ни тебе ввязываться в этот мятеж и Валю тут мою под пули таскать. Не надо было во время войны начинать революцию.

— Дружище Боря, — покровительственно мигнул я ему, — все это я слыхивал еще в пятом году во время русско-японской. Ты меня не удивил. Подрастай, поучись.

— Да, но ведь вся та разруха, о которой ты рассказал, ведь все это плод революции?

— Нет, милый брат, эти цифры пали еще до революции, ну, а сейчас несомненно еще немного упадут. Но возьми-ка теперь ты наши железные дороги, уж они-то износились во всяком случае не от революции. И что же? При таком неминуемо растущем крахе лезть в бой? Продолжать войну? Ради чего и ради кого? Об этом ты подумай.

— Значит сепаратный мир? Мило.

— Почему непременно сепаратный? Каменев в «Правде» вон недавно писал, что французы как будто бы уже согласны отказаться от завоеваний и контрибуций. Если действительно это так, то при такой же нашей программе немецкий народ несомненно пойдет на немедленный мир, и Вильгельм не удержится.

— Дал бы бог! — мотнул он головой. — Только я что-то не верю, Саша, во все это, да. Не такой народ эти немцы. Бывал я у них в Германии на заводах, да и ты бывал. Они упорно идут своею дорогой и от этой цели своей, покорить под ноги свои всех этих китайезов и негритосов, вообще всю эту мякинную деревенскую человеческую голытьбу, с нами руссотяпами включительно, от этой цели они так просто, брат, не откажутся. Недаром они поют свой гимн: «Дейчлянд, дейчлянд, ибер аллес!» А мы что пели? «Боженька, спаси царя»? Мякина, мякиной и были. Не поэтому ли ты стоишь теперь за то, чтобы мы размякинили вконец и без того мякинное наше хозяйство?

— Значит, по-твоему: дерись до конца, до неизбежного своего разгрома и краха, лишь бы была соблюдена честная союзная преданность другим таким же прохвостам, англичанам? Но ведь и у них тоже, брат, гимн — ничего себе, достаточно откровенный: «Властвуй, Британия, над морями!» Ну, в морях, разумеется, только селедки. Но не в селедках, конечно, тут дело и не в морях, а в тех кисельных берегах с молочными реками, на которых можно грабить в силу своих потомственных и почетных пиратских прав.

— Где же выход? — рассердился Борис. — Тогда прямо скажи ты мне, где же выход?! Свергать правительство? Отдавать власть в руки солдат и матросов, которым на все наплевать и которые думают о том лишь, как бы им поскорее всем в отпуск? Да ведь это же мякина!

— А еще инженер! — засмеялся я. — А еще инженер! Как же ты забыл о рабочих?

— О рабочих? — усмехнулся он косо. — Нет, о них я не забыл. Но ведь их ничтожное меньшинство, жалкая кучка, два процента всего населения нашей страны. А их сознательность? Как можешь ты о них так говорить?!. Вот в Германии, там дело другое. Ты посмотри, как они дружно пошли на войну, хваленая революционная социал-демократия. Они твердо, брат, знают, что их путь развития и благоденствия один: растолочь в порошок своими машинами нашу мякину.

— Ошибаешься! — кричу я и встаю из-за стола. — Ошибаешься! Не все они так. Там есть и такие, которые знают другой путь развития исторической жизни и которые построют другой человеческий путь.

— Много ли их там таких-то? — смеется Борис злобно. — Да и кто же это там такие?

— Либкнехт. Карл Либкнехт!

— Мыльный пузырь, жалкий жест временного отчаяния. Нет, я в этот ваш путь не верю. Если встать на этот

ваш путь, тогда все это верно: заклепывай пушки! топи флот! вздымай красный флаг! реви в радио, как ревете вы по-дурацки отсюда: «Пролетарии всех стран, восставайте! Мы высчитали, настал час вашей социальной революции!» Этот дурацкий ваш порыв за рубежом, брат, нигде не встретит отклика. А немецкому штабу и берлинским империалистам ваше пораженчество только на-руку.

— Причем тут пораженчество? — вспылил я, с раздражением, вспомнив разговор свой с Сахаровым в военке. — Как доморощенный, но чистокровный меньшевик, ты попросту не веришь в революционную силу рабочего класса и тянешься естественно к буржуазии. Недаром ты только что расхваливал мне кадетов. И теперь ради спасения милюковских завоевательных лозунгов тебе ничего больше не остается, как заведомо облыжно обвинять нас в пораженчестве. «Топить флот!» «Клепать пушки!» Откуда это ты взял? Кто из большевиков предлагал это?!. Наоборот, на-днях лишь было в «Правде» воззвание к кронштадтцам, что все подобные лозунги — провокация. Мало того, на-днях же в той же «Правде» наш вождь Каменев в статье «Без тайной дипломатии» ясно писал, что мы—оборонцы, что надо стойко оборонять фронт, отвечая на пулю пулей и на снаряд снарядом.

— Ах, вот как? — и Борис даже привстал, опираясь руками на стол. — Значит, вы, здешние большевики, за оборону? Не хитри. Когда вы говорите, что вы за поражение, тогда вас можно еще понять. По-вашему: «Текущая война исключительно империалистична, и Милюков такой же империалист, как и Николай, а социальная революция в мире назрела, поэтому-де начинай хотя бы и отсюда, свергай буржуазную власть, хотя бы и путем военного поражения, зато сейчас же сразу же строй социалистическое царство!» Разумеется, все это утопия и донкихотство, но логически все это прямолинейно и понятно. Но если вы

против поражения, значит вы за оборону, за оборону Временного правительства со всеми его милюковскими империалистическими лозунгами? А, как военный, ты отлично знаешь, что при недостаточных силах лучшим видом обороны является только наступление. Продолжай тогда, Саша, оставаться честным до конца, улыбнись и давай поцелуемся! Все равно, между двумя стульями не усидишь.

— Дурак,— невольно пробормотал я, приходя в полнейшее смущение.— Ни на какое соглашение или сотрудничество с Временным правительством мы не пойдем.

— Тогда своди концы с концами.

— Это ты не сводишь! Ты — меньшевик и не веришь в международное братство пролетариата...

— Да, не верю. И Вандервельде в Бельгии, и Тома во Франции, и Гендерсон в Англии, и Шейдеман в Германии,— словом, все социалисты тоже в это не верят. Иначе бы не воевали друг с другом. Поэтому и я не верю.

Мучительно горько сжалось сердце. Я отодвинул растерянно стул и встал, придерживаясь за его спинку, потому что голова начинала немного кружиться. Потом посмотрел я на недопитую бутылку английского вермута и что есть силы с досады треснул ладонью о стол:

— А я верю! Слышишь ты, верю!

. . . .

После этого разговора меня несколько дней не оставляла хандра. Я ходил, как потерянный. Какой-то паршивый бледный червь сосал где-то в сердце: а вдруг он прав, а если он прав? Я жадно накидывался на «Правду», ища себе подкрепления против своих проклятых сомнений. Вот последняя резолюция бюро ЦК о Временном правительстве.

«Оно неспособно разрешить задачи, выдвинутые революцией,— писалось здесь,— Совет является зачатком революционной власти, и его ближайшая задача—всеобщее вооружение и контроль за Временным правительством».

«Только контроль? — подумал я. — Почему контроль, и как провести этот самый контроль, если, к примеру, вот уже целую неделю вопреки постановлению Совета правительство упорно не назначает меня в крепость? И если только контроль, то, значит, во всем остальном — подчинение? Значит, война до победного конца?» Но резолюция дальше гласила:

«Всякое подчинение мелкобуржуазной, социал-националистической струе было бы изменой международной и русской революции».

И все? Оборончество, стало быть, было бы изменой. А тогда где же практические шаги по другому пути? Почему ни звука теперь о том, что война империалистична? Почему ни звука о братании? Неужели прав Борька?

Я спросил обо всем этом напрямки у Садовского.

— Что ты, чудак! — оборвал тот сердито. — Хватит с нас и Стохода.

А на следующий день во всех газетах напечатано было заявление Временного правительства о целях войны. Сверху мяконькая постилочка из кисельных словечек о том, что «целью свободной России является не господство над другими народами и не насильственный захват чужих территорий» и так далее и тому подобное. Но под этой приманчивой мягкой постилочкой тут же не давали покоя жесткие ребра железных слов: «Правительство будет полностью соблюдать обязательства, принятые в отношении наших союзников».

* * *

— Который раз уж вас тут эти дни спрашивает какой-то прилично одетый блондин, а фамилии своей не говорит, — развязно щелкнул передо мной шпорами уже вошедший в свою роль адъютант Стрижак. — Сегодня как раз утром

он хотел сюда к вам зайти и просил об этом непременно вас предупредить заблаговременно.

Дверь в кабинетик, где я когда-то ночевал, была закрыта.

— Там сейчас заседание президиума, — благоговейным шопотом объяснил Стрижак.

Но я вошел. Все те же лица: Филипповский, Мстиславский, Греков, Синани, Любарский, поручик Петров... К ним теперь прибавились еще и новые: прапорщик Яблонский, который в первые дни революции спорил однажды с Любарским о Керенском, и еще какой-то новый чопорного вида прапорщик, словно проглотивший аршин, с каменным, слегка орлиным лицом.

— Дрезен, — представился он, и надменные глаза его блеснули за стеклышками пенсне, как драгоценности за прилавком ювелира.

— Хорошо сделали, Тарасов, что пришли, — сказал Филипповский. — Завтра у нас, имейте в виду, вечером большой благотворительный концерт в Мариинском театре.

— Весь сбор в пользу нашего союза, — деловито добавил Синани. — Билеты уже давно развозятся. Выступят самые лучшие артисты и артистки.

— Даже Тиме будет, — подмигнул ему Любарский.

— Словом, нас будут чествовать!.. И смотрите, всем быть в парадной форме! — заботливо предупредил всех Мстиславский.

В кармане моем телеграмма. Через полтора часа должна приехать в Питер жена с детьми. Я так давно их не видел! Надо поехать встречать. Надо рассказать ей обо всем, чем волнуюсь. Надо показать ей наш новый революционный Петроград.

— Что же, завтра в театр можно будет, пожалуй, притти и вместе с женою? — спрашиваю я нерешительно.

Мстиславский недоуменно оглядывается на Филипповского.

— У нас будет отдельная ложа,—каким-то жестяным голосом отвечает мне тот.—Мы будем в ней заседать официально всем президиумом. Так что, пожалуй, не особенно будет...

В это время дверь распахивается, и писаря еле вволакивают по полу в кабинет с треском и грохотом, царапая навощенный паркет железными планками, тяжелый деревянный ящик.

— Револьверы! — обрадованно выскакивает из-за стола Синани. — Наконец-то прислали!

— Это в подарок нам от Временного правительства! — восторженно кукарекает Греков.

Заседание мгновенно срывается. Все тумашатся и пыхтят, взламывая крышку ящика. Топора нет. Пускаются в ход офицерские сабли. Наконец по рукам торопливо плывут еще смазанные жиром увесистые черные пистолеты Кольта.

— Ну, и пуля! — тянет Лащинский. — С мой большой палец. Как грецкий орех.

— Этакой пулей можно медведя прямо уложить! Если даже в руку или в ногу кому попадешь, — задумчиво вертит патроны Вязальщиков, — навеки калекой оставишь человека.

Револьверы быстро расходятся по рукам.

— Только, товарищи, полный учет! Не хватайте без спросу! — запоздало командует Синани.

Слышно щелканье закладываемых обойм.

— Осторожнее, ради бога, осторожнее! Вы тут перестреляете друг друга...

— Покажи-ка, как тут эту самую обойму вкладывают?— тянется к мне Лащинский. — Ведь ты же — пулеметчик, по оружию спец.

— Эх, ты, клистирная кавалерия! — смеюсь я. — Спиритус вини. Зачем тебе револьвер, доктор?

Однако я показываю ему и заряжание обоймы и обращение с пистолетом и пробую даже его разобрать.

— Ты вот что, Родионов, — дружелюбно тянется он теперь ко мне, — нет ли еще где-нибудь у тебя там винца? А то мы бы с тобой выпили бы по случаю объединения.

— Какого такого объединения? — озадачиваюсь я.

— Ну вот, где ж ты витаешь? Ведь сейчас одновременно с Всероссийским совещанием советов происходит и ваша большевистская конференция. Там, наверху, возле хор главного зала думских заседаний, в бывшем буфете. Прапорщик Севрук сейчас приходил к нам сюда от вас, гомельский ваш делегат, большевик. Интересные новости передал он сейчас нам с Синани. Сталинская резолюция о превращении империалистической войны в гражданскую провалена у вас большинством. В новой принятой резолюции определенно указано на недопустимость дезорганизации армии и на необходимость сохранения ее мощи.

— Ну, что ж, — тяну я смущенно, — это мы давно здесь говорили.

— Говорили, да не все. Но это не главное. А главное это то, что большинство ваше склоняется теперь уже к более решительной поддержке Временного правительства, поскольку оно задачи революции выполняет.

— Выполняет?.. — тихо откладываю я на стол уже собранный кольт, и в мозгу моем вихрем проносятся: Петропавловка, Рошаль, Сахаров с Семашкой, Борька...

— И вот теперь, — продолжает увлекшись Лащинский, — поскольку между нами, меньшевиками, и вами, большевиками, отпадают прежние пункты разногласий, естественно возник вопрос о полном нашем с вами объединении. По крайней мере, большинство самарских и харьковских ваших делегатов и сам прапорщик Севрук твердо надеются, что теперь...

— Товарищ поручик, к вам пришли! — любезно манит меня в дверь расторопный Стрижак.

Выхожу. В канцелярии сорок второй комнаты, на диване, который так долго служил мне постелью, деловито мнет пушистую фетровую шляпу элегантно одетый Ручкин. Смущенно извиняется, что забежал только проведать меня и пригласить к себе сегодня вечером на ужин. Будут очень интересные люди. Когда я отказываюсь, ссылаясь на недосуг, он растерянно мнется, рассыпаясь в сожалениях, потом нерешительно сообщает, что у него есть ко мне еще одно очень важное и выгодное предложение, но только по секрету.

— По секрету?— недоумеваю я. — Ну, пойдемте куда-нибудь на одну минутку, потому что я очень спешу! — и я смотрю на часы. До прихода поезда так мало осталось.

Мы вышли на Шпалерную. В воротах громоздкой гранитною памятью о мятежных вихрях февральских дней все еще лежал до сих пор не восстановленный каменный столб. Обтекая его, журчал ручеек. Гранитные красные плиты панелей мокро блестели лучами весеннего солнца. Но я размышлял о новостях, сообщенных Лащинским. Так вот почему сегодня они ко мне такие все миролюбивые! Единая РСДРП? Конец большевизма? Объединение?..

— Пойдемте в наш парк, — предложил я Ручкину. — Там кое-где сейчас наверное уже подсыхает, а то больше и деваться нам некуда.

Мы свернули в боковые ворота Таврического дворца. Мимо крыльца, ведущего в логовище Родзянки, прошли в калитку старинного парка. Дорожки посредине отсвечивали зеркалами луж и хлюпали мокрым песком и разжиженной глиной. Мутно-грязные серые корки талого снега по краям их проваливались под ногами, и мы зашагали по сухому прошлогоднему дерну уже подсыхающих на солнце лужаек и клумб. Воробьишки носились вокруг нас в не-

умолкаемом митинге, настойчиво преследуя одного из своих собратьев, не поладившего в чем-то с остальным воробьиным коллективом. Грачи, те уже не ходили теперь важно по мокрым проталинам, как две недели назад, а с треском умащивали на сучьях свои старые гнезда.

— Был я все эти дни, Александр Игнатьевич, — начал Ручкин, присев на садовый диван, — на съезде партии «народной свободы»... Не удивляйтесь, — потупил он глаза — хватит быть беспартийным. Я записался и кое-как достал по протекции и гостевой билетик на все заседания. Клиент тут есть у меня. Я ему уже два дома продал. Так через него это. Вот, доложу вам, где политика, где самая центровая политика! Вот где понял я и убедился наглядно, какие мы все дураки! В самом деле: ходим, маклачим, торжествуем, одно покупаем, другое продаем, и думаем о себе, что мы — это хозяева жизни. а те все, щелкоперы легкопятые, занимающиеся высокой политикой, это так — бездельники, болтуны, ну, вроде артистов, выступающих на концертах. Какое у меня мировоззрение было? Самое миропомазанное. А теперь, представьте себе, полное, могу сказать обновление. С каблуков на затылок встал, или наоборот, — невозмутимо поправился он. — Одним словом, пришел, сижу и слушаю. Какое единодушие! Какая глубина, какая воля! Смотрю и восчувствую: это не зал, набитый Иванами Поликарповичами и Петрами Семеновичами, нет, — это единая великодержавная десница благонамеренной партии, крепко теперь уцепившейся за все жизненные ниточки нашей великой страны. Каким жалким, подумал я про себя, картонным прыгунчиком был я, когда бегал, ни о чем не думая, по клиентам! А хвать, все эти ниточки, что меня дергали, ведь вот они здесь, в этих руках. Раньше я думал: ну, что там политика! Разве это хлебное дело? Я, каюсь, даже от души немножечко смеялся над вами. Донкихотством считал, альтруизмом. Ну, а теперь вижу, что нет. Какие там к чорту

дома! Какие там к чорту квартиры! Какая все это мелочь в сравнении с политикой, да и куртажи здесь не нашим чета!

Он снял перчатку с руки и стал любовно разглаживать ее у себя на коленке. Я взглянул на часы и поторопил его.

— Ну, так вот, — продолжал он. — Прежде всего теперь наша партия определилась. Настоящий съезд единогласно высказался уже за демократическую парламентскую республику. Московский Кокошкин делал доклад. «Отныне,— говорит, — полный конец всяким остаткам миропомазанного мировоззрения. Россия отныне должна быть буржуазной республикой, как и Америка!» Да, как и Америка. Как хорошо, знаете ли, получилось, что она объявила войну. Теперь Германии капут. Америка ахнет по ней своим золотым стомиллиардовым мешком. Ведь это на ее деньги, и Англия сейчас собирается нас поддерживать. Заимообразно, конечно, но это не важно. Победим, тогда все с немцев сдерем. А не с немцев, так с Турции. Бьюкенен наверняка подтвердил нам о Константинополе. Ах, какой великий государственный ум! Наши постоянно с ним совещаются... Много шуму вышло из-за аграрного вопроса, — вздохнул Ручкин. — Левые побушевали. Им все сейчас же вынь да положь. Предлагали объявить конфискацию помещичьих земель со справедливой оценкой. Ну, хорошо, пусть со справедливой оценкой, но ведь конфискация? Ведь это же нарушение частной собственности? Сегодня этак земельку конфискуют, а завтра, смотришь, фабрики или дома. А потом, что значит: «справедливая оценка»? Кто установит эту справедливость? Если Учредительное собрание, так еще неизвестно, кто в него попадет. А если вдруг попадут социалисты? Да не такие, как, к примеру, меньшевики или социалисты-революционеры, которые успокаивают в своих газетах чернь подождать, а такие вот, как эти большевики, которые теперь призывают крестьян выбирать свои комитеты и силой брать у помещиков землю.

Тогда вот как быть? Так и решили. Аграрный вопрос отложить до следующего съезда. Двоевластие нас заедает, Александр Игнатьевич. Вот этот жидок, Винавер, никогда не ожидал от него чего-нибудь путного, а ничего набрехал. Язык ловко подвешен. «Все опасности,— говорит,— от многовластия! Теперь либо Совет рабочих депутатов нас прогонит, и наступит анархия, либо Совет сам должен себя распустить». Центральный комитет нашей партии уже подал об этом докладную записку сюда к вам, в Совет.

— Ну, прекрасно, — встаю я, — в чем же у вас секрет? И зачем нужен вам я? Времени у меня нет, Алексей Финогеныч... Я сейчас так спешу...

— Ах, — поднимается он вслед за мной. — Я слышал, Александр Игнатьевич, здесь стороной, что и вы тоже членом в самом их Исполнительном комитете. Я уже два раза здесь об вас справлялся, и вы так заняты. Так вот, был на нашем съезде разговор. Жаль, говорили, что нет у нас в Исполнительном комитете надежного своего человека. Много можно было бы за такого человека дать, сказали. Я и подумал, знаете ли, про вас. Эх, думаю, хорошее дело выйдет. Вы б и со мной поделились. Помните, как когда-то мы вместе с вами продавали книги? Да, Александр Игнатьевич, золотые были юные времена. Нищенствовали, а ведь по-братски делились. Может быть, что и сейчас выйдет?

«Боже мой, какой дурак! Какой набитый дурак этот новоиспеченный кадет из спекулянтов!», думаю я и поспешно иду к калитке.

— Нет, Ручкин, — говорю я ему грубо, — вашего предложения я не приму. Мало того, оно оскорбительно. Вы подумайте, о какой гнусности вы говорите? Быть шпионом за деньги? Вашей партии я не сочувствую. Убеждениями не торгую. Политика — это не дома и не квартиры. На поли-

тике вы не заработаете, — издеваюсь я над ним. — Прощайте! Я и так уже опоздал из-за вашей болтовни на вокзал. — И я открываю дверцу своего автомобиля.

— Может быть, и меня подвезете? — лезет Ручкин невозмутимо вслед за мною.— Ведь мне же там рядом... Напрасно обиделись вы,— мнется он, когда мы уже порядочно отъехали.— Почем же я знал, что вы не сочувствуете? Я думал, что вы — просто... так... А потом насчет убеждений и курташей вы это тоже несправедливы. Вот возьмите к примеру Баткина, гардемарина, из Севастополя сейчас сюда приехал. Говорят, там у себя левым из левых был. Выбрали, натурально, матросы в тамошний свой Совет, а оттуда он с делегацией и прямо сюда в Питер депутатом на какое-то их Всероссийское совещание советов. Ну, и что же, знаете ли, приехал сюда, пообнюхался, с нашими кое с кем поговорил и вступил, представьте себе, в нашу партию. Секретно, знаете ли, а вступил. А ведь до этого-то каким был! Красный бант через всю грудь. Адмирал Колчак там на Черном море, говорят, от него шарахался. А теперь сумел правильно оценить интересы родины и взялся самоотверженно их защищать. Он теперь везде выступать здесь будет. Загребет деньги малый. А вы говорите: «убеждения»! Эх, послушайте-ка вы меня, маху вы даете, Александр Игнатьевич. Ну, какая у нас с вами в убеждениях особенная разница? Ну, ладно, пусть вы социалист. Социалисты требуют буржуазную республику, — и мы теперь за нее. Социалисты за то, чтоб отложить вопрос о земле до Учредительного собрания, и мы отложили. Социалисты за оборону свобод и отечества, и мы за оборону свобод и отечества. Социалисты за поддержку Временного правительства, ну, а в правительстве-то все наши. Если в чем еще и расхождение маленькое у нас с вами осталось, так только в том, чтобы распустить ваш Совет «рачьих и собачьих». Ну, да и Керенский теперь с этим соглашается, только, говорит, полегоньку.

— Керенский соглашается?.. Чепуха!.. И Совет вы не свергнете. Скорее он вас всех свергнет.

— Ах, какой вы чудак! — рассмеялся Ручкин самым искренним образом. — Как же это можно свергнуть тысячи хозяев, тысячи владельцев домов, земель, заводов и рудников. Ну, даже, представим себе, что завтра какие-нибудь там кронштадтские большевики и анархисты поднимут бунт. Но как же они всех нас прогонят? Ведь для этого нет просто физической возможности, а потом, что скажет фронт? Вы не думайте, что мы спим. Извините, наши агитаторы первого выпуска уже разъехались. По всем армиям выносятся самые боевые теперь резолюции: «Война до победы!» Шкурников, засевших в Петрограде, действующая армия требует сейчас же немедленно выслать на фронт. Где же тогда те силы, чтобы нас свергнуть? Да если бы и удалось это хотя бы на один только день, что сказала бы Франция? А что сказала бы Англия? Нет, и это все пустяки, а что бы сказала Америка? Ахнула тогда и по нас бы она своим золотым стомиллиардным мешком. В кровь бы растерла всю эту крамольную мразь. Разве с такими капиталами можно шутить? Всех раздавят! Нет, мы теперь не боимся. Теперь Америка за нас на-чеку.

Я с громаднейшим удовольствием ссадил его возле ворот его квартиры. И может же столько злостной ерунды наболтать в какие-нибудь полчаса один нелепый человек!

. . . .

Конечно, я опоздал и встретил жену на перроне вокзала. Растерянно и недовольно глядела она по сторонам. Двое мальчуганов, посаженные на корзинки и чемодан, испуганно таращили свои круглые глазенки на отползающий с гулким свистом, дрожащий масляной росой, чумазый паровоз.

— Что же ты? — недовольно взметнулась жена. — Мы целых полчаса тебя ждем. Хотела уже извозчика брать, да адрес нетвердо твой помню, и деньги все вышли. Вообще

не дай бог сейчас ехать по железным дорогам, да еще с ребятами. Давка, галдеж, харкотня! В Москве на вокзале одну корзинку стащили. Я просто вся измучилась. Мигрень страшная. Почему это женщины всегда должны отдуваться во всех перевозках? Посмотрела б я, как ты повозился!

Я посадил их в свой Рено и старался дорогой успокоить.

— Вот, смотри, это Невский. Здесь вот я полз под жандармскими выстрелами в день первой манифестации. Здесь вот я мчался на броневике «Олег». Вон там влево, за Казанским собором, стоит дом; он мною расстрелян. А вот Зимний дворец. Здесь, на этой самой площади в тысяча девятьсот пятом году царь расстрелял рабочих девятого января. А вот видишь огромных голых силачей из серого мрамора, которые держат на плечах своих фронтон этого громоздкого здания? Это Эрмитаж, чудесный картинный музей. Мы как-нибудь сюда пойдем с тобой. А вот Миллионная. Это дворец Марии Павловны. Милости просим!

В прежней комнатке было бы для меня с семьей уже тесновато, и дворцовый смотритель, умилившись, что грозный офицер, так бесцеремонно захвативший великокняжеский гараж, теперь мирно выписывает к себе вдруг супругу свою и деток, любезно предложил мне переехать в две комнатки напротив. Здесь когда-то тоже жили фрейлины, окна выходили в полуподъезд, но зато было просторней.

— Вот, — говорил я жене, — располагайся. Кончились твои все мытарства. Не будешь больше мыкаться с ребятами по чужим людям. Война должна скоро кончиться, к тому идет. Заживём мы с тобою здесь мирно, без бурь. Я поступлю в адвокатуру... Вот денег только пока маловато. Я уже полтора месяца как ничего нигде не получал, да и не знаю, где получать. Живу на всем казенном. Ну, да съезжу завтра в Ораниенбамум, там справлюсь. Привезла ли ты с собой мой денежный аттестат на получаемую тобой часть моего оклада?..

На следующее утро я съездил в Ораниенбаум. Он показался теперь мне с подтаявшими сугробами каким-то облезшим, скучным, мусорным и разломанным, словно орды прошли через него, разграбив его, заплевав и опустошив. На самом деле, все его уютные красивые дворцы никем не были тронуты, но их гладенький лоск среди окружающей грязи напоминал теперь запачканную яичную скорлупу, из которой только что вылупился орленок. В канцелярии школы писаря скрипели сумрачно и сонно, но по разговорам болтавшихся в коридорах прапорщиков и солдат чувствовалось все же, что и здесь пробиваются какие-то новые струйки общественной жизни, еще мутные пока и ленивые, как те мутные и ленивые ручейки, которые текли через садик возле здания школы с грязного двора ее хозяйственных команд. Новенький незнакомый мне адъютант заявил, что свое жалование я должен был требовать теперь в Военной комиссии, но поскольку я там в штат до сих пор не зачислен, он сделает для меня одолжение и выплатит мне деньги здесь.

Я навестил и Мартышкино. Наша команда уже вся возвратилась на старое пепелище. Поручика Казакова теперь откомандировали от нас в резерв командного состава при школе. Теперь так же бестолково-застенчиво, но уже напустив на себя начальственную важность, всем заправлял прапорщик Красников. Он встретил меня торопливо-любезно и стал зачем-то убеждать, что прежняя подготовка команды была недостаточной, и, что они решили теперь отсрочить свой выпуск до первого мая, затем дать солдатам месячный отпуск, а потом непременно на фронт.

— Куприй! — гремел из-за двери одного из затворенных классов медный голос Иловайского. — Объясните нам, что такое вертлюг...

Но не было слышно ни на дворе, ни на улице прежней звонкоголосой чеканки взводного Шевелева: «Ать-два-три-тыре!»

— Пятый взвод у нас расформировался, — сообщил мне эту новость Красников. — Сейчас все они вот уже неделю как откомандированы в первую и вторую школы прапорщиков в Петергоф. Фронт так нуждается теперь в офицерах... Да, вот еще, чуть было не забыл, — кинулся он ко мне, когда я уже уходил. — Команда-то наша ушла из Петрограда, но наши депутаты в Петроградском совете еще числятся, только трудно ездить отсюда, да и Шевелев, как видите, ушел. Так вот команда здесь решила выбрать вместо него вас туда своим депутатом. Я предложил, остальные утвердили единогласно. Надеюсь, вы не откажетесь?

Это было радостным светлым лучом в этот грязный пасмурный день, и я благодарно пожал Красникову его розоватую руку.

* * *

Огромная, красно-малиновая, золоченая зала Мариинского театра была залита вечером ярким светом хрустальной люстры и сверкала торжественным глянцем манишек, искрами брильянтовых ожерелий, переливами шелка, стеклярусом платьев и белизною дебелых напудренных плеч. Для нашего президиума офицеров-республиканцев отвели крайнюю правую великокняжескую ложу бенуара с дверцой на сцену. С самого края барьера, горделиво подбоченясь так, чтобы им мог любоваться весь зал, кичливо уселся Любарский. Он то-и-дело картинно изгибался, доставая из синих разутюженных брюк белоснежный раздушенный платок. Рядом с Любарским, деланно хорохорясь, кобенился поручик Греков. Синани гордо сел посередине, вдохновенно сверкая глазами направо и налево. Мстиславский стоял, исподлобья оглядывая зал, дергал плечом, свистя, втягивал воздух и покручивал ус. Поручик Петров сел по своему обыкновению в угол. А я опять попал

куда-то в самую гущу, в середку. Пожалуй, это и хорошо, что я не в центре внимания. Уж очень много направлено на нашу ложу биноклей и лорнетов. Зато мне отлично всё видно и слышно всю нашу братию.

— Как-то неловко даже, — шутливо поморщился Филипповский, залезая к барьеру.— Выходит вроде того, что мы сели сюда напоказ. Посмотрите, вон Брантинг, шведский социал-демократ. Видите, вот наверху там, в царской ложе, вместе со Скобелевым и Стекловым.

— Значит, будут речи? — скромно осведомился Вязальщиков.

— Ну, конечно, раз концерт-митинг, — усмехнулся Филипповский. — Мы тоже будем выступать от имени нашего союза.

— Каково же будет политическое содержание наших выступлений? — вклинился я. — Если вы выступите с доверием правительству и с войной «до победы», имейте в виду, и я возьму слово.

— Ну, это еще кто его вам здесь даст! — насмешливо обернулся Греков.

— А если попробуете не дать слова, — мгновенно краснею я, — то тогда я здесь в ложе и в театре вам такой скандал закачу, что все равно ваше целомудрие вы никакими медовыми речами потом не восстановите. — И я встал, раздраженно двинув креслом.

— Ах, вечно опять эти большевистские фракционные дрязги! — брезгливо скривившись, зашипел Лащинский. — Почему бы нам и не сказать о войне «до победы», если ваш же Каменев сам на-днях писал в «Правде», что война будет продолжаться, пока германская армия не последовала нашему примеру и еще повинуется Вильгельму. Ведь писал же сам ваш Каменев, что мы должны стойко стоять на своем посту, на пулю отвечать пулей и на снаряд отвечать снарядом. Да и сегодня на Всероссий-

ском совещании советов он же подтвердил, что мы не допустим никакой дезорганизации армии. В чем же тогда дело?..

— Считаете нас за зубров? Грозите скандалом? — с усталым раздражением сказал Филипповский. — Ну, давайте пойдем на компромисс. Пусть выступает от нас Мстиславский. Приличие обязывает нас все же от лица революционного офицерства приветствовать хотя бы иностранных гостей. Смотрите, вон Брантинг. Сергей Дмитриевич на этом, пожалуй, и ограничится.

Мстиславский деловито мотнул головой.

— Я предлагаю ничем не ограничивать Сергея Дмитриевича, — с ненавистью обернулся Любарский, передернувшись в лице. — Пора поставить выскочек на их определенное место.

— Ах, только не здесь! — поморщился Синани. — Бросьте! На нас смотрят...

— Хорошо, кончим на этом, — отрубил Филипповский. — Надеюсь, вы не будете возражать?

— Не возражаю, — буркнул я.

Огромный симфонический струнный оркестр певуче заиграл марсельезу. Весь зал поднялся, чванно пузырясь белой чешуею манишек и розовыми студнями декольте. Дамы скучающе оправляли кружева и прически. И гордо вскинулись все наши офицеры, глобусами выпятив подбитые ватой кителя. Марсельезу сыграли трижды. Затем пошли певицы и певцы. Худенькая, как прокопченая сигаретка, артистка Тиме, в каком-то темно-вуалевом платье, трагическим шопотом пропищала стихотворение Верхарна «Толпа» на французском языке. После романсов и арий вышел на сцену Синани и объявил, что с приветственным словом сейчас выступит товарищ председателя президиума Всероссийского союза офицеров-республиканцев Мстиславский. Грянул гул аплодисментов. Размашисто покачиваясь и брякая

шпорами, Мстиславский вышел на сцену. Сначала робко, а затем все смелее, закрывая глаза, он начал восторженно петь о наступившем священном союзе свободной русской республики с вольной Англией, с прекраснейшей Францией и с новой великой союзницей нашей, свободолюбивой демократией, могучей республиканской Америкой. Зал взорвался в восторженном вопле. Я вспомнил про Ручкина и гневно сплюнул. А в партере под воющий гром марсельезы снова плотно встали манишки, заплескались ладоши, и густо затряслись, словно желе, дамские декольте. И даже Брантинг в широкой императорской ложе с задернутым теперь красным сатином царским орлом, краснея, млел, протирая платком потную шею.

— Какую чушь нагородили! — злобно встретил я Мстиславского, когда тот, сутулясь, шагнул обратно в ложу.— Это Америка-то у вас свободолюбивая демократия?! Священный союз с вольной Англией Георга и с прекраснейшей Францией Пуанкаре?.. Эх, вы, социалисты!

Все раздраженно зашумели, а Мстиславский смутился.

— Вы вечно ко всем придираетесь. Я сказал только то, что думают все честные социалисты! — гневно рванул он. — В той же вашей «Правде» ваш же лидер Каменев ясно писал, что Россия связана союзом и с Англией, и с Францией, и с другими странами, и потому решать вопрос о мире помимо их она не может. И вообще ваши анархистские наскоки до-смерти, знаете ли, всем надоели!..

Зал гудел, затихая. Мясистые зады пышно плыли к выходу. «Почему все они тычут мне нашего Каменева?» — растерянно думал я.

ГЛАВА XVII.

Штаб о Петропавловке попрежнему упорно молчал, и поэтому даже надоело ждать назначения, вернее, надоело томиться этим ожиданием. Впрочем и томиться-то было некогда; дни катились крутые и круглые, наполняя своими тревогами и суетой вспененную столичную жизнь. В военку к Кшесинской все гуще и гуще ходили уже целые толпы солдат, и, влюбленно порхая в волшебных мечтах, умиленно закатывал перед солдатами устало-гордые глаза свои Подвойский. А, впрочем, он молодец. Пускай у него вся жизнь с заглавными буквами, как смеялся про него Мехоношин, а все-таки дело с выпуском «Солдатской правды» наладил. Мехоношин при нем скромен, почтителен и деловит. А нынче с утра внизу, в бывшей буфетной комнате, стояли лязг, гомон и стук. Таскали кусками смеющийся красный сатин, шили флаги и полотнища и прибивали к древкам. И клеевыми белилами густо мазали: «Привет Ленину!»

— Эх, — сокрушенно ухмыльнулся Подвойский, — жаль, что вы, Родионов, еще не комендант Петропавловки, а то закатили бы вы торжественный пушечный салют в честь приезда нашего вождя, как только бы он вышел к нам из вагона...

О салюте я не думал, а о Петропавловке думал. И какой он нечуткий! Зачем бередит истерзанное ожиданьем и сомненьями сердце?..

На лестнице торопливо попались Раскольников и Рошаль. Примчались встречать прямо из Кронштадта.

Бокий был тоже настроен торжественно.

— Пойдем, брат мой, на Финляндский вокзал, — кивнул он мне. — Сегодня старик приезжает. Все районы и вся военка мобилизованы. Хотим как можно торжественней встретить. Ведь если так разобрать, то все, чего мы добились, все это по его, брат, указке. Изумительный это организатор! Теперь вот посмотри, какая буча начнется. Только держись! Пообщипает он перья меньшевикам и эсерам. Ты еще его не знаешь...

Я обещал приехать встречать прямо на Финляндский вокзал, тем более, что Бокий и Подвойский тут же дали мне еще одно поручение.

На дворе густой дрожью тряслись и гудели темнозеленые сальные броневики. Вся броневая команда тоже готовилась к выезду для встречи Ленина на вокзал.

Однако попасть на вокзал так и не удалось. Сначала пришлось отправиться вместе с Сергеем Богдатьевым выполнить поручение в комиссариате Петроградской стороны. Я — от военки, Богдатьев — от ПК. Писклявая балерина, забрав в эти дни из своего дворца всю утварь и почти всю мебель, теперь выселяла нас из своего здания по суду. Суд иск ее удовлетворил. Теперь районный комиссариат обязан был выселить нас при помощи милиции, и нам двоим поручено было теперь во что бы то ни было от этого отбояриться.

В мрачном глухом кабинете сидел за столом сухощавый бледный господин и, комкая в руке чахлые космы своей бороденки, силился заправить их зачем-то к себе в рот. Кургузый присяжный поверенный, липкий и лысый, как залитый в сахар грецкий орех, настаивал на немедленном наряде милиции для выселения нас из дворца на основании судебного исполнительного листа. Богдатьев тотчас же стал возражать, что судебное решение неправильно по

существу. Нельзя присуждать к выселению Петербургский комитет большевиков, а надо сначала выселить занявшую дворец в дни революции броневую воинскую команду. Все же остальные политические организации помещаются во дворце сейчас временно, поскольку заняты обслуживанием находящегося тут же при команде солдатского клуба.

Липкий адвокатик Кшесинской нервно вскакивает и, захлебываясь, убеждает комиссара, что уже имеется приказ от генерала Корнилова очистить дворец его доверительнице, но только этот приказ все еще, к сожалению, не выполняется солдатским комитетом броневой команды, ссылающимся на какие-то контрприказы Петроградского совета и потому не желающим пока что из дворца выезжать. А теперь генерал Корнилов категорически обещал его доверительнице, что он уже оперативным приказом отправит команду обратно на фронт.

— Ничего не выйдет, — обрываю я адвоката, — вывод гарнизона из Петрограда тоже запрещен.

— Ну, хорошо, — бесится он, подскакивая к комиссару, как мяч, — моя доверительница, госпожа Кшесинская, согласна мириться с временным размещеньем солдат. Но мы требуем от вас по закону немедленного же освобождения тех комнат, которые заняли вот эти большевики! — кивает он на Богдатьева.

— Успокойтесь, — опять обрываю я его, — большевики сами по себе у нас ничего не занимают. Эти комнаты заняты канцелярией и кружками нашего солдатского клуба вверенной мне команды, — вру я, — а если их персонал в партийном отношении большевистский, то это ни нас, ни вас по закону не касается.

Комиссару удалось, наконец, ухватить теперь губами конец бороды, и потому он удовлетворенно мычит:

— Как-нибудь вы уж мирно уладьте, господин присяжный поверенный. Сами видите, — беспомощно разводит

он руками, — там военная часть и вот сам офицер здесь от них. Мы здесь бессильны...

. . . .

Богдатьев скромен и молчалив. У него бледное задумчивое лицо интеллигента.

— Молодцом! — покровительственно кивает он мне, когда мы выходим одни с ним на Каменноостровский проспект. — Отбрехались! Да и все равно бы не уехали, если бы даже комиссариат и послал бы милицию нас выселять. Пусть даже районный совет постановляет, плевать!

— А что бы вы сделали?

— Броневики. Огонь!

— Как? Даже против Совета?

— А почему бы и нет?

— Но что тогда скажут массы? — укоризненно гляжу я на него.

— Вы — хвостист! — брезгливо бросает он мне. — А еще офицер! Историю творят авангардные личности, профессионалы политики, а не массы. Плохо, должно быть, учились вы у Ленина, — кивает он мне на прощанье, высаживаясь из моего автомобиля на углу у Кшесинской.

А я мчусь дальше, в Таврический, где ждет меня радиостанция. «Неужели, — думаю я, мягко качаясь на плюшевых серых подушках великокняжеской машины,— неужели Богдатьев прав? Не массы, а личности? Неужели этому учит приезжающий сегодня этот таинственный Ленин, брошюрки которого я когда-то читал, но с которым еще никогда не встречался? Не может этого быть, чтобы он учил этому».

И снова я вспомнил походную лунную снежную ночь, замороженный скрип пулеметов, бешеные пулевые плевки по дворцам, неистовый зев: «Вылетай!» и нас пятерых впереди. Кто кого тогда вел? Личности массы или наоборот? Мы их или они нас? Пожалуй, ни то и ни другое. Мы мчались тогда в едином спаянном движении вперед. Если мы и были

спереди, то лишь из стремления внести организованность в стихийное движение. Но массы наперли бы на нас сзади, если бы мы остановились. А стоило бы кому-нибудь из нас попробовать повести их по другому неверному, ненужному им пути, и мы бы сами либо были бы уничтожены этими же массами, либо остались бы сброшенными в занесенную снегом придорожную болотную топь. Как самовлюбленно ошибается этот Богдатьев!

. . . .

Родер задержал меня на радио-станции до поздней ночи. Где-то в кубовых спускающихся сумерках, над застывающей в ночь в хрустящих пленочках льда, по-весеннему тоскующей землей, металась манящая нас какая-то новая радиограмма. И никак мы ее не могли уловить. Она словно дразнила нас голубыми вспышками, кидая нам обрывки неведомых задорно таинственных слов. Мы бились над ней весь вечер и часть ночи. Под конец все это глупо и пошло расшифровалось, как американское радио. Сообщалась котировка нью-йоркской биржи. Опять пришлось вспомнить о Ручкине и о Мстиславском и чертыхнуться.

* * *

Рано утром раздался стук в дверь. Я выскочил полуодетый, но это была не молочница. В дверь неожиданно вломился встревоженный штаб-ротмистр Берс. Он торопливо извинился за неурочное беспокойство. Он нарочно ездил в Таврический, чтобы узнать там мой адрес, и поспешил ко мне пораньше, чтобы обязательно успеть меня застать. В Петропавловке надвигаются важные перемены. Комендант ему объявил, что сегодня он сдает свою должность новому коменданту, полковнику Якубовичу. Штаб-ротмистр волнуется. Штаб-ротмистр нервно кусает свой ус.

— Ведь если, поручик, вы вместе со Стекловым не примете сейчас же экстренных мер у себя в Исполнительном

комитете, завтра же неминуемо последует отставка и мне. Тогда у вас не останется ни одного преданного своего человека в Петропавловской крепости. Ведь команду артиллеристов они тоже хотят теперь переформировать, в связи с перевооружением всей крепости. Вы помните, об этом я говорил вам еще тогда, когда вы приезжали в крепость.

Я успокаиваю Берса. Пусть он не волнуется. Ведь пока еще власть, фактическая власть, власть силы, — в руках солдат и рабочих. Поэтому что постановит наш Исполнительный комитет, то и будет законом.

Но когда Берс уходит, неприятная тревога сообщается и мне. Неужели на самом деле мы уже совершенно бессильны помешать всей этой лихорадочно организующейся против нас контрреволюции? Нет, чорт побери! Надо итти напролом! — решаю я твердо и еду прямо в штаб.

. . . .

Солнце совсем по-весеннему било в затхлые, пыльные, неуютные комнаты старых канцелярий генерального штаба. Заставленные громоздкими шкапами и столами, они тускло поблескивали протертым веками паркетом, уже зыбким и скрипучим на-ходу. Полусонные писаря глотали зевками казенную скуку, понуро косясь на солнечные окна. Штабные офицеры деловито бездельничали, то суетливо носясь с папками бумаг на доклады к начальникам, то задорно о чем-то мечтая, с задумчивой улыбкой глядя сквозь сухие и скучные рапорты, словно бы те были прозрачными.

В отделе личного состава спесивый полковник еле удостоил меня устало вскинутым взглядом.

— Подождите, сейчас наведем справки.

Я ожидал часа два. Оказалось, что приказ о производстве в поручики был бы вполне готов, если бы не кое-какие недостающие к нему справки. Необходимо представить официальную выписку из послужного списка о старшинстве моего производства в офицеры.

Я объяснил, что хлопочу совсем не об этом.

— Ах, значит, вы насчет ордена? Это, знаете ли, мы передали в отдел награждений, но там, знаете ли, вам отказали. В статуте георгиевского ордена нет, видите ли, квалификации тех деяний, за кои вас хотели наградить.

— Ах, опять вы не о том, — оборвал я раздраженно. — Я о своем назначении комендантом Петропавловской крепости.

— Комендантом Петропавловской крепости? Это не здесь. Это в столе назначений...

Но у стола назначений меня насмешливо смерили с головы до ног и обменялись лукавыми улыбочками.

— Вы напрасно изволите хлопотать,— учтиво проглотил ухмылку синегубый подполковник. — Комендант Петропавловской крепости уже назначен. И это не вы, а полковник генерального штаба Якубович. Таково было распоряжение самого генерала Маниковского.

. . . .

В приемной у Маниковского я прошу доложить о себе его чопорного адъютанта, что к генералу приехал за справкой офицер от Исполнительного комитета Петроградского совета, причем фамилии своей не называю.

Серебристый плотный генерал, с пожелтелыми, как спелый овес, нависшими усами, встретил необычайно приветливо, но меня не узнал.

— Исполнительный комитет, — говорю я, — давно уже беспокоился вопросом о замене теперешнего коменданта крепости другим.

— Да, да, да, — приветливо кивает Маниковский, — мы это сделали, нами назначен теперь полковник Якубович.

— Ах, вот как! — делаю я чрезвычайно обрадованный вид. — Мы этого еще не знали. Ну, вот большое спасибо... А почему именно Якубович? Ведь как будто туда раньше намечали кого-то другого, из молодых офицеров?

— Ах, это вы про того, — незлобиво улыбнулся Маниковский, — какого-то подпоручика, забыл, как его... ну, двойная фамилия... Так, во-первых, он молод, а затем... Этот вопрос, знаете ли, еще тогда же был согласован у нас с Александром Федоровичем Керенским. В тот раз еще, когда он прислал ко мне его со своею запиской, он тотчас же написал вслед другую записку, чтобы мы ограничились производством его в следующий чин и дали бы какую-нибудь награду. Но ни в коем случае не комендантом. Ведь он же, оказывается, большевик.

— Ах, вот оно что! — смущенно поднимаюсь я и чувствую, что колени дрожат и ладони потеют.

— Как же, как же, — участливо твердит Маниковский, — а вы разве не знали? Да я вам и записочку эту покажу.

Он звонит в кнопку стола, и вкатывается, мигая рачьими глазами, веснущатый, с носом луковкой, начальник его канцелярии. Через минуту я уже вижу эту записку с прыгающими по ней гримасами букв. Да, Маниковский ничего не выдумал и не прибавил. И та же каракулевая подпись: «А. Керенский».

— Вот, спасибо, теперь мы спокойны, — крепко жму я руку генералу. — Разрешите мне, ваше превосходительство, взять эту записочку у вас на время, показать там у себя.

Но генерал вдруг насупился и потряс головой, оглянув меня уже исподлобья.

— Ну, хотя бы копию.

— Извиняюсь, но не могу. Я и так уже, знаете ли, провинился, что вам показал. Александр Федорович предупреждал меня, что это строго доверительно и лично.

. . . .

Я ехал теперь и думал: какой наглый обман своих же товарищей по Исполнительному комитету! Какое лицемерное двурушничество этого истеричного кривляки! Так вот он каков, этот Керенский! Вот где обнажилось его все нутро!

Ну, что из того, что я большевик? Разве для революции не лучше, если крепость будет в моих надежных руках? Разве Керенский этого не понимает? Может быть, просто тут чья-то чужая враждебная интрига, наверное кого-нибудь из Военной комиссии, а Керенский был введен в заблуждение. Надо сейчас же заехать к нему, увидеть его и лично и откровенно по-товарищески обо всем с ним поговорить. Ведь он же к тому же все еще товарищ председателя Исполнительного комитета. Не может этого быть, чтобы он, взнесенный волной революции, теперь сам же готовил бы ей гибель и был бы заодно с ее заклятыми врагами! Ведь это никто иной как сам же он когда-то сказал: «Остерегайтесь тех, кто на словах исповедует красивые лозунги, но кто не хочет в жизни их исполнить»...

. . . .

Все та же широкая просторная приемная министра тухла теперь в отблеске ярких солнечных пятен, сползавших с сизой стены противоположного дома. На сумрачной лестнице была уже зажжена электрическая лампочка. Ее желтый свет проникал и сюда, в зеленоватую тусклость этой пышной гостиной, и казался здесь сейчас ненужным и нелепым. На диванах и креслах сидели, скучая, просители. Только публика почище уже успела быть принятой утром. Теперь оставались посетители второго разряда. Должно быть, это были провинциальные судьи, секретари и местные столоначальники, уволенные или подлежащие увольнению. Они понуро глядели друг на друга исподлобья, как барсуки, выгнанные из своих нор. Были тут и сморщенные старушонки в черных косынках, которые устало вздыхали и тревожно поглядывали на массивную белую дверь в кабинет. Всякий раз, когда она зловеще проглатывала очередного посетителя, уходящего к министру, старушонки начинали испуганно бегать глазами по углам и, наконец, найдя образок у самого входа, крестились и

шелестели губами. Я попросил секретаря доложить обо мне поскорей, назвав и фамилию свою и суть моего дела.

— Придется обождать, — вернулся секретарь обратно, тихонько на цыпочках закрывая за собою тяжелую дверь.

Я стал ждать. Солнце тухло. Исподлобья урчали отставные барсуки, крестясь вздыхали старушки, шумя шелком юбок или скрипя каблуками, уходили один за другим посетители в кабинет. Приходили и, смущенно потирая руки, садились на краешки кресел новые просители. Я все ждал. Комната из сизой позеленела, потом сделалась густо-синей. Лампочка с лестницы засияла уже приветливей и мягче, и тогда курьер, с коронованными пуговицами и зеленым воротником, открыл свет в хрустальной пышной люстре, и от ее пропыленных висюлек побежали по белым стенам сухие серые костлявые тени. Посетители уходили один за другим, а я все ждал. «Неужели на самом деле, — раздумывал я, — он обманывает тех, от имени которых принял этот пост? Но если он честен, тогда почему волнуются петропавловские солдаты из-за повального освобождения царских сановников? А потом, где те сто пятьдесят девять царских пакетов, сданных ему? Не мог же он на самом деле об этом позабыть! Почему не спросить его сейчас обо всем этом откро`енно?»

Сумерки за окном посинели приятно и мягко забелелись шторы, спущенные курьером. Тогда секретарь подошел ко мне робко покачивающейся походкой. Сердце забилось, и я взволнованно встал навстречу. Ага, значит, сейчас моя очередь.

— Господин министр извиняется, — с фальшивой любезностью прошелестел секретарь, — он должен сейчас уехать и принять вас не может.

Он сухо и низко поклонился и, подойдя к какому-то сине-бурому усатому барсуку, кивнул ему на дверь:

— Ваша очередь.

* * *

Было совсем темно, когда я бурей ворвался в комнату заседаний Исполнительного комитета. Вот где сейчас я все расскажу, где я открыто выложу всю изнанку этого лицемерного представителя демократии, ради карьеры своей вошедшего в банду наших врагов! Пусть знают теперь все, что̀ из себя представляет этот Керенский! Но комната заседаний была битком полна народу. Даже лампочки, казалось, светились тусклее, словно бы теряя свой свет в густоте набившихся людей. И какая-то тихая необычайная настороженность повисла над всеми. Откинув большую курчавую голову, остроносый господин средних лет, с бритым лицом и с обликом и манерами оперного певца или композитора, небрежно сидел у стола, нехотя помахивая рукой, и тонким острым голоском, словно шмель, прижатый доскою, звенел о том, что Исполнительный комитет обязан одобрить обмен политических эмигрантов, оставшихся в Швейцарии, на интернированных у нас военнопленных немецких социалистов, при условии пропуска наших эмигрантов через Германию. Когда он смолк, черный, как жук, кавказец Зурабов махнул в знак согласия черной лопатой своей бороды.

— Да, — загудел он по-жучьи, — да, да! Другого пути не выходит. Ведь ни Франция, ни Англия нас из Швейцарии не пропускают.

«Какие, — подумал я, — опять здесь пустячки. Ведь вопрос о фальшивости Керенского и о тайных кознях правительства гораздо важнее всей этой болтовни о каких-то там интернированных, и об эмигрантах, таких же шумных и таких же бесплодных, как те уже надоевшие мне радиограммы, которыми меня аккуратно каждый день кормит капитан Родер». И я уж готов был порывисто пролезть к столу, чтобы высунуть голову и выступить с горячей обличительной речью по поводу крепости.

— Куда вы? — встревоженно дергает меня за рукав Красиков. — Смотрите, вон Ленин.

— Ленин? Где Ленин?

И я гляжу, куда показывает мне Красиков. Так вот он какой этот Ленин! Я совсем не представлял себе его таким. Мне казалось, что он должен быть высоким, худым и прямым человеком с откинутыми волосами и белым лицом, ну, к примеру, как у Пинкевича. У него должны быть большие светлые серые глаза и четкие брови, и руками он должен махать резко и круто: «Да, Государственной думе бойкот! Бойкот и никаких! Вся сила в массах»!..» «Нет, теперь Государственной думе бойкот немедленно снять! Да, немедленно снять, и никаких! Пошире агитацию в массы»!..» «Да, теперь стройте пятки, тайные подпольные пятерки из одиночек, вооруженных холодом тупых револьверов и горячим презрением к смерти! Так надо». И он должен был качаться, в моем представлении, из стороны в сторону, сухо и четко сверкая глазами, как маятник. Таким казался мне воображаемый Ленин. А этот, что сидел у самого конца стола, был невысокий, сутулый и плотный человек средних лет с огромною, лысой и какой-то выпуклой наперед, золотистой и упругой, как шар, головой. Упершись хитро поднятой бровью в короткие потные пальцы, он узенькими, по-восточному простодушно прищуренными глазками шустро бегал по какой-то бумажке, низко придвинувшись к ней. Потом он поднял голову, погладил лысину ладонью, раскрыл из-под рыжеватых, подрубленных снизу, усиков широкий крепкий рот над золотистым клинышком кургузой бородки и, не глядя ни на кого, деловито, торопливой скороговоркой, как-то уверенно крепко и в то же время картавя на некоторых звуках, стал как бы вскользь пояснять, что Исполнительный комитет непременно должен присоединиться к резолюции, предложенной сейчас Зиновьевым. Умолк он так же деловито и, ни на кого не обращая вни-

мания, вновь торопливо занялся чтением какой-то бумажки.

Наступило молчание, депутаты переглянулись, и тогда от печки, из угла, из-за спин, понесся глухой, как карканье, хриплый голос осторожно протестующей речи. То был Церетели. Все обернулись к нему. И он, высокий, черный, сутулый и плоский, нервно раскачивался, сверкая из сумрачного угла черными блесками впалых глаз, и полы его сюртука размашисто вскидывались, словно это был не Церетели, а забившийся в угол большой мрачный грач, трепетно шевелящий подбитыми крыльями.

— Товарищи, — хрипел он. — Против Исполнительного комитета за последнее время и так уже достаточно ведется агитации, а если мы примем еще и эту резолюцию, то ее поймут как наше полное одобрение германским проискам и как защиту ее империалистических целей. Я предлагаю другое.

Тут Ленин круто поворачивается лицом к нему, и тогда виден кудлатый рыжий венчик волос, окаймляющий его блестящую котловидную голову, и маленькие, вкрапленные в морщинки, острые карие глазки, которые мгновенно, как бы насквозь прощупывают Церетели.

— Я предложил бы, — сутулится Церетели, — принять другую резолюцию, в которой и обратить внимание Временного правительства на препятствия, чинимые нашим товарищам в деле их возвращения на родину из Швейцарии. Давайте ограничимся этим!..

После него блеснул очками Богданов. Этот предложил Исполнительному комитету решительно отмахнуться от какого бы то ни было одобрения приезда Ленина и остальных его товарищей через Германию. Только в голосе Богданова, всегда таком смелом и напористом, ясно звучали теперь и осторожность и трусливая враждебная хитринка. А после

Богданова вновь, только еще упрямей, и крепче, зазвучал картавый говор Ленина.

— Вот для того-то, чтобы и пресечь всю неизбежную буржуазную ложь и травлю, Исполнительному комитету советов как раз и надлежит немедленно принять нашу резолюцию. Во-первых, через Германию приехали не одни большевики, а с нами вместе и эмигранты других течений. Во-вторых, никаких обязательств и никому, а тем более германскому правительству, мы не давали. Мы обещали только по нашем приезде сюда обратиться к рабочим организациям за содействием к обмену на нас военнопленных немецких социалистов. Если вы тоже признаете правильным и полезным такой обмен, то одним уже этим вы опровергнете всю черносотенную клевету против нас. В противном же случае вы только подольете лишней грязи в буржуазную клоаку.

Чтобы возразить, краснея и пыжась, берет слово аккуратненький гвардейский солдатик, присяжный поверенный Сомов, тот самый, который целовался с полковником Гущиным. Он с негодованием брызжет упругими, как сосиски, губами и, надувая лоснящиеся щечки, называет проезд через Германию возмутительнейшим предательством демократии.

— Фронт, проливающий кровь в защиту свобод и отчизны, вам этого не простит, этого так не оставит! — гневно трясет он рукой.

Против Сомова поднимается гул. Его дергают даже друзья. Возражать ему петушком выскакивает Шляпников. Голосистым володимерским своим говорком он доказывает, что и так уже целый месяц Ленин с товарищами бесплодно добивались проезда через союзные страны, и что напрасно Сомов пугает теперь фронтом, потому что фронт доверяет Исполнительному комитету несравненно более, нежели грязным сплетням мракобесов и их лизоблюдов.

Снова порывистый шопот гудит по толпе депутатов, и пробегает тревожная тень по их нахмуренным лицам. Кажется, вот две грозовые тучи сошлись и нависли здесь в этой комнате одна над другою, и огромная молниеносная напряженность легла между ними. Только ни та, ни другая сторона не хочет, должно быть, сейчас грозы, почему и ропот бежит по толпе депутатов, как освежающий ветерок по предгрозовым тучам.

— Да, — подтверждает Зурабов, — резолюцию принимать необходимо. Поскольку вместе с большевиками и Лениным приехали в том же вагоне и меньшевики, то для предотвращения могущих быть кривотолков необходимо подробно осветить в нашей печати все обстоятельства дела.

И снова вскакивает круглый Богданов и предлагает весь этот вопрос целиком передать Временному правительству, а в газете пока ограничиться только заметкой о таковой передаче.

— Умываете руки?!. — едко бросает Сталин. Но этот выкрик безнадежно тонет в нарастающем говоре.

— Кто за это? — торопливо и сухо скрипит Чхеидзе.

Дружеский шум поднимающихся рук. Ленин уголочком брови все это ловит, привстает деловито и, сосредоточенно кивая головой на шопоты обступивших его сотоварищей, торопливо выходит вместе с ними.

Тогда в комнате сразу оживает порывистый вольный гул. Все оставшиеся начинают обмениваться впечатлениями. Гвоздев ругает тех меньшевиков, которых угораздило приехать вместе с Лениным и которые сорвали теперь этим возможность подорвать ленинский авторитет на этом инциденте.

— Ничего, — улыбается Сомов, — мы достигли все же большого успеха. Пускай-ка Временное правительство вынесет теперь оценочку этому. Пломбированный вагончик даром Ленину не пройдет.

«Какая близорукость, — думаю я. — Ведь это же все социалисты! Почему же такая междоусобная трусливая и злобно-затаенная ненависть к большевикам и, в частности, к Ленину? Разве можно передавать вопрос о его проезде на рассмотрение гучковско-милюковского Временного правительства? Того правительства, которое тайком превращает Петропавловку в опорный редут для предстоящего разгрома революции? Того правительства, в рядах которого перебежчик Керенский усердно помогает своим новым друзьям, нагло мороча своих прежних товарищей? Постойте, я сейчас вам открою глаза на все это. Есть одно, что свято хранит в себе человек, если он хоть чуточку себя уважает. Это — честность! В данном случае политическая честность!»

Я порывисто требую слова, и хотя большинство глядит на меня устало и недовольно, тумашась и тискаясь к выходу, но я горячо и торопливо спешу рассказать здесь сейчас обо всем, что сегодня узнал. О посещении мной Маниковского, о назначении комендантом крепости верного слуги Гучкова и Энгельгардта, толстопузого и мясистого полковника Якубовича. Я едко подчеркиваю, как корниловский штаб сознательно надругался над постановлением Исполнительного комитета о моем назначении.

— Дело тут не в моей личности, — опускаю я глаза, — назначьте другого, но пусть он будет свой, а не контрреволюционер Якубович, перевооружающий крепость против нас.

— Позор! — кричит кто-то с места.

— Не допустим! — возмущенно грохочет Стеклов.

— Успокойтесь, товарищи! — заикаясь, волнуется Скобелев. — Придется мне еще раз поговорить с Керенским; он тогда обещал...

И тогда я рассказываю и про записочку Керенского, которую я видел сам лично, своими глазами.

— Вот оно что! Это здорово! Ай да товарищ председателя Исполнительного комитета! — язвительно покрикивает Падерин, и его шумно поддерживают и другие товарищи из углов. Остальные же, еще не ушедшие члены Исполнительного комитета как-то болезненно и сконфуженно ежатся и, молчаливо морщась, торопливо пробираются к дверям.

— Товарищи! — заканчиваю я. — Данный инцидент является только одним из звеньев в общей цепи планомерных военных приготовлений против революции. Сегодня в штабе, пока я сидел, я уже слышал о том, что Корнилов, новый хваленый «революционный» главнокомандующий, заменяет начальника своего штаба, генерала Рубец-Масальского, человека безличного, но не опасного, матерым черносотенцем, генералом Серебряковым. Масть подтасовывается. Исполнительный комитет должен ясно себе дать в этом отчет и принять немедленные меры.

— Да, принять немедленные меры! — кричат мои однопартийцы из углов и лезут к столу.

— Конечно, — полусмущенно кивает Стеклов, — нам, товарищи, нужно как можно решительнее на это реагировать. Исполнительный комитет не может оставить без внимания это вопиющее игнорирование его постановлений. Надо сейчас же решить...

— Но кто же это будет сейчас здесь решать? — сердито кричит Богданов, обматывая шею шарфом. — Разве не видите, что уже все разошлись? Мир не провалится, если отложим решение по этому вопросу и до завтра.

— Конечно до завтра! — устало хрипит Чхеидзе, надевая пальто.

* *
*

Утро неожиданно выдалось грозным и бурным. К утру наши ребята-однопартийцы через военку и

другими путями подзапаслись еще кое-какими документальными фактами контрреволюционной политики Временного правительства. Стеклову сунули подлинные телеграммы, отправленные штабом на фронт о том, что двоевластие ведет к поражению и надобно-де разогнать банду самозванцев, обнаглевшую в Питере под вывеской Совета депутатов. Я вспомнил недавний разговор Ручкина и ухмыльнулся. Кадетские нити заговора были ясны. Кто-то припомнил заодно и отказ Терещенкой Совету в десятимиллионном фонде на его расходы.

Стеклов первым обрушился на Временное правительство решительно и гневно.

— А вы и о присяге, и о присяге их расскажите! — подзуживал с места Падерин. — Расскажите, как они солдат околпачивают, требуют клятв в верности Временному правительству, ни звуком не упомянув ни о революции, ни о ее завоеваниях.

Стеклова сменил понурый Суханов.

— Да, друзья, теперь очевидно. Контакт, который нами так искренне намечался в февральские дни, разорван теперь откровенно и резко самим же правительством. И по тексту присяги и по телеграммам очевидно, что с ведома правительства Корнилов что-то затевает. Вопрос надо ставить открыто и прямо.

Меньшевики и эсеры растерянно переглядываются. Ведь это же говорит сам премудрый Суханов. Неужели такие слова произносит такой всегда замкнутый, такой осторожный и такой кисло-сладкий певец демократии?!.

— Не горячитесь, товарищи! — тотчас же хрипит Церетели. — В настоящее время, в революции буржуазной мы не можем создать какую-либо иную власть, кроме той буржуазной власти, которая нами уже здесь создана. Если вы не сторонники безответственной аван-

тюры, надо сейчас же мирно сговориться с правительством, надо найти общий язык. У нас уже существует для этой цели специальная контактная комиссия. Пусть рвут с правительством авантюристы. Мы останемся сознательными представителями революционной демократии.

— Ладно, — соглашается смущенно краснеющий Красиков, — мы свергнуть правительство не предлагаем, но ведь и эта контактная болтовня смертельно нам всем надоела. Сегодня товарищи сообщают, что они договорились, а завтра, смотришь, правительство поступает по-своему, наоборот. Если и вести сейчас переговоры с правительством, то только открыто и гласно.

Красикова робко поддерживает, стыдливо как девушка, мигая глазами, большевик Федоров, из рабочих-металлистов. Даже Богданов вынужден затем согласиться, что правительство не уступает ни в чем: ни в присяге, ни в возвращении эмигрантов. Воздух снова воинственно накаляется. И тогда проныристо вылезает коротконогий толстячок в форме военного врача. Это — сам вождь меньшевизма, Дан.

— Эх, товарищи! — укоризненно крутит он длинным носом и насмешливо закатывает припухшие красные глазки. — Ну, пускай этот Красиков вопит здесь о полной гласности таких щекотливых вещей, как переговоры с правительством. Это «делает честь» его сообразительности. Но разве вы-то не понимаете, что переговоры эти, которые коснутся таких интимных проблем, должны вестись абсолютно секретно?! Я понимаю еще, если мы пожелаем, чтобы окончательные результаты этих переговоров были бы официально и полностью нам сообщены; но разве можно делать гласными такие щепетильные вещи, как самые переговоры о власти?

И десятки голов дружно кивают Дану.

— Нэт, — вдруг порывисто и неожиданно взрывается Чхеидзе, — никаких переговоров! Надоело! Хватит!..

И Дан, и Церетели, и лохматый, словно непроспавшийся пудель, Чернов, — все глядят теперь на Чхеидзе с разинутыми ртами.

— Никаких словесных переговоров! — хрипит старик. — Они от всего потом отказываются. Пускай переговоры будут только письменными. Мы изложим им определенные предложения, а они пусть дадут нам письменно же определенные ответы. Иначе они жульничают, и оставаться в дураках я больше ны жилаю.

Собрание нервничает и затягивается. Я оттискиваю Стеклова в сторонку.

— Юрий Михайлович, не забудьте и насчет Петропавловки. Ведь, комендантом-то туда сегодня же пойдет Якубович.

— Эх, голубчик вы мой, — недовольно отмахивается он, — сами видите, разве сейчас до крепости?!.

— Погоди, — останавливает меня высокий и хмурый солдат Борисов, — похоже на то, что нам удастся свалить правительство...

* * *

Дни пошли однообразно. Я оформил свое депутатство в Солдатском совете и стал посещать его заседания. В сорок вторую комнату во дворце старался даже не заходить. Ежедневно читал в жадной тревоге радиограммы всех стран, перехваченные нашей станцией. Попрежнему весь мир хрипел и клокотал в кровавой братоубийственной свалке. Ежесекундно умирали новые тысячи ни в чем неповинных, жизнерадостных, крепких людей. Об этом вечерами задорно, стараясь перекричать друг друга, в холодном надземном эфире гудели синие радиоволны.

Исполнительному комитету попрежнему было не до Петропавловки, внеочередная склока с Временным правительством, приемы делегаций, вечные дрязги с рабочим вопросом и бесконечная цепь всевозможных нужных и ненужных докладов. Однажды, к примеру, выступил с докладом ни с того ни с сего вдруг сам полковник Гущин, председатель Совета офицерских депутатов. Он пришел вместе с Пальчинским и с еще несколькими полковниками из Военной комиссии; зловеще играя черными изломами густых бровей и скаля крепкие зубы, он картинно расписывал о необходимости скорейшего укрепления финского побережья.

— Немецкий десант возле Бьорка неизбежен. Защитить эту полосу возможно лишь артиллерией. Разрешите срочно же, в изъятие вашего постановления о невыходе петроградского гарнизона, отправить туда отсюда и из Царского Села всю имеющуюся артиллерию. Здесь она вам не нужна...

Его слушают, кто внимательно и пристально вглядываясь в его крепкое и хитрое лицо, словно стараясь проникнуть в его тайные мысли, кто доверчиво кивая в такт его словам головой, кто печально о чем-то задумавшись. Пальчинский сидит по правую руку докладчика и равнодушно смотрит через окно на уже обсыхающий сад, но, как и всегда, ничего не прочтешь по этому угловатому, словно из глины сбитому, тугому лицу.

— Вот, — шепчет он мне, поздоровавшись, — Потапов-то наш уезжает в Америку представителем по военным заказам. Говорил я тогда вам: плод созреет и свалится...

Гущин рычит, заклиная Исполнительный комитет немедленно же здесь утвердить и провести в жизнь все выводы из его доклада. Но как будто бы какая-то осенняя паутина затянула все уши. Когда он кончил, люди, лениво зевая, потягивались, устало морщились и нехотя изрекали:

— Да, да, да, конечно... В принципе мы согласны... А конкретно так сразу нельзя. Дайте время, мы здесь обсудим, а там вас уведомим. Ну, вот через нашу Военную комиссию, хотя бы. Там теперь наш Павлович-Красиков у вас представителем.

Гущин ушел, почтительно откланявшись. По упрямым, сомкнутым скулам он был внешне спокоен, и только жидкий блеск его мрачных глаз выдавал все его бешенство. После доклада опять поднялся вопрос о деньгах.

— Исполнительный комитет наш работает, члены его посвящают заседаниям все свое время. Нужно пить и есть, а денег нет. Терещенко не отпускает десятимиллионного фонда. Вообще, — кривится Филипповский, — Терещенко жалуется, что у него у самого нет денег. Правительство дало бы нам их без разговоров, если бы мы ему разрешили и помогли провести внутренний заем. Ну, заем революции, там, или свободы, все равно, одним словом — только заем.

На Филипповского сразу обрушились и замахали руками и Борисов, и Красиков, и даже Суханов. А когда весь этот сумбурный разговор понемногу улегся, я получил, наконец, слово все о той же Петропавловке. В сотый раз я подчеркнул, что правительство ее перевооружает, передав одновременно в руки реакционного офицерства. Постановление Исполнительного комитета о назначении им своего коменданта игнорировано, в первую очередь, самим Керенским, прибегшим в этом вопросе к двурушничеству.

— Осторожней! Нельзя ли без резкостей! — сердито выкрикивает с места офицер Станкевич. И гул поддерживающих его голосов и недоброжелательные взгляды сыпятся на меня отовсюду.

— Нет, наш офицер правильно ставит вопрос, — громким басом, словно из бочки, поддерживает меня обрюзглый солдат большевик Лашевич. — Все эти факты мы можем проверить. Но раз они правильны, вопрос серьезен. Мы

должны поддержать офицера. Он выполняет только наши задания.

— Пусть тогда наша контактная комиссия, — с небрежной снисходительностью поднимается бочком Суханов, — поставит перед Временным правительством в первое же свое заседание этот вопрос во весь его рост и ультимативно потребует выполнения им ранее принятых нами решений.

— Да, да, да, так будет лучше, — кивает большинство.

— А как же быть с Керенским? — задает вопрос Залуцкий.

— Мы обязаны, — поддерживает его Красиков, — потребовать проведения этого в жизнь и от Керенского, тем более, что он все еще считается почему-то нашим товарищем председателя. Пусть товарищ Родионов сообщит ему о нашем категорическом требовании к нему на этот счет.

Чернов, Филипповский и Гоц раздраженно переглядываются.

— Неуместно! — кричит дерзко Сомов.

— Пора кончать! — громыхает в ответ ему Стеклов. — Пора кончать этот бесконечный вопрос. Поручим товарищу офицеру лично передать товарищу Керенскому, что мы категорически остаемся при нашем прежнем решении. Я не сомневаюсь, что Керенский не пойдет на разрыв с нами и выполнит.

— Может быть, повременить этим? — гулко роняет Гвоздев.

— Да ведь Петропавловка-то уже переходит во враждебные нам руки! — грозно раскатывается Стеклов. — Полковник сейчас нам тут расписал все значение артиллерии...

Все зловеще улыбаются.

— Вопрос кончен, — обрезает Чхеидзе. — Поручаем Родионову переговорить с Керенским.

— Выясните с ним тогда кстати, — отвел меня в сторону Гвоздев, — вопрос о дальнейшем заведывании вашим гаражем. Мы нынче согласились уступить его министерству юстиции...

* * *

Гостиная министра юстиции была совершенно пуста. Приема в этот день не было. Когда я прошел из нее в канцелярию, молодой человек приветливо поднялся мне навстречу. По аккуратным подстриженным усикам я сразу узнал в нем Данчича, того приветливого и расторопного помощника присяжного поверенного, который так деловито помогал мне тогда на обыске в особняке Игнатьевой.

— Как я рад, — жал он мне руку, — теперь, знаете ли, сюда прикомандировываюсь, непосредственно к самому Александру Федоровичу. Он это сам мне предложил. — И все лицо Данчича умильно плавает в жирной радости, как в масле блин. — И вот что значит судьба! Оказывается, мне в подчинение переходит ваш гараж Марии Павловны. Разумеется, мы оставляем его попрежнему в вашем заведывании. Вы согласны?.. Я с Александром Федоровичем уже об этом говорил.

Но мне не до гаража, я прошу секретаря поскорее доложить обо мне Керенскому.

— Да ведь он же сегодня не принимает, — пробует возразить тот смущенно. — Он сейчас у себя в своей комнате бреется и тотчас же уезжает.

— Передайте ему, что я на одну лишь минуту и с важным постановлением Исполнительного комитета.

— Да, да, сообщи, — убеждает его Данчич, — пусть он примет, ведь это свой человек.

— Хорошо, — возвращается обратно секретарь, — пройдите прямо через ту дверь кабинета к Александру

Федоровичу в его аппартаменты. — Так почтительнейше и изрек: «в его аппартаменты».

— Прошу меня извинить, — моргнул мне глазами Керенский, доскабливая бритвой выпяченную верхнюю губу.— Я очень спешу. В чем дело, дорогой мой, сообщите.

Двое элегантно расфранченных прапорщиков, молодых и румяненьких, стояли поодаль. Один из них держал полотенце, а другой—флакон с одеколоном. Оба взглянули на меня недовольно. Очевидно, приход мой помешал их веселому разговору, и они теперь досадливо ждали, чтобы я поскорее ушел.

— Садитесь, товарищ офицер, — кивнул мне Керенский, смазывая с бритвы в резиновую чашечку отбритую мыльную пену.

— Я о старом все, господин министр, по поводу злополучной Петропавловской крепости. Я уже был у вас однажды, и вы тогда обещали Исполнительному комитету, что его постановление о назначении меня комендантом будет вами исполнено...

— Боже мой, разве я тогда не все сделал для вас, что было в моих скромных силах?!. Я, как помнится, дал вам даже записку к Гучкову, — нетерпеливо передернулся Керенский.

— Однако, комендантом крепости назначен сейчас Якубович!

— Разве? — жмурится Керенский, вытирая лицо смоченным в одеколоне полотенцем, которое ему почтительно подали прапорщики.

— Ах, все это отлично было согласовано с вами, господин министр! — бросаю я откровенно. — Исполнительному комитету стали известны теперь все ваши секретные по этому вопросу распоряжения.

Он нервно вспрыгивает с кресла и бросает на пол полотенце.

— Что вы хотите от меня?! У меня машина внизу, меня ждут, а вы назойливо врываетесь сюда с какими-то там пустяками! — гневно топает он ногой по ковру так, что сизая пыль взлетает на солнце столбами. И оба прапорщика растерянно вытягиваются в струнку, приклеивая руки по швам.

— Я ничего не хочу, а Исполнительный комитет уполномочил меня передать вам, господин министр, официально, что он категорически настаивает на проведении вами в жизнь его прежних постановлений.

— Ультиматум?!— визгливо подпрыгивает Керенский.— Вы слышите, господа?.. Мне, вождю демократии, они предъявляют ультиматум... — Он нервно дергается, взмахивает руками и навзничь падает в мягкое кресло, на котором только что сидел. — Ах, ах, воды! — бьется он затылком о мягкую спинку, отвесив верхнюю сизую губу и жалобно закатив глаза под лоб. Оба его адъютанта враз кидаются за графином с водой, чуть не стукаясь лбами.

. . . .

— Ну, что, как? Поздравить с успехом? — заботливо встречает меня Данчич, но лицо его сразу же вытягивается, отражая мою свирепую мрачность.

— Я не желаю заведывать вашим гаражом, — бросаю я холодно. — Благоволите как можно скорее принять его от меня. Впрочем, вы-то не сердитесь, — жму я ему участливо протянутую руку, — я просто расстроен. «Остерегайтесь тех, кто на словах исповедует красивые лозунги, но кто не хочет в жизни их исполнить!» Запомните это.

* * *

Все теперь ясно. Я сжег все мосты в Петропавловку окончательно и для себя и для другого революционного офицера. Для революции это проигрыш: цитадель досталась

врагу. Может быть, я зря погорячился? Может быть, надо было действовать похитрее? Какой я простак, что так доверял этой истеричной, насквозь фальшивой балаболке!..

— Тут тебя, Тарасов, какая-то девица Иванова все разыскивает, — остановил меня в Таврическом, в коридоре, прапорщик Яблонский.—Я было думал, что ты тоже в Асторию теперь переехал, оказывается нет... Так вот, ключик, что ли, брал ты у этой Ивановой от какого-то шкапа? И теперь она очень просила тебя вернуть ей этот ключик на время, хотя бы через меня.

— Ключик?.. Ах, да! — вспомнил я про вино. Верно, в кармане кителя все еще валяется забытый мною ключ.— Нà вот, передай!.. А о каком переезде в Асторию ты сейчас говорил?

— Да нашему союзу дали бесплатно десять номеров в этой военной гостинице. Греков и Любарский уже переехали. Я думал, что и ты...

— Ах, помоги мне достать! Мне так необходима комната!.. — хватаюсь я за Яблонского.

— Потолкуй с Синани. Это у него... Только что-то они на тебя, брат, там дуются... — загадочно говорит Яблонский.

Они все были в сборе, когда я вошел к ним в кабинет. Колко взглянули на меня и мрачно, молча, кивнули в ответ на мое радушное «здравствуйте».

— Слышал, что комнаты вы раздобыли, нельзя ли и мне как-нибудь одну? — обратился я к Синани.

Прапорщик вопросительно взглянул на Филипповского, ничего не ответив.

— Видите ли, Тарасов, — начал тот смущенно, — мы вынуждены серьезно поставить вопрос о дальнейшем пребывании вашем в наших рядах. Мы так же, как и вы, не за Временное правительство, а за Исполнительный комитет. Но ваше выступление перед волынцами с пауськи-

ваньем их на офицеров, ваши похождения во дворце Кшесинской, о которых теперь мы узнали, наконец, эти назойливые вылазки в Исполнительном комитете с вопросом о Петропавловке...

— Я проводил в жизнь ваше же постановление...

— Мы неоднократно запрещали вам выступать в Исполнительном комитете и были правы. Вашей несдержанностью вы чуть было не довели до правительственного кризиса... А теперь эта сумасшедшая бешеная демагогия в «Правде»!

— Какая демогогия в «Правде»? — озадачился я тревожно.

— Возмутительная! — вскочил со стула Любарский.

— Не делайте наивных глаз, Тарасов, не притворяйтесь. Пораженческая! — тяжело и спокойно упал из угла чей-то голос.

Я оглянулся. На меня внимательно уставился, положив голову поверх рук на эфес сабли, задумчивый поручик Петров.

— Товарищи, объясните, в чем дело. Уверяю вас, я не успел еще прочесть «Правды».

— Ваш Ленин объявляет всей демократии гражданскую войну! — мрачно пробасил Филипповский. — На̀-те вот, взгляните! — швырнул он газету. — Здесь его тезисы.

Порывисто схватив ее, я стал бегло вполголоса проглатывать слова:

«Война и при новом правительстве Львова и компании безусловно остается грабительской и империалистской войной в силу капиталистического характера этого правительства. Недопустимы ни малейшие уступки революционному оборончеству...»

— Каково?! — вскинулись на меня все.

«На революционную войну, — продолжал читать я, — действительно оправдывающую революционное оборончество, сознательный пролетариат может дать свое согласие

лишь при условии: во-первых, перехода власти в руки пролетариата и примыкающих к нему беднейших частей крестьянства, во-вторых, при отказе от всех аннексий на деле, а не на словах, и, в-третьих, при полном разрыве на деле со всеми интересами капитала... Никакой поддержки Временному правительству, разъяснение полной лживости всех его обещаний, особенно относительно отказа от аннексий. Разоблачение, вместо недопустимого сеющего иллюзии «требования», чтобы это правительство, правительство капиталистов, перестало быть империалистским...»

— Где же тут демагогия? — остановился я и пожал плечами. — Все это каждый давно знал.

— Как вам нравится?! — язвительно окинул всех взглядом Синани. — Значит, отныне мы все здесь — империалисты?!

— Товарищи, — мнусь я, чувствуя на себе колкие враждебные взгляды. — Речь здесь идет о правительстве. А разве сами-то мы по совести не думали в глубине души то же самое. Помните, как мы тайно собрались однажды у Мстиславского и даже решили арестовать Временное правительство.

— Не изворачивайтесь! — раздраженно передергивается Любарский, — тогда было одно положение, теперь другое.

— Вы дальше читайте! Это только цветики, ягодки там впереди, — раздраженно бурчит Филипповский.

«Не парламентская республика, — продолжаю я читать, — возвращение к ней было бы шагом назад, а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране снизу доверху. Замена постоянной армии всеобщим вооружением народа, устранение полиции, армии, чиновничества...»

— Программа саморазгрома! — веско прерывает Петров.

«Конфискация всех помещичьих земель в стране, распоряжение землей через Совет батрацких и крестьянских депутатов...», продолжаю я.

— Благодаря вот этой демагогии, — перебивает Филипповский, — сколько приходится даже нам, социалистам-революционерам, печатать сейчас воззваний к крестьянам, удерживая их от самочинных захватов...

«Не введение социализма, как наша непосредственная задача, — читаю я снова, — а переход тотчас лишь к контролю со стороны Совета рабочих депутатов за общественным производством и распределением продуктов...»

— Хватит, можете не продолжать! — обрывает Синани. — Дальше идут сумасшедшие предложения о разгроме собственной партии, о перемене ее программы и даже названия. «Коммунистическая партия»! Как вам это нравится?!. И о создании еще какого-то нового революционного интернационала, направленного и против «шовинистов» и против центра! Каково?!.

— Что же, логически доведенное до конца бакунинское безрассудство! — язвительно топорщит усы Лащинский.

— И вы, Тарасов, со всем этим согласны? — наступает на меня Филипповский.

— Я еще не обдумывал, товарищи, всего этого так подробно... А затем, что же это?.. Политический допрос?

— Не допрос, а товарищеский обмен мнений. Поскольку вы претендуете на то, чтобы оставаться в наших рядах, — желчно прерывает Петров.

— Что же, — мнусь я, — откровенно говоря, мне многое здесь не совсем понятно. Потом, здесь все так резко...

— Говорите напрямки, какого вы крыла? Ленинского? За немедленный социализм? Или каменевского? За буржуазные рамки?

— Но ведь Ленин сам же здесь пишет, что не предлагает вводить социализм?

— Болтовня, — раздраженно трясется Филипповский,— болтовня! Сам же Ленин пишет, что это является первичными шагами к социализму.

— В таком случае я за Каменева, — говорю я задумчиво.

— Ну вот, это все уж лучше! — облегченно вздыхают все они, переглядываясь между собой.

— Тогда вы обязаны вести себя впредь дисциплинированнее, — заключает Филипповский, — и решительно отмежеваться от анархистского бунтарства Ленина.

— Напрасно вы здесь волнуетесь, — оправдываюсь я сконфуженно, вновь пробегая злополучную газету. — Ведь тут же Ленин ясно говорит о тактике сознательного пролетариата. Чего же вы-то обиделись? Разве вы пролетариат?.. — бормочу я вслух бессознательно и простодушно.

— А вы-то что? Вы-то что за птица? — Снова вскинулись все они на меня. — Чем вы от нас отличаетесь? Уж не вы ли пролетариат?!.

— Нет, я тоже не пролетариат. Так вот, я же о всех нас и сказал...

Уходил я из комнаты с ордером на номер в гостинице «Астория». Как хорошо, что хоть есть теперь куда переехать. А то изволь-ка с семьей... Не зря ли я ее сюда выписал?..

— Смотрю я на вас, Тарасов, — сумрачно басит, провожая меня в двери, Петров, — и вижу, что ходите вы по лезвию ножа. И боюсь я за вас, что вы сковырнетесь... Знаете, кем мы будем с вами тогда?

— ?!.

Он близко придвигается ко мне своим вытянутым бледным скуластым лицом с широко поставленными узкими серыми глазами и, крепко сжимая рукой рукоятку сабли, отчетливо произносит:

— Смертельными врагами!

* * *

Какая-то мучительная тяжесть чего-то нехорошего, сделанного мной, неправильного и позорного, смутно давила меня. В коридоре я еще раз тщательно развернул и разгладил ордер на занятие комнаты в гостинице и медленно засовал его в бумажник. Но это меня не успокоило. Спор в сорок второй комнате и наглые наскоки офицеров потрясли меня до глубины души. Жаловались, что «Ленин объявил гражданскую войну демократии»!.. «Демократия», «свобода», язвительно подумал я про них. Вот она, вся их демократия и вся их свобода! Вот они все, представители тех социалистических партий, которым «должен верить трудовой народ». И я брезгливо вспомнил о брошюрках Любарского. Как мучительно захотелось сейчас же уйти, убежать куда-нибудь от этой подозрительной мелочной опеки, от штабных интриг, от междупартийных склок. И я в нерешительности сел на окно. Но куда, спрашивается, уйти? Неужели к Ленину? Я вспомнил этого скуластого, спокойного, уверенного в себе и хитро посматривающего на врагов, нахрапистого человека, низкого, сутулого, большеголового. «Никакой поддержки правительству!.. Долой иллюзии, что оно перестанет быть империалистским!.. Республика Советов!.. Коммунистическая партия!.. Интернационал!..» Как много во всем этом, однако, бешеного отрыва от действительности! Нет, так резко гнуть нельзя. Каменев прав. Но тут же вспомнился спор мой с Борькой: «Между двумя стульями не усидишь!» Неужели тогда прав Петров, что я хожу по лезвию ножа и должен куда-то сковырнуться? Но если не к Ленину, то куда? Если за Петровым, то дорога ясна. У него все молчаливо, продуманно. Стало быть, или Ручкин и Милюков, или Ленин. Середки нет. Мечта о тактичной середке — это иллюзии, временный самообман, слюнявое мещанское желание как-нибудь оттянуть жестокую четкость революционных

решений. Но разве можно согласиться с Лениным? Ведь войну-то, проклятую войну, куда ее денешь?!. И в ней сейчас весь гвоздь! Если прав Ленин и недопустимы ни малейшие уступки революционному оборончеству, значит — революционное пораженчество. Значит, как говорил Борис, заклепывай пушки и сознательно иди на военный разгром, помогай поражению, предавай фронт и тыл. Но ведь это кошмар!.. Я встаю, потому что весеннее солнышко крепко печет мой затылок через оконные стекла. Я прохожу машинально через весь Екатерининский зал, нервно сам с собой жестикулируя, словно тщетно пытаясь словить хоть бы в воздухе решение и выход из заколдованного круга.

Как окончить войну, вот проклятый вопрос! Как окончить эту треклятую войну, немедленно, без всяких побед, но и без разгрома собственной страны?!. Я иду в кулуары, туда, где широкие лестницы ведут на хоры зала думских заседаний. Я вхожу в этот сумрачный тенистый зал, с матовым стеклянным потолком. Вот высоко вздымается к стенам амфитеатр депутатских пюпитров. Вон резная дубовая трибуна посередине, с которой когда-то я слышал Аладьина в первой Думе, с которой воинственно разжигал теперь солдат на войну и крепко целовался после этого с присяжным поверенным Сомовым знающий свое дело полковник Гущин, с которой вылез и я со своим детским, наивным. мещанским криком о мире. Но как же окончить эту проклятую войну?!.

Возле правых пюпитров, посередке зала стоит кучка людей. Штатские, не то рабочие, не то интеллигенты, две немолодые дамы: одна сухая в пенснэ, другая же тихая, скромная с приветливым, вдумчивым, кругловатым лицом. Она с какой-то деловитой готовностью смотрит на торопливо говорящего о чем-то широкоплечего человека в котиковой шапке и драповом пальто. Ба, да это сам Ленин! Сосредоточенно углубясь в какую-то крепкую мысль, он, не глядя,

скользит своим взглядом по этой внимательно обступившей его кучке людей. Голова его чуть наклонена вперед и набок. Одна рука нервно играет по ноге, зацепившись большим пальцем за брючный карман. В правой руке листочек бумажки, которым он легонько и крепко помахивает, убедительно что-то разъясняя. И, повидимому, все окружившие его немного как бы стыдятся сейчас перед ним своего былого непонимания всего того, что он сейчас так терпеливо и горячо им объясняет, потому что на лицах их плавает зеленоватая тень какого-то смущенного раздумья. Возможно даже, что они и сами-то еще, в конце концов, не знают, то ли соглашаться им во всем и вполне с ним или еще обождать и подумать. И поэтому, когда он кончает, передние из них с подчеркнутой смущенной любезностью порывисто жмут ему руку и так же порывисто стремятся скорей отойти вместе с остальными, стоявшими за их плечами и старавшимися согнать с своих лиц то шаловливое недоумение, то откровенную усмешку. Когда они все отходят, Ленин быстро достает из кармана газету, деловито развертывает ее, живо находит нужное место и, уткнувшись в него, как-то одним глазом, бочком, быстро проглатывает строку за строкой. Тихая скромная круглолицая дама на мгновение поднимает на него свои серые выпуклые глаза, кидает ему какую-то спокойную фразу и также спокойно выходит из зала в кулуары. Он один.

— Простите, товарищ, если я вам помешаю! — робко подхожу я к нему. — Я член нашей партии, состою в военной организации, большевик, офицер. В моей повседневной работе я все время сталкиваюсь сейчас с неразрешимым вопросом о войне.

— Ага, — хмукнул Ленин, не отрываясь от газеты, а потом окинул меня беглым взглядом и на минутку отодвинул газету в сторону.—Что же тут неясного? Я последние дни так много здесь говорил и писал об этом.

— Да, я читал ваши тезисы. Они очень прямолинейны, правдивы и резки.

— Это плохо? — поднял он глаза на меня.

— Нет, не плохо, — сконфузился я. — Хорошо. Но они не дают прямого ответа, как кончить войну.

— То есть как это не дают ответа? — откинулся он вопросительно. — Ответ один: когда Советы рабочих и беднейших крестьян возьмут власть в свои руки.

— Это я тоже читал, и все это мы знаем и разделяем. Нет, как вот сейчас быть с войной? Что нам, военным, делать сейчас на этой войне, пока власть не в руках Советов?

— Ну, товарищ, — раздвинул Ленин руками, — почему же вы ко мне обращаетесь? Это вопрос чисто ваш, профессиональный, военный. Вот здесь как раз и нужен был бы совет именно ваш, наших военных товарищей большевиков, конечно не по линии втыкания штыков, а по линии организации братания, по линии завязывания немедленных связей с действительно революционными течениями среди немецких фронтовых армий. Вот где корень вопроса. Это неизмеримо скорее и проще продвинуло бы колоссально вперед все дело заключения мира.

— Все это справедливо, — согласился я, все еще не удовлетворенный ответом. — Но как быть сейчас, когда ничего этого еще нет? Поскольку не втыкать штык в землю, как вы говорите, то значит обороняться? А отсюда логически следуют и все выводы Каменева, с которыми я соглашался.

— Чепуха! — сердито и размашисто качнулся Ленин, впиваясь глазами в меня. — В армии надо сейчас делать все, чтобы боевые действия объективно стали невозможны и чтобы солдаты поддержали бы захват власти Советами и свержение Временного правительства.

Я вспомнил про Линде.

— Значит, вы за то, чтобы мы сейчас же немедленно взяли власть в наши руки?

— Кто это мы? — насмешливо выпятился Ленин. — Я или вы? Власть возьмут сами Советы, когда мы сумеем создать в них свое большинство из солдат и рабочих. Неужели это не ясно?

Он вскинул правую руку и, горячась стал, размахивать в воздухе своею газетой... Тогда к нему подошли сначала дама, затем другие штатские люди. Они скользнули по мне недоверчивыми взглядами и отвлекли Ленина каким-то вопросом, очевидно сочтя, что к нему пристал враждебный ему офицер.

— Ну, товарищ, спасибо, — сказал я как-то сконфуженно и поклонился ему.

— Вот, вот, вот, — обернулся он снова ко мне, — уясните себе все это как следует и смело продолжайте работу! — И он порывисто и крепко пожал мне руку, положив на мгновенье газету на ближайший пюпитр.

Я взглянул. Газета была английской.

* * *

На следующий день рано утром я переехал в «Асторию». Отвез меня с семьей на автомобиле мой преданный шофер, большевик, от Кшесинской.

— Последний рейс, — сказал я ему. — Теперь у вас будет новый заведующий.

— Нет, — покачал он головой, — и у меня тоже последний рейс. Вечером мы ворочаемся назад к себе на броневики. Пускай Керенского его лизоблюды катают. Тут их много уже развелось. Сегодня приходил от него в гараж какой-то чинушка, так все великокняжеские шоферы повыбежали к нему навстречу. Так и лебезят. Всех их принял.

. . . .

№ 27 в гостинице «Астория» был невелик, но уютен. Большие сплошные зеркальные окна выходят на угол Морской, и солнце бьет в них почти целый день. Ребятишки

мои, взобравшись на подоконники, провожают испуганными глазенками сверкающие автомобили, с мягким шипом проносящиеся по торцовой мостовой на угол к Мариинскому дворцу, в котором обычно заседает Временное правительство. А вечером панели жужжат гуляющими толпами, разряженными по-весеннему в дорогие плотные драпы. На круглый обеденный столик номера лакеи приносят в положенные часы кофе и завтраки, неторопливо скользя по мягким коврам. На обед я попрежнему привожу из Таврического хлеб, консервы и масло, так как обедать в гостинице каждый день дороговато, хотя нам и сделана половинная скидка с карточки. Даже на прачку денег уже нехватает, и жена теперь стала сама стирать ребятишкам белье в ванной при номере.

Однажды, вернувшись из дворца Кшесинской, я застал у себя в комнате сидящим в кресле долговязого размашистого штаб-ротмистра Берса. Он был крайне встревожен, и когда стал говорить, то бледнел, краснел и заикался необычайно. С беднягой случилось несчастье. Якубович принял крепость, и Берс получил сейчас предписание об откомандировании его в распоряжение штаба округа.

— Адье! — перекосился он плачевно. — Выходит, поручик, что всем теперь нам на фронт. А ведь ваш же Стеклов говорил мне, что я останусь помощником коменданта крепости, согласно постановлению Исполнительного комитета. Вот вам и весь ваш комитет!

И во взгляде его бушевали сейчас разочарованная тупая сварливость и молнии вражеских усмешек.

— Ерунда, пойдемте сейчас в Таврический. Исполнительный комитет этого дела так не оставит. Расскажем обо всем Стеклову.

— Да я и сам было так хотел, да не знал, как там у них сейчас... — нерешительно замялся Берс. — Мне кто-то

рассказывал, будто Стеклова уже вышибают оттуда, потому что будто бы он совсем не Стеклов.

— То есть как это не Стеклов? — взглянул я на Берса.

— Будто бы фамилия-то его по-настоящему другая: Нахамкес. Из «ваших»... а не Стеклов.

— Выходит, что и вы тоже из черносотенцев? — осадил я его. — Вы видали Стеклова и поступки все его знаете, разве фамилия меняет дело?

— Почему же тогда газеты теперь пишут про всех так, кто фамилии свои сменил?

Я махнул рукой и не стал объяснять. Даже желание отстаивать Берса теперь совершенно пропало у меня. Но важна ведь не личность, решил я, а важен принцип, и поэтому, пройдя в Исполнительный комитет и оставив Берса у дверей, я тотчас же передал Стеклову о его смещении. Он был и до этого повидимому взбешен, а это сообщение окончательно его разъярило. Он гневно поднял вопрос о Петропавловке. Он упомянул и про инцидент со мной и про фальшь Керенского; он громил всех и вся решительно и горячо. Поэтому почти без прений тут же постановили: предложить Берсу не сдавать должности помощника коменданта до указания Исполнительного комитета. Хотя кой-кто и воздержался от голосования, но большинством это прошло. Юренев воспользовался настроением, чтобы тут же напасть на правительство за то, что оно пальца о палец не ударяет для пропуска эмигрантов из-за границы. Он огласил при этом телеграмму от Мартова о том, что англичане задержали и посадили в концентрационный лагерь возвращавшихся эмигрантов: Чудновского, Троцкого и Мельничанского. Снова все возмутились и постановили опять обратиться к правительству. Затем вновь все зашумели, когда Стеклов стал гневно цитировать статью Шульгина в «Киевлянине», где тот называл Исполнительный комитет

Совета жидовским бедламом во главе с резником Нахамкесом-Стекловым, пьющим христианскую кровь.

— Ничего себе, вот вам и хваленые ваши члены родзянкинского временного комитета! — торжествующе кричали большевики.

Мнения и решения были единогласны: обуздать черную сотню.

— Товарищи! — растерянно и внезапно вбежал Садовский. — Сейчас вот здесь из самых верных источников я узнал, что под влиянием агитации офицеров Волынский полк идет арестовывать товарища Ленина. Исполнительный комитет должен принять срочные меры, чтобы предотвратить это!..

Мгновенно все заволновались, кто встревоженно, кто со злорадством. Чхеидзе предложил выбрать тотчас же делегацию к волынцам. Выкрикнули фамилии: Суханова, Венгерова, солдата Клинчинского и Богданова. Решили, что делегация эта должна немедленно же поехать в полк, рассеять ложные слухи и предотвратить арест.

— Постойте! — ехидно вскинулся Дан через головы других и пролез прямо к столу. — Я предлагаю все же сначала принципиально решить, поскольку этот вопрос у нас все еще оставался открытым, одобряет ли наш Исполнительный комитет приезд этих эмигрантов через Германию? Поскольку же здесь теперь обнаружилось, что большинство нас держится на этот счет отрицательной точки зрения, то и наше заступничество за пораженца Ленина было бы политической авантюрой.

Но Дана задергали, ему закивали и на него зашикали.

— Тогда все же я настаиваю, — не унимался он злобно, — чтобы этот вопрос, прежде чем посылать делегацию в полк, обсудить предварительно здесь, ну, хотя бы завтра на расширенном заседании.

Но его никто не поддерживал.

— Я же настаиваю только на том, — выступил затем Богданов, — чтобы мы, едущие к волынцам, имели бы право освещать весь этот вопрос о пломбированном вагоне исключительно с точки зрения своей совести.

— Ну, разумеется, говорите, что хотите! — сердито отмахнулся Чхеидзе.

— Только смотрите, не арест! Только не арест! — взволнованно кричали остальные.

Я вышел и успокоил Берса, чтобы он ехал к себе, приказу бы не подчинялся и терпеливо ждал событий. В обиду его во всяком случае не дадут. Потому что есть у него крепкий защитник.

— Кто же это? — заинтересовался Берс.

— Да все тот же «Нахамкес».

И Берс стыдливо опустил глаза.

— Остановитесь, поручик! — догнал меня в зале Греков вместе с Алеевым, — так вот, оказывается, какова цена вашим обещаниям?! — взглянул он раздраженно. — Вы дали слово, что бросите ленинские авантюры, а теперь и сами почище откалываете.

— Во-первых, — осадил я его, — никогда ни в чем я вам слов не давал, а во-вторых, говорите определенней, что еще за очередная склока против меня?

— Склока?.. Хороша склока!.. — гневно замахал он руками, собирая толпу любопытных. — Явился от имени Исполнительного комитета к нашему вождю демократии Керенскому и довел его до истерики, до обморока! Гнусность! — взорвался он яростно. — Мы этого вам не простим! Мы вышвырнем вас за это вон из политики, как и вашего Ленина! Всю вашу работу мы отлично видим теперь. Вчера ваш пломбированный вождь изволил митинговать в Измайловском полку, требуя свержения правительства, а большевистская ваша фракция сегодня в Совете постановила провалить заем свободы. Все честные люди бегут из

большевистской партии. Возьмите хоть того же прапорщика Севрука! Скоро останется кучка бандитов и один Ленин...

— Насчет Ленина, — язвительно усмехаясь и спокойно раскачиваясь, вставил Алеев, — лейб-гвардии Волынский полк уже постановил сегодня утром немедленно его арестовать.

— А насчет вас... — бессильною злобой затрясся Греков. Потом сделал грозный жест рукою и свернул задумчиво голову на-бок. — Да, мы тоже этого так не оставим!.. Мы это обсудим!.. Это наш долг! — И, круто повернувшись, он пошел из зала в коридор вместе с кичливо оглядывающимся Алеевым.

* * *

Когда я возвращался по Невскому, был вечер. Широкие, лиловые от сумерек панели уже расцветали огневыми сияниями зеркальных своих магазинных витрин и гудели от выползшей на улицу толпы. Но это не была гуляющая публика. Среди котелков и фетровых шляп и дамских шляпок с лентами и птичками тут же сновали и замызганные в казармах папахи солдат и чумазые картузы рабочих. Там и сям митингующие кучки мешали плавному движению гуляк.

— Ага! Вот он, немецкий шпион! — завизжала вдруг пудреная барынька, и изящная родинка-мушка запрыгала возле ее чересчур пунцовых губ. — Господа! Держите немецкого шпиона! Значит вы теперь против Временного правительства?!. Вы за Ленина?! Фронт хотите Вильгельму открыть?!.

— Причем же тут фронт, госпожа ты наша сударыня? — спокойно сплевывал в сторону разухабистый матрос. — Нам фронт открывать ни к чему. Ежели кто фронт и откроет, так это как бы не скорей твои генералы. А что Ленин правду

нам сказал, так это, гражданочка, сущая истина, потому сознательности в тебе, как вон в той тумбе...

— Господа! Это хулиганство! Это оскорбление!..

— Ах, так вы за Ленина?! — набросились на матроса котелки, и все кругом зашумело и закричало: — Милиционер! Милиционер! Скорей сюда! Немецкого шпиона поймали, переряженный!..

Встревоженный студент, стоявший на углу с винтовкой за плечом и с белой повязкой на рукаве, поспешно кинулся на панель.

— Вот, держите, господин, этого матроса, шпиона. Немедленно его арестуйте и ведите в штаб его, а то на Садовую к коменданту.

Огромная толпа лощеных драпов, облепив незадачливого моряка, поволокла его за угол к коменданту.

. . . .

По лестнице «Астории» навстречу мне, по-военному откидывая ноги, в разутюженных длинных офицерских брюках спускался в сопровождении какого-то штатского старикашки Любарский. Он презрительно взглянул на меня и не поклонился.

— Нет, знаете ли, — цедил он спесиво через зубы, — нет меньше пяти тысяч за ваше дело я взять не могу. Я так сейчас перегружен солидными исковыми делами, что наднях отказал даже Александру Федоровичу Керенскому. Он очень просил меня принять одно дело, там гонорар был десять тысяч, и я не взялся, — времени нет. Исключительно только из уважения к вашей старой фирме я соглашаюсь взять пять тысяч.

ГЛАВА XVIII.

Однажды утром в коридорах Таврического дворца меня поймал взволнованный капитан Родер и стремительно протянул свеже напечатанный приказ генерала Корнилова о переходе всех радиостанций в подчинение исключительно военному округу.

— Ну, так что же? — спросил я, ничего не поняв.

— Закрываем, выходит, нашу лавочку... Хотел только вас об этом предупредить, — пожал он сокрушенно плечами.

— Как закрываем?!.

Лечу в Исполнительный комитет. Объявляю, что Корнилов отбирает нашу радиостанцию себе. Помахиваю генеральским приказом.

— Безобразие!..Недоразумение!..Не может этого быть!.. Чепуха!.. Ерунда!.. — словом, повскакали с мест все. — Надо это дело уладить.

Срочно выбрали двоих — Скобелева и меня, наделив неограниченными полномочиями, лишь бы добиться у Корнилова во что бы то ни стало отмены его приказа.

Мы прихватили с собою на всякий случай и капитана Родера, которого оставили у Корнилова в приемной.

Генерал принял нас тотчас же. Приветливо поздоровавшись, он уселся вместе с нами в кабинете и приготовился почтительно слушать. Скобелев начал жалобой о том, что

без радиостанции, как без рук, что ничего опасного мы не передаем, что приказ является досадной и ненужной формальностью и тому подобное.

Корнилов умел слушать, и только где-то в глубине его узких глаз змеилась лукавая усмешка. Когда Скобелев кончил, генерал глубокомысленно сдвинул азиатские брови и скрипуче, как немазанная телега, начал нас убеждать, что наша радиостанция плохо ведет себя, по ее частым позывам путем засечек неприятелю не стоит труда определить ее расположение и тем самым раскрыть эту военную тайну.

Поймав беспомощный взгляд Скобелева, я почтительно заметил генералу, что путем засечек легко определить местоположение любой радиостанции, независимо от того, кому она подчинена, а во-вторых, никакой тайны нет в том, что радиостанция находится в Петербурге.

— Я не все еще успел вам сказать, — спохватился генерал, — беда в том, что радиостанция ваша перекликается со всеми радиостанциями фронта, и поскольку те корпусные и дивизионные радиостанции ей отвечают, противник путем засечек узнает о расположениях всех этих штабов. Вот в чем беда.

— Но ведь и перейдя в распоряжение военного штаба наша радиостанция попрежнему будет вызывать радиостанции фронта, и те будут ей откликаться.

— Ах, вы меня не дослушали! — с досадой передернулся Корнилов. — Дело в том, что те, откликаясь, совершенно не соблюдали шифра. Когда ваша радиостанция перейдет в ведение моего штаба, этого не будет.

— Так ведь не соблюдаем шифр не мы, а фронтовые. Разве ваш приказ о нашем новом подчинении поможет делу?

— Вот видите ли, — обрадовался Скобелев. — И мы очень просим вас, весь Исполнительный комитет просит вас, генерал, радиостанцию оставить у нас.

— Это совершенно невозможно! — раздраженно вскочил Корнилов с кресла. — Это невозможно хотя бы потому, что военный приказ не может быть отменен без потери престижа власти. Это вам подтвердит и господин поручик.

Я встал и решительно подошел к генералу, потому что Скобелев уже потух, замялся и робко мял свою шапку, готовясь ее надевать.

— Разрешите тогда дополнить, господин генерал. Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов категорически постановил сейчас воспротивиться выполнению вашего приказа всеми силами, вплоть до вооруженных включительно. Полковые комитеты подчинены Совету, генерал. Не забывайте этого.

Я пристально и спокойно гляжу в киргизские глаза этого военного плута. Блеск беспощадной и вместе с тем бессильной мстительной злобы сверкает на одно мгновение в его черных зрачках. Затем генерал топит в усах злую усмешку, небрежно барабанит по столу и опускает глаза на бумаги.

— Ну, зачем же так обострять? Я всегда за контакт. Только посоветуйте мне, ради бога, что же делать?

На звонок его входит начальник штаба, седой и круглый генерал-майор Рубец-Масальский. Корнилов торопливо что-то бормочет ему, отходя к окну, и Масальский почтительно кивает, а затем смущенно опускает глаза.

— Вот видите, — обращается к нам Корнилов, — и начальник штаба не видит выхода. Может быть, вы разрешите сделать так: приказ пусть останется в силе на бумаге. На деле же радиостанция попрежнему будет в ваших руках, а чтобы согласовать эти две разных вещи, я назначу своим приказом начальником ее того же, кто заведует ею и сейчас у вас.

— Ну, что же, — соглашается Скобелев, — я думаю, что временно мы на это согласимся.

— Хорошо, — отвечаю я Корнилову, — назначайте капитана Родера. Он здесь у вас, в приемной.

Скобелев был искренне доволен достигнутым успехом: радиостанция фактически оставалась у нас. Он помчался в Таврический дворец порадовать этим всех остальных. Мне пришлось пройти к Рубец-Масальскому для средактирования нового приказа.

— Вот, — обратился ко мне генерал, притворив за собой дверь в кабинет Корнилова и тревожно оглядываясь,— вот изволите ль видеть, наш Лавр Георгиевич, он всегда такой, начудит, накуралесит, а потом изволь нам расхлебывать. А попробуйте заранее предупредить,— смертельно возненавидит. Вот через подобные случаи ваш покорный слуга, искренне преданный революции, высылается из Питера на румынский фронт. Я старый служака, я поеду, а все-таки, знаете, господин поручик, горько и обидно. Вот взгляните, — и он достает из ящика письменного стола широкую малиновую муаровую ленту с белыми каемками,— это у нас в армии было празднование революции, и мне солдаты ее преподнесли. В этой самой ленте я принимал первый революционный парад. И что же в награду за это! — Он махнул беспомощно рукой и, оглянувшись на дверь, добавил шопотком: — Может быть, господин поручик, не откажете замолвить словцо за меня, там, у себя, в Исполнительном комитете. По сути дела только от вас там все и зависит.

* * *

Еще подходя к особняку Кшесинской, я заметил и возле Троицкого моста и на углу возле римской беседки из глянцевых кремовых кирпичиков шумливые кучки народа. Ожесточенные выкрики споров доносились оттуда, но я не обратил на это должного внимания. После того ареста матроса толпою на Невском, свидетелем чему я уже был,

эти безобидные словесные схватки казались теперь детскими пустяками.

В первом этаже особняка еще усиленней прежнего шла отправка газеты «Правды». Бесконечные вереницы солдат шумно толпились в этой большой комнате, покупая для своих рот и газеты и брошюрки. В коридорах второго этажа было тихо. Двери с записочками: «Бюро ЦК», «Секретариат ПК» были теперь закрыты, и в них никто не входил. А ведь еще так недавно к этим дверям подбегали сосредоточенно-нахмуренные люди, отбивали условленные стуки, шмыгали внутрь комнат, когда двери на стук открывались, и затем, по старой подпольной привычке, «делали явку». Для этого надо было, вбежав в комнату, поймать нужного товарища за пуговицу и отвести его в угол, где и шептаться с ним, стоя все время на ногах от пяти минут и до получаса, в зависимости от сложности дела. Правда, в комнате были стулья, можно было бы сесть на них и побеседовать поделовому, не шепчась, но долгими годами выработалась уже привычка вести переговоры на-ходу, чтобы не выдать ни себя, ни товарища, так как малейший промах в этом деле грозил каких-нибудь полтора месяца тому назад многолетней тюрьмой, а то и ссылкой.

В канцелярии военки попрежнему копошился в списках и письмах секретарь Костя Мехоношин.

— Вот, — сказал он мне встревоженно, — броневые машины Корнилов убирает от нас, остаемся мы теперь без охраны. А вы видели, что на улицах творится?

— Ничего, — успокаивал его высокий плечистый солдат Беляков с седоватою гривой, так не по-солдатски выбивавшейся из-под его блиновидной фуражки, — ничего, Мехоношин, мы вот обсудим здесь на нашем ближайшем общем собрании членов военки и организуем тогда свой караул. А то действительно, буржуйчики закусили удила. Куда ни пойдешь по улице, как мухи жужжат: «Ленин по-

слан немцами». «Вот погодите, двадцать третьего будет погромчик. Это большевистское осиное гнездо, что у Кшесинской, вдребезги разнесут...» Нет каково нахальство! Даже срок назначают!..

— Ерунда, почешут языки и угомонятся, — снисходительно усмехнулся солдат Черепанов, приземистый и изможденный, все время принимавший в организации военки деятельное участие.

— Нет, так просто не угомонятся,—деловито вставил рассудительный Тер-Арутюнянц и воинственно тряхнул своими пышными и длинными, как у дьякона, черными волосами.

— А не угомонятся, тогда мы сами сумеем их по-своему угомонить. Так-то, товарищ прапорщик! — и Черепанов воинственно хлопнул Тер-Арутюнянца по его золоченому погону.

Посоветоваться о Петропавловке, о Корнилове и о Керенском сейчас здесь было не с кем. Из старших в военке никого не было. Шла общегородская партийная конференция, и все главари были там. Только спускаясь уже вниз по лестнице, я встретил Богдатьева в сопровождении наших партийцев, солдат из Таврического: Линде, Садовского и Борисова.

— Что тут, погром, что ли, какой?—шутливо перехватил меня Садовский. — На конференции вчера даже вопрос специальный разбирали о погромной травле против нас, а вот сегодня Сергей, — и он кивнул на Богдатьева, — настропалился сюда бумаги какие-то свои спасать. Ему, брат, теперь везде разгромы чудятся, после того как сегодня Ленин ему и Каменеву полный разгром учинил.

— Ну-с, мы еще не сдадимся! — сердито окрысился Линде, а Богдатьев, не останавливаясь, презрительно передернул молча плечами.

— Чепуху Ленин твой нес изрядную, — прохрипел высокий плоскогрудый Борисов. — Мы, грит, буржуазную революцию закончили: у нас уже есть Совет, необходимо

только, чтобы эта рабоче-крестьянская диктатура поскорее бы теперь разглядела всю неверность своего союза с буржуазией, а поэтому надо. дескать, итти в массы и проповедывать диктатуру пролетариата.

— Ну, и что ж? — усмехнулся Садовский.

— Да то, что буржуазная революция вовсе не кончилась. В этом самом основном прав Каменев, а не Ленин. У Ленина ставка на нашу революцию как на начало всемирной пролетарской социалистической революции, и в этом его коренная ошибка. Вон Сергей правильно заметил в своей речи, что мы ни о социализме, ни о национализации земли в эту революцию и не мечтали. По-моему тоже, правильней было бы насчет социализма не зарываться, а довольствоваться тем, что осталось еще под носом. Через мелкую буржуазию не перепрыгнешь. Надо давить на Временное правительство и разбавить его в случае его упорства представителями из среды демократии. Другого пути нет,— и Борисов даже откашлялся с натуги.

— Послушай, Сергей, — дернул Линде за локоть Богдатьева, — почему ты голосовал за Каменева? Разве ленинский лозунг свержения Временного правительства дезорганизует сейчас революцию? По-моему, наоборот, Ленин мямлит. Зачем тянуть до перевыборов Совета? Все равно, мирным путем Совет большевистским не сделаешь. Тут надо стукнуть по Временному правительству и помимо Совета.

Богдатьев нервно потеребил свою русую бородку. — Логично,— процедил он через зубы. — Конечно, раз лозунг «долой Временное правительство» сейчас верен, тогда его действительно надо немедленно же свергать; а вдруг этот лозунг не верен? Почему бы и не поддержать Временное правительство хотя бы в его борьбе с монархистами...

— В его борьбе с монархистами?!. — озадачился я, влезая в разговор.

— А почему бы и не так? Докажите... — насупил брови Борисов.

— Я сейчас докажу, — начал было я, поднявшись вместе с ними снова наверх. Но в это время какой-то старый рабочий уже успел поймать Богдатьева у самой двери в секретариат ПК.

— На-ка вот, товарищ, это с нашего старого Парвиайнена резолюция. Расстарайся, чтобы в «Правде» ее завтра же напечатали. Видишь ты, тут, — и рабочий начал водить закорузлым грязным пальцем по мятому клочку бумаги, — видишь, как мы тут накомарили: «Совет, опирающийся на революционный пролетариат, должен положить конец войне, приносящей выгоды только капиталистам и помещикам и ослабляющей силы революционного народа».

— Совет, Совет, — передразнил Богдатьев, — а что ты тут поделаешь, когда вот этот самый твой Совет не хочет класть конец войне? Тогда что? Топтаться на месте?..

— Я знаю, Сергей, что тогда! — воинственно выпрямился и сверкнул глазами Линде. — Ни Каменев и ни Ленин — каждый по-своему — не правы. Правительство надо немедленно свергать и без всяких там... Советов.

— Вот что, — потащил меня в угол коридора Садовский. — Там, в Таврическом, в сорок второй комнате, твои офицеры-республиканцы что-то недоброе затевают против тебя. Гадости какие-то распространяют... Ты не брал у них какого-то там вина?..

— Вина?.. — и густая краска залила сразу мне лицо.

— Ну, одним словом, они распускают в Исполнительном комитете про тебя темные слухи, вообще какая-то грязная история, ты разберись. Меня просили наши предупредить тебя.

Тревожное предчувствие мгновенно сдавило мне сердце.

* * *

Еще дорогой в Таврический я определенно решил итти напрямки и поэтому сейчас направился в сорок вторую комнату. Там меня встретили молчаливыми и чуть-чуть насмешливыми взглядами. Синани сосредоточенно писал и, заметив мой приход, нарочно не поднял головы. Любарский сидел на столе и, торжествующе извиваясь губами, покачивал ногой.

— Товарищи, я пришел выяснить, в чем тут дело? Какие грязные сплетни?..

— На воре шапка горит, — разом откинулся Синани. — Ничего особенного, милейший поручик, поступило к нам заявленьице, мы этому заявленьицу дали определенный ход. Мы поручили Любарскому и Алееву все это дело выяснить. Только вы сами, надеюсь, понимаете теперь, что после того как вы все это наделали, вам во избежание грязного скандала остается только одно: немедленно и навсегда удалиться от всякой политической деятельности.

— И, конечно, — ухмыльнулся Любарский, доставая папироску из серебряного портсигара, — теперь вам уже не придется ни заведывать радио, ни мечтать о Петропавловской крепости. Вообще распроститесь со всем.

— Этого еще мало, товарищи, — незаметно подошел сзади меня прапорщик Алеев, — это все, как оказывается, еще пустяки. Я вот сейчас получил сведения и о том, что поручик пытался ограбить дворец Марии Павловны.

— Грязные инсинуации! — плюнул я брезгливо, еле сдерживая себя. — Не делает чести вам, господа, тайком копаться в этих придуманных помоях. Скандала я не испугаюсь, а грязь запачкает только того, кто ее выдумывает и создает. Я требую гласного расследования всех возводимых вами на меня обвинений, неся полную ответственность за все свои поступки и зная, что ничего нехорошего я не делал.

— Ах, вот как? Ну, уж, знаете ли, это нагло. А что вы скажете насчет этого вот? — И Синани протянул мне убористо исписанный лист бумаги.

Сотрудница продовольственной комиссии Иванова заявляла в нем о том, что, получив заведывание радиотелеграфной комнатой, я взял у нее ключ к шкапу, где сохранялось привезенное когда-то вино, и теперь, когда я вернул ей ключ, она обнаружила, что во время моего заведывания этим шкапом более двадцати бутылок водки бесследно исчезло. Об этом позорном явлении она считает своим долгом уведомить Союз офицеров-республиканцев.

— Каково? — усмехнулся Синани, когда я прочел. — Что вы скажете на все это?

— Повторяю только то, что уже сказал. Водки я не пью совсем и не брал. А вина я взял четыре-пять бутылок, то, что мы вместе, помните, тогда выпили. Изберите комиссию, и пусть она подробно и гласно все это расследует. Вот и все.

Я тотчас же направился в комнату продовольственной комиссии, но Ивановой там не застал. Были подруги ее: Кокорина и Давыдова. Были студенты-психоневрологи: Лесновский и Иоффе. Девушки мне подтвердили, что Иванова вчера действительно подавала заявление в Союз офицеров-республиканцев, и они сами были свидетельницами, как вчера целый день к Ивановой приставали за этим Любарский и комендантский адъютант прапорщик Алеев.

— А лучше вы расспросите про все самое Иванову. Она придет нынче вечером.

Теряясь в догадках относительно причин всей этой грязной выдумки, я терпеливо дождался прихода Ивановой. Посадив ее на отдаленное окно коридора, я спросил ее в упор, напрямки, как не стыдно было ей писать всю эту гадость, и девушка потупила глаза.

— Ах, поручик, пожалуйста, вы меня не упрекайте! Ну, что же я смогла бы здесь поделать? Вы знаете,

с тех пор как ключ от этого злосчастного шкапа попал к вам, прапорщик Алеев дня не давал мне прохода, все требовал, чтобы я дала ему вина. Ну, а когда вы отдали ключ, и я отперла шкап как раз вместе с Алеевым, я невольно подпрыгнула, увидав, что вина стало мало. Он сейчас же и придерись: как, что и почему? Я-то ведь знаю, что вино из запертого шкапа пропадало еще и тогда, когда ключ был у меня. Ясно, что вино и теперь воровал этот Прохоров, через подобранный ключ, как и прежде. Сначала я растерялась. Алеев за это ухватился, но я тут же ему все объяснила и уверяла, что уж вы-то во всяком случае здесь не при чем. А вчера он с Любарским вместе пристали: либо, говорят, ты сейчас же напишешь нам заявление, что вино похитил Тарасов, либо мы потребуем следствия над тобой и посадим тебя на скамью подсудимых, выгнав со службы. Ну, что же мне оставалось делать?!. — И она заплакала.

Я успокоил ее и убедил, что никаких угроз не следует бояться, а затем попросил ее тут же написать подробно все то, что она только что мне рассказала со ссылкою и на свидетелей всего этого разговора с нею Любарского и Алеева, если только таковые свидетели были.

— Как же, как же, были, и Кокорина, и Давыдова, и Лесновский, и Иоффе...

— Тогда пусть они не откажутся расписаться на вашем письменном заявлении, подтверждая тем самым его. Идет?

— Идет, — вздохнула Иванова облегченно, и глазки ее приветливо сверкнули.

На утро я уже получил от нее написанное на машинке заявление, подписанное ею и студентами-психоневрологами Лесновским и Иоффе.

В коридоре я поймал Филипповского.

— Вы знаете, Василий Николаевич, что в нашем союзе против меня началась лживая грязная травля?

— Вы полагаете, что это только травля? — спокойно остановился он.

— Для того чтобы разоблачить ее лживость, — ответил я, — я уже потребовал назначения комиссии и хотел бы, чтобы расследование этого дела было поручено людям вполне безупречным и главное вполне объективным.

Президиум офицеров-республиканцев был в сборе.

— Какие еще могут быть тут беспристрастные расследования, — насмешливо откинулся Синани, — раз у нас налицо имеется здесь официальное заявление потерпевшей?

— А у меня имеется налицо, — вынул я из кармана бумагу, — последующее другое заявление той же потерпевшей совершенно противоположного содержания.

— Какое? — покраснев, как рак, сорвался с дивана Любарский.

Я положил заявление на стол, и Любарский с Алеевым жадно пригнулись к нему.

— Гнусность!.. Ложь!.. Подтасовка!.. — взорвались они. — Да, теперь этого дела так оставить нельзя, мы тоже требуем полного и нелицеприятного расследования.

— В первую очередь, настаиваю на этом я, — оборвал я их, — с тем, чтобы негодяев вышвырнуть отсюда за порог.

— Осторожней, товарищ, — встал с дивана, громыхнув саблей, поручик Петров. — Пока здесь еще не было и нет негодяев. В среде негодяев я не работаю. Назначим комиссию, она выяснит все беспристрастно, и тогда мы сумеем найти нужный язык для наших решений, пока же поменьше страстей.

Расследование всей этой кляузы поручили комиссии во главе с прапорщиком Яблонским.

Я постарался сходить в тот же день и во дворец Марии Павловны, чтобы предупредить те происки, о которых заикнулся Алеев. Главный смотритель дворца охотно выдал мне удостоверение о том, что я поселился у них вполне законно,

честно охранял гараж и никаких угроз и нехороших намерений в бытность свою в дворце не проявлял.

— А ведь и верно, — сказал мне смотритель, выдавая эту бумажку, — действительно приходил ко мне какой-то прапорщик, остроносый такой, чернявый (Алеев, — догадался я). Он уверял меня, господин офицер, что будто бы вы большевик, и все просил меня подписать ему заявление, что вы себя здесь скверно вели. Да с какой же стати я-то?!. Столько лет верой и правдой великой княгине служил, да чтобы на старости лет стал бы я душою кривить...

* * *

В военке, в молочно-глянцевом особняке Кшесинской, работы теперь прибавилось против прежнего втрое. Прежде всего начала выходить ежедневная «Солдатская правда». Подвойский буквально млел теперь от счастья, летая по коридорам со свежими номерами созданной им газеты. Несмотря на изрядную свою сумбурность, этот неутомимый человек успевал заправлять и газетой и военкой, не пропуская при этом и службы своей в «Союзе городов». Прибавившуюся в военке большую организационную работу, как-то: налаживание ячеек по полкам, завязывание связей с новыми полками как в Питере, так и на фронте, снабжение наших военных организаций газетами и агитационной литературой, — взяли теперь на себя отчасти также и Черепанов с Мехоношиным, причем последний вследствие этого передал свое секретарство в военке молодому молчаливо-ласковому и старательному помощнику своему солдату Тобиасу. А по «Солдатской правде» Подвойский запряг себе в помощь только что вернувшегося из Гельсингфорса тихонького, румяного и пухленького прапорщика Женевского.

— Слыхали? — радостно хлопал Женевский своими серыми глазками, обрадованно пожимая мне руку. —

В Гельсингфорсе-то мы как! Всю матросскую массу на наш большевистский лад настроили. Свою газету «Волну» наладили. Меньшевиков с эсерами со всех позиций сбили.

— Это действительно не вредно, — похвалил я его и усмехнулся, вспомнив про Борьку. Вот, наверное, парень ругается. Так ему и надо.

— А сейчас вот «Солдатскую правду» двигаем, — так же восторженно продолжал Женевский, даже облизываясь. — Подписка в гарнизоне растет буквально по часам. Но что самое важное: кипы отправляем на фронт. А какие благодарственные письма от солдат мы начали сейчас получать, если б вы знали! Пройдемте-ка вниз ко мне, я вам покажу. Ну, просто сердце радуется. Одна вот беда: офицеры-паршивцы в штабах газету перехватывают и уничтожают. Ну, да мы теперь иначе и покрепче начали налаживать связи. Многие из наших ребят разъехались сейчас на фронт по полкам и повезли с собой литературу. Готовимся созвать всероссийскую конференцию наших большевистских военных организаций. Одним словом, работы — непочатый край. Жаль только, рук нехватает.

— Это не к нему ли вы подбираетесь? — шутливо накинулся на него вынырнувший откуда-то Невский. — Нет, он уже у нас на учете. Да, да, товарищ, — стремительно повернулся он ко мне. — Мы сейчас вас впряжем. Вы ведь числитесь у нас, имейте в виду, ответственным агитатором. Летите-ка вот немедленно на общегородскую нашу конференцию и срочно тащите оттуда с собою Зиновьева. Через час в Михайловском манеже начинается солдатский митинг в броневом дивизионе. Будут лучшие силы меньшевиков и эсеров, а здесь вот, как на зло, сейчас собирается экстренное заседание военки. Ведь вы знаете, какая агитация началась по полкам против Ленина!.. Затем нам предстоит еще обсудить здесь первомайские лозунги: восемнадцатое апреля на носу. Раньше девяти мне никак отсюда не освободиться, а

в Михайловском манеже сегодня решится вопрос, с кем будут броневики, с нами или с ними. Я уже отправил в манеж и Рошаля и Раскольникова, и вы тоже должны там выступить обязательно, такова партийная вам директива. Но на-те вот вам эту записочку к Зиновьеву и помните: без него туда не приезжайте.

* * *

Я летел бегом, чтобы успеть, благо конференция заседала неподалеку на Петроградской стороне в большом и мрачно-сером правительственном здании не то школы, не то института. Я угадал в перерыв. Делегаты конференции: усатые рабочие с питерских заводов, в пиджаках наспех надетых поверх засаленных черных и синих рубах, учащиеся юнцы с пряжками на кожаных поясах, работающие в только что налаживающихся районных комитетах, дветри работницы в платках, человек пять солдат, лица которых я встречал в военке, и та закаленная испытанная большевистская гвардия, которую всегда можно было узнать по небритым щекам, по острым и вместе с тем задумавшимся глазам, по мятым шляпам и по вытертым рукавам и карманам на поношенных пальто, побывавших и в тюрьмах и в сибирской тайге, — вся эта партийная семья гулко тараторила сейчас меж собою, рассевшись кучками на скамьях и партах этой большой серой комнаты класса и обмениваясь впечатлениями о заседании.

— А ловко, — усмехнулся один, с темными усами, пуская из носа струи папиросного дыма. — Теперь он пошел напопятный, после того как Ильич ему накидал, и обе его поправки мы провалили.

— Ничего не напопятный, — сердито затряс узким хвостиком рыжей бородки высокий сутулый интеллигент с острым носом и впалыми щеками.—Погодите, что-то еще нам скажет Всероссийская конференция!.. А по-моему, Каменев

во всем прав. Раз свергать Временное правительство у теперешнего Совета руки коротки, незачем тогда и выдвигать этот лозунг, надо мириться пока и с контролем над правительством... Нет, он всегда был реальным политиком.

— Это ваш Каменев-то был реальным политиком? — усмехнулся третий. — Хорош «реальный политик»! В «Правде» без Ленина до оборонческих статей докатился, а по отношению к правительству, что ни вопрос, то — в лужу.

— Нет, товарищи, насчет правительства ему с самого начала революции не повезло, — ухмыльнулись темные усы. — Он еще из Ачинска сумел сюда Михаилу Романову приветственную телеграмму запалить в благодарность, видите ль, за великокняжеское великодушное отречение.

— Хорошо великодушие! — громко рассмеялся один из близстоящих солдат, — когда мы его императорскому высочеству здесь фалдочки штыком пришпилили!

— Плехановские сплетни! — огрызнулся Богдатьев, усердно что-то записывавший рядом в блокнот.

— Ну, с кем промашки не бывает? — недовольно скривилась рыжеватая бородка. — Да и как он в Сибири мог знать, что тут у вас происходит...

— Где тут Зиновьев? — спросил я Богдатьева.

— К нему, брат, нельзя, — откинулся он. — Он по коридору тут вторая дверь налево. Там совещание президиума.

Я нерешительно оглянул опустевший теперь большой конторский стол рядом с черною классной доской в конце класса, окруженный отодвинутыми стульями, и двинулся в коридор к указанной мне двери, постучался и отворил. Сталин сидел спиною ко мне у стола, оглянулся на миг вскинутыми в задумчивости бровями и выжидательно наморщил лоб. Ленин в это время, повидимому, внимательно слушал, поставив ногу на стул. Каменев сидел на другом конце стола и, глубокомысленно насупив свисшие рыжие усы, что-то

писал. Других присутствовавших я еще не знал по фамилиям и не обратил на них внимания. Я прямо подошел к Зиновьеву, с увлечением что-то рассказывавшему, и робко протянул ему записку Невского. Он тоскливо наморщил острые скулы, словно съел три лимона, и болезненно склонил на-бок свою артистическую голову.

— Не могу! — пискнул он, возвращая мне бумажку.

— Но без вас я не могу уходить. Митинг важный броневого дивизиона, и ваше выступление там настоятельно необходимо, — замялся я растерянно.

— Я и так еле здесь сижу, я болен, — и, выхватив из жилетного кармана вечную ручку, он быстро накидал ответ Невскому. — Я думаю, что мне нельзя уезжать, — вопросительно взглянул он на Ленина.

— Ничего, пусть сами приучаются! — добродушно кивнул тот на меня. — На то и большевик-офицер, чтобы на солдатских митингах выступать.

— Но кто ж тогда вас-то заменит? — снова дернулся я к Зиновьеву.

— Шагай, шагай! — шутливо закивал мне на дверь Сталин. — А то еще на митинг опоздаешь.

Я быстро вышел, добежал по пустынному тротуару до проспекта, и на третьем углу нашел, наконец, извозчика, которого и нанял, так как действительно испугался опоздать. Голубые сумерки заволакивали город. «Какая честь! — думал я, трясясь в извозчичьей пролетке по разбитой теперь мостовой великого революционного города. — Лишь бы не подкачать. Мне поручено заменить сейчас собою Зиновьева. Дело идет о броневиках для революции». И я вспомнил о первых днях мятежного Февраля, о броневике «Олег», об лучеглазом Айе и колючебородом Николаеве, о подпоручике Филоненко и о золоченых крыльях черных пантер, зловеще присевших сзади Государственного банка.

— Скорей, извозчик, скорей!

* * *

Михайловский манеж гудел необъятной солдатской толпой. Белые шары электрических фонарей ослепительно шипели и все же не могли осветить дальних углов этого огромного, утонувшего в сизой мгле, бетонного сарая. Вдоль его мрачных стен тускло поблескивали плоскими круглыми крышами пулеметных панцырных башен вереницы начищенных броневиков. Меж острыми ресницами бойниц торчали пулеметные рыльца. Шумная толпа сгрудилась перед большим деревянным помостом, сколоченным посередине манежа. Я отыскал Рошаля с Раскольниковым, стоящих в сторонке с небольшою, но тесною кучкой солдат, из которой приветливо сверкнули мне радостные глаза Айи.

— Ишь ты, поручик, — размашисто хлопнул он меня по ладони. — А я было думал, на фронт уже тебя угнали.

— А здесь что же, не фронт, что ли? — усмехнулся я.

— И то верно, что фронт, — согласился он смущенно. — Вон смотри, неприятельский штаб уже съехался. — И он кивнул на плотную группу штатских, тесно окруженных солдатской толпой. — С батальонным комитетом нашим сговариваются. Ну, да ничего, и с нашей стороны тоже, поди, генералы подъедут. Посмотрим, чья возьмет.

Когда я объявил, что больше никто не приедет и мы предоставлены здесь самим себе, по лицам сотоварищей пробежала тень озабоченности, словно как от быстролетной маленькой тучки.

— Как-нибудь справимся, — хлопнул Раскольникова по плечу ретивый Рошаль.

Я предложил наметить наш план выступлений, а для этого предварительно отправился на маленькую разведку вокруг неприятельского штаба. Пользуясь тем, что здесь меня никто не знал и благонадежным обличием своей офицерской одежды, я пролез в самую середку совещающихся врагов.

Здесь были: Бройдо, нахохлившийся меньшевик с серым сухим помятым лицом, и эсер Гоц, с крепким ртом и пронзительным взглядом. Воинственно поблескивая пенсне и черным отливом коротких кудрей, он внимательно слушал третьего соучастника с веснущатым крупным лицом и рыжими усами.

— А кто от большевиков? — шептал рыжий, украдкою косясь в сторону нашей группы.

— Их главарей никого еще нет, — с вкрадчивой улыбочкой всунулся прилизанный русый поручик, в котором я узнал того самого Филоненку, что пытался когда-то задержать моего «Олега». — У большевиков конференция, — хихикнул он. — Хорошо, если б они опоздали; а нам — не начать ли поскорее? С этими двумя молокососами мы справимся.

— Ну, что ж, — ответил рыжий, — пусть Бройдо начнет, затем пустите большевика и вслед дайте слово Гоцу, а после пропустите всех остальных большевиков гуртом, если кто из них и еще подъедет сюда, и только тогда дайте мне слово. Я сумею всех их покрыть.

Я живо выбрался из толпы и помчался к своим, потому что Филоненко уже вскочил на помост, и вслед за ним залезали солдаты батальонного комитета. Он яростно звонил в колокол, стараясь установить тишину.

— Кто этот рыжий? — кивнул я Рошалю в сторону противника.

— Да это ж Войтинский, — ответил Раскольников, — бывший наш большевик. Теперь перешел к оборонцам. Их целая группа на-днях вместе с Севруком от нас откололась.

Вот оно что! И я тотчас же предложил, чтобы после Бройдо слово взял Рошаль. После Гоца — Раскольников, а уж после Войтинского — я. Авось, как-нибудь с ними и справимся. Однако сердце билось тревожно. Что стоила на самом-то деле наша неопытная жалкая кучка Давидов

против этих испытанных ораторов Голиафов. Все же в сердце теплилась какая-то задорная вера во внутреннюю силу наших крепких большевистских слов, уже припасенных в наших пращах.

Бройдо начал нудно о том, что демократия все сделала для мира, что мы отказались от всяких завоеваний, но немецкий штаб воинствующих империалистов упорно молчит, и поэтому долг русских солдат изо всех сил помочь фронту и защитить завоеванные свободы. Все это было старо и известно. И Рошаль, игривым тигренком вспрыгнувший на помост вслед за ним, без труда порывисто разбросал из солдатских голов все эти демократически-бройдовские тряпки пыльных жеваных слов, которые тот только что насовал в их сознание. Раскачиваясь и слегка картавя, отчего на розовых юных губах его изредка играла пенистая слюнка, Рошаль горячо кидал жадно внимающей толпе солдат о том, что правительство наше ни одним решительным словом не обмолвилось об отказе своем от царских империалистических договоров, заключенных совместно с союзниками на предмет ограбления побежденных народов. Он говорил и о том, что генералитет сознательно хочет бросить армию на убой, чтобы солдатскою кровью заплатить проценты по займам, дающим наживу промышленным поставщикам вроде Родзянок, Гучковых и прочих спекулянтов. Раскаленные гневом слова Рошаля глубоко западали в солдатские головы, потому что они перешептывались меж собой: одни восхищенно, другие растерянно, третьи со злобным шипением. Да, Рошаль был молодцом.

Его сменил Гоц. Круто повертываясь четким лбом и злобным блеском пенснэ на упрямом носу, он начал громить теперь Рошаля. Он гневно вбивал слова, словно гвозди, и при каждом выкрике рамка его резко очерченных черных усов обнажала крепкие белые зубы. Он вбивал о том, что большевики пользуются несознательностью солдатских

масс, науськивая их на правительство, что втыканием штыков в землю на фронте войны не кончишь, что нелепое братание с немецкими разведчиками грозит гибелью всей стране. Вздымая кулаки, он взывал о том, что русское крестьянство не допустит разорения своих трудовых хозяйств.

— Встаньте грудью, свободные солдаты, на защиту своих семей, своих нив, своих хат, на защиту тех завоеванных кровью свобод, которые вам же отдадут в Учредительном собрании и помещичьи земли!

Говорил он прекрасно и когда резким движением уверенно спрыгнул с трибуны, жесткий град уверенных хлопков треснул и гулко рассыпался по манежу. И тогда вылез мичман Раскольников. Положение бедняги было теперь не из важных. Он покрутил рукою ворот своей черно-синей морской офицерской шинели с золотыми погонами, словно этот ворот нестерпимо давил ему горло. Краска смущенья залила пятнами его щеки, но он смело ринулся в бой и с захлебом, порывисто и волнуясь, стал выкрикивать о том, что правительство сознательно оттягивает созыв Учредительного собрания, поддерживая интересы помещиков, что даже закон о запрещении продажи земель до сих пор не проведен, что правительство не хочет и не может объявить о полном разрыве с монархией, что буржуазия дряхла, труслива, продажна и готова со страха перед рабочими сторговаться с помещичьими гнилушками и использовать самодержавный аппарат власти для подавления требований пролетариата и крестьянства. Голосишко у Раскольникова хлипкий, манеж огромный, кричать надо что есть силы, и поэтому Федор скоро охрип и измотался. Однако впечатление от гоцовской речи было им резко ослаблено. Это ясно почувствовалось во всем поведении поднявшегося вслед на трибуну Войтинского. Он снял свою широкополую шляпу, с натянутой самодовольною ухмылкой провел ла-

донью по зачесанной назад огненно-рыжей щетине своей головы и украдкой взглянул на Филоненко.

— Товарищи, — заверещал тот своим елейным голоском. — В президиум сейчас поступило предложение...

Жуткая оторопь, что я опоздал и что не удастся покрыть Войтинского, бросила меня в холодную дрожь. Мигом взлетаю на трибуну и сую прямо в руки Филоненке уже заранее подписанную мною записку с просьбой о слове. Только этим путем удалось получить слово вслед за Войтинским, прежде чем Филоненко успел закрыть список ораторов.

— Два молокососа, у которых текли по губам ребячьи слюнки, — начал Войтинский, — учили, товарищи, вас здесь большевизму. Я, товарищи, — уже поседевший на каторге старый большевик. Только что приехал из ссылки. И я скажу вам откровенно, что подобной детской чепухи, что сейчас мололи вам здесь под видом большевизма, я еще в жизни никогда не слыхал.

Смущенный ропот волнами пошел по солдатскому морю. «Вот тебе и на. Большевик и вдруг так резко против большевиков».

— Только ребятишки, влюбленные в детские сказочки, могут мечтать сейчас, товарищи солдаты, — продолжал Войтинский, — о чудесном насаждении у нас того социализма, когда всю страну должны одевать и кормить огромные фабрики с миллионами машин. Мы, большевики, знаем путь к этому социализму. Путь долгий и путь трудный. Но пока что сейчас у нас революция буржуазная, выше лба уши не растут, через себя не перепрыгнешь, и поэтому нужно уметь с буржуазией ладить. Основная задача сейчас — это спасти нашу страну от военного империалистического разгрома, и поэтому я, большевик Войтинский, являюсь непримиримым оборонцем. Жаль, — усмехнулся он язвительно, — что список ораторов уже закрыт и большевикам

новейшей формации не придется выступить. А-то бы хотелось послушать, как это они думают насадить в России социализм, сознательно пособляя Вильгельму своим преступным братаньем разгромить наш фронт... Крепко держитесь, солдаты, — кричал Войтинский, — за ваш Исполнительный комитет и за Временное правительство, нами поставленное! Будьте несокрушимы так же, как и ваши стальные несокрушимые броневики!

Восторженный рев гулом пополз по манежу. Солдаты неистово хлопали и кричали «ура». И, вскочив на трибуну после Войтинского, я нервно задергал околыш снятой фуражки. Подлое трусливое отчаянье, что я ничего не сумею сказать, бросило меня в жар. Но в памяти четко выплыли и та комнатка, где совещался президиум конференции, и лукаво добродушная покровительственная улыбка самого Ленина: «Ничего, пусть сами приучаются!..» Да, Войтинский поставил вопрос резко и прямо. Сейчас здесь решится, за кем останутся броневики. Неужели я допущу, чтоб мой «Олег» стрелял бы по нас? Где-то в толпе передо мною скользнул умоляюще настороженный взгляд Айи. Положение надо было спасать. Я осмелел и начал с того, что на старости лет от избытка ума случаются с людьми неприятные оказии, как это и было с предыдущим оратором. Он думает, что он поседел и отрекомендовался седым, но все ясно видели, что он с головы и до ног весь рыжий, словно петух, и без единого седого волоска. Грохнул хохот. Даже непримиримо враждебные лица некоторых солдат невольно заулыбались.

— Вот такая же, — продолжал я, — злая штука произошла и с его большевизмом. Человеку простодушно казалось, что он все еще большевик, а на деле-то он ясно обнаружил себя чистейшим социал-соглашателем, меньшевиком.

— Прошу быть корректней! — раздалось над моим плечом одергивание Филоненко.

— Я корректен, товарищи, но когда нас упрекают в сознательной помощи разгрому страны, разрешите вывести на чистую воду, кто же на самом деле стремится к разгрому. Мы, большевики, не призываем втыкать штыки в землю, мы предлагаем Совету, взять власть в свои руки, чтобы объявить нашу волю к миру без грабежей, потому что буржуазное правительство не в состоянии отказаться от лакейской службы англо-французским биржевикам. Кто же теперь пораженцы: мы ли, предлагающие на деле бросить грабительскую политику завоеваний и поднять всех трудящихся мира на восстание против господ, или же господа рыжие «старички» из породы Войтинских, которые потворствуют генералам сознательно вести фронт к неизбежному для нас военному разгрому и отправляют из Питера маршевые роты и броневики, чтобы поскорее и здесь разгромить революционные силы гарнизона? Ведь все это для того лишь, товарищи, чтобы снова забрать вас в ежовые рукавицы и не дать вам земли, обещанной в Учредительном собрании, которое тоже, как улита, едет, и никто не знает, когда оно будет.

— Верно, правильна! — закричали солдаты.

— Нет, уж если насчет обороны, то давайте будем за оборону, но за оборону руками Совета, а не руками Корниловых, вводящих отдание чести и присягу, в которой заставляют солдат клясться в верности буржуазным министрам, а не революции. Не выпускайте, солдаты, броневиков из ваших крепких мужицких рук! Не верьте министрам, не верьте правительству и не верьте рыжим соглашателям, которые подмазываются к вам в овечьей шкуре седых большевиков!

То ли я был взволнован своим подъемом, то ли действительно моя речь всех окрылила, но мне показалось, что буйный восторг солдатской толпы был куда горячей и стремительней, нежели после речей Гоца или Войтинского.

— Товарищи, разрешите теперь и мне обратиться к вам со своим заключительным словом, — велеречиво заверещал председатель, поручик Филоненко.

— Ну, поехала кадетская машинка. Мы его каждый день здесь слушаем, надоело! — замахали руками солдаты вокруг трибуны. И пока поручик дотягивал свою заключительную речь, вся масса разбилась на шепчущие и спорящие между собою группки.

— Вот, взгляни, брат, мы резолюцию тут свою заготовили, — потянул меня в сторону Рошаль. — А и ловко мы их сегодня вздули. Я даже никак не рассчитывал, — весь зарделся он от самодовольной радости.

Но просматривать резолюцию было некогда. На трибуну уже вскочил со своей резолюцией Бройдо. Он прочел ее с тягуче-оборонческим пафосом, а вслед за ним скороговоркою протараторил нашу резолюцию Рошаль.

— Кто за резолюцию Совета? — высоким фальцетом выкрикнул Филоненко.

Поднялся лес рук.

— Спасибо, — кивнул он удовлетворенный. — А кто теперь за резолюцию большевиков? — крикнул он, не давая никому опомниться.

— То есть, как это за большевиков? А за что ж мы сейчас голосовали? — загудели солдаты.

— Нет, товарищи, — упрямо завертел головою Филоненко, — вы голосовали за объединенную резолюцию партий большинства Совета, а теперь, кто за большевиков?

Снова вскинулся лес рук, подавляющий лес рук, но все же несколько меньший, чем первоначально:

— Спасибо, — кивнул Филоненко. — Принята первая.

— Чепуха! — взлетел на трибуну Айя. — Подтасовка, братцы, обман!

Но солдаты и без того уже гневно орали на весь манеж, и местами междоусобный спор готов был перейти в драку.

— Требуем переголосования! — захрипел вскочивший на подмогу Раскольников.

— Никаких переголосований! — упрямился Филоненко.

И тогда огромная лавина солдатской массы с криками: «Товарищи, идемте на улицу, там продолжим свой митинг, если Филоненко здесь затыкает нам рот», ринулась к выходу, растекаясь меж блиндированных скорострельных машин.

— Вы срываете митинг! — вскинулся Филоненко ко мне.— Товарищи, я не допущу, — заверещал он неистово к солдатам.—Я— революционный офицер, который шел вместе с вами и в Февральские дни и сейчас. Я не предложил вам своей резолюции от партии «народной свободы», чтобы не допустить раскола, и сейчас я вношу такое предложение...

— Чего его слушать? — кричали солдаты. — Эту рыжую лису мы знаем вдоль и поперек. — И они топали, уходя из манежа в широко раскрытые ворота.

— Переголосовать! — кричали другие.

— Не лучше ли будет, — мотался Филоненко, — просто отказаться от всяких резолюций? Признаем, что митинг ознакомился с политическими течениями, принял к их сведению и все.

Добиваться переголосования мне и самому теперь показалось тоже рискованным. После того как сейчас многие из наших сторонников так нелепо ушли, мы могли бы и не собрать большинства. Поэтому я не возражал против предложения Филоненко и только добавил, чтобы солдаты шли первого мая под большевистскими лозунгами: «Долой войну! Да здравствует власть Советов!»

— Ура! — грохнул манеж. И сотни дружных рук поднялись со всех сторон.

— Митинг окончен, — затумашился Филоненко.

Мы вышли все вместе: Рошаль, Раскольников и я, опьяненные нашим дерзким успехом. Расходясь по домам,

мы крепко пожали руки друг другу и плотной толпе провожавших нас солдат.

— Спасибо, товарищи, — закивали те нам, — вот теперь-то вы нашу братву раскачали. За манеж теперь будьте спокойны.

* * *

Празднование 1 мая, пришедшееся по старому стилю на 18 апреля, удалось на славу. День выдался ясный и солнечный. Моих ребятишек нельзя было в этот день отодрать от окна, к которому они прилипли с самого утра, потому что с самого утра Морская улица гулом гудела от крепкого марша несметных рабочих и солдатских шеренг. Медная музыка празднично раздирала сочный воздух еще робкой весны. Деревянная трибуна, сколоченная на площади перед темно-серым, словно заплесневелым Мариинским дворцом, в котором обычно заседало Временное правительство, ярко улыбалась теперь красным сверкающим сатином. По коридорам нашей «Астории» уже с утра носились друг к другу из номера в номер разряженные и раздушенные Синани, Любарский и Греков, разукрасившие свои кителя пунцовыми бантами, пышными, как капустные кочаны. Для привилегированных жильцов нашей гостиницы, каковыми являлись пронырливые военные атташе различных иностранных армий и мясистые русские обер-офицеры, была широко распахнута стеклянная дверь на просторный угловой балкон, выходящий на площадь. Слегка подфрантившись ради торжественности нашего пролетарского праздника, мы вместе с женою тоже вышли на этот балкон, к тому времени уже битком набитый туалетами дам и щегольскими мундирами иностранных армий. Брызжа солнечными искрами и упружа свежий воздух апреля марсельезным ликованьем начищенной меди, один за другим, мешая друг другу, колыхались по площади духовые оркестры. Плот-

ные черные толпы рабочих шеренг текли без конца, и алые блики от ярко просвеченных солнцем красных знамен и полотнищ весело скользили по пропитанным машинной копотью лицам рабочих и улыбались в праздничном глянце их козырьков. Беспредельные густые фабрично-заводские колонны то-и-дело чередовались с зеленовато-серыми шеренгами солдат, четко бьющими шаг о сырую упругость деревянных торцов мостовой. На резном и разукрашенном, как бонбоньерка, высоком овальном постаменте игриво плясал среди площади, вздернув хвост, голубовато-серый от времени медный конь, крепко сжатый лубками огромных и прямых, словно доски, ботфортов царственного истукана в нахлобученной на лоб медной каске с какою-то птицей. Казалось, что этот консервированный прадед ныне свергнутого самодержца пытается сейчас шутливо улизнуть от всех этих бунтующих вокруг него красных флагов, красных бантов и красных лент, перетянувших и плечи и груди распорядителей. Казалось, что он хочет умчаться туда, под гранитную сень массивной соборной колоннады Исакия, лишь бы только не видать этих пунцовых и алых плакатов с широченными белыми буквами:

«Да здравствует 1-е мая!»

или

«Братья трудящиеся всего мира — соединяйтесь!»

и лишь бы только не слышать этих бесконечных переливов дерзкой песни рабочих:

Тебе отдых одна лишь могила,
что ни день недоимки готовь!..

которую с торопливым задором уже обгоняла другая:

Сами набьем мы патроны,
к ружьям привинтим штыки!..

От всех этих песен и лент, и знамен, и плакатов, и даже от пляшущего конька с оголтелым царственным всадником сердце заливала горячая смелая радость. Ведь когда-то в юные годы я с товарищами так жадно мечтал как раз об этом. Помню, как с лукавой украдкой мы мастерили тогда из досок, поленьев и сучьев маленький плот, притаясь в еще прозрачных кустах дальнего леса, вставляли потом в этот плот шест с кумачовым широким платком и пускали его вниз по течению. После этого надо было быстро бежать стороной прямо на кремлевский бульвар, чтоб оттуда взглянуть с высокой обрывистой кручи, как, вертясь по течению, гордо плывет наш красный флаг. Там гуляли студенты в косоворотках и накинутых на плечи шинелях и тужурках, — как же иначе, раз весна, — при виде этого мимо плывущего флага они приходили в буйный восторг и затягивали марсельезу, неожиданно вспомнив, что ведь сегодня за границей 1-е мая. Студентам начинали подтягивать случайные рабочие и мастеровые. Обыватели неукоснительно впадали от всего этого в заячье беспокойство и пускались с бульвара наутек. И тогда, словно сверла, буравили весенний воздух заливистой трелью истошные свистки перепуганных полицейских. Словно ошпаренные сверчки, они кидались сюда: кто на гребень бульвара, чтоб ловить певунов, кто в поиски лодок, чтоб перехватить мятежный плот с флагом. Обычно его настигали, этот флаг беспощадно сдирали с шеста и бешено тискали в уемистый черный полицейский карман. «Ничего, — мечтали мы, — настанет время, и тогда сотни, тысячи красных флагов вспыхнут веселым костром на площадях покоренных рабочими барских столиц. То-то весело будет смотреть нам тогда, как будет метаться по площади под бешеный свист и улюлюканье верховный глава всех полицейских, сам самодержец». И разве теперь вот не сбылась эта мечта? Мы добились, наконец, своего. Мы свободно празднуем день всемирного братства трудящихся. Международ-

ного братства трудящихся! Международного? А как сегодня там, в окопах? Неужели в ответ на доверчиво протянутую руку братанья немецкий солдат наведет на русское сердце свой штуцер и замрет, как автомат, в ожиданьи безмозглой команды, беспощадно-железной и острой, как кайзерский крест? Вон направо за площадью — неуклюжее, как пивная кружка, опустелое здание цвета вареных сосисок. Это дом посольства германской империи. Неужели она победит, а не Либкнехт? Неужели она своею гранитной пятою в кровь затопчет наш робкий призыв к всемирному рабочему братству?

— Ах, мой бог!— густо вздохнула по-французски стоявшая впереди грузная дама с туго набитой в кружева такой увесистой грудью, что ее мощности могла б позавидовать любая молочная ферма. — Ах, мон дье! — вздыхает дама, и в такт ее вздохам под ногами хрустят цинковые листы, прибитые к полу балкона.— Мон дье, поглядите, полковник, ведь это же совершенно как было когда-то и у нас, в нашей прекрасной Франции! Я никогда не подозревала, чтобы революция могла так облагораживать даже эту грязную нацию. Какой энтузиазм и какая сознательность! Вы взгляните! — и пухлая дама сверкала при этом ртутным блеском искусно подчерненных глаз и удавленным в перстни мизинцем небрежно тыкала на плывущие снизу плакаты. — Видите, на каждом их полотнище всюду: «Война, война, война»... словом, одна лишь война. О, если б теперь эти варвары действительно поддержали бы нас на фронте!.. За эти дни металлургические так дурацки падают на бирже. Я уже безумно много потеряла. А удайся Фошу захватить Эльзас с Лотарингией, какой бешеный скачок был бы с металлургическими!..

— Что Эльзас, надо пройти подальше, за Рейн, там в Руре такие заводы и копи!.. — мечтательно сощурил мешки своих век мясистый французский полковник

в серо-голубом пузатом мундире с малиновыми наугольниками на отворотах воротника.

— О не дразните, полковник. Аппетит приходит во время еды, а мы за войну так все изголодались! — пухлая дама грузно вздохнула и снова с треском вдавила под ногами прибитые к полу листы.

— Разрешите предостеречь вас, полковник Корбель, — ломано загортанил по-французски туго выбритый, словно дубленый, английский лейтенант. Затем он опустил полевой бинокль, вправил монокль в сизый глаз, рассеянно посмотрел на коричневый блеск своих крепких и мягких сапог и, одернувши открытый ворот серовато-зеленого френча, протянул бинокль свой полковнику. — Эти русские транспаранты ввели вас, полковник, в напрасный восторг. Вы прочитайте-ка внимательно, что эти предатели пишут. Вон там вот, взгляните! Видите влево у самого входа в Мариинский дворец? — и лейтенант нацелил вперед свою длинную хищную руку. — Вы прочтите, какая это наглость: «Мир хижинам, война дворцам!» А там вон правее еще чище: «Война войне!» И вы смотрите, где этот транспарант. На броневой машине! А этот Набоков имел еще наглость обещать нам, что...

— Война дворцам? Война войне? — растерянно брызнул слюнями растревоженный французский полковник, совершенно теперь позабыв о своей забинтованной в кружево ферме. И, наливаясь в лице багровою злобой, он в бессильной ярости таращил глаза на эти огненно-красные языки революционного русского костра.

* * *

На следующий день Греков зашел бочком в мой номер и сообщил, что комиссия закончила расследование, и я должен к четырем часам притти на заседание в сорок вторую комнату. Одновременно он передал мне и присланную мне в

Таврический дворец повестку от Исполнительного комитета Совета офицерских депутатов с предложением явиться днем на экстренное закрытое собрание. Я давно уже не бывал в этом бордовом кабинете здания Армии и Флота, и, войдя в него, застал всех в сборе и обменялся кивком головы. Председательствовал полковник Попов. Он предложил вниманию собрания разрешение двух вопросов: во-первых, секретного заявления, внесенного подполковником Лукомским и подписанного многими другими офицерами, и, во-вторых, сообщения корнета Сакса о ходе работ по созыву всероссийского съезда офицерских депутатов. Слово было предоставлено Лукомскому, и бравый кругленький подполковник при торжественно наступившем молчании прочел заявление о том, что нижеподписавшаяся группа офицеров отказывается дальше спокойно переносить безумно пораженческую пропаганду большевиков и, в частности, Ленина и предлагает срочно настоять перед Временным правительством от имени Совета офицерских депутатов на аресте Ленина и его сообщников, поскольку под этими вымышленными фамилиями скрываются приехавшие сюда немецкие шпионы.

— Таким предложением не шутят, — робко обронил военный врач Лившиц, — не лучше ли было б проверить все эти факты, прежде чем кидать известным политическим работникам обвинения подобного рода.

— Чего тут проверять?!. — гневно вскочил прапорщик Никольский. — Всякий знает, что Ленин вовсе не Ленин, а Ульянов, что Зиновьев — Апфельбаум, Каменев — Розенфельд и так далее.

— Но, если они имеют литературные клички, необходимые в их бывшей подпольной работе, это еще не значит...— заикнулся было Лившиц.

— Это значит, что и вы такой же жид! — яростно обрубил Лукомский.

— Охота вам, коллега Лившиц, заступаться за такого вреднейшего фанатика, как Ленин? — быстро затараторил член партии «народных социалистов» присяжный поверенный прапорщик Вржосек. — Ведь вы так хорошо сработались с нами, а теперь поддерживаете негодяев, ведущих в своей «Правде» бессовестную травлю такой светлой личности, как наш министр иностранных дел Павел Николаевич Милюков. Я имел счастье быть некогда арестованным вместе с ним, и нас тогда несколько часов продержали в полицейском участке. Павел Николаевич — милейший человек! — и рыженький Вржосек устало сел и вздохнул.

— Я поддерживаю Лившица и считаю...—начал-было я.

— Ставлю на голосование, — оборвал полковник Попов.

Поднялась масса рук. Против оказался только я один. Лившиц очутился в пятке воздержавшихся.

— Я заявляю решительный протест против подобной политической расправы, — сказал я дрожащим голосом и вставая, — и не считаю себя более членом данного учреждения. — И я вышел из кабинета.

За мною вышли, тревожно насупясь, еще какие-то два прапорщика и Лившиц. Но Лившиц нерешительно остановился на площадке, задумчиво посмотрел, как мы сошли по белой мраморной лестнице вниз и стали в швейцарской одевать шинели. Потом он робко пощупал обитые красным бархатом перила и так же смущенно стал подниматься обратно наверх.

* * *

Президиум офицеров-республиканцев собрался в сорок второй комнате в полном составе, за исключением одного Мстиславского, и Яблонский торжественно доложил результаты расследования.

— Обвинение, выдвинутое Любарским и Алеевым на основании первого заявления Ивановой, не подтвердилось.

Данных для обвинения Тарасова-Родионова в похищении вина нет. Но в то же время нет оснований подозревать и Любарского с Алеевым в том, что они якобы в целях клеветы подстроили все это дело. Просто-напросто они были введены в заблуждение этой дряблой болтушкой, переметчивой куклой, девчонкой Ивановой. Таково существо дела. Но поскольку истинный похититель вина все же не обнаружен, а неприятные слухи уже расползлись, комиссия порекомендовала бы Тарасову-Родионову на некоторое время воздержаться от политических выступлений на солдатских митингах.

Любарский сидел и нервно кусал губы, то бледнея, то краснея, но последнее предложение Яблонского, очевидно, его окрылило.

— Ну, что же, вот видите,— вскочил он, бодрясь напускною кичливостью, — выходит, что в основном мои предложения об устранении Тарасова были все же правильны.

«Какие негодяи, — думал я про себя, оглядывая сейчас всех этих боевых сотоварищей по Февральским дням. — Выходит, грош цена политической честности, если нужно заткнуть глодку противнику». Я взглянул на Филипповского. Он тоже молчал, смущенно водя карандашом по бумаге.

— Товарищи! — глухо раздался тогда словно чей-то совсем незнакомый, взволнованный голос, и из угла, с дивана, шагнул к нам не проронивший до этого ни слова поручик Петров. — Товарищи! — обвел он всех глазами, остановившись посередине комнаты, — мы, то есть в частности я, с Тарасовым-Родионовым, должно быть, смертельные политические враги. Чем дальше и глубже я над этим размышляю, тем все яснее становится мне, что рано иль поздно, но мы встретимся с ним на баррикадах, и тогда одному из нас, ему или мне, грозит беспощадная смерть. Такова, должно быть, трагедия политической борьбы. Но при всей беспощадности столкновения враждебных между собою,

но честных по-своему убеждений, я никогда не мыслил себе, чтобы можно было прибегнуть к сочинению гнусных грязненьких сплетен, лишь бы облить ими своего политического врага. Так поступать, как поступил здесь Любарский, товарищи, может только действительно негодяй!

Петров грохнул о пол саблей, и лицо его покраснело. Затем он мучительно скривился, гневно топнул ногой и стремительно кинулся в дверь.

— Позвольте! — задрожал Любарский. — Ведь это... оскорбленье?!.

— Отдайте мне, — подошел я к Яблонскому, — последнее заявление товарища Ивановой, которое она дала мне. Оно теперь вам больше не нужно, а мне может еще пригодиться против таких клеветников, как Любарский. Работать здесь с вами я, конечно, больше не буду, но партийной деятельности своей, несмотря на все ваши требования, я не оставлю.

Яблонский был, видимо, подавлен всем этим скандалом, но бумагу мне отдал. Все молчали, насупясь, когда я выходил, и только Греков успокаивал на диване растерянно бормочущего Любарского. Я ушел, не простившись, и только в коридоре, настигнув Петрова, я крепко пожал ему руку.

— Да жаль, поручик Петров, очень жаль, что мы с тобой враги. Ты хороший человек, но заблуждаешься.

— Это ты заблуждаешься! — и, раздраженно скривившись, он замотал головой.

ГЛАВА XIX.

Раннее утро в апреле туманно. Сквозь его сизую дымку мокро блестит молочным глянцем особняк Кшесинской. В сквере насупротив отсыревшие клены развертывают из мохнатых розовых почек нежные медово-клейкие золотистые кисточки. Зеленый пушок подернул шершавые прутики лиственниц. На прошлогоднем ковре лужаек уже топорщится мягкими иглами новая изумрудная щетинка.

Весна берет права, а поэтому и зеркальное окно канцелярии военки тоже открыто. Возле него неутомимо копается молчаливый солдат Тобиас, сосредоточенно выписывая почтовые адреса на новых подписчиков «Солдатской правды». За крохотным столиком, подслеповато мигая глазами и покашливая отравленным газами горлом, шевыряется в куче солдатских писем с фронта пышноволосый прапорщик Женевский. Черепанов и Беляков взапуски строчат, закусив усы, циркулярные инструктивные письма нашим фронтовым разветвлениям. Приходится от руки. Еле-еле раздобыли всякими неправдами из какой-то воинской части разбитую дребезжащую пишущую машинку, на которой робко хлобыстает одним пальцем Мехоношин.

Подвойскому некогда. Он летит. Пальто на-распашку. Черная мерлушковая шапка сбилась на белесый затылок. В руках целая пачка рукописных листов и газетных полосок-гранок. Он на-лету ловит мой смущенный рассказ о

злоключениях, из-за которых я сейчас не у дел, и серые глаза Подвойского вмиг вспыхивают обрадованным блеском.

— Чорт возьми, какая удача!.. Ну, уж теперь-то я вас не отпущу! — и он хватает меня за локоть и порывисто волочит за собою вниз по загаженной солдатскими сапогами белой мраморной лестнице. — Вы будете у меня выпускающим. Вот вам рукописи, вот вам гранки, — стремительно тискает он мне в руки весь свой бумажный ворох. — Здесь вот статейный материал, здесь хроника, здесь письма с мест и резолюции полков... Передовицу сегодня вы сами напишите... Мне буквально некогда. Сейчас покажу вам, где наша типография, затем забегу в Союз городов, потом надо не опоздать на конференцию, ну, просто голова кругом идет!.. А вам делать все равно нечего, да и работы для вас здесь всего-то на какой-нибудь час или на два. После обеда вас сменит Женевский... Ни гу-гу! И не вздумайте возражать!..

* * *

Типография — в вонючем каменном переулочке одной из пустынных Измайловских рот. Серое здание запущено и грязно снаружи и сорно и пыльно внутри тяжелою пылью, покрывшей и толстые пласты литографских камней, и стальные ребра и шестерни печатных машин, и жирно дочерна смазанные свинцовые формы набора.

— Вот здесь вам еще гранки, — накладывает передо мною Подвойский новую кипу бумажных полос. — Прокорректируете и сдадите метранпажу. Потом сделайте верстку. Оставьте местечко для вечерней хроники конференции. Здесь вот загон. Да не забудьте передовицу. Ее вам скоренько наберут... Ну, а я побежал, — кинулся он, не дав мне опомниться от сваленных на меня поручений.

Но убежать ему удалось не скоро. Сначала Подвойского задержал метранпаж. Вышла какая-то задержка с набором

нужных статей. Затем уже в самых дверях дорогу заступил хозяин типографии.

— Пожалуйте деньжат.

— Деньжат?.. Но ведь мы же всегда были так аккуратны и, если сейчас вот коротенькая временная заминка... — сконфуженно тянул Подвойский.

— Нечем платить за бумагу.

— Ах, через несколько дней мы уплатим.

Но, так как хозяин не отставал, то Подвойский отвлек его от дверей тем, что вернулся ко мне.

— Сейчас же пишите воззвание к солдатам о срочной материальной помощи газете. Ведь вот центральная «Правда» кинула клич к рабочим и в три дня собрала семьдесят пять тысяч рублей на типографию. И нам, теперь это ясно, если здесь будут так приставать (эти слова он произнес как можно громче), без собственной типографии тоже не обойтись!.. Только с кого же мы соберем? — озадачился он вдруг тихим голосом и, нахмурившись, сдвинул шапку на лоб.— Солдатское жалованье в месяц известно — полтинник... Вот что! — встрепенулся вдруг он ко мне. — Тут в загоне есть статейка об уравнении офицерского жалованья с солдатским. Обязательно пустите. Пусть и золотые погоны попробуют пожить на полтинник...

Однако я убедил Подвойского не пускать подобной статьи. Это вызвало бы поголовное ожесточение против нас широчайших слоев офицерства, настроенного пока что в массе нейтрально. Не в интересах пролетариата отталкивать мелкобуржуазных попутчиков, обладающих кое-какими организационными данными.

— Эка, подумаешь! — нехотя согласился Подвойский, тряхнул драным портфельчиком и умчался.

Я же проканителился над газетой до двух часов. Передовицы, правда, писать не пришлось. Она была готова, и Подвойский попросту забыл о ней. Но зато досталось мне

от корректуры и верстки. Взмокший и пыльный, с пальцами, залитыми чернилами, плелся домой я Вознесенским проспектом. Одно было радостно: номер был сверстан.

* * *

Гулко и стройно с грохотом музыки развертывались на площади вкруг бонбоньерочного памятника со скачущим в тяжелых ботфортах императором вооруженные колонны Финляндского и Московского полков. Они строились тут же рядом, лицом к Мариинскому дворцу. Красные полотнища огромных плакатов, вздернутых на шесты, кричали еще сырыми белыми буквами:

«Долой Милюкова!»

Я оторопел. Прохожие тоже растерянно останавливались. Старушки крестились, барыньки ахали, котелки испуганно смотрели то на окна Мариинского дворца, где обычно заседало Временное правительство, то на тугие тяжелые кобуры у поясов пришедших при полках офицеров. Если бунт, то очень уж чинно; если ж парад, то что за мятежный плакат?

Справа с Морской с медным бумом входил и строился тут же рядом в полном порядке Павловский полк, тоже при затянутых в ремни офицерах. Слева под сухой треск барабана дружно мели сырые камни площади взмахами клешей роты Гвардейского флотского экипажа. Плоские ножи толстеньких вороненых японских винтовок остро сверкали над их плечами. Впереди и с боков этих матросских шеренг, развевающихся черно-рыжими полосатыми ленточками, торопливо нагоняли шаг чистенькие, в черных шинельках, морские офицерики. Их аккуратные ручки, затянутые в белую замшу перчаток, горделиво придерживали слоновую кость рукояток их лаковых с медной оправою кортиков.

Широкий ярко-алый кумач парусил над белыми кокардами их черных фуражек, трепеща белыми линиями свеже накрашенных букв:

«Милюков — в отставку!»

Худой сутулый солдатик с бледно-зеленым изможденным лицом, мотая полами расстегнутой шинели, суетливо бегал от полка к полку, отдавая какие-то распоряжения. Потом он выбежал вперед, круто обернулся лицом к мрачной безмолвной громаде Мариинского дворца и, гневно сорвав с себя фуражку, неистово крикнул, тряся кулаками: «Долой!», и по острому носу его, по худому подбородку и дергающемуся лицу я сразу узнал в нем Линде. И дружно, как по команде, вся вооруженная площадь грозно гаркнула тысячами глоток:

— Доллло-о-ой!..

Какие-то штатские люди испуганно выбежали на балкон Мариинского дворца, покрутились и скрылись. На смену им выбежали другие. «Ага, испугались!» Нервный воинственный ток пробежал у меня по спине. Линде с группой солдат порывисто зашагал к стоявшей впереди трибуне, оставшейся после первомайского праздника. Я кинулся к нему наперерез.

— Слушай, — схватил я его за рукав. — Как неожиданно! В чем дело? Значит: свергаем?!.

— Конечно, свергаем! — сверкнул он ответно зелеными глазами. — Разве ты ничего не знаешь?.. А милюковскую телеграмму?.. На вот, прочти!..— и он ткнул мне в руки «Правду», а сам, со всей остальною солдатской гурьбой, тарахтя по скрипящим досчатым ступенькам, взлетел на трибуну и вмиг разразился бунтующей речью о хищных замыслах нашего империалистического правительства.

Я быстро развернул газету. Читать было некогда, и пришлось только мельком пробежать глазами текст новой ноты

министра иностранных дел Милюкова к союзным державам:

«Временное правительство... будет вполне соблюдать обязательства, принятые в отношении наших союзников... Продолжая питать уверенность в победоносном окончании войны, в полном согласии с союзниками, оно уверено в том, что... проникнутые одинаковыми стремлениями, передовые демократии найдут способ добиться тех гарантий и санкций, которые необходимы для предупреждения новых кровавых столкновений в будущем...»

— Ну, как, ничего я сказал? — молодцевато подскочил ко мне Линде, уже сбежавший тем временем с трибуны, на которой теперь разливался степенною речью какой-то другой коренастый солдат.

— Да, ничего, — смущенно буркнул я. — Однако здорово Милюков показал свои когти. Все тут есть: и соблюдение прежних обязательств, то есть царских договоров, и победоносное окончание войны под дудку союзников, и какие-то еще гарантии и санкции, то есть, очевидно, контрибуции и захваты. Разве международные биржевики могут бороться за рынки без войн?..

— А ты посмотри, что теперь мы тут им заварили! — задорно мигнул Линде в сторону грозно выстроившихся полков. — Это я их всех поднял через полковые комитеты. А Богдатьев сейчас обещал приналечь на заводы. Тоже сюда придут. К вечеру правительство должно смениться.

— Что же теперь выставляет наш Цека?

— Наш Цека?—нахмурился Линде.— Наш Цека ничего еще не знает, — поморщился он.

— Как не знает? — взглянул я на него с недоумением.

— Так и не знает, — мотнул он раздраженно. — Полки привел я, я один. Достаточно! Хватит плестись в хвосте масс! Мы сами их двинем вперед, если Ленин этого боится. Пускай-ка посмеет Милюков теперь не уйти. Милюков

и Гучков, — добавил он торопливо. — Мы сегодня же вырвем власть из их рук и отдадим Совету.

— А если Совет не возьмет?

— Пускай попробует не взять! — вскрикнул он взбешенно, передернулся мучительной гримасой и помчался к полкам, суматошно размахивая руками.

— И ты здесь? — трогает меня за плечо высокий прапорщик Кеделько, с холеной рыжей бородкой и коротко подстриженными белесыми усиками. — Ты откуда узнал? — приветливо сверкает он карими глазами.

— Да я случайно брел к себе в «Асторию» из типографии, а ты?

— Я только что из военки; туда звонил Васильевский, что Финляндский полк пошел свергать сюда Милюкова. Как и в чем дело, — там никто не знает, да и нет никого там, все на конференции. Богдатьев вызывает заводы. Вот и приехал узнать, в чем тут дело.

— Это Линде, — шепчу я ему, — это Линде привел их, он сознался мне сейчас, что даже Цека ничего не знает.

— Как же тогда нам теперь быть? — и Куделько глядит на меня с растерянным недоумением. — Ну, что же, пускай свергают! — улыбается вдруг он весело и беззаботно.

— Пусть свергают, — улыбаюсь и я.

С Морской к трибуне с гулом мчится автомобиль, круто заворачивается, из него выскакивает сам генерал Корнилов, и торопливо защелкивает за ним дверцу встревоженный адъютант. Корнилов секунду стоит, словно как в нерешительности, мигом окидывая узкими хитрыми глазками вооруженную площадь. Хорьковое лицо его хищно вздрагивает острым носом и черными излучинами усиков, и он машинально переводит свой взгляд на меня и Кудельку. Он узнает сразу меня, это я отчетливо вижу по тому же знакомому взгляду бешеной злобы, которым он наградил

меня и тогда у себя в кабинете. Он тотчас же круто повертывается и, подойдя к трибуне, быстро карабкается на нее по ступенькам, сухонький и кургузый, неловко волоча под шинелью свою непослушную саблю. Адъютантик, взволнованно озираясь, вплотную подпрыгивает за ним позади.

— Смотри, — тыкаю я в бок Кудельку, — если генерал сейчас выступит, обязательно надо и из нас комунибудь выступить и насыпать превосходительству соли на хвост.

Но вот опять гудит автомобиль и в сизом вихре бензинного дыма стремглав останавливается у самой трибуны, чуть ли не врезавшись в нее. Из него выходят, понуро озираясь и растерянно кивая в знак привета, тревожно насупившийся Скобелев и злобно сверкающий стеклышками пенснэ порывистый Гоц с упрямым носом и ртом, крепко запертым в черной скобке усов. Они поднимаются на трибуну, и Корнилов заискивающе жмет им руки и уступает место для слова. Скобелев беспокойно вертит шеей, словно лошадь, трущая тесный хомут. Пальто свое он расстегивает и шапку снимает. Льняной хохолочек его волос лежит сейчас жалобно-мирно, как и пушистые кремовые помпончики его галстучка.

— Товарищи, — выкрикивает он, судорожно задыхаясь, и растерянно то-и-дело подыскивает убегающие куда-то слова. В поисках их он судорожно шарит рукой по барьеру, но пыжится изо всех сил убедить сейчас солдат в том, что Исполнительный комитет Совета стойко охраняет интересы демократии, и что ничего нет гибельнее для этой демократии, как самочинные несогласованные выступления.

— Исполнительный комитет сам имеет достаточно силы, чтобы заставить Временное правительство, — кивает он на Мариинский дворец, — исполнять волю народа. Товарищи, — хрипит он, — Совет призывает вас немедленно

вернуться в казармы и терпеливо ждать, пока полномочные органы вашей демократии не выполнят возложенной на них моментом задачи.

О Милюкове он не сказал ни слова. Неловко как-то захлебнувшись в конце, он уступил место Гоцу. Гоц смел и полн высокомерного презрения ко всей этой «солдатне», осмелившейся нарушить его социал-революционный покой и притти на площадь в вооруженных колоннах, да еще с офицерами. Гоц разевает рот кругло и четко, как рыба, вытянутая на воздух, и глаза его закругляются и сверкают тугою, еле сдерживаемой злобой. Слова его порывисты, резки и сухи. Они падают гневно на чутко замершую площадь, но бесследно тают в ней, среди враждебно настороженных масс, как сырая пылистая изморось, бесследно сейчас оседающая на мокрых камнях мостовой. После его гневных выкриков об анархической провокации и о мощной силе революционной демократии, которая поддерживает фронт и поддерживается фронтом, к барьеру как-то бочком и неловко подходит Корнилов. Несколько секунд он смущенно мнется, лицо его желто, как лимон, глазки бегают, как тараканы, тонкие усы чуть подергиваются над губой. Потом он хватается руками за барьер, сощуривает глаза еще у́же и скрипучим голосом тягуче расплывается:

— Заговорила великая молчальница, русская армия! Многовековый гнет канул навеки. Русские воины не хотят быть бессловесными рабами. Отныне это их законное право в полном порядке и мирно сообщать о своих нуждах. Но сообщать это не значит навязывать с оружьем в руках. Наоборот, надо с такою же выдержкой и терпеньем ожидать у себя дома в казармах законного решения своих законнейших представителей, великие обещания которых вы только что слышали...

— Запел, — киваю я Куделькe, — теперь, брат, ты выступай, когда он кончит.

— Я покажу ему сейчас «терпеливую молчальницу, армию,», — разгораясь, подергивается Куделько.

Гоц и Скобелев успели украдкой сойти с трибуны и исчезли в Мариинском дворце. Окончив речь, Корнилов завистливо посмотрел им вслед и тоже сошел к автомобилю. Он кивнул автомобилю отъехать на Морскую, а сам пошел туда же вслед пешком, сопровождаемый тревожно озирающимся адъютантом, в то время как с трибуны уже потекла горячая речь Кудельки.

* *
*

Не успел еще я как следует войти в свой номер в «Астории», как жена встревоженно протянула мне казенный пакет. Его привез в мое отсутствие еще утром вестовой-самокатчик из Таврического дворца. В пакете было срочное предписание от Военной комиссии за подписью Пальчинского, Гильбиха и Плакса-Ждановича о моем откомандировании в распоряжение начальника Офицерской стрелковой школы в Ораниенбаум с немедленной туда явкой. Нервная дрожь ощущения полной беспомощности пробежала по мне. Конечно, было ясно, что все это — дело рук Союза офицеров-республиканцев, а самое главное, что никак не выкрутишься теперь из этого проклятого офицерского хомута. Так было, так и осталось. На миг мелькнуло в памяти то прежнее мое ощущение такого же кошмарного гнета, которое всегда я испытывал при мысли о царском самодержавии. Вспомнил я скуластую тушу в татарской шапчонке, придавившую чугунного битюга и швыряющую в каналы гранитных улиц пригоршни свинцовых орехов. Вспомнилось и жалобное завывание «боже царя храни» на вечерней заре уходящими ночью на фронт маршевыми ротами. После этого воя жирный фельдфебельский бас еще злобнее рявкал «накройсь», бессильная солдатня трясущимися руками надевала на мужицкие головы солдатские фуражки, и

жутко звучал вслед за этим в холодном сумраке ночи удаляющийся лязг безропотных котелков о железо шанцевых лопаток. Я думал тогда постоянно: «О погоди, коронованный идиот с бородкой сердечком, мы стащим тебя с золоченого кресла!» И вот теперь эта мечта совершилась. Идиот сидит взаперти во дворце, ест рябчиков с огурцами, пьет сивуху и со скуки играет в подкидного дурака с придворными арапами. Он скинут, но разве что-нибудь от этого изменилось? Убрана только коронованная ширма, а за нею нагло грозит нам и попрежнему ловит за горло всех нас все та же хищная золотая рука международного капитала. Перед нею сегодня рабски расшаркнулся ее верный слуга Милюков.

— Папа! Папочка! — весело хлопают на подоконнике мои ребятишки в ладоши. — Смотли-ка, Петлуска! Петлуска! — и тычат в зеркальное стекло окна своими замусоленными пальцами.

— Отойдите от окон! Какой вам тут еще Петрушка?

Смотрю в окно. Площадь уже густо налита черной толпою, как гранитная чаша смолой. Красные флаги и плакаты плавают по ней острыми яркими перьями. На балконе Мариинского дворца растерянно тумашатся люди. Один из них, без пальто, выпятился вперед над самым барьером и, судорожно взмахивая руками, порывисто нагибается, почти свисает через барьер, настойчиво о чем-то, должно быть, крича над самой толпой.

— Петлуска! Петлуска! — прыгают глупые дети.

В дверь номера кто-то стучит, и совсем неожиданно появляется Греков.

— Разрешите, — робко кукарекает он еще в дверях и входит бочком. — Неужели вы все еще сердитесь?

— Нет, пожалуйста... Чем могу?— встаю я, смущенный.

— А, здорово вы заварили здесь! — подмигивает он в сторону окна. — Дело-то разворачивается не на шутку. Я только что из Таврического, и там такой переполох и

тарарам, что просто обалденье. Здорово вы тут завертели, и давно бы, знаете ли, так. Ну, его к чорту, эту лису Милюкова! И Гучкова долой! Это тоже не плохо. А то все болтаем, болтаем, а для чего, спрашивается, болтаем? Слушай, коллега, скажи: это правда, что вы решили его арестовать?

— Кого арестовать?

— Да Милюкова... Он так перепуган, что убежал из квартиры... Перед нею толпа... Боятся, что разгромят. Но я разузнал, — наклоняется Греков мне к уху таинственно. — Он сейчас на квартире либо у Соколова, либо у Церетели.

— Милый друг, — осаживаю я его, — вы напрасно приписываете нам всю эту честь. Все, что происходит сейчас, это только стихийная вспышка масс. И никаких арестов никто из нас, конечно, не предлагает.

— Стихийная! Рассказывай! — кивает мне Греков. — Что, я не видел: солдаты-то пришли при офицерах, и те шагают по бокам, как дурные мокрые курицы, а над ними плакаты с большевистским вашим лозунгом: «Долой Временное правительство!» Стихийно!..

— Папочка! Папочка! — весело прыгают на окне ребятишки. — Петлуска! Петлуска! Смотри!..

. . . .

Надвинулся вечер. Полк за полком, громыхая оркестрами и четко расправив потемневшие плакаты свои с посветлевшими в сумерках надписями «Долой Милюкова!», уже уходил с Мариинской площади мимо наших окон по Морской. «А и в самом деле, не пошли ли они уже арестовывать Временное правительство?», пронеслась задорная мысль, и я выскочил на площадь. Мелькнула также надежда, что вся эта демонстрация, авось, да избавит меня от ораниенбаумской казармы.

— Куда вы идете? — догнал я последнюю шеренгу.

— Домой, — весело окликнулся оттуда один из солдат. — Приказу-то, оказывается, от Совета еще не поступало такого, чтобы нам выходить. Ошибка, стало быть, приключилась... осечка!..

Толпы рабочих и остального народа понемногу тоже стали рассасываться, дробясь по углам на бурные митингующие кучки.

— Ах, так за то вы против Милюкова, что он за союзников?! — гневно визжала неподалеку чистая публика, облепившая матроса. — Стало быть, вы за Ленина?!. Вы за Вильгельма?!.

— Да ты постой, господин! — отбивался матрос. — Вильгельма-то ты оставь при себе, а касательно иностранных течений, то раз посадили мы кого в министры, тот должен правильно держать наш фарватер. А то вишь-ты опять «война до победы!», только б дорогие союзнички побольше за рабочую да за мужицкую кровь деньжонок в ваши купецкие карманы отваливали б!..

— Господа! Господа! Вы слышите, что здесь говорят?!. — голосили окружающие барыньки. — Ведь это же безобразие! Россия гибнет! Последний час! Вот она, работа немецкого штаба!..

— Я вот как двину тебя прикладом по харе, — гневно вскинулся матрос, — тогда сразу узнаешь, где твой штаб, соболиная сука! Ишь расфуфырилась!.. — и он бешено хлопнул вороненой пятою своей арисаки о панельный асфальт.

* * *

Когда на следующий день я отправился в Таврический, облик улиц столицы резко изменился. По Невскому один за другим, вереницей, неслись грузовые автомобили. Но они были набиты юнкерами, студентами, чиновниками, гимназистами. Белые полотнища колыхались над этими грузовиками. Белые полотнища плотно обтягивали их бока

и зады. И на всех этих белых полотнищах было свежею черною краской выведено: «Долой Ленина!», «Доверие Временному правительству!», «Да здравствует Милюков!», «Долой Ленина!», «Долой Ленина!», «Долой Ленина!». Шумные широкие толпы ликовали на Невском, трепетно помахивая фетром котелков и батистом раздушенных платочков. И особенно буйный восторг всей этой фешенебельной толпы вызвал медленно ползущий грузовик, плотно натисканный безногими и безрукими солдатами. Они были в бинтах и перевязках, на которых местами выступали кровавые пятна. Они что-то кричали и гневно помахивали костылями. Белое полотнище парусилось над этим грузовиком, и свирепые мрачные буквы вопили зловеще во всю ширь Невского проспекта: «Смерть Ленину!».

— Господин офицер! Господин офицер! — кинулся ко мне обалделый от радости толстый пожилой господин в пальто с дорогим котиковым воротником. — Ах, какой знаменательный день! Его надо использовать, чтобы в корне уничтожить эту гидру революции. Позвольте пожать вашу руку, господин офицер! Надо действовать, господин офицер!

— Болван! — крикнул я ему несдержанно прямо в лицо. Он зажмурился от этого выкрика, как от плевка, растерянно уставился на меня и торопливо оглянулся во все стороны, как бы готовясь кричать о помощи. — Буржуазная мразь! — докончил я, уходя, даже не взглянув на него.

* *
*

— Ну, и страда! — перехватил меня капитан Родер в коридоре Таврического.

— Катим сейчас одну за другой радиограммы. Исполнительный комитет рассылает их сейчас во все советы и во все армейские и флотские комитеты.

— Насчет чего? — любопытствую я.

— Да все по поводу милюковской ноты, оправдывается в ней, разумеется, и сообщает, что поскольку сейчас начались переговоры между советами и Временным правительством, на местах все советы и комитеты должны абсолютно воздержаться от каких бы то ни было выступлений.

Пройдя дальше, я сам видел, как растерянный до крайности Стеклов качался, как колокол, возле комнаты заседаний Исполнительного комитета, умиротворяя упорно налезающую толпу делегаций.

— Товарищи, не беспокойтесь! Уверяю вас, Исполнительный комитет уже принимает все меры. Милюковская нота будет немедленно же и радикально отменена. Правительство издаст новую ноту. В ней будет ясно подчеркнуто, что оно за самый немедленный мир, и что вообще никаких аннексий и контрибуций. Я же вас уверяю. Ну, чего же вы все так волнуетесь?!.

— Что нам там «вообще»! Ты нам в частности говори, напрямки, — кричали рабочие, — когда вы петрушку-то бросите с нами играть?!.

. . . .

Линде наткнулся на меня совершенно нечаянно. Он несся, как угорелый, сопровождаемый кучкою таких же оторопелых солдат.

— Эх, и ни чорта же, — раздраженно швырнул он мне на-лету, — ни чорта не стоит вся наша военка. Тумашится там один оголтелый этот Подвойский, словно петух, и все самодовольно кудахчет про себя: «Ах, какой я!.. Ах, все у меня!.. Фу ты, какой я!.. Вот, какой я!..» А как до дела коснулось сейчас, то ни один полк не хочет выступить на улицу и даже пулеметчикам с Семашкой пригрозили, что начнут стрелять по ним, если те выйдут. Вчера еще все так были послушны, а сегодня, ну, словно всех их кто подменил... А ведь к центру сейчас двинулись все наши районы, ты

понимаешь?.. Все наши районы!.. Надо же рабочих сейчас поддержать... А с чем, спрашивается, мы сейчас их поддержим?!. Товарищ, ну, неужели хоть в твоем-то распоряжении нет никакой вполне надежной нашей воинской силы?!.

— А что ж твои финляндцы?..

— Ах, что там финляндцы! Эти проклятые полковые комитетчики всюду перепугались сейчас таврических окриков и забились в казарменные щели, как клопы. Жалкие трусы! Жа-алкие труссишки!

. . . .

В канцелярии Военной комиссии, куда я зашел, тоже царила полнейшая растерянность. Поручик Плакса-Жданович с передернутым серым лицом, похожим на грязную мокрую тряпку, которую только что выжали и снова расправили, — до того много было на этом лице самых нелепых морщин и складок, — плотно теперь прилип к телефону.

— Да, да, да! — торопливо кудакал он в трубку. И, тут же от нее отрываясь, он тревожно кричал в соседнюю комнату Пальчинскому: — Петр Иеронимович, ведь чорт знает, что делается! С Выборгской стороны идет весь район. Это контрманифестация за Ленина... Да, да, да, — торопливо кричал он опять кому-то в трубку. — Да, да, да; Петр Иеронимович, — отрывался он снова, — с ними вся Красная гвардия, то есть чуть ли не поголовно все вооружены. Чорт знает, что такое!

Пальчинский попрежнему сидит в своей соседней комнате и с ним все тот же неизменный помощник его Паршин, с тем же ершиком, похожим на черную сапожную щетку, и с усами наподобие прочищалок для ламповых стекол. Этот с какой-то задорной, веселой уверенностью следит за спокойною глиняной ухмылкой Пальчинского, также что-то внимательно слушающего в телефонную трубку.

Как забавно наблюдать лица врагов в момент тревожной для них передряги. «Но чего все они так перепугались?— думаю я.—Ведь если бы мы только хотели взять власть, то что нам стоило вчера же...», я вспоминаю о Линде и снисходительно улыбаюсь.

— Теперь можно быть вполне спокойным, — устало вздохнув, обращается Пальчинский к Паршину, кладя трубку на аппарат. — Корнилов вытребовал сейчас на Дворцовую площадь две батареи из Михайловского артиллерийского училища. Мне только что звонил начальник училища. Батареи сейчас выходят, и в зарядных ящиках полный комплект.

Он не видит меня, потому что комната и без того полна офицеров.

— Ага! — весь трясется от бурной радости, потирая руки, Паршин. — Закусочка им будет! Закусочка будет!..

Я мигом лечу назад вниз в коридор, стремясь отыскать там хоть кого-нибудь из своих товарищей по партии. Дверь в сорок вторую комнату открыта настежь. Бессильно ухватясь руками за ее косяк, измученно вращает глазами Синани.

— Вот, это ваше дело! — шепчет он зловеще. — Это ваше дело! Сейчас там, на Невском, льется кровь... На углу Садовой стрельба! Масса раненых и убитых! Все это ваших рук дело!...

Я бегу мимо, презрительно подернув плечами. Я врываюсь в Исполнительный комитет. Коренастый кавказец, какие обычно сидят в шашлычных погребках, толстые и краснорожие, от которых всегда пахнет красным вином и жареным бараном, стремительно перегораживает мне дверь из передней комнаты в комнату заседаний.

— Куда? — устрашающе таращит он глаза и даже хватается за огромный кинжал свой, висящий у пояса.

Этот телохранитель Чхеидзе всегда сидит здесь теперь в ожидании, когда господин его, усталый и искривленный

тоскливой злобой, пойдет домой отдыхать, и тогда он его провожает. Телохранителя уже всякий здесь знает. От нечего делать, скучая в этой проходной, он любит рассказывать иногда здесь кавказские похождения, уносясь мечтами туда, где горы, стада, виноград, где старинные развалины гордых княжеских замков и где в один запутанный клубок сплелись лень, любовь и кровавая месть.

— Что ты, обалдел? — отстраняю я его сейчас. — Или не узнал?

— Харашо узнал! — визжит он. — Балшевиков нэлзя туда!

Я прохожу, отстраняя этого не в меру усердного, зарапортовавшегося слугу. В комнате табачный чад, шум и гам.

— Ведь это гражданская война! Вы подняли гражданскую войну! — вопит прапорщик Станкевич. — Такими методами большевикам все равно не удастся свалить Временное правительство. Они только разнуздывают темные силы, дело пахнет погромом, и нас сметут.

— Товарищи! — выскакиваю я. — Корнилов выводит сейчас на Дворцовую площадь две батареи. Реакция готовит стрельбу!

Все вскакивают, все кричат. Стеклов и Филипповский бегут к телефону.

— Но как же мы будем поступать, — растерянно разводит руками Скобелев, — если Временное правительство откажется сейчас изменить свою ноту?

— Не беспокойтесь, Матвей Иванович, — урезонивает его Гвоздев. — Ираклий Георгиевич там, на заседании министров, он все уладит.

— Да, да, да, — трещит под-руку Дан, — Церетели уладит.

— И вообще пока нет особых оснований волноваться, — топорщит веки кудрявый, как пудель, Чернов. — Демокра-

тия, конечно, на повороте, поскольку министры вчера раздували и пугали нас своими отставками. Только это и осложняет наше положение. Все это надо хорошенько обдумать, — глубокомысленно изрекает он.

— Тарасов опять нас зря напугал, — злобно бросает вернувшийся от телефона Филипповский. — Никаких батарей Михайловское училище не посылает.

— Но ведь я сам же слышал? — перебиваю его я.

— Никаких батарей Михайловское училище не посылает.

— А приказ Корнилова? — возмущаюсь я.

Филипповский бросает на меня взгляд, полный ненависти:

— Во-первых, не приказ, а простое приказание, которое уже отменено.

— Да, — устало громыхает вернувшийся Стеклов, — Михайловское училище отказалось выслать Корнилову батареи...

— Товарищи, на Невском стрельба!.. Надо немедленно же кому-нибудь поехать на место, — дрожит и трясется вбежавший весь позеленевший Суханов.

— Поезжайте! Поезжайте скорее!.. — торопит Чхеидзе, размахивая руками по сторонам. — Вы уже нами выбраны раз навсегда.

И Скобелев, и Гоц, и Филипповский, мрачно насупясь, одевают пальто.

— Только зарубите, Тарасов-Родионов, себе на носу, — сердито накидывается на меня в дверях при выходе Филипповский, — постановление нашего (он подчеркивает это «нашего») Исполнительного комитета гласит определенно: «Всякий, кто призывает к вооруженному выступлению на улицу, является изменником революции». И мы будем уничтожать таких, кто бы он ни был, без всякой пощады.

— Что же вы хотите от них? — язвительно смеется нам вслед Сомов. — Чтобы они Таврического дворца слуша-

лись?.. Ведь недаром у них на плакатах: «Мир хижинам, война дворцам!..»

* * *

Я отправился домой из Таврического, когда стало темнеть, и столкновения уже были предупреждены. На улицах все еще, правда, трепались самые разноречивые слухи. Передавали, что где-то на Невском стрельба. Одни говорили со злорадством, что ленинцев поколотили, и что сам Ленин не то арестован, не то уже убит. Другие, наоборот, с ужасом растопыренных глаз хрипели, что ленинцы нападают, что на Невском идет повальный разгром магазинов.

Густые сумерки залили город, и вновь расцветились огнем магазины. Трамвай довез меня только до Михайловской, дальше шли манифестации, и все вагоны стояли нескончаемой вереницей. В сырой мгле весеннего вечера колыхались по Невскому беспредельные ряды черных рабочих шеренг. Они пришли сюда с самых дальних окраин Васильевского острова. Отряды матросов-кронштадтцев с винтовками на ремнях дружно всхлестывали свои черные клеши. За матросами шли колонны отдельных заводов вперемежку с отрядами рабочей гвардии, в пальто, опоясанных ремнями, и тоже при винтовках. Яркие электрические фонари освещали проходящие под ними широкие красные полотна плакатов.

«Долой Временное правительство!», сияло на одном из них.

«Да здравствует Совет рабочих и солдатских депутатов!», расплывалась на другом еще свежая, необсохшая надпись.

«Да здравствует Третий Интернационал!», четко сверкали упрямые буквы на третьем.

«Да здравствует социализм!», сиял четвертый.

Из края в край, вдоль всей этой неуемно-кипящей и движущейся куда-то по Невскому массы, носились раскаты волнующих песен:

...дело рабочей руки,

— заливисто выводил задорный тенор.

Сами набьем мы патроны,

— подхватывали дружно сотни упрямых уверенных грудей,—

К ружьям привинтим штыки!..

Там, где песня смолкала, слышен был дружный шум тысяч тяжелых подошв, гулко бьющих о торцовую мостовую.

— Провокаторы! Ленинцы! — с бессильной злобой шипели по панелям.

* * *

Контора гостиницы «Астории» наутро уведомила меня, что, начиная с первого мая, она лишена возможности предоставить мне занимаемый мною номер в бесплатное пользование, словом — в апреле я должен выехать. Жене я ничего не сказал, чтобы ее не беспокоить. Все равно, так или иначе надо было ехать в Ораниенбаум. Чтобы выяснить план своей дальнейшей работы, я отправился в военку. Утро выдалось солнечным и ясным. Столичные волнения улеглись. На углах улиц были густо расклеены постановления Исполнительного комитета Совета о том, что в течение двух дней запрещаются всякие митинги, демонстрации и даже появление на улицах при оружии. По этому случаю на панелях Невского проспекта шло радостное митинговое щебетанье празднощатающихся барынек, лощеных хлыщей и биржевых спекулянтов. При оружии же ходили только одни офицеры. Им можно. Почему же и мне не итти при оружии, раз я — офицер, да вдобавок еще снова призванный в строй.

Особняк Кшесинской гудел и полнился необычайно. Очевидно, всех тянуло сейчас сюда, чтобы подвести итоги событиям этих дней. Впрочем, итоги уже были подведены.

— Да, брат ты мой, — приветливо встретил меня спускающийся по лестнице военный врач Нахимсон, один из деятельнейших работников нашей военки, — опять, брат, Ленин прав оказался. Как он всех предостерегал против скоропалительной демонстрации. Вот на-ка, прочти сегодняшнюю резолюцию Цека, она ленинская. — И Нахимсон протянул мне лоскуток бумажки, на котором я прочел его карандашную запись:

«1. Мелкобуржуазная масса колебнулась эти дни сначала от капиталистов к рабочим и затем снова пошла за меньшевиками и эсерами, проводящими доверие и соглашательство с капиталистами.

«2. Лозунг «Долой Временное правительство» неверен сейчас, потому что без прочного сознательного большинства народа на стороне пролетариата это либо фраза, либо авантюра.

«3. Задачи момента: разъяснение пролетарской линии и пролетарского пути к окончанию войны, критика мелкобуржуазного соглашательства, пропаганда и агитация от группы к группе среди каждого полка, на каждом заводе... Организация, организация и еще раз организация пролетариата на каждом заводе, в каждом районе, в каждом квартале...»

— Но разве плохо было, что Линде вывел солдат на площадь? — недоумеваю я вслух. — Ведь благодаря только этому Милюков и Гучков, то есть два монархиста, ушли в отставку.

— А кто ж их сменит? — волнуется Нахимсон и от этого слегка заикается. — Кто ж их сменит?.. Во всяком случае не Совет депутатов, потому что сами-то депутаты, а особенно солдатские, боятся этого, как огня. На улицу

вышел один пролетариат, одни рабочие... А что делали вчера солдаты? Сидели по казармам, потому что...

— Я это знаю, мне Линде вчера еще говорил.

— Вот тебе и твой Линде. Где он сейчас? Куда-то сбежал от стыда. Ох, и честил же здесь их вчера вечером Ленин. «Авантюристы вы,—говорит,—и фразеры». И его и Богдатьева заодно... В самом деле, изволь теперь расхлебывать их кашу. Ну, пока, брат, прощай. Бегу на собрание представителей петроградского гарнизона. Меньшевики и эсеры мобилизуют все силы, чтобы нас ошельмовать там за вчерашнее. Вот теперь и выкручивайся... А ты смотри не забудь: сегодня в Таврическом общее собрание Совета...

Нахимсон умчался, а я поднялся в военку, где, нахохлившийся и злой, отвернувшись к окну, мрачно стоял Подвойский.

— Ничего, пройдет! — игриво мигнув на него, шепнул Рошаль, здороваясь со мною. — Это Ильич на Ильича наехал... Ну, так Владимир Ильич слегка и погладил нашего Николая Ильича против шерстки за то, что партийная дисциплина в военке слаба. Вот он и дуется теперь немножко.

— И ничего не дуюсь! — улыбнулся вдруг Подвойский, обертываясь к нам и, очевидно, расслышав наш разговор.— Вот Тарасов и вы там были, когда Линде... на площади... мне Куделько об этом говорил, — ну, скажите, ведь другого же выхода тогда не было? Ну, пусть вышло чуточку левее Цека, но ведь...

— Чорт его знает! Тогда мне казалось, что Линде вывел правильно. Но когда вчера ни один полк не вышел на улицу во время всей этой оголтелой кадетской свистопляски, теперь вижу, что мы сделали промах...

— Правильно: промах! промах! — рявкнул, задорно улыбаясь, подошедший поручик Дашкевич. — А отчего

все? Потому что мало работаем у себя в частях. Вот, к примеру, ты. Чего ты здесь околачиваешься? Ведь у тебя же где-то есть пулеметная часть.

— Не беспокойся, — ухмыльнулся я, — уже еду, вернее меня «уезжают», и прямехонько в Ораниенбаум.

— Ну, нет. Из Питера мы вас не пустим, — вмешался Подвойский. — Вы только что втянулись в газетную работу. Если же вас будут принуждать, то можно свое офицерство и по-боку...

— Это что ж, в дезертиры? Ну, уж нет, покорнейше благодарю! — обиделся я.

— Вы на него, ребята, не дивитесь, — шутливо хлопнул меня Рошаль по плечу. — Он же у нас верный каменевец, а посему и примерный оборонец. Разве можно расстаться с золотыми погонами?!.

И все улыбнулись.

— Ну, и дурачок! — огрызнулся я.

* * *

В «Астории» в самом низу в вестибюле, возле мраморных колонн, сторожащих вход в столовую, меня остановил широкоплечий плотный капитан.

— Вы, кажется, здесь квартируете? — спросил он. — И к тому же ваше лицо мне очень знакомо. Не работали ли вы одно время в Военной комиссии?.. Одним словом, если вы «наш», то я хотел вам предложить не оставаться инертным. Я имею честь быть устроителем-организатором так называемой «Военной лиги». Гучков успел утвердить ее устав до своей отставки. Сегодня у нас здесь в помещении столовой первое широкое организационное собрание. Не откажите притти и при входе сошлитесь на меня, капитана Вейгелина. Нельзя упускать золотое время, когда вся эта чернь явно стремится к передачи власти своим рачьим и собачьим депутатам. Вы сами должны понимать, что всем

этим Нахамкесам, Гиммерам, Гоцам и Чхеидзам когда-нибудь да и не удастся сдержать подобные порывы разнузданной черни, какие им удалось сдержать в эти дни. И вот на этот случай в распоряжении правительства должна быть своя надежная добровольческая военная... ну, лига, что ли, там...

Я поблагодарил капитана Вейгелина, но отказался, не приводя объяснений.

— Это не завербовать ли вас хотел этот тип? — усмехаясь, поджидал меня на площадке поручик Греков.—Авантюристы все, сукины дети. Субсидию хотят сорвать в министерстве, в этом вся их цель... А я стою и любуюсь, вот, думаю себе, нарвался наш арап на большевика, он его сейчас и смажет... А впрочем, вы все сдрейфили. Отбой у вас сейчас по всей линии. Что, голубчики, не прав я был: от демократии никуда вы не денетесь! Сами же признали теперь, что все ваши демонстрации этих дней были ошибкой... Небось, испугались...

Я посмотрел на него и ничего не ответил.

ГЛАВА XX.

На заседание Петроградского совета в этот вечер пойти мне не удалось. Хоть все мы знали, что наши силы, особенно среди солдатских депутатов, ничтожны, однако надо было бы все же итти и грызться во-всю, поскольку вопрос стоял о поддержке пресловутого «займа свободы», который в руках Терещенко служил насосом для подкачиванья средств на войну. Однако в этот вечер был назначен большой соединенный митинг Измайловского и Петроградского полков в манеже последнего, темой была война, и приглашения прислать ответственных ораторов, очевидно, были разосланы всем партиям, поскольку таковое получил и наш ЦК. Но у нас начиналась Всероссийская конференция, все были заняты, и поэтому на этот митинг с путевкой от ЦК послали меня. Мой успех в Михайловском манеже, очевидно, стал уже здесь известен. Я отправился вместе с женою, которая вызвалась меня сопровождать. Я нарочно одел ту старенькую, светло-серого офицерского сукна, шинельку, которую купил за восемь рублей на Александровском рынке, чтобы еще более походить на старого кадрового офицера.

Президиум митинга помещался на сцене манежа. Председателем сидел тот самый полковник Келлер, который когда-то, в первые дни Февральской революции, кичливо хвалился на собрании петроградского штаба о том, что солдаты встречают его: «Здравия желаем, ваше высокоро-

дие». Рядом с ним, торжествующе перешептываясь, заседали другие офицеры вперемежку с чинно приглаженными солдатами, членами полковых комитетов. Весь остальной объемистый манеж был густо набит солдатской массой двух полков, Измайловского и Петроградского. Однако митинг еще не открывался, поскольку президиум ждал прихода представителей всех партий. Мой вид кадрового офицера не вызвал ни малейшего подозрения. Просто взглянули: зашел какой-то офицер с прилично одетою дамой, ну, и милости просим, пусть слушает здесь себе на здоровье.

Подошедший штатский в демисезонном пальто, с бледным вытянутым лицом и тусклыми сероватыми глазами, белесый и блеклый, протянул полковнику Келлеру свою бумагу.

— Ах, — вскочил тот приветливо и восторженно затряс ему руку. — Вы господин Савинков?! Дайте стул господину Савинкову!.. Очень приятно, как мы рады! Вы от Цека эсеров?..

— Да, мы двое, — кивнул тот устало на сопровождавшего его брюнетика в голубовато-серой кепи и в таком же плаще военной формы французской армии.

— Позвольте вам представить, лейтенант французской службы Лебедев, один из героев Марны.

Офицеры в президиуме вскочили и, расплывшись в любезнейшие улыбки, затрясли руку французскому лейтенанту.

— Вот жаль только, что никого нет от большевиков. Испугались, должно быть, проучили их в эти дни. А ведь мы послали отношение в их Цека, — разочарованно протянул полковник Келлер.

— Нет, извините, есть! Нет, извините, есть! — завертелся тут же волчком юркий куцый человечек в обдерганном пиджачишке и мятой шляпенке. — Я же вам дал свой мандат.

— Да, да, — снисходительно успокоил его полковник, — я не о вас, ведь вы же не от Цека. А впрочем, вы получите слово сейчас же. Не правда ль, дадим ему первому? А потом выступите вы! — мигнул он Савинкову.

Мне было приятно наблюдать, как противники распределяют все свои роли и уже торжествуют. Первое слово было намеренно дано нашему большевику.

Пока он, мотаясь перед солдатской аудиторией, балагурил о том, что войну ведут помещики и заводчики, — и полковник и все офицеры в президиуме весело пересмеивались и уверенно поглядывали на Савинкова: «Ну, и задаст же тебе, братец, сейчас Савинков перцу», думали они в этот момент про оратора-большевика.

— Кто же за войну? — не унимался меж тем наш агитатор. — А за войну, братцы, министры Гучков, Коновалов, Терещенко. А кто этот Терещенко? А вы поезжайте, товарищи, к югу, в черноземные губернии, да порасспросите-ка там, чьи вот эти большие заводы, откуда везут все сахар, сахар и сахар? Вам ответят: «Терещенко». «А чьи эти богатые экономии с десятками тысяч десятин?», спросите вы, а вам ответят: «Терещенко».

Чорт побери, да ведь где-то я уже слышал все это. И вдруг вспоминаю, вглядываюсь и узнаю. Ба, да ведь это тот же самый оратор и тот же самый прием построения речи, который я слышал в первые дни Февральской революции там, в Таврическом дворце, в Екатерининском зале; только тогда шла такая же речь о Родзянке.

— Демагогия! — шепчет мне вставший рядом французский офицер.

— Давно, лейтенант, из Франции? — спрашиваю я его вместо ответа.

— Да, недели уже две, — важно кивает он с чваным достоинством.

— Ну, и как там настроение в массах? Так же все патриотичны, как и здесь?

Он тревожно глядит на меня.

— В том-то и дело, коллега, что левеют, повсеместно дьявольски левеют с каждым днем. Недовольство войною на фронте и у них там растет с каждым часом.

— Не преувеличиваете вы? — говорю я недоверчиво, но в то же время думаю: «Какой интерес ему врать и пугать меня, поскольку он принимаст меня за патриотически настроенного офицера?»

— Наша обязанность, коллега, — берет он меня покровительственно за пуговицу, за золоченую орлистую поговицу моей бледно-серой шинели, — наша обязанность решительно остановить здесь этот пацифистский развал.

— Будете выступать? — спрашиваю я его.

— Да нет, и без меня тут хватит, — самоуверенно улыбается он, и тогда я подаю Келлеру свой мандат.

— Ага, — читает полковник и обертывается. — Где же оп, представитель-то этот? — он пытливо глядит через меня, как бы ища кого-то за моими плечами.

— Я самый и есть.

— Вы, поручик?!. — и этот вылощенный и разутюженный гвардейский офицер, выкатив глаза, с ужасом смотрит на меня, на мою серую шинель, на мои гвардейские петлицы и мои золотые погоны. Пусть это мальчишество, но наблюдать полнейшую растерянность врага — роскошное наслаждение.

Когда наш большевистский агитатор кончил, дружные веселые хлопки затрещали по всему полутемному, набитому солдатами залу.

— Слово принадлежит представителю Цека партии социалистов-революционеров, известнейшему террористу Борису Савинкову! — торжественно выкрикнул полковник.

И когда Савинков сутуло и скромно вышел вперед, чуть-чуть мотнув головой, и уставился в пол своими блеклыми оловянными глазами, бурный вой восторга и треска потряс весь манеж. Но начал он со скучных, вялых и бледных объяснений, что война ведется сейчас ради этических принципов. Так и сказал: «этических принципов», и слушатели-солдаты от этого углубленно нахмурили лбы. Затем он стал толковать о святости смерти в этой великой войне за добытую народом демократию, и что демократия эта не допустит предательства в своих рядах. Дойдя до предательства, он стал понемногу воодушевляться.

— Мы протянули братскую руку к демократиям всех стран, созывая представителей социалистических партий на международную конференцию здесь, в Петрограде, и если эта рука наша не принята, то правительство наше, которое твердо стоит на-страже демократии, должно беспощадной железной рукой раздавить всякую попытку расстроить наши ряды междоусобной борьбой, подогреваемой темными демагогами на деньги немецкого штаба!

Это было сказано резко, и, вскинувшись вверх и рукой и лицом, Савинков картинно застыл, полузакрыв глаза, и целую минуту неподвижно втягивал в себя носом сухую и душную пыль, взбитую восторженным топотом неистовых солдатских сапожищ. И офицеры в президиуме шумно поднялись, чтобы ликующе потрясти Савинкову его небрежно протягиваемую руку.

— Слово принадлежит делегату фронтового совещания при Петроградском совете, солдату такому-то, — назвал полковник какую-то фамилию.

К рампе сумрачно вышел худой и высокий, плечистый солдат.

— Товарищи, — начал он мрачно, — вы вот здесь по тылам митингами забавляетесь, а ведь там у нас, в сырых

окопах, на фронте, ваши забытые братья до сих пор льют свою кровь.

Все подавленно смолкли.

— Нет, не приветствовать вас сюда я приехал, — грозно рявкнул солдат, — я приехал сюда к вам с тяжелым упреком... Фронт не простит вам предательства, если вы попрежнему будете здесь оставаться и к нам не придете на смену. Вот, посмотрите, — распахнул он наотмашь шинель, — вот взгляните! — дерзким рывком выхватил он подол гимнастерки из-под ремня и задрал кверху запачканную кровью нижнюю рубаху, обнажив зарубцевавшуюся рану.

И лица всех солдат судорожно сжались, зубы стиснулись, глаза ощерились.

— Вот, — закачался солдат, топорща вперед кровавые рубцы сросшегося багрового мяса на развороченной смуглой груди.—Вот как немцы с нами поступают, с теми, кто остался верен родине и защищает вашу свободу на фронте. А тем, кто попал к ним в плен, они вспарывают жилы, сажают на цепь. Я призываю вас, товарищи, проклясть всех тех, кто зовет вас мириться с этими немецкими исчадьями ада. Я призываю вас на борьбу с немецкими шпионами, сеющими здесь у вас смуту. Я призываю здесь всех вас поклясться сейчас, что вы немедленно поедете на фронт маршевыми ротами и будете там биться до полной победы!

Грянули рукоплескания и топот ног, но весь этот гам стал теперь вдруг каким-то зловеще глухим, словно он тонул в этом большом сумрачном зале, как в бочке. Я внимательно щупал глазами все это несметное море солдатских голов. Оно было сейчас мрачно подавлено и в большинстве своем молчаливо. Бешено хлопали и гремели лишь одиночки, да еще только здесь, на сцене, за столом президиума неистово рукоплескали офицеры и какие-то две дамочки, сидевшие сзади на ящике, истерично визжали: «Браво, бис».

Жена уже сидела на стуле, любезно ей предоставленном одним из офицеров.

— Садитесь, товарищ, вы ведь раненый, — уступила она место только что говорившему солдату, и тот сел, благодарно вздохнув, и приветливо взглянул и на зал, и на президиум, и на истеричных дамочек позади, и на жену мою, и на меня — офицера.

— Теперь ваше слово! — вытаращил на меня глаза председательствующий полковник.

— Как, а разве от меньшевиков не будет?

— Они записались после вас, — мазнул он меня ледяным взглядом и вслед за тем торжественно, но с нотками ехидства провозгласил, что я представитель Цека большевиков и выражу здесь взгляды того самого Ленина, что проехал через Германию. Полковник коварно поджал губы, но раздались хлопки откуда-то сзади, с галерки. Ручьями пробившись у стен по краям сюда, в середину, смело и дерзко пронеслись и разлились по манежу эти рукоплескания. Это несказанно окрылило меня, и я прямо начал с солдата. Я еще раз подчеркнул его зияющую рану и смело поставил вопрос: «за что?». Я спросил, пусть ответят, кому и для чего нужна эта кровь, кому нужны маршевые роты, к которым призывал сейчас искалеченный и телом и душою слепец? Кому-то мало этих жертв, нужно, должно быть, еще согнать пол-России, чтобы стоном стоял по земле хруст костей, и чтобы сукровица наполняла окопы по пояс. Ведь господам помещикам нашим, которым все еще недосуг расстаться со своею землей, нужно выгодней продавать свой хлеб, беспошлинно вывозя его через Дарданелльский пролив, Гучковы же с Коноваловыми желают втридорога сбывать полуграмотным туркам свою мануфактурную заваль из московских лабазов, к тому же и Милюков уже разработал план сбора дани с нищих крестьян Галиции и Армении, которых и надобно как раз для этого завоевать.

Для этого и только для этого швыряют сейчас под расстрел сотни тысяч русских солдат, точно так же, как и Вильгельм зовет своих дураков кровь проливать ради барышей своих капиталистов.. Вот почему,—заканчивал я,—мы, большевики, и здесь в России во главе с нашим Лениным, и в Германии во главе с нашим товарищем Карлом Либкнехтом упорно говорим всем трудящимся: «Долой войну! Да здравствует власть рабочих, крестьянских и солдатских советов»! Ура!—кричу я.

Громовое «ура» всего манежа мгновенно подхватывает меня, и сразу кажется, что уже нет ни этого зала, ни этого досчатого пола пыльной и мрачной сцены, а я лечу и лечу прямо ввысь на каких-то тугих и мятежных ветрах. С торжествующей улыбкой прохожу я мимо президиума туда к кулисам, где стоит жена. Она нервно трясется какой-то непонятной мне тревогой и, прикусив губу, тянет меня в сторону за рукав.

— Возмутительно! Мерзко! Предательство! За такую демагогию нужно арестовать! — визжат позади истеричные дамочки, вскочив рядом с ящика.

В президиуме тоже полная растерянность. Слово дается французскому офицеру Лебедеву, и тот, выдавая себя за француза, начинает с приветствия русских солдат от лица победоносных армий «свободной Франции». Затем он выпячивает грудь и, топорщась, кричит о патриотическом самопожертвовании французского народа, проливающего кровь за Россию.

«Ну, зачем он врет? Зачем он нагло так врет?» — брезгливо думаю я о нем. — Ведь все равно после наших большевистских доводов он уже не выиграет здесь положения. Ведь это чувствуется по всему: по тем восторженным взглядам солдат, которые не слушают Лебедева, а все еще продолжают любовно смотреть на меня, и по той копотли-

вой растерянности и тумаше, которая сейчас поднялась вдруг в президиуме.

— Шура, — тянет меня жена за рукав, — скорей уходи! Скорей уходи! Тебя сейчас убьют!.. Солдат-фронтовик уже доставал револьвер и хотел стрелять в тебя сзади в спину, когда ты говорил. Эти стервы его разожгли,— кивает она на дам. — Вот эти солдаты из президиума еле его сейчас успокоили и увели куда-то здесь за кулисы, но ты слышишь?!.— и жена нервно трясет меня за локоть. — Ты слышишь?

Действительно, за кулисами слышны чей-то сердитый говор и возня.

— Вот, товарищ, спасибочка вам, здорово помогли! — подлетел ко мне наш агитатор-большевик. Он как ребенок ласково улыбается и в нервной радости трет себе руки. — Выходит, что и резолюцию мы свою сейчас проведем, как по маслу. Будет с чем вернуться в Пека! Будет с чем вернуться в Пека!..

— Все равно ему не уйти!.. Убью! — грозно выкрикивает солдат за кулисами. — Ей-богу, не уйдет, все равно не уйдет он отсюда!

— Шура, — умоляет жена, и на глазах ее слезы. — Зачем тебе здесь сейчас оставаться? Ведь ты же все сделал, что надо... Заклинаю тебя, уйдем!..

Но как уйти? Митинг не кончен. Мой уход они сочтут за трусость и такую демагогию разведут, что сорвут весь успех. Уйти нельзя, к тому же и Лебедев кончает.

— Товарищи, — вкрадчиво выступает теперь к рампе сам председатель, полковник Келлер, — наш митинг удался, как видите, на славу. Мы слышали здесь представителей всех партий, которых мы можем поблагодарить за всю их информацию, и ввиду позднего времени митинг сейчас на этом и кончим.

— Резолюцию! — кричит с разных мест густо-набитый солдатами манеж. — Резолюцию!

— Нет, товарищи, у нас же заранее было объявлено, что митинг только информационный по вопросу о войне.

— Резолюцию! — гневно орет уже весь зал, и сердце во мне бьется от этого бурной радостью. Разве этот крик не дороже и не громче самых ярких резолюций?!.

— Спокойствие, товарищи, президиум постановил митинг закончить без резолюций. Объявляю собрание закрытым. Оркестр! — кричит полковник. — Оркестр!

Оркестр срывается бешено, мгновенно заглушая весь поднявшийся шум медным ревом марсельезы. Незаметно прокравшись кулисами, я выхожу вместе с женою на улицу какими-то темными боковыми выходами.

— Разве можно так рисковать? — упрекает она, все еще встревоженная. — Я ничего не понимала до сих пор, но теперь я безумно рада, что наконец-то судьба насильно выгоняет тебя отсюда, из Питера. Там, в Мартышкине, в Ораниенбауме, где, как ты рассказывал мне, такие красивые уютные дворцы и тихие парки, которые скоро будут тенистыми, там за мирной служебной работой ты отдохнешь. Там не будет этой проклятой опасности. Поскорее уедем, о, давай поскорей уедем... из этого проклятого Питера!..

* * *

«Значит, в самом деле уезжать назад туда, в Мартышкино? — думал я всю эту ночь. — Так вот чем окончился наш славный поход на Питер!» И мгновенно в памяти стремительной кинолентой пробежали: Нарвская околица, грузовики с винтовками для путиловских рабочих; пожар полицейского участка; тестообразный Родзянко, вылезающий из своей сюртучной квашни; вкрадчивый, как кот, Милюков; жалко трясущийся от страха, убитый затем толпою полковник; смуглый маркиз Паулучи; тугой фельдъегерский чемодан; малосольные огурцы царскосельских дворцов; истеричный фигляр в министерстве юстиции; мрачный грач Цере-

тели; крыса Дан; стая Любарских; и этот ясноголовый, низенький, коренастый, напористый Ленин, которого так бешено ненавидит буржуазия. Выходит, он прав! И прав Борька, который предупреждал меня, что между стульями не усидеть. Блеснул на миг, как острие ножа, и серый серьезный взгляд поручика Петрова. Да, мы с ним смертельные враги. В этом он прав, этот симпатичный честный чудак... Ну, хорошо, теперь я поеду в Ораниенбаум. Я свяжусь там с кронштадтцами. Я знаю теперь, что ни честной, но оторванной от масс вспышкой Линде, ни самоотверженным личным геройством войны не кончишь и революцию вперед не двинешь. Город сказочных солнц, завоеванный нами Питер опять ушел от нас. Но все равно, как говорил Ленин, через год, через два или через десять, но мы сюда снова придем! Мы придем во главе прочно увязанных с нами пролетарских и солдатских масс. И тогда с беспощадной решимостью мы прогоним отсюда всю эту мразь, всех этих предателей, льстецов и хвастунишек, всех этих рыцарей слюнявой демократии, украшенных фальшивыми красными бантами.

. . . .

На следующий день в особняке Кшесинской перед отъездом я получил последнее напутствие от секретаря бюро Цека, Елены Дмитриевны Стасовой. Это была та сухолицая дама в пенснэ и с черным шнурочком, которую я мельком видел в Таврическом дворце в первое свое появление там в дни Февраля.

— Ну, что же, отправляйтесь в Ораниенбаум и попробуйте наладить там партийную работу. Организации, к сожалению, там нет пока еще никакой. На весь Ораниенбаум там всего-навсего один только большевик, солдат химической роты Филиппович. Он опытный старый партиец, сидел в тюрьме вместе с Бухариным в Москве, он вам поможет...

. . . .

Я сдал в багаж корзины с посильным скарбом, и вот опять из вагонных окон потянулось болотистое поле, по которому топорщилась чахлая трава, убегая в мглистую даль легкой зеленоватою дымкой. На горизонте вправо чернел ребристый скелет Путиловской верфи. Да, здесь вот, в снегу тогда, в феврале, хлопал я по городовым из пулемета. Вот Лигово, куда прискакали мы тогда верхами и откуда я смотрел дерзким взглядом мятежного завоевателя на гранитную императорскую столицу. На гребне огромной солдатской волны принесся я тогда в этот холодный и чопорный чиновничий город. Меня носило за это время по всем залитым народным морем дворцам и щелкало о все разрушенные народным гневом былые твердыни. Я многое за эти дни перевидал и многому за это время научился. Теперь, когда волна слегка схлынула, прибой несет меня обратно, в тихую ораниенбаумскую заводь. Но я не щепка, а живой человек. Я сделаю теперь все, что только смогу и все что сумею, чтобы снова раскачать эту гигантскую солдатскую волну и вновь затопить ею Питер. Мы вернемся сюда опять снова, но более мощным, более сознательным и уже несокрушимым потоком. Мы вернемся в эту гордую столицу страны для того, чтобы беспощадным треском наших пулеметов окончательно подрезать все корни проклятой войне. Мы вернемся за тем, чтобы свинцом наших солдатских пуль пособить героическим штурмам рабочих, которые должны неизбежно подняться во всех странах мира на свержение кровожадной капиталистической власти и тогда, победив, мы развернем над обломками сокрушенной лжи и хищного насилия алое бунтующее знамя боевого рабочего союза. И стало тепло, уверенно бодро на сердце. И даже железные колеса вагонов, казалось, упрямо стучали по рельсам: «Мы придем! Мы придем! Мы придем!.»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

И. ГОРЯЧЕВ

ЧЕРНЫЕ ДНИ

Рабочая повесть

Стр. 136. Ц. 85 к.

Повесть охватывает период нашей общественности больше чем за 30 последних лет. На фоне бесправия, нищеты и гнета рисуется жизнь крестьянского парня, ставшего рабочим. Жутью звериного быта веет от деревенских картин повести. Темнота, горе, животная грубость и безысходная нужда. Революция развертывается вглубь и вширь, и с переменным успехом водворяется власть советов. Заслуга автора в том, что он сумел наглядно показать на жизни своих героев психологические корни Октябрьской революции и художественно вскрыть общественный пульс нашей революционной эпохи.

*

Т. Н. ЧЕМОДАНОВ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ СТАРОЙ АРМИИ

Стр. 136. Ц. 1 р.

Книга начинается изложением событий конца 1916 г. и заканчивается периодом Февральской революции и первыми днями Октября. Автор берет один из участков рижского фронта и дает картину, типичную для всей царской армии. Любопытно в этой части и описание состояния офицерства в первые месяцы революции. Автору удалось вывести ряд ярких типов.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ И ОТДЕЛЕНИЯХ ГОСИЗДАТА

Ц. 4 р. 50 коп.





